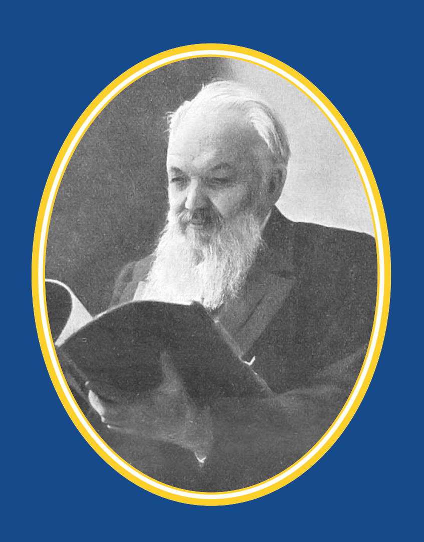
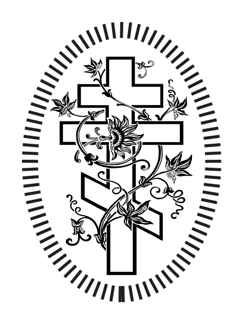
АЛЕКСЕЙ СУВОРИН



РОССИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Русская цивилизация



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Москва – Третий Рим
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Шишков А. С.
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.
Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Суворин А. С.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Трубецкой Е. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

АЛЕКСЕЙ СУВОРИН

РОССИЯ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2012

УДК 9с
ББК 63.3(2)5
С 89

Суворин А. С.

С 89 Россия превыше всего / Сост., предисл. и коммент. Ю. В. Климаков / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 912 с.

В книге публикуются главные публицистические произведения выдающегося русского журналиста, писателя и общественного деятеля Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), человека большой культуры и острого ума. В 33 года он приобрел газету «Новое время», которая на многие последующие десятилетия сделалась печатным органом русских националистов, выступавших под девизом – «Россия превыше всего». По мнению Суворина, русский национализм – это защитный инстинкт русского народа по отношению к внешним и внутренним врагам, стремящимся лишить его законных прав и даже уничтожить. В газете Суворина печатались лучшие русские публицисты, поднимались самые острые вопросы современности, которые другие органы печати затрагивать не смели – еврейское засилье в культуре и экономике, национальная принадлежность деятелей так называемого «революционного движения», истинные цели членов масонских лож и др.

Широкая популярность Суворина, огромные тиражи «Нового времени», превышавшие общие тиражи многих либеральных газет, красноречиво свидетельствовали о широкой поддержке Суворина русским народом.

ISBN 978-5-4261-0005-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Алексей Сергеевич Суворин родился 11 сентября (здесь и в дальнейшем все даты приводятся по старому стилю) 1834 года в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Коршево было очень большим селом, утопавшим в вишневых садах и заселенным государственными крестьянами. Отец будущего публициста Сергей Дмитриевич Суворин происходил из большой однодворческой крестьянской семьи, известной в Коршеве под прозвищем Путатовы. В 1812 году он участвовал в нескольких сражениях, а под Бородином был ранен. Впоследствии дослужился до чина штабс-капитана, что давало возможность получения потомственного дворянства. Первая жена Сергея Дмитриевича умерла во время холеры, и он женился на дочери коршевского протопопа Льва Соколова, Александре. Матери Алексея Сергеевича Суворина к моменту замужества было 20 лет, а отцу уже 49. Всего у них детей будет девять человек, шесть дочерей и трое сыновей, и никто не умрет раньше 20 лет. Алексей Сергеевич Суворин был первым. Позднее, уже на склоне лет, он с теплотой вспоминал: «Родился я мертвым, в бане, куда маменьку увели рожать. Бабушка шлепала, шлепала меня прежде, чем я оказал признаки жизни»*. Жили небогато. Дом Сувориных был крыт соломой, как все деревенские избы. Знакомыми и друзьями семьи были большей частью люди духовного звания. И через всю свою дальнейшую жизнь Алексей Сергеевич пронес уважение к русскому православному

---

* Цитируется по: Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин: Биогр. очерк. СПб., 1912. С. 5.

духовенству. Единственной книгой, читавшейся в семье, было Евангелие на русском языке, изданное Библейским обществом. Мать с детьми ходила на богомолья к Тихону Задонскому. Грамоте Алексей начал учиться на седьмом году жизни у местного пономаря. Затем учеба в уездном училище.

В 1845 г. в Воронеже открылся кадетский корпус, куда после настойчивых отцовских ходатайств приняли Алексея с братом. Обстановка там была незнакомой, непривычной. «Я очутился в обстановке совершенно для меня новой, – вспоминал Суворин. – Самое здание давило меня своей огромностью и блеском. Я не умел ходить по паркету, мне ново было спать на такой кровати, с таким чистым бельем, умываться в таком умывальнике, не ел такого обеда, не видал таких офицеров, генералов, учителей, товарищей. Товарищи все были воспитания высшего, чем я, многие говорили по-французски. Я не умел ни встать, ни сесть, и в моем говоре было много чисто народных выражений. Одним словом, я мало чем отличался от крестьянского мальчика, так как и язык моей матери был простонародный»*. Поначалу товарищи относились к нему снисходительно-насмешливо, дразня мужиком. Однако Алексей Суворин быстро избавлялся от своих недостатков, жадно читал художественную литературу, начал писать стихи и рассказы, увлекся театром, сам играл в пьесах и водевилях, что ставили в корпусе. Здесь был прекрасный состав преподавателей. Особенно тепло вспоминал потом Алексей Сергеевич учителя словесности Малыхина и историка Славатинского.

Закончив учебу, Суворин определился в 1851 году в Дворянский полк (впоследствии Константиновское артиллерийское училище), а уже через два года, получив специальность сапера, принял решение не продолжать военную службу. Он устроился скромным преподавателем истории и географии в Воронежское уездное училище и в два местных женских пансиона. Суворин женится. Его женой стала дочь местного лесничего Анна Ивановна Баранова – в дальнейшем талантливая

* Из автобиографии А. С. Суворина // Воронежский телеграф. 1912. № 188. 22 августа. С. 3.

переводчица и издательница популярных книг для детей. Алексей Сергеевич спокойно и терпеливо жил преподавательским трудом. Относительная бедность и полная безвестность...

Алексей Сергеевич все настойчивее пробует себя в литературном творчестве. Дебютировал он переводом стихотворения «Узник» Беранже, опубликованным в 1858 году в журнале «Мода»*. Одно за другим его произведения – стихотворения, юмористические сценки, статьи и др., за подписью «А. Суворин» или под различными псевдонимами, охотно печатаются в журналах «Весельчак», «Мода», «Московский вестник», в газете «Русский мир»**. В это время Суворин сошелся с воронежским литературным кружком М. Ф. Де-Пуле, сблизившись там с поэтом и книготорговцем Иваном Никитиным. Алексей Сергеевич виделся с известным русским поэтом почти ежедневно в его магазине. У него же знакомился с новыми книгами. Суворин широко пользовался и обширной библиотекой В. Я. Тулупова, составив тогда каталог этой библиотеки. Де-Пуле, Никитин и Суворин совместно издали (в 1861 году) литературный сборник «Воронежская беседа», куда Алексей Сергеевич включил свой рассказ из народного быта «Гарибальди»*** и повесть «Черничка»****. Под псевдонимом «В. Марков» он посылал также корреспонденции в московскую еженедельную газету «Русская речь». Статьи начинающего журналиста привлекли внимание литературных кругов. В автобиографических заметках Суворин вспоминал: «Графиня Салиас... приглашала меня переехать в Москву. Я решился не сразу, не желая менять известное на неизвестное. Но жена, отличавшаяся сильным характером, стояла за переезд, и я переехал в конце июля 1861 года. На меня возложили секретарство и сотрудничество по критической части в “Русской речи”.

* Суворин А. Узник (Из Беранже) // Мода. 1858. № 4. С. 85–86.

** См. например: Суворин А. Колыбельная песня // Русский мир. 1859. № 5. 30 января. С. 118; и др.

*** Гарибальди: Из путевых заметок // Воронежская беседа на 1861-й год. СПб., 1861. С. 213–228.

**** Черничка // Там же. С. 20–62.

Это было началом моей журнальной деятельности и моих знакомств в московском литературном мире»*. Он знакомится с И. С. Аксаковым, В. П. Бурениным, И. С. Тургеневым, Н. С. Лесковым, Н. А. Некрасовым, А. Н. Плещеевым, Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. В. Слепцовым, немного позднее с Ф. М. Достоевским, А. Ф. Писемским, Д. В. Григоровичем и др. Это время для Суворина – пора участия в литературно-общественных кружках, где молодые литераторы обсуждают новые книги, ведут горячие споры об английской конституции, народном представительстве, женской эмансипации, социализме и фурьеризме, испытывая несомненное влияние герценовского «Колокола». Тогда же он напишет «Историю Смутного времени», к сожалению, не пропущенную цензурой...

После прекращения выхода «Русской речи» Алексей Сергеевич в декабре 1862 года переехал в Петербург для работы в редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корша. В 60-е – начале 70-х годов коршевские «Ведомости» занимали место наиболее популярной петербургской газеты и собрали, помимо В. Ф. Корша и Суворина, таких ярких русских публицистов, как В. П. Буренин, К. К. Арсеньев, Г. А. Гайдебуров, А. Н. Веселовский, В. В. Марков, К. Д. Кавелин и др. В журналах «Современник» и «Отечественные записки» появляются новые художественные произведения Суворина, сразу же обратившие на себя благосклонное внимание читающей публики и литературной критики**. В 1869–1872 годах он работал также в журнале «Вестник Европы», а с конца 1875-го – в «Биржевых ведомостях». Из-за материальных затруднений Алексей Сергеевич одновременно сотрудничал в «Русском инвалиде», «Молве» и других изданиях. Именно с этого времени засияла звезда Суворина как «короля русских фельетонистов». Невозможно

* См.: Предисловие А. С. Суворина «От автора» в кн.: Всякие. Очерки современной жизни А. С. Суворина. СПб., 1906. С. VII–VIII.

** Солдат и солдатка // Современник. 1862. № 2. С. 663–680; Отверженный // Отечественные записки. 1863. № 1. С. 20–69; Аленка // Там же. № 7. С. 1–59; № 8. С. 353–408.

переоценить его вклад в развитие русской журналистики. Именно Суворин вместе с В. П. Бурениным создали и утвердили фельетон как жанр в отечественной публицистике. С Сувориным на страницы российской газеты пришли блестящие и бескомпромиссные «литературные турниры», привлекавшие к себе внимание широких слоев читателей. Сделав темой фельетона наиболее острые проблемы государственной, общественной и литературной жизни России, он предлагал обществу обсудить их с социальной точки зрения. И вполне обоснованно русский историк литературы и библиограф С. А. Венгеров потом будет констатировать: «Крупное значение в газетном деле фельетону впервые дал блестящий талант Суворина, соединявший в себе тонкое остроумие с искренностью чувства и уменьем к каждому предмету подойти со стороны его общественного значения. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, введя в него обсуждение самых различных сторон современной государственной и общественной и литературной жизни. Это были лучшие опыты русского политического памфлета, не стеснявшиеся нападать очень резко на отдельных лиц, но вместе с тем только на общественную сторону их деятельности»*. Печатаясь под псевдонимами «Незнакомец», «Бобровский» и другими, Суворин успешно выступал как театральный рецензент, критик, памфлетист, беллетрист, историк. Читая его статьи, поражаешься наблюдательности, широте взглядов автора, для стиля которого характерны отточенное мастерство, оригинальность формы, чувство меры, чрезвычайное остроумие, тонкая язвительность, порой и сарказм. Одной фразой он мог «убить» противника наповал.

Суворин первым заговорил о нарождающемся слое в российской общественной жизни, который впоследствии получил название плутократии. Гневно клеймит он нечистоплотных думских воротил, казнокрадство, банковские махинации, биржевые игры и откровенное жульничество акционерных компаний, служебные злоупотребления и другие «прелести», – увы! – пышным цветом расцветшие сейчас. И совсем

* Цитируется по: Вечернее время. 1912. № 220. 11 августа. С. 1.

уж по-современному звучат следующие суворинские слова: «Когда вас ограбят на большой дороге, вы можете жаловаться, и если вы укажете грабителя, – иногда и полиция его найдет, – то можете надеяться, что вас удовлетворят; но когда вас ограбят в акционерном обществе, вы останетесь ограбленным на законном основании; вы и видите грабителя, и вас он видит, но вы ему не вправе сказать ничего больше, как: “Все ли в добром здоровье ваша супруга?” Вы им говорите в лицо, что они воруют, а они сияют и смотрят на вас спокойно, будучи уверены в своей безответственности... Расточители удалятся, но с сознанием, что никто не отнимет у них похищенного, никто не призовет их на скамью подсудимых»*. И еще: «Если ловкий мошенник, – пишет Алексей Сергеевич в фельетоне «Биржевая игра и Демутов отель», – вынул у вас из кармана часы, стоящие 10 р., он пойдет в Сибирь; если нищий своровал у вас булку – его запрут в тюрьму... Но если у публики своруют биржевики миллионы – это значит, что нравственность развивается и Россия прямо идет к богатству и благополучию». И далее: «Надо сто раз опустошить наши карманы, чтоб мы убедились наконец, что учредители многих компаний прямо практикуют обман, что синдикаты, т.е. особые комиссии из гг. банкиров, взявшие на себя труд пустить в ход акции предприятия, практикуют обман более наглый, чем шулера с краплеными колодами карт»**. Особенно доставалось продажным журналистам. К ним Суворин обращается с предложением прямо объявлять, что их газета «литературная, политическая и продажная», потому что «если не стыдно продавать ситец, то почему же стыдно продавать убеждения? И ситец, и убеждения наживаются, а что наживается, то продается»***. Воскресные фельетоны «Незнакомца» явились целым событием для чита-

* Суворин А. С. Очерки и картинки: Собр. рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина). Кн. вторая. СПб., 1875. С. 193–194.

** Суворин А. С. Очерки и картинки: Собр. рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина). Кн. первая. СПб., 1875. С. 4–5.

*** Суворин А. С. Очерки и картинки: Собр. рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина). Кн. первая. СПб., 1875. С. 8.

телей. Меткие суворинские выражения, типа: «Будь с виду честен, и подл внутри. Вот краткая программа для успеха»; «есть журналисты, которые готовы поддерживать всякое предприятие»; «акционерная компания по постройке дороги из Болванки в Дураковку для провоза пакли» – и другие – стали потом афоризмами. Эти выступления принесли Суворину громкую всероссийскую славу и нажили многочисленных врагов среди влиятельных лиц. Достаточно вспомнить, например, что в 1874 году один из таких фельетонов явился причиной отстранения всей редакционной коллегии «Санкт-Петербургских ведомостей» во главе с В. Ф. Коршем. В другой раз месть обрушилась на газету «Русский инвалид».

Наступил 1876 год. Тяжелая, гнетущая политическая атмосфера на юге Европы. Над Балканами вспыхивают зарницы неумолимо надвигающейся грозы. Нависла угроза страшного османского геноцида против непокорного славянского населения. Суворин приобретает право на издание газеты «Новое время» (на первых порах совместно с В. М. Лихачевым). Открывается новая славная страница в истории России и ее отечественной печати. В отличие от некоторых либеральных изданий, занявших во время балканского кризиса половинчатую позицию, суворинское «Новое время» сразу же решительно и бескомпромиссно выступило в защиту угнетаемых братьев – южных славян. И в том, что тогдашнее общество с пониманием отнеслось к действиям, предпринятым в этом вопросе императором Александром II и его правительством, – немалый вклад и Суворина. Когда же началась освободительная русско-турецкая война 1877–1878 гг., Суворин первым русским корреспондентом бесстрашно едет на Балканский полуостров. Оттуда, с места кровавых баталий, регулярно приходили его статьи и корреспонденции. С теплотой пишет он о подвигах русских солдат, о Скобелеве и Черняеве. Даже спустя много лет Суворин любил повторять: «Россия освободила славян, поставила их на ноги, предоставив им самим развиваться. Благодарны ли они или нет, безразлично: Россия, как любящая мать, радуется их успеху...»

Постепенно суворинское «Новое время» приобрело огромное общественное влияние, с которым вынуждены были считаться даже министры. Она стала первой в России большой политической газетой с чрезвычайно широким кругом читателей. К ее голосу прислушивались и далеко за границей. И причина этого не только в удачливой предприимчивости, великолепных организаторских способностях и трудолюбии Суворина, ставшего для своего любимого детища и издателем, и редактором, и корректором, и постоянным автором. Хорошо известно, например, что Алексей Сергеевич ложился спать часто часов в 10–11 утра, проводя всю ночь в чтении, корректуре и заботах об очередном номере своего издания. «Люди живут в шуме, говоре и деле, а не в тишине. В тишине только умирают люди», – нередко говорил он. Однако главная причина популярности «Нового времени» заключалась в последовательном отстаивании коллективом сотрудников газеты общероссийских национальных интересов. «Успех А. С. Суворина и “Нового времени” есть успех тех средних и высших слоев русского общества, которые по своему духу и частью по своему происхождению кровно связаны с русским крестьянством, с русскими народными низами, т.е. с самым живучим и вековечным ядром русского народа», – напишет впоследствии русский публицист Г. Локоть*. По очень точному выражению В. В. Розанова, в Суворине всегда жило «великое чувство России, чувство Матери, которую разрубить нельзя, которую нельзя судить, чего, к сожалению, не всегда хватало слишком многим правительственным лицам»**. Заповедью, молчаливо принятой всеми сотрудниками «Нового времени», было: ничего – специального, ничего частного, ничего партийного; все – для всей России, для «целой России». В газете участвовала целая плеяда талантливейших русских публицистов-«нововременцев». Среди них – В. П. Буренин, Ф. И. Булгаков, Н. С. Лесков, В. В. Розанов, Н. М. Ежов, М. О. Меньшиков, С. К. Эфрон, А. А. Сто-

* Локоть Г. В чем сила и значение А. С. Суворина? // Голос Москвы. 1912. 14-го августа. С. 2.

** См.: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. С. 35.

лыпин, О. Ф. Миллер, А. Н. Молчанов, К. А. Скальковский и другие. Алексей Сергеевич создал и поддерживал в коллективе особую творческую атмосферу. Для начинающего публициста пройти «суворинскую школу» было большой удачей. Вот как вспоминал об этом публицист-суворинец и писатель Николай Михайлович Ежов: «Счастлив тот журналист, кто поработал у такого гиганта-редактора, как Суворин! Я это счастье испытал, и имя "А. С. Суворин" для меня священно. Этот старый руководитель "Нового времени", как Борей, с белыми власами и седою бородой, потрясал умы читателей и учил всех нас добру, чести, стойкости, борьбе за право и правду. Он давал сотрудникам свободу за их искренность. Он был образован, многознающ, полезен, добр, доступен, справедлив, милостив… Он был редактор мудрый, опытный и обладал проницательностью, перед которой не спасала никакая маска. Он от своего сотруднического хора требовал верного пения и фальшивых нот не выносил. Это редактор – образец, пример, достойный подражания, редактор – друг и брат, редактор, отечески относящийся к вам в минуту ваших падений и заблуждений. Пробыть несколько лет в распоряжении такого редактора – это все равно, что прослушать курс лекций талантливого профессора»*.

Как публицист Алексей Сергеевич Суворин на страницах своей газеты решительно поддерживал все проводившиеся в национальных интересах политические и экономические реформы, деятельность народной, национально-русской буржуазии. Им не обходилась стороной ни одна злободневная проблема: будь то славянский вопрос или же вопросы семьи и брака, нравственности, Церкви, литературоведения, русского изобразительного искусства. Особое внимание Суворин уделяет еврейскому вопросу и его влиянию на различные события русской и международной жизни**. Этой проблеме он и его сотрудники посвятят немало статей. Они вполне аргу-

* Ежов Н. М. Алексей Сергеевич Суворин // Исторический вестник. 1915. Т. 139. № 2. С. 469.

** См., напр.: Маленькие письма // Новое время. 1897. 19 декабря. С. 2; 1906. 19 января. С. 3 и др.

ментированно рассматривали еврейский вопрос как вопрос величайшей государственной важности, от правильного решения которого зависит будущность России и русского народа. Алексей Сергеевич неоднократно предупреждал об опасности скупки земли, усиления эксплуатации русского крестьянства и перехода значительной доли русской недвижимости в руки еврейских магнатов, о возрастании влияния просионистских кругов на политические процессы в России и тесной связи либерализма с еврейством. «Новое время» никогда не занималось угодничеством, подлаживанием под вкусы толпы. Его читатели видели, сколько неумолимой и жестокой критики сыпалось на правительство за вялость и медлительность при проведении реформ. Суворин часто шел против течения, всегда выступая за цивилизованное решение назревших проблем, слишком хорошо сознавая всю абсурдность «пути великих потрясений», на который звали народ революционные и социал-демократы. Позиция газеты и ее успех вызвали бешеную злобу в стане ее противников – революционных демократов, социалистов, сионистских кругов и т.д. Раздавались призывы к бойкоту «Нового времени». Все отразилось в этом стройном хоре хулителей – и ненависть, и хамство, и… обыкновенная человеческая зависть. «Анонимные пасквили меня не покидают», – с грустью констатирует Алексей Сергеевич в одном из своих писем*. И вновь вспоминаются слова В. В. Розанова: «Он принял бесчисленные оскорбления, принял лютый вой всей печати, принял комки грязи, полетевшие на него от безумной и обманутой молодежи (если только не павшей молодежи), заслонив от уймы подлости и пошлости больное тело России. Раны Суворина – раны телохранителя России. Позор Суворина (в печати) – это как мать берет на себя грех дочери и несет его молча»**. Газета осталась верною себе до конца. «Новое время» было закрыто уже большевиками в 1917 году, на следующий же день после октябрьского переворота. К «Новому времени» тянулось все талантли-

* См. Письмо А. С. Суворина к В. В. Розанову от 18 апреля 1899 г. в кн.: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. С. 77.

** Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. С. 55.

вое, его читало все образованное в России. Многих известных писателей в начале их литературной карьеры морально и материально поддержал Суворин, многих обласкал, дал им возможность встать на ноги. Алексей Сергеевич помог обрести уверенность начинавшему писателю Всеволоду Михайловичу Гаршину. Об этом свидетельствуют письма Гаршина: «Сегодня снес свое маленькое произведение к А. С. Суворину (Незнакомец). Принял он меня так хорошо и тепло, что я от него в восторге; мой очерк оставил для прочтения»*. И еще: «О себе скажу, что вчера, наконец, был у Суворина и оставил у него свою работу. Принял он меня так ласково и тепло, что я еще больше полюбил его… Очень он хороший человек, простой, нисколько не генерал»**. Хорошо известно, например, нежное, отеческое отношение Алексея Сергеевича к А. П. Чехову, которого он вообще выделял в сонме литературных собратий. В газете «Новое время» напечатаны впервые такие прекрасные чеховские рассказы, как «Панихида», «Ведьма», «Агафья», «Кошмар» и многие другие. С теплотой вспоминал о сотрудничестве с «Новым временем» и В. В. Розанов. Переписка Суворина с писателями-авторами газеты свидетельствует, как требователен бывал Алексей Сергеевич к их литературному мастерству, как кропотливо работал с каждым из них. Он не терпел никакой неряшливости, торопливости, небрежности и преувеличений. Часто Суворин публиковал в своей газете то, что ему было лично враждебно, если только, по его словам, в авторе «горела индивидуальная душа».

Суворин никогда не был «шовинистом». Еще в 1870 г. в очерке «В гостях и дома» он писал: «А как бы нам нужно учиться. Боже мой, как нужно! Европа не будет нас ждать долго, а между тем внутри нас сидит весьма опасный враг; этот враг – наше невежество, наша отсталость, наше незнакомство с азбукой общественной и политической жизни, столь колоссальное незнакомство, что мы продолжаем упорно считать вредным

* См. Письмо Р. В. Александровой от 27 ноября 1875 г. // Гаршин В. М. 1855–1884. Полное собрание сочинений в трех томах. Т. 3. М.; Л., 1934. С 56.

** См. Письмо Е. С. Гаршиной от 28 ноября 1875 г. // Там же. С. 57–58.

многое из того, что на Западе считается бесспорно полезным»*. Позднее замечательный русский православный публицист и писатель А. В. Круглов отметит: «В своей тяжелой жизни он прошел все слои русского общества – от низших до высших – и изучил его идеалы. Он не переоценивал их культурность и не обольщался русской действительностью. Но всю жизнь работал для того, чтобы видеть эту действительность такой, какой она манила его в воображении. Он был несравненно бóльшим либералом, чем шумливейшие из его обличителей, но он был умнее их и понимал, что общество растет и развивается медленнее, чем идеи»**.

Суворин обладал недюжинным литературным талантом. К лучшим произведениям русской литературы о бурных событиях общественной жизни России начала 60-х годов XIX века (в ее столичном отражении), о нигилизме и нигилистах относится сатирическая повесть Суворина «Всякие. Очерки современной жизни» (1866). Все вопросы, будоражившие в то время общество, исследуются писателем: конституция, созыв земского собора и аграрный вопрос, прокламации и знаменитые петербургские пожары, свобода печати и женское равноправие и тому подобное. Все происходящее с одним из главных героев, «другом нигилистов» и подражателем Базарова князем Щебыниным, похоже на анекдот, грубый фарс, пародию. Под именем Самарского в повести выведен тогдашний кумир революционной молодежи Н. Г. Чернышевский, с которым Суворин познакомился и беседовал всего за несколько часов до его ареста в июле 1862 года. Вот характеристика этого видного деятеля нашей истории: «Трудно было найти человека более честного, более готового на всякое доброе дело, более преданного тем убеждениям, которые он старался проводить в своей литературной деятельности и которых держался в жизни... Он почти безвыходно жил в своем кабинете и не знал развлечений. Жизнь проходила мимо него, и он не имел почти возможности

* Суворин А. С. В гостях и дома (Заметки о Германии) // Вестник Европы. 1879. № 10. С. 814.

** Памяти А. С. Суворина // Светоч и дневник. 1912. № 7–9. С. 190.

прямо наблюдать ее и раскусить людей как следовало бы»*. По досадному недоразумению первое издание «Всяких» было уничтожено в феврале 1867 г. по приговору Санкт-Петербургской судебной палаты, а сам автор провел три недели на гауптвахте. Это станет поводом для написания Н. А. Некрасовым своего известного сатирического стихотворения «Пропала книга!».

Предчувствием надвигающихся катастроф, тревогой за судьбу России проникнут роман «В конце века. Любовь» (1893). Уже в самом названии романа усматривается нечто знаменательное, символическое. Главную идею произведения хорошо выражают слова одного из героев, как нельзя актуальные и для дней сегодняшних: «В тяжелое время мы живем. Конец века! Чувствуешь, как будто весь этот век стоит за спиною и давит… Люди душу потеряли и ищут ее снова и не могут найти»**.

Перу Суворина принадлежат три крупных исторических рассказа о русских замечательных людях – покорителе Сибири Ермаке, могущественном боярине Артамоне Сергеевиче Матвееве и патриархе Никоне. До революции рассказы неоднократно переиздавались и были очень популярны у читателей. Великолепному знанию исторических, этнографических особенностей допетровской России, увлекательной манере повествования могли бы позавидовать многие современные литераторы, пытающиеся браться за исторические темы. Большой интерес представляют и литературоведческие исследования Алексея Сергеевича. Постоянной их темой было творчество русских писателей – А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Никитина, К. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Д. В. Григоровича, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, некоторых зарубежных писателей и др. Достаточно сказать, что ему принадлежит заслуга разоблачения в 1900 году опубликованной в «Русском архиве» нашумевшей мистификации – подделки. Д. П. Зуевым «Окончания» «Русалки» А. С. Пушкина…

---

* Всякие. Очерки современной жизни А. С. Суворина. 2-е изд. СПб., 1906. С. 113–114.

** Суворин А. С. В конце века. Любовь: Роман. СПб., 1893. С. 287.

Драматургия Суворина и его театральная деятельность – тема особого, большого разговора*. Заметим только, что драма «Медея» (1883; в соавторстве с В. П. Бурениным), комедии «Татьяна Репина» (1887) и «Вопрос» (1903), историческая драма, посвященная событиям Смутного времени, – «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения» (1902) – с большим успехом обошли сцены отечественных театров, постоянно присутствовали в их дореволюционном репертуаре. В театральных же очерках Суворин выступает против пошлости, казенщины, засилья на русской национальной сцене бездарных зарубежных водевилей, угадывает и оценивает каждое новое сценическое дарование, упорно отстаивает идею свободы русских театров. В 1895 году он создал образцовый по тем временам Театр Литературно-художественного общества (ныне Санкт-Петербургский Большой драматический театр). Здесь впервые на русской сцене были поставлены «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, «Дети Ванюшина» С. А. Найденова. Бескорыстная материальная и моральная поддержка Суворина дала дорогу многим русским театральным талантам, не сумевшим по различным причинам укорениться на сцене императорских театров.

1-го января 1901 года на сцене Театра Литературно-художественного общества состоялась первая постановка знаменитой пьесы С. К. Эфрона и В. А. Крылова «Контрабандисты». Пьеса была поставлена исключительно по желанию Суворина. Правильно понять позицию Алексея Сергеевича в этом вопросе помогает его «Маленькое письмо», опубликованное в газете «Новое время» от 7 января 1901 года. «В литературе и на сцене очень часто, – писал он, – изображаются дурные стороны русских людей, и в этом значение и сила литературы и сцены. Почему же евреи должны в данном случае представлять исключение, и нельзя на сцене изображать их дурные стороны? Пьеса Эфрона и Крылова написана местами талантливо, верно изображен еврейский быт, и потому, безусловно,

* Об этом подробнее см.: Климаков Ю. В. Для свободных целей... // Встреча (Культурно-просветительная работа). 1995. № 11. С. 36–37.

является общественной пьесой. В еврейском народе, как и во всяком другом, есть и добрые, и дурные люди. Если говорить о равноправности всех народностей, населяющих Россию, а в данном случае о равноправности евреев, то прежде всего надо установить эту равноправность в литературе и на сцене...»*. В день премьеры революционными и либеральными кругами были спровоцированы буйные бесчинства еврейской молодежи. «Проучить Суворина, да так проучить, чтобы впредь неповадно было», – подстрекала ленинская газета «Искра». Но, несмотря на все противодействия «либеральной» и «демократической» «общественности», пьеса имела громадный успех у зрителей. Она неоднократно ставилась в суворинском театре и была показана в других театрах России. Публика осаждала театр Суворина, желая попасть на этот спектакль.

Сейчас немногие знают о том колоссальном перевороте, который совершил Суворин в отечественном издательском деле. Он первым в России начал массовое издание дешевых книг. В созданной им типографии сначала в серии «Дешевая библиотека», затем в «Новой библиотеке», «Научной дешевой библиотеке» выпускается почти вся русская художественная литература XVIII–XIX веков, зарубежная художественная литература, а также исторические сочинения. Миллионными тиражами, в прекрасных переплетах и по копеечной цене выходили Аристофан, Байрон, Бальзак, Вольтер, Данте, Диккенс, Дюма, Эврипид, Золя, Киплинг, Марк Аврелий, Стендаль, Флобер, Шекспир, Эзоп. Почти за 40 лет издательской деятельности Суворина им было издано более 400 авторов. К пятидесятилетию со дня смерти Пушкина вышло собрание сочинений в 10 томах, каждый том по 10 копеек, общим количеством в 100 тысяч экземпляров. Выпускались и дорогие роскошные издания типа «Дрезденской галереи» и «Императорского Эрмитажа». С 1880 года Сувориным издавался редактируемый С. Н. Шубинским знаменитый журнал «Исторический вестник», где было опубликовано немало интереснейших материалов, касающихся русской истории. В 1894 году им также изда-

* Суворин А. Маленькие письма. СОУ // Новое время. 1901. 7 января. С. 2.

ется уникальный в России журнал «Шахматы», посвященный искусству шахматной игры. Настольными книгами русского человека стали суворинские справочники «Весь Петербург» (с 1894 г.), « Вся Москва» (с 1895 г.), «Вся Россия» (с 1895 г.), «Русский календарь» (с 1872 г.).

Современники справедливо называли Суворина Наполеоном русского книжного дела. Он создал «Контрагентство печати» – огромную организацию, специально занимавшуюся сбором информации и распространением периодических и других печатных изданий по всей России. Книгами торговали в шести специальных книжных магазинах «Нового времени»: в Петербурге, Москве, Харькове, Одессе, Саратове и Ростове-на-Дону, а также в сети книжных киосков на всех линиях железных дорог и водных путей Российской империи. Деятельность суворинской типографии была удостоена золотых медалей на Международной выставке в Париже в 1889 и 1900 годах. Для сотрудников газеты «Новое время» А. С. Суворин основал вспомогательно-сберегательную кассу, дав уставной капитал и впоследствии постоянно внося от себя на имя сотрудников крупные суммы. В 1884 году при типографии на средства Суворина была устроена первая частная бесплатная школа в России. Для работающих в типографии, книжных магазинах и конторе «Нового времени» была организована бесплатная медицинская амбулатория с выдачей лекарств. Вдовам и сиротам работников типографии, а также нетрудоспособным сотрудникам выплачивалась постоянная материальная помощь. Для детей своих работников Суворин ежегодно организовывал рождественские елки. Также Алексей Сергеевич создал большую школу у себя на родине, в селе Коршево, – причем существует она и поныне.

Алексей Сергеевич Суворин в своей жизни пережил немало личных трагедий. Страшное несчастье постигло его 21 сентября 1873 года – нелепо погибла первая жена, А. И. Суворина (Баранова). 1 мая 1887 г. застрелился сын – Владимир. С утратой детей Алексею Сергеевичу пришлось, к сожалению, столкнуться не единожды. Последние годы жизни

Суворина были омрачены семейными неурядицами. «Что-то фатальное тяготеет над его семьей», – констатировал в одном из писем А. П. Чехов*.

Суворин скончался после тяжелой болезни в ночь на 11-е августа 1912 года. Уже будучи смертельно больным, мучительно страдая от перенесенных, но, увы, бесполезных операций, он все равно целиком был погружен в любимую работу, в свои «труды и дни». Смерть Суворина не оставила равнодушным никого: ни друзей, ни злейших врагов. Но и те, и другие оказались единодушны в одном: с арены политической и культурной жизни России исчезла яркая и самобытная историческая фигура, крупнейшая личность, бывшая выражением и отражением целой эпохи, оказавшая влияние на ход отечественных событий двух последних десятилетий XIX и начала XX веков.

Подлинная деятельность и заслуги Суворина почти восемьдесят лет замалчивались и бессовестно искажались коммунистической пропагандой. Поводом к этому, несомненно, послужила статья-пасквиль В. И. Ленина «Карьера», опубликованная 18 августа 1912 года в «Правде» по случаю кончины А. С. Суворина. Забыв об элементарной этике, вождь большевиков-интернационалистов вылил на почившего ушат грязи. Суворин представлен как «бедняк» и даже «демократ» в начале своего жизненного пути, но в конце – уже как «миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих», «шовинист» и «националист». Занятая же Сувориным твердая патриотическая позиция в ходе русско-турецкой войны, по Ленину, помогла «этому карьеристу» «найти себя» и найти «свою дорожку лакея». Не будем цитировать дальше все эти инсинуации. Полагаем, давно настала пора узнать читателям правду о Суворине и приобщиться к его духовному наследию. Написанные на самые злободневные темы его многочисленные фельетоны, памфлеты, очерки, статьи, а также заметки,

* Чехов А. П. Письмо А. Н. Плещееву от 13 августа 1888 г. // Чехов А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 11. Письма 1877–1892 гг. М., 1963. С. 243.

рецензии, переводы, передовицы, обзоры очень часто публиковались в различных газетах и журналах под псевдонимами или и вовсе без подписи. Они еще ждут своих исследователей.

В настоящий сборник включены произведения Суворина, создававшиеся на протяжении всей его творческой жизни и характеризующие Алексея Сергеевича как великого русского мыслителя. Материал выявлялся путем изучения и просмотра «Нового времени», а также других журналов и газет, с которыми сотрудничал Суворин. Изучены выходившие до революции сборники произведений публициста. Многие статьи публикуются в настоящем издании впервые после 1917 года. В основу же их распределения в сборнике положен предметно-тематический принцип. В раздел «Приложения» включены воспоминания об А. С. Суворине, воссоздающие неповторимый облик этого человека. Все приведенные произведения снабжены необходимым комментарием.

Текст публикуется в современной орфографии.

Ю. В. Климаков

РАЗДЕЛ I

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ

РУССКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ

Характер прожитых реформ

В конце прошлой недели ходили слухи о том, что правительство занято серьезными заботами о внутреннем переустройстве, что программа выработана и одобрена Государем и что в течение этого года мы будем свидетелями необыкновенно живого внутреннего дела. Что для публики было слухом, то для многих посвященных было действительным фактом. По-видимому, ничто не угрожало нашему спокойствию, а напротив, сулило в будущем хорошие дни. Слухи о заговорах и покушениях совсем исчезли. Масса административных ссыльных получила прощение. Даже и в заграничной печати наступило полное молчание и стали появляться статьи об умиротворении России, об оживлении ее, о вступлении в новый фазис развития.

Но первое марта принесло то огромное несчастие, которое повергло весь народ русский в ужас и скорбь. Сначала не хотели этому верить. Ходили какие-то неопределенные слухи. Говори-

ли, что слышались выстрелы, что в народе необыкновенное движение, что народ толпами бежит к Зимнему дворцу, к Аничкову дворцу, по Екатерининскому каналу, и что никто ничего не знает. Все были как потерянные, и народ, и публика, и администрация. У всех вдруг оказалось страстное сожаление о почившем Царе, и везде называли его мучеником. Много пролито было слез, много проклятий высказано преступникам, много ожесточения выражалось народом. Полиции только и приходилось, что защищать от побоев, которым подвергались те или другие лица. Опасались и народной расправы, и, не выкажи такта и публика, и администрация, дело не обошлось бы без крови. С женщинами делались обмороки, множество их заболело. Прилив в клинике душевно больных усилился значительно. Вообще потрясение было всеобщее, необычайное. Открытие мины еще более усилило удручающее состояние всех. Толкам не было конца, начиналась распространяться та пагубная паника, то бессилие разума овладеть смутным состоянием общественной атмосферы, которые всегда знаменуют собою сильные кризисы. Какую-то безрассветную, томительную, ужасную неделю прожили мы.

Каждый из нас, людей, которые подходят своими летами к полувеку, прожил сознательно все это, теперь минувшее, царствование. Всякий, кто стоял близко к треволнениям жизни, прожил эти годы жизнью деятельною, полною впечатлений, надежд, разочарований, общественных радостей и общественного горя. Нервам нельзя было ни загрубеть, ни успокоиться: они были вечно под впечатлениями сильных движений жизни, и образовался особый тип русского человека, впечатлительного, порывистого, не способного ни спокойно рассуждать, ни спокойно выслушивать доводы противника.

Время это привыкли называть переходным. Переходным – к чему? – Это не спрашивалось. Просто переходное время. Скорее оно было временем, вступающим в новую жизнь, временем самосознания, временем гражданской ответственности перед собою и другими, временем борьбы старых начал с новыми, которые так обильно рвались вперед, благодаря реформам почившего Императора. Замечательно, что в то время,

когда мы нетерпеливо ждали постоянно чего-то нового, ждали такого обновления, которое переделало бы всю жизнь, иностранцы, напротив, удивлялись слишком быстрому движению жизни. В некоторой части иностранной печати даже теперь, после кончины Государя, характеризуя его деятельность, говорят, что освобождение крестьян было преждевременно. В сущности действительно нет государства, где жизнь двигалась бы так необыкновенно быстро, где в четверти века было бы сделано так много. И это зависело именно от того, что Государь начал реформы с самой коренной – с освобождения крестьян.

Реформаторская деятельность прежних царствований, начиная с Петра, не касалась именно этой стороны жизни, и в том их выгода, показная выгода этих царствований. Они реформировали города, войско, чиновников, помещиков, а не села, не крестьян, реформировали те слои населения, которые и без того стояли впереди. Не знаю, указывал ли кто на эту сторону реформ почившего Государя; но, по-моему, она чрезвычайно важна для оценки результатов этого царствования. Крестьяне, села – все это оставалось под спудом в прежние царствования, на их счет жило государство, ими устраивались все управляющие, вся администрация, из них исключительно составлялось войско солдат. Одеть бояр в европейские кафтаны, изгнать бороды, одеть войско по-европейски – это сейчас же бросалось в глаза, пахло чем-то необыкновенно новым. Обучить войско было труднее, образовать подданных еще труднее, возвысить экономический быт страны – всего труднее. Петр и войско обучил, и положил основы образованию. Это были первые шаги к развитию. Он завоевал себе поклонников, фанатических, потому что все интересы этих поклонников соединялись с реформою. Они ничего не теряли, а только выигрывали; недоставало своих – явились иностранцы, наемники, но тоже преданные реформе. Петр не сомневался в пользе реформы, потому что видел западные образцы и стремился к ним неудержимо: это был идеал, несомненный для него. Но была старая Русь, с которою приходилось бороться, был народ, который коснел в невежестве и под бременем налогов. На народ он не обращал ни малейшего внимания; или,

лучше сказать, он закрепил его своей переписью окончательно за помещиками, во имя интересов государства. Души служили наградою за услуги государству. Борьба Петра со старою Русью, борьба, которая некоторым либералам кажется очень симпатичною, в сущности была странно жестокою и деспотическою. Петр преследовал все сколько-нибудь свободные проявления человека – веру, мнения, костюм и проч. Но у материально обеспеченной Руси он все-таки ничего не отнимал, и она с ним мирилась. В постоянной оппозиции находился раскол, народ, которому не привыкать было к лишним трудам и лишениям, и он мирился так или иначе с своею участию и даже славил Царя в своих песнях, гордый подвигами его на поле бранном, умея ценить его энергию и труд. Народ тем хорош, что он справедлив, как история: он скорей забудет зло, но всякое добро твердо сидит в его памяти и он украшает его еще своей фантазией.

Реформы Екатерины тоже были показные и метили тоже только на войско, города и помещиков. Самая ее законодательная комиссия была в значительной степени только парадом, хотя все-таки сослужила службу и ей лично, и государству. Наказ[1] был выставкою ума и смелости Императрицы прежде всего перед Европой, где он распространен был на французском, немецком и латинском языках. В России он доступен был только депутатам, в продажу не поступал и разослан только в высшие учреждения, как, например, сенат, судный приказ, но губернские учреждения были исключены; да и относительно высших учреждений было постановлено, чтоб Наказ читали только высокопоставленные лица, а низшим не позволялось не только списывать его, но даже читать. В этом сказывалась характеристическая черта чисто внешнего либерализма нашего XVIII века. Народ давал труд и деньги, народ служил солдатом, выигрывались битвы, покорялись новые земли благодаря даровитым полководцам... Француз Шапп[2], проехавший по России, напечатал, что русские крестьяне светят у себя в избах лучиной и едят плохой хлеб. «Это неправда, – отвечала Екатерина в своем «Антидоте»[3], – во всякой избе есть лампа, где горит масло, и везде едят калачи». Александр Первый вместе с Новосильцевым и Чарторижским[4] затеял

довольно широкое представительство; подумали и о крестьянах, но отступили перед этой задачей. Мы воевали, много воевали, за себя и за других, больше за других. Являлось просвещение, началась эта так называемая интеллигенция образовываться заметно в Петербурге и Москве. Но везде ее было мало. Народ оставался при прежнем положении. Росли города, росла промышленность и торговля, росло войско, явились гениальные писатели, явились пресловутые люди сороковых годов. Но все огромное большинство этой интеллигенции жило крепостным трудом, питалось им и знало дело и работу только как развлечение.

Карамзин стоял за крепостное право и прямо это выражал, хотя в душе, как сам же говорил, был республиканцем. Это не составляло противоречия. Ведь Афины жили рабством!.. Польша, весь польский блеск, весь польский республиканизм рос на крепостном праве и питался им. Образованные русские говорили против рабства, очень красиво и даже сердечно говорили, и проедали доходы с душ. Все лениво и не деятельно плелось не то вперед, не то назад. Интеллигенция жаловалась на реакцию, народ на интеллигенцию, которая почти сплошь состояла из владельцев душ и которая не находила времени даже обучать грамоте своих крепостных.

Вот вкратце наша история. Войско, чиновники, города, торговцы – вот что развивалось, вот что получало некоторое значение, образование, что выплыло вперед и стремилось стать европейцами и мечтало более или менее о европейских учреждениях. Является Царь, в цвете лет и мужества, прекрасно воспитанный и образованный, с теплою душою, с самыми искренними желаниями сделать свою Россию счастливою и довольною. Он принял трон в годы иноземного нашествия, в годы чрезмерного напряжения сил своей страны. Война кончена. Подписан мир и раздается твердое царское слово о необходимости освободить крестьян и знаменательное выражение: «Лучше начать реформу сверху, чем ждать начала ее снизу». Это было необыкновенно ново. Реформа села, того села, которое оставалось нетронутым со времен татарского и всяких своих погромов, того села, перед реформою которого отступали все русские цари. До сих пор рос-

ла интеллигенция, – теперь должен расти народ. Это целый переворот, целая революция мирными путями и средствами. Если в сотни лет города улучшились, обстроились, побогатели, то сколько лет надо для села, чтоб оно обстроилось и побогатело? Но мы нетерпеливы, может быть именно потому, что хвастаемся своим терпением. У нас чтоб как по щучьему велению все было. Мы требуем, чтоб результаты получались быстрые, чтоб они вполне отвечали тому энтузиазму, с которым начато дело. Но ведь это легко сказать – реформа села, в котором живет невежественный, первобытный народ! Ведь нельзя же отказать помещику в вознаграждении за землю. Нужны сотни миллионов для этого. Крымская кампания своими результатами лежала на плечах. Потребности бюджета росли. Не было ни дорог, ни банков, ни школ, ни техники. Народ кое-где даже пахал деревянною сохою. Быстро возвысить село было во сто раз труднее, чем возвысить город. У государства не хватало на это даже материальных средств. Но здание заложено прочно и навсегда, заложено так, как нигде в мире. Начата борьба со старым началом, борьба, которая сильно затронула материальные удобства тех самых людей, на которых, как на руководящий класс, опирались прежние царствования.

Где дело касается денег, там всякий человек, будь он очень просвещенным, чешет у себя в затылке, щупает карманы и тревожно оглядывается кругом. В республиканизме американцев сомневаться нельзя, а они проливали свою кровь, чтоб отстоять рабство. У нас вышло разом нечто совершенно противоположное тому, что было: в прежние времена за заслуги давали души, а теперь души отбирались, отбирались у всех без исключения, даже у тех, кто стоял около трона, кто обязан был помогать своему Государю. Какую борьбу он вынес – всем известно.

Во избежание недоразумений, я раз навсегда оговариваюсь, что у меня нет никакого желания винить ни дворянство, ни другие сословия, ни какие-нибудь лица. Я набрасываю картину в общих чертах и набрасываю ее с единственною целью, чтоб показать, в каких трагических и роковых условиях очутился Государь с первых же шагов своего царствования, как далеко р а з н и л и с ь все эти условия от тех, в каких дей-

ствовали прежние государи. Ничего общего даже не было. Те дарили крестьян, этот отбирал, те давали грамоты о вольности дворянству, этот давал грамоту о воле крестьянству; те предоставляли помещику право отдавать крестьян в рекруты и получать за это деньги, ссылать их на поселение; этот всех обязал военной службою и поставил всем один и тот же суд; те поддерживали все сословия, исключая крестьянского и на счет крестьянского, этот, – заметьте эту гуманную и высокую государственную цель, – Александр II, старался примирить все сословия между собою, примирить в будущем на почве общих государственных интересов, связать их не личными, а взаимными выгодами, заставить сословия передовые, для которых столько сделали прежние царствования, поступиться своими льготами и интересами в пользу крестьянства, в пользу целого народа. Он является проводником братолюбия между народом и другими сословиями, но для этого требовались жертвы материальные, постоянно требовались материальные жертвы.

А жертвовать материально ведь трудно, господа: мы живем, желаем жить, всякому своя рубашка близко к телу. Всякую жертву мы желаем чем-нибудь вознаградить, а если вознаграждения нет – мы недовольны; недовольство растет, если жизнь естественно дорожает и усложняется и если мы не были приготовлены постепенно к этим новым переходам. Конечно, если напрячь усилия... Но ведь этому надо было научиться в науке жизни, которая чрезвычайно трудна. Мы стали выражать свое недовольство, критиковать то, что прежде с удовольствием признавали. Наши дети это слушали: они повели эту критику недовольства далее.

Да, материально жертвовать трудно. А все реформы когонибудь задевали именно с этой стороны. Земство устраняло господство бюрократов в значительной степени и требовало налогов для своих нужд. Новые суды создали целый мир новых людей, с иными правами, с иными понятиями, и прежние люди должны были уступить им. Воинская повинность неприятно задевала все сословия, исключая крестьянское. Бюджет вырастал, жизнь дорожала, интеллигенция росла если не вглубь, то

в ширину, печать получала небывалое развитие, литература представляла массу научных и всяких других книг. Критика обращалась на все и находила себе пищу в усложненных реформами условиях жизни. Шла перестановка состояний, влияний, общественных положений. Одним словом, совершался страшный переворот во всех сферах жизни, переворот быстрый, резкий, единственный, в своем роде, в истории. Добро не делается без зла, великие блага не приобретаются при одних рукоплесканиях, но вызывают и змеиное шипение. Никогда еще Россия не жила такою нервною, судорожною, бьющеюся жизнью, как в эти 20 лет, посвященные великой идее – соединить все сословия русского народа в одно целое, солидарное, взаимно ответственное за нужды и развитие государства. Когда-нибудь нужно было это сделать, когда-нибудь надо было ввести массу народа в общий строй государства. Этот труд принял на себя почивший Государь и в последние дни своей жизни занимался проектами завершения его. Всякие революции, всякие перевороты возбуждают массу недовольных. Недовольства было много и у нас, явного и тайного, и потому, главным образом, было его много, что совершался великий экономический переворот во всех слоях жизни. Довершить реформу села, развить в нем образование, довольство, ремесла – дело последующих царствований. Главное сделано, и почивший Государь создал себе в сердцах народных памятник, к которому «не зарастет народная тропа». Заслуги Государя вечны, и его имя займет выдающееся место в нашей истории. История справедливее современников. Она имеет дело со всей совокупностью явлений, с причинами и последствиями, с исполнителями реформ и предначертаний, с их тайными думами и самолюбиями, и личность почившего Государя явится во всем своем живом, добром, прекрасном образе.

Будем жить. Жизнь переменчива. Горе сменяется радостью, и кончим словами нашего великого поэта:

Мертвый в гробе мирно спи –
Жизнью пользуйся живущий.

В гостях у Москвы[1]
(Москва, 17-го мая)

«О, какой день! какой великий, исторический день!» Так начинает сегодня Аксаков свою статью[2], часть которой я вам сегодня телеграфировал. Этот день пережили мы здесь все, и воспоминание о нем долго не изгладится из памяти. Все, что вы прочтете об этом дне, все будет бледно в сравнении с тем, что было. Не думаю, чтоб мое вчерашнее письмо много дало вам. Я избрал единственно возможную форму в настоящем случае – не мудрствуя лукаво, описать последовательно только то, что было. Аксаков хочет проглянуть во внутренний смысл этого события, которое в глазах всех разрастается. Он говорит совершенно справедливо, что в этот день «два лица, два гиганта только и стояли друг перед другом: Царь и Народ, Народ и Царь, и творили вместе дело истории. Стоном стонала земля от восторгов народных. Это она заговорила, Святая Русь». Далее читаю: «Никогда не предпочтет русский народ самодержавию личной, нравственно-ответственной совести человека-Царя случайное перескакивающее самодержавие вечно зыблющегося, изменчивого, арифметического перевеса безличных голосов, даже и нравственно-безответных! В том-то и значение русского Царя, и основа благодетельной независимости Его власти, что Он не есть никакой-либо “первый дворянин”, как бывало во Франции, ни представитель какого-либо господствующего в данную пору сословия, ни вождь известного разряда единомышленников, ни даже глава пресловутого “большинства”. Он – первый человек своей земли и своего народа, никому и ничему не подвластен, лишь Богу и Его заповедям. Русский венец или жезл правления не игралище периодических выборов, не предмет добычи для борющихся партий – способом насильственного или искусственного захвата. При благословенном наследственном образе нашего правления Царь приемлет власть не своим честолюбивым или властолюбивым хоте-

нием, а по произволению Божьему, приемлет как бремя, как служение, как подвиг, Богом ему сужденный. Русский народ, подтверждаем снова, чужд всякого поползновения к политическому державству; он желает себе лишь свободы быта, свободы внутреннего общественного сложения и самороста, свободы жизни и деятельности. Ни в какой стране поэтому и не существует, в основе государственного устройства, таких широких зачатков местного самоуправления, как в России: нет надежнейшей опоры и оплота для русской царской власти, как наш сельский мир; на мирском или общинном строе Русской земли, способном и к более полному, в народном же духе развитию, зиждится русское самодержавие. Чем тверже и независимее верховная власть, тем совместимее с нею и всякое благо мирной свободы».

Вот искренний взгляд человека, которого уважают враги, враги самые разнообразные, и открытые, и скрытые, те скрытые враги, которые являются при случае друзьями и втайне, как говорится, точат нож. Наша современная действительность тем и ужасна, что она переполнена неискренностью, фарисейством, ложью, стремлением к отличиям, к удержанию за собою места. Шатание до того ярко выражается, что попробуйте заговорить с незнакомым человеком в одном тоне – и он в него перейдет тотчас же, хотя с постепенной осторожностью. Это какое-то общее правило, из которого наиболее исключений представляет Москва, и одно из самых блестящих исключений – Аксаков. Его статья – это лучшая речь из всех речей, произнесенных в эти дни, речь, полная одушевления и искренности. Ее нельзя было не заметить, и о ней говорят сегодня в некоторых здешних кружках более, чем об иллюминации.

В гостях у Москвы
(Москва, 26-го мая)

И двунадесять язык снова собрались сюда, в эту Москву, в этот храм, в этот памятник русской славы и русского само-

отвержения, в этот храм, воздвигнутый в смирении «не нам, не нам, а имени Твоему». И француз, и немец многообразный, и австриец, и итальянец, и все, все были тут, которые были и тогда. И Император русский, соименник Александра I, на которого шли все эти двунадесять язык и за свободу которых потом, в беспримерном великодушии, он повел Россию сражаться, и Император Александр III со своей царственной семьей молился в этом храме в присутствии двунадесяти язык, гордый сознанием русского человека и русского царя, со знанием важности тех подвигов, которые совершила Русь тогда и совершала потом, укрепляясь и вырастая. И ярким светом блестел этот чудесный, этот привольный храм молитвы, и стройный хор славил Бога.

Воспоминания, до слез трогающие, проносилися в голове. Сколько слез и крови пролито по капризу гениального полководца, сколько принижено государств, разбито алтарей и как много в рабском чувстве и страхе, водивших этими двунадесятью языками, было ненависти и злобы к этой Москве, к этой России, к этим варварам, решившимся скорей погибнуть в крови и пламени, чем разделить судьбу этих двунадесяти, которые двигались по мановению своего владыки. «Лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, нежели подписать стыд моего отечества и добрых моих подданных», – сказал Александр I в тот достопамятный год, увлеченный мужеством и самоотвержением народа. И Россия постояла за себя и выросла с тех пор необыкновенно, и с гордостью может глядеть на этот памятник прошлому. И если б случилось и в наши дни, что какой-нибудь язык...

Нет, нет! Мы говорим в мирное время, мы справляем мирное торжество, мы ставим памятник прошлому в назидание будущему, и все двунадесять язык, присутствовавшие в храме Христа Спасителя в день его освящения, с добавлением китайцев и японцев, не входивших в полчища Наполеона и потому смотревших на торжество без всяких приятных или неприятных воспоминаний, все эти двунадесять язык ни о чем не помышляли другом, как о мире. Да здравствует же мир и да

будет братство между всеми языками, назло ежедневно совершенствующимся пушкам, ружьям и другим истребительным средствам. Да здравствует братство… до первой войны!

– Мы еще побываем в св. Софии, в Константинополе, – сказал я раз корреспонденту одной венгерской, одной австрийской и одной славянской газеты, издающейся на немецком языке: сумел же этот господин соединить в себе такие три элемента и своими корреспонденциями всех их удовлетворить.

– Если вам дадут Константинополь, – сказал он, ехидно улыбаясь.

– Нам никогда ничего не давали, но мы всегда брали сами, да еще Европе помогали брать. В последнем мы, впрочем, раскаиваемся…

– Напрасно не раскаиваетесь в первом: вы так растянулись…

– Для всякого пространства существуют формы, и мы сложимся в своей…

– Некультурной?

– Посмотрим…

Однако я опять не о том. Народ толпится давно, с самого раннего утра, около храма Спасителя и во всех местах, на набережной Замоскворечья, на постах, откуда что-нибудь можно увидеть. Во всех церквах необычное движение. Новые ризы надевает духовенство, берутся хоругви, поднимаются самые драгоценные иконы Москвы: Иверская, Казанская, образ Спасителя из Давыдовской пустыни, икона святителя Алексея из Чудова монастыря – все это движется в Успенский собор для общего церковного хода. Ни одна христианская Церковь не обладает такими средствами для торжественных религиозных процессий, как православная, и ни один город в целом мире не мог представить того зрелища, какое представляла сегодня Москва. Длинный, бесконечный ряд золотых одежд тянулся от Кремля к храму Спасителя, как золотая река, по которой движутся хоругви, точно разукрашенные мачты исполинской длины корабля; иконы, евангелия, кресты, масса серебряных кадильниц... Исчезала от взоров эта золотая река, но виднелись

хоругви, тихо покачиваясь, снова появлялась она, и, казалось, ей не было конца, как нет конца этому Русскому царству. Солнце выглянуло из-за облаков и обливало своим светом процессию, войска, блестящие мундиры и несчетные толпы народа, эти живые стены всего этого блеска и пышности.

Процессия особенно была красива и эффектна, когда шла из Успенского собора. Началась она из храма Спасителя, из западных ворот, и направилась в Успенский собор за мощами; приняв их там, она весьма значительно увеличилась в своем составе и почти опоясывала все пространство от Кремля до храма Спасителя. Митрополит с духовенством вышел из западных ворот, в сопровождении Государя, Государыни, Августейшей Семьи, свиты и проч., и встретил мощи и, приняв их на голову свою, обошел с крестным ходом собор.

Духовную церемонию описывает другой корреспондент. Я схватываю торопливо только некоторые черты, прощаясь с Москвой и уезжая в Питер, из тепла в холод, – разумею то нравственное или, если хотите, общественное тепло, которое поражало в Москве всех, которое заражало иностранцев, прибавляя меду даже в иронию некоторых из них, и которое в Петербурге едва ли ощутишь. Он ведь играет роль головы, размышляющей и резонирующей, а Москва – сердце. Сердце не рассуждает, но в его любви иногда гораздо больше ума и смысла, чем в иной голове.

Царь-христианин

Вчера, в письме из Москвы, проскользнуло несколько строк о профессоре Захарьине, как отголосок московских толков и пересудов. Я считаю своим долгом сказать о них несколько слов.

Обвинять врачей – дело обыкновенное. Чем более жаль умершего, тем скорее составляется обвинение против врачей. Сожаления о почившем Государе так искренни и глубоки, о болезни Его так мало было известно русским читателям, что обвинения врачей в небрежности, в недосмотре, в научном их

бессилии совершенно понятны. Но справедливы ли эти обвинения? Какие существуют данные для того, чтоб судить справедливо о том не только нам, в медицине мало или ничего не знающим, но даже тому «из наиболее видных представителей московского факультета», который будто бы прочел «блестящую лекцию о болезни покойного Государя Императора, с сравнительным наложением как лечения, примененного профессором Захарьиным, так и других возможных в данном случае систем медицинского пособия»? Откуда этот профессор взял свои данные о болезни и лечении почившего Государя? Кроме диагноза, только что опубликованного, ничего другого нет. В заграничных газетах – с 9-го сентября по 8-е октября я был за границей – появлялось ежедневно множество известий о болезни Государя. За нею следили изо дня в день и печатали все ходившие слухи и получаемые известия. Разобраться в этой массе известий даже знающему человеку было невозможно, а о нас и говорить нечего. Но одна черта во всех этих известиях решительно господствовала: болезнь считалась неизлечимой. Проездом через Берлин я виделся с одним очень известным русским человеком, который был у профессора Лейдена после его возвращения в Берлин из Спалы и расспрашивал его о болезни Государя. Диагноз Лейдена отличался от диагноза Захарьина только тем, что этот немецкий врач подавал более надежды не на выздоровление Государя – об этом и речи не было, – а на некоторое продление его жизни. И Лейден, и Захарьин – оба считали болезнь Государя смертельной, и вылечить его могло только чудо, а не медицина. Ошибались ли они в этом диагнозе, доказало вскрытие тела: диагноз врачей, лечивших Государя, и определение врачей, вскрывавших Его тело, – сходятся вполне, но средства лечения этой болезни, поразившей такие важные органы, как сердце и почки, крайне несовершенны в медицине, и в этом, вероятно, вся правда. Медицина не всесильна. Нередко заблуждаются и сами врачи, воображая о себе и своем значении более, чем они есть на самом деле, или показывая, с расчетом на успех, разными средствами, действующими на воображение больных, что они только

немного менее Бога. Верно одно: никакие Захарьины и Лейдены, будь они во сто крат ученее и проницательнее, пользуйся они славой магов и волшебников, ничего не могут сделать против того вечного закона, который посылает людям смерть и который выражен в начальных словах Высочайшего манифеста Государя Императора Николая Александровича: «Богу Всемогущему угодно было в неисповедимых путях Своих прервать драгоценную жизнь горячо любимого Родителя Нашего Государя Императора Александра Александровича». Если б медицина была всесильной, то, по крайней мере, наилучше и наиболее благоприятно поставленные в мире люди умирали бы только от старости. На самом деле это бывает очень редко, особенно относительно тех, которые много работают и в этой неустанной работе забывают о своем здоровье, о необходимом отдыхе и спокойствии. А к таким именно людям принадлежал наш почивший, славный Государь. Из того, что мы знаем, ясно, как Божий день, что он смотрел смело и мужественно в глаза смерти, которой он ожидал, и думал только о христианской кончине, как Царь и человек. Источник обвинений против врачей, как я уже сказал, – глубокая и искренняя любовь к Государю, но он любил правду, он был великим Миротворцем, будем и мы у гроба его, в дни этой печали, справедливыми, будем осторожны в своих суждениях, как осторожен был он, будем терпеливы, как он был терпелив, и никого не обвиняя, предоставим будущему разъяснить все то, что теперь нам не ясно.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Наша весна

Многие не верили в нашу весну, да может и теперь не верят. Во что они верят, я не знаю. А для меня она несомненна. Никогда я не был так убежден в наступающем обновлении рус-

ской жизни, как теперь. Высочайший указ носит прекрасное заглавие: «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Не было на моей памяти закона, который носил бы такое заглавие и упоминал «о государственном порядке», о необходимости его «усовершенствования». В эпоху реформ 60-х годов этого не было; в первых правительственных предначертаниях к великой крестьянской реформе говорилось об «улучшении быта крепостных крестьян», приведшем к их освобождению. Теперь не улучшение, а усовершенствование государственного порядка. Это целая программа новой великой реформы, начатой сверху. И слава Богу, что она идет оттуда, откуда должна идти. Кн. Б. А. Васильчиков в предисловии к известной записке своего отца[1] («Нов. Вр.», № 10314) сказал, что «царствованию Николая суждено быть царствованием преобразовательным» по самому ходу нашей истории и по добрым намерениям самого Государя.

«Но ведь все дело еще в том, как эта реформа будет проведена в жизнь», – говорят скептики. Конечно, от этого многое зависит, но многое и не зависит. Не зависит потому, что сама жизнь подвинулась, и это признано в Высочайшем указе: все то, о чем упоминает указ, названо «назревшим», стало быть, необходимым. Что назрело, то должно быть удовлетворено, и удовлетворено так, чтоб давало простор дальнейшему созреванию. Это условие необходимое для всякой реформы и в особенности для такой широкой. За ней не должно быть стены, а открытое поле с торною дорогой. Окно в Европу, прорубленное Петром, давно стало воротами. Оттуда давно идет просвещение и наука, но есть, несомненно, и такое, что выработано русскою историей, жизнью русского народа и что должно быть согласовано с тем светом, который льется с Запада. Не даром же мы жили. Эволюционирует решительно все. Ничего не остается в первобытном виде, все видоизменяется и должно видоизменяться, но из этого не следует, что вырывается корень. Из хижин вырастают многоэтажные дома со всем комфортом, на той же почве, на том же пространстве, где стояла хижина. Так и государственный порядок. Он необходимо меняется. Может

быть, ему следовало бы измениться ранее, да и были желания, были попытки, но и были препятствия в самих нас и тех недостатках строя, которые теперь признаны с высоты Трона, как признана была негодность крепостного права. Есть такие вожделения: национальное государство должно стать государством правовым, отбросив национальные предубеждения. Я думаю, что так называемые национальные предубеждения должны остаться, потому что они нимало не мешают никаким правам, а русскому народу служат двигателем.

Я никогда не занимался государственными проектами. Это дело очень мудреное и меньше всего единоличное. Но всегда думал, что принцип управления заключается в том, чтоб поступать так, как будто весь народ, без всякого исключения, – отличный, здоровый, добрый и способный. Другими словами: все то, что я готов сделать для хорошего, доброго и способного человека, все это я должен сделать для всех, потому что только при таком управлении возможно ожидать наименьшего количества отпавших, недовольных и неудовлетворенных. Есть общие идеи, общие идеалы, к которым обязательно стремиться, потому что они только дают возможность к усовершенствованию государственного порядка и к самоусовершенствованию. Если нет средств для самоусовершенствования, если для развития духа, энергии, всякой работы поставлены преграды, то и государственный порядок не может совершенствоваться. Одно с другим связано, и задача правителей заключается в том, чтоб быть наравне с веком, чтоб постоянно угадывать потребности вырастающего народа и углаживать ему дорогу к самоусовершенствованию, к тому, чтоб дух его не засыпал и крепко было тело.

Какие средства есть у Комитета министров для того, чтоб найти «наилучший способ проведения в жизнь намерений» Государя? Вы заметьте – говорится о таком способе, который был бы «наилучшим» наиболее жизненным, наиболее удовлетворительным и верным. Дело идет о вопросах чрезвычайной важности. Один крестьянский вопрос чего стоит. Вопросы о свободе совести, печати, о единстве в устройстве судебной части, рабочий вопрос, строгая законность действий и ответственность

всех властей, об устранении административного произвола, учреждении способов «достижения правосудия» для тех, кто страдает от этого произвола, и проч., и проч. Вчитываясь в этот Высочайший указ, трудно себе представить, что им не предрешается в принципе, прямо или косвенно, из тех прав и обязанностей, которые должны составлять нравственную собственность каждого гражданина. Найти «наилучший способ» – вот задача, которая поручена Комитету Министров. Может ли он обойтись своими силами? Не мне, конечно, отвечать на этот вопрос, ибо для решения его надо было бы определить всю сумму опыта, знания и способностей министров и тех членов, которые, по закону, входят в этот Комитет. Всех членов вместе с товарищами министров и лицами, их замещающими, до 50 – собрание довольно многолюдное и авторитетное по положению лиц, его составляющих, в высшей администрации. Важно то, что дело переходит в высшее учреждение, где должно явиться единство политики, единство действий. В чем должна заключаться работа Комитета Министров? Ведь не в сочинении самых проектов законов, которые должны усовершенствовать государственный порядок. Это не законодательная задача, а только приготовление к ней, выработка тех путей, по которым должна идти законодательная работа, составление проектов законов, обсуждения их и введения в жизнь. Поэтому Комитет Министров может не довольствоваться своим личным составом и обращаться к помощи других знатоков дела. В это важное дело, которое поручено Комитету Министров, входит историческая жизнь русского народа, все его исторические, юридические, экономические и другие отношения. Дело идет не о том, чтобы положить заплаты и зашить там, где распоролось. Дело идет о большом творчестве. Для него недостаточно того, что собрано Особым Собранием в 58 томах и затем разработано разными лицами по отделам в 23 томиках. Этот прекрасный материал только показывает настроение русской жизни. А в каких условиях будет совершаться творчество, это еще должно быть определено.

Надо принять во внимание ту огромную разницу, которая существует между тем народом и обществом, которые встреча-

ли реформы 60-х годов, и теперешним. Тогда – небольшое общество, в значительной степени однородное и чисто русское, без всякой примеси инородческих элементов. Провинция не знала ни административных ссыльных, ни прокламаций, ни революционеров, ни массы фабричных рабочих. Не было и той тучи, которая теперь стоит над Россией в виде войны. Тогда война была кончена, и мы стали дышать широкой грудью. Все стремления сосредоточивались около освобождения крестьян, и затем шли чисто идеалистические мечтания, довольно наивные и безвредные. Однородный состав общества в значительной степени облегчал задачи реформ и делал самое настроение, самый подъем духа более общим, более светлым, более заразительным и даже более понятным всем и каждому. Теперь однородности этой совсем нет, общество разношерстнее и гораздо больше, и желания его гораздо разнообразнее и точнее. Недаром сам Высочайший указ обращается за сочувствием к «благомыслящей части подданных». Таким образом утверждается, что есть и такая часть русских подданных, которых не может удовлетворить возвещенная реформа, что, конечно, вполне отвечает действительности. Но поступательное движение имеет за себя то преимущество, что оно постоянно заинтересовывает собою и берет себе больший и больший круг людей, возбуждает в них надежды на лучшее будущее. Оно завоевывает, как искусный и талантливый вождь, который умеет одержать победу, умеет пощадить побежденных и заключить, как говорится, почетный мир для обеих сторон. Если считать даже одно так называемое общество, то на стороне благомыслия огромное большинство, а если брать весь народ, то это большинство подавляющее. И для него-то и необходимо, чтоб реформа была проведена не бюрократическим путем; как бы ни были талантливы и сведущи представители бюрократии, а этого отрицать у ней невозможно, они одни не могут справиться с этой реформой и не могут взять на себя за нее и за ее последствия ответственность.

Комитету Министров придется работать серьезно, ему предстоит внушить веру в самые начала и средства своей работы, в их полноту и жизненность, которая бы отвечала на-

родившимся потребностям благомыслящего населения. Самое это благомыслящее население, нуждающееся в усовершенствованном государственном порядке, нуждается вместе с тем неразрывно и в просвещенных способах борьбы с элементами, трудно или вовсе непримиримыми, против которых в настоящее время у него почти нет надлежащего оружия.

Мы начинаем новый век, век возрождения. Я в это верю всеми силами своей души и убежден, что не ошибаюсь. Конечно, дорога не может предстоять ровная, без ухабов, без распутицы, но этим смущаться нечего, ибо эта дорога несомненно ведет в Рим.

Управлять надо умом

Известный анархист Бакунин говорит: «Мы должны образовать не армию революции, а нечто вроде революционного главного штаба. Для этого должны быть преданные, деятельные и талантливые люди, которые прежде всего должны без всякого честолюбия и тщеславия любить народ и обладать способностью согласовать революционные мысли с народными инстинктами. Для этого не требуется особенно большое количество людей. Для интернациональной организации всей Европы достаточна сотня крепко объединенных и добросовестных революционеров. Двести-триста революционеров достаточны для организации самой большой страны».

Спустя несколько лет после 1 марта 1881 г. я говорил с одним из выдающихся русских революционеров[1], принимавшим весьма деятельное участие в тогдашнем движении. Я спросил у него, велик ли был состав их революционной «дружины» и каким образом они могли думать, что их движению не будет положен конец, и что, напротив, они рассчитывали произвести революцию после убиения Императора Александра II?

– Как же нам было не думать, когда нас, главарей, было всего тридцать человек, т.е. каждый из этих тридцати человек знал каждого из тридцати. Второстепенных агентов было тоже

сравнительно немного. И вот мы поставили на ноги жандармерию, полицию явную и тайную, поставили на ноги всю администрацию, и вся эта огромная машина не могла с нами справиться. Как же нам было не думать, что мы непобедимая сила, когда правительство решительно не в состоянии было с нами справиться, а общество, молчаливо и пассивно правда, но было за нас. Так тянулось несколько лет. Мы знали каждый шаг правительства, чиновничество по халатности или по сочувствию все нам или нашим знакомым выдавало, а правители ничего не знали и ничего не умели предупредить при своей неподвижности и неуверенности в своих людях.

У нас воображают, что революционеров бесчисленное количество. На самом деле это неправда. Много недовольства порядком вещей, много пассивного «неделания», если не сочувствия, – это так. Но всегда немного таких людей, которые способны жертвовать собою и которые отличаются талантом, находчивостью и упорством для достижения известных целей. Членов «революционного главного штаба», выражаясь словами Бакунина, всегда мало. Деятельных, способных людей вести борьбу так же мало в революции, как и в правительстве, и если б правительство не обладало большими материальными средствами в своем войске, то можно было бы сказать, что борьба идет между равными силами.

Какая разница между Францией и Россией в их первых революциях! Там после Ришелье, Кольберов, Боссюэ, Паскалей явился ряд энциклопедистов, beaux ésprits*, «философов», как их называли: Монтескье, Вольтеры, Дидро, Даламберы, Кондильяки, – и наследниками их явились Кондорсе, Мирабо, Дантон, Робеспьер и др. Где у нас эта преемственность практических, ученых и идейных деятелей, где наши люди теперь? Их нет, да и предшественники где? Мы слышим и видим только людей среднего таланта, лишенных всякой оригинальности. И конституционные, и социал-демократические, и социал-революционные идеи – все это заимствовано из загра-

* Проницательных умов (*фр.*). – *Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.*

ницы до мельчайших подробностей. Самая революция блещет не русскими, а еврейскими именами. Да и в правительстве... впрочем, это до другого раза...

Я не помню такого министра внутренних дел, который, вступая в должность, не повторил бы фразу о «законности» очень внушительно, забывая, что законы стары и заржавели, что общество переросло их и воспользуется первым же поводом, чтобы их не слушаться. А революционеры давно провозгласили, что законы – чепуха. «Закон не имеет больше никакой культурной задачи. Его единственная задача состоит только в защите эксплуатации. Вместо прогрессивного развития он создает неподвижность, он стремится к тому, чтоб увековечить обычаи, полезные для господствующего меньшинства... Мы знаем прекрасно, что *все правительства без исключения* имеют своей целью удержать посредством насилия привилегии имущих классов, аристократии, духовенства и буржуазии. Достаточно только разобрать все эти законы, видеть их ежедневное действие, чтобы убедиться в том, что ни один из них не стоит того, чтоб его сохраняли». Это слова князя Кропоткина. Таким образом, революция стремится разрушить *законное* государство во что бы то ни стало и наместо его создать новое с помощью диктатуры пролетариата. Знаменитый историк Моммзен в своей «Римской истории» говорит: «Если правительство не может управлять, оно перестает быть законным, и кто имеет силу его свергнуть, имеет также на это и право». Поэтому выходит, что если б революционеры свергли правительство, то они могли бы упираться и на *свое право* свергнуть правительство: если оно не умеет управлять, то его никому не надо и революция получает право распоряжаться страной. Вот эту дилемму необходимо иметь в виду правительству и всеми разумными мерами стремиться к утверждению своего авторитета. Не будет авторитета – будет революция беспощадная, которой и конца трудно предвидеть.

Управлять надо умом, гением, а не буквою законов. Буква законов – это пуховая подушка для рутинных правителей, для кишащей посредственности и бездарности. На ней удобно лежать и приказывать, покуривая, посвистывая, играя в винт.

Власть приобретается чем-то сверхзаконным, каким-то трудно объяснимым даром владеть душою населения. Оттого так мало мудрых правителей. Это все равно, как два актера, буквально повторяющие те же самые слова Гамлета, но один из них действует на вас, берет вашу душу, овладевает вашим настроением, вашим умом, а к другому вы остаетесь совершенно равнодушны и иногда даже враждебны: так он бездарен! Вам кажется, что ему бы пасти коров на поле, а не повторять прекрасные слова принца Гамлета. Так и *слова* закона. Для одного правителя даже плохие законы одухотворены и широки в своем смысле, потому что его голова способна далеко видеть, чувствовать и понимать. Для другого правителя даже хорошие законы плоски и узки, потому что сам он – пустой мешок.

Искусство управления – несомненно очень трудная наука, и в особенности в революционное время, которое отменяет законы и действует страстью. Страсть есть повышенное состояние человеческого и общественного организма, совершенно выходящее из нормального порядка вещей. Подъем сил с одной стороны может быть побежден только еще большим подъемом сил с другой. Подъем общественной силы невозможен без выдающихся управителей, блистающих быстрым умом, энергией, настойчивостью, свежею впечатлительностью. И для революции необходимы такие правители, и для правительства. К счастью для правительства, у революции тоже нет ничего выдающегося, но у ней «общество» живее и связь революционного настроения крепче. Поражение восставших в Москве – удар революции. Это – ее Лаоян, тянувшийся столько же дней, как и куропаткинский. Она опустила голову, но сочувствия у нее еще много, а у правительства мало тех людей, которые необходимы. Ну можно ли такую жемчужину, как Кавказ, оставлять такому человеку, как граф Воронцов-Дашков[2], и такому его помощнику, как г. Крым-Гирей? Да они вдвоем и департаментом не сумели бы управить, если б он взбунтовался. Оба «добрейшие» и у обоих двойные фамилии, как у графа Лорис-Меликова и князя Святополка-Мирского[3]. Двойные фамилии у нас фатальны, как двойные партии: социал-демократы, социал-

революционеры. У Гоголя городничий двойной – Сквозник-Дмухановский. Если б Англия посылала таких наместников в свои колонии, то они давно бы отложились. А правительство у нас все терпит, все «авось» да «небось». А граф Витте, вероятно, говорит: «Это не мое дело – там наместник». Он часто так говорит, и совершенно напрасно. У него достаточно должно быть угрызений и от того запоздания похода власти, которое столько бед наделало России. А еще он сказал, что «я знаю, как спасти Россию». Мне не верится тому, что он это сказал, потому что он должен знать, что дело совсем не в том, чтобы «спасать», а в том, чтобы «управлять». Когда человек думает, что он «спасает», т.е. облечен какой-то особенной миссией, то он рассчитывает только на себя и считает себя каким-то Мессией, который до всего должен дотронуться своей собственной животворящей рукой. Это очень большое заблуждение. Необходима система управления, необходимы люди. Надо очистить администрацию от бездарностей, от старческого бессилия, надо создать новую атмосферу живых людей и ею гипнотизировать население, чтобы оно верило власти и шло охотно к ней на помощь, как идут столь многие к революции, бросаясь к ней в объятия то с отчаянием, то с радостью.

Государь благодарит саратовского губернатора г. Столыпина за «примерную распорядительность, выразившуюся в посылке по личной инициативе отряда войск для подавления беспорядков в пределах Новоузенского уезда». Государь благодарит губернатора за то, что тот исполнил свой долг и проявил *личную инициативу.* Значит, это если не исключение из общего правила, то редкий случай. Но разве возможно умиротворение отечества, если управление провинциями находится в таких руках, что Государь находит необходимым выразить свою благодарность хорошему губернатору, способному на «личную инициативу»? Что же это за губернаторы, которые не способны на личную инициативу? А о растерянности их мы столько раз читали. Без живых и способных людей невозможно управлять. Революция *может* еще обходиться без них, потому что весь этот беспорядок, эти мятежи, эта

бездарность и бессилие власти идут на ее пользу. Все *отрицательное* ей на руку, и она им питается. Чем у правительства будет больше положительного, тем революция будет слабее, если не объявится у нее какой-нибудь гений. Нельзя управляться людьми, бессильно брюзжащими то на революцию, то на новую атмосферу жизни, наполненную парами и электричеством, тогда как нужно не брюзжанье, а страстная борьба со всею полнотою физических и умственных сил. Правительство обязано не щадить плохих правителей и посылать их домой, на печку. Пусть греются дровами, а не телом России, не ее горячей кровью. Они, эти плохие правители, не стоят капли этой священной крови, и если они сами этого не понимают, то их надо просто убрать на печку.

Россия расслабленная

27 апреля приходится в неделю Расслабленного. Назначая этот день для созыва Думы, конечно, не думали о святцах, об Евангелии. В такое боевое время до этого ли? Очевидно, сама судьба сделала так, и России, может быть, трудно приискать иного определения, как «расслабленная». О расслабленном повествуют три евангелиста: Матфей, Марк и Лука. Когда привели к Христу расслабленного, Он, прежде чем сказать ему: «Встань, возьми одр твой и иди», сказал, по Марку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», по Луке: «Прощаются тебе грехи твои». Но у Матфея это обращение Христа передано ярче и подробнее. Христос сказал:

– Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои.

И России расслабленной необходимо помнить это:

– Дерзай, чадо!

То есть необходимо напрячь все свои силы, какие есть, необходимо воодушевиться и все свои помыслы направить к тому, чтобы дерзать во что бы то ни стало, дерзать для того, чтобы русская душа заговорила во всех русских, объединила их и направила к единой цели – встать крепко на ноги, одухотвориться

свободой и любовью к родине и совершить подвиг обновления России, как следует мужественным и свободным людям. Грехи прощаются только тогда, когда сам человек дерзает, когда сам он верит, а не тогда, когда он предоставляет чуду вдохнуть в него дыхание жизни. Иначе расслабленный останется расслабленным, как скоро минутный порыв погаснет.

Россия призывается к новой вере, к вере в свои собственные, природные силы, а не к вере в указку, в опеку, в поддержку. Все старое, отжившее должно стать преданием, гробом, в котором оно должно обратиться в прах.

Когда на этих днях я читал статью в одном правительственном издании, о которой у нас было сказано на другой день после ее появления, я думал: как это нехорошо написано правительственным писателем. Чего он желает и что он хочет делать? Неужели в самом деле можно поверить тому, что общество совершенно ничтожно, что оно никуда не годно и что только правительство одно может делать и делает, когда видит, что общество расслаблено? Неужели накануне объявления о созыве Государственной думы можно бросать обществу обвинение в «узком эгоизме, мелком сервилизме, незрелости» и тому подобных качествах, чтобы окончить заключением: «С таким антигосударственным багажом трудно приниматься за грандиозные задачи государственного строительства».

Правительственный писатель не сообразил даже того, что «всякое общество стоит своего правительства и всякое правительство своего общества». Поэтому, если общество погрязло в «узком эгоизме, мелком сервилизме», если оно «не созрело», то и правительство тоже не созрело, оно тоже узко эгоистическое и мелко раболепное, в нем тоже нет никакого благородства и ему также не пристало приниматься «с таким багажом за грандиозные государственные задачи». Ведь это напрашивается само собой, без всяких усилий. Даже больше. Если общество никто не готовил к политической планомерной деятельности, если всякие его попытки к этому прекращались силою, если самая школа была направлена к тому, чтоб способствовать раболепию, угнетению духа и расслаблению

мускулов и мозга, то как же можно его винить? На правительственной фабрике приготовлялся только один товар – бюрократический ситец, а все другие товары приготовлялись тайно, обращались контрабандно и, конечно, нередко сами были не чем иным, как подделкою под тот живой товар, в котором нуждалась Россия. Ведь, строго говоря, Россия не выходила из революции с самого Смутного времени. Были передышки, но революция не прекращалась. Или правительство шло революционным путем, или передавало революцию обществу и черни и тогда начинало отстаивать свое право управлять, как оно хочет. Революционный змей всегда сохранял свою голову, хотя временами терял то свой хвост, то части своего тела. Он извивался в нашей многострадальной истории, меняя цвета, погружаясь в спячку и снова оживляясь. Где же тут было образоваться крепкому, сильному и деятельному обществу? Самые сильные, крепкие и деятельные обыкновенно уходили в бюрократию, вообще на службу и меняли свой естественный цвет, данный матерью русской природой, на казенный. Кто выскакивал или только хотел выскочить, того осаживали или бесцеремонно давали такого тумака, что он садился и принижался. Даже литература и художества воспитались и выросли контрабандою. Будь они свободнее, они, вероятно, дали бы такие произведения, которые давно и мощно возвещали бы миру о великих свойствах души России. Та болезненная, ноющая, иногда стонущая нотка в этих произведениях есть жалоба на угнетение духа. Русская песня жалуется на то же или ударяется в неистовую пляску и начинает причитывать самые неистовые слова, от которых бросает в краску лица скромных людей. Не было ни одной свободной области. Даже сама бюрократия была несвободна, если в ней загоралась живая мысль. И ей приходилось лукавить, обманывать, выгораживаться всеми неправдами. И в ней нередко по способному и талантливому лбу били молотком и выбивали оттуда остатки свободной души, а бесталанные лбы делались просто барабанами.

Если говорить совершенно откровенно, то у нас в течение двухсот лет были только два действительно замечательных че-

ловека: это Петр Первый и Екатерина Вторая, которую Вольтер называл le Grand. Только о них можно сказать, что они были достаточно свободны для того, чтобы делать свое государственное дело. Других таких же свободных и таких же талантливых не было. Гениальный полководец, Суворов должен был обращаться в шута, чтобы ему прощали его свободу, его непослушание. Русский талант вообще, русская свободная душа грызли свои цепи и были прикованы к скале, как Прометей, или выбирали извилистые пути и шли по ним, теряя множество силы на эти длинные лабиринтовые обходы и выходы. История растягивалась и пожирала русские силы непроизводительно.

Как же не радоваться свободе? Как же не смотреть на эту Государственную думу как на прямой путь, разрубивший стены многоэтажного, запутанного лабиринта?

Говорят: «Еще неизвестно, что такое будет эта Дума». Да, еще неизвестно, но нам известно, что такое было. Чем бы ни была Дума, но это Русский Дом Свободы, куда придет настоящая, сильная, даровитая русская душа, если не теперь, не сейчас, то после, но придет непременно. Цепи с нее сняты, разбиты и брошены в море. Подите, достаньте их, попробуйте достать. Мы перешли в другую область, и если эту область не сумеем устроить, взлелеять, полюбить, как душу, то мы ни к черту не годны. А тогда и жить не стоит.

Чем нас утешали? Опекой и покровительством. Покровительствовали дворянству, покровительствовали мужикам (19 февраля и Крестьянский банк), покровительствовали промышленности – и ничего из этого не вышло. Все валится, все хочет свободы, всем надоели и цепи, и ласки, и милостыни, которые раздавались так, что одни были довольны, другие завидовали и облизывались, третьи гнулись под тяжестью бремени и неволи. Вот что кончилось или должно кончиться с Государственной думой. И пусть будет вечно благословен тот день и час, когда Государь подписал свой знаменитый манифест о свободе России и о своей собственной свободе от наследственных предрассудков, о свободе своей благородной души делать добро великой своей родине и любить ее, как свою душу.

Россия должна дерзать, как расслабленный дерзал, по слову Христа. Она должна собрать все свои силы, всю свою веру, чтобы встать и работать, как здоровый и свободный человек.

Пусть не все пойдет гладко, хорошо и благополучно. Маленькие дети падают, когда начинают ходить. Но эти падения к росту. Сам упал и сам встану. Прочь, нянька! Ты только мешаешь. И Россия вернет себе все, что потеряла, и окрепнет, и вырастет, и будет радоваться на своих детей, смелых, довольных, деятельных и любящих свою родину, как свою душу.

Лучшие люди

Мне думается, что мы входим в область загадочного и фантастического. Какие видения ждут Россию, кто это скажет, когда идет такой погром повсюду, что ему и конца не видно? Как новый Гамлет, Русь стоит в нерешительности и спрашивает: быть или не быть? Где люди, которые с полной верой в будущее и в свои силы могут взять на себя ответ? Триста лет тому назад тоже было «освободительное движение». Оно вынесло на самой высокой волне того первого гражданина Русской земли, который нежданно-негаданно явился в Нижнем Новгороде.

Государство разваливалось, правительство попало в плен; поляки рыскали по Русской земле и опустошали ее вместе со всем тем сбродом русских сил, который привык ловить рыбу в мутной воде. Кто был вреднее – казак ли, обращавшийся в разбойника, или боярин, продававший свою родину за поместья в этой родине польскому королевичу? Что было вреднее: распущенность ли диких сил, не знавших удержа, предававшихся грабежу и убийству, заставлявших матерей спасаться со своими детьми в реках и болотах, стоять в этом положении целые дни, чтобы дышать безопасно на берегу ночью, или апатия и совершенная нравственная дряблость всех властных людей того времени, всех тех, кто мог иметь влияние, кто мог выказать разум, волю и энергию? Разврат, подкуп, расхищение народного хозяйства, лживость, потеря всякого понятия о

гражданском долге, о чести родины, о ее нуждах, все то, что летописцы наши назвали «воровством», «шатанием», «розныо», «изменой»; угнетение народа закрепощением его, страшные реакционные меры царя Бориса, преследования, ссылки опасных людей, ссылки целыми семьями, целыми родами, заключение в монастыри, произвол, шайки разбойников, весь тот хаос, который рождается в стране, когда власть потеряла все связи с народом. Народ ищет защиты во всяком добром молодце, во всякой тени власти, во всяком обещании лучшего будущего: идут интриги, заговоры; убивают одного самозванца, является другой; заговорщик Шуйский делается царем; вокруг него тщеславная пустота, преступления, измены, «перелеты», свержение с царства; в течение нескольких лет сменилось несколько царей. Никто никого не понимал и никто не хотел понять друг друга; всякий стоял только за себя, за свою мамону, за свои интересы. Разливалась по всей земле страшная смута. Никогда государство не стояло так близко к погибели.

И в это-то время, словно гром небесный, словно труба архангела, раздался голос Минина на нижегородской площади, прозвучала та скромная, но сильная речь, которая заставила встрепенуться Русь, собраться, окрепнуть, очистить Русскую землю от врагов и дать ей мир и тишину. Чудесные, несравненные страницы нашей истории, высокий, величавый подвиг первого русского гражданина, который спас свою родину, ее веру, ее честь, ее национальное развитие. Выше такого подвига не бывает... И этот подвиг совершил нижегородский мясник вместе с боярином столь же скромным, как он, князем Пожарским.

Кузьма Минин в нашей истории является положительно личностью феноменальною, такою личностью, которая представляет собою высшее и своеобразнейшее воплощение нашей национальной мощи, нашего национального духа. Это – глубоко русский человек, русский характер со всеми его великими и крепкими достоинствами: с его сосредоточенной душевной энергией, неожиданно поднимающейся в могучее патриотическое одушевление, с его практически изворотливым, ясным умом, с его суровою крутою волею, не устающею в выносли-

вости и не знающей препятствий в достижении великой цели, наконец, с тою чисто русскою простодушною скромностью, которая в совершении подвига находит полное внутреннее удовлетворение и не ищет для себя никаких внешних наград, никакой шумной героической славы. Таковы все наши энергичные русские люди, люди народа, люди труда, люди национальной сердцевины. Таковы все истинные представители, истинно излюбленные люди земли Русской. Таков был и великий русский Царь, «кому никто в царях не равен», высший выразитель русской мощи, русского реального ума и русской предприимчивости, – тот Царь, что, по выражению Гоголя, протер нам глаза чистилищем европейского просвещения, но оно не дошло до народного сердца.

Люди такого чисто народного закала и склада выступали у нас не раз в трудные минуты жизни нашей родины и на своих плечах выносили дело нашего национального развития и укрепления общественного и политического. Но по большей части бывает так, что эти истинные спасители и блюстители родины остаются малозаметными и даже почти совсем незаметными за блестящими, а то и мишурными выходными героями нашей истории; по большей части они работают в массе, так что их трудно выделить из нее. Но когда, в исключительных обстоятельствах, им случается выделиться и стать на свое место, когда они являются во весь свой рост, как могучие представители и руководители народной силы, тогда они поражают неожиданным запасом нравственной энергии, ума, душевной доблести и созидательного духа.

Где же они теперь, эти Минины? Ведь тогда их было много в разных углах Русского царства. Они были в крестьянах, в купцах, в попах, в монахах, архиереях, боярах, князьях. Во всех русских людях загоралось чувство близости друг другу, любви к отечеству и вере православной. Отчего теперь нет Мининых? Перестала их рождать Русская земля, что ли? Великороссию, откуда они шли, истощили налогами для того, чтобы спаять те земли, которые приобретались? Или не настало еще время для того, чтоб Минины явились и раздался их голос и

призвал всех на работу во имя Руси? Бог весть отчего, но их нет, и голос их нигде не раздается, тогда как голоса ненависти, злобы и вражды слышатся громче и громче.

Гибель ли нам все это обещает или возрождение, возрождение из пролитой крови, из пламени пожаров, из разорения и грабежей? Для чего эта кровь, для чего эти жестокие фразы – «использовать кровь для освободительного движения»? Не пора ли уснувшим проснуться, закрывшим глаза открыть их, смотрящим слишком далеко поглядеть ближе? Есть же лучшие люди на Руси помимо тех, которые собрались в Г. думе. Если само общество не сбросит с себя дремоты, трепета и равнодушия, если оно само не закричит против разлива революции и не станет на страже внутреннего мира, то и действительно, «лучшие люди» Думы многого не сделают для того, чтоб страна вступила в новую жизнь без потрясений.

ВЫБОРНЫЙ ПРИНЦИП В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

О самоуправлении.

(Сравнительный обзор русских и иностранных и общественных учреждений. Князя А. Васильчикова. Том I. СПб., 1869.)

Истекший год, сравнительно с годами предшествовавшими, был богат сочинениями крупных землевладельцев о современных вопросах в России. Мы говорили о сочинениях г. Бланка и г. Кошелева[1], из которых первый приступил к изложению своих мыслей, заявляя предварительно о своем патриотизме, о законе 6-го апреля[2], позволяющем русским подданным выражать свои посильные мнения, и о разрушительных элементах, а второй счел за благо отыскать во всех мнениях общества и печати жемчужины – по крайней мере на его взгляд – и соста-

вил себе из них политический костюм. Это самый удобный прием для деятеля, желающего заявить свои убеждения. Князь Васильчиков приступил прямо к своему предмету, предварительно изучив русские, английские, французские и немецкие общественные учреждения: «Метода, нами принятая, – говорит он, – состоит в том, чтобы изложить в кратких, по возможности, очерках существенные правила, принятые в иностранных государствах для хозяйственного, общественного благоустройства, составляющего главный предмет ведения местных властей и учреждений, – затем сличить их с теми порядками, которые введены в России новейшими законоположениями о крестьянском, земском и мирском управлении», и проч. Князь Васильчиков ни за кого не прячется, никого не обвиняет, не стремится доказывать и даже заявлять свою благонамеренность: он поступает, как вполне независимый человек, считающий все оговорки и подлаживания под тот или другой тон – уловками, недостойными писателя. Ничего подобного, конечно, он не говорит, но это вытекает из всей его книги. Он, одним словом, весь налицо, и уж одну такую откровенность можно считать далеко не последним достоинством в человеке, принадлежащем к известному кругу и выступающем на литературное поприще, почти всегда усеянное терниями. Кроме этого, мы находим в книге ясное изложение, старательный труд человека, понимающего трудность и сложность предпринятой им на себя задачи, и горячее желание служить делу русского прогресса. Все эти качества должны обеспечить успех книги и пользу ее. Мы не войдем, на этот раз, в подробный разбор ее, не станем указывать автору некоторы слишком нерешительные и как будто не вполне усвоенные им положения, не станем отделять некоторую примесь славянофильства в его воззрениях, говорить о его слишком большой вере в силу закона, могущего измениться независимо от местных, земских влияний и проч., а укажем только на главнейшие его положения относительно духа русского народа. Прежде всего он полагает, что русский народ имеет все задатки для самоуправления и «негоден для администрации». Сметливость простого народа, сдержанность

его чувств, здравый смысл и то высокое благоразумие, которое обнаруживается в России во всех сословиях, когда обсуждается сила совершившихся фактов, ход неминуемых событий, – все это говорит в пользу самоуправления. «Наоборот, мы сомневаемся, – говорит он, – чтобы при поверхностном образовании, которое дано было и дается поныне средним и высшим классам в России, при их легкомысленном отчуждении от народного быта, непонимании существенных интересов страны и народа, администрация, в смысле французской centralisation или прусской Gutsherrlichkeit, могла бы когда-либо осуществить в России те ожидания, которые возлагают на нее приверженцы старых порядков для восстановления административного самовластия и помещичьего управления». Автор решительно отвергает у нас не только существование, но даже возможность существования аристократии и демократии в европейском смысле слова. Он прямо говорит, что «противодействие высших, поместных сословий против первородного порядка наследства (майораты) и низших сельских классов против участкового исходит из всенародного, инстинктивного сознания, что земля должна делиться поровну между всеми членами семейства и общества». Таким образом, земля есть тот фундамент, на котором построено здание русского общества, и крестьянство является первенствующим сословием у нас, как по количеству владеемой им земли, так и по значению своему в истории развития нашей гражданственности, как по доходности и ценности имуществ, так и потому, что оно лучше, полнее, самостоятельнее, теснее связано и «среди всяких внешних, свыше исходящих, притеснений и невзгод окрепло во внутреннем, униженном своем составе». Из этого следует, что у нас крупное землевладение, на котором основана сила европейских аристократий, сосредоточено в сельской общине главным образом и сравнительно в незначительном числе крупных собственников: «В России аристократия и демократия сливаются в землевладении и в земских, из него вытекающих, интересах так тесно, что никакой ясной, правильной черты различия между ними провести нельзя». На самоуправление автор смотрит не как на орудие для введения и

поддержания различных политических влияний, но как на особый порядок, вовсе чуждый политики, имеющий свою особую цель и свою отдельную область действий, именно целый разряд дел домашних, местных, с политикою не имеющих большой связи. Дел земских. Если так называемые земские учреждения наши до сих пор оказывались неудовлетворительными, то причина этому заключается в следующем: «*Самоуправство* некоторых управ и собраний прямо встретилось с *самовластием* отдельных начальников, и все это вместе приняло название *самоуправления*». В свою очередь, такой порядок произошел от неопределительности земских положений, в которых неточно обозначены предметы ведения земских учреждений и зависимость их от администрации; без точного, вполне ясного закона развитие этих учреждений невозможно; при ясном же и определительном законе они могут существовать с успехом и совершенствоваться при всяком образе правления. Вот что легло в основу исследования князя Васильчикова. В заключение упомянем главные предметы, которые должны, по мнению автора, составлять ведомство земских учреждений. 1) По дорожному управлению: содержание всех грунтовых дорог, как почтовых, так и сельских, – правительство соглашает только действия и интересы разных губерний по трактам их взаимных сообщений; исправление повинностей обывательской, подводной, почтовой и вообще содержание всяких сообщений, бичевников, перевозов и мостов. 2) Общественное призрение; 3) народное продовольствие; 4) по народному здравию: принятие непосредственных мер при появлении повальных болезней и падежей скота, устройство и содержание больниц; 5) по народному образованию: устройство и содержание элементарных училищ, сельских и городских школ и нормальных училищ для образования учителей; 6) по общественному благоустройству: охранение личных и имущественных прав местных жителей от таких повреждений и опасностей, которые происходят от неумышленных или неосторожных действий и упущений; 7) управление тюрем, назначенных для заключения присужденных по приговорам мировых судов и съездов; 8) составление смет и рас-

кладок и расходование земских сборов губернских и уездных; 9) раскладка государственных прямых налогов на ценности и доходности имуществ и оценка этих имуществ для обложения; 10) мировой суд и суд присяжных, насколько они зависят от выборов, этого существенного самоуправления.

Народное представительство необходимо!

Ну, вот вам и «весна», которую я предсказывал. Это предсказание было напечатано мною в ноябре прошлого года, когда я защищал земцев против кн. Мещерского[1]. Я уверял, что «весна идет» и придет с реформами сверху, а не снизу, и я проповедовал «доверие», как такой принцип, на котором только и можно возводить государственное здание. Теперь слово «весна» повторяется всюду и на все лады, и весна изображается в стихах и прозе с теми атрибутами, которые наиболее любезны тем или другим гражданам. Для одних это – «заря кровавая», жена «простоволосая, без шапки, вся в огне», умеющая – такая шельма! – «блестящей косой косить... дремучие леса», для других – «светлый гений свободы», для третьих нечто более понятное – «учредительское собрание», «Государственная дума», «земская дума», «реформа» tout court*, «правовой порядок», правопорядок, даже «*твердый* правопорядок» и, наконец, «реформы» – это самая умиренная весна с холодком, но все же «весна», с солнцем, теплом и новою растительностью.

В России весна природы мало походит на такую же весну в Западной Европе, как и наша зима не похожа на тамошнюю зиму. Там смена времен года гораздо мягче, постепеннее, незаметнее и нет ничего подобного нашей зиме. Я думаю, что наш климат всегда имел влияние и на политическое наше развитие, которое шло гораздо суровее и медленнее, чем в Европе. Политические морозы гармонировали с естественными и гнали нас из-под неба в закупоренные дома, в искусственный воздух. Если весна природы настает у нас разом – разом поднимаются

* *Здесь:* и ни слова больше (*фр.*).

теплые ветры, разом начинает греть солнце, тают сосульки, эти замороженные слезы солнца, ломается лед, разливаются реки, бежит с шумом вода с крыш и пригорков и из земли так и прет все то, что хочет жить и расти, то и политическая весна может наступить разом. Она и наступила разом и с шумом бегущей волны, но при таких обстоятельствах, которые еще не говорят в пользу будущего урожая. Политика laissez faire, laissez passer* для нового министра была, быть может, обязательна, в особенности для того, напр., чтоб узнать настроения и способности общественных групп, но у нее есть и крупные недостатки. Весна природы в культурной стране, где возделана каждая пядь земли, где сам народ привык бороться со стихиями, совсем не то, что такая же весна в стране некультурной, и этого отнюдь не следует забывать. В некультурной стране она может снести много полезной растительности, образовать овраги, обесплодить равнины, снеся чернозем в бездонное море, разрушить плохо возведенные плотины и плохо унавоженные поля. У нас весна наступила в тяжелое и страшное время, о котором многие все еще не отдают себе ясного отчета: во-первых, война и ее несчастия, во-вторых, какой-то беспочвенный, шумный задор, не отвечающий серьезности настоящего положения.

Невольно мне вспоминается памятная статья Добролюбова, высмеивавшая формулу шестидесятых годов прошлого столетия: «В настоящее время, когда и проч.». Вспоминается это, читая теперешнюю формулу: «В настоящее время, когда общественное движение, *властно* охватившее самые разнообразные *круги* и *группы населения* и открыто выразившееся в *требовании* гарантии для осуществления основных политических прав гражданского общежития»... и проч. Мне не верится в эту «властность» «разнообразных кругов и групп населения», когда народ молчит и ничего не знает об этой «властности». Политика laissez faire, laissez passer его нимало не коснулась, и едва ли туда ее пустят даже самые те, которые хвастаются «властностью» кругов и групп. У стомиллионного русского народа тоже может явиться своя «властность». Мне думается

* Невмешательства, *букв.* позвольте делать (*фр.*).

поэтому, что совсем не мешало бы употреблять слова более вдумчиво, не гоняясь за эффектом.

Разом наступила весна и в шестидесятых годах прошлого столетия после неудачной двухлетней войны. Эта весна уничтожила крепостное состояние, старый суд и приказ общественного призрения. На тех созданиях, которые выросли на обломках крепостного и полицейского самовластия, прилетела теперешняя весна. Вообще шестидесятые и первые годы каждого из последних столетий играли у нас исключительную роль, на что я подробно указывал еще в январе 1902 г. Не заходя далеко, напомню преобразовательную и военную деятельность Петра В. в начале XVIII в., в 60-х годах преобразовательную деятельность Екатерины II (законодательная комиссия), в начале XIX в. преобразования Александра и войны, в 60-х годах реформы Александра II, теперь, в начале XX века, война с Японией и начало реформ, которые намечены Государем реформой школы, указом об Особом Совещании и манифестом 26 февраля 1903 г. Естественно, смена поколений через 30–40 лет не проходит бесследно. Поколения вырастают, учась даже у самой жизни, от которой требования вырастают, не говоря уже о науке. 60-е года прошлого столетия блестели не только реформами, но и талантами, целою цепью превосходных талантов в общественной жизни, в публицистике, в литературе.

Это была весна, в которой аристократия ума и образования играла большую роль; это была весна, представители которой были настоящие, незакатные звезды, которые вечно останутся на горизонте русской культуры и славы. Настоящая весна покуда бедна талантами. Их нет в литературе – остается Толстой, явившийся с весной шестидесятых годов, нет в художествах – Репин подошел к старости; нет в общественной жизни. Называют Шипова, как организатора земства, и Мих. Стаховича[2], представителя дворянства, как *передового* и *прогрессивного* сословия, – вот и все. Судя по внушительной речи Плевако в его процессе с кн. Мещерским, Стахович останется верным своему сословию. Я не слыхал имен более громких или таких же громких, как эти. Может быть, люди есть, но они

еще под спудом, под весенним туманом, который поднимается от растаявшей земли и готов подняться к небу, чтоб бросить благодатным дождем русскую многострадальную ниву. Может быть, есть люди настоящие, свежие, с русским сердцем и русским здравомыслием, которым есть что сказать свое, не повторяя ни славянофилов с их несколько туманными воззрениями, ни западников с их наклонностью целиком брать западное, рабски его списывая, как рабски списывал свою конституцию Сперанский[3].

Столько умственной жизни русского человека не могло пройти даром. Составил же он себе нечто свое собственное, разбросали же по своему пути здоровые плоды и мысли большие русские писатели – Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, большие историки – Карамзин, Соловьев, Костомаров, Ключевский, большие критики, как Белинский, Вл. Соловьев, публицисты, как Аксаков, Хомяков, Чичерин, Градовский. Наконец, плеяда талантливых исследователей прошлого и настоящего России – есть же она и была, и не может быть, что она ничего не создала, ничего не внушила положительного и ясного тому поколению, которое теперь может считаться взрослым, зрелым и компетентным. Не может же быть, что мы сильны только эффектной фразой, лирическим воззванием. Ведь даже народ в это столетие вырастал на религиозной и экономической основах, группировался в отдельные самообразования, оставаясь в корне русским. Ведь и он может сказать что-нибудь свое и внести свой взгляд, свои поправки в те положения, которые легко списать, как азбуку, но трудно ввести в жизнь, не изломав ее и не исковеркав. Ведь надо же признать, что тот бюрократизм, на который теперь вешают всех дохлых собак, заразил в значительной степени и так называемое земство, сообщив ему всю сладость приказательности, самовластия и «я так хочу, потому что я знаю лучше вас, что надо делать». Ведь, положа руку на сердце, нельзя сказать, что земство свободно от этих элементов. Ведь оно тоже хочет не *избирать,* а *приглашать,* кого хочет, повторяя бюрократические приемы. Я мог бы сейчас назвать несколько случаев, подтверждающих эти по-

ложения. В прошлом году екатеринославское губернское земство жаловалось министру внутренних дел на корреспондента «Нового времени», который осмелился взять сторону того гласного, который указал на действительно существовавшие беспорядки в управской отчетности. Екатеринославские земцы просили министра внутренних дел запретить газете писать об этом случае. Разве это не бюрократический прием, не то же желание охранить себя от критики? Только свободно избранные населением могут считать себя выразителями общественного мнения, выразителями нужд населения, а вовсе не случайные и искусственно подобранные каким-нибудь бюро люди. 34 председателя земских управ так же мало значат, как 34 губернатора, и 60 подобранных гласных или полугласных земцев при этих председателях не более, чем 60 членов губернских совещаний при губернаторах. Правда, это две противоположные группы, обе искусственные, обе честолюбивые прежде всего, но дело в том, что ни та, ни другая не представляют народа.

Необходимо нечто большее, более независимое, более широкое и действительно представляющее собою население и его нужды. Представительство страны необходимо. Когда в апреле 1902 г. я говорил В. К. Плеве о земском соборе, о маленьком земском соборе, человек в 200–300, он выслушал меня и сказал: «В кабинете министра внутренних дел можно говорить о представительстве, но в печати нельзя».

– А когда вы служили при гр. Лорис-Меликове, я называл себя в печати земскособорником.

«Времена переменчивы», – отвечал он улыбаясь. Теперь снова говорят о представительстве в печати. С университетских кафедр, по книгам, газетам, по наблюдаемой нами давно европейской жизни мы хорошо знакомы с представительством и внимательно следим за борьбою партий, в особенности в Англии и во Франции. Политических деятелей, министров, ораторов Европы мы знаем лучше, чем своих молчаливых, в уединении работающих государственных людей. И я желал бы именно такой весны, которая походила бы на эволюцию, а не на революцию со всеми ее ужасами, беспорядками, раз-

гулом страстей, произволом, насилием и проч. Храни нас Бог от этого. Отечество нуждается во многом. Есть нужды, которые сейчас же необходимо удовлетворить. Во-первых, нужда в свободе работы, всякого почина, к которому влечет человеческую личность, стесненную целой массой формальностей и навязанных традиций. Об этом давно взывают и это всем нужно, начиная с мужика и кончая образованным человеком, техником, юристом, промышленником. Там, где есть эта свобода, и бюрократия работает лучше, прилежнее, производительнее. Она чувствует над собою общественный контроль и около себя свободную деятельность всего населения. Слово «свобода» недаром у нас популярно. Оно было в нашем языке испокон века и испокон века было любезно русскому сердцу. Всякое «освободительное» движение было у нас популярно, были ли то ирландцы, греки и буры или итальянцы (1859 г.) и славяне. Да, даже славяне пользовались нашей любовью не столько потому, что они славяне, братья наши по крови, сколько потому, что они были угнетены и хотели свободы. Это превосходная русская черта, черта нашей доброты, нашего великодушия. Мы прекрасный народ. Я думаю, мы один из лучших, один из даровитейших народов, если не самый лучший. Управлять нами может быть не особенно легко, зато благодарно, возвышенно. Мы чудесный материал для творчества, мы живые камни, способные создаться в величавое здание, только бы нашлись у нас архитекторы-художники. Наши былины, песни, пословицы, литература, художество запечатлены оригинальным гением, и многое уже стало достоянием всего культурного человечества. Надо творчество, необходима творческая политика. Лозунг настоящего момента – к работе! Работа внутренняя не должна мешать той громадной и великой работе, которая делается на Дальнем Востоке во имя великих судеб России. Напротив, она должна ей помочь всеми силами общества, всем его напряжением. От Государя до последнего его подданного – к работе для России, для нашего милого отечества! Пусть оно отстало, бедно, но оно всегда было велико духом, природным гением, оно найдет самоотверженных, талантливых, бодрых и сильных во-

лею и любовью ко всему русскому, ко всему тому русскому, что есть и может стать общечеловеческим.

Нам надо то, чем пользовались наши предки

В Москве открылась еженедельная трибуна, «Русское Дело». На ней стоит известный публицист г. Шарапов[1], бывший противник С. Ю. Витте, как министра финансов. В финансовые «комбинации» г. Шарапова я никогда не верил, а теперь не верю и в его политические «комбинации». Вернувшись из Петербурга напуганным и возмущенным «мятежом», он написал несколько горячих строк против Петербурга и возложил надежды на Москву, которая, по его выражению, «хранит и бережет Русское государство». В исторически сложившуюся способность Москвы хранить и беречь если не Русское государство, то первопрестольную столицу можно верить тем охотнее, что Москва – торговый город, город именитого и богатого купечества, которое доказало, что оно не только умеет накоплять богатства, но и развило в себе способность управлять широкими делами. Однако г. Шарапов совершенно забыл историю Москвы, ибо напечатал следующие строки[2]:

«Спасет ли нас не только парламентаризм, но даже и земский собор, о котором говорит в последнем “Маленьком письме” А. С. Суворин? Не будет ли этот земский собор тем же, чем стала наша нынешняя печать... Нет, избави же нас, наконец, Господи, от лжи, в какую бы форму она ни облекалась и какие бы громкие имена себе ни присваивала. Нынешняя Россия еще долго не может дать земского собора. Дай Бог, чтобы она дала теперь несколько на что-нибудь похожих земских областных собраний».

Думаю, что эти строки, полные скороспелого отчаяния, соединенного с самоуверенностью непогрешимости своих выводов, продиктованы последователю славянофилов, каким считает себя г. Шарапов, крайней растерянностью и легкомыслием. Можно с клятвою утверждать, что ничего подобного ни при каких политических обстоятельствах не сказал бы

И. С. Аксаков, поклонник самодержавия, укрепляемого представительством земского собора. На страницах истории Москвы написаны деяния земских соборов, которых было в течение 150 лет 32. Эти соборы давали дельные советы московским царям; Смутное время, можно сказать, полно было ими, хотя они не записаны и происходили по разным городам; в безгосударное время ими же держалась Русская земля; земский собор, самый полный из всех, ибо в нем участвовали и «уездные люди», т.е. крестьяне, избрал на царство Михаила Федоровича Романова, и он же содействовал юному и неопытному царю в разоренном, обедневшем и расшатанном государстве устроить порядок и освободить Россию от внешних врагов и внутренних. Первый Император покончил с ними. Первый Император старался вдвинуть Россию в Европу. Его гению все было возможно. Он мог повторить слова Гете: «Невозможное возможно только человеку». Он сделал так много, что Россия и теперь еще живет положенными им началами. Но он же создал у нас бюрократию по европейскому образцу. Он же внушил и уверенность бюрократии, что она все может, что она всесильна, что своим трудом и властью она может продолжать созидание и утверждение государства, не обращаясь к содействию представителей народа. Его гениальная способность к творчеству, его несокрушимая энергия увлекала бюрократию на самостоятельный путь одиночного строительства. Сильная его духом, она поверила в свои силы и ревниво стала оберегать свою власть. Но Екатерина Вторая снова прибегла к земскому собору, ибо созванная ею законодательная комиссия была не что иное, как земский собор. Земские соборы не повторяли друг друга своим составом и задачами, а сообразовались с современными нуждами, со взаимными отношениями сословий. Мы имеем свидетельство Сперанского об этой комиссии, от 1809 г., как увидим, совершенно лживое в своих выводах. Он говорит: «Созваны депутаты от всех состояний, и созваны в самых строгих формах народного законодательного представления, дан "Наказ", в коем содержалось сокращение лучших политических истин того времени, употреблены были великие

пожертвования и издержки, дабы облечь сословие сие всеми видами свободы в величия, словом, все было устроено, чтобы дать ему, и в лице его России, бытие политическое, – но все сие столь было тщетно, столь незрело и столь преждевременно, что одно величие предприятий и блеск деяний последующих едва могли только сохранить сие установление от всеобщего почти осуждения. Не только толпа сих законодателей не понимала ни цели, ни меры своего предназначения, но едва ли было между ими одно лицо, один разум, который бы мог стать на высоте сего звания и обозреть все его пространство.

Таким образом громада сия, усилием одного духа, без содействия времени составленная, от собственной своей тяжести пала, оставив по себе одну долголетнюю и горестную укоризну всем подобным сему предприятиям».

И однако этот вывод сей просвещенный бюрократ сделал 50 лет спустя после Екатерининской комиссии в таком акте, в котором проектировалась конституция, где говорилось, что «образ мыслей настоящего времени в совершенной противоположности с образом правления», что «дух народный страждет в беспокойствии» и что это «беспокойствие» можно объяснить себе только «*совершенным изменением мыслей, глухим, но сильным желанием другого вещей порядка*». По изданным материалам Екатерининской комиссии мы знаем теперь, что депутаты принесли верную картину тогдашнего состояния России, что они положили основания новому порядку вещей, на началах децентрализации, что тогда же созданы были губернские, городские и дворянские учреждения, существовавшие целое столетие и отчасти существующие теперь. Выборное начало положено в них было довольно широкое, хотя извратилось временем, злоупотреблениями и господством крепостного права. Если б депутаты были никуда негодны, если б екатерининский земский собор «оставил по себе горестную укоризну всем подобным предприятиям», то каким образом в течение 50 лет, прошедших со времени этого собора, все так изменилось, что потребовался новый порядок вещей и «политическая свобода» среди мрака и бесправия крепостного состояния. Сам Сперан-

ский, впрочем, отговаривается, что со времени Ивана Грозного «напряжение общественного разума к свободе политической всегда более или менее было приметно», разумея, конечно, земские соборы, право петиций (челобитные) и проч.

Что Император Александр III сочувствовал идеалу самодержавия, стоящего в тесном единении с представителями народа, доказывается тем, что именно ему, когда он был наследником престола, принадлежит незабвенная заслуга обнародования работ Екатерининской комиссии, которые держались целые сто лет в секрете, под замком. Что с его стороны это было не любопытством только к важному историческому документу, ясно из того, что он готовился собрать земский собор. Он стремился обновить самодержавие, спрыснуть его живой водой единения с подданными, которому мешало «средостение» – так называли тогда бюрократию. Проект вырабатывался в Министерстве внутренних дел нарочито приглашенным туда Голохвастовым, который занимался русской историей, но не принимал участия в проведении проекта. Было несколько заседаний министров, обсуждавших этот проект. Но оказалось, что само Министерство внутренних дел так плохо знало историю этого учреждения, его личный состав, его права и обязанности, что не могло защищать своего проекта с тем авторитетом, который требовался для такого серьезного дела. Министерство, например, стало утверждать, что соборы состояли из каких-то «именитых людей», что на самом деле никогда не было, и самое слово «именитый» было титул, данный Строгановым за их заслуги и потом вошедший в употребление для обозначения богатого купечества и потомственного почетного гражданства. Проект остался мертворожденным. Когда И. С. Аксакову я выражал свои сожаления на этот счет, он сказал мне: «Скажите – слава Богу. Государь видит, что его правительство не знает сущности того, что предлагает, он не хочет комедии, в которую мог бы обратиться такой земской собор. Если б он собран был в предположенном виде, то самое это имя исчезло бы и прервана была бы связь с прошлым. Государь сохранил нам это учреждение для будущего».

Я писал уже недавно, что в апреле 1902 г. я говорил о земском соборе В. К. Плеве, но он находил его несвоевременным. Я всегда оставался неизменным поклонником этого родного учреждения и остаюсь им и ныне. Я убежден, что новый порядок не должен прерывать своей связи с историей, я знаю, что французские историки указывают на то, что Франция в 1789 г. сделала непоправимую ошибку, созвав свое национальное учреждение – генеральные штаты, не созывавшееся уже 175 лет, обратилась вслед за тем, вследствие хитрого маневра слишком многочисленного третьего сословия, к образованию национального собрания, потом учредительного и к английской конституции и тем порвала совсем со своим прошлым. Конституции следовали за конституциями (целых девять с 1791 по 1875 г.) и заставили государство пережить чрезвычайно тревожный и неустойчивый век. Английская конституция – родное учреждение. Она не существует в виде «хартии» или особого основного закона, организующего власти и основания публичного права. Она образовалась постепенно и вошла в нравы страны. Правда, Кромвель собирался написать ее, но она так и осталась неписаной и остается самой прочной в Европе. Конечно, существуют знаменательные акты, по которым можно проследить постепенное развитие конституции. Но ни один из них не выдавался правительством как нечто *новое*. Напротив, постоянно повторялось с настойчивостью, почти курьезною, что ничего нового не давалось, а это все старые права, которыми английский народ постоянно пользовался.

Я желал бы, чтобы и мы делали так. Дело не в канцелярских бумагах, не в параграфах, которые легко изменяются, а в сущности жизни, в ее свободе. Нам надо то, чем пользовались наши предки. Самое 19 февраля было совсем не ново. Оно было возвращением к старым формам, которые должны были раздвинуться, чтобы обнять новую жизнь, новые русские души. Рядом с сильной властью, непременно сильной, которая не дала бы себя обмануть или провести, могут существовать такие учреждения, как земский собор, как опора этой самой власти и ее свободный союзник, критик и работник для развития родины.

Обвиняют в смуте печать, обвиняют ее в измельчании, в пошлости, в подстрекательстве. Но на что же может опереться печать, когда она не имеет под собой твердой почвы? Она может быть правдива только тогда, когда она представляет общественное мнение рядом с представительством, которое может руководить ею и направлять ее. Почему она выражает голос страны, когда сама страна его не выражает? Почему она имеет это преимущество перед страною, которая представителей печати не выбирала? А эти неизбранные представители печати обсуждают важнейшие вопросы. Почему бюрократия может выделять из себя способных и талантливых людей для управления, а общество не может, ибо оно в этом направлении не воспитывается? Я вовсе не принадлежу к ненавистникам бюрократии, я знаю, что бюрократия сделала много полезного и прочного, что без нее обойтись никак невозможно, но я думаю, что она не в силах более справиться с тем громадным организмом, в который обратилась наша Империя. Всякой силе, всякой способности положен предел, и этот предел настал уже явно для всех с началом великой реформы 19 февраля. Самые реформы останавливались от этого бессилия «обнять необъятное». Вращаясь в своем заколдованном кругу, она не может обновиться и не обновится, пока не явится обновление в том призыве народных сил, о котором я говорю. Отрицающий земский собор журналист говорит, как власть имеющий, говорит приказательным тоном, как говорил он о финансах, к которым потом, однако, прибег. Приказательного тона довольно. Он нужен для служебной дисциплины, но он ровно ничего не дает для блага родины, в тех сложных и тяжелых условиях, которые мы переживаем. Я обратился к истории, я имею за собой массу русских людей, которые думают так же, как я, у которых, может быть, еще больше, чем у меня, веры в историческую преемственность родных учреждений. Земский собор не значит собор из земских собраний, из председателей земских управ и гласных. Земство имеет в себе до 70 процентов дворянства и не может, не имеет права считать себя выразительницей Империи.

У нас есть сословия: дворянство, духовенство, купечество (в широком практическом составе), крестьянство. Хоть по сто человек от каждого сословия, но все они должны быть представлены в той или другой пропорции. Это дело разработки серьезной и внимательной, в которой должны принять участие люди науки. Я этими немногими строками отвечаю тем, которые почему-то связывают земский собор с тем законом установленным земством, которое и существует только в 34 губерниях.

Надоедает критика, одна критика существующего порядка, переходящая к явлениям революционного порядка, дикие отбросы толпы городской, не имеющие ничего общего с рабочим классом, готовые принять участие во всяком беспорядке и довести его до ужасов бессмысленного бунта, мы их теперь видели. Этого не могут хотеть добрые граждане, все те, кто работает и хочет работать. В души многих закрадывается страх за будущее, и началось то шатание, которое может обратиться в смуту. Хотят порядка, непременно порядка, чтоб можно было свободно и спокойно работать. Хотят школы государственного управления, чтобы люди из общества могли проходить ее и работать на пользу страны вместе с правительством. Хотят, чтоб не было лукавых рабов, не было тех «перелетов» Смутного времени, которые перебегали из Москвы в Тушино и из Тушина в Москву, где выгоднее. Хотят, чтоб к царскому престолу доходил голос страны в своем искреннем, правдивом выражении. Хотят, чтобы пред Государем стояла вся страна, покорная Его державной власти и готовая стоять на страже внутреннего законного порядка и упрочивать его до полной гармонии с характером русского народа и до красоты великолепного русского богатыря, сильного благородной и честной любовью к Царю и Родине, сильного разумом и свободою духа.

Земский собор соберет всю Русскую землю

Я совсем не шутил, как упрекнула меня одна газета, когда спросил: кончилась ли революция или нет, и когда сказал,

что она для меня весьма сомнительна. Революция в государстве, где сто миллионов одноплеменного народа, понятия не имеющего о том, что такое революция, надеющегося только на Государя и верящего только в него, – очень большой вопрос. Даже г. Струве говорит, что «революционного народа в России еще нет» («Освоб.», 7 янв.). Зато такой всезнающий человек, как Жорес[1], говорит, что русский народ более готов к революции, чем французский в 1789 г. Откуда это он узнал? Из каких источников, из каких наблюдений? Недавно, именно в прошлом декабре, в распространенной венской газете («N. F. Presse») бывший профессор томского университета Рейснер говорил сотруднику этой газеты, что русскую революцию устроит не третье сословие, как во Франции, а первое, т.е. достаточные и образованные люди. Это *сословие* заключает в себе все, что обладает образованием и состоянием, и он перечисляет деятелей этих в следующем порядке: «Врачи, присяжные поверенные, писатели, художники, купцы и землевладельцы, образованные чиновники и офицеры». Он объяснил далее, что у нас нет вражды между бюргерством и дворянством, так как у нас всякий может сделаться дворянином и получить все отличия на службе государственной. «Князья становятся во главе оппозиции». Меня удивили в этом перечне «врачи», которые поставлены впереди всех, точно они совсем не имеют практики, а потому желают революции в надежде, что она даст им практику. Если князья становятся в оппозиции, то из этого еще не следует, что они становятся во главе революции. В приведенном мною перечне есть, конечно, люди и крайних убеждений, но большинство, несомненно, дальше либерализма не идет и очень хорошо понимает, что революция красива только издали, даже очень издали, только в романах да исторических сочинениях, не особенно заботящихся или вовсе не заботящихся об истине. А в России революция – это значит пугачевщина и общий погром, который прежде всего покажет свою силу над интеллигенцией и имущественными классами. Если стачки считать революционными взрывами, то они наделали уже множество бед и

причинили огромный ущерб народной экономике, который придется пополнять своим горбом тому же самому народу и тем же самым рабочим. О потерях рабочих можно судить по тому, что в Риге и ее округе, например, они теряют ежедневно до 50 000 руб., а в Петербурге они теряли, вероятно, ежедневно по 100 000 руб. Если счесть потери фабрикантов, то в какую огромную сумму обойдется это движение!

Забастовкам придается политический характер. Несомненно, что революционный элемент в них действует со всей энергией, как давно несомненно, что существует революционная, хорошо организованная партия, которая за границей имеет свои газеты и снабжает ими и прокламациями Россию и в своих изданиях дает постоянно отчет о своих действиях. Большинство рабочих действует в экономических интересах и во многих случаях вычеркивает из предъявляемых рабочим программ политические требования, а в других случаях поддается обману и журавлям в небе, которые непременно перед и во время всякой революции летают, а когда она совершена, то журавлей и след простыл. Их поймали и съели руководители, а народу остались обещания…

У нас большинство постоянно подчиняется меньшинству во всех забастовках, как интеллигентных, так и рабочих, вследствие полной нашей общественной дезорганизации. Плод бюрократического режима. Если благоразумная часть общества не вступится всеми силами разума и патриотизма в то брожение, которое охватило так много мест под видом забастовки, то на русском обществе можно поставить крест, как на неспособном, ленивом, умеющем только говорить красивые слова или, как улитка, замыкаться в свою раковину.

Несколько врачей, которых я видел в последние дни, после 9–10 января, мне говорили по поводу забастовки интеллигенции: «За кого эти господа считают нас, врачей? За апостолов или за зверей? В то время, как они забастовали не учиться, не преподавать, не защищать подсудимых, мы не спали ночей, перевязывая раненых, делая операции, исполняя свой долг около больных. Мы исполняли его даже тогда, когда слезы стояли в

наших глазах. Если гг. интеллигентные забастовщики так слабы нервами, что не могут исполнять своих обязанностей, то почему им бы не подумать о том, что и мы люди, что и у нас нервы, и мы притом ближе всех к человеческим страданиям. И если с нашей стороны было бы варварством не лечить людей, не помогать им, то почему с их стороны – доблесть не делать своего дела и устраивать себе каникулы?»

В самом деле, почему? Разве ничегонеделание есть вернейшее революционное средство? Или оно признак мужества и высокой культуры? Несомненно, что дети и внуки, то есть те, которые годятся по летам в мои дети и внуки, идут гораздо дальше меня, да и странно было бы, если б они не шли, но и отец, и дед имеет право советовать. Я мало понимаю обструкцию интеллигентов и несколько лет назад возбудил к себе негодование многих за то, что заговорил против забастовки молодежи. Тогда союз писателей предал меня суду своему с тем, чтобы меня извергнуть из этого союза. Но суд ограничился замечанием, хотя в нем заседали мои политические враги. Я и ныне думаю, что стачки молодежи приносят вред как ей самой, так и России, наполняя ее полуобразованными людьми, ибо забастовка разлагает не только учащийся, но и профессорский персонал, делая его бессильным, почти презренным в глазах молодежи: профессора ставят выпускные отметки не за знания, которых нет, а за благонравие, выраженное тем, что гг. студенты благосклонно явились на экзамены. Это ли не унижение и для профессоров, и для студентов?!

Я смею думать, что эти интеллигентные стачки рядом с неустойчивостью школы понизили уровень нашего образованного общества. Эти забастовки рядом с исключениями и ссылками сузили круг дарований русских людей, не дав им развиться правильно. Когда-то наших предков палками загоняли в школы и Митрофанушки предавались общественному смеху. Теперь меньшинство учащихся палками выгоняет из школ большинство ради политических причин, якобы приближающих нас к обетованной земле. А если мы эту обетованную землю только запакостим своим невежеством и если

только усилим прилив к нам иностранцев!? Вот в чем опасность интеллигентной забастовки.

Я никогда не сравню забастовку рабочих с забастовкою профессоров, студентов, адвокатов, фармацевтов; я от всей души желал бы, чтоб рабочий вопрос был решен в самом человечном смысле, чтоб были найдены законные нормы для открытой борьбы труда с капиталом, но я считал бы величайшим бедствием для России стачку лучших интеллигентных сил, если б ее признал закон. Это было бы стачкой нашей лени, нашей нелюбви к народу, нашей распущенности и утверждением того рабства, которое Россия испытывает даже и теперь, рабства перед просвещенным Западом, который дает нам фабрикантов, техников, промышленников, агрономов, ученые труды решительно по всем отраслям знаний. Иностранные имена на наших выставках бросаются в глаза. Наши ученые, социологические, технические сочинения – большею частью переводы. Из-за границы мы до сих пор выписываем более сложные машины, химические продуты в проч., все то, что требует много интеллигентного труда, выписываем даже рабочих специалистов; в свою очередь труд нашей интеллигенции никакого участия в вывозе не принимает; мы вывозим почти исключительно произведения крестьян – «простого народа». И что ж, в отличие от движения сороковых и шестидесятых годов в настоящее время говорится только о нуждах верхнего слоя, о народе же ни полслова: и он молчит, и о нем молчат...

Мы жалуемся на режим. Неудовлетворительность его признана сами Государем. После этого говорить о режиме нечего. Но не все же и во всем виноват режим. Надо же что-нибудь оставить и на нашу долю, на нашу лень, распущенность и *добровольное* невежество. Самый режим, несомненно, зависит и от того, что мы дряблы, что мы не выработали того характера путем труда и твердого убеждения в его необходимости. Почему еврейство, живущее среди нас при худших условиях, чем мы, почему оно побеждает нас и овладевает самыми выгодными профессиями? Разве оно нас даровитее, умнее? В значительной степени потому, что оно трудится, и

беда в том, что при лучшем режиме оно будет еще победоноснее, а те, которые теперь идут за ним, в близком будущем, может быть, будут чистить сапоги у евреев и служить у них на побегушках и плакаться на режим.

Неужели это не понятно? Неужели не страшно думать, что Россия развалится, что она обратится в Московское государство и русский народ в батраков у пришельцев? Мне страшно об этом думать. Так называемые «наши» инородцы могут быть вполне хорошими народностями, но что им до России? Они нас не любят. Они уже видят нас побежденными и готовы послать нам жестокие укоры в нашей отсталости, лени, бесхарактерности, болтовне, пьянстве, в разрозненности, в отсутствии патриотизма. Где наш национализм? Мы заменили его, если так можно выразиться, международным национализмом. Мы думаем стать выше всех, презирая свое родное и хлеща себя по ланитам и находя в этом какое-то варварское удовольствие. «Нам-то что? Пусть их, заушают самих себя, коли ни на что другое не способны. Мы знаем теперь, чего они стоят». Так уж говорят про нас наши окраины и могут отпасть без особенного труда, если мы будем ждать всех благ только от режима, рассчитывая на него, как на философский камень.

Настало время не думать только, но действовать для того, чтобы сплотиться в партии, доселе разбросанные, неопределенные, вечно идущие на компромиссы и не видящие ясной цели. Никакие репрессии не нужны, но нужно правительство, нужен разум, нужны убеждения, нужна борьба характеров, общественных положений и здравого государственного смысла. Пора перестать отделываться от проклятых вопросов общими гуманными фразами, полусловами и намеками. Дело идет не о каких-нибудь преходящих течениях, не о какой-нибудь игре в выгоды и невыгоды. Дело идет о России, о ее положении внутреннем и внешнем, о ее целости, о ее будущем. Каждый русский с этим обязан считаться, иначе он не русский. Нужна честная, открытая, мирная борьба за самые дорогие для нас цели, за личное и общее счастье. Нужен тот патриотизм, который поднимается высоко над частными интересами и во имя

общей цели соединяется в одно целое, несмотря на разность убеждений. Не надо убаюкивать себя иллюзиями. Лучше хуже представлять себе настоящее, чем оно есть, ибо это может только поднять деятельность и бодрость в разумных существах. Я за то, чтобы работать теперь же, ибо во время опасности разум подвижнее, фантазия ярче, силы увеличены.

Я высказался за земский собор. Я в нем только вижу выход из тяжелого нашего положения. Земский собор соберет всю Русскую землю перед лицом Государя. Он услышит ее искренний, любящий голос. Как скоро образуется общественное представительство, образуется и единое и сильное правительство, чуткое к народным нуждам и к своей солидарности между собою и представительством. Мировой престиж русской монархии поднимется тотчас же. Славянские народы от всего сердца будут приветствовать этот великий акт русской государственной жизни, как воссиявшее солнце. Волей-неволей весь просвещенный мир взглянет глубокими очами на русское возрождение. Настанет та шумная, но плодотворная весна, о которой я мечтал вместе с массою русских людей, верующих в крепость, в здравый смысл и величие Русской Державы. Недаром символ ее – двуглавый орел, Царь и народ, живущие единой жизнью, единым сердцем, бьющимся для счастья Отечества.

Но я слышу: да неужели не рискован этот шаг? Принуждены же мы были броситься в японскую войну, пошли же мы на этот страшный риск. А тот риск, который представляется некоторым в земском соборе, – есть риск просвещения, взаимного доверия, братских сближений сословий и состояний, общей и милой всем работы, риск государственной школы для всех дарований. Разве вы можете противопоставить ему что-нибудь превосходящее в том бюрократическом порядке, который заслужил всеобщее порицание? Если можете, то скажите. Ничего нельзя рассчитать наверняка. Ведь думали же, что сокращение реформ не только безопасное дело, но и полезное. Ведь думали же, что ничего нет лучше централизации, покоящейся на бюрократии. Думали, что реальное образование юношества

спасет нас, думали, что спасет классическое образование, и затем снова начали думать, что ничего нет лучше образования реального. Чего не перепробовали для того, чтобы водворить порядок и благоденствие! Сорок лет пробовали и наконец торжественно заявили, что необходимо государственный порядок усовершенствовать. Стало быть, старые способы надо покинуть. Общество выросло. Бюрократия иногда работала усердно. Этого нельзя у ней отнять. Но когда общество вырастает, оно хочет воли и самостоятельности, как хочет этого юноша, выросший в мужа. Слабых можно поработить, сильных – никогда. Это всемирное явление, и напрасно думать, что старые средства все-таки помогут. Земский собор – это вся Русская земля, весь ее разум, все ее богатство. Что же, разве она соберется для того, чтобы разрушать исторические свои основы, обессиливать свою Родину, бросить ее в пучину бедствий и отдать на произвол крайних партий, или для того, чтобы принять их борьбу, указать им предел, указать им свое место и спокойно работать для общего счастья, выравнивая и утверждая русскую дорогу. У всякой дороги есть крайние стороны, и всякая дорога ведет не только в Рим, но и в область бесконечного совершенствования человечества. Я верю в то, что говорю, всем сердцем, всем помышлением. Русская земля не может не оправдать себя перед своим Государем и перед всем миром, который смотрит на нее с возрастающим вниманием. Русская земля растет общим желанием возрождения.

Необходима сильная, творческая власть

Какая будет следующая Дума? Я такого мнения, что всякая Дума будет казаться невозможной, если в стране не будет власти, если эта власть вообразит, что можно и при Думе жить с патриархальной распущенностью и повелевать, только повелевать, начиная с министра и кончая земским начальником. Как только одних повелений оказалось недостаточно, так власть оказалась никуда негодной и во всем стали виноваты

общество, митинги, печать, Дума. Поверхностно смотреть, оно так будто и выходит. Все свободно говорят, собираются, печать кричит, Дума проявляет свою власть и добивается власти всеми средствами. Но было бы очень курьезно, если б свобода оказалась благоразумной и с привычками гостиных. Население разнообразно по средствам к жизни, по образованию и воспитанию, по свойству труда и более или менее зависимому положению, по темпераменту и т.д. Естественно, что каждый и поступает сообразно своему «я», когда объявлена свобода, когда патриархальный порядок разрушился или объявлен недействительным. В конце прошлого ноября или в начале декабря мне говорил француз, несколько лет живущий в Петербурге, имеющий здесь и в Париже связи в высших сферах, о своем свидании с Рувье (он был тогда первым министром). Рувье его спросил, что сделалось с графом Витте? «Я знал его, – сказал он, – за человека энергичного, властного, а он ничего не делает, он все распустил, и в России начинается революция. Я совершенно его не понимаю. Что с ним?»

– На это я ответил ему, – говорил мне француз, – что с графом Витте сделалось то же самое, что и со всей русской администрацией. Он работал при старом режиме, когда каждое его слово, каждый жест принимались к беспрекословному исполнению. Ему достаточно было двинуть бровью, и все тотчас бросались угодить ему. Приказание передавалось по иерархии, сверху донизу, и сверху и донизу исполнялось, хорошо или дурно, другой вопрос. О населении мало кто думал. Оно должно было исполнять приказание и исполняло, охотно или неохотно. И вдруг указ 17 октября все это отменил. Объявлена была свобода – и свобода, не ограниченная никакими законами. Каждый ее брал, как хотел, и применял, как Бог на душу ему положил. Население и подчиненные стали рассуждать и поступать по собственному желанию. Кроме того, я должен был сказать г. Рувье, что русская администрация невежественна. Она так же мало знакома с историей революций и с установлением свободы в Европе, как и само население. Она знает историю Европы по Парижу, по курортам и по ре-

сторанам. Все это игноранты. Тогда как руководители общественного движения учились и жили в Европе, наполняя свои головы только социализмом и идеями революционными. Они делали то, что надо было делать с их точки зрения, а администрация или ничего не делала, или не знала, что делать, и потому развивала революцию.

Я почти буквально передаю то, что слышал от этого француза и что совершенно правильно объясняет тот сумбур, который у нас начался с октября. На мой вопрос у одного довольно влиятельного чиновника, почему указ 17 октября не сопровождался законами, я получил такой ответ:

– Потому, что все струсили. Когда в Совете министров кто-то сказал об этом, все остальные замахали руками. «Помилуйте, что вы, что вы? Да нам скажут, что мы пошли назад. Нам ответят забастовками. Нет, сохрани Бог». Трусость была такая в высшей администрации, что стыдно вспомнить. А чем она была трусливее и растеряннее, тем храбрее были революционеры. Местная администрация прямо ничего не делала, да и не могла знать, что делать. Указ 17 октября давал все, все свободы, а у администрации был только кулак и приказание. Против кулака поднялся револьвер, а на приказания просто чхали. Администрация сложила руки, и революция и погромы пошли вольными шагами. Не шагами даже, а прыжками. Когда взялись за репрессии, было уже поздно. Революция приобрела уже силу почти военной стороны. Если б была власть, как в Европе, не было бы надобности в репрессиях, не было бы в Москве восстания. Но у нас власть не умеет быть властью, как полиция не умеет быть полицией. Петербургский градоначальник объявил приказом по полиции, чтобы она *отличала* освободительное движение от беспорядков. Это в пору было государственному человеку, но отнюдь не городовым. Не говорю уже о численности полиции. В Лондоне на каждый миллион жителей *в десять раз* больше полицейских, чем у нас.

Революция сделалась силой, потому что у власти не было силы, кроме военной. Она только на нее и опиралась, а в ноя-

бре даже в этой силе сомневалась, и когда я выражал сожаление, что г. Носарь не арестовал графа Витте[1], то говорил это потому, что был глубоко убежден, что арестовать его ничего не стоило, как ничего не стоило ограбить Московский банк на миллион рублей. «Руки вверх!» – и дело сделано.

Г. Аладьин[2] говорил в Лондоне журналисту, что он постарается, чтобы не было революции, потому что революция – ужасное дело. А что он болтал в Думе, как он грозил народной волной? Не он ли торжественно объявил в Думе, что в селе Нагаткино мужики и бабы объявили, что они «готовы на самые крайние меры» для поддержания Думы, если ее посмеют распустить? Дума принимала село Ногаткино за всю Россию и аплодировала. Г. Гредескул[3] грозил даже 150 млн армией из своего кармана, точно дело идет о блохах. Революции не происходит, даже село Нагаткино спокойно, и вот г. Аладьин говорит, что он «постарается», чтоб село Нагаткино было спокойно.

Революции быть не может, если власть сорганизуется и научится управлять при свободах, что гораздо труднее, чем при их отсутствии. А если власть этому не научится, то никакая Дума будет невозможна, ни радикальная, ни либеральная, ни консервативная, ибо всякая Дума будет говорить свободно, а без полной свободы слова Дума – круглый нуль и комедия. Всякая Дума будет беспокойною и станет стремиться к власти и бороться за власть, а потому будет в оппозиции к министрам и станет с ними браниться. Это в порядке вещей. Что есть в Европе, то должно быть у нас, у нас похуже и погрубей, конечно. Наша Дума стремилась к власти, потому что превосходно понимала, что только сильная власть и может справиться с революцией. Не видя ее у правительства и ревнуя его, она не поддерживала правительство, а роняла его при всяком удобном случае, чтобы скорее его совсем обанкрутить и заставить сдаться в плен. Она к этому шла неумно, без оглядки, подчиняясь самоуверенным крайним. Дума могла ошибаться в своих силах, она рисковала, по своим отношениям к революционным партиям, уси-

лить революцию и очутиться в руках революционеров – это было весьма возможно и это было страшно, – но со своей точки зрения она была права.

Вывод такой, по моему мнению: нечего мечтать о том, какова будет Дума, радикальная, революционная, либеральная или консервативная. *Надо думать о том, чтоб Дума была, была непременно* и действовала именно так, *чтоб никакая Дума не была опасна для Верховной власти и для единства и мира России.* А для этого единственное средство – организация власти и немедленная реформа всего управления сверху донизу и земского самоуправления. Не о том только должно заботиться, чтобы войска оставались верны присяге и долгу, а о том, чтобы вся администрация была способна, жива и энергична и проникнута одним организаторским духом. У нас этого чрезвычайно мало. П. А. Столыпин начинает, по-моему, мужественно и хорошо, приглашая некоторых министров из общественных групп. Они должны пойти на это приглашение, если искренне желают Думу, желают представительства. С их стороны если это будет жертва, то жертва, как говорится, только на алтарь отечества, на алтарь Г. думы, а не на алтарь министерских портфелей.

Когда отечество нуждается в реформе и в сильных независимых людях, то не может быть предлогов для уклонения. Необходима сильная, творческая власть, и общество пойдет за ней, и родина благословит тех людей, которые своей деятельностью упрочат союз власти с Г. думой. Надо думать о благородной цели успокоения России, а не о партийных интересах.

Если председатель Совета министров не стесняется чинами для министров, будь они губернские секретари, то и подавно он не станет стесняться чинами для назначения губернаторов. Надобны люди, а не чины, и люди из всех сословий, а не из одного дворянства. Губернатором может быть купец, как может быть он и министром. Люди, верующие в реформу, люди сильные и должны составить связь всех государственных органов. Тогда Дума будет венцом здания, а не тяжелою крышею, которой будут страшиться, что она раздавит само здание.

Обличительная Государственная дума

На председательском месте сидит г. Головин[1], похожий на мумию Рамзеса I. Издали не видать его усов, и потому сходство разительное – у Рамзеса усов не было. Мумия сидит, как надлежит мумии, неподвижно. Ужасно скучно. Рамзес I считает минуты; когда прибежит время, данное оратору, к 10 мин., он подает один звонок, единственный, – «динь». Оратор торопится досказать свои великолепные мысли, и, может быть, еще более великолепные остаются в его голове, ибо предательский «динь» их прекращает. Иногда он выражает сожаление, что попал в десятиминутные ораторы, иногда произносит совсем бессвязную фразу, которую великодушные стенографистки поправят, а иногда и просто сходит с кафедры. Надо много денег давать председателю, чтоб четыре часа, не сходя с места, сидеть и стараться показываться бодрым. Если б еще можно было читать председателю «Рокамболя» или Поль де Кока[2], а без этого – мука.

Депутаты ходят, разговаривают друг с другом, выходят в буфет или в кулуары, зала наполовину пуста, и в ней как бы жужжание огромного роя летних мух, которые, как известно, составляют одно из ярких доказательств нашей культурности. Ораторы редко отличаются звучным голосом, и это, может быть, к счастью, ибо в противном случае речи их сильно проигрывали бы, надоедая слуху сильным звуком, ничего не выражающим. Теперь же скромное или ничтожное их содержание находит и соответствующий голос и смешивается с жужжанием мух.

В театре гораздо лучше. Там публика невольно слушает пьесу, какая бы она ни была. Если б зрители позволили себе такое неуважение к актерам, какое явно показывают депутаты друг к другу, то их бы большинство залы заставило сидеть смирно и молчать. Даже кашель зрителя вызывает шипенье, а если кто выходит из партера, на него устремляются прямо враждебные взоры. Это жуткое чувство я сам испытывал в бы-

лые годы, когда, будучи не в состоянии слушать скучную пьесу, уходил среди действия. Хорошо ли это неуважение к парламенту, эта свобода депутатов делать что им угодно, проходить в буфет, переходить со своего места к месту своего знакомого, говорить и производить в зале мушиное жужжание? Мне кажется, что это нехорошо. Речи как будто говорятся только для печати, для самого себя, а вовсе не для благородного собрания законодателей. Но кажется, что так везде, и это «так» кладет печать какой-то пошлости на эти заседания, какой-то канцелярской распущенности. Недостает только, чтоб пристава разносили пиво и коньяк. Когда-нибудь кафешантан ворвется в парламентские заседания, и это, может быть, к лучшему, ибо тогда заседания будут полнее и оживленнее.

Слушая ораторов – какие это ораторы? – я думал: какая страшная по своей огромности и ответственности задача возложена на Г. думу. Можно ли ее исполнить? Ведь это полное переустройство русской жизни, слагавшейся целые века. Если правительство видело, что реформы необходимы, если оно в несколько месяцев внесло в Г. думу несколько сот законопроектов, то почему оно само не ввело всего этого и потом собрало бы Думу? Дума вступила бы в свои права на новой почве и могла бы совершенствовать законодательство постепенно, не торопясь, хладнокровно, вдумчиво. К прошлому нечего было бы возвращаться, и значительная часть злобы на прошлое исчезла бы, и не было бы этих бестолковых и злобных речей и этого стояния на ножах как правительства, так и представительства. Может быть, это мечтание пустое, может быть, вводить реформы Учредительным собранием лучше? Но если так это, то нужно Учредительное собрание, такую Думу, которая была бы всевластна, и г. Головин был бы настоящим Рамзесом I, а не мумией его. Если представительство может реформировать страну, то оно должно быть превосходным, должно заключать в себе первостепенные таланты, первостепенных техников по всем знаниями и отраслям жизни и такому представительству должна быть отдана полная власть писать законы. Почему случайный сбор депутатов, избран-

ных по какой бы то ни было системе, способен сделать то, что необходимо и разумно, что действительно отвечает нуждам страны? Конечно, и бюрократия тоже не отвечает этому идеалу, и единственное средство ввести ее в необходимую колею – это заставить отвечать за каждый свой промах. Но в таком случае парламентаризм – только некоторое соглашение, компромисс, некоторая комедия, разыгрываемая известною труппою актеров, которые, при всем желании своем, могут дать только то, что имеют.

Что это за Дума? В своем роде она превосходна и даже представляет собою часть страны. Она превосходна в том отношении, что в большинстве своем социалистична. Кто теперь не социалист? Разве кадеты – не социалисты, черносотенники – не социалисты? Я беру избранные души. Вся литература, все искусство проникнуты социализмом. Богатые люди очень склонны к социализму, ибо хорошо знают, что это выдвигает их независимость и ни к чему не обязывает. Есть бельгийская принцесса-социалистка. Ротшильд, конечно, не боится социализма, потому что под его знаменем можно жить очень долго, накапливая капиталы и пользуясь своим богатством самым широким образом. Дума в большинстве своем интернациональна, а интернационализм есть высшее проявление патриотизма, это – всечеловечность, братство.

Еще в прошлой Думе патриотизм был грубо обруган г. Петрункевичем. Он мог бы, конечно, анализировать это понятие, начиная с его основ и кончая постепенным развитием его, в котором можно отметить несколько периодов. Но бранное слово понятнее, и оно отвечает большинству. Есть патриотизм местный, польский, хохлацкий, армянский, грузинский, татарский и т.д., но общего русского понятия нет, как русской индивидуальности. Она дробится и пропадает в дробях. И большинство Думы не найдет себе отпора в этих дробях. Будучи социалистическою и интернациональною, Дума отвечает самым передовым стремлениям европейской мысли. Конечно, она сама ничего бы не создала и ничем не показала, что может создать, но она является представительницею именно этих

передовых стремлений в Русской империи. В 60-х годах была *обличительная литература,* теперь *обличительная Г. дума.*

Стоя на высоте своих принципов, она только обличает и только способна обличать. Создать социалистическое государство невозможно, но обличать государство есть полная возможность. Кто не ругается теперь буржуазией, дворянством? Век борьбы уже есть против этого, и критика доступна даже гимназистам. Всякая брошюра, мало-мальски грамотно написанная, даст содержание целой речи и вызовет горячие рукоплескания. В таких двух словах, как «земля» и «воля», заключается целый рай, более понятный и привлекательный, чем тот, который ожидает кого-то на небе. У нас, при нашей бедной культуре, бедном климате, едва устанавливающихся понятиях о собственности, фантазия разыгрывается быстро и грубо, грубо и жестоко. В русском человеке непочатый угол особого идеализма, мистики и неограниченной свободы. Если б татары и история не выгнали нас с юга, мы, вероятно, внесли бы во всемирную историю нечто очень ценное, потому что мы, несомненно, даровитый народ. Но история нас не баловала и открыла двери свободе тогда, когда европейская история прошла уже все революции, дала примеры для подражания, вырастила рабочий вопрос, облекла не только социализм, но даже анархизм научной системой, утвердила у себя законную борьбу с существующею цивилизацией, разбивая не только идолов, но даже Бога и религию. Мы начали свою революцию в самый кипень развертывающейся европейской революции, и потому естественно, что наша Г. дума не могла быть иною, чем она есть.

Она этого отнюдь не скрывает. В сегодняшнем заседании, как почти во всяком, она оживляется только при запросах. А запросы – обличения, запросы – публичное следствие над администрацией. Один из ораторов сказал сегодня, что Дума должна преимущественно заниматься запросами, что это – настоящая, самая плодотворная ее задача. Дума отвела четверг для запросов, к большому сожалению социал-демократов. Классические представления Шекспира, таким

образом, будут по четвергам. По остальным дням – водевили без пения и комедии, более или менее скучные. Но Шекспир, с его страстью, с его монологами, с его трагическим пафосом, только по четвергам.

Порицание террористических убийств снято с программы большинством очень значительным, если принять в соображение, что в числе 146 меньшинства находились значительные по численности крайние партии, стоявшие за обсуждение не для того, чтобы порицать террор. Большинство 215, пожалуй, при этом дойдет до 300, и останется за порицание едва ли полная сотня.

Меня это нимало не удивляет и не тревожит. Это очень естественно и возвращает нас только к известной речи Родичева[3] в первой Думе, когда она отвергла предложение г. Стаховича, выраженное тогда и с чувством, и красиво.

Наше время далеко от красоты.

РУССКИЙ ВОПРОС

Надо, чтоб русских людей не толкали в шею

Ничего, иль очень мало,
Все равно недоставало...

Эти два стиха Пушкина в известной его недоконченной сказке хотелось бы приложить к русскому правительству. Именно то, чего недостает ему, оскорбляет русское чувство. Весьма естественно, что русское правительство олицетворяет себя с народом. Оно плоть от плоти его и кость от костей. Очутившись на развалинах того режима, которому еще вчера «верою и правдой» служили члены этого правительства, они, конечно, хотя до известной степени, считают себя виновными в тех результатах, которые привели нас к новому монгольскому

игу. Ведь со времен Батыева нашествия Россия не испытывала такого угнетения своей русской души, как после японской войны. Это угнетение в большей или меньшей степени испытывает и само правительство. Но так как управляет не народ, а правительство, то оно считает, что и народ виноват, именно русский народ, преимущественно великороссы. Он воевал, завоевывал и присоединял к Великороссии все те окраины, которые теперь входят в состав Русской империи. Преимущественно его средства шли на содержание войска, на издержки по управлению и укреплению окраин, на просвещение там и т.д. Москва долгое время служила средоточием собирания Русской земли, и наши центральные провинции выносили все бремя окраинной политики и после того, как Петербург стал столицей. Малороссия принимала в этом также большое участие. Вообще русское племя создало империю. И вот правительство как бы считает его ответственным за все то, что сделано, и спешит извиняться перед окраинами не только за себя, но и за народ. «Мы виноваты оба, и я, правительство, и все русские люди».

Когда-то я называл С. Ю. Витте и людей его направления юго-западниками. Прекрасно зная русский юго-запад, С. Ю. Витте не очень знаком с центром. Я это не в укор говорю, а только в виде факта. Мы все мало знаем Россию, и может быть меньше всего ее сердце, которое было всегда русским, всегда патриотичным и жертвовало не только избытком своих сил, своей крови, но, можно сказать без преувеличения, последними ее каплями. Нигде русское сердце так не напрягалось, как именно в русских провинциях, как бы сознавая ту роль, которая возложена судьбою на русское племя. Все тяготы оно выносило с таким терпением, которому не было границ. А между тем правительство никогда этого не ценило достаточно и постоянно обделяло именно русское племя.

Оно относилось к нему сурово, как педагог, вооруженный розгой. Таща с него все, что надо было на потребности государства, оно заботилось больше всего об окраинах. Сколько убито *русских* денег на Польшу, на Западный край, на Кавказ! Почти все наши университеты окраинные. Для всего центра

один Московской университет. Правительство, преследуя русификаторскую политику, старалось развить образование на окраинах на счет центральной России. Оно как будто торопилось дать просвещение окраинам, чтоб они не нуждались в русских. И вот освободительное движение выражается со стороны правительства именно в пренебрежительном отношении к центру России, вообще к русскому племени. Оно заискивает в окраинах, как виновное. Оно дает автономию Финляндии. Оно терпит изгнание русских отовсюду. Их гонят из Царства Польского, из Западного края, с Кавказа. Центр России, уступая многим окраинам в производительности почвы и в климате, не пользуется не только никакими преимуществами, но положительно отстал от окраин, истощив все свои средства. Те, кем жило государство, становятся пасынками правительство 17-го октября с Манифестом в руках от этого числа ничем не проявило особенной любви к русскому племени. Оно как бы сказало, что теперь настало такое время, что русское племя должно само напрячь все усилия для того, чтоб сохранить авторитетное свое положение, но ничего ему за это не дадут. Что касается расходов, то они еще увеличатся и для окраин, чтобы умилостивить их, будут требоваться деньги с того же русского племени, будут требоваться без конца.

Левая партия в нашем конституционном движении поспешила высказаться за автономию Польши. Под левой я разумею московский земско-городской съезд. Эта левая высказалась за равноправность евреев и за изгнание русского языка из всех школ, где русский элемент в меньшинстве. На этом съезде не было ни одного голоса, который бы сказал, что свобода вероисповедания не дана только русским в той полноте, в которой она дана всем другим национальностям. Так называемые раскольники не получили всего того, что требует их вера и ее свободное отправление. Родная сестра православия не признана родною даже там, где русское раскольничество или старообрядчество составляет большинство русского племени. Все это вздор для левых. Но и правые, т.е. Союз 17 октября, тоже набрали воды в рот на этот счет. Русский язык и их мало интере-

совал, а Министерство народного просвещения играет прямо двусмысленную роль по отношению к окраинам. Я не нахожу в Манифесте 17 октября ни одной строки о том, что русский язык и русских надо гнать отовсюду, где они в меньшинстве. А если в Манифесте этого нет, то почему их гонят, кто и кому на это дал право? Разве свобода заключается в насилиях, в изгнании, в убийствах, в насмешках, в преследовании? Кто посмеет сказать, что ему дано право гнать русских на основании Манифеста 17 октября?

Если жители Русской империи на ее окраинах могут сказать:

– Вы нас преследовали, вы нас стесняли, вы проводили узкую русскую политику, – так вот же вам в отместку. Убирайтесь отсюда вон! Не пойдете доброй волей – мы вас выгоним отсюда террором, бойкотом, насмешками, преследованиями.

Но русский народ может ответить так:

– Насчет политики со мной никогда правительство не советовалось, а делало так, как ему Бог на душу послал. Если теперь правительство изменило свою политику, то и тут я не виноват. Оно со мной опять не советовалось. Если русского человека гонят, то виновато только одно правительство.

И это, несомненно, так. Ему чего-то недостает, чего-то недоставало, и это что-то можно назвать русским разумом, русской душою, как хотите назовите, но этот недостаток существенный. Сегодня в «Стране» г. Максим Ковалевский[1] говорит, что графа Витте «ненавидят» все партии. Г. Меньшиков[2] во вчерашнем фельетоне привел яркие данные для этого же чувства со стороны Русского Собрания и Союза Русского Народа. Я не принадлежу к этим ненавистникам. Я хорошо знаю его ум и его дарования и осуждаю такие увлечения, которые всего больше вредят самой партии, а не министру-президенту. Но я себе это объясняю довольно удовлетворительно именно тем, что сказано мною выше. Есть что-то в душе русского человека, что его гложет, что не дает ему покоя. Японская война и унизительный мир легли тяжелым грузом на русскую душу. Они подорвали в ней доверие к руководительству правитель-

ства и к самому его представителю, т.е. к первому министру. Но это далеко не все. Уязвленная душа ищет какого-нибудь утешения, внимания, признания за собой заслуг в прошлом, в прошлых поколениях. Ей недостаточно того, что обещано в будущем. Она сознает, что она – сущность России, что ей необходимо облегчение и признание за нею всего того, что она сделала будучи даже в рабском виде. Руси, именно *Руси* недостаточно того, что сам «Христос в рабском виде исходил ее, благословляя». Призывая к себе «униженных и оскорбленных», Христос нигде не мог найти их столько, как на Руси. Но управляет Россией не Христос, а люди. И эти управляющие люди совсем иначе думают.

Они просто взяли и разорвали историю, не долго думая. Вот что было вчера, а вот что сегодня. Вчера – отсутствие свободы, а сегодня – полная свобода. – Это очень хорошо, и мы это приемлем с удовольствием, но и вчера управляли вы, и сегодня управляете вы; это важно; вчера русский человек чувствовал себя «господином» или чем-то вроде этого, а сегодня его гонят по шее, как раба, как варвара, и правительство не почешет у себя даже затылок. Это очень важно. – Вы говорите:

– Все равны теперь по всей России. Нет ни рабов, ни господ.

Так это ясно из Манифеста 17 октября.

– Всем дано. – Опять-покорно благодарен, хотя еще вилами писано, как будет. Мы разумеем настоящее. Вы бегаете за окраинами, а то, что вы на них потратили, – это пропало. Почему же так не бывает этого напр. в Англии? Англичанин везде англичанин, где развивается флаг его родины, везде он первый. Почему же я, русский, последний? Почему мне никто не сказал, что и я первый? Почему Польше давали конституцию, Финляндии, Болгарии, а мне не давали? Почему, наконец, меня гонят оттуда, где я жил по праву, по законам и правительство как будто находит это естественным? Почему это естественно? Почему само русское освободительное движение презирало русский флаг, а вывешивало красный? Оно рвало русский флаг на клочья, как будто хотело этим показать, что

именно русского человека, русского знамени и не признает освободительное движение. Оно красное, интернациональное, цвета крови, и требует русской крови, точно этой крови пролито мало в целые века. Губернаторы ходили с красными флагами, генерал-губернатор являлся под их осенением. Да и это ли одно?! Есть немало «мелочей» того же рода, которые гораздо важнее и глубже дают себя чувствовать. И тем больнее чувствуются, что и господа-то мы мнимые, ибо родная власть сурово, иногда жестоко поступала с этими «господами», но они терпели и гордились тем, что они – Россия, великая держава. И когда эта же власть начинает кланяться окраинцам и не обращает никакого внимания на русских, на этих «господ», то как же этим «господам» не негодовать, не почувствовать, что к тем оскорблениям, которые нанесены русскому чувству поражениями, в которых власть несомненно виновата, прибавляется еще полное невнимание от этой самой власти. Почему они не могут не раздражиться, не искать тех, на которых они могут вылить свое раздражение, свою тоску, свою личную обиду?

Я, может быть, неясно объясняю свою мысль. Но я думаю, что и по намекам она поймется. Есть множество русских людей, которые чувствуют себя униженными и оскорбленными, и это надо принять во внимание, над этим следует задуматься. Общественное мнение теперь составляется не одними газетами. О, далеко не газетами только. Надо, чтоб русские люди перешли в новую жизнь как граждане, не теряя чувства русского достоинства; надо, чтоб русских людей не толкали в шею через порог за то, что они русские.

Что такое русская буржуазия

Я бы спросил не газету «Русск. государство»[1], а русское правительство, которое издает эту газету: кто такой Минин? Тот Минин, которому на Кремлевской площади стоит памятник? Думаю, что правительство графа Витте о нем слышало, и если даже оно себя само считает «спасителем отечества»

и знает, как его спасти, то есть если оно само полно патриотической гордости и сознания своего превосходства, то все-таки оно способно отдавать дань уважения нижегородскому мещанину, заслуги которого признаны русской историей и русскими государями.

Вы спросите, почему я задаю такой вопрос. Разве правительство гр. Витте оскорбляет память Минина?

Да потому, что газета гр. Витте оскорбляет то сословие, к которому принадлежит Минин, потому что «Русское государство» оскорбляет самым пошлым образом русскую буржуазию, то есть то сословие, которое постоянно работало, не покладая рук, работало упорно над развитием русской торговли и промышленности с тех самых пор, как началось Русское государство, как заключен первый торговый договор «с греками». Даже русский народ, в своих былинах воспевая подвиги богатырей меча и силы, не забыл и богатыря торгового гостя, который строит корабли и отвозит русские товары и привозит иноземные.

Я не историк, но я знаю, кто работал над созданием Русского государства, кто прокладывал пути в «греки», на Волгу, в Астрахань, на Вятку, на Пермь, на дальний Север, к Белому морю, к Сибири. Я знаю, кто закладывал достаток и богатство на нашей земле, и знаю, что именно эти люди, люди Русской земли, взяли в свои руки спасение государства в смутные годы нашей истории. Я знаю Строгановых, заслуги которых еще во времена Грозного Царя были признаны и с именем которых связано имя завоевателя Сибири. Я знаю Псков и Новгород, которые сносились с торговою Ганзой – выбирали своих посадников и процветали, как торговые и вольные города. Я знаю, как Петр Великий ценил людей торгового сословия. Я знаю, наконец, наших раскольников, которые могут назвать прекрасные русские имена из тех самых слоев населения, которые дали Минина.

Пускай «Рус. госуд.» треплет презрительно теперешнюю западную буржуазию, благодаря которой, между прочим, мы заключали займы за границей и которая еще доставляет и уче-

ных, и художников, и литераторов, и государственных людей в таких странах, как Франция и Германия. «Рус. госуд.» называет эту западную буржуазию «жировым перерождением организма», которое кончится параличом сердца. От этих отзывов официального русского органа западная буржуазия «чхнет, – и вон, букашка» – такая букашка, как «Рус. государство». Но эта газета позволяет себе вот как говорить о русской буржуазии: «Генеалогия нашей буржуазии ведет ее от кулаков и кабатчиков (??); никакой роли ни в создании, ни в поддержании существующего строя буржуазия наша не играла и не играет; экономически – обособлена, этически – тупа и невежественна, политически – в хвосте того правительства и той партии, которые обещают ей поддержку.

По моему, это так же верно, как если бы кто-нибудь напечатал, что русская бюрократия ведет свое начало *буквально* от крапивного семени. Упало крапивное семя, и выросла бюрократия, презирающая народ, высокомерно относящаяся к купечеству и мещанству. Еще во время моих молодых лет она говорила *ты* купцам и третировала их, как городничий. Мещане и купцы, чтобы жить и работать, платили дань бюрократии. Такие буржуа, как Кокорев, Поляков, Губонин[2] и многие другие, стали потом держать у себя бюрократию на посылках. Губонин говорил генералам *ты,* по праву «мужика» себе на уме. Дворянство, униженное еще в те времена, о которых Пушкин говорит в своей «Родословной» с припевом «Я мещанин, я мещанин», являлось уже той буржуазией, которая больше имела связи с купечеством и мещанством, чем с бюрократией. Недаром Пушкин даже декабристов причислял к tiers-état*. Не распространяюсь, ибо это вопрос большой и еще малоисследованный, во всяком случае, в газете министра, который сделал государство кабатчиком, неприлично говорить, что русская буржуазия ведет свою генеалогию от кабатчиков, и еще неприличнее не знать истории. Буржуазия уже заключает в себе и дворянство, и земство и является сильным и образованным классом. Даже в тесной своей купеческой среде она

* Третье сословие (*фр.*).

может назвать имена очень почтенные. Третьяковы, Щукины, Алексеевы, Морозовы и др., вся эта плеяда торговых москвичей, которые жертвуют миллионы на народное образование и дарят родному городу великолепные, собранные их трудом музеи, – все это «тупые и невежественные» люди, а ум и просвещение у еврейских банкиров и у их прихвостников? Если газета «Рус. госуд.» воображает, что она делает услугу русскому правительству, понося имущественные, трудовые сословия, которые неизмеримо больше дали государству и неизмеримо лучше поддерживали и поддерживают государство, чем бюрократия, то она жестоко заблуждается.

Надо быть этически – бессовестным, экономически – жадным к казенному пирогу и политически – недобросовестным, чтоб позволить себе этот наглый тон, выдающий еврея, не имеющего ничего общего с Русским государством.

Почему вы стыдитесь русского имени?

Итак, из всех разговоров о думском министерстве, кажется, ничего не вышло. Поговорили, посудачили, поволновались, и баста. А на мой проект об аладьинском кабинете никто серьезно не посмотрел. Подумали, что это шутка, а близорукие люди, боящиеся аладьинцев, как соперников, подумали, что я хочу поссорить кадетов с трудовиками. Была неволя заниматься таким вздором. Я серьезно убежден в том, что трудовики – это нечто чувствующее народ, нечто непосредственное, говорящее нутром, как иные искренние актеры и актрисы говорят без школы, без науки, но нутро заражает толпу, а кадеты – это люди, прошедшие книжную школу. Будь эти Аладьин, Жилкин, Аникин и проч. такими же натурами, как Набоков, Кокошкин, Щепкин, Винавер[1], – они бы сыграли роль молчальников и не выдвинулись бы на вершок и никто бы их не заметил. А вот этих заметили. Среди действующих лиц Г. думы они выдвинулись сами собой, как выдвигаются вдруг среди драматической труппы такие актеры, на которых антрепренер вовсе

не рассчитывал, приглашая их на маленькие роли, а первачи и не воображали, что в них встретят соперников у публики. И вдруг публика их заметила. Первачи стали ругать громко публику, которая в искусстве, мол, ничего не понимает, а внутри себя почуяли некоторую зависть.

Молодые руководители трудовиков, к сожалению, слишком тронуты международным социализмом, который не дает простора их русскому чувству и русскому здравому смыслу. Они теряют свою русскую оригинальность и увлекаются общею враждою к тому, что называется старым режимом, слишком общо и в чем следовало бы отмечать природное от навеянного, бытовое от рабского. Подобно г. Петрункевичу[2], они считают, что «слово патриот – отвратительное слово», подобно г. Герценштейну[3], готовы назвать пожары «иллюминацией» и, подобно г. Родичеву, набрать громких слов и составить из них пахучий букет гостиннодворского амбре. У них русское чувство и разум подавлены ненавистью, и революционная репутация обязывает к известной тактике, которая может быть или совсем фальшива, или непригодна в русской обстановке. Мне кажется, что в глубине их души таится что-то отвергающее теорию г. Милюкова, который вместе со своей партией думает, что все народы одинаковы и что история всякого народа идет по одним и тем же путям и приводит к одним и тем же целям. Очень может быть, что лестница, по которой приходится взбираться, одинакова, но люди, которые по ней восходят, разнствует, как разнствуют звезда от звезды, и у каждой звезды свой определенный ход. А если люди разнствуют, то это обязывает не давить своей души тем шаблонным революционизмом, который начинает походить на машину, совершенно бездушную, и теми теориями, которые меняются, вырождаются и отживают, тогда как народный смысл и характер, народная душа заключает в себе нечто вечное. Надо ее допрашивать почаще и посильнее в связи с тем разбродом и беспорядком, которые влекут родину в какую-то пропасть.

И только того весь русский народ почувствует, кто заговорит как русский человек, не стесняясь никакими шабло-

нами, как бы они ни были научно или революционно авторитетны. Как вершину этой шаблонности можно указать печальное изречение историка и депутата Кареева[4], который не признавал за русским права называть Россию – Русской землей. В «Курсе русской истории» проф. Ключевского есть следующие слова, которые можно отнести к понятиям не таких даже людей, как г. Кареев: «Из пошехонского или ухтомского миросозерцания разве легко было подняться до мысли о Русской земле Владимира Святого и Ярослава Старого! Самое это слово *Русская земля* довольно редко появляется на страницах летописи удельных веков. Политическое дробление неизбежно вело к измельчанию политического сознания, к охлаждению земского чувства».

Измельчание политического сознания, охлаждение земского чувства – вот чем страдают депутаты нашей Думы. Кадеты низвели политическое сознание к своей партии, не то эволюционной, не то революционной, во всяком случае бессильной без поддержки революции, а трудовики тоже боятся выйти из своего ухтомского революционного мировоззрения. Держа друг друга за хвост, ни та, ни другая партия не хочет или не может подняться до русского объединяющего и глубокого чувства. Обе партии не творческие, а компилятивные, как бывают творческие произведения и компиляции. Творчество смело, потому что оно сильно своим духом, увлекательно и надежно, в компиляции – все заимствованное, и она качается из стороны в сторону, делая большие размахи к мелочам и скандалам и маленькие к важному делу.

Ни в той, ни в другой партии никто не смел заикнуться о русском чувстве в таком вопросе, как еврейский погром. А это русское чувство обязывало к тому, обязывало сердцем и разумом, обязывало историей. Осуждайте погром, как бесчеловечный, плачьте хоть кровавыми слезами о погибших жертвах его, но скажите же, почему он явился? Сочувствуйте искренно «угнетенному племени», но скажите и о том «угнетенном» племени, которое делало погром. Надо совершенно презирать русский народ, надо забраться в пошехонскую или ухтомскую

революционную раковину, чтобы объяснять этот погром провокацией. Никакая провокация не двинет народ против народа, если между ними не выросло вражды и ненависти. Вражда лежит в погромах помещичьих усадеб, и вражда лежит в еврейских погромах. Почему Дума замалчивает одни и выдвигает другие? Надобны все усилия материальные, чтобы остановить их и не допустить, но надо признать и их зависимость от причин более глубоких, чем натравливание, т.е. провокация. Русский народ не бешеная собака, готовая грызть всякого по указке начальства. В Думе все старались это отрицать, за исключением только двух депутатов. Один из них, г. Способный[5], указал на ближайшие, грубые причины со стороны евреев, другой упомянул о великорусском чувстве и заступился за армию. Им рукоплескала только маленькая группа, остальное шикало. Говорить о великорусском чувстве! Какова дерзость в этом собрании, где пошехонские революционные чувства и ухтомские расчеты об автономном расчленении Русского государства составляют такой принципиальный груз, что против него ничего не поделаешь. Не смеют! Уста завязаны и сердце слишком ровно бьется при слове «русский». Это слово не начинало звучать в Думе. Оно стало синонимом правительства, а не русского народа и Русской земли. Самая Дума есть Государственная дума, а не Русская дума. Государство – что-то неопределенное, способное разлагаться на составные части, а Русская земля – это центр жизни, это вся история, великая, многострадательная история, политая слезами, кровью, по́том работы и великими подвигами именно русского народа, а не какого другого. И до этого сознания не поднимаются, его душат в себе эти представители Русского государства, приносят его на алтарь своих партий, своей борьбы с так называемым правительством, с его провокацией и с русской армией. Прочь с дороги! Это наше место! Да ваше ли? Если оно ваше, почему вы молчите, кто вы, откуда, из какой страны, от какого народа? Почему вы не скажете, что вы русские, что сердце ваше кипит русским чувством? Стыдно называть себя русским? Эти слова были сказаны. Но если нищий не стыдится назвать себя

нищим, почему вы стыдитесь русского имени, которое может назвать свои подвиги, свои славы? Почему вы отделяете себя от униженной России, когда вы кость от костей ее и плоть от плоти ее? Почему в вас самих бездна добродетели и ни одного порока? Вы звоните во все колокола о своих добродетелях и даже колокольчиком не позвонили о вашем национальном чувстве. Не надо его? Оно само собой разумеется?

Вы желаете освободить народ от правительства, потому что оно бессильно и бестолково. Прекрасно. Но вы ничем еще не доказали, что вы сильны и толковиты. Вы молчите, когда католический епископ, барон Роопп, обижает старообрядцев, этих крепких русских, не продававших своей веры ни за какие деньги, не продававших своего отечества и русского имени даже за границей, куда их безжалостно гнали, и которых проклинали на соборах. Вы не смеете сказать горькой правды об евреях и русском народе, сказать мягко, либерально, на общечеловеческом гуманном языке, ибо объяснить вражду двух народов не значит возбуждать эту вражду, а значит открыть путь к устранению причин этой вражды, значит идти на примирение. Ни одной речи, которая бы до этого возвысилась, которая бы дышала доводами разума и красноречием души. Провокация, провокация, провокация! Ничего, кроме провокации. Устранить провокацию, и все будет превосходно.

Черт возьми, какие умные люди и великие таланты. Недаром «весь земной шар» прославил провозвестника провокации. Но если б привести сюда нильского крокодила и рассказать ему, что погромы усадеб производятся без революционной провокации, а еврейские погромы происходят только от провокации, он прыснул бы со смеху и в благодарность за веселость не съел бы ни одного депутата.

На Великоросса идут с оружием и дреколием

Хочется сказать: с новым годом, с новым счастьем, непременно с новым. Но эту фразу даже трудно написать, потому

что верить в новое счастье стало почти то же, что верить в новое несчастье. Неужели в самом деле с новым годом, с новым несчастьем? Неужели и в этом году мы все будем журавлей в небе ловить, воображая, что мы такие богатыри, что для нас закон не писан? Прямо к ногам, в чертоги социал-демократии, к трехчасовой работе и всеобщему счастью. «Большевики» это обещают непременно и злятся на кадетов за то, что они остановились на промежуточной станции, на которой правительство будет кадетское и счастье только кадетское, а не большевиковское. Октябристы со своей стороны обещают свое умеренное счастье, если Россия выберет благоразумную и работящую Думу. Союз Русского Народа приглашает не верить никому и отрицает все революционные, радикальные и либеральные партии, и все надежды полагает на себя. А я думаю так, что все надежды надо полагать на труд, будем работать, будет и то, что называется счастьем, будем работать, будет и то, что называется самоуправлением, политической свободой, конституцией. Мне кажется, что отрезвление несомненно существует сравнительно с тем, что было еще недавно. Усилия правительства на пути реформ сделали свое дело. Отрезвление несомненно идет вперед и будет идти, хотя, конечно, с той постепенностью, которой мы так не любим, но которая налагается на нас самой нашей природой. Целые века нашей исторической жизни это доказывают с точностью почти математической. Никаких чудес не было никогда у нас и не будет, и ни одна партия не может обещать какие-нибудь чудеса, и меньше всего самые крайние. Где уж нам чудотворцев искать, когда у нас столько чудодеев и разбойников революции! Подождем естественного течения событий, которые будут зависеть от нашей сплоченности и трезвости мысли. И меньше всего веры этим жалким пигмеям, не написавшим даже ни одного теоретического сочинения о социализме, о социал-демократии, не написавшим ни одной фантазии в роде Моруса, Фурье или даже романической талантливой болтовни в роде Уэльса, которая бы стала известной миру, как известны миру «Крейцерова соната», «Бесы», «Анна Каренина», «Преступление и наказание». Эти тысячи

немецких брошюр, распространяемых радикальными и революционными кружками, в плохих, безграмотных переводах, напечатанных на бумаге, сделанной из лошадиного помета (такая бумага существует), доказывают только жалкое невежество и беспросветную бездарность этих нахалов в публицистике и развращении невежественного населения. На родине социализма, в Германии, целый ряд имен ученых экономистов, исследователей, философских умов, историков, оригинальных мыслителей. У нас их совсем нет, а если есть какие, то это просто фельетонисты и копиисты с немецкого.

Конечно, у нас была цензура, были всевозможные стеснения мысли. Но вот год свободы такой, что даже сочинения анархистов в переводах с иностранных языков свободно печатаются и продаются, но и в этот год русская революция и русский социализм не дали решительно ничего самостоятельного, кроме газетных статей, пылающих бешенством и бранью. Русский либерализм не был бесплоден и во времена цензуры, таланты вроде Добролюбова и Чернышевского умели и во время цензуры давать статьи и сочинения радикального и социалистического характера, доселе не превзойденные никем из корифеев нашей писательской революции, которые в течение многих лет могли свободно писать за границей и там ничего не произвели, кроме прокламаций и газетных листков, из которых ни один не напоминал «Колокола» Герцена. Сочинения романиста Герцена, романиста Л. Н. Толстого, современника Чернышевского, Добролюбова и Писарева, по вопросам социальным, остаются и доселе выдающимися среди всей этой груды фельетонов русских революционных писателей, которая накопилась в течение последних 30–40 лет.

Гиганты приготовили французскую революцию, ряд всемирных писателей, имена которых обязательно помнить каждому гимназисту, ибо эти имена популярны, как слова: «свобода», «жизнь», «правда». Целая плеяда философов, ученых и экономистов образовала немецкое общество и развили его до понимания истории, права, социальных отношений. Об Англии уж и говорить нечего.

А у нас? Фельетонисты и никого больше. Нищенская бедность оригинальной мысли, дарований и знаний и рядом с этим несоразмерные претензии. Только и оригинального, что убийства и празднование. Как можно больше праздников и убийств! Начиная с правительства и кончая последним рабочим, только и заботы, чтобы праздновать. Даже почту и телеграфы правительство закрывает в некоторые дни, но никак не сможет закрыть убийств. Старается, старается, а все ничего не выходит. Ни в одной стране нет столько праздников, как у нас, и ни в одной стране никогда не бывало столько убийств, как у нас.

Это замечательное отношение между праздниками и убийствами, но, к сожалению, не новое.

В обыкновенные годы, до революции, в России совершалось ежегодно тысяч 5–6 убийств ежедневно. Если определить дни, в какие убийства происходили, то несомненно, что большая часть их придется на праздники. Отдыхали благочестиво, напивались винища, дрались и убивали в «пьяном восторге». Теперь убивают в «политическом восторге», который прибавлен к пьяному. Таким образом, теперь два восторга вместо одного и друг друга они перегоняют.

И этот политический восторг, конечно, значительно обязан своим происхождением именно фельетонистам революции, воспринявшим налегке популярные иностранные сочинения и старающимся вдолбить в невежественные головы, что нет лучше средства для насаждения в Российской империи социального прогресса, как убийство и грабежи, предпринимаемые для умножения и совершенствования убийств.

И правительство фельетонное, и образование фельетонное, и наука фельетонная, и революция фельетонная, приправленная убийствами, как кровавым соусом. Ученье и книга совсем заброшены. Молодежь поджаривает революцию, воображая, что дворец свободы может быть построен без архитекторов и даже без каменщиков, а просто революционной болтовней. Для нее и телеграфы, и телефоны, и газеты, эти граммофоны человеческой праздности и бестолочи. Чем больше болтовни и чем меньше работы, тем лучше. Говорят: вось-

мичасовой день! Да если б действительно молодежь работала восемь часов ежедневно, то при русской даровитости вышло бы чудесное поколение, которое удивило бы мир. В русскую даровитость нельзя не верить. Но лень, беспутство, болтовня, распущенность, отсутствие всякой дисциплины труда и воли делают не одну молодежь рабом увлечений и страстным разрушителем государственного и своего собственного физического и нравственного организма. Невежественная и нищая страна становится поприщем какого-то развала, в котором погибают дарования и лучшие силы уходят, не созрев для производительной работы.

Когда же это кончится? Когда возвратится сознание к русскому, что настала пора упорной умственной и физической работы, что без этого Русь погибнет и распадется?

Да неужели погибнет?

Вы, конечно, видите, что на Великоросса идут с оружием и дреколием. На него именно идет эта революция. Его именно она хочет поглотить, обессилить и обезволить. Со всех окраин идут крики, что Великоросс ничтожен, что он должен уступить и подчиниться, что его век прошел, его вековые работы уничтожены, его главенство должно разлететься прахом. Окраины поднимают оружие против него и грозят. Он, создавший империю, должен спокойно выслушивать проклятия и угрозы и нести на своем горбу всю эту свалку. Твердый, мужественный, даровитый, государственный, Великоросс считается уже какой-то неважной величиной. С севера кричит финн, желающий образовать финское государство, захватить север России. А я думал, что можно взять у него Выборгскую губернию. Какое право имел Александр I отдавать то, что завоевано было Петром Великим? Поляк кричит о Польше от моря и до моря в то время, когда разбойники революции уничтожают его промышленность к радости немецких фабрикантов и рабочих. Великороссу говорят, что он и не русский. Погодите, господа. Не разом. Орите, пожалуй. Мы это слыхали. Но уничтожить корень русского племени, подчиниться без горячего боя этим наглым крикам, этой разинутой пасти окраин, этого не бу-

дет. Великороссия встанет. Она покажет еще независимость и бодрость своей души и заставит уважать себя, как государственную, великую, даровитую силу, и сплотит нас снова, не уступив ни пяди того, что она приобрела своею кровью, своим вековым тяжелым трудом. Она докажет, что именно в этом корне русского племени вся созидательная и объединительная сила и она проявится с такой упругой энергией, которой вы еще не знаете. И этот срок ближе, чем вы думаете.

Давайте желать нового счастья. Желать страстно, желать и верить в новое счастье, и ковать, и ковать его молотом воли, надежды и любви. И покажется заря его, и оно взойдет, как солнце, и все осветит и всех согреет, и правых, и виноватых.

Вечная память погибшим во имя долга и любви к отечеству и к его замирению. Пусть пролитая кровь оплодотворит ниву мужества русских людей в их борьбе с силами разрушения и мести. И да благословит Господь Бог новые начала мирной и свободной жизни, и да прольет Он на нашу милую Родину обильный дождь Своих великих милостей и тихий, не убивающий, но разряжающий душную атмосферу гром, который вызывает в русском человеке чувство благоговейной молитвы и сознания своих грешных помышлений и дел…

Надо быть русскими

Была Дума весенняя, апрельская, была Дума зимняя, февральская, будет Дума осенняя, ноябрьская. Я думаю, что будет и летняя Дума, августовская, напр. Так по всем временам года будем думу думать и до чего-нибудь, наверно, додумаемся. Я не слишком верую и в будущую Думу. Какая она будет? Кадетская, октябристская, правая, пестрая? Нельзя предугадать. История идет своим чередом, по своим законам, которые пишутся не заранее, а после того, как события совершилось.

Октябристы в Г. думе высказывали свое мнение молчанием. Может быть, это и красноречие, а может быть, это просто неимение никаких мыслей. Если принять в соображение, что

их новая конституция с министрами, которые будут учиться служить двум господам с одинаковым совершенством и нелицемерною преданностью, то можно придти и к такому положению, что в этом и заключается русский характер – служить непременно двум господам и изощряться в том, чтоб вылезать сухим из воды. Как отнеслись октябристы к новому закону о выборах? Я могу положительно утверждать, что они очень рады роспуску Думы и новому закону о выборах, благоприятному для них, но в своем воззвании, напечатанном у нас третьего дня, они сделали гримасу, как люди, поступающие по формуле: с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой стороны, должно признаться. Нельзя не сознаться, что основные законы должно менять путем, основными законами установленным, но нельзя не признаться, что другого выхода не было, а потому они очень рады, и если шампанского не пили, то единственно потому, что хотели показать, что они «очень огорчены».

Я не понимаю, почему они октябристы? Если бы Манифест 17 октября был издан, напр., в июле, наверно, никому бы не пришло на ум составить партию «июлистов», ибо это, во-первых, звучало бы странно и, во-вторых, напоминало бы юлу, а не июль. Октябристами они стали в подражание декабристам. Но декабристами называются люди, которые сами хотели произвести переворот 14 декабря. Октябристы же и во сне не видели октябрьского переворота и ничем и никем в нем не участвовали. Так как новая Дума соберется 1-го ноября, то, может быть, октябристам следует себя переименовать «ноябристами». От этого ничего в их партии не изменится. Ноябристы так ноябристы. Не все ли равно, какой месяц. А назваться ноябристами даже выгодно, ибо возможно, что в ноябрьской Думе октябристов будет больше. Наверное, попадет в нее А. И. Гучков, который, конечно, предпочтет Г. думу Г. Совету и, пожалуй, будет председателем ее или министром в новом или подновленном кабинете.

Октябристы – европейцы. Но европейцы не октябристы. Это замечательно.

По моему, русский образованный человек, если он действительно образованный человек, имеет право на то, чтобы его другие называли европейцем, а не он сам себя. Англичане, французы, немцы никогда не говорят:

– Мы – европейцы.

Они говорят только:

– Мы англичане, мы французы, мы немцы.

Что они европейцы, это само собой разумеется. Но русские непременно желают, чтобы их считали европейцами, а не русскими. Они потому так и любят говорить по-французски без всякой надобности.

Г. Дмовский в Думе сказал, обращаясь к русским:

– Вы, господа, европейцы. Мы (поляки) готовы это признать.

– Да вы-то, г. Дмовский, почему европеец? Вы просто зазнавшийся *поляк.*

Если бы русские считали себя русскими, как считают себя японцы японцами, французы французами, немцы немцами, англичане англичанами, то у нас не было бы Портсмутского мира и не было бы даже октябристов, а была бы просто русская партия, которая показала бы, что она в себе заключает, какие у нее стремления и идеи, какое у нее понятие о России, об ее исторических судьбах, какое у нее просвещение, т.е. она показала бы свое *я,* свое право на существование, свою философию, логику и политику. А нахватать из французского «Droits de l'homme»* отрывки и развесить над собой 17-е октября ей-богу же еще ровно ничего не говорит о партии как о партии. Почему октябристы – русская партия, а не абиссинская? На этот вопрос очень трудно ответить определенно. А русская партия могла бы заключить в себе всю квинтэссенцию конституционизма и всего того, что составляет существеннейшие черты русского народа. Я прекрасно понимаю программу партии народной свободы, т.е. кадетов. Это прямо интернациональная партия, учение которой заключает в себе все политические и социальные свободы в их развитии хоть до социал-демократа.

* Права человека (*фр.*).

Но партия берет их на известной стадии для данного момента и действует. Она отвергает старый патриотизм и ищет нового, который должен образоваться с проведением их кадетских идей в жизнь. Они убежденные парламентарии, и вся их борьба сводится к этому.

Парламентарии ли октябристы или нет, этого они еще не знают. Националисты ли? – этого они не знают, но подозревают, что им, как европейцам, это неприлично. Антисемиты ли? – Они европейцы и христиане, а потому не могут быть антисемитами. Что же они по отношению к евреям? – Сумлевающиеся и недоумевающие или рассчитывающие идти с ними как кадеты? – К рабочему вопросу, к аграрному вопросу? – Сумлевающиеся и недоумевающие европейцы. Главное для них, что они европейцы и прежде всего европейцы.

А надо быть русскими, надо работать, как русские, надо чувствовать, как русские. Когда русская работа вольется в европейскую работу, тогда европейское клеймо придет само собою.

Дума была не русская в оба раза, и потому она провалилась.

Какие таланты были во второй, почти все были нерусские, а самый талантливый и искренний человек в ней был грузин Церетели[1]. Это горькая правда, и ее нечего скрывать.

Если бы у него было столько же ума, сколько таланта и чувства, он не попал бы на скамью подсудимых.

ДВОРЯНСКИЙ ВОПРОС

Россия погибает от трусости

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – кричат революционеры.

А я кричу: «Слушайте, пролетарии: к вам идет русское дворянство, в ваши ряды, в ваше жилье, в ночлежные дома и в

вашу нищету. Пройдет несколько лет, и ваши ряды наполнятся русским дворянством».

Так как «Новое время» не читается пролетариатом, то я и не соблазняю его таким воззванием, а так как дворянство его почитывает, то я предлагаю ему эти строки для размышления и заранее извиняюсь за некоторую их резкость.

Я не прочел ни одного известия о том, чтобы дворянин защищал свою усадьбу, свою собственность, чтобы он лег костьми, защищая наследственную собственность и могилы своих предков. Я думаю, что защищать свой дом – это долг всякого человека. Защищая свой дом, я защищаю территорию своей родины, хоть малейшую ее часть, хотя несколько десятин, хотя сто сажен, на которых есть следы культуры, мной или моими предками сделанные. Защищая свой дом от разгрома озверевшей толпы, не внушаю ли я известного почтения даже ей? Эти христиане поступают хуже зверей, ибо зверь тащит то, что ему надо для утоления своего голода, а мужик рубит фортепиано, истребляет мебель, картины, ковры, сжигает дом, отрезает языки у лошадей, ранит коров в вымя, убивает овец и бросает их в реку. Зверь насыщает свой голод, мужик хочет насытить свою злобу. Если я слово ему скажу или выкажу перед ним свое мужество, свою нравственную силу, не проснется ли в нем человек? А когда я бегу перед ним, не думает ли он о трусливом зайце? Когда является генерал-адъютант к нему, он встречает его с хлебом-солью и становится на колени, и просит прощения. Рабство это или раскаяние? Я знаю, все это объясняется тем, что его держали в зверином образе.

Эти грабежи, однако, ничем оправдать нельзя. Можно пожалеть в грабителе *человека*, Божье создание, наделенное бессмертною душою, но нельзя оправдать самый грабеж, самое преступление. Нельзя оправдать и той трусости, с которой дворянство бежит из своих деревень, ничего не предпринимая против грабежа и не пытаясь его остановить.

Нет мужества – вот что ужасно. Трусость самая явная является в своем жалком рубище, но воображает, что она все еще в бархате и золоте, победительным тоном защищает себя

и ссылается на тысячи общих причин. Точно нет личности, нет характера, нет своего «я», а только «мы» и это «мы» бесформенное и безнадежное. Толпа испуганных овец, толпа испуганных рабов – вот что такое это «мы» и начальство вместе с ним. И Россия погибает от трусости, от рабского чувства перед всякой палкой, перед всякой угрозой. Висит ли на палке двуглавый орел, висит ли на ней красный платок, кусок ксандринки и красного шелка или ничего не висит, но смело поднята палка вверх – и начинают у всех дрожать коленки – одни бегут, другие прячутся, третьи бросаются на колени, четвертые пишут доклады.

Позор и стыд! Где прошлая доблесть дворянства, его мужество, его самопожертвование? Оно отказалось от крепостного права. Охотно верится, что большинство отказалось добровольно, великодушно. Но получен выкуп за землю, оно прожило его беспутно и легкомысленно. Начались просьбы о подачках, унизительные, жалкие просьбы. Основали банк для дворянства – его обокрали те самые дворяне, которые им заведовали, одни крали, другие не видали. Как редкие исключения слышались голоса о свободных учреждениях, в которых Россия нуждалась. Но эти голоса были таковы, что стоило крикнуть, и все смолкало. Между отцами и детьми настал раскол. Дети ссылались и погибали в тюрьмах. Их не учили, но мучили. Отцы молчали. Когда настало это «освободительное движение», можно было бы отдать справедливость дворянству, что оно заговорило первое, если б оно не сделало это во время войны. Однако пусть это хорошо. Но сопровождался ли этот голос таким действием, о котором можно было бы сказать: «Мое слово – мое дело»? Оно стало говорить для того, чтоб примкнуть к революционному движению и выказать себя как можно радикальнее или как можно консервативнее. Никакой ясной, здравомысленной, бодрой и исполнимой программы не было. Это была какая-то смесь конституции с социализмом и даже с социал-демократией, смесь недомыслия и трусости перед революцией. Трудно разобраться, чем собственно отличается революционная программа от дворянской

или земской. В то время, когда образовывались союзы рабочих, крестьян, железнодорожников, почтово-телеграфных чиновников, приказчиков, портных и проч., в то время, когда многие из этих союзов действовали и заставляли считаться с собой правительство, дворянство изнывало в красноречии, снимало с себя фотографические карточки в ораторских позах и заслушивалось рукоплесканий. Доходило до социал-демократических доктрин, до уступок всей земли, разумеется на выкуп, т.е. доходило до самоубийств. Но если так, отчего не кричат: «Да здравствует социал-демократия! Да здравствует революция!»? Возьмем деньги и проедим, пропьем и прокутим. Русская душа нараспашку. Не посрамим Русскую землю. Вот где мы храбры, где нам море по колено и откуда прямой путь в пролетариат. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Из России идет дворянство.

Вся высшая администрация, военная и гражданская, столичная и провинциальная, – ведь это все дворянство. Губернаторы, предводители, земские управы – это почти сплошь дворянство. И где же личности, где деятели, где таланты, где мужество, где горячая инициатива, способная соединить вокруг себя, собрать, действовать? Несколько имен мелькало, но и из них половина комиков и межеумков, которые ровно ничего не понимали и не знали ни того, что делают, ни того, куда идут. А ведь дворянство создавало культурную жизнь, насаждало оазисы среди степей и непроезжих дорог, знало цену просвещения и мужества. В прошлом можно указать на мужество и смелость даже женщин-дворянок, которые не уступали князю Якову Долгорукому[1]. Теперь как будто все это исчезло, как будто все слилось во что-то серое и остается один выход – стать под красное знамя социал-демократии.

Но что ж могло бы сделать дворянство своим мужеством? Очень многое. Оно могло бы остановить аграрные беспорядки, оно могло бы разбудить правительство в его бездействии, разбудить его властно, разбудить, когда дело не дошло еще до вооруженного восстания. Ведь дворянства целый миллион. Ведь оно знало, что делается, что приготовляется,

оно видело трусость губернаторов, ничтожность всякого другого начальства, нужды крестьян, их настроение, оно барахталось среди революционеров и повторяло их идеи, и шло у них на веревочке и проч. Оно могло бы забросать правительство гр. Витте петициями, представлениями, депутациями о выборах, о созвании Государ. думы, о положении страны. А то он, бедный первый министр, все ждал, когда же наконец начнется общее восстание в России и когда опустеют сберегательные кассы, банки, государственное казначейство. Естественно, когда вы говорили ему: «Дайте автономию Польше, снимите еврейскую границу, заплатите из государственного казначейства за погром евреям (а такая резолюция была на Съезде!), введите во всех школах преподавание на местных языках, и все это *немедленно*», как было это у попа Гапона сказано, в петиции рабочих к Государю, – то гр. Витте высокомерно мог относиться к таким требованиям и объявить всему миру через знакомого англичанина, что общество ему не помогает и что если он победит революцию, то победит один, как победил Помпей восстание гладиаторов, и выедет на коне в Третий Рим, как победитель, и рабы будут за ним влачить свои цепи, а женщины усыпать его путь иммортелями.

Рассказывают, что бывший генерал-губернатор московский Дурново[2] на телеграфный вопрос правительства: что это за крестьянский съезд он разрешил, три дня не отвечал, а на вторичный вопрос отвечал письмом так: «Я разрешил этот съезд, чтобы дать ему высказаться и потом арестовать его членов».

Если вы, начальник, увидите человека, который поднимает топор над другим человеком, дайте ему, Христа ради, убить, чтоб потом арестовать и сослать убийцу на каторгу.

Представьте себе, если бы восстание началось при г. Дурново. Он дал бы ему «высказаться» и на вопрос петербургского правительства, что делается в Москве, отвечал бы: «Сижу в кутузке. Кормят недурно».

Вот настоящие правители, вот русская наука управления. Сперва мы дадим вам вооружаться, образовать боевые дружи-

ны, позволим призывать к вооруженному восстанию целый месяц, позволим образовать рядом с собой новое правительство союзов, которое печатает открыто отчеты о своих заседаниях, издает «манифесты», овладевает телеграфом и железными дорогами, этою драгоценною собственностью русского народа, и когда все это потрясет Россию, подорвет ее кредит и даст убеждение гладиаторам революции, что стоит восстать только с оружием в руках, чтоб спихнуть одним ударом правительство и посадить его в Петропавловскую крепость, – оно начинает стрелять из пушек во «всепобедимую» якобы революцию.

Видели вы все это или нет? Только слепые могли этого не видеть. Если бы не армия, которая осталась верна своему Государю и Отечеству и которая глубоким, прирожденным чувством русского человека понимает, что Россия выше всякого правительства и защищать ее целость есть общий долг сынов ее, – если б не эта армия, то поджаривай нас на сковороде и делай из нас что хочешь. Под всяким знаменем мы пойдем. И если б социал-демократия не имела права этого думать по поступкам правительства – она никогда не подняла бы восстания.

О чем должно заботиться дворянство

Итак, предположим, что Дума будет дворянская. Но как же это предположить? Ведь и первые две Думы были дворянами в своих выдающихся лицах. Много дворян в кадетах, в октябристах и в правых. Вопрос, стало быть, идет о том, что третья Дума грозит быть правой дворянской Думой?

– Конечно, об этом, – сказал мне... Некто.

– А октябристы не заподозрены? – спросил я.

– Пожалуй, и они заподозрены в... неопределенности. Вообще дворяне опасаются дворян. На обеде участвовало 113 человек. И этот обед напомнил дореволюционные обеды патриотическим настроением и тостами. Давно таких тостов не было и не было таких речей. Это примирение с правительством и желание идти с ним вместе.

– Так в этом все дело?

– Почти в этом все дело. Потому Съезд так и ругали и кадеты, и «товарищи». Товарищи даже взяли совершенно такой же тон, как «Вече». «Подлецами», «мерзавцами и мошенниками» не ругались, как «Вече», но эти слова были заменены равнозначащими и общий тон отчетов носил все признаки какого-то экстаза ненависти и злобы.

– Ваше мнение об этом дворянском съезде. Ведь он был дворянский?

– Конечно, дворянский. «Посторонних» было мало. Помоему, дворянство было скромно и даже конфузливо; оно провозглашало принцип «государственного демократизма» и повертывало спину к аристократии. Кажется, только один Марков, курский дворянин, которого газета Гучкова называла «бардом дворянства»[1], не одобряя само собой разумеется этих песен, прямо назвал себя черносотенным и даже «с гордостью». Дворянство или доживает последние годы, или оно должно стать впереди реформаторского движения, совершенно отказавшись от всякого революционного и даже кадетского якобинства. Я имею основание думать, что те времена, когда дворянство резко делилось на две части – прогрессивную и реакционную, – миновали. Краски изменились, и сближение совершается. Дворянство пойдет с Государем, который желает иметь в Думе «лучших людей» и «Русских людей». Он, несомненно, за представительство. А историческое прошлое дворянства связано с представительством. Еще в Смутное время оно поговаривало о конституции, хотя этого слова и не произносилось. Со времени Анны Иоанновны оно не переставало производить «революции», как назывались по-французски дворцовые перевороты. Они достаточно известны. Декабристы все были дворяне. Они и конституцию написали, хотели освободить крестьян, несколько из них поплатилось жизнью, другие целую жизнь провели в Сибири, твердо вынося испытания. Я знаю такой характерный анекдот из времен Александра II. Известный Ф. В. Чижов, умный и просвещенный дворянин, финансист, писатель и промышленный делец, беседуя со свои-

ми приятелями-купцами, загорелся пламенным негодованием, когда купец М-в стал глумиться над дворянством. Стукнув кулаком по столу и выругавшись по-русски, он закричал: «У нас, у дворянства, были декабристы, а у вас кто?»

Люди сороковых годов в царствование Николая I были дворяне. Александру II они помогали в реформах, они же заговорили о конституции и отказались от рабства, пожертвовав немалой частью своего достояния. Предводительство освободительным движением в 60-х годах принадлежало дворянской молодежи, мужской и женской. С этого времени идет постепенное разорение дворянства, несмотря на поддержку правительства. Она же на двух съездах, за которые печать хвалит их теперь, выработала нечто вроде декларации прав человека, т.е. опять же становилась во главе конституционного движения. Но когда оно обернулось в революционное... когда стало трудно отличить революционера от земца, дворянина и даже бюрократа... Когда наши дети ушли в революцию, когда нас стали расстреливать и взрывать за нашу службу Государю, когда началась междоусобная война, в которой погибает гораздо больше каждый день, чем в войну буров с англичанами... когда запылали наши усадьбы – в это не верили два года назад ни Родичев, ни Петрункевич... когда хозяйство стало невозможным и полное разорение грозило и грозит нам теперь... когда Дума сделалась местом революционной пропаганды и самой злобной и беспощадной ненависти к помещикам и земельной собственности, – какое наше положение? Пристать к левым и идти в революцию? Признать себя ни к чему не годными и протянуться по полу, и подставить свою голову и головы своих жен и детей под обух революционной демократии, чтоб она отсекла дворянские головы и, схватывая их за волосы, бросала в корзину, как кочаны капусты? У адвоката не отбирают дела, у фабриканта не отбирают магазина, лавки, фабрики, завода, у биржевика не отнимают процентных бумаг и денежных знаков, а дворянству говорят: «Прочь из усадеб, из деревень! Это не ваше. Нажили ли вы их сами или получили по наследству, все равно необходимо отобрать у вас земли и передать народу».

Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что один из государственных людей, сам помещик, теперь не у дел, и, кстати, это не гр. Витте, – на которого все валят без разбора, – говорил мне в прошлом году: «Ничего, что помещиков пожгут и пограбят. Их надо поучить и прижать. Пусть узнают, что это за революция, которой они не прочь были подыгрывать.

Провинциальная власть смотрела на погромы усадеб во многих местах или с равнодушием, или трусливо. Министерство финансов предписывало земельным банкам прижимать дворян-землевладельцев. И это правительство? О Думах нечего и говорить. Во второй Думе тени Пугачева и Стеньки Разина все время летали, утешенные и довольные.

Революция, говорят. Да черт с ней, с революцией. Если б *разом* не поставили Россию в рамки народоправства, никакой революции не было бы. А то не было ни гроша, и вдруг алтын. Разбудили все инстинкты и поощряли их с легкомыслием ребенка, не думая о последствиях. Правительство, работавшее над реформой, было по плечу самому обществу, т.е. так же невежественно и легкомысленно. От того и получилась анархия, которую развили еще больше обе Думы, в особенности вторая...

Уж если по революции надо отвергать собственность, то всю; если разорять собственников, то всех. Когда станут отбирать дома, заводы и фабрики, все собственники завопиют непременно, но пока жребий выпал на землю, все другие собственники довольно равнодушно к этому относятся и даже сочувствуют этой экспроприации, потому что она касается преимущественно нас, дворян. Не будь социал-демократов, которые прямо заявляли в Думе и в своих газетах, что сначала надо отобрать землю, а потом все прочее, не будь погромов и грабежей, мы бы еще не скоро очухались. Наш традиционный либерализм, уживавшийся с крепостным правом, любезно готов был уживаться и с романтизмом революции. Эти романтики есть и теперь. Им хочется найти такой красивый и удобный экипаж, на котором можно было бы ездить в гости к революционерам, посещать вместе с кадетами женщин, скучно говорить об охоте с октябристами и показывать издалека кулачок правым.

Кадеты вели дело хитро и тонко, но им не удалось скрыть, что кадетская буржуазия – это денежная буржуазия по преимуществу, буржуазия в значительной степени интернациональная и даже якобинская. Они хорошо знают, что до денег добраться мудрено. Они в конце концов сосредоточатся у евреев, и они будут продолжать давать их в рост и социал-демократам, и анархистам, и республиканцам. Потому евреи-союзники революции и террора, потому обе Думы и не хотели осуждать «террористические деяния», или «акты». Какая деликатность – «акты» и «деяния»! В Думе называли нас грабителями и разбойниками, и не только кадеты, но и октябристы барственно молчали. Многие продали свои имения выгодно и потому стали радикалами. У нас ведь это не исключение, а чуть ли не общее правило. Коли деньги в карман – все страны тебе открыты. У кого земельная собственность и кто стоит за нее, как другие стоят за фабрики и заводы, тот за порядок и мирные реформы. Сколько я могу судить по своим наблюдениям, дворянство проснулось от революционных сновидений, но все оно, почти поголовно, за реформу, за лучшие свои традиции и против революции. Оно очень хорошо увидело, что его хотят сделать козлом отпущения, ограбить, разогнать и выбросить в окно, как выжатый лимон. Некоторые бюрократы были весьма в эту сторону, и довольно цинично, забывая культурные и государственные заслуги дворянства, забывая, что армия держится дворянским офицерством. За Столыпиным большая заслуга, когда он явился в Думу с своей речью. «Меня окружили на трибуне, депутаты встали с мест, слушали явно с неприятным чувством, – я это видел по выражению лиц, напряженно ко мне обращенных, – но слушали внимательно». Так он говорил одному знакомому про свою аграрную речь. Те 130 тысяч помещиков, над которыми измывались Дума и печать после речи Столыпина, в сущности, то же, что 270 тысяч голов, которых требовал Марат для благоденствия Франции. Травля эта продолжалась и во время нашего Съезда. Если б он был ничтожен, на него не вылили бы столько ненависти и злобы. Дворянство или земство – все равно – сыграло хорошую роль».

– Итак, вы рассчитываете, что третья Дума будет дворянская?

– Если соберется дружная компания, дворянство может много сделать.

– А в Крестьянском банке, думается, много материалов для того, чтоб судить о возможности этой компании. Спросить бы об этом у А. В. Кривошеина. Он близко стоит к помещикам, как директор земельных банков.

– Дело не в численности землевладельцев, а в отборе их. Пусть слабые продают имения и уходят, по воле или неволе. Сильные останутся и объединятся. Другого такого благоприятного момента для выступления не будет.

* * *

Кто знает? Может, дворянству и суждено ввести новый режим, может быть, именно оно и поможет правительству утвердить реформу 17-го октября. Оно начало борьбу за освобождение, оно дало отечеству много талантливых слуг, оно и докончит это дело вместе с Государем. Может быть, в нем сохранились черты благородства и творческих традиций. Не говоря о живущих, хвалят же после смерти гр. Гейдена[2]. А он не Пестель, не Родичев и даже не Шингарев[3]. Г. Родичев вспоминает чистых людей из дворянства, Ю. Самарина, кн. Черкасского, Н. Милютина, противопоставляя им тех, которые затравили Пушкина и Лермонтова и о которых Лермонтов с негодованием выразился в чудных стихах своих на смерть Пушкина. Но эти – не дворянство, эти – интернационалы, придворные льстецы и карьеристы, эти – сверхдворяне, свысока смотревшие на все действительно даровитое и славное и помнившие только о себе. Это те, которые говорили, подобно г. Родичеву: «Отечество – это мы». Ни Ю. Самарин, ни кн. Черкасский, ни Н. Милютин не пошли бы вместе с кадетами, не поехали бы вместе с г. Родичевым, кн. Долгоруковым и кн. Шаховским[4] в Польшу, чтобы искать себе там союзников и обещать раздробление России.

Ни за что и никогда бы не поехали...

Может быть, история оправдает именно тех, которые теперь осмеливаются твердо заявлять свои умеренные убеждения и отстаивать постепенную реформу, а не валить все на бок и в пропасть. Во всяком случае дворянство имеет право на борьбу, и пусть оно борется, пусть оно выставляет из своей среды настоящих борцов. Беда, если их нет, если дворянство совершенно оскудело и не может против борцов выставить своих борцов, и поневоле склонит голову, и ее отрубят и опустят в корзину беспощадной истории. Во всяком случае дворянство выступает на окончательный экзамен – пан или пропал. Оно должно заботиться не о том, к какой партии принадлежать, к кадетам, октябристам, правым или революционерам, а о том, сколько в нем в наличности государственного смысла, сколько у него действительно дельных, просвещенных и крепких душою людей, готовых бороться словом и делом с анархией, и велика ли у него любовь к отечеству. Опыт революции – огромный опыт, и совсем не умно и не честно упрекать московский земский съезд первыми двумя съездами, когда этого опыта ни у кого не было и когда в головах бесшабашно царствовал революционный романтизм, и когда иные дворяне кричали: «Мы революционеры!»

РАЗДЕЛ II

БЮРОКРАТИЯ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Отрывки и впечатления

Живу я в Висбадене. Жить тут совсем было бы хорошо, если бы курзал не получал до 300 газет на разных языках, в том числе «Моск. вед.», «Голос», «Нов. время», «С.-Петерб. вед.», «Правит. вест.», «Рус. инв.», «Journ. de St.-Pétersb.», «St.-Pét. Herold», «St.-Pétersb. Zeit.» и еще что-то. Висбаден в некотором смысле – пуп Европы, и пуп изящный, красивый, представляющий соединение всех удобств города с удобствами деревни. Отсюда рукой подать до Берлина, до Кельна, до Парижа, Гейдельберга, Бадена, Швейцарии, недалеко от Вены и Италии: третьего дня я телеграфировал в Париж, чтоб мне выслали новое произведение Гюго («Les quatre vents»*), и сегодня оно у меня уже на столе, и я читал уже звучные строфы, порою исполненные огня и поэзии и всегда – благородства и честности. Поговорю об этом после.

Чудесная музыка, масса газет, роскошные чертоги курзала, лодки в пруду, громадный парк – все это делается за 10 марок своим, всем этим пользуешься вволю. Захотел на волю, в поля, в волнующиеся нивы пшеницы, – 10 минут ходьбы, и можешь прилечь на меже, под тень пшеничных колосьев, и

* Четыре ветра [человеческого духа] (*фр.*).

слушать их немолчный шепот. Кругом холмы, горы, долины, покрытые чудесною растительностью; вон сверкает Рейн, вон башни Майнца, дымы пароходов. Отдохнешь и идешь далее, идешь без цели, справляясь только на распутьях с надписями на столбах, где обозначено, что до такого-то места 10 мин., до такого-то полчаса, до такого-то час или полтора ходьбы. Деревеньки и городки так и насеяны всюду… и какие деревеньки – каменные двух- и трехэтажные дома. О, родина-мать, когда-то будет у тебя что-нибудь подобное?..

Но газеты мешают. Никак не отвыкнешь читать их, а читая, начинаешь волноваться. Только с умыслом можно столько дряни говорить о России, сколько говорят о ней немецкие газеты. Стараешься утешить себя тем, что все это жиды, которые овладели всею немецкою печатью, но этого утешения мало. Так самоуверенно, с таким нахальством говорится невыносимый вздор, так раздувается смута, такою колоссальною и всемогущею она выставляется, что за нею уже ничего не видно: ни народа, ни общества, ни правительства. Граф Игнатьев[1] до сих пор служит мишенью для всевозможных выстрелов. Он не люб немцам. Вчера «Frankfurt Journal», весьма распространенная газета, уже прямо говорит, что он будет заменен графом Шуваловым[2], ибо «либеральная европейская печать не может помириться с графом Игнатьевым». Это буквально. Либеральная немецкая печать управляет Россией и предписывает ей… Всего не вспомнишь, что ежедневно оскорбляет и волнует, но волнует больше всего тон газет; так говорят только о пропащем человеке, как говорят они о России…

* * *

Здесь жил некоторое время граф Лорис-Меликов. На этих днях он уехал в Эмс. Жил он уединенно, почти никого не принимая и почти не показываясь в публичных местах. Немецкие журналисты осаждали его письмами, прося о свидании: никому он даже не отвечал. Он отдыхает настоящим образом и, на мой взгляд, значительно поправился в этом чудесном прирейнском

городке, вдали от тех волнений и забот, которые связаны были с тем высоким постом, который он занимал. Я читал множество характеристик его в русских и иностранных газетах: много вздору и мало правды и беспристрастия. А он заслуживал бы именно беспристрастного отношения к своей деятельности, как заслуживает того всякий талантливый и выдающийся человек.

Что он застал? На этот вопрос довольно пространный ответ можно найти в брошюре неизвестного автора «Письма о современном состоянии России. 11-го апреля 1879 года – 6-го апреля 1880»[3]. Брошюра в 148 стр., большого формата, вышла у Брокгауза в Лейпциге. Письма эти писаны в указанный промежуток времени «двумя одномыслящими лицами», как сказано в предисловии. Появление их в печати вызвано преступлением 10-го марта. Я постараюсь передать их содержание по возможности полно, большею частью словами самого автора. Свои заключения я выскажу потом. Покуда же замечу, что мне, могу сказать, хорошо знакомому с заграничной русской публицистикой, редко приходилось читать более спокойное и более толковое изложение мыслей о современном нашем положении. Автор, наверно, не присяжный литератор, но по всему видно, что это человек мыслящий, опытный и, главное, имеющий свои собственные мнения, даже свою собственную программу, детально разработанную. У нас не без основания говорят, что ни славянофилы, ни западники не обладают программой, которая бы начертывала последовательный путь для перехода от нынешнего порядка вещей к более совершенному. Вопрос вертится около полемики о словах, о приемах литературных, о личностях журналистов, о выставлении своего всесовершенного знамени. Спокойного изложения я не встречал, и поэтому настоящая брошюра показалась мне весьма любопытною и заслуживающею общего внимания. Я ограничусь самою простой работой над этим произведением: расскажу его содержание частью своими словами, большей же частью словами самого автора, сделав обширные выписки.

Автор начинает со зла, на которое все указывали, – с чиновничества, которое всем заправляет и «служит проводником

красному либерализму, служащему, в свою очередь подпорой для настоящего нигилизма». Полное отсутствие знания жизни, житейского опыта, позволяющее «внедряться самому утопическому либерализму, действительно привлекательному в чистой теории», бездеятельность, лень, масса инстанций, поверяющих друг друга и кичащихся тем, что управляют не министры, а столоначальники. Один из министров наших говорил автору брошюры: «На нас, министров, возлагают ответственность за все происходящее в России, хотя, в сущности, мы невиннее младенцев, избитых Иродом (???). Мой идеал заключается в том, чтобы когда-нибудь управление делами сосредоточилось хотя в руках директоров департаментов, все же это будет шагом вперед; пока оно не восходит выше начальников отделений». Идеал, конечно, не Бог весть какой, но он характеризует силу сплотившегося чиновничества. «Если вследствие какого-нибудь вредного направления, вкравшегося в общество, найдется в длинном иерархическом ряду хотя одно лицо, им зараженное, то начиная с этой ступени мера осуществляется в духе этого лица, а не в правительственном – конечно, с точным соблюдением формальностей. Известно, что тонкой прослойки какого-либо постороннего тела между двумя стеклами достаточно, чтобы преломить луч, дать ему иное направление. Но как в нынешнем русском обществе сильно распространен дух бессодержательного либерализма и недовольства всем настоящим и как притом в России все вырастающее из зипуна почти поголовно воплощается в чиновничестве (кроме военных), не говоря об инородцах, часто враждебных по принципу, то наша администрация переполнена лицами, действующими не в правительственном духе, теми именно прослойками, в которых луч преломляется. До верховной власти не могут, конечно, доходить факты, ежедневно звенящие в ушах каждого из нас: как такой-то местный начальник выгоняет чиновников, выписывающих добросовестные журналы, а не нигилистические листки; как другой жалуется на тупоумие ребенка-сына, читающего Герцена как календарь, без увлечения; как следователь предупреждает заговорщика, которого он должен арестовать,

чтобы тот скрыл поличное; как вице-директор говорит своему чиновнику, радующемуся, что один из убийц Мезенцова[4] наконец пойман: «Недалеко же вы пойдете на службе с такими идеями»; как секретарь консистории отвечает на замечание, что большинство нигилистов выходит из духовного звания: «Еще бы, мы ближе к народу, кому же стоять за него», – и так далее, без конца. Все это не безыменные анекдоты, а число их легион. Но если в государственной службе оказывается немало процентов таких личностей, то в длинном иерархическом ряду почти каждая правительственная мера должна пройти через руки одной из них и с этого времени будет сбита с прямого пути. Из министров только три: иностранных дел, военный и морской, по особому складу их ведомств, могут проводить решенные меры в их подлинном духе…

«Если считать у нас столько-то процентов чиновников неблагонадежных и столько-то вполне надежных, то остается еще гораздо большая масса средних, податливых в своем мнении, но не утративших заветного русского чувства и готовых, по настроению минуты, рисковать собою для предупреждения злого умысла – или же оправдать Веру Засулич. Без малейшего сомнения, большинство присяжных надворных советников, вынесших это безобразное оправдание, были не Минины, но и не Мараты, и думали прежде всего о себе; они непременно стали бы на сторону правительства и закона, если б у нас отдельному лицу можно было опереться на правительство. Дело в том, что надворные советники стали в процессе Засулич на сильнейшую сторону, сильнейшую в тех мелких отношениях, из которых слагается их жизнь. Уже в то время, до убийств, красный кружок был у нас единственной связной группой; поддакивавшие ему избегали неудобства быть осмеянными в уличных листках, представленными в карикатуре на балаганных театрах (?), оскорбленными в публичных собраниях известного рода; они часто выигрывали против других даже на службе, пользуясь общим беспристрастием начальников, людей прямых, и особым покровительством кривых. Как ни была и есть ничтожна сила красных в русской массе, она все-таки

связная сила, знающая и поддерживающая своих. Наше правительство своих не знает. Всякий русский человек может быть выгнан из службы своим начальником, красным, за то, что он не красный, и нигде не найдет управы. Каждый знает много таких случаев. При всеподавляющем нашем бюрократизме русское правительство для каждого отдельного лица как бы не существует. Где оно, в чем оно, как до него достигнуть? Выходит, что из правящей делами бюрократии многие становятся поперек правительству; огромное большинство, не имеющее строго определенного мнения, не всегда находит лично удобным для себя действовать в правительственном духе; остающийся процент людей с твердыми убеждениями не много может сделать. Как же рассчитывать на удачное преследование целей с таким орудием действия, когда притом оно единственное, незаменимое покуда орудие, даже в своем личном составе…

Нельзя не заметить также, что наша периодическая печать, издающаяся покуда за немногими исключениями для того же казенного слоя людей, проникнута его же духом – и по житейскому воспитанию своих деятелей, и в видах лучшего сбыта товара. Одно находит оправдание в другом, и обратно. Большинство казенного общества, единственного, стоящего до сих пор на виду, заодно с большинством печати, мало соприкасается с русскою почвою, оба живут присочиненными идеалами, чужими готовыми выводами, легко переходящими в крайность потому именно, что они у нас не подлежат поверке домашним опытом, как чужие. Из такой постановки дела истекает следующее странное явление. Русский либеральный чиновник желал бы одарить Россию учреждениями либеральными до несостоятельности, до хаоса, но не хочет позволить обсуждать свои эксперименты тем, над которыми их производит; он давит по мере сил всякое проявление земской и вообще народной жизни, происшедшее без его предварительного разрешения, как самовольство против своего официального права; печать поступает почти так же в защиту своих «либеральных принципов». Земля покуда молчит, – кто же ее спрашивает? – и все это навеянное брожение на поверхности в слое, который

можно назвать чисто казенным (созданным правительством и им живущим), совершенно бессильное для какого-либо общего дела, служит, тем не менее, подпочвой, хотя бы бессознательной, явлениям самым неподходящим, которые за границей называются «революционным духом России». Возможно ли присмотреть сверху за бесчисленной русской бюрократией, сосредоточивающей в себе всю власть и ежегодно размножающейся своей собственной силой? Уже покойный Государь замечал, что у нас гораздо больше чиновников, чем их нужно для службы. Но каждый начальник желает управлять сколь можно более обширным ведомством; каждый русский человек, перерядившийся в немецкое платье, считает своим неотъемлемым правом жить на казенный счет. При безмерной численности этой почти праздной массы в нее легко вкрадываются не только ненадежные личности, но настоящие злоумышленники, как оказалось во время последней польской смуты, как оказывается и ныне, при нашей смуте домашней… Таким образом, для охранения правильного развития русской жизни правительство вооружено одною силой – казенной администрацией, не поддающейся присмотру по своей громадности и разнородности и представляющей по своей отчужденности от народной жизни богатое поле для распространения тех именно вредных уклонений, которые приходится и придется еще подавлять. Исключительное владычество бюрократии имело, конечно, свои причины в нашей истории, как всякое явление действительности. Оно возникло в ту еще пору, когда московские великие князья стали собирать Россию и подводить под один уровень самостоятельные прежде города и области; но разрослось и все поглотило с того времени, как великий Преобразователь взял на себя, независимо от управления, еще и воспитание своего народа. При такой задаче правительство могло доверять только своим людям, выбранным и наставленным им чиновникам, не потому, чтоб оно сомневалось в верности прочих, а потому, что эти прочие не соответствовали духу нового направления. Вследствие того правительство временно выходило из своей прямой задачи – общего руководства народной жизнью; оно

уже не руководило, а все делало своими руками, исключительно через своих людей, как великий Император делал собственноручно модели на показ своим неумелым кораблестроителям. Толчок был дан, правительственная опека разрослась и охватила самомалейшие проявления общественной деятельности, можно сказать, вытравила из России самодеятельность, а вместе с тем приучила всякого русского человека, выучившегося с грехом пополам геометрии, жить не иначе как на счет государства. Затем преобразования Сперанского закрыли последний промежуток, оставшийся между верховною властью и администрацией, слили их в одно, облекли последнего чиновника полномочием и окончательно обратили Россию в чиновничье царство. Кроме этих преобразований Сперанского, никогда не имевших достаточного повода и заслонивших бюрократической стеною верховную власть от народа, создавшемуся порядку была, конечно, в свое время законная причина, но порядок этот пережил свой законный срок и ведет в настоящее время не к силе, а к обессилению правительства.

При даровании России земских учреждений было опущено из виду, между прочим, то соображение, что в государстве исключительно бюрократическом, как оно установилось в течение воспитательного периода, плодотворная земская деятельность не может легко развиться; для нее не остается ни людей, ни вещественных средств. Люди поглощаются казенной службой, содержание их поглощает все доходы земли. К этому естественному препятствию присовокупилось еще временное – разъезд самостоятельных владельцев после упразднения крепостного права; за временным явилось предумышленное – явное недоверие, выказываемое земству сверху, заставившее устраниться от него последних видных людей. При такой обстановке дела можно вызвать не земскую деятельность, а лишь игру в нее или же создать для будущего законоположения, остающиеся покуда мертвою буквой. Земская жизнь может вполне развиться у нас тогда лишь, когда правительство решится гласно признать свою воспитательную задачу оконченною и возвратится в круг естественных отправлений государственной власти, сокращая

сообразно с тем служебный состав и расходы на него, возвращая излишек людей и денег земству. Столь великое преобразование, венчающее прежние преобразования царствования, разрешилось бы двумя последствиями неизмеримой важности.

1) На место нынешней, выбивающейся из рук администрации, которую можно назвать гуртовой, явилась бы администрация иного склада, соразмерная по составу и стоимости со своей задачей, избираемая из общественных деятелей, уже выказавших себя, дорожащая своим положением и уважаемая, всегда исправимая в личном составе, доступная надзору, сознающая себя вполне правительственной. С такой администрацией можно будет проводить, наконец, не форму только, а дух мероприятий.

2) За администрацией станет тогда не воображаемая, а действительная, живая Россия, в лице своего сознательного слоя и крестьянских обществ, слоя, к которому можно будет обращаться не бесплодно. Русские области снова наполняются образованными и влиятельными людьми, хозяевами своей местности, а при новых вещественных средствах, возвращаемых земле, развитие благосостояния и просвещения двинется вдвое быстрее. Кроме того, сокращение нынешних непомерных казенных штатов соразмерно с действительною потребностью даст еще значительную экономию и вследствие того возможность облегчить рабочий народ, ныне непосильно обремененный. Земское самоуправление станет прямым и ответственным продолжением царской службы в тех отношениях, которые ускользают от глаз и сознательного руководства государственной администрации. Связное общество не потерпит в среде своей противообщественных явлений, присмотрит за ними лучше всякой полиции, поможет правительству искоренить их ради собственного спокойствия.

По личному моему убеждению (должно сказать, что убеждение это начинает преобладать у нас вне служебной среды), в одном лишь постепенном развитии земства может заключаться наша родная конституция, сохраняющая за Россией ее русскую личность, признающая Царя Петра Царем, а

не главою исполнительной власти, не подражательная ложь, о которой мечтают оторванные от почвы кружки, заменяющая нравственную правду большинством голосов и личную совесть Государя безличной и даже перед Богом не ответственной баллотировкой. Ныне выбор между этими двумя направлениями становится неотложным.

При сознательно подобранной администрации и состоятельном земстве русское правительство будет знать своих людей и легче разоблачит отщепенцев. Отдельной личности станет тогда возможно опереться на власть, как на нечто живое и основательное. Одно это последствие совершит полный переворот в настроении умов. Все не окончательно развращенные люди, которых приходится девяносто девять на сто, стали бы тогда, явно и тайно, с верховною властью и присмотрели бы за общей безопасностью. Ныне же русский человек без казенного предписания имеет только номинальное право, но не имеет возможности присмотреть за чем-нибудь. Явления, подобные русскому нигилизму, не вызываемые никакими бытовыми условиями, заводятся и держатся только при спутанности общественных начал, когда никто прямо не ответствен и прямо не заинтересован в общем деле.

Смею ли присовокупить.

Не будучи славянофилом, невольно приходишь к заключению, что если со времен великого Императора Петра мы далеко подвинулись в просвещении и могуществе, то общественное развитие России едва ли не придется начать сызнова, со дня кончины царя Алексея Михайловича, как будто всего последующего, вплоть до великого дня 19-го февраля 1861 года, вовсе не существовало. Недавнее прошлое слишком жертвовало внутренним наружному. Если светлые надежды великодушного Монарха и с ним всей России, возлагавшиеся на этот поворотный в русской истории день, до сих пор не увенчались полным успехом, то объяснения нечего искать в другой причине, кроме той, что ветхий государственный строй, создание иной эпохи и иных потребностей, мог только начертать новый порядок, но не мог вдохнуть в него жизнь. На нас сбылась

притча о новом вине и старых мехах. Дарованное нам право быть гражданами вызвало доселе не развитие русской действительности на обширной как мир почве отечества, которую оно нашло безлюдной, а грезы и бесчинство в искусственном столплении людей, созванных воспитательной эпохой со всех концов земли под казенную крышу. Чаемое и последнее преобразование истекает само собою из преобразований уже совершенных; оно не только венчает, но вызывает их из идеи в бытие, дает всем им почву. Оно не могло осуществиться без личной свободы, без независимого суда, без предварительных узаконений о земстве, а потому потребность в нем естественно вызывается последними…»

Я позволил себе эту длинную выписку из первого письма (всех писем 12) потому, что это первое письмо, в сущности, резюмирует всю брошюру в кратких, но определенных чертах. Второе письмо говорит специально о нигилизме, о причинах его развития, о среде, которая его воспитала, и о необходимости борьбы с ним общими мерами.

* * *

Откуда взялся у нас нигилизм?

Автор брошюры отвечает на это так. Почвы для него в народе нет. Что касается культурного общества, то многие в этом обществе о нем знают, ему не сочувствуют и, однако ж, молчат о нем. Почему? Автор отвечает: «Если бы люди, о которых я сказал, имели какой-нибудь простор действий, какую-либо свободу общественной группировки, они стали бы всеми силами и сообща противодействовать направлению, пагубному по их убеждению, и, не колеблясь, соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но прямо доносить они не пойдут». Другая половина культурного общества имеет очень смутное понятие о нигилизме, считает успех его невозможным, а потому не опасается последствий; «на личность же нигилистов в большинстве смотрели до последних событий снисходительно, видя в них не более как протест своего рода против гнетуще-

го произвола бюрократии, в котором, по ее (второй половины общества) последнему суждению, заключается весь наш государственный строй. Каждый из нас много раз слышал такое суждение. Замечательно, что оно высказывается всего чаще чиновниками же, умеющими как-то искренне совместить в себе веру в спасительность канцелярского управления с глубоким недовольством его последствиями». Это, в самом деле, верно подмеченная черта характера нашего чиновничества. Далее:

«Чувство громадного большинства ныне живущих русских людей культурного слоя, говорит автор, распадается, можно сказать, надвое: с одной стороны историческая, прочная вера в личную верховную власть; с другой стороны глубокое недовольство и полное недоверие ко всему правительственному строю сверху-донизу. Подобное недовольство – явление весьма известное в истории; оно наступает неизбежно к той поре, когда стародавние формы государственного склада ветшают и требуют обновления, когда никто и ничто не чувствует себя на месте и не находит вокруг себя достаточного простора для осуществления назревших потребностей; особенно же когда из старого порядка вырвана уже душа и остались одни формы. Большинство не умеет назвать существенных причин своего недовольства, высказывает только мелочи, как оно не умело бы определить причин тягостного влияния испорченного воздуха на свое дыхание, хотя бы ясно его чувствовало; но такое поголовное недовольство не подлежит у нас сомнению. Должно сказать, что недовольство усиливается еще особой, самой законной причиной: общей тревогой русских родителей, отдающих детей в школу как на ставку азартной игры, в которой на одного выигрывающего двое и трое, если не больше, губятся, или нравственным совращением, или выкидыванием вон с «волчьим паспортом», как у нас называют. Из приведенных и многих других причин складывается общее настроение, которое нельзя назвать иначе, как повсеместным недовольством современного русского человека формами своей обстановки. Очевидно, что такое общественное настроение, выражающееся обдуманным безучастием образованного слоя

ко всему злу по невозможности самостоятельного противодействия ему и снисходительным отношением значительной части слоя полуобразованного к преступным личностям, в которых она видит не более как протест против положения дел, смутно возбуждающего ее неудовольствие, – что подобное настроение совершенно исключает всякое общественное содействие в борьбе с появившимся злом. Против него остаются только административные средства, не вполне достаточные даже во внешнем, полицейском отношении и совершенно бессильные в отношении нравственном.

Таким образом, в русской общественной жизни образовалось, можно сказать, пустое место, до которого не досягает в должной мере ни одна из государственных сил. В этом пустом месте могло завестись безнаказанно что угодно, а по поветию времени завелся нигилизм. Как заговор нигилизм слишком распространен, чтобы полиция могла вполне и скоро с ним справиться; не так легко выловить из общественных подполий несколько тысяч безымянных заговорщиков, как задержать несколько сот известных лиц, участвовавших в светском заговоре 14-го декабря 1825 года. Но как политическая партия эти несколько тысяч бездомных людей ничтожны, и всякое общество, в котором для подобного явления не находится достаточных социальных поводов, как у нас, отвергающее его сверху и снизу, как у нас, живо вымело бы с помощью правительства этот сор из избы; только у нас нет и при нынешних государственных формах не может быть пекущегося о себе общества.

Употребленное выражение «пустое место» не аллегория; это пустое место действительно образовалось в нашем государственном складе. Пока старая администрация имела дело с Россией, обращенной в страдательный материал, с Россией, усыпленной на полтора с лишком века воспитательной системой и сторожимой сборным интересом поместного дворянства, бюрократия могла проводить свои меры до почвы, по крайней мере механически; но с 19-го февраля 1861 года, при первом признаке жизни со стороны управляемых, она спуталась и разделилась в самой себе; ввиду новых явлений у нее не оказалось

ни правильного понимания их, ни большого рвения руководить ими в правительственном духе, ни годных орудий для содействия или противодействия чему-нибудь. Между правительством, как орудием власти, и обществом, соприкасающимися с тех пор лишь наружно, положительно образовалась пустота, дающая простор всякому противозаконному явлению.

Пустотой этой воспользовалось западно-революционное движение, так как покуда ничего самородного русского ни в хорошем, ни в дурном смысле не оказалось для ее наполнения. Последнему неоткуда было взяться. Почти уже два века тому назад внутренняя работа русского общества над собою была остановлена и заменена заносными, часто переделываемыми, чисто теоретическими формами. Все внимание правительства сосредоточивалось в это время на личном образовании русских людей на западный лад; вместе с тем орудие его, бюрократия, стало относиться к управляемым, можно сказать, педагогически, как относятся наставники к несовершеннолетним. Понятно, что при таких условиях в Русской земле исчезли и не могли завязаться вновь единомышленные кружки, сборные мнения и даже интересы; общество рассыпалось. Одиночное же лицо, без связи с другими, бессильно для действия, оно отвыкает стоять дружно даже за личную пользу, как мы видим ежедневно на примерах наших акционерных компаний; как же ему стоять за пользы правительства и общества? Разъединенные люди поневоле впустят в свою среду всякую, даже ничтожную группу людей, обладающую сборною силой; таким образом они впустили в Россию нигилизм. Проповедь его пришла и непременно должна была придти к нам с Запада как учение, вместе со всяким другим учением, так же как контрабанда приходит рядом с очищенным пошлиною товаром. Что за дело до того, что оно не было вызвано никакою внутреннею потребностью? В социализме выражается такой же естественный плод западной мысли и жизни, как все прочее, а нас учили преклоняться перед всем европейским. Другой вопрос, каким образом нигилизм успел у нас привиться, если бы ответом не служила наша несвязность; он воззвал исключительно к бес-

почвенным людям, какие есть везде, и положил зародыш мелкой, но сплоченной группы людей в разъединенном обществе. Не опасаясь скорого отпора со стороны бездейственной массы, он легко мог укрыться на время от такой полиции, как наша, а затем русская учебная система дала ему рекрут в изобилии.

Должно сказать: система эта, как многие наши учреждения, истекла не из внутренних потребностей, а из отживших понятий воспитательной эпохи, считавшей первою обязанностью (когда-то правильно) прививать наибольшему числу русских людей высшее европейское образование для самого образования, не справляясь с тем, что им действительно нужно и полезно, не только по нашим, но даже по общим современным условиям. На Западе между народными школами для низшего слоя населения и классическими для высшего устроен во всех городах и городках целый ряд практических училищ, в которых каждое сословие и каждая профессия находят потребное для себя знание, вследствие чего, за исключением выдающихся способностей или счастливого случая, громадное большинство людей не выходит из наследственной среды, что одинаково удобно и для них самих, и для развития народной производительности. У нас же, где петровский переворот и без того раздвоил русский народ на два резко противоположных пласта – объевропеившийся (бывший до последнего времени исключительно казенным) и материковый, между которыми нет почти соприкосновения по недостатку промежуточных звеньев; где вследствие того человеку низших слоев почти не открывается иного способа выдвинуться, кроме того, чтобы выйти в господа, т.е. попасть на казенное жалованье; где нельзя устроить вдали от промышленных центров небольшого завода, ни воспользоваться в деревне сельскохозяйственной машиной по неимению мастеров для исправления испорченного механизма; где промышленная предприимчивость находится в полном застое, вследствие необходимости выписывать каждого техника из-за границы, – там именно система народного образования старается не исправить, а увековечить эту беду. За немногими исключениями, в России существуют одни общеобразовательные

заведения. В Европе они воспитывают людей так называемых либеральных профессий, у нас же исключительно кандидатов в чиновники. Когда сын русского дьячка или мещанина хочет чему-нибудь учиться, он может выучиться только искусству надеть виц-мундир, стать чиновником или учителем; иного в России вне столиц не преподается. Вместе с тем этому мещанскому сыну, лишенному предварительного домашнего развития, чрезвычайно трудно следить за курсами, установленными для детей образованных сословий, отчего большая часть отстает на полпути. Наше общеобразовательное учебное устройство не дает готовых деятелей для различных слоев населения, его готовый плод есть студент, окончивший университетский курс; оно пригодно, следовательно, лишь для того обеспеченного общественного слоя, дети которого могут отдавать четверть человеческого века на предварительное образование, не заботясь о средствах жизни. Но как вне этой учебной системы нет ничего, то при нынешнем повальном стремлении к диплому и его правам по ней тянутся все имущие и неимущие. Каковы же последствия? Исчислено, что из тысячи русских студентов шестьсот не кончают курса; в гимназиях пропорция отпадающих еще большая. Низших и средних технических школ, с более доступным курсом, которые могли бы подбирать неудавшихся классиков, в областях почти вовсе нет, так что выпадающие падают прямо на улицу. Из этой массы бедняков, вышедших из своего звания и не попавших в иное, не знающих никакого занятия для снискания хлеба, нетрудно набрать охотников в ряды какого бы то ни было тайного союза, дающего им точку опоры.

В начале нынешнего царствования в России пробудилось сильное стремление к учению, увенчавшее почти двухвековые усилия преемников Петра Великого. Масса детей самых бедных сословий хлынула в школы. Если б этим пробуждением воспользовались для удовлетворения действительных потребностей народа, крайне бедного всяким производительным знанием, оно бы дало бы богатейшую жатву, тьму людей, приращающих силы государства во всех отношениях, сытых, довольных и спокойных; но его пустили по старой колее, под-

готовляющей исключительно чиновников. Путь оказался слишком тернистым для большинства, чаемая чаша также оказалась переполненной, и всякий школьник нового наплыва, отставши от своего берега и не приставши к чужому, стал годен только в рекруты нигилизма. Нельзя не заметить при этом, что достигающие цели, т.е. какого-нибудь жалованья или иного приюта на житейском поле, почти все заменяют прежние утопические идеалы самыми будничными стремлениями; можно поэтому сказать с уверенностью, что не утопия, а голод и необходимость чьей-либо поддержки влекут в тайные общества девять из десяти неудавшихся искателей казенного жалованья. У нас возражают иногда против этого бросающегося в глаза вывода такими аргументами, что многие магистры агрономии и технологии не находят занятий, а сосланные политические преступники отказываются от ручной работы, заявляя желание жить литературным трудом. Рассуждающие таким образом не отдают себе отчета, кажется, в той наглядной истине, что магистры обыкновенно учат или надзирают, а не работают сами и что в стране, где трудно отыскать мастерового для починки зубчатого колеса, не находится, естественно, больших занятий и для магистров технологии; что человек, готовившийся всю молодость в чиновники, не прокормится неизвестной и непривычной ему ручной работой.

Заключение ясно. Революционное движение не нашло в России почвы в смысле общественных условий, но нашло достаточно обильный личный материал. Трудно доступное в своих подпольях для преследования полицейского и не опасаясь окружающих людей как граждан, это революционное движение, не искорененное вовремя, грозит стать для современной России нравственно тем же, чем была вещественно Запорожская Сечь для старой Польши: прибежищем всех отчаянных людей, не находящих себе места в общественном строе. Подземная крамола не в силах, конечно, поколебать русский государственный порядок, как видимая Сечь не разрушила польского, но может затормозить дальнейшее его развитие и тем самым довести до какой-нибудь катастрофы.

Ясно также, что нигилизм составляет не сущность, а лишь форму нашей язвы. В промежутке времени, какое мы переживаем, между разрушением крепостного, государственного склада и полным окончанием нового, общество естественно является не осевшимся, в нем появилось громадное число людей, выбитых из привычной колеи или вызванных из толпы новыми потребностями, к которым они не успели еще приготовиться и примениться. Им нужно жить. Социализм есть не что иное, как случайное знамя этих людей, как современный ярлык бродящих общественных осадков, укрывшихся в трещинах и пустотах нашего государственного здания; он есть буквально особый вид казачества второй половины XIX века, явление, проходящее чрез всю русскую историю, но с соответствующим времени ярлыком. Завтра имя этого осадка легко заменится иным, но главное дело все-таки будет не в осадке, а в трещине, дающей ему приют. Наша администрация без общества уподобляется молоту без наковальни, который не раздробляет злых семян, а только глубже вгоняет их в почву. Можно думать, что социализм, составляя явление заносное, чуждое русской жизни, все же безопаснее всякого самородного противогосударственного произведения собственной почвы, которое успело бы приютиться в наших нравственных пустырях, за что нельзя ручаться в будущем. Русский простой не увлечется западными теориями; но у него есть свои мечтания, которыми руководители, менее грубые, чем нынешние заговорщики, сумели бы, чего доброго, воспользоваться. Кроме того, что та же революционная секта может снова разрастись из нескольких не подобранных семян, но если б удалось даже раздавить ее без остатка механическими мерами (что довольно сомнительно), оставляя по-прежнему между правительством и обществом пустое поле для посева будущих доморощенных плевел, то такой успех принес бы, по всей вероятности, облегчение весьма кратковременное. В дурных явлениях никогда не оказывается недостатка, если есть для них простор.

Административные меры заставят зло притаиться, но вырвать его с корнем может только довершение великого преоб-

разования, начатого в 1861 году. После полицейских мер Россия ждет законодательных. Нынешнее царствование бесповоротно положило начало новому периоду русской истории, заменяющему петровский воспитательный период, но по общему закону переходных эпох продолжает действовать посредством прежних заржавленных орудий, не проникающих уже в глубь иной, им же вызванной жизни. Идеал нового периода очевиден всем: органическое развитие общества, органическое единение его с правительством и народом вместо управления механического. Но под вновь вызванной жизнью, становящейся уже действительностью в своем духе, только пока бесформенной, нет еще законно определенных основ, вследствие чего общество не владеет своими членами, так же как у власти нет орудий для прямого соприкосновения с ним».

Письмо к другу

Мне очень жаль молодых людей киевского университета, над которыми стряслась большая беда, как это видно из сегодняшнего «Правительственного сообщения». Одна из грубейших демонстраций, может быть даже самая грубая из всех студенческих демонстраций, наказана строго. Такой строгости, конечно, не ожидали те, которые «вовлечены» были в беспорядки, но и самые беспорядки были из ряду вон и очевидно носили характер политической манифестации. Иначе они совсем непонятны, иначе их объяснить нельзя. «Правительственное сообщение» очень подробно рисует картину беспорядков. Читая и перечитывая этот документ, видишь одно, что в этом деле главным образом виноваты агитаторы, виновато несколько человек, из которых, наверное, далеко не все принадлежали к числу студентов. Для этих людей демонстрация была необходима во что бы то ни стало; они смотрели на приближающийся юбилей как на случай проявить свое неудовольствие. Агитация велась по всем правилам; она искала поводов и легко их находила. Но что всего замечательнее тут и чего «правительственное сообщение»

совсем не скрывает – это полное предоставление университета собственным силам. Попечитель, ректор, профессора могли управляться как хотели. Местной администрации, полиции, по-видимому, до университета не было никакого дела. Еще в день юбилея, 6-го сентября, она стерегла входы в университет, а 7-го частный пристав уговорил студентов, собравшихся у входа в университет, разойтись; они разошлись, чтоб собраться в Ботаническом саду в огромную сходку. За сим в городе, можно сказать, царствовала какая-то толпа, разношерстная, странная, праздная. 8-го сентября, когда в университете происходил акт, толпа эта свистела, бросала яблоки и каменья, собравшись около первой гимназии; потом она отправилась по улицам, пела «со святыми упокой», «вечную память» и какую-то песню на мотив народного гимна. Она прошла три версты по городу и благополучно возвратилась к университету, где встретила ее пешая и конная стража, рассыпавшаяся цепью. Толпа остановилась. Что сделали местные власти? Местные власти послали ректору университета сказать, чтоб он «поторопился исполнением акта». Ректор *поторопился* и вместе с публикой, противоположной улицей, уехал домой…

Читаешь и глазам своим не веришь. Неужели в самом деле так было? Неужели в самом деле толпа так *распоряжалась* и юбилеем, и местною властью, неужели в самом деле это была столь грозная сила, что местная власть не нашла ничего лучшего, как спасовать перед нею, *поторопить* ректора и предоставить его на съедение, а с ним и весь университет? Представьте себе положение ректора и университетского начальства во время события: они не считают себя безопасными без того уже, после тех скандалов, которые происходили утром в этот день; у входов стоит полиция, но охранит ли она празднество, не прорвет ли эту стражу толпа и не ворвется ли в университет? Ведь это возможно; университетское начальство чувствует это, ибо видело уже бессилие полиции на улице... Акт идет. Вдруг местная власть присылает сказать: «Поторопитесь!», и, вероятно, с мотивами, что, мол, толпа готова учинить бесчинство, а киевское начальство не в состоянии ничего с нею сделать. Что

это за толпа? Никто не знает. И студенты, а черт знает кто. (Об университетской форме еще только рассуждают и, вероятно, не скоро еще введут ее; может быть, для этого потребны целые годы, как для университетского устава: такой ведь сложный вопрос!.. А пока всякая сволочь, всякий праздный шальной и завсегдатай кабаков может слыть за студента.) Ректор *торопится,* вероятно сокращает программу, сообщают публике, что ехать домой надо «противоположной» дорогой...

Ну, слава Богу. Ректор поторопился – что за важность! – публика разъехалась. Слава Богу сто раз. Но толпа вечером собирается снова. И все в городе знают, что совсем не «слава Богу», что это только начало, только приступ. Правда, потешились, по-видимому, достаточно: посвистели, побрасались камнями, выказали свою силу, но зачем же тут кончать, когда можно продлить, и притом безнаказанно? Успех всегда окрыляет, придает силу зачинщикам, увлекает слабых, подзадоривает даже тряпицу. Толпа и не скрывала этого своего желания «сделать конец». Во время процессии по улицам раздавались голоса, приглашавшие вечером к квартире ректора. Редакция одной местной газеты, как сделала бы и всякая редакция, отрядила даже своего репортера для описания этого «уличного празднества», а он, из литературного усердия, конечно, попал в самую кипень толпы и был арестован. «Уличный праздник» окончился разгромом квартиры ректора, безжалостным, возмутительным разгромом, продолжавшимся 20 минут. Полиция была предупредительна: она поставила у квартиры «одного» городового; в 100 саженях от него стояли 60 конных казаков; эти 100 сажень можно было пройти в 2–3 минуты, но родовой был оттеснен и достиг пикета кружным путем. Этот *один* городовой и был пожертвован местным начальством для предупреждения беспорядков.

Все это удивительно, все это показывает невозможную растерянность местного начальства, напоминает даже времена польского восстания, когда нестройные толпы повстанцев вторгались в города и овладевали ими. Толпа бесчинствовала беспрепятственно и если не сделала чего-нибудь еще большего, еще более удивительного, более важного и прискорбного,

то виновата в том, конечно, не местная власть, не ее распорядительность. А ведь на ней лежат эти обязанности предупреждать беспорядки и прекращать их, или нет? О, конечно, лежат, но если она не умеет предупреждать и останавливать…

Да и все мы умеем ли что-нибудь предупреждать и останавливать? Мне вспоминается одна «дивная» русская черта. Сколько раз она проявлялась во всей своей яркости во время студенческих беспорядков! Волнуйтесь, протестуйте, делайте бесчинства, молодые люди, а мы из-за ваших спин будем любоваться, мы будем подзадоривать и потирать руки: наша взяла! Мы будем судачить, смеяться, выражать высшие соображения, не идущие, сплошь и рядом, дальше собственного носа. И мы взрослые, мы выросли! Черта с два, господа. Недаром же мы кричим: «Молодое поколение – наша надежда», «в молодом поколении – наше будущее», «молодое поколение – это все». «L'Etat c'est moi»*, – сказал французский монарх. А мы говорим: «L'Etat – c'est la jeunesse»**. Вне этого ничего нет, ровно ничего – хоть шаром покати. И вот этот идол вырос и поверил, бедняжка, что он действительно, что на его плечах лежит великая обуза охранять честь отечества, либерализм, радикализм, свет науки и светоч просвещения. Мы, взрослые, мы что такое? Мы ничего, мы пристроились и никуда не годны. Мы так это прямо и говорим: «Молодежь – вот наша надежда! Ратуйте, братцы, а мы посмотрим и возложим на вас лавровый венок». Эта дрянная, подзадоривающая игра, губящая молодые силы, так и светится сквозь все эти тяжелые и прискорбные явления. «Учитесь и растите до нас, взрослых!» Кто осмелится это сказать? Кто вырос, тот уже пропал и никакой надежды не имел. Учеников производим в учителей, детей сажаем себе на спины, и они, схватив нас за уши, едут на нас и командуют. Это ли не беда? В самом деле, где же отцы, где взрослые были? Где те из них, которые близки к этой молодежи, которые умеют влиять на нее? Или их нет совсем? Или у нас – «отцы и дети» существуют как два враждебных лагеря, как две горы, между которыми бездна?

* Государство – это я (*фр.*).

** Государство – это молодежь (*фр.*).

Революция на казенный счет

Разбит флот, сдался Порт-Артур и страшное положение нашей армии. Вот три акта этой ужасной трагедии там, на Дальнем Востоке. Но трагедия идет и здесь, внутри России, и она тесно связана с той, которая разыгралась так несчастливо в далекой стороне.

Вся смута наших дней, все это смешение понятий, весь этот сумбур, и крик, и плач, и буйства, все это находится в связи с основным чувством всякого русского человека – обидою национального самолюбия. Каких бы ни был человек политических убеждений, хоть самых крайних, но внутри его клокочет эта обида, и он не может ее победить никакими рассуждениями. Его отцы, деды, прадеды, все его предки гордились русскими победами, славою своих знамен, своими героями. Каждый школьник заучивает стихи о славе русской, о русских богатырях, о Полтаве, о Румянцеве, о Суворове и Кутузове, о Скобелеве и проч. и проч. И все эти имена и вся гордость наша подернулись трауром поражений на Дальнем Востоке. Это жгучее чувство, многими не выговариваемое, тем сильнее поднимает в сердце обиду, ищет виновных и кипит гневом до потери самообладания и рассудка...

Может быть, положение нашей армии, этот оплот против врага, образумит хотя тех, кто еще не совсем потерял разум, кто еще верит, что это ужас для страны, когда разбито правительство, разбиты высшие учебные заведения, разбито общество. Может быть, несчастия родины услышатся и во имя ее отзовутся здоровые силы. Я никогда не воображал, что доживу до таких времен, когда студенты закрывают высшие учебные заведения, гимназисты закрывают гимназии, полиция грубо бросается на детей, точно обрадовалась, что наконец-то нашла таких врагов, с которыми может справиться. Это в Курске. Мне пишут, что педагогическое начальство открывало гимназистам залы для обсуждения общих вопросов, а затем пустило их на улицу для демонстрации! Какое гражданское

мужество! К счастью, в некоторых гимназиях начальство не пустило детей на улицу, а вызвало родителей, которые увели своих детей домой и избавили их от нагаек. В какой стране и какой министр народного просвещения обращался когда-нибудь к родителям для совещания с ними о «педагогике»? А у нас нашелся. Если б меня, например, позвали на такое совещание, я мог бы только сказать гг. педагогам: извините меня, если вы так бессильны и ничтожны, что не знаете своего дела, то почему же я-то должен его знать? Это признаки полного бессилия, а не то чтобы либерализма или каких-нибудь просветительных целей. Это такая же нелепость, как позволять гимназистам собираться на сходки для обсуждения общих вопросов и затем пускать их на демонстрацию. Кто тут виноват? Неужели дети? В Киеве гимназисты пришли к студентам и спрашивают: «Что нам делать?» – «Мы сами не знаем, что делать», – отвечали студенты. Почему же гимназисты не обращались к педагогам?

И за всей этой бестолочью и бессилием интеллигентной бюрократии и интеллигентного общества, которое имеет столько родственных и материальных связей с нею, за всем шумом забастовок, споров о том, учиться или не учиться, работать или не работать, созывать собор или не созывать, за всем канцелярским трудом Комитета министров, который образует многочисленные законодательные комиссии, которые легко и более плодотворно могли быть заменены одним собором, за всей этой спешкой и бестолковым волнением не слышно уж ни об армии сражающейся, не считая не только часов, но и дней, и не слышно голосов благоразумия, или они очень редки и очень нерешительны. Неужели только одна печать может говорить с обществом и народом, а не могут и не должны с ними говорить министры и другие правители? Обычая нет? Но и такого времени не было. Надо создать обычай.

В воздухе стоит не то конституция, не то революция, бездарная революция на казенный счет, революция на счет того же мужика, который поит и кормит это государство со всей его интеллигенцией и который не понимает еще, что такое про-

исходит и к чему это может повести, к нашествию ли немцев, которые придут устраивать порядок, или к окончательному разрушению государства и к новому, последнему рабству этого же народа. В этом необъяснимом безумии, которое мечется или упорно сидит, уткнув глаза в землю и думая, что все само собою устроится, только народ продолжает неуклонно исполнять свою работу, платить подати, подготовлять пашни для посева, извозничать, доставлять солдат в армию и сохранять свой разум. Только он продолжает свой вечный труд и живет в тех же нищенских избах, не мечтая о каменных палатах и своем суверенитете. Далекий от завоевательных планов, от усилий усовершенствовать государственный порядок и от усилий поднять революцию, он думает только, как бы увеличить свою пашню, и не верит проповедующим просвещение, которое якобы всему поможет и даст такие знания, что десятина будет приносить столько, сколько теперь и десять десятин не приносят. С глубокой скорбью узнает народ о беде русской армии, о десятках тысяч солдат, положивших голову безропотно за честь России. Он знает эту честь. Он умеет ее держать. Не беспокойтесь. Когда у него, у этого народа, не было никакой интеллигенции, когда цари даже были малограмотны, а начальство совсем безграмотно, он умел отстоять свою землю от просвещенного врага, начальство которого говорило полатыни, и умел водворить порядок, собственными усилиями. Он народ-строитель, народ-работник и не повесит голову. Он не поймет генерала Драгомирова, который уверяет, что оставление своего поста генералом Гриппенбергом есть проявление «высшего гражданского мужества», – для него это слишком кудряво и слишком вымученно, как суверенитет, за который прячется революция, – но, видя это крушение всякого порядка, начиная с «гражданского мужества» генералов, он, пожалуй, подумает, что дальше войну продолжать невозможно. Кто же это воспитан на деньги этого народа, кто же это собирает какое-то «большинство» разных сортов интеллигенции, когда никто не спрашивает *большинство* этого народа? Почему даже евреи говорят именем этого народа и угрожают его пред-

ставителям французской фразой «j'accuse»*, когда, если б этот народ спросили, он послал бы этих евреев к кузькиной матери? Или интеллигенция и бюрократия желают соединиться с еврейством и обезгласить и обессилить этот народ, насадив на его плечи семь миллионов евреев, которые обездолят деревни и сядут в них помещиками? Понять невозможно.

Я потрясен всем тем, что происходит, до глубины моей души, и, если б Бог судил мне сейчас умереть, я бы не позавидовал спокойствию тех моих просвещенных соотечественников, которые могут спокойно есть и спать и спокойно рассуждать. Миллион терзаний у русского человека. Как бы резко и отчаянно он ни говорил, это его душа кричит, и, если люди ее не услышат, услышит, может быть, Бог и сжалится над нею.

Само правительство шло под этим знаменем

Мы накануне нового года. Будем поздравлять друг друга, пить шампанское и выражать надежду, что 1906 год поведет Россию на поправку.

Московский погром революции оживил спокойные элементы общества, но ведь он вовсе не влил в них новой крови, нового понимания жизни и не внушил новых обязанностей. Погром устрашил революцию и во всей России на нее подействовал, подорвав слишком смелые ее надежды, но я не думаю, что начнется благорастворение воздухов.

С месяц назад я говорил, что правительство так беззаботно себя вело, что Совет рабочих депутатов может арестовать гр. Витте и очень спокойно посадить его в Петропавловскую крепость вместе с его «собственными» министрами. Спустя некоторое время г. Хрусталев-Носарь был арестован и в газетах было сказано, что он намеревался арестовать графа Витте. Я ли ему подсказал эту блистательную идею, или он сам дошел до этого, как Ляпкин-Тяпкин, или это известие «лишено всякого основания», неизвестно. Но этот арест был поворотным пун-

* Обвиняю (*фр.*).

ктом в действиях правительства. Оно «осмелилось». Диктатура пролетариата с хвостом хулиганства, таким же разноцветным, как хвост павлина, безмолвно признававшаяся правительством гр. Витте и обществом, начала тревожить и разорять. Известно, что под влиянием этой диктатуры была устроена первая политическая забастовка, которая, по словам всех радикальных газет, «вырвала Манифест 17 октября». Это придало диктатуре блеск и самой забастовке сияние. Она как бы «увенчала здание» и узаконила «освободительное движение».

Говорят, что накануне 17 октября правительственные лица совершенно растерялись, не зная, что делать и на что решиться. Я в эти дни не был в Петербурге, а по рассказам не могу себе представить, чтобы положение было так безнадежно, что администрации оставалось только плакать. Администраторы-плаксы, это, несомненно, новый тип администраторов чувствительных. Если б нашелся администратор, который воздержался бы от слез, а принял бы энергичные меры для уничтожения забастовки, то Манифест 17-го октября мог бы выйти 17 ноября и не в таком куцем виде, а с разработанною законностью свобод и с объявлением выборов в Государственную думу. Дело могло бы пойти лучше. Конечно, можно ошибаться и в этом случае, но одно несомненно, что правительство никогда не должно теряться и должно «умирать стоя», как сказал император Веспасиан. Правители обязаны встречать смело и открыто все опасности, и если они хотят жить, то должны презирать смерть и возбуждать в обществе желание и бодрость жизни. Революция – война, и кто струсил или потерялся, тот погиб или создал себе опасное положение. Жить можно только успехами, а не падениями.

Блистательный успех первой стачки, воодушевивший революцию на обыкновенную дерзость, в такой же степени понизил авторитет правительства. О нем перестали слышать. Началась пугачевщина. Правительство гр. Витте не нашло ничего лучшего, как послать генерал-адъютантов в качестве увещевателей. В одном месте увещевают, а в другом, рядом, идут грабеж, истребление и пожары. Из уезда в уезд, из губернии в губернию двигается пугачевщина. «Союзное правительство»,

как я назвал Совет рабочих депутатов и другие союзы, заседало открыто, печатало свои протоколы и приговоры, собирало деньги на оружие, поддерживало стачки и объявило вторую политическую забастовку во славу Польши, где было объявлено военное положение. Правительство спустя несколько дней после того, как забастовка сама начала решаться, уступило требованию «Союзного правительства» и сняло военное положение, а спустя некоторое время опять возобновило его, точно дело шло о пьесе, в которой антрепренер извещает на афише: «В первый раз по возобновлении». В это время московский Съезд составлял свои резолюции и даже дал своей резолюцией об автономии Польши повод «Союзному правительству» объявить вторую стачку. В это же время раздавались воззвания к вооруженному восстанию, раздавались на всех митингах, на всех стогнах и развозились почтою по всей широкой Руси. Она, бедная, думала вместе с правительством гр. Витте, что это «освободительное движение».

Эти два слова сыграли огромную роль. Одних они интимидировали, других поощряли. Все хорошее в этом движении и все дурное пошло под этой вывеской: мирные манифестации, митинги, горячие речи, образование политических партий, серьезная подготовка к Государственной думе – с одной стороны, и с другой – грабежи, пожары, отложение провинций, убийства, раздача оружия, явное презрение к правительству законному и явное повиновение правительству незаконному. Даже петербургский градоначальник рекомендовал городовым «освободительное движение». Во имя «освободительного движения» хулиганы грабили прохожих, оскорбляли девушек и женщин и приставали ко всем с требованием денег. Отделилась Финляндия, поднимались Польша, Литва, Прибалтийский край, где действовала латышская республика, на Кавказе шла междоусобная война и гр. Воронцов-Дашков раздавал оружие социал-демократам; произошли морские бунты в Кронштадте и Севастополе, и распространялась общая неуверенность в завтрашнем дне. Рента падала. На Сибирской дороге была полная анархия. И все это шло под знаменем «освободитель-

ного движения», а оно под знаменем Манифеста 17 октября. Все старались «освободиться» от чего-нибудь: от власти администрации, власти цензуры, власти капитала, от дисциплины, учебных занятий, от исполнения законов общих и социальных и даже от власти России, от ее державных прав. И все торопилось объединиться в союзы, так солдаты объединяются в полки, эскадроны и батареи. У всякого было что-нибудь свое, от чего хотелось освободиться, и у всех была и общая причина, общее иго, так сказать, которое все старались сбросить. Поэтому происходило общее революционное движение, общий открытый заговор против старого порядка и против всей истории и умеренные убеждения решительно тонули в крайних. Надо всем развивалось «освободительное знамя», и образовывалось какое-то негласное и гласное «товарищество». И в это-то именно время правительство решительно отсутствовало, laissez faire, laissez passer! Гр. Витте, резко и справедливо осуждавший безвластие кн. Святополк-Мирского, сам делал то же самое, т.е. ничего не делал такого, чтобы взять это движение в свои руки и регулировать его. Естественно, что Совет рабочих депутатов образовался в правительство, поднял палку и дошел до манифестов, чтобы граждане спешили брать свои вклады из сберегательных касс и банков, а благодарные и благородные граждане толпами бросались исполнять этот «манифест». Законное правительство прочло несколько невнятных наставлений насчет своей состоятельности и выдавало десятки миллионов. «Требуйте золотом!» – кричало незаконное правительство. Граждане требовали золотом, и золото отливало из касс.

– И смех и горе. Ай да правительство! – говорили беспечальные граждане. – Что оно, подсиживает, что ли?

– Какое? Сам граф Витте говорит, что все эти беспорядки и бестолочь стоили России дороже, чем война с Японией. Так подсиживать могут только или безумцы, или люди не только совершенно бездарные, но и совершенно незнакомые с наукою управления.

Одно допущение железнодорожных забастовок чего стоит торговле, промышленности и всему населению. Три раза в те-

чение двух месяцев правительство допускало их, вероятно, как «освободительное движение». Помилуйте, служащие получают так мало: правительство должно идти к ним навстречу. А надо сказать, что сборы с железных дорог равняются 700 милл. в год, т.е. двум миллионам руб. в день. У правительства, таким образом, каждый день есть два милл. р. для необходимых расходов. Ресурс чрезвычайно важный. Без дорог – казначейство может очутиться без денег. А дороги не только бастовали, но *завоевывались*. Революционеры являлись на станции и, овладев имуществом, отправляли поезда, и брали деньги себе. Таким образом, революция завоевывала себе не только власть, но и правительственные доходы, финансы государства. Последний «манифест» его, объявивший «великую русскую революцию», явился в тот *критический* момент для законного правительства, когда «союзное» пошло против него с оружием в руках, направив свою армию в Москву и начав завоевание железнодорожных станций, преимущественно узловых. Люди хорошо осведомленные мне говорили, что если принять в соображение *пассивное сочувствие* революции, то общество делилось почти на два равных лагеря. Можете себе это представить!

И дело дошло до этого логически, ибо правительство все продолжало неторопливо составлять «временные» законы, желая ими загнать «освободительное движение» на свой двор, как загоняют пастухи коров и овец. *Рожденное* освободительным движением правительство гр. Витте стояло в углу, само угнетенное тою же причиною, которая его породила. Оно точно так же, как революция, отрицало прошлое, но революция пользовалась этим всеобщим отрицанием и во имя его и с помощью его усиливала свои кадры, тогда как правительство продолжало управлять, как в самое ординарное, самое спокойное время, совещаясь, споря о системах выборов и не зная, на чью сторону становиться. Когда оно погружалось в мелочи, спорило о выеденном яйце, – революция раскидывала свою сеть по целой России, разоряла ее забастовками и беспорядками. Оно даже не знало, каких губернаторов надо уволить, тех ли, которые старались поддержать порядок, самый обыкновенный поли-

цейский порядок, какой, однако, существует во всей правопорядочной Европе, или тех, которые ходили с красными флагами и пели рабочую Марсельезу, а в лучших случаях просто посвистывали. Ведь оно же – правительство «освободительного движения» и, стало быть, должно радоваться всем этим демонстрациям и протестам против старого порядка! Иногда казалось, что гр. Витте хочет, чтоб его полюбила революция, конституция и самодержавие, чтоб все его полюбили, чтоб все ему были благодарны, как человеку, который рад стараться всем угодить, исключая России.

Вовсе гр. Витте не замышлял того, чтоб все распустить, чтоб общество *на деле* уверилось, как ужасно жить в беспорядке, и когда оно уверится, тогда начать вводить порядок при помощи войск. Этого допустить нельзя даже как предположение, потому что это было бы не только безумно, но и преступно. Это равнялось бы преступлению Нерона, который сжег Рим, желая проверить описание разрушения Трои в «Илиаде». Разорить Россию, лишить ее кредита, уничтожить всякий порядок, развратить провинциальные власти своим попустительством – и все это для того, чтобы Россия восчувствовала, каков этот пожар, как ужасно безвластие даже во времена «освободительного движения» – ведь этому преступлению имени нельзя придумать.

Нет, все совершилось под знаменем «освободительного движения», материалы для которого многочисленны и любопытны, и само оно понималось всяким, как кто хотел. Само правительство шло под этим знаменем, как хотело, и не могло не идти под ним, ибо оно – дитя его, неразумное дитя, воспитанное прошлым, совершенно неопытное и нерешительное, как тот гимназист, который искренно желает учиться, но не может отстать от товарищей. Революция есть «товарищ» правительства, и оно относилось к ней, как к «товарищу», до тех самых пор, когда логика событий разделила этих «товарищей» и они пошли друг на друга войною. В Москве и окрестностях была именно война. «Товарищи» послали друг против друга войска, и не государственный разум, не многостороннее дарование, не

чутье и предвидение мудрого правителя справляются с революцией, с «товарищем», – а справляется армия, только армия.

Безнаказанность поощряет политические убийства

Кадетские газеты полны статьями о покойном М. Я. Герценштейне. М. М. Ковалевский начинает свою статью так: «Подумаешь, мы живем во времена Монтекки и Капулетти, гвельфов и гибеллинов, Белых и Черных». В убийстве обвиняются «истинно русские люди». Г. Милюков требует от правительства как минимум «немедленного закрытия и роспуска всех черносотенных организаций». Какой максимум мог бы его удовлетворить, он умалчивает. Правительство закрывает революционные газеты и революционные организации, а представитель кадетской партии требует такой же меры для противников революции. Для сотен городовых и других убитых революцией или ее наемниками ни слова жалости, ни слова укора. Когда погиб в этой вражде Монтекки и Капулетти *свой,* то все репрессии рекомендуются и требуются.

Г. дума отказалась от порицания политических убийств в самом начале своего существования и перед самым роспуском отказалась от порицания погромов, пожаров и грабежей. Из 300 наличных членов Думы только 46 соглашались произнести порицание погромам. Это значило, что с высоты новой власти, опиравшейся на народную волю, которая избрала их, было произнесено нечто такое, что давало убийцам, грабителям и погромщикам право продолжать свое ужасное дело. Такова «народная воля», именем которой клянутся «лучшие люди».

Разберемся спокойно в политических убийствах. Я всегда держался взгляда, что политическое убийство так же противно человеческой душе, как и всякое обыкновенное убийство, и высказывался об этом не раз.

Убийство Герценштейна в Териоках – несомненно, политическое убийство, как убийство адмирала Чухнина[1], как убийство губернаторов, городовых и прочих представителей

власти. Власть переходила на сторону Думы и ее депутатов. Они тоже являлись властителями именем народа, исполнявшими его волю. Целого народа нигде нет. Всегда есть только группы, более или менее сочувствующие друг другу или прямо друг другу враждебные. Поэтому как у революции образовалась целая орда убийц, грабителей и погромщиков, так может образоваться целая орда убийц, грабителей и погромщиков и у противной стороны. Так начинаются анархия и междоусобие. Безнаказанность насилий и возведение в героев убийц вызывает конкуренцию. Когда были только кинжалы и плохие пистолеты, убить человека, не подвергая собственную жизнь опасности, было трудно. Так как редкий убийца не думает, что ему удастся совершить преступление и самому благополучно спастись, то при плохом оружии было сравнительно немного политических убийств. При современном усовершенствованном оружии мысль о безнаказанности, о возможности спастись убийце, помимо других причин, увеличила число политических преступлений. Выстрел, и жертва падает мертвая, а убийца спасается бегством или вмешивается в толпу и безопасно укрывается от всяких подозрений. И в самом деле, огромное количество политических и обыкновенных убийц остаются неразысканными. А стоит лишь убедить себя, что ты не обыкновенный убийца, что ты действуешь не из корысти, не из личной мести, а по убеждению, что ты совершаешь месть политическую, которая должна устрашать врагов твоей партии, то и не останется даже раскаяния и упреков совести. Ты совершил нечто благородное, и имя твое войдет в «мартиролог освободителей». Это не убийство, а война, а на войне не убийство, а подвиги мужества; но всякая война тем и отличается от этих политических убийств, что там обе стороны вооружены, обе стороны приготовлены к нападению и защите и обе стороны одинаково заранее приготовляются к смерти. Война – дуэль, а не убийство. Политический же убийца чаще и более, чем обыкновенный, действует наверняка против безоружного и беззащитного человека и хорошо рассчитывает шансы своей безопасности.

Как революционного убийцу, так и контрреволюционного могут руководить совершенно одинаковые мысли. И последний может видеть в политических убийствах, совершаемых революционерами, врагов отечества и даже врагов того самого освободительного движения, которое понимается одним – как революция, как необходимый переворот для создания совершенно нового порядка вещей, а другим – как эволюция, как мирный переход от одной свободы к другой. В этом случае не может быть разных мерок для осуждения и не может быть особенного выбора. Кто попался навстречу, тот и виноват. Таких примеров множество. Можно бороться за всякую идею, как бы она ни была экстравагантна, но поднимающий меч от меча может и погибнуть. Партия, одобряющая убийство, может дождаться, что и на нее пойдут с мечом, не разбираясь, кто виноват.

Политические убийства развращают мозг именно потому, что человеческая жизнь ставится ни во что перед «убеждением» убийцы. На жизнь людей, не разделяющих ваших убеждений, предпринимается охота, как на вредных зверей, и затем обращается в спорт, нимало не тревожащий совести. Мне говорили об одном революционере в Прибалтийском крае, который убил 56 человек и хвалился этим подвигом. Такая охота на людей началась у нас давно, она подливала убийственного яда во все головы, и все головы отравлены, отравлена совесть.

Как на войне число убитых неприятелей принимается с удовольствием и даже с удовольствием преувеличивается, так и в эту революцию. Крикнул же кто-то «Мало!» в Г. думе, когда произнесена была цифра в несколько сот убитых городовых. Чем больше жертв, тем лучше, чем ужаснее погромы, тем убедительнее. Пускай мучаются в предсмертных судорогах, оставляют сирот, пускай на обгорелых развалинах плачут женщины и дети, пусть гибнет весь этот старый режим и все то, что на нем росло. Мы вооружим всех, кто хочет, мы разнесем наши воззвания к бунту в войска, мы поднимем эти массы недовольных и слепых, мы развернем по всей России знамя восстания; все средства хороши для того, чтобы навести страх и усилить смуту. Ни одно восклицание ужаса и не-

годования не вырвется из наших уст. Если даже наша грудь содрогнется от ужаса, мы подавим этот крик, каких бы усилий это нам ни стоило. Все благо, все добро, ибо все это возвещает смерть старому режиму, на могиле которого построится величественный храм народного счастья.

Но старый мир состоит из живых людей, и многое множество этих людей тоже жаждут свободы. Они любят жизнь, любят своих детей, свои семьи, свое отечество, любят народную и военную славу, любят самое русское имя, и в их груди живет чувство негодования, готовое обратиться в отчаяние от всего того, что происходит от всей этой колесницы революции, запряженной злобою и местью и управляемой ведьмой социально-демократической республики, которая сидит за кучера. Эти люди, верующие в спокойное развитие, не хотят ни убийства, ни грабежей, ни пожаров, ни этой ведьмы, которая скачет по трупам и по крови, освещаемая заревом пожаров и громом восстаний. Они достаточно терпели, достаточно много перенесли. У многих из них, может быть, месть кипит в груди и злобою наполнено сердце, как и у революционеров, потому что революция отняла у них близких, отняла мир, счастье, состояние и ввергнула в бедность. С какой стороны вы станете их осуждать, если они примутся вам мстить око за око, если они будут поджигать и истреблять? Вы станете доказывать, что ваши убийцы – герои, потому что они убивают ради будущего, что они воодушевлены высокой идеей. А они вам будут доказывать, что настоящие герои они, потому что они стоят за мирное счастье, за прогрессивную монархию, а в революционерах видят своих врагов. Ком снега, оторвавшийся со снежной вершины, вырастая и вырастая, вырывает деревья, разрушает жилища, убивает людей. Так и злоба и убийства растут, не разбирая ни правых, ни виноватых. И неизвестно, есть ли люди, которые могут сказать, что жизнь их в безопасности, есть ли люди, которые не получали бы угроз. Я убежден, что ругательные и угрожающие письма получает даже Л. Н. Толстой. Над кем не висит дамоклов меч, когда не только общественные деятели, но самые мирные граждане, содержатели

аптек, галантерейных лавок, артельщики, почтальоны погибают от руки убийц? Не то еще «ужасно», что убит Чухнин или Герценштейн, а то ужасно, что убийство царствует и оправдывается «убеждениями» и убийцы и насильники поступают в разряд героев той или другой партии. Ужасна анархия, ужасно междоусобие, ужасна пугачевщина.

Кто выведет Россию из этого «ужаса», тот будет действительным спасителем Отечества.

Принизить и ошельмовать врага, внушить ему трусость, заставить замолчать и спрятаться – вот тактика партий. Собрать людей мужественных, стойких, с крепкой душой, любящих свое Отечество не потому, что оно «старый» или «новый» режим, а прежде всего просто потому, что оно Отечество, собрать их во имя мира и спокойствия, сплотить их патриотическим чувством, руководить ими прозорливым умом, заставить верить в свою власть и в тот мир, который она несет с собой, – вот задача для тех, кто самоотверженно хочет спасти нашу Родину.

И прежде всего я желал бы, чтоб смерть несчастного Герценштейна была переломом, чтоб она образумила и тех и других, чтоб она внушила жалость к человеческой жизни, к русской погибающей жизни...

Мы погребаем Россию

В числе последних жертв террора во время французской революции была любовница Людовика XV, Дюбари. Обыкновенно осужденные на казнь вели себя мужественно. Но Дюбари безумно кричала: «Спасите меня!», когда ее везли на эшафот, и этот крик так потряс обыкновенно равнодушно или враждебно настроенную относительно осужденного толпу зрителей казней, что с этого момента толпа начала протестовать против гильотины. Трусливая женщина своим отчаянным криком вызвала то чувство сострадания, которое не вызывали жирондисты, г-жа Ролан, Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта и тысячи других, погибших на гильотине со спокойствием героев.

Я не хочу сравнивать г-жу Дюбари с русским обществом. Та властвовала при своем царственном любовнике, а революция нашла необходимым отрубить ей голову, когда эта голова потеряла всякое значение. Но русское общество поделилось. Одна часть его повелевает и покровительствует революции, а другая не находит в себе необходимого мужества для того, чтоб открыто протестовать против движения, принимающего характер анархии. Даже тени этого мужества нет. Прежде оно повиновалось правительству из-за страха, а теперь повинуется революции из-за того же страха. Не надо особенно искать, чтоб этот же страх найти в сердцах немалого числа администраторов, которые гнутся в ту или другую сторону, как люди, не уверенные в себе и в своей власти.

Наше время может быть превосходно характеризовано словами ослепленного Глостера в «Короле Лире» (акт. IV, сц. 1):

Во время смуты
Слепого водит сумасшедший.

Именно сумасшедшие и безумные водят у нас слепых. Слепой идет ощупью и рад, что безумец предлагает ему свои услуги, да еще бескорыстно.

– Я вижу, что вы ничего не видите. Я безумен, но у меня есть глаза. Положите мне на плечо свою руку и идите за мной.

И идут слепые, не зная, куда их ведут и какая звезда управляет путем безумного. Идут, может быть, прямо к бездне, идут не протестуя и не противодействуя и, спотыкаясь, еще крепче ухватываются за плечо поводыря. Среди этих убийств, наглых насилий толпы и хулиганов, грабителей и воров, подстрекателей к бунтам и восстаниям не слышно криков. Точно общество одеревенело и притупилось, а толпа получила какое-то божественное значение. Никто не протестует: ни отдельные лица, ни городские общества, ни дворянство, ни купечество, ни духовенство. Решительно никто. Когда Г. думе представлялся случай сыграть ту прекрасную роль, она гордо отвергла ее дважды, а в третий раз в Выборге сама подписала

воззвание к неповиновению правительству, сама начинила подобие бомбочки, действующее шире и продолжительнее, чем бомба революционера. Государственная ли это мера со стороны Думы или просто мщение за роспуск ее? Судя по г. Муромцеву[1], который на вопрос иностранного корреспондента отказался дать объяснение своей подписи под воззванием, ссылаясь на то, что он еще не сообразил последствий этого факта, было немало депутатов, которые подписали воззвание нехотя, а, может быть, подобно мудрому г. Муромцеву, и не ясно отвечая себе на вопрос: что они делают? Дело в том, что было положено в Выборге, что всякий может подписаться или не подписаться, но прибавлена такая фраза: «Подписавшегося ждет тяжкое наказание». Но если не подписываться из-за «тяжкого наказания» значит обнаруживать страх перед наказанием, и стали все подписываться. Не будь этой угрозы «тяжким наказанием», воззвание, вероятно, многими было бы не подписано. Подписанное и пущенное в оборот от выборной власти, хотя и после того, когда она была «разжалована» – выражение крестьянских депутатов, – оно печатается по всей России, начиная с Петербурга, и распространяется, несмотря на все усилия полиции, которая арестовывает типографии, тех, кто печатает и кто распространяет. Дума, таким образом, прямо перешла на сторону революции из чувства ли мщения за ее роспуск или из таких государственных соображений, которые иначе нельзя назвать, как революционными. Позволительно думать, что этот революционный документ не будет служить кокардою для входа в будущую Думу, произведет ли он в России новые бедствия и новые осложнения или нет.

По моему мнению, достаточно и того, что мы имеем, достаточно того, что никто не может поручиться за завтрашний день, за спокойствие у себя дома и на улице, достаточно всего того, что мы пережили и переживаем, чтоб кричать и протестовать против всяческой распущенности, наглости и бунтарских проявлений, прикрывающихся именем революции...

Финляндцы после свеаборгского бунта начали протестовать, русские молчат и после этого, равнодушно читая подроб-

ности о зверствах, которые позволили себе солдаты и матросы над несчастными офицерами. Это злоба хищного зверя, который терзает живого человека и насыщает свою месть еще на мертвом. Самих бунтовщиков эта жестокая расправа главарей поражала своим неистовством, и они отвертывались от мучителей и убийц. Нет сомнения, что эти зверства над офицерами подсказывали иногда чувство раскаяния матросской толпе, которая, увлеченная предводителями, опомнившись, выдавала их, как это было на «Памяти Азова».

Но живые должны жить сегодняшним и будущим днем. Надо мужество, надо собираться этой армии, которая верит в Россию преобразованную, восставшую из унижения, помнящую прекрасные страницы своей истории. Надо понять сердцем и разумом, что пора сказать «довольно» всем этим страданиям, убийствам, бунтам и всякой губительной бестолочи. Прошлому нет возврата, а будущее может быть светлым и радостным, если мы одолеем эту тьму общими усилиями тех, которые искренне желают мира.

Когда умер Петр Великий, у гроба его проповедник потрясенным голосом сказал[2]: «Православные, что мы делаем? Кого мы погребаем? Петра Великого мы погребаем». И вся церковь зарыдала.

Кого мы погребаем теперь этой смутою, этой рознью и насилиями? Мы погребаем Россию, погребаем свободу и разум.

РАЗДЕЛ III

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Письмо в редакцию

М. Г. Я думаю, что русский еврей гораздо лучше «Русского еврея», издающегося в Петербурге[1] двумя евреями, гг. Бергманом и Рабиновичем. Как вы думаете? В жизни своей я имел не раз случаи сходиться с евреями и, разумеется, только по ним могу заключать о евреях образованных: мои знакомые были люди умные, порядочные, с которыми даже приятно было спорить и с которыми всегда можно договориться до известного соглашения по еврейскому вопросу. Но русский еврей, в лице гг. Бергмана и Рабиновича, – с ними едва ли до чего можно договориться, ибо их прежде всего и больше всего занимает вопрос о том, что я сижу в театрах в первом ряду, езжу на рысаках и пью шампанское, очень много шампанского. Очевидно, их помыслы направлены в эту сторону. Позвольте, милостивый государь, их успокоить интимным признанием, что на рысаках я не езжу, ибо таковых не люблю и не имею, в театр во всю свою жизнь едва ли больше пяти раз сидел в первом ряду, а что касается шампанского, то пью его раз в год, именно накануне нового года, и не больше одного бокала. Ни-

каких вин вообще не пью, предпочитая им воду и квас, отчего, может быть, меня и называют квасным патриотом. Утешаюсь тем, что славяне пили квас еще в доисторическое время и моя любовь к нему доказывает, что я славянин, как любовь к шампанскому гг. Бергмана и Рабиновича, вероятно, доказывает, что они евреи. После моего интимного признания, я думаю, я их успокоил и насчет еврейского вопроса и еврейских беспорядков, ибо последние, по их мнению, и происходят от того, что я пью шампанское. Такой глубокий взгляд на печальные события избавляет меня от необходимости вступать в дальнейшую беседу с этими русскими евреями.

Примите и проч.

А. Суворин

Инициатива сэра Натана Ротшильда

Полагаю, что ни преувеличивать, ни преуменьшать ничего не следует. Надо во всем отдавать себе ясный отчет, не предаваясь ни особенной радости, ни особенному горю. Тем меньше разочарований, чем спокойнее смотреть вокруг себя. Я тем тверже говорю это, что по натуре своей склонен к оптимизму. Но оптимизму «Гражданина» я отнюдь не завидую. Он говорил вчера об английском Ротшильде, который взял на себя инициативу нашего трех с половиной процентного займа. «Отсюда вижу, – говорит он, – что Ротшильды и банкиры Парижа, Блейхредер и Мендельсон в Берлине, делают кислые мины, выражающие досаду, отчего не они *в знак симпатии к России* взяли на себя эту инициативу». Я думаю, что у «Гражданина» слишком сладкая фантазия относительно этих «кислых мин» и «досады». Фантазия эта еще и более яркою является в его предположении, что банкиры предложили заем России, когда «он ей не нужен». Я не понимаю, зачем же заключать заем, когда он нам не нужен? Вернее предположить, что заем нам нужен, если мы его заключили. И за то слава Богу, что Россия не платит теперь высоких процентов, что бюджеты наши заключа-

ются с превышением; но истинное финансовое благополучие России настанет только тогда, когда у нас не будет внешних займов, когда Ротшильд станет предлагать нам заем на самых выгодных условиях, а мы ответим: «Не надо, сэр». До этого благополучия еще далеко и даже очень далеко...

В займе участвуют члены дома Ротшильда в Лондоне, Париже и Франкфурте-на-Майне. Известно, что династия Ротшильдов ведет свое начало от Майера-Амшеля Ротшильда, родившегося во Франкфурте-на-Майне в 1743 г. Какими путями он вышел в люди, на этот счет существует легенда о Гессенкассельском ландграфе Фридрихе II, который продавал своих подданных, в виде рекрут, Англии для ее колоний. В этой торговле душами собрал огромное состояние, простиравшееся до 56 миллионов талеров. Часть этих миллионов перешла каким-то образом Майеру-Амшелю, и они легли в основание дома. На сколько правды в этой легенде, Бог знает. Во всяком случае процветание дома началось со времени наполеоновских войн. Умирая 13-го сентября 1812 г., Майер-Амшель оставил пять сыновей и пять дочерей и завещал им всегда держаться закона Моисея, оставаться в тесной дружбе между собою и ничего не предпринимать без совета своей матери.

– Исполняйте эти три правила, – сказал он им, – и вы станете богатыми среди самых богатых, и мир будет принадлежать вам.

Со своей стороны, Натан Майер (1777–1836), сын его, основавший дом свой в Лондоне и придавший ему большое значение, оставил духовное завещание, по которому отписал большое приданое своим дочерям, но запретил им справляться о своем состоянии и выходить замуж без согласия матери и братьев. Даже во Франции гражданский кодекс не вмешивается в судьбы этих богатых еврейских семейств. Они следуют своему собственному закону о наследстве, как королевские фамилии, и браки заключаются почти всегда в среде потомков пяти братьев, увеличивая централизацию и крепость различных ветвей фамилии Ротшильдов. Каждое поколение Ротшильдов оставляло такое значительное число детей, что всегда

была возможность выбрать между ними детей, способных вести большое дело. Таким образом еврейский завет иметь побольше детей пригодился и Ротшильдам.

До Ротшильдов многие богатые еврейские фамилии обращались в христианство, стремились сделать своих дочерей герцогинями, а сыновей – вельможами, и богатства их быстро распускались среди христианского населения, любящего жизнь не ради денег и денежного имущества. Ротшильды остались строгими приверженцами еврейского правоверия, и их примеру последовала богатая еврейская банкирская аристократия и с того времени не чувствует необходимости распускаться в высших классах христианского населения. Союзы их с христианами очень редки, и то преимущественно в Австро-Венгрии, да и там не на пользу христианства, а во вред ему, ибо евреи поглощают плохих христиан, заключивших с ними союзы. Амшель Майер оказался прекрасным пророком – мир, в котором деньги играют такую огромную роль, действительно начинает принадлежать евреям. А так как евреи – космополиты и так как космополитизм проповедуется самыми крайними партиями, напр. анархистами, то евреи и там явятся на своем месте.

Нынешний глава английского дома сэр Натан Ротшильд, сын Лионеля (1808–1879), прославившегося среди евреев теми усилиями, которые он употребил для гражданской и политической эмансипации евреев в Англии, родился в 1840 году. Он наследовал баронское достоинство, данное дяде его, Антонию, в 1847 году. В 1888 г. барон Ротшильд возведен в звание пэра. Племянница его Анна (1851–1890) в 1878 г. вышла замуж за графа Розбери. Таким образом, инициатор нашего $3^1/_2$% займа связан узами родства с первым министром Англии и, конечно, подпишется на русский заем…

Но вот в чем вопрос. «Правител. вестник» говорит, что условия этого займа по выгодности «небывалые». Мне кажется, это не точно. 3% заем, заключенный г. Вышнеградским без участия Ротшильдов и встретивший с их стороны ярое противодействие, был так же выгоден нам, как и этот $3^1/_2$% – стоит только подсчитать. Но если Ротшильды противодействовали

против 3% займа, то что приманило их к этому $3^1/_2$% займу? Неужели сэр Натан Ротшильд сделал это «в знак симпатии к России», как говорит «Гражданин»? Как бы то ни было, заем наверное с избытком покроется в одной стороне, и покроется просто потому, что заем $3^1/_2$% – выгодное помещение денег, а Россия была всегда добросовестным и исправным должником.

Величие Дрейфуса

Знаете ли, что долгое ожидание евреями мессии наконец исполнилось? Этот мессия не кто иной, как Альфред Дрейфус, находящийся в настоящее время на Чертовом острове. Я не знаю, какие признаки того мессии, которого евреи ожидают, но это не так важно. Если что не сойдется с предвещаниями и ожиданиями, то дополнит легенда, работающая уж так плодотворно в наши дни, благодаря еврейским капиталам и их влиянию. Два месяца агитаций, доносов, покупки и подделки писем и документов, запросов в палате и сенате, открытия любовных историй не прошли даром. Легенда о невиновности Дрейфуса образовалась и поколебала уже многие простодушные сердца. Теперь уже это не предатель, не изменник, а мученик. Жертва судебной ошибки – это еще очень мало. Это, может быть, добровольный страдалец. Да, добровольный. Он не защищался, не хотел защищаться. Он молча принял на себя вину, не для того чтобы искупить грехи Израиля – Израиль не нуждается ни в каком искуплении, ибо всегда был и всегда останется первым народом, а для того чтобы доказать своим примером величие своего народа и необыкновенное превосходство еврейского характера перед характером других наций. Он перед целым миром является в ореоле мученика на Чертовом острове. Имя его известно всему миру, и, как только явится он оправданным, перед ним преклонятся не только все евреи, но и добрейшие христиане. Что тогда будет значить антисемитизм с его враждою, с его односторонностью? Ничто. Он разобьется в прах о твердое мученичество Дрейфуса. Сам

Ротшильд со своими миллиардами побледнеет перед ним, и вот разве тут будет некоторая оппозиция призванию Дрейфуса мессией. Может восстать зависть евреев к еврею, и Ротшильд станет антисемитом, к величайшему удивлению Дрюмона с его «Parole Libre». Величие Дрейфуса, по-моему, несомненно даже в том случае, если он останется на Чертовом острове. Легенда уже произвела его в мученики, и в Амстердаме ставится драма «Мученик Чертова острова», где Дрейфус играет главную роль невинного, оклеветанного, великого, идеального человека. Драма, о которой уже Э. Золя думал и объявил о ней репортерам, предвосхищена голландскими евреями и должна вызвать море сочувственных слез дрейфусарам и проклятий христианству. Кто доживал до такой чести, такой славы, да еще в заключении!? Я такого примера не помню. И для всего этого стоило только этому еврею сделаться офицером генерального французского штаба и продать или выдать немцам какие-то бумаги. Сделай это человек другой нации, сделай это француз, его или расстреляли бы, или отправили бы на Чертов остров и забыли бы немедленно. Но евреи молодцы. Они знают толк в деньгах, они крепки своей солидарностью, своей ловкостью, они умеют пролезть всюду, куда христианину и в голову не придет пролезать, и если они хорошо и твердо захотят, то Дрейфус действительно сделается не мессией, конечно, но, может быть, начальником французского генерального штаба…

Какая это страшная сила – евреи! Что значили тысячи благородных жертв террора! А между ними, несомненно, были люди высокого благородства, несомненные мученики веры, чести и верности. А тут один еврей – прав ли он или не прав, не в этом вопрос – поднимает на ноги всю страну. За него министры, сенаторы, профессора, знаменитый романист. Все кричат, что обвинен невинный, и указывают на виновного. К счастью, во Франции есть общественное мнение, и вот огромное большинство общества и даже чувствительная молодежь против него. Напрасно Золя пишет воззвание к этой молодежи, приглашая ее не протестовать против защитников Дрейфуса, против «хрустальной репутации» Шерера Кестнера[1] и дру-

гих столь же благородных людей. Он провозгласил Дрейфуса невинным и пообещал вернуть его в Париж во что бы то ни стало, а молодежь протестует против Золя не в Париже только, но и в провинции. Я бы разделял охотно мнение Э. Золя, если б он приглашал молодежь учиться и не пускаться ни в какие политические манифестации. Но Э. Золя льстит ее горячему, увлекающемуся сердцу, он хвалит ее за манифестации, приглашая протестовать против некоторых явлений политической жизни Франции, не исключает только данный случай. Видя эти протесты, знаменитый романист недоумевает и говорит, что Франция больна предрассудками и что необходимо ее вылечить. Даровитый писатель понять не хочет одного знаменательного явления, он не хочет понять, что дело идет о серьезной борьбе между христианством и еврейством, между христианской этикой и еврейской. Носясь теперь с идеальным аббатом Пьером в двух своих романах («Lourdes» и «Paris»), Э. Золя забыл, что он назвал, в виде уличной клички, именем Jesus Christ одного из самых дрянных и ничтожных лиц своего романа «La terre». Он сделал это, конечно, с тенденциозным расчетом, который не должен бы и входить в замыслы такого художника, каковым он себя считает. Я уж не говорю о том, что этого не должен бы делать даже самый плохой христианин, уважающий чужие верования. У народов бывают времена глубокого раздумья, и такое время переживает Франция, по моему мнению. Она хочет победы христианства. Инстинкт говорит ей, что это необходимо для поддержания ее славы, как очага цивилизации. Все великодушные идеи, которые она бросала миру и за которые жертвовала всем, за которые лила свою кровь, рождались и вырабатывались французами без участия евреев. Они тут ни при чем. Среди множества великих умов Франции, славою которых полон мир, нет ни одного еврея. В Германии они есть, во Франции нет. Только денежная слава украшает евреев-французов…

Если лавры Вольтера не дают спать Эмилю Золя, то не так следовало бы приняться даже за это дело Дрейфуса. Он начал с того, что объявил, что «предательство» – одно из «новейших»

преступлений и должно быть судимо, как обыкновенные преступления. Но предательство древне, как мир, и им началась христианская история в лице Иуды. Пока идея родины крепко сидит в сердцах людей, предательство останется гнуснейшим преступлением. Думаю, что оно останется таковым и тогда, когда идея родины исчезнет и родиною станет все человечество, ибо и тогда – если люди когда-нибудь доживут до этого – предавать «други своя» будет делом подлым.

Дело Дрейфуса

Сила еврейства подняла всю Францию и держала ее в течение трех месяцев в нервном состоянии. Дело Дрейфуса-Эстергази показывает, каким могуществом обладает плутократия, предводимая еврейством, и чего только не может она сделать, если захочет. Она соберет десять миллионов, чтобы заставить освободить обвиняемого в государственной измене, она соберет сто миллионов, чтобы произвести государственный переворот, революцию. Она подкупит всех, кого можно купить, и не пожалеет никаких сумм, чтобы подкупить неподкупных. Она пролезет всюду, во все щели, во все страны мира. Еврейство как будто нарочно судьба рассеяла по всему миру, чтоб оно могло находить отклик повсюду. Могущественный король его сидит на троне во Французской республике, а вице-короли – в Лондоне, в Вене и Берлине, и все это связано могуществом денег. Французская революция сто лет тому назад признала гражданство евреев, и во сто лет их сила и власть так выросли во Франции, что дерзают бороться с государством. По приказанию из Парижа агитация ведется во всех странах. Одна из самых распространенных газет в Америке, «World», издаваемая евреем, печатает, что Дрейфус был перевезен на Чертов остров в железной клетке, как зверь, и в железной клетке содержится там. Она стыдит французов тем, что Дрейфуса они держат якобы в железной клетке, тогда как великодушные англичане держали Наполеона I на острове св. Елены с некоторым

почетом, со свитой, экипажами и проч. Наполеон I и Дрейфус! Вы можете себе представить по этому сравнению всю беззаветную наглость американского журналиста! Средневековые ужасы выдумываются, чтобы возбудить сочувствие к осужденному. Отыскиваются и покупаются интимнейшие письма, сочиняются невероятные клеветы, подделываются с необыкновенным искусством документы и письма, поднимаются на ноги добровольные следователи, сыщики, находятся ходы в тайники военного Министерства, в секретный отдел Министерства внутренних дел, в палату, сенат, к бывшим министрам, к влиятельным писателям, к газетам, к газетам прежде всего. Образуется могущественный синдикат с центральной кассой, в которую плывут деньги от еврейства всего мира, добровольные пожертвования и принудительный налог. Это целый поход, приготовлявшийся целых три года в глубокой тайне, это заговор, страшный по солидарности своих членов, по их богатству и по влиятельному их общественному положению. Лозунг этого заговора самый симпатичный, самый гуманный: осужден невинный, и осужден за страшное дело – государственную измену. Вместо того чтобы собрать данные в пользу невинно осужденного и представить их как доказательство несчастной судебной ошибки военного суда, бросается обвинение в измене на другого офицера, Эстергази. Измены никто не отрицает. В измене убеждены почему-то все. Но изменил не еврей, а христианин. Вот что важно для еврейской плутократии и ее лакеев – обвинить христианина и оправдать еврея. И употребляется столько энергии, ловкости, беззастенчивости, мучительных преследований за добычей, за куском мяса в теле христианина, что просто становишься в тупик перед этой силой Израиля. Она односторонняя, эта сила, но поистине велика…

Достигают того, что он предается военному суду. Сам Шерер-Кестнер сказал в суде, что у него «никаких доказательств нет», но есть только «убеждение». Суд оправдывает Эстергази единогласно. Это удар еврейству, страшный удар, но оно не смущается. Существование синдиката доказано, помимо всего прочего, и на этом суд фразой Матвея Дрейфуса, который

отвечал на вопрос, откуда берутся деньги для распространения, при помощи печати, всевозможных клевет против Эстергази, – «это не ваше дело». Уверение Эмиля Золя, что если есть синдикат, то это синдикат честных и убежденных людей, падает само собою перед той наглостью, которую обнаруживало еврейство с каждым днем в этом деле. Эстергази оправдан, но агитации не конец. Французский король, которому Дрейфус приходится родственником, не сказал еще: аминь. Еще восстает доброволец, восстает самолюбие знаменитого писателя, задетое за живое, больно, чрезвычайно больно укушенное неуспехом. Он считал себя такою силою, таким любимцем Франции, что не предполагал и самой возможности неуспеха. Он прямо восклицал в «Figaro», что Дрейфус будет возвращен и оправдан. Он ручался в этом. Когда «Figaro» стали сожигать публично и массами отказываться от подписки, он испугался и перестал помещать статьи Эмиля Золя. Эмиль Золя начал издавать брошюры. Он обратился с брошюрой «К молодежи», где, нальстив ей с три короба, убеждал в правоте своего дела риторической шумихой фраз, в которой не было одушевления. На это послание отозвалось только несколько бельгийских студентов, и Э. Золя поспешил напечатать это, точно бельгийские студенты заинтересованы в деле шпионства, предающего Францию ее врагам. Но он успехом и у иностранной молодежи был утешен.

Дня за три до собрания военного суда он выпустил другую брошюру, «К Франции», столь же риторическую и фразистую и столь же лишенную всякого одушевления. Газеты подняли на смех эти брошюры. Называли его венецианцем, «верным подданным итальянского короля», припоминали, что во время нашествия немцев на Францию, в то время как Альфонс Додэ, Кларета и др. писатели служили в рядах войска, он, Э. Золя, спокойно жил в Бордо. Серьезный «Journal des Débats» сказал несколько остроумных слов о брошюре «К Франции», припоминая, что В. Гюго в последние годы своей жизни так возомнил о себе, что постоянно обращался к королям, императорам, к вселенной, к небу, к Богу, к океану даже, обращался как власть имеющий. Но в обращениях В. Гюго всегда было несколько

счастливых стихов, или сильных, или политических. В обращениях Э. Золя ничего, кроме метафор и деланного пафоса. Все эти насмешки, свистки, уличные скандалы и в особенности оправдания Эстергази уязвили знаменитого писателя так, что он разразился бранным обвинением, о котором говорит сегодняшняя телеграмма. «Пусть попробуют предать меня суду присяжных!» – хвастливо восклицает он в своем открытом письме к президенту Фору, обвиняя министра, генеральный штаб и требуя суда присяжных для Эстергази. Фор, конечно, останется глух к этому воззванию, как и Франция, думающая свою думу совсем не в духе Э. Золя. Французское правительство хорошо бы сделало, если б, помня заслуги писателя, простило диффаматору, который требует невозможного – раскрытия военной тайны. Если бы, паче всякого чаяния, суд присяжных был назначен и оправдал бы Эстергази, Эмилю Золя оставалось бы только обратиться к императору Вильгельму II с просьбой начать войну с Францией, чтоб возвратить Дрейфуса в Париж и водворить его во французский генеральный штаб…

Однако надо признаться, что он поступил умно, написав бранное послание. В самом деле, ему оставалось одно из двух: или ехать самому на Чертов остров и привезти с собой Дрейфуса – он обещал его возвратить непременно, – или сделать большой скандал. Ехать на Чертов остров было бы очень опасно, и он прибег к скандалу, как к средству шумному и весьма безопасному…

Во всяком случае суд сделал хорошее дело: еврейская плутократия и союзная ей французская поставлены на свое место. Это было необходимо сделать, ибо горе было бы государству, если б оно стало идти по указке этой «нечистой силы».

О «Контрабандистах»

Шесть лет я распоряжаюсь репертуаром Литературно-артистического кружка и Литературно-художественного общества. Ни одна пьеса не попадала на сцену иначе как по мое-

му выбору или с моего согласия. «Контрабандисты» явились на сцене Малого театра исключительно по моему желанию.

Почему я поставил эту пьесу гг. Крылова и Литвина?[1] Потому, что она местами написана талантливо, верно изображает еврейский быт, совершенно нетронутый на нашей сцене, и безусловно общественная пьеса. Еще при первом знакомстве с этой пьесой, года два назад, мне не нравилось только изображение русских, которые чересчур добродетельны и говорят прописную мораль о могуществе любви к людям, точно русские люди в самом деле руководятся только любовью к ближним, а евреи только враждою. Я прямо выражал это авторам пьесы, которая выиграла бы от беспристрастия. Но с этим недостатком легко помириться, так как вся наша литература эпическая и драматическая преисполнена изображением отрицательных актеров и почти свирепыми картинами русской жизни. Нет ни одного сословия, которое могло бы похвалиться тем, что оно дало нашей литературе образцы гражданских и семейных добродетелей. Я не нахожу ни единой причины для того, чтобы еврейство оставалось чем-то исключительным и запрещенным для сцены. Напротив, я нахожу причины ввести в те же рамки все народности, населяющие Русскую землю. Ни одна народность не имеет исключительных прав на привилегию в этой области литературы и сцены и не должна иметь. Если мы смеемся над русскими или негодуем против русских на сцене, то нет никаких доводов в пользу исключения армян, татар, грузин, финнов, евреев и проч. Не протестуют же поляки, что в наших исторических пьесах их не щадят. Если мне укажут на то, что евреи не равноправны, что они принуждены жить в черте оседлости, то это не причина. Литература должна быть шире, чем политика, и смотреть дальше; политика может быть не свободна, литература должна быть свободна. Свободно относясь к русской действительности, изображая ее отрицательные стороны иногда со свирепой ненавистью, литература наша способствовала только к развитию этой действительности, к повышению ее уровня и к созданию благородных характеров. Я знаю, что еврейство не хочет такого отношения к своему на-

роду не только у нас, но и в Европе, где оно пользуется всеми гражданскими правами. На австрийских сценах и отчасти германских даже великое создание Шекспира «Венецианский купец» избегается очень тщательно, благодаря тому что отчасти сцена и в значительной части печать находятся в руках евреев. Мало этого, евреи прямо бойкотировали «Шейлока» Шекспира общей своей солидарностью даже тогда, когда были бессильны, в прошлом столетии. Доказательство этому находится у Карамзина, в его «Письмах русского путешественника». В год французской революции, 1789, он писал следующее:

«Франкфурт, 1 июля 31-го.

Здешние актеры недавно представляли Шекспирову драму, *Венецианского купца*. На другой день франкфуртские жиды прислали сказать директору комедии, что ни один из них не будет ходить в театр, если сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора и отвечал, что она будет выключена из списка пьес, игранных на Франкфуртском театре».

Богом избранный народ должен оставаться неприкосновенным якобы потому, что изображение отрицательных сторон еврейства возбуждает к нему религиозную и племенную ненависть. А я думаю, что это предрассудок, созданный еврейскими писателями и недальновидными либералами, предрассудок особенно у нас, ибо хотя евреи рассеяны по всему миру, но *народ еврейский живет только у нас, в России.* И сколько его миллионов, скажет нам когда-нибудь перепись 1897 года. Этот народ *мы обязаны знать, как свой собственный.* И неужели еврейство так порочно, что изображение его дурных сторон должно вести к усилению ненависти к ним? Ведь в еврейском народе, как и во всяком другом, есть и добрые, и дурные люди. Изображение дурных людей непременно поведет к изображению добрых. И если говорить о равноправности всех народностей, населяющих нашу Империю, а в данном случае о равноправности евреев, то прежде всего *надо установить эту равноправность в литературе и на сцене.* Надо сделать привычку видеть на сцене еврея не в том виде, как он обыкновен-

но является, – в виде горохового шута, коверкающего русский язык, в виде дрянного труса и шпиона, возбуждающего смех и презрение толпы. Пусть еврей говорит правильным русским языком или только с едва заметным акцентом. Надо видеть еврея в его домашней обстановке, с его горем и радостями, с его пороками и добродетелями, с его кагалом, борьба с которым необходима с общей культурной точки зрения. Пусть русская публика ознакомится с этим. Я не видел и не вижу в пьесе гг. Литвина и Крылова какой-нибудь особенной тенденциозности. В ней есть и дурные, и хорошие люди. Дурных больше хороших, но ведь говорит же Собакевич о всем губернском городе, что там «все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек – прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Дурные стороны всегда виднее писателю. В пьесе есть прекрасная девушка, напоминающая своим положением Уриэля Акосту, и старик-еврей, праведник, лицо несколько идеализированное и потому не столь живое, как напр. Моше. Сквозь пьесу проходит идея об эксплуатации бедных евреев богатыми – этот деспотизм, который поддерживается кагалом, стирающим индивидуальность или направляющим ее односторонне, в сторону старых преданий.

Вот соображения, которые заставили меня поставить пьесу. Я уж не говорю о формальной стороне дела, пьеса разрешена двумя цензурами, одною для печати, другою – для сцены. Кроме того, пьеса одобрена литературно-театральным комитетом и одобрение подписано: покойным Д. В. Григоровичем, А. А. Потехиным, известным драматургом, И. И. Вейнбергом и И. А. Шляпкиным. Я полагаю, что эти имена достаточно авторитетны даже с либеральной точки зрения, не говоря о литературной. Один из очень гуманных и образованных людей, И. А. Всеволожский, как директор Императорских театров, хотел ее поставить на сцене. Я видел пьесу в зале Павловой, где она не возбудила ни малейшего протеста и смотрелась с любопытством и вниманием.

Я привык уважать суд публики и подчиняться ему гораздо больше, чем приговорам печати. Публика в своей массе

всегда беспристрастнее печати, а в отдельных группах и просвещена, и прекрасно понимает сценическое искусство. Публика имела право ошикать пьесу, не ходить на ее представления: это очень достаточное право, и дальше этого желать нечего. Признаюсь, меня удивлял во все это время тот говор и те опасения, которые возбуждала пьеса. Я наслушался вещей самых невероятных. Пущен был даже слух, что в пьесе дело идет о ритуальном убийстве, и многие верили даже этой нелепости.

Публика в течение целого месяца осаждала театр записями на пьесу. Мне не хотелось ставить пьесу прежде, чем не убедиться, как к ней относится обыкновенная публика, никем не предубежденная, пришедшая в театр слушать совсем другую пьесу, а не «Контрабандистов». Продолжительный говор о пьесе не мог не подействовать на меня и не возбудить сомнений. Вследствие этого, объявив пьесу на 6-е января, я решился дать ее прежде в самых обыкновенных условиях. Но этих условий, вследствие записей, которые необходимо было удовлетворить хотя частью, не существовало. Эти условия можно было сделать, только дав пьесу нечаянно. Скрыв от всех свое намерение, даже от директоров, моих товарищей, и от актеров, чтоб в театр не попали мои или их знакомые, чтоб не было ни малейшего подбора публики, 1-го января я приехал в театр в 7 час. и послал за некоторыми актерами, которые играли в пьесе. В половине 8-го часа, когда большая часть публики уже собралась, я объявил актерам, что вместо назначенной пьесы г. Сухова-Кобылина «Расплюевские веселые дни» пойдут «Контрабандисты». Следовало загримироваться актерам, поставить декорации и пр. Шел уже 9-й час, и публика (зал был полный, за исключением первого ряда кресел) выражала нетерпение, что спектакль не начинается. Я просил режиссера выйти перед занавес и объявить публике, что по случаю болезни актера, участвующего в «Расплюевских веселых днях», будут даны «Контрабандисты». Публика встретила это объявление шумной и продолжительной овацией. Когда она окончилась, режиссер прибавил, что лица, не желающие слушать пьесу, могут взять из кассы обратно свои

деньги. Снова рукоплескания. Взяли назад свои деньги лишь несколько человек. Мы начали пьесу после половины 9-го. Она прошла с большим успехом и без малейшего протеста. Публика кое-где смеялась, где было смешно, и проникалась жалостью в драматических местах – жалостью не только к хорошим евреям, но и к дурным, поставленным историческим процессом в ненормальные условия. Спектакль был одним из самых удачных. Я проверил свое впечатление от пьесы и убедился в совершенно добродушном и искреннем настроении публики, чрезвычайно внимательно выслушавшей пьесу. Так как пьеса все еще была не тверда, то на 5-е января я назначил генеральную репетицию пьесы при членах Литературно-художественного общества и их гостях, собравшихся в большом числе на музыкальный вечер. И опять то же впечатление, тот же успех и то же отсутствие протестов.

Не говоря о своем праве ставить пьесу, разрешенную строгой театральной цензурой и одобренную литературно-театральным комитетом для Императорских театров, я имею право сказать, после моих опытов, что в данном случае я подчиняюсь той публике, которой я привык служить и мнением которой всегда дорожил. Подчиняться какой-нибудь особенной публике, которая не читает и не слушает, а только запрещает, у меня нет ни желаний, ни оснований. Наша публика достаточно созрела, чтоб сметь свое суждение иметь и чтоб иметь право на уважение своего суда. И она далека от политиканства и даже от того «политического» антисемитизма, который существует в Европе. Мы те же русские, предки которых тысячелетие уживались с чуждыми нам народностями, и мы никогда их не ненавидели, а напротив – тратили на них свои силы.

Во избежание недоразумений я должен сказать еще, что на предварительной репетиции пьесы, в конце декабря, я сделал изменения в пьесе, а именно: не велел выносить на сцену тело мертвого стражника, так как не могу поверить, чтобы солдаты могли внести тело убитого в еврейский или какой другой дом без всякой в том надобности, и позволил себе изменить конец: отец не убивает дочь; чувство родительской любви берет

верх над всеми другими страстями. Это изменение может быть неудачно в драматическом смысле, но это убийство мне не нравилось еще два года тому назад, когда я впервые познакомился с пьесой. История отца и дочери мне живо напомнила наши шестидесятые годы, когда девушки бежали из дома родителей, как говорилось тогда, к свету, и если у русских отцов дело обходилось без убийства, то зачем допускать его на сцене в еврейской семье? Правда, Шейлок убил бы свою Джессику, если бы она попалась ему после бегства, но это было так давно…

Что такое антисемитизм

Курьезнее всего тот эффект о тюренченском еврейском случае, по поводу которого говорит сегодня у нас автор «Заметок»[1]. Евреи ахнули от изумления сначала, потом от удовольствия. Требования на этот номер из Западного края и из других мест России, где довольно евреев, были поразительны. Мы не имели возможности их удовлетворить. За границей такой же эффект, даже в Париже. Но среди русской, еврейской и еврействующей печати началась брань против нас. Эта печать точно испугалась. Как так? Кого же мы теперь бранить будем, над кем же показывать свой либерализм, на кого клеветать?

Для нас все это было неожиданно и приятно. Все это показывало, что нашим мнением дорожат, наше беспристрастие оценивают, и мы хотели бы, чтобы евреи ценили нашу независимость.

Будем рассуждать.

Автор «Заметок» напрасно оговаривается относительно упомянутого случая под Тюренченом. Передается факт очень симпатичный, и «Новое время» не отказалось бы его напечатать, кто бы его ни доставил. На войне забываются все счеты, все чувствуют близость между собою перед общей угрозой смерти, и стоянье друг за друга тут не есть привилегия какой-нибудь народности. Ничего невероятного в этом рассказе я не вижу, проверить его есть полная возможность, и за напечата-

ние его газета не подлежит ни порицанию, ни благодарности. Я ничего не имею возразить А. А. Ст-ну и с «христианской точки зрения», но эта точка зрения ровно ничего не может сделать для евреев. Если б Евангелие с его высокою нравственностью лежало в основе политики и общежития, то мир не походил бы на то, что он есть, а мы живем в *этом* мире. Победить любовью и Христос, и его апостолы могли только небольшую часть еврейства и язычества, да и в ней немного было избранных. В современном же христианском человечестве, конечно, много язычества, но много и еврейства, того еврейства, от которого отвернулся Христос, и поэтому надо говорить, что современное христианское общество есть не языческое только, но и еврейское, и языческое и еврейское, далекое от христианства в его евангельском учении. Уж по этому самому, отмечая языческое, как несогласное с христианским, необходимо отмечать и еврейское, как еще более несогласное с христианским. Если язычники-христиане должны стараться побеждать евреев любовью, то евреи должны им отвечать тем же, т.е. христианскою любовью. Не говоря о том, что этой любви ни у тех, ни у других недостаточно, замечу, что если «закон», основанный не столько на Ветхом Завете, сколько на Талмуде, евреев к этой любви и не обязывает, то христианам приходится жертвовать собою, повинуясь своему закону Нового Завета, т.е. сделаться просто еврейскими рабами, подчиняясь их необыкновенной практичности. Апостол Павел упрекал евреев за то, что они, будучи евреями, живут по-язычески. А современные евреи, конечно, более язычники, чем современники Павла, и больше закаленные практики, чем тогда, когда у них было еще реальное отечество и политическая жизнь, подавлявшие в значительной степени *личный* эгоизм.

Христианская религия, внося в мир идеализм, очень непрактическая религия, тогда как еврейская в высшей степени практическая. Христианская только одной стороной, Ветхим Заветом, примыкает к еврейской, а еврейская, опираясь только на Ветхий Завет и совершенно отрицая Новый Завет, заключает твердый союз с Талмудом и является могуществен-

ною, необыкновенно логическою и побеждающею силою в практической жизни.

Дело совсем не в христианской точке зрения на евреев, не в инквизиции, которой у нас не было, а в том, что называется *правом.* Когда я говорил однажды о евреях с Л. Н. Толстым, то он стоял именно на правовом порядке и одинаково осуждал как американцев за то, что они не пускают к себе китайцев, ограждая своих граждан от конкуренции с дешевыми китайскими рабочими, так и русских за черту оседлости. Я возражал, что если Америка боится китайцев, то России и подавно можно бояться конкуренции евреев с русскими. Что евреи одолеют черту оседлости, я в этом ни минуты не сомневаюсь. Мне всегда было жаль Малороссию, которая страдает от этой чести заключаться в черте оседлости. Но я желал бы, чтобы евреи одолели черту оседлости не ранее того, когда русский народ получит все права и все возможности свободно работать и свободно бороться. Пока он находится в нынешнем состоянии, нельзя к другим тягостям еще сажать ему на плечи еврея, который сильнее его. Вот моя принципиальная точка зрения. Она правовая, а не христианская, ибо христианство обязывает нас делиться с неимущими своим избытком, а этого никто из христиан не делает. У нас десятки миллионов своего нищенского населения, а что этим нищим сделало наше христианство? И тут вопрос в праве, в справедливом законе, в хорошем распределении налогов, а не в христианских чувствах, которые делают свое дело медленно.

Обратимся к печати. Что такое *антисемитизм?* Вот это что такое.

Если я ругаю общество за его слабости, за его низости, холопство, лень и проч., то я ругаю только *христианское* общество.

Если я скажу, что *еврейское* общество исполнено обмана, лжи и перечислю то, например, что говорили о нем пророки, – это *антисемитизм,* т.е. ненавистничество.

Если я обругаю адвокатуру – это в порядке вещей, это – мое право журналиста, это – право всякого сатирика и писателя.

Но если я скажу, что адвокаты-евреи стремятся образовать из себя крепкую ассоциацию, чтобы господствовать и устранять от дела адвокатов-русских, или просто я нарисую еврейских адвокатов с отрицательной стороны, как и русских, то это – *антисемитизм,* т.е. ненавистничество.

Я могу говорить о подрядчиках, что они – воры, надувалы, эксплуататоры, что они заботятся только о куртаже, что для них война – нажива, это хорошо, ибо есть действительно такие подрядчики.

Но если я скажу, что еврейские поставщики на армию грабили ее и кормили всякой тухлятиной, – это *антисемитизм,* это – преступление против альтруизма, культуры и проч., хотя, несомненно, есть такие еврейские подрядчики.

Кулаки – вредные бестии. О, да, понятно, конечно. Кулаки-евреи – вредные бестии. Смотрите, антисемит, консерватор, поклонник деспотизма и проч.

И так это всюду и всегда. «Новое время» прослыло антисемитским после войны 1877–78 гг., когда я, побывав на войне, заговорил о подвигах достопамятных еврейских поставщиков армии, Грегера, Горвица и комп. Если бы это были Сидоров, Петров и комп., то евреи были бы мной довольны, ибо русские имена не бросают на них тени, и этих Петровых и Сидоровых они стали бы ругать вместе с русскими.

И так *не в России* только, где евреи стеснены, *а всюду, по всей Европе, во всех странах, где евреи пользуются всею свободой.* Печать – великая сила. Евреи это знают и забирают ее в свои руки. Когда она вся будет у них – это будет не общественная сила вообще, а общественно-еврейская сила, еврейский контроль над христианами, только над христианами.

Она может отрицать все существующее, весь порядок вещей, и это будет отрицание только христианского порядка вещей. Все пороки, все слабости, несправедливости – все это результат христианского порядка вещей. О евреях ни слова. Они только судьи. Их как будто и нет, но они царствуют и судят. Они вне контроля печати. Хозяева-евреи ни слова не позволяют сказать худого о евреях, которые распоряжаются биржей,

капиталом и, будучи в меньшинстве, господствуют над большинством. Весь ужас положения нееврейской печати именно в этом: *еврейская печать создает господство евреев в христианском обществе и оставляет действия евреев без контроля печати.* И притом это господство не евреев вообще, не массы еврейской, которая так же нища, как и христианская, а господство евреев сильных и богатых.

Что я говорю правду, ни один умный и просвещенный еврей, не лишенный идеализма и желающий честного примирения своего племени с другими, этого отрицать не станет. Доказательство – появление на французских сценах двух пьес, где участвуют евреи, разумеется, богачи. Авторы этих пьес, Гинон и Донне, с замечательным беспристрастием представили французское высшее общество и еврейское. Донне даже изобразил идеальнейшего еврея, выше которого нет ни одного из действующих лиц. Все свое богатство он отдал на пропаганду света и правды и о дурных евреях говорит, что с ними он сам «чувствует себя антисемитом». Обе пьесы имели успех, но прошли со скандалом, и печать накинулась на обоих авторов с пеной у рта и ненавистью.

Как сметь свое суждение иметь о евреях! О них или молчать, или хвалить. Они позволяют только хвалить себя. А это – свойство тирании. Заметьте, во Франции всего сто тысяч евреев на тридцать восемь миллионов французов, т.е. двадцать восемь евреев приходится на десять тысяч французов. У нас четыреста пятьдесят евреев на каждые десять тысяч прочего населения. Если в самой культурной стране мира сто тысяч человек-евреев овладевают печатью, овладевают целой третью всей недвижимой собственности Франции и направляют ее политику, то как же не бояться их в стране некультурной, бедной, малодеятельной, где евреев семь миллионов? Да их власть может сделаться прямо могуществом.

И опять мне скажут: это – *антисемитизм!* Нет, господа, я только рассуждаю, а потому спрашиваю:

Может быть, это «могущество» поможет разбудить нас от полусна, возбудит конкуренцию в торговле, промышленности,

скрепит разъединенные силы интеллигенции, выдвинет новые дарования в *общем* отечестве и более сильную деятельность для общего отечества, где не будет ни еллина, ни иудея, вольет новые и свежие ключи в застоявшуюся реку?

Не знаю. Но могу спросить: почему же это не так в Европе? Почему роман немецкого писателя Поленца «Крестьянин»[2], к которому Л. Н. Толстой написал прекрасное предисловие, изображает борьбу крестьянина с евреем, кончающуюся гибелью всего крестьянского семейства? Поленц – несомненный художник и, как художник, рисует *жизнь,* а не *исключения* из жизни. В самом деле, если интеллигенция может работать сообща и стремится к общим целям, то что принесет с собой в народ еврейская эксплуатация вообще?

Но, может быть, в Европе еще опыт мал, еще недостаточно прошло времени для слияния двух племен и родственных верований, для уничтожения глухой борьбы и взаимных счетов? Может быть, еврейство однороднее, логичнее и практичнее, потому что христианские идеи остались вне его, не сокрушали его старых традиций, его единобожия и старой морали? Поэтому оно только крепло и крепло, тогда как поэтическое язычество, арийцы, обратились в христианство и вынесли тяжелую историю религиозных, династических и всяких других раздоров, войн, вражды, всего того, что с христианством совсем не вязалось и что христианство обессиливало в такой мере, что оно не в силах бороться с еврейством правильно?

Я не умею разрешить эти вопросы, и для меня они остаются тревожными вопросами. Но я желал бы не победы евреев над русским народом, а мирной и просвещенной победы русского народа над ними. Для этого я желал бы как можно больше школ, как можно больше просвещения и тех учреждений и способов, которые поднимают дух, обновляют человека, удваивают его силы, дают ему радостные настроения в работе, делают его добрее, сильнее и великодушнее. Что эти превосходные качества общежития находятся в русском народе, доказывается и тем стремлением в Россию, которое так сильно среди евреев. Если бы не было какого-нибудь необыкновен-

ного магнита, в достоинствах он или в слабостях славянского племени, кто бы заставил евреев идти постоянно в страну, где их угнетают? Иначе ведь придется допустить, что идут в нее худшие евреи, отбросы, а все лучшее, более образованное, развитое и талантливое остается в Европе...

Сложное, страшно сложное это дело. Мы его не разрешаем, но мы постоянно относились к нему искренно, отстаивая интересы своего народа, только что еще начинающего жить свободно. Пусть он вздохнет полной великодушной грудью и братских чувств у него хватит на весь мир.

«Мы требуем!»

«Мы требуем!» – говорят евреи, обращаясь к С. Ю. Витте, как председателю Комитета министров. Не просят, а требуют равноправности, как уплаты по векселю, как Шейлок требовал куска мяса христианина.

Это не мое выражение, а лондонского корреспондента «Новостей». «Шейлок требует своего фунта мяса». Превосходно. Где Белларио, знаменитый юрист? Где Порция, очаровательная, умная Порция, которая явилась в адвокатском костюме и так блистательно защищала бедного Антонио, венецианского христианина? Их нет. Белларио нет. А Порции занимаются женской «платформой». Это чудесно. Пусть смеется над русскою женщиной кто хочет, я не могу. Я в ней всегда видел что-то особенное, яркую впечатлительность и вместе с тем большой разум. Они не создадут никогда той «платформы», на которой стояла гильотина, но и не создадут чего-нибудь узкого и пошлого. В их «платформе» могут быть наивности, невозможности, но никогда – пошлости. Я не думаю, что между ними много аристофановской Лизистраты, которая прибегла к героическому средству, чтобы заставить мужей прекратить войну, но они разумны, как Лизистрата, преданы, как Антигона, любвеобильны, как Юлия, и что-то в них есть от Жанны д'Арк. Но роли Порции они не возьмут на себя в наше время,

когда резать мясо из живого тела никто не явится перед судом. Предполагаю, что С. Ю. Витте говорит гг. евреям на их требование равноправности так:

– Да, господа, ведь сто миллионов русского народа не имеют равноправности. Давно ли этот народ был рабом? Да и теперь что он такое? Он, в сущности, имеет такие же права, как вы. Он оселся на своих местах и живет впроголодь, но он признает все тяготы, он отдавал и отдает государству гораздо больше того, что может; он оставляет для своего пропитания минимум, жалкий минимум. Правда, и вы тоже уселись на своих местах и живете в большинстве тоже впроголодь. Но этот народ сделал всю русскую историю, тогда как вы ее не делали. Сначала надо бы устроить этот русский народ так, чтоб он не жаловался, чтоб он мог нести эти тяготы, не разоряясь, Будьте справедливее. Ведь если теперь снять черту оседлости, это значит дать конституцию «еврейскому народу», как давали ее Польше и Финляндии. Ведь вам больше этого ничего и не надо.

А что бы ему ответили гг. евреи? Они бы ему ответили такой петицией:

– Ваше высокопревосходительство, можно нам быть откровенными с вами? Вы нас не выдадите? Parole d'honneur*?

– Parole d'honneur.

– Хорошо. Мы вам верим. Мы вам сделаем такой сюрприз, что ах, какой сюрприз. Такого сюрприза и оценить нельзя: мы прекратим революцию. У русских вовсе никакой инициативы нет, тогда как у нас ее так много, что ни один народ с нами не сравнится. Куда бы ни пришли, мы сейчас становимся господами! Во Франции нас всего 100 тысяч на 40 милл. французов, а мы и там приобрели такое влияние и такие богатства, что и говорить нечего. Англия хочет запереть перед нами двери. Говорит: довольно! Печать, банки, торговля, комиссионерство, всевозможные сделки, биржа, все это в наших руках. Молодежь тоже в наших руках. Что она, ваша русская молодежь, понимает? Она ничего не понимает. Кто ораторствует на сходках?

* Слово чести (*фр.*).

Мы. Кто умеет сплотить русских и направить их? Мы. Снимите черту оседлости, и забастовки сейчас прекратятся. Учебные заведения будут переполнены молодежью. Не русскою, может быть, но еврейскою непременно. Мы любим просвещение. Мы знаем, что без него даже и еврей – дурачок, а уж о русском что и говорить. Он только и может брать счастьем. А счастья нет – он дурак. Вам теперь деньги на войну нужны. Вы без евреев их не найдете. Деньги все у евреев. Лондонский Ротшильд говорит теперь: «Как можно верить России? Если она заключит мир – революция, если она станет продолжать войну – революция». А лондонский Ротшильд такой же умный, как и парижский. Все Ротшильды умные. Вы знаете, кто создал Будапешт? Думаете – венгры? Куда им? Этот прекраснейший город создали евреи. Без евреев Венгрия бы погибла. Поверьте, и в России будет так же. Мы поднимем ее своею деятельностью так, что через десять лет ее узнать будет нельзя. Пойдите в Гостиный ваш двор. Там с каждым годом все более и более евреев. Никто с ними конкурировать не может. Мы везде имеем кредит, везде нам верят. У нас мальчишка уж думает о том, как бы приобретать, как бы не сидеть на плечах родителей. А у вас дети до 30 лет любят сидеть на папаше и мамаше. Когда папаша и мамаша не имеют денег, только тогда дети начинают думать, дела искать, да и тут дела у них только в канцелярии. Возьмите у них канцелярии, что они будут делать? Ах, как жалко, как жалко нам русских. Русские – хороший народ, очень хороший народ, но ничего не умеют, что теперь надо. Мы заставим их дело делать, мы выучим. Для нас Россия – отечество, и мы ее любим. А без нас ничего не будет. Говорят, мы народ будем эксплуатировать. Мы будем управлять им. А вы управлять не умеете. Мы денег ему дадим, кредит откроем. Вы все говорите только о народном кредите. Сколько лет говорите. Ах, как говорите, как обещаете. А у крестьянина все нет кредита. А мы ему дадим. Это наше дело. Вы еще сто лет будете обещать самый дешевый и самый доступный кредит, а все его не будет. А мы дадим, какой можем, но дадим, и крестьянин будет доволен и будет с нами жить мирно. Мы не обманщики. Мы знаем, чего

кому нужно, когда купить и когда продать. А вы все только думаете. А когда вы думаете, уж об этом думали мы еще при царе Давиде, и хорошо думали, и с тех пор думали все лучше и лучше. Куда вам за нами поспеть? Вам невозможно. Пока русский одевается да спину чешет, а еврей десять дел сделал...

И долго еще говорят они, и долго будут говорить и шуметь, и когда будут равноправны, будут говорить то же самое, ибо они вечно будут считать себя обиженным народом, и когда солнце померкнет и земля начнет умирать, на льдине будет сидеть последний человек, и этот последний человек будет еврей, и он будет жаловаться и укорять Бога за то, что он не отвел ему другой планеты...

Еврейское «землеустройство»

И революцию создали евреи – так, по крайней мере, сами они утверждают, и, мне кажется, не без основания, – и правительство идет за помощью к евреям. Русских людей точно совсем нет, точно у них нет ни образования, ни практических знаний, ни понимания нужд своего народа. На это отвечают: сколько поколений уже русские люди совсем не учатся, а только «добывают свободу». Евреи как-то находят и время для того, чтобы учиться, и время для того, чтобы понукать ленивых русских людей «добывать свободу». Им поэтому честь и место. Это не я говорю, а я еще в начале прошлого года по поводу забастовок университетской молодежи говорил, что недалек тот день, когда русские будут чистить сапоги евреям просто потому, что евреи учатся, а русские находят, что это совсем не нужно. Кажется, это время уже настало.

Но к делу, которое заключается именно в том, что евреи предпочитаются и правительством. Говорят, что проект булыгинской Государственной думы составлял г. Гурлянд, еврей[1], и еврей выступил с самым важным проектом закона – об обязательном отчуждении помещичьей земли в пользу крестьян. Это – г. Кауфман[2].

В Министерстве землеустройства и земледелия он служит, кажется, чиновником особых поручений. Он – еврей некрещеный. Это, может быть, и лучше. Значит, настоящий еврей со всеми достоинствами и недостатками этого племени. Он уже фигурировал на московском Съезде вместе с другим евреем, г. Герценштейном, именно по земельному вопросу. Г. Герценштейн у Полякова познакомился с земельным вопросом, продавая и закладывая помещичьи земли. Его соотечественники из «Революционной России», издававшейся за границей еврейским Бундом*,3, разбирали его весьма строго, ибо они стояли за то, чтоб земли просто отнять, не выдавая помещикам ничего, тогда как г. Герценштейн этого не допускал. Г. Кауфман написал книгу о переселении, которую хвалит А. С. Ермолов, бывший министр земледелия. Земцы, т.е. дворянство, очевидно совершенно бессильны сделать что-нибудь сами. Так это выходит, и их даже не спрашивают. А если не спрашивают, значит, признано, что их и спрашивать нечего. Теперь не времена декабристов и сороковых годов с их реформами, когда *только русские люди* работали и только русские и обруселые немецкие фамилии произносились и в области общественной деятельности, и в области литературы и публицистики. Теперь русские люди оттесняются евреями. Русский человек не так подвижен и, главное, лишен той настойчивости и навязчивости, какими обладает еврей и какие дают ему крылья подняться на верхи. Г. Кауфману приписывают проект наделения крестьян землею, представленный в Совет министров г. Кутлером[4]. И приписывают совершенно справедливо.

Г. Кауфман представлял проект на московском съезде, и г. же Кауфман излагал тот же проект и отстаивал его в собраниях у кадетов, где заседали и ученые, гг. Милюков и Струве, и землевладельцы, гг. Петрункевич, Родичев, князья Петр и Павел Долгорукие, потомки Рюрика, дай Бог ему царство небесное. Г. Кауфман – в трех местах, и в земстве, и

---

* Так свидетельствует г. Hugo Ganz, весьма сочувствующий русской революции, в своей книге, имевшей успех: «Uor der Katastrophe. Ein blick ins Zarenreich». Frankfurt. 1905. – *А. С.*

в партии конституционалистов-демократов, и в Совете министров. На заседаниях партии он заявлял между прочим, что кадеты по многим вопросам будут голосовать вместе с социал-демократами. Я о самом проекте г. Кауфмана говорить не намереваюсь, потому что у нас было о нем сказано человеком, более меня знакомым с этим предметом. Меня заинтересовал этот труд г. Кауфмана, весьма небольшой по объему, именно тою стороною, что он исполнен евреем, а не русским. Я ровно ничего не имею против г. Кауфмана и готов признать за ним все таланты, все усердие, все знания. Но было бы странно, если б синагога пригласила православного священника и поручила бы ему составить проект устройства еврейской общины. Если бы кому-нибудь, русскому или еврею, в голову пришла эта мысль, то раввины были бы сто раз правы, закричав против русского священника. Пусть он знает по-еврейски – есть такие священники, – пусть он изучал еврейский быт и с симпатией относится к бедной части еврейского населения, все равно – против него восстали бы не только раввины, но и все евреи, все до единого, и никто не имел бы разумного основания их осуждать за это. Есть такие национальные, коренные вопросы, по которым должны работать только русские. Землевладение – именно такой вопрос, который бессмысленно поручать еврею. Но наша бюрократическая машина тем и прелестна: не работает целые полвека в пользу крестьян, не только не учит их и не просвещает, но даже тормозит просвещение, и общее и прикладное, но, когда приспичит, сейчас же, не долго думая, составляет проектец и начинает создавать жизнь по своему образу и подобию. Взял за бока чиновника, приказал ему, он взял кусок бумаги, вдунул в него дыхание своей собственной жизни, и дело кончено. Государственный совет прочитает, одобрит или не одобрит – все равно, ибо министр имел возможность, помимо Государственного совета, сделать проект законом. А закон можно вводить пушками, не говоря уже о разорении, трусе и потоке, которые могут придти сами собой.

Если бы понадобилась кантата для открытия даже такого русского учреждения, как Государственная дума, то пусть со-

чинит ее и еврейский композитор. Это будет обидно русскому самолюбию, но еврей может быть хорошим композитором. Художество – всемирное дело. Оно оценивается успехом, критикою и обществом, оно есть творчество свободное и ни для кого не обязательное, но законодательство – совсем другое дело при наших обычаях и государственной практике. Поэтому чтоб еврей мог сочинять законы о землевладении – это бессмыслица, бессмыслица уж потому, что у евреев нет своей земли целые тысячи лет и самая форма землевладения есть форма утонченная, совсем не в нравах еврейства, которое всегда предпочитало собственность движимую. С нею еврей и передвигается, как гражданин вселенной, менее всего заинтересованный в чьей бы то ни было земле. Несмотря на эту отчужденность от земли, от землевладения, несмотря на то что русских чиновников гораздо больше, еврея выносят на самый верх русского законодательства и говорят ему:

– Твори!

И он творит. Он польщен, что он, еврей, может считать себя если не Моисеем в Русской земле, то Иосифом. Подобно Иосифу, он предскажет семь голодных годов и семь тучных и научит, как обогатить Россию и спасти. Очевидно, только еврей и спасет Россию, как еврей же спас Египет и фараона. Если не Совет министров, то г. Кутлер в этом убежден, иначе он не стал бы искать еврея.

Это – прямо презрение к русскому человеку, к землевладельцу и земледельцу.

О Цицероне и русских людях

Все идет превосходно и в правительстве, и в обществе. Даже полемика Союза 17 октября между собою и от себя превосходна. И чем огорчаться? Видь конституционно-демократическая партия – самая естественная из всего естественного. Не могла же у нас существовать конституционно-аристократическая партия за неимением аристократов. Мне кажется сомнительной

даже конституционно-буржуазная партия, ибо слово «буржуа» в русской жизни – слово совершенно бессмысленное, а для обозначения среднего образованного сословия слова еще не изобретено, да, может быть, и самого материала для этой партии еще недостаточно. О консервативной партии и говорить нечего. Ее никогда не было как партии. Дворянство? Да где оно, скажите, пожалуйста? Оно разбилось, как дорогой хрустальный стакан. У нас, видно, все идет от мужика и к мужику возвращается. Мужицкое царство, и в этом наша оригинальность, от которой напрасно было бы бежать. Победоносная партия хорошо назвалась Партией народной свободы и кадетами. Оба названия, ничего особенного не обозначая, очень милы. Что такое народная свобода, никто не знает доподлинно, но звучит это прекрасно, как лозунг, который должен быть звучен и выразителен. Обоим условиям лозунг вполне отвечает. Ничего не обещая, он как бы все обещает. Кадеты, слово, образовавшееся из начальных букв «конституционные демократы», тоже очень хорошее слово. Кадеты – это военная молодежь, это юношество, несущее с собою новую жизнь, свое, новое будущее. И кадетская партия действительно молодая и энергичная.

Не говорите, что заглавие ничего не значит. Оно очень много значит. Даже хорошее заглавие статьи, книги, романа, повести, стихотворения очень ценится авторами и публикой. А заглавие партии должно быть хорошим и симпатичным, и в этом отношении кадеты решительно выделились чрезвычайно счастливо. Ни Союз 17 октября, ни Правовой порядок, ни Союз Русского Народа, ни монархисты и ни одна из прочих партий не может похвалиться своим заглавием. Поставьте над живой и интересной беллетристической книгой заглавие «Сухие туманы», и я посмотрю, когда это публика узнает, что «Сухие туманы» – интересный роман. А названия всех других партий напоминало несколько именно сухие туманы для огромного большинства. Господь знает, что под ними скрывалось. Я, по крайней мере, никак в них разобраться не мог, ибо все они толкались и терлись друга об друга и о чем-то умалчивали, что-то скрывали, чего-то недоговаривали.

– Да вы за кадетов, что ли, стоите?

Нет. Я стараюсь по своему разумению объяснить настоящий день. Кадеты – это станция на железной дороге, проведенной между Конституцией и Революцией. Я не знаю, к чему эта станция ближе, к Конституции или Революции, и гадать не хочу. Но ясно вижу, что весь Петербург присел на кадетскую станцию и три четверти Москвы тут же присела. Перетянет ли Конституция или Революция, я этого не знаю. Но я знаю, что обнаружено много халатности со стороны тех партий, которые садились или около станции Конституция, или на ней самой. Халатность обнаруживается даже в названиях партий.

Меня удивляет, куда девалось слово – «либеральный»? А когда-то это слово было ходячим и, казалось, так многое объединяло. Почему все партии игнорировали это слово? Показалось ли оно слишком старым и изношенным на картине этого освободительного движения, где ярко горели социал-революционеры и социал-демократы. Куда девалось слово «национальный»? Его тоже обегали боязливо прогрессивные партии. Помилуйте, как можно быть националистами? Да все евреи и еврействующие набросились бы на это слово с азартом. У русских прогрессивных партий не может быть этого слова. В России 100 народностей, считая каракалпаков и чукчей. Быть националистом – значит обидеть 99 народностей. Шутка!

Но слово «национальный» мне остается любезным. Я жил с ним и с ним умру. Я пристал бы к единственной партии, национально-демократической, которой нет, но которая могла бы проповедовать все свободы и экономическое устройство народа и не была бы исключительно русской, а, напротив, соединила бы с собою народности культурные, как поляки. И я еще верю, что национальное чувство возродится в просветленном виде, если русский народ не затолкают и не обезличат. А при лени, бездействии и отсутствии культуры это не невозможно.

Мне иногда кажется, что русский человек создан после халата; сначала халат, а потом уж русский человек. Во всю мою жизнь, начиная с отрочества, я ненавидел ленивых. Мне они казалась злодеями своей жизни и общей жизни. Нена-

видел я и карты, созданные для глупого короля и усвоенные ленивцами и мошенниками. Мне всегда казалось, что деятельный, трудолюбивый человек в России никогда не может пропасть, потому что она всегда нуждалась и нуждается в подобных людях. Юношество, которое не учится, мне всегда было противно, и я легко впадал даже в преувеличения и не хотел слушать никаких резонов, когда заходил спор об этом. Никакой политики в этом вопросе я не допускал и доселе допускать не могу, что бы мне ни говорили. Все забастовки молодежи не имели ни малейшего политического значения и ни на йоту не способствовали освободительному движению. Но они дали огромный шанс трудолюбивому еврейству, которое тщательно поощряло русскую лень и вдохновляло молодежь ничего не делать и перестать учиться. Я говорил, что мы будем чистить сапоги у евреев, и будем их чистить. Я далее думаю, что это уже началось.

Существует необыкновенно долговязое слово, которое евреи и еврействующие с завидным прилежанием употребляют по отношению к «Новому времени». Слово это длиннее не только высокопреосвященства, но и высокопревосходительства, а уже потому оно искусственное. Это – человеконенавистничество. Кто против евреев, тот человеконенавистник. Кто за них, тот человеколюбец и достоин всяческих похвал. Я думаю, однако, что иные человеколюбцы промеж себя ругают евреев больше, чем мы вслух. Мы, по крайней мере, никогда не умалчивали об их достоинствах и нередко указывали на необходимость подражать им в той энергии, с какой они отстаивают свою национальность, именно национальность. Они – еврейский народ и говорят об этом с большей и большей настойчивостью. «Избранный народ Божий» – это остается в сердце еврея даже и тогда, когда он совсем забыл свою религию или сделался к ней вполне равнодушен. Я совершенно убежден в том, что кадеты не имели бы такого решительного успеха во время выборов, не будь евреи на их стороне, не снабди они их даже деньгами. В то время как русские считали свои гроши и собирали по пятиалтынному,

евреи давали тысячи, потому что они очень хорошо знали, что без денег ровно ничего не сделаешь. И вся Европа это отлично знает, и там давно знают, и весьма точно, что́ стоит выбор каждого депутата своей партии. Подкуп на выборах дело самое обыкновенное, и об этом даже не спорят. Попадаются на подкупе только глупые, да и уследить за ним чрезвычайно трудно. У большинства наших партий, впрочем, не только на грубый подкуп, но даже на пропаганду не было денег, т.е. на подкуп при помощи убеждений и печатных и митинговых речей. Грубого подкупа, я думаю, не было ни у одной партии, и в этом отношении все они, кажется, безупречны.

Возвращаюсь к человеконенавистничеству, к этому глупому и долговязому слову, которое употребляется тем охотнее, что оно ровно ничего не обозначает. В порядке идей оно не более идеи высокопревосходительства, о которое сломаешь язык, но ничего существенного не выразишь. Поэтому слово это меня никогда не обижало. Но оно, как высокопревосходительство, дает совершенно фальшивое основание к высокомерию и к брани. Я думаю, что с падением высокопревосходительства упадет и это высокомерие мнимых человеколюбцев. И в этом отношении я рассчитываю на Государственную думу, где наверное явятся мужественные русские люди, которые будут отстаивать русскую национальность даже от «дерзкой толпы» евреев. Это их так называет Иеремия. Я верю, что русские люди будут храбрее Цицерона, который боялся евреев. Когда во время судебных прений дело касалось еврейских интересов, он начинал говорить так тихо, что только судьи слышали его слова. «Я знаю, – говорил он, – как евреи солидарны между собою и как они умеют губить тех, которые становятся поперек дороги». Речь его гремела ужаснейшими обвинениями против греков и римлян, против могущественных людей его времени; но относительно евреев он советовал осторожность; он считал их таинственною, злою силою и лишь вскользь касался Иерусалима, этой столицы, где «царит подозрительность и клевета». Наши Цицероны трусливее настоящего Цицерона, и даже совсем у них не ворочается язык говорить против евреев. Но

русская душа просится в своей свободе и своем мужестве и безбоязненно станет говорить правду о всех, еллин ли он или иудей. И это необходимо для русской свободы.

Кажется, весь мир идет на Россию

Кажется, весь мир идет на Россию, по сигналу евреев и в защиту евреев. Сигнал этот дается газетами, а большинство газет в мире в еврейских руках. И русские газеты радуются, революционные открыто, нереволюционные с ужимкою. Благодарим покорно Австрию: она делает запрос о белостокском погроме. Спасибо Англии, она делает запрос в парламенте о русских евреях. Вечная благодарность Жоресу и другим французам, которые посылают громы против России. Пожалуйста, сделайте ваше одолжение. Погромче, посильнее. Напирайте на Россию. Помогите нам приобрести свободу. Максим Горький, как настоящий предатель, призывал Европу к крестовому походу против России несколько месяцев назад. А теперь и Максим Ковалевский жеманится, как старая дева, перед Европою, желающая, чтоб ее полюбили за душевную красоту и за мнимую ученость по части английской конституции.

– Страна наша велика и обильна. Но обижают евреев. Приходите княжить и владеть нами.

Согласие массы русских газет и думских комиссаров в этом случае прямо умилительное. Провокация полиции, провокация военных властей, «планомерность» погрома, распределение частей войск с целью громить. Вот что нам говорят, кричат, визжат и кликушествуют.

Я отношусь с искренним порицанием к еврейским погромам не только потому, что всякие погромы мне ненавистны, но и потому, что еврейские погромы не что иное, как станции для завоевания России, ибо каждый таковой погром привлекает на сторону евреев множество христиан, по христианскому чувству любви и сострадания ко всем людям, тогда как еврею обязательно любить только еврея, только в еврее видеть «ис-

тинного человека» и действовать так, чтобы покорить под ноги его весь мир. Священные его книги ему это обещают, и он действительно завоевывает мир более и более, враждуя с христианской цивилизацией.

Гете, великий Гете говорит: «Как можем мы допустить причастность еврея к высшей культуре, источник и происхождение которой он отрицает?»

Гуманный, отличавшийся большою терпимостью Вольтер, оставивший обстоятельные исследования по части еврейской истории и еврейского характера, много раз советовал выслать евреев в Палестину. «Еврейская нация, – говорит он в «Essai sur les Moeurs», – осмеливается обнаруживать непримиримую вражду против всех наций, она восстает против всех своих господ; всегда суеверная, всегда жадная к чужой собственности, всегда варварская, она пресмыкается в несчастии и дерзка в благоденствии» (rampante dans les malheurs et insolente dans la prospérité).

В течение какого-нибудь полувека еврей наполовину завоевал Россию, и надо меньше полувека еще, чтобы он ее завоевал окончательно.

Добродушные либералы нашей Г. думы сейчас же после белостокского погрома восклицали, что необходимо сейчас же узаконить равноправность евреев, а думские попы готовы предписать служить молебны во всей России о ниспослании победы и одоления евреев над христианами. Верные парламентским ветошкам, эти милостивые государи готовы сейчас же отдать русский народ в еврейское рабство, ибо далеки от того, чтобы видеть в еврейском вопросе государственный вопрос первейшей важности, который не должен поддаваться теоретической формуле о полном равенстве евреев, по крайней мере до тех пор, пока не окрепнет под влиянием свободных учреждений коренное русское племя.

Я желал бы самого детального, самого беспристрастного следствия, чтоб выяснить все причины погрома, причинившего невинным людям много горя. Но отлично сознаю, что и такое следствие не убедит тех, которые хотят обелить

во что бы то ни стало главного виновника в погроме, революционный Бунд. Во всех действиях этого Бунда видят «освободительное движение», а потому кто же смеет его винить? Напротив, Бунд оказал России огромную услугу. В его прокламациях, стачках, манифестациях, заговорах и уговорах нет ничего возмутительного с точки зрения революции. Это – война, война с оружием в руках, как словесным, так и материальным, война революции против русского правительства, и потому всякое революционное действие является симпатичным и всякое противодействие – позорным, бесчестным и погибельным для государства.

Вот в чем весь вопрос. Вот и все объяснение той бури и того ропота, которые раздались в Г. д. после белостокского погрома. Все это азбука. И если нужны кому-нибудь доказательства, стоит заглянуть в книгу г. Милюкова, о которой я вчера говорил («Russia and its Crisis»*). Там в главе «The Urgence of Reform» изложена революционно-демократическая деятельность в России с 1895 по 1904 включительно и приведены правдивые данные на основании отчета социал-демократической и социал-революционной партий в связи с деятельностью еврейского Бунда, революционных русских заграничных газет и проч. Все это вместе составляло одно целое и очень деятельное, друг на друга опирающееся. Оно действовало под знаменем Революции, распространяя свои идеи в обществе, народе и войсках. Военный министр Куропаткин еще в 1902 г. обратил внимание командиров на революционные прокламации. Но у нас «обращают внимание» и «предписывают мероприятия» циркулярами, и притом тайными, а потому в результате пропаганда только усиливается. Эта тайна освобождает начальство от разумного и открытого противодействия и служит превосходным щитом для пропаганды.

Бунд был основан в сентябре 1897 г. В первом же году им устроены 312 стачек; в 156 известных стачках участвовало 27 890 человек. На еврейском жаргоне было распространено 82 000 прокламаций. По отчету Бунда за 1901–02 г., было

* «Россия и ее кризис» (*англ.*).

напечатано периодических изданий, листков и прокламаций 398 150 экз.; устроено стачек 172; уличных демонстраций 30; манифестаций в синагогах и театрах 14; политических забастовок 6; тайных митингов 260, в которых участвовало 36 900 человек. Можно себе представить усиление энергии и средств Бунда в последующие годы, когда началась несчастная война и вместе с нею возросла смута. Революционная деятельность Бунда распространилась, как известно, и на Балтийский край, где между террористами было и значительное число евреев. «Революционная Россия», издававшаяся Бундом вместе с «Последними известиями», распространила прокламации и брошюры в миллионах экземпляров уже в 1902 и 1903 годах. Вообще, если принять во внимание, что рядом с этой революционной деятельностью было полное отсутствие со стороны правительства подобной же деятельности распространением листков, брошюр и другими просветительными мерами, то можно сказать, что результаты революции еще недостаточно ярки, т.е. что народ еще недостаточно был восприимчив. Правительство ограничивалось чисто полицейской деятельностью и множило число «политических»*. Зато число революционеров, террористов, агитаторов, провокаторов увеличивалось с каждым днем, и они являлись всюду, и среди народа, подбивая его к погромам помещичьих усадеб и толкуя ему, что только Учредительное собрание даст ему землю, и среди солдат, убеждая их к неповиновению.

Какая лживая плоскость – после этих данных уверять, что все делается при помощи правительственной провокации, что революция тут ни при чем и проч. Революция и «освободительное движение» представляют собою очень много сторон соприкосновения, так что *практическое* различие между этими словами и действиями, которые они изображают, очень часто ничтожное. Поэтому понятно, почему Г. д. не отнеслась пори-

* Вот официальные данные, приводимые г. Милюковым о числе лиц, обвиненных в политическом преступлении: 1894 – 919 чел., 1895 – 944; 1896 – 1668; 1897 – 1427; 1898 – 1144; 1899 – 1884; 1900 – 1580; 1901 – 1784; 1902 – 3744; 1903 – 5590. – *А. С.*

цательно к террористам. Понятна и та уверенность кадетской партии, с какою она берется, с помощью своего министерства, прекратить революцию, и поставить на рельсы вагон Русского государства и привести его пассажиров в порядок. Это министерство, крепко связанное с революцией в ее мирных освободительных задачах, станет действовать с большой энергией и, вероятно, не остановится перед тем, чтобы распустить настоящую Думу и собрать новую, выработав новую систему выборов. По крайней мере, так «говорят», а кто – это все равно.

Я пишу эти строки накануне обсуждения Г. д. белостокского погрома. Никакого беспристрастия к этому вопросу ждать нельзя, ибо если б и явились в Г. думе люди, которые захотели бы высказаться откровенно, без всякой вражды к еврейству, а просто с целью придти к мирному сожительству русского народа с народом, чуждым ему по племени, религии и характеру, но с которым жить во всяком случае приходится, то им заткнули бы рот. Надо чрезвычайное спокойствие, язык необыкновенного дипломатического чекана, чтоб говорить об этом поистине каторжном вопросе в таком вавилонском столпотворении, как Г. д. Ненависть к правительству, желание очернить его во что бы то ни стало, сделать его ответственным за все грехи прошлого, чуть не с Ивана Грозного, – одно это замкнет уста всем членам Г. д., которые захотели бы разобраться в этом вопросе. Он к тому же – вопрос чрезвычайно сложный, и если Г. д. два дня важно рассуждала о том, следует ли допустить митинги на полотне железных дорог или нет, и пришла к тому заключению (слова г. Кокошкина), что вопрос этот будет принят в соображение комиссией, то как же можно себе вообразить, что Г. дума способна пролить какой-нибудь свет на еврейский вопрос?

Кроме обыкновенных гуманитарных соображений, Г. д. ничего не может сказать, и аргументация вся будет вертеться около правительственной провокации. Такие бестактные и узколобые люди, как г. Щепкин, готовый проглотить русского человека и съесть его с чесноком, способны облить всяческими подозрениями и самою клейкою грязью наших солдат

и офицеров. Заступится ли кто-нибудь за русский народ, выяснит ли кто-нибудь причины погрома, независимо от всякой правительственной и военной провокации? Эти революционные убийства, эта революционная горячка, держащая все население начеку, не дающая ему покоя, но обещающая ему кисельные берега и медовые реки, это всенародное невежество, всероссийское и всееврейское, с придачею фанатизма с той и другой стороны, эта еврейская превосходно устроенная эксплуатация, берущая русского человека в охапку и выжимающая из него соки, эта ревность христиан к засилию еврейства, эти стародавние предания, наконец, о том, что дерзость еврея простирается до того, что он распял христианского Бога, – неужели все это не могло разнуздать человеческое терпение и не пробудить в человеке зверя?

Да, это один из самых проклятых вопросов, и не Г. думе его решить. Иное дело, если б она была наполнена даровитыми и дальновидными людьми, а не такими средними, которые своекорыстно ищут ближайших целей, чтобы обвинительный акт против правительства был потолще.

РАЗДЕЛ IV

МЕЖДУНАРОДНОЕ МАСОНСТВО И РУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Письма о масонстве

Мне не было еще 30 лет, когда меня приглашали, по поручению П. Л. Лаврова[1], вступить в одно тайное общество. Поручение это взял на себя человек очень образованный, мне весьма симпатичный, изучивший дрезденскую революцию так, что рассказывал ее движение со всеми подробностями, как военный историк мог бы рассказать Бородинское сражение. Он был холостой, а у меня уже было трое детей. Изложив мне поручение, он тут же стал мне советовать не вступать в это тайное общество, так как меня уже связывала семья. Так и было решено между нами, т.е. он передал Лаврову, что я отказался вступать в это общество. Это был первый и последний раз моего соприкосновения с тайными обществами. Я стал просто журналистом, человеком сам по себе, а года через три приобрел себе имя под псевдонимом Незнакомца.

В настоящее время я хочу поступить в масоны, или, правильнее, хочу основать масонскую ложу со всеми ее обрядами. Обрядность – важная вещь. Без нее не существовали бы церкви. Масонские ложи, сколько мне известно, запрещены, хотя это несправедливо в такое время, как наше, ког-

да существует множество тайных и явных сообществ, вред которых доказан превосходно. Масоны существуют во всем мире. Говорят, что во Франции они особенно благоденствуют. Покойный В. С. Соловьев[2], проживший довольно долго во Франции и напечатавший там по-французски свое известное сочинение о Русской Церкви, когда я стал говорить о влиянии иезуитов во Франции, сказал мне:

– Вы еще верите в эти басни? Иезуиты – почтенные люди, много занимаются наукою, но политическое их значение ничтожно. Оно не было значительным и в то время, когда Е. Сю[3] изобразил их в «Вечном жиде», создав тип Родена. Теперь всемогущество во Франции принадлежит масонам. Мне показывали списки префектов – все они масоны. Чтобы попасть на какой-нибудь мало-мальский высокий административный пост, надо быть масоном. Евреи играют в масонстве большую роль, и нет той ложи, в которой не было бы евреев. Это огромное и могущественное братство, которое ведет свое дело необыкновенно искусно. Оно о себе не только не кричит, но отрицает свое значение и даже нередко свое существование, но тем оно деятельнее и крепче. Недавно один из драматургов написал пьесу о масонах, театральная цензура ее не допустила на сцену. Журналистика молчит о масонах за весьма редкими исключениями, которые не находят себе поддержки. Все связаны тайною и все пользуются выгодами, которые доставляет своим членам братство.

Я знал двух русских масонов. Один постоянно жил в Париже и был даже секретарем в одной ложе. Другой жил в Петербурге. Они не скрывали от меня своего масонства. Парижского знакомого я раз даже проводил до самой ложи, помещавшейся недалеко от улицы Saints Pères. Но они очень были скромны о заседаниях лож и вообще о масонских делах.

Во время японской войны среди высшего петербургского общества существовало твердое убеждение, что дело тут не обошлось без масонов, что между военными, занимавшими большие посты, были масоны, что генеральный штаб наш имел масонов. Мне приходилось слышать об этом от лиц

очень высокопоставленных, которые называли мне даже имена генералов-масонов.

Мне верилось и не верилось. Мало ли чего не бывает. Когда пал сирый режим, сколько открылось таинственного, сколько мы узнали при помощи печати таких фактов, которые скрывались столетием! Наши революционеры стала писать воспоминания и печатать их. Мы узнали всю механику тайных обществ, подробности заговоров, жизнь и характеры действующих лиц, и узнали лучше, чем из политических процессов, когда и подсудимые, и прокуроры, и адвокаты лицемерили и лгали. Конечно, ложь есть и в этих воспоминаниях революционеров, но она не преуменьшает факты, намерения и деятельность, а скорее все это преувеличивает, чтоб увеличить свой героизм.

– Да вы шутите о масонах? – сказали вы.

Зачем шутить? Я говорю серьезно. Масонство нужно было бы для объединения русских людей, только русских, с исключением всего того, что не русское. Программа русского масонства должна быть по возможности лишена всего того, что называется политикой, и в особенности должна быть заклятым врагом политиканства и партийности. Партийность является у нас политической холерой, и симптомы ее похожи на холерные симптомы. Всех несет речами и ослабляет организм в его правильной деятельности. Русское масонство должно бы заниматься подбором русских людей на всякую деятельность и следить за их честностью, трудолюбием и развитием способностей. Оно должно было бы облегчить всякую деловую инициативу и брать на себя хлопоты для проведения в жизнь всего полезного, доброго и производительного. Этого не сделают ни Дума, ни правительство, ибо и Дума, и правительство почти исключительно должны заниматься политикою и взаимными столкновениями, не исключая перебранки. Говоря «должны», я разумею европейские порядки, ибо своего мы ничего не выдумали. Там дело обстоит так же, но там зато люди давно уж приобрели все те качества, которые необходимы для того, чтобы все прогрессировало. Там личная инициатива развита веками,

там связь науки с практической жизнью установилась крепко, там уж никто высокомерно не отнесется к тем самопожертвованиям для развития своей родины, которые у нас сплошь и рядом встречаются с равнодушием или с высокомерием того невежества, которым мы так известны.

Кстати упомяну об одном факте из жизни Менделеева. Мне рассказывал это один очень талантливый человек, который принужден был оставить государственную службу просто из-за женского скандала, который, в сущности, не стоил выеденного яйца. Наши государственные люди блюдут внешний декорум, и под этим декорумом проходит и множество зловредных вещей безнаказанно. Но кто нарушил его, тот будь хоть семи пядей во лбу, его выбросят для удовольствия посредственностей и бездарностей, которые обыкновенно обладают талантом и с женщинами быть посредственными. Менделеев одно время страстно занимался Северным полюсом. Изучив все путешествия туда, он нашел два направления, которыми никто не пользовался. Он написал записку и обращался к разным инстанциям о снаряжении экспедиции. Разумеется, везде он нашел холодный прием. Характерно особенно то, что он предлагал взять с собой всю свою семью – так велика была его уверенность в том, что он напал на правильный путь.

Я рассказываю об этом только кстати. Дело не в Северном полюсе, а ближе. Есть много русских людей, которые готовы работать, исследовать неоткрытые богатства России, изобретать, вообще людей, богатых инициативой, энергией, наукой и готовностью положить свою душу на самую неутомимую деятельность. Но им неоткуда взять поддержки. Скорей ее найдут революционер и разрушитель, чем созидатель. Большие и полезные дела делаются без шума, без красноречия.

Наши министры все в политике и будут в ней пребывать. Они не имеют за собой преданий, или, вернее, их предания в Европе, но мало еще сознанные. Они все в бумагах и докладах, все в комиссиях. Жизнь собственно, ее сущность, дело, работа остаются вне их ведомств и вне политики. Вот и надо основать русское масонство, такую связь между людьми, которая

выдвигала бы все полезное и деятельное, все честное, не попадающее или не желающее попасть в политику.

Я не распространяюсь. Я намекаю только на идею, которая, разумеется, требует развития. Масонство международное придет и к нам и возьмет в свои руки все то, что должно бы оставаться в русских руках и русским умом сделано.

* * *

Мое последнее «Маленькое письмо» о масонстве возбудило столько внимания в печати и в особенности в обществе, что, очевидно, мысль о подобном тайном обществе, в котором бы участвовали только русские, носится у многих.

Одна газета нашла мой проект «опасным», реакционным, «тайным центром» для явного центра; другая ей посочувствовала и назвала мой проект «истинно русским масонством»; третья, сочувствуя моему масонству, говорит, что бюрократия прикроет подобное общество; четвертая – что только женщины могли бы основать масонскую ложу, а мужчины на это неспособны. Женщины не отозвались на мое письмо, но мужчины отозвались, многие с самыми горячими приветствиями и готовностью вступить в члены. Несколько человек посетило меня, чтобы переговорить об этом вопросе.

Хотя масонские общества запрещены, но это запрещение не имеет теперь и иметь не может смысла. Раз политические партии существуют, начиная с Союза русских людей и кончая партиями социалистическими и революционными, то и сообщество людей во имя тех национальных, кровно-русских прогрессивных идей, о которых я говорил, имеет право на существование. Правда, правительство одни партии признает, т.е. легализирует их, а другие не признает, но они существуют, действуют, ведут пропаганду и проводят своих членов в Думу, и эти члены не имеют причин, как прежде, скрывать свою принадлежность к тем или иным организациям. Я сказал о необходимости некоторой тайны и некоторых обрядов. Но в каждой политической партии, не исключая правых, существует тай-

на. То, что называется, напр., «тактикою» партии, основано на тайном соглашении лидеров партии с главнейшими ее членами. Простые солдаты партии знают программу партии, но не знают того механизма, тех существенных подробностей, того «сердца» – позволю себе так выразиться, – которым приводится эта программа в движение. Скажу более: нет того дела, мало-мальски широкого, которое могло бы существовать без того, что называется тайной. Самая душа человеческая есть глубокая тайна, и прекрасные ее порывы, может быть, обязаны самым таинственным ее проявлениям.

Обрядность, конечно, отвергается политическими партиями. Обрядность признается чем-то смехотворным, комедийным, но в таком сообществе, о котором я говорю, обрядность я считаю необходимою по многим причинам, о которых не место здесь говорить. Она, понятно, должна отвечать смыслу дружества и говорить лучшим сторонам человеческого духа. Дело идет прежде всего о том же самосовершенствовании, которое так высоко ставит Л. Н. Толстой. В этом отношении он до известной степени наследник масонов, которых он изучал для «Войны и мира». Я говорю о том чистом, гуманно-мистическом смысле масонства, которое привлекало к себе в XVIII и первой четверти XIX века лучших русских людей. Теперь оно изменилось, стало международным, попало в зависимость от евреев и обратилось в политическую партию. А я говорю не о партии, а о той общности государственных, нравственных, бытовых и материальных интересов русских, которая должна их связывать помимо политического настроения и тех его оттенков, которые служат предлогом не только полемики, но и вражды между ними, точно они идут в совершенно противоположные стороны. Политическая партийность искажает все самое лучшее и искреннейшее, что есть в человеке. Партии ругаются словом «бюрократия», как чем-то позорным, а сами, в сущности, образуются по тем же бюрократическим принципам и ведут между собою, даже близкие партии, такую же глупую и вредную войну, как разные бюрократические ведомства между собою. Нужна «сердечная связь» между русскими людьми, как

выразился один из писателей, полагающий, что дело спасения России придет от женщины. Я знаю только, что на русских шла осада и с запада, и с юга, и с востока самой Русской империи, точно им место только на севере – обрабатывать тундры или поступить в соловецкие монахи. Все левые науськивали Европу и Америку на Россию, злобно шептали банкирам: «Не давайте ей денег», чуть не говорили: «Чего вы ждете – пугните ее войной!» Все это угнетало национальное чувство и оскорбляло его. Русские люди в Русском царстве начинали себя чувствовать одинокими, без связи. Какое бы дело ни делалось, даже русский руководитель его сейчас же осаждается рекомендациями взять к себе в помощники инородцев, преимущественно евреев. Они подрядчики, они адвокаты, они сочинители проектов, они помощники министров. Печать, адвокатура, торговля, все либеральные профессии пополняются не русскими людьми. Слово «русский» высмеивается прибавкою к нему «истинно». Патриотизм называется мерзостью. Сами русские люди в своем увлечении политическими партиями и в своей стыдливости не прослыть черносотенцами действуют в пользу «угнетенных» евреев. Партия «народной свободы» с самого начала была партией «инородной свободы» и точно нарочно выдумывала, соединяясь с еврейством, неприемлемые проекты законов, не существующие ни в одной стране, но льстящие невежественной массе. Русские великодушно-легкомысленно забывают, что всякий еврей выгоняет двух-трех русских, если он вступит в какое-нибудь дело; всякий еврей, вступающий в высшие школы, затрудняет в них доступ десяти русским. Еврейский полуталант забивает хороший русский талант своей юркостью и настойчивостью в достижении целей. В высшем управлении даровитому еврею первое место. Где гениальному Менделееву нет места, там услужливый и юркий еврей в чести. Рыбные промыслы отдаются какому-то еврею, который с этими промыслами знаком только по копченому сигу. У нас на 80 миллионов русских 8 миллионов евреев. Если во Франции, где на 40 млн французов приходится только 150 тысяч евреев, евреи побеждают и скупили целую треть недви-

жимой собственности, то с нашей стороны было бы беспримерным идиотством не бороться с этим нашествием, которое будет хуже татарского. Дряблость русской администрации, ее вельможество, ее любовь к произволу, протекциям, подкупу всевозможными способами – зло вековое, мало поддающееся уменьшению. На эту тему можно написать целую книгу, эта тема найдет в памяти и опыте каждого русского множество оскорбительных фактов и тайн.

Если я упоминаю имя масонов, то как образец крепости их организации и распространенности их, а содержание – дело русских людей. Толстой основою своего учения о самоусовершенствовании ставит религию, веру в Бога, евангельское учение. Но толстовство явилось чем-то очень исключительным преимущественно потому, что в нем единственным апостолом был только он сам и самое учение его совсем удалено от реальной и особенно национальной жизни. Кроме того, весь свой большой ум он употреблял на беспощадную критику религии, государства, науки, всех больших основ существующего общества. На отрицании нельзя создавать, что доказывается самим Л. Н-м. Он еще недавно отрицал репортерам значение своих художественных произведений, основанных отнюдь не на отрицании, забывая, что Евангелие есть превосходный роман, выражаясь современным языком, «благовествование», написанное с художественною простотою, прелестью и трогательностью. Нагорная проповедь, если б исключить ее из Евангелия, не создала бы христианства. Так и рассудительные сочинения Л. Н. Толстого гораздо короче по своему действию, чем его художественные произведения. Хорошо и крепко организованное общество есть постоянное творчество характеров и возбуждение необходимых нам единства и энергии.

Беру из одного письма, полученного мною и не предназначенного для печати, несколько строк, может быть, слишком мечтательных, слишком далеко метящих, но выраженных с искреннею верою в возрождение России, что должно быть вероисповеданием и делом того тайного общества, о котором мы говорим: «В это лихолетье русскому человеку, в короткий

срок так страшно много пережившему, страдавшему за родину, страшившемуся за ее судьбу и оскорбленному в лучших своих чувствах, отрадно отдаться крылатой мечте.

То содружество, то русское братство, о котором вы говорите в вашем последнем “Маленьком письме”, будет работать на общее благо – для осуществления культурных целей, ради духовных и материальных успехов родного народа, братство будет расти и укрепляться, если оно сумеет сочетать достижение национальных целей с уважением к свободе.

Оно будет стоять не за застой и политические перевороты и не за якобы “исконные” начала русской государственности, а за постепенное и неуклонное движение вперед, находящееся в органической связи с нашей стариной и нашими особенностями.

Для цели духовного единения русского народа нужна будет не революционная “Лига просвещения”, а охватывающая все три ветви русского народа “школьная матица” или подобная ей организация; для подъема же физических качеств народа, кроме улучшения его питания, сокольские общества – мужские и воспитывающие будущих матерей – женские. Эти чешские “едноты”, поддерживающие начало союзности и дисциплины, думается мне, заслуживают подражания.

Братство будет продолжать работу по собиранию предметов народной старины, преданий, песен, народного орнамента. Оно поддержит такие национальные начинания, как мастерские кустарей и московского земства кн. Тенишевой, мастерские с. Абрамцева, школы черниговского и полтавского земства. Еще работают глубоко национальные творцы-художники, как Римский-Корсаков, В. Васнецов, Нестеров и их последователи, и труды их будут пользоваться заботливым вниманием будущего союза. Право на заботы союза будет принадлежать всем честным русским труженикам, всем пионерам и исследователям на обширном пространстве Русской земли. Братство будущего, быть может, возьмет на себя и одну “политическую” реформу, о которой не заикается правительство и не обмолвился, как кажется, никто из членов

первой и второй Г. думы: оно будет бороться с обычаем извлекать едва ли не самую крупную отрасль государственных доходов и в страсти народной к вину. Оно возвысит обаяние государства, освободив его от добровольно принятой им на себя роли кабатчика, а уничтожив пьянство, ослабит обнищание и остановит физическое и нравственное вырождение населения. Отдельные лица, входящие в состав будущего братства, будут, конечно, открыто заниматься творческой работой, поддерживать и создавать общества и учреждения, цели которых находятся в согласии с целями братства». Далее автор письма рисует мечту, «когда русским братьям удастся стать хозяевами русского дела, создать национальную школу, армию, потушить классовую и племенную борьбу, укрепить государство, зажечь опять огонь патриотизма, воскресить былое обаяние, увеличить блеск прежней славы, когда в государстве Русском все будут говорить на “великом”, могучем и свободном русском языке».

Пусть это только благородные мечтания о такой силе братства. Но оно может много сделать, если создастся и станет действовать с непреклонным упорством. Надо начать дело тем, у кого есть достаточная энергия, любовь к России и способность организации. Я исполняю свое дело как журналист и твердо знаю, что никогда не пожалею о том, что говорю в настоящий час.

* * *

Меня достаточно ругали наши газетные противники за то, что я заговорил о русском масонстве, ругали в передовых статьях, смеялись в заметках. Одна заметка была очень милая и у меня вызывала веселую улыбку. Как я ни стар, но я могу еще смеяться вместе с тем, кто надо мной смеется. Эта форма полемики мне всегда была любезна, как наиболее литературная, хотя порой она бывает и наиболее злой. Передовики просто ругались и злились. Этой ругани, злобы и клеветы, переходящих все границы, я вынес в своей жизни так много, что, если бы в

этой клевете была хоть десятая часть правды, я давно бы погиб со своей газетой. Но я еще существую и надеюсь умереть от собственной старости или от болезней, а не от тех ударов, которые несутся со стороны врагов моей газеты.

Что в самом деле я сделал такого ужасного предложением образовать общество по образцу масонского! Я лично предпочитаю свою газету всем тайным обществам, и, если б мне предложили сделаться гроссмейстером самого тайного из всех тайных обществ, я бы благоразумно отказался. Я литератор и журналист, который никогда не принадлежал ни к каким тайным обществам. Я уверен в моем призвании, никогда ему не изменял и не изменю. Вся моя деятельность, литературная, журнальная, издательская и театральная, проходила на виду у всех и своим источником имела мое литературное дарование и любовь к просвещению. Но существование тайного общества для защиты русских и русских интересов я признаю полезным и даже необходимым ввиду того множества тайных обществ, которые теперь существуют и которые имеют своей целью свергнуть правительство и изменить монархический режим на республиканский или социалистический. Достаточно упомянуть о революционных тайных обществах и в особенности об обществе бундистов, чисто еврейском, которое одно нанесло моей родине самые тяжелые раны. Мне говорили, что это еврейское общество имеет тесную связь с масонами, одной из самых решительных и кровавых отраслей масонства. Я оговорился в прошлом письме, что не масонское общество я предлагаю учредить, а только взять из масонства организацию. Масонскую ложу нельзя учредить без сношения с масонами. У них всемирная связь, и, несмотря на частные различия, они учреждаются не иначе, как с согласия самого же масонства. Учреждать *действительно* масонскую ложу – это значит попасть из огня да в полымя, т.е. присоединиться к такому союзу, который менее всего имеет в виду благо России. Я предлагаю учредить просто русское содружество, которое связало бы между собою русских и дало возможность знать друг друга на больших пространствах нашей Империи и подавать друг другу

добрые и худые вести. Одна журналистика бессильна сделать то, что сделать необходимо.

«Речь» – это орган партии инородной свободы[4], имеющей главной целью осмеивать и отрицать все русское и забрать в свои руки бразды правления, как взяла было она в свои руки Государственную думу, сделав ее чисто революционною. Правительство одно время так считало себя несчастным и жалким, что уже протягивало дружелюбно руку этой партии и чуть не шептало, как любовница: «Возьми меня!» Это время, слава Богу, прошло, и правительство решилось опираться только на свой авторитет, стараясь его восстановить и утвердить реформами и заботою о народе. Отсюда эта вражда партии инородной свободы, этого кадетского лагеря, командир которого ввиду гроба русского сознания и патриотизма говорит:

– Смотри веселей!

Я бы хотел, чтобы русские не прятали в преждевременный гроб своих русских чувств и говорили бы тоже:

– Смотри веселей!

Время действительно тяжелое, оно, вероятно, продлится еще, но я думаю, что русское чувство просыпается, просыпается патриотизм, о котором на этих днях говорила «Речь», объясняя очень туманными и даже смехотворными фразами, что такое патриотизм кадетский в отличие от патриотизма «казенного». Против патриотизма начал писать Л. Н. Толстой несколько лет тому назад. Как всегда, он говорил, что думал своей собственной головой, и не прибегал к этим дурацким определениям патриотизма словом «казенный». Его аргументация, вся до конца, разбивалась о патриотизм «Войны и мира», который не имеет ничего общего с патриотизмом тридцати тысяч Милюковых с их еврейским легионом. Вся слава России создана патриотизмом, и на войне, и в мире, и русский человек не нуждается в его определении. Патриотизм чувствуется всем существом и в особенности по подвигам, совершенным в жизни действительной и в жизни творческой русской фантазии. Только дьяки и дьячки кадетской партии воображают, что это чувство поддается определениям, как напр. географические или историче-

ские границы. Или признавать патриотизм, или его отрицать. Искать его – значит не иметь его или подделывать. Толстой отрицал его, незыблемо утвердив его в «Войне и мире». Крайние левые отрицают его, призывая пролетариев всех стран соединиться. Он присущ государственным людям, генералам, офицерам, солдатам, купцам, мужикам, образованным людям, всем тем, которые признают, что они прежде всего русские, и потом уже, что все человеческое, прекрасное и великое не чуждо им. Придавленные несчастной войной, негодующие на ее предводителей и на поспешный мир, угрожаемые революцией, приниженные, оторопевшие, русские люди прятали свое чувство перед наглостью этих отрицателей в маскарадных костюмах, убежденных сыщиков настоящего патриотизма. Наглость этих сыщиков, одобрявших убийства и грабежи из-под полы и кричавших: «Отечество – это мы!», получит свое возмездие в пробуждающемся русском чувстве, которое возьмет не наглостью, не убийством, а силою своего русского разума и своим единством в любви к Родине. И опасаясь этого и видя, что это начинает совершаться, сыщики настоящего патриотизма ругаются, злятся и клевещут.

РАЗДЕЛ V

РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

На пути в Константинополь

Одесса, 18-го июня

Завтра, в 4 часа пополудни, пароход «Владимир», на котором приютился и я, отплывает в Константинополь. Здесь говорят о тамошнем состоянии умов и толпы в особенности, у которой ума немного в известных случаях, ужасы. Быть может, впрочем, черт далеко не так страшен, как его малюют. Сегодня вечером на бульваре говорили о войне Сербии с Англией по поводу телеграммы, полученной из Белграда. Говорю «с Англией», ибо несомненно, что Англия будет вести эту войну, а не Турция. «Англия завоевала уже Константинополь», – сказал мне сегодня один знакомый. Это, пожалуй, верно: Англия завоевала его с моря, но к нему можно подойти еще с суши, и тут-то Англия употребит все силы для того, чтобы помочь турецким войскам оружием, деньгами и советами, – «просвещенных мореплавателей», чтобы раздавить маленькую Сербию и сделаться властительницей Востока навсегда и безраздельно. Частичку она, разумеется,

отдаст Австрии, если та окажет помощь туманному Альбиону в этой неравной борьбе.

Люди, очень хорошо знающие положение вещей, бывавшие в Константинополе не один раз в последнее время, говорили мне, что Англия деятельно приготовляла Турцию к войне, подвозила ей оружие, снабжала деньгами и устраивала ей армию. Какой-нибудь месяц тому назад или полтора Турция едва могла насчитать несколько тысяч солдат хорошо вооруженных, а теперь она в состоянии выдвинуть уже армию довольно многочисленную. Проволочками дипломатии она отлично воспользовалась, устроила coup d'état*, и если чего не сообразила, то разве тех убийств, которые были совершены над министрами и которые явились не совсем приятным сюрпризом, в особенности если принять в соображение, что убийства эти деморализировали часть войска и толпу. Но в конце концов и это обстоятельство не важно, ибо все-таки Константинополь легко может быть взят с моря, если не de jure, то de facto, этими белокурыми сынами Альбиона. Они во всяком случае явятся спасителями Турции или по крайней мере употребят все усилия, чтоб спасти ее. И это сделается не тайком, а открыто, во имя европейского мира будто бы, на самом же деле во имя английской торговли.

Таким образом, мы будем присутствовать при зрелище небывалом: две державы, Англия и Турция, будут бороться с горстью славян, предоставленной самой себе. На русском обществе лежит святая обязанность помогать всеми средствами, *преимущественно деньгами*, этим мужественным борцам. Сербский заем необходимо покрыть нашими средствами, и пусть в истории этой борьбы русское имя займет надлежащее место, если б Россия и не приняла в ней иного, более деятельного участия. Последнему могут воспрепятствовать разные причины, которых касаться я не буду, но ничто не может удержать великодушных жертв со стороны самого общества, если только оно в состоянии глубоко проникнуться участием к борцам за свободу. А разве оно не в состоянии? Мы посылали деньги

* Государственный переворот (*фр.*).

итальянцам, посылали их Гарибальди; неужели теперь мы не найдем их у себя для того, чтобы помочь выбраться из рабства миллионам славян, которых душит Турция и на которых благородная Англия начинает смотреть, как на сипаев?

Я убежден в том, что Сербии не дадут погибнуть, если б даже Турция и оказалась победительницей; но дело не в одной Сербии, а во всех славянах: это будет та борьба, которая обессилит слабых и отнимет у них энергию, и надолго похоронит, в случае неуспеха, восточный вопрос в английском кармане и мадьярской шапке.

Я познакомился тут с несколькими славянами – из южных. Вы не поверите, с какою надеждою и с каким томлением обращают они взоры к России. Если они идут, то потому только, что чувствуют свою силу не столько в своем мужестве, сколько в участии и сочувствии русского народа. «Вы нас не бросите, вы поможете нам?» – говорят они, расспрашивая о том, как относятся к движению в Москве, в Петербурге, Киеве, – и на эти лица невозможно смотреть без душевного волнения. Что отвечать? Сам не знаешь, хотя хочется верить, что в русском сердце найдется немало места для этих ратников за свободу, за изгнание ислама из Европы.

Благодарю очень г. Гамму и «Бирж. вед.»[1] за их заступничество за г. Веселитского. «Бирж. вед.» обвинили меня в инсинуации против г. Веселитского, г. Гамма – в клевете и пасквиле. Беззубые остроты г. Гаммы на мой счет и его уверения, что я пишу пасквили «если не из-за денег, то из любви к искусству, из чувства зависти ко всему, что сколько-нибудь чище и выше» меня, оставляю в стороне и нимало не желаю разубеждать его в противном, ибо убежден, что меня не прибудет и не убудет от того, как относятся ко мне господа вроде г. Гаммы.

Что касается г. Веселитского, то и г. Гамма, и «Бирж. вед.» напрасно мне приписывают то, чего я не говорил. Я не обвинял г. Веселитского в том, что он «присвоил» себе деньги, данные ему славянским комитетом: на такое обвинение я не рискнул бы по весьма многим причинам, и главным образом потому, что присвоить себе деньги, назначенные для славян, может толь-

ко очень скверный человек; я обвинял г. Веселитского в том, что он плохо употребил эти деньги, что он их употребил *не на то, на что они ему были даны*. Я не могу в настоящее время выражаться яснее по причине, которая должна быть понятна – если не «Бирж. вед.», то г. Гамме; я могу сказать одно, что отчет г. Веселитского нимало не убедителен в том смысле, в каком я разумел, *и я имею право* разуметь его *благотворительную* миссию. «Бирж. вед.» пришли в умиление, что г. Веселитский израсходовал своих собственных денег 233 гульдена; это умиление со стороны «Бирж. вед.» совершенно естественно, но меня по отношению к г. Веселитскому даже эти 233 гульдена нимало не трогают и не заставят пролить благодарных слез: г. Веселитский мог бы и умолчать об этих деньгах, если он, как утверждает г. Гамма, человек, служащий словом и делом «действительным и насущнейшим интересам бедствующих славян». Раздать 200 000 гульденов чужих денег, прибавить к ним своих 233 гульдена, выбиваться из сил, чтобы вожди восстания приняли реформы Андраши, – неужели это так много, неужели это не ровно ничего, за исключением 233 гульденов, которые он вынул из своего кармана и о которых не преминул объявить во всеобщее сведение, как об адресе, поданном ему инсургентами. Все это как раз по-евангельски поступлено, и именно так, как поступают люди, служащие делом и словом «действительным и насущнейшим интересам бедствующих славян». Жаль, что г. Веселитский чисел не выставил, когда он дал раненому 1 гульден и 7 раненым по 2 гульдена из своих 233 гульденов. Это настоящий благотворитель, который записывает аккуратно даже свои подаяния. Г. Гамма утверждает, что г. Веселитский и подарков вождям восстания не делал, хотя об этом сам г. Веселитский писал в том же «Голосе», в котором г. Гамма пишет.

Что сказать вам об Одессе? Очень красивый город, прекрасно вымощенный, и жиды, жиды, жиды... Людей, принимающих участие в славянском деле, немного, так как господствует еврей, который даже и Иерусалим забыл. Сильное впечатление произвела перепечатанная «Одесским вестником» из английского журнала «Hour» статья о крупной взятке, полу-

ченной будто бы одним городским деятелем с компании, строившей мостовую. Впрочем, находятся люди, которые говорят, что ведь это – коммерческое дело, коммерческий процент, les bonbons pour le pacha*. Следующее письмо пришло из Константинополя; об особенно важном буду телеграфировать, если только телеграф не перестанет действовать; пока он действует, и я еще вчера получил по телеграфу из Константинополя необходимые мне сведения.

P.S. Из Константинополя уехали весьма многие; наш посол, генерал Игнатьев, отправил своих детей на южный берег Крыма; сам он живет в Буюк-Дере, в нескольких милях от Константинополя, на берегу Босфора; дача его расположена так, что весьма удобна к обороне: с одной стороны – гора, с других высокая ограда, через сад можно пройти прямо к берегу и сесть на пароход, который находится в его распоряжении. Дачу охраняет сильный конвой.

На пути в Белград

Бухарест, 19-го (7-го) июля

Вы не шутите с Бухарестом, где еще доселе получаются от иных просвещенных русских администраторов, считающих Бухарест русским городом, бумаги с надписью «в Бухарестское полицейское управление»: это – столица потомков древних римлян, преобразовавшихся в валахов и молдован и в последние годы существующих в границах так называемой Румынии, или Соединенных княжеств, под скипетром Карла I и под главенством Турецкой империи. Ничем другим Бухарест не замечателен; на мой взгляд, он хуже Ясс; но Румыния одна из самых благословенных и живописных стран в Европе. Новейшие изыскания показывают, что румыны могут считать с одинаковым правом своими предками как даков, так и солдат императора Траяна; цыганский элемент, столь очевидный в типах румынских, отвергается румынскими патриотами, хотя

* Батьке на конфеты (*досл.* «паше на леденце») (*фр.*).

и совершенно напрасно: сам граф Андраши, сей знаменитый человек настоящего времени, происходит, тоже по новейшим изысканиям, по прямой линии от цыган, хотя провозглашает себя венгерцем. Один остроумный человек заметил даже, что он дезертир из России, ибо имение его называется Красная горка, а река в имении – Быстрица...

Я не совсем понимаю эту стыдливость, с которою представители разных национальностей отвергают помеси с народностями, или находящимися в загоне, или пользующимися дурной репутацией; это нехорошее чувство, совершенно родственное тому, с каким аристократы выводят свое происхождение от Августа и Цезаря; ведь штемпель ровно ничего не дает: ни ума, ни талантов, ни благородства, и Жуковский, сын цыганки, конечно, неизмеримо выше многих Олеговичей.

Что касается румын, то родство их с римлянами, сохранившееся в физиономиях, ничем особенно замечательным в новейшее время не проявилось. Высший класс пропитывается идеями европейских кафешантанов и, усвоив себе французский язык, из кожи лезет подражать парижанам; низший класс до 1664 г. находился почти в таком же положении, как русский крепостной человек; в этом году он получил свободу и надел землею, с выкупом в течение 15 лет (средним числом 120 франков за гектар); всего выделено было около полутора миллионов гектаров, распределенных между 400 000 семейств. Благословенные черноземные равнины Дуная определили главнейшее занятие жителей – земледелие. В княжестве считается до 5 миллионов душ населения; на 100 жителей приходится 48 мужчин и 52 женщины, пропорция не совсем обыкновенная; в городах одно незаконное рождение приходится на 13 законных, в селах одно – на 46. Из тысячи отцов семейства 32 занимаются торговлей, 62 – промыслом, 702 – земледелием. Таким образом, почти три четверти населения преданы тому занятию, которое было так почетно и так распространено у римлян в героические времена их истории, из чего вовсе, однако, не следует, что румыны – прямые потомки римлян; но естественно, что финансы страны черпают

свои доходы из земли и армия почти исключительно состоит из сыновей земледельцев. Сколько я видел, все это молодежь, почти мальчики, совсем не имеющие воинственного вида, но вооружены они хорошо, и вообще Румыния располагает значительными боевыми средствами... на всякий случай, только не на случай настоящий.

Она держится за нейтралитет крепко, и мало оснований думать, что она из него выйдет. На днях в палате депутатов министр иностранных дел Когальничану разыграл роль маленького Дизраэли. Заявляя о «политике нейтралитета», он пригласил палату избрать комиссию для обозрения документов и работ Министерства иностранных дел, по которым комиссия могла бы убедиться в необходимости для Румынии нейтралитета. Депутат Флево принял на себя роль микроскопического Брайта и просил прочесть документы если не в открытом, то в закрытом заседании палаты. На это г. Когальничану отвечал словами Дизраэли, какая, мол, это великая тайна есть дипломатические документы, посоветовал г. Флево прочитать упомянутые прения в английском парламенте и сообщить ему, г. Когальничану, то, что он из этого чтения вынесет. Палата ужасно была довольна своим министром и много ему рукоплескала за этот урок молодому депутату.

Но в этой новой палате есть и оппозиция, состоящая из «красных», которых насчитывается до 90 из 150 – общее число членов палаты: 30 красных молдаван и 60 красных валахов или – наоборот; это, в сущности, все равно, ибо краевые эти не совсем понимают, чего хотят, и часть их стоит за министерство, часть ему оппозирует, часть еще с кем-то соглашается и часть еще кому-то оппозирует. Но мы, русские, должны быть довольны, ибо красные по большей части сочувственно относятся к России, хотя и довольно бестолково. На очереди обсуждение торговой конвенции с Россией. Председатель палаты – г. Россети, здешний журналист, который, говорят, выразился о новой палате так: «Это молодые, не обиженные лошади, и, садясь на козлы, я крещусь, как тот кучер, который не знает, удастся ли ему объездить лошадей или сломать себе шею».

Желаю ему объездить и валахов, и молдаван, которые были вчера очень несговорчивы насчет предложенных сокращений в бюджете и потребовали уменьшения жалованья министрам: боятся, что они и liste civil* подвергнут сокращению, и даже республику провозгласят: недаром же они потомки римлян... Что касается бюджета, то он в последние пять лет значительно возрос, благодаря займам на постройку железных дорог. Расходы с 1871 г. увеличились значительно только по военному Министерству (вместо 16 милл. фр. – 23), но это увеличение покрывалось уменьшением расходов по Министерству публичных работ, так что сумма расходов в 1875 г. превышала сумму расходов 1871 г. только на 180 тысяч франков; но все это без расходов Министерства финансов: с 26 милл. в 1871 г. они выросли до 55 миллион., и дефицит превосходит ежегодно 14 млн фр. Недавно Румыния прибегла к новому займу за 10%, но никто не подписывался; тогда увеличили проценты до 12 на сто и из 10 миллионов покрыта только половина.

Возвращаюсь к нейтралитету: по Дунаю всюду расставлены пикеты, и никому не удается перейти на ту сторону; в городе достаточное число шпионов, которые тщательно следят за болгарами, боясь, чтоб они не скомпрометировали бухарестское правительство своими посягательствами на столь нежно обожаемую Европою целость Оттоманской империи. Румыния избрала себе благую часть и получит приличное вознаграждение за свой нейтралитет.

Что получит Сербия и Черногория? Бедные маленькие княжества сцепились с большим зверем и дают даровое представление Европе, наслаждающейся всеми благами вооруженного мира. Если Европа от этих тяжелых благ уделила несколько миллионов рублей Сербии, то последняя вместе с Черногорией и Болгарией справилась бы с Турцией; но денег нет, оружия не хватает, особенно для болгар; 100 000 ружей, заказанных Сербией в Бельгии, не пропускаются австрийским правительством, и всех начинает проникать болезнь, что турки на радость просвещенной Европе раздавят бедных

* Цивильный лист (сумма на содержание лиц королевской семьи) (*фр.*).

славян еще раз, и на этот раз надолго. С разных сторон слышу я печальные известия.

Я не хочу скрывать их; я скажу больше: с самого начала военных действий некоторый перевес был на стороне турок. Говорят, что будь Осман-паша посмелее, он мог бы давно уже занять Зайчар и не пустить сербов в Болгарию. Говорят это болгары, которых здесь довольно много и которым хотелось бы проникнуть в Балканы независимо от сербской армии, чтоб поднять там знамя восстания и отвлечь хоть несколько турецкие силы от сербских границ. Но нет оружия, нет денег – с палками не пойдешь; благодаря нейтралитету, ружья страшно вздорожали, а ружей со штыками совсем нельзя достать. Деньги необходимы; с деньгами все можно поправить даже в том случае, если сербская армия должна будет отступить. Честь и хвала той молодежи, которая слушает только своего сердца и идет умирать за славянское дело! Ах, если б деньги! Война в Балканских горах, партизанская война в Сербии – это такой ресурс, против которого регулярные турецкие силы многого не сделают. Но деньги, деньги и деньги! С одним мужеством далеко не уйдешь. Славяне это отлично понимают, и некоторые из них, предаваясь отчаянию, говорят уже, что если им не помогут, то им останется только одно – принять магометанство!..

Принять магометанство! Вы слышали, господа русские люди, господа православные... Помогите!.. Не о войне вам говорят, а о деньгах: дайте денег! Дело идет о помощи тем, которые *нам более сотни лет помогали*, которые постоянно поддерживали нас в наших войнах с турками, и частью своих успехов, своих приобретений насчет турецкой территории мы обязаны этим самым сербам и болгарам, которые предоставлены самим себе теперь, в эту страшную, решительную минуту борьбы.

Неужели русское общество неспособно щедро помогать и вместе с тем понимать столь близких интересов?

Надо обратиться к религиозному чувству, которое так сильно у бедняков, у простого народа. Духовенство могло бы сделать в этом случае много своей горячею проповедью в

пользу христиан. Ведь их действительно избивают, как скот, ведь это не сказка, что вырезают целые семьи, вырезают целые училища, ведь это не сказка, что 60 монахинь, подвергшись всем поруганиям, были сожжены живые.

Вы не поверите, что испытываешь тут, как настрадаешься, как русский человек. Тут заметите, как ускользает славянская идея, как славяне теряют нас и мы их, как может разрушиться этот союз славянский и как растет пангерманизм, как подчиняет он себе все и всех…

Славянские ль ручьи сольются в русском море,
Оно ль иссякнет – вот вопрос…

Это действительно вопрос времени, если мы будем продолжать отличаться непониманием нашей исторической задачи и равнодушием к славянскому делу.

Нам приписывают гораздо больше того, что мы сделали; здешний Комитет министров серьезно обсуждал вопрос о том, как поступить, если 30-тысячный отряд русских волонтеров подойдет к русской границе. 30 000 волонтеров! Можете себе это представить! Жидовские венские газеты каждое наше действие преувеличивают с умыслом, каждый грош возводят в сотню рублей. Нельзя же нам вместо того, чтобы хоть только *оправдать* эти толки об нас, держаться в стороне.

Накануне XX-го века все-таки царствует физическая сила

Бухарест, 10-го (22-го) июля

Накануне XX-го века все-таки царствует физическая сила. Четыреста лет тому назад дикая орда покорила цветущие страны, предназначенные климатом к прекрасной будущности, и доселе остается властительницею их. Не далее как двадцать лет тому назад на помощь этой дикой орде пришли самые цивилизованные народы Европы и парижским трактатом обеспечили ей дальнейшее существование, поклялись ей в верности и преданности и закрыли глаза на все ее бесчинства,

на пагубное влияние ее на миллионы христиан, в которых рабство развивает только дурные стороны. Прошли двадцать лет, и перед глазам повторяется старая история. Англия высоко держит знамя ислама и парижского трактата, и чем дальше, тем сильнее раздается ее голос…

Судьба наказала Францию. Дерзкий авантюрист растлевал ее нравы в течение двадцати лет, угнетал ее свободу, вводил подкуп в среду управляющих и управляемых и с адскою последовательностью заставлял вырождаться поколения. Пришел трезвый немец, создавший в течение двадцати лет свою армию, разбил французские войска и отнял две лучших провинции, которые ничего другого не хотели, как оставаться под властью той же разбитой и униженной Франции. Голос народа говорил: «Мы хотим остаться французами, мы ничего не желаем лучшего, мы ненавидим немецкое господство». Но немец провозгласил их своими кровными братьями и сжал их в своих железных объятиях: «Вы своей выгоды не понимаете – мы вас научим быть немцами и заставим обращать свои взоры вместо Сены к Шире, вместо Парижа к Берлину». Физическая сила одолела, и народное право должно было закусить губы, чтоб не сказать лишнего слова. Это следствие борьбы двух равных цивилизаций.

На Балканах сотни лет христианские народности выбиваются из-под ига дикой орды и не могут выбиться; покоренные, несмотря на всю тяжесть ига, несмотря на постоянную борьбу за свое существование, которая отнимала у них целую массу физических и нравственных сил, все-таки превзошли своих господ во всем том, что касается культуры; в нравственном отношении они выше турок, но им недостает физической силы, недостает оружия, чтобы выбиться из-под ига народности, совершенно чуждой всей европейской цивилизации, всему христианству.

Одна Россия постоянно боролась с этою дикой ордою, Россия ее ослабила, Россия парализовала ее силы; но наш рост возбудил зависть в Европе и опасения за господство славянского племени, которое, раз соединившись, помешало бы развитию и господству других племен. Нас стали ославлять варварами, нам стали приписывать завоевательные планы чуть не

на всю Европу; только в последние годы европейские писатели стали относиться к нам беспристрастно, стали знакомиться с нашей литературой, нашей жизнью, стали находить в условиях нашего социального быта много таких черт, которых не хватает Европе; не славянофилы только, а и европейские писатели начинают говорить, что за Россией великая будущность.

Но эта будущность может ускользнуть от нас, так как она значительным образом зависит от того положения, которое мы должны занять среди одноплеменных нам народов. Эти народы гибнут в настоящее время; союз Англии с Турцией готов раздавить их под своей пятой на глазах всей Европы, на наших глазах. Англия смело смотрит на это побоище, она взяла под свое покровительство правоверных и никому не позволит подать помощь погибающим.

Она будировала в последние годы, она пробовала свои силы: она отказалась пристать к женевской конференции и, наконец, отказалась от брюссельской конференции и, наконец, отказалась от берлинского меморандума; никто не погрозил ей, никто не попробовал показать крепкий кулак разжиревшему Джону Булю, никто не возвысил своего голоса. Она играет первенствующую роль, она приказывает и повелевает.

Полный нейтралитет – вот что она вещает – и держит наготове свой флот в Безикской бухте. Она очень хорошо понимает, что полный нейтралитет – значит полное избиение христиан на Балканском полуострове, ибо этот полный нейтралитет касается только до славян, поднявших оружие, а не Турции; деньги и оружие продолжает ей давать Англия, нагруженные корабли с оружием приходят в Константинополь, делаются заказы патронов в Бельгии и Англии, и все это беспрепятственно доставляется дикой орде, униженно кланяющейся Великобритании.

А бедная Сербия стянута со всех концов железным поясом турецкого оружия и таможен; она напрягает все свои силы и, конечно, докажет, что и она одна может быть сильным врагом Турции, может одерживать победы над ее войсками, но выжить турок из Европы она не в силах: эта роль принадлежит России, которая в союзе со славянами могла бы не бояться никого.

Несмотря на наш строгий нейтралитет, о нас рассказывают всевозможные нелепые слухи разные жиды, служащие в немецких газетах делу исламизма. Сегодня, напр., в «Neue freie Presse» я прочитал корреспонденцию из Константинополя, где говорится следующее: «Здешние армяне в большом волнении. Дело в том, что русское правительство предписало эчмиадзинскому патриарху фанатизировать армян. Почтенный архипастырь отказался исполнить этот приказ, и его высылают в Сибирь; армянские офицеры, находящиеся в русской службе, массами покидают ее». Кажется, нелепее этого выдумать ничего невозможно, но, вы думаете, этому не верят? Всякой нелепости поверят, потому что хотят верить, потому что хотят подавления славян.

Поверьте, что если б мы доставляли деньги миллионами, если б мы доставляли оружие и волонтеров, нашему нейтралитету столь же мало верили бы, как верят ему теперь, когда мы почти ничего не делаем: говорю – почти ничего, потому что разве можно считать за что-нибудь те небольшие пожертвования, которые послали мы черногорцам и герцеговинцам?

И русские, и болгары только спрашивают: «Что станется с бедной Болгарией?» Она вечно несет на себе все грехи славянства и православия. Она избита и изувечена уже теперь, а что еще ждет ее в будущем?

Вчера я писал вам о восстании в Болгарии; эти сведения я получил от болгарской молодежи, которая, как всякая молодежь, наклонна преувеличивать свои силы и придавать восстанию такие размеры, каких оно никогда не имело.

Восстание готовилось, но проявлялось оно слабо, и те проявления его, какие были, дали только туркам возможность совершить величайшие жестокости. Вот резюме того, что я слышал сегодня от болгарина, прожившего двадцать лет в филиппопольском округе и бывшего очевидцем всего того, что совершалось там еще на днях: он только что приехал сюда через Константинополь, Варну и Рущук. Буду говорить его словами.

– Люди, приготовлявшие восстание, уверили болгар, что в горах собрано оружие, провиант, разные запасы, что стоит

только покинуть родные деревни и уйти в Балканы – там уж все припасено. Делали они это для того, чтоб так или иначе выжить болгар из пассивного их положения: коли взбунтуются, то придется защищаться во что бы то ни стало.

– Но ведь были же вооруженные отряды, напр., Ботиева, который, говорят, и теперь еще уцелел в Балканах и присылал к Черняеву просить помощи…

– Ах, уж эти Балканы! Говорят: «Балканы, Балканы», а что такое Балканы? Отдельные цепи гор, которые можно перевалить в три часа и где укрываться почти нет возможности. Только Родопские Балканы действительно удобны для того, чтоб держаться восстанию, но турки это предвидели и эту часть Болгарии отурчили. Что касается Ботиева, то полагаю, что он едва ли существует, да и вообще едва ли теперь существуют какие-нибудь банды в Болгарии. Восстание почти не проявлялось; турки знали, что оно готовится, и сами затевали ссоры и драки, производили всевозможные бесчинства с тем, чтоб вызвать болгар на отпор; в некоторых местностях жители, доведенные до отчаяния, действительно брались за оружие, но они тотчас же были избиваемы. Аресты производились во множестве, и арестованные терпели больше, чем убитые. Их водили из тюрьмы в тюрьму, допрашивали признания в таких действиях, которых они вовсе не совершали. Целые тысячи погибли невинных, особенное озлобление обращено было на людей интеллигентных, на учителей, воспитавшихся в России; школы закрыли везде, и учителя по большей части перебиты, повешены или томятся в тюрьмах. У турок есть пословица: «Свет погибнет от ученых», и они особенно беспощадны ко всему тому, что носит на себе какой-нибудь признак учености.

– Священников, конечно, не исключали из числа ученых?

– Еще бы! Я не знаю, много ли осталось таких, которых не водили к допросу. Одного – у меня записано его имя – вели к допросу в Базарджик. На дороге жандармы подвели его ко рву, наполненному мертвыми телами болгар, и стали говорить, чтоб он назвал себя председателем революционного комитета, а пятерых болгар, имена которых ему назвали, – членами: это

были старосты разных деревень. Священник не соглашался; ему стали грозить, бить плетью: «Если ты не скажешь этого, мы тебя изобьем до полусмерти, свяжем и бросим в эту кучу мертвых». Он подумал, что скажет следственной комиссии, что его заставили дать ложное показание, и написал то, что от него требовали. В комиссии он действительно сказал, что его мучили, показал рубцы от ран. «Заптий, сведи его в “полис”». Вы знаете, что такое «полис»?..

– Нет, не знаю.

– В турецких тюрьмах есть разные комнаты, лучше сказать, клетки разной величины: в одной можно стоять и лежать, в другой только стоять и сидеть, в третьей – только стоять, в четвертой – стоять только согнувшись. Священника и велели в течение нескольких дней постепенно сажать то в одну, то в другую из таких клеток. Когда его привели опять в комиссию, он просил, чтоб его убили, но не хотел сознаться в том, в чем он не был виноват. Его посадили на цепь, приковали к стене одной цепью за шею, а другой через рот за голову, так что цепь проходила между зубами, в таком виде оставили на целую ночь. Наутро привели его опять в комиссию; он опять молил, чтоб его убили, но не сознался. Так его мучили с 10-го мая и отпустили только 24-го июня. На что он походил – можете сами себе представить. Другого священника распяли…

– Как, распяли?

– Да, поставили крест и распяли: только не прибивали рук и ног гвоздями, а приковали их цепями и в таком положении продержали его целые сутки. Его сняли еще живого.

– И все это делается по приказу правительства?

– Баши-бузуки это делают. Вы знаете, что каждый турок, получивший оружие, – а теперь его всем раздают, – становится баши-бузуком, т.е. человеком, который может делать все, не подвергаясь никакой ответственности. Едет христианин из города и везет куль муки: баши-бузук его убивает и говорит, что убил бунтовщика. Целые отряды этих «охотников» рыщут по стране, грабят, мучат и убивают. Сербия слишком медлила с началом войны, а Турция это время употребляла на то, чтобы

терроризировать Болгарию и не дать ей возможности принять деятельное участие в войне.

– Скажите, правда, что греки идут вместе с турками?

– Есть такие. Из конкуренции в торговле они доносили на своих конкурентов, доносили из мести, ходили между болгарами с подпискою, чтоб они подписались, что признают греческого патриарха, а не болгарского; те, которые не подписывались, попадали, по доносу греков, в тюрьмы. Да вот вам случай, говорящий о том, как греки относятся к болгарам. Из Базарджика вели 480 болгар в Филиппополь; они были скованы за шеи, по десяти человек; когда эта армия вступила в предместье, раздался голос: «Бей их!» Толпа турок бросилась на колодников с палками, с дубинами, с кулаками, черкесы с плетьми; поднялся стон и крик; под ударами один упадет и влечет за собой другого, к которому он прикован цепью, другой третьего и так целый ряд валится на землю. Толпа свирепеет более и более и бьет чем ни попало лежащих, принуждая их вставать, дергая за цепи, ругаясь и беснуясь. Солдаты насилу отбили бешеных турок прикладами и повели колодников далее. Все они были избиты, кровь текла по лицам, по шее, одежда порвана; иные насилу шли. Подходят к мосту, разделяющему предместье от города; на мосту устроена кофейня, и в ней собрались греки. Они встретили несчастных криком и насмешками: «Что, восстали? Хорошо восставать, а? Так вас и надо!..» Турецкий офицер, стоявший тут, не выдержал и, обращаясь к грекам, сказал:

– Вы чего? Чего вы радуетесь?

– Радуемся, что преступники схвачены...

– Преступники?! А кровь, пролитая вами в Крите, высохла? Мы помним вас, смотрите, псы! – и он плюнул с презрением в греков.

– Но это невероятно, что вы рассказываете...

– Боже мой, это капля в море. Из этих 480 человек пятнадцать не выдержали страданий и умерли дорогою. Их везли в телегах, как тюки, и велели тотчас же зарыть. Когда их свалили на землю около вырытой ямы, один из них, молодой человек, хорошо одетый, открыл глаза и шевелил губами, стараясь

что-то сказать. Садовник, которого заставили рыть могилу, говорит жандарму, что один жив... Жандарм ударил бедняка сапогом в голову и столкнул в могилу. В Силистрии есть водяная мельница. На этих днях к мельничной плотине пробыло 36 человек, скованных по 12 вместе, за шеи. Живых людей сковывают и бросают в реку, как плот какой. Как они борятся с волнами, какие муки испытывают прежде, чем не утонуть...

– Но говорят, что турки – добрый народ...

Болгарин усмехнулся, подумал с минуту и сказал:

– Фанатики они. Они не злы, но, фанатированные, они не знают никакой жалости. Им, если хотите, так же плохо живется под этим правительством, как христианам; но уж помимо того, что христианин не считается за человека, турки убеждены, что причина их собственной беды – христиане, и с тех пор, как правительство, хотя и для виду, делает уступки христианам, турки находят, что им жить становится хуже, что это Бог попускает за измену пророку.

– А правда это – избиение женщин, детей?

– Не спрашивайте! Волосы становятся дыбом от одних воспоминаний. Не рассказать, не перечесть всех зверств, всех насилий, всех мучений. Можете себе вообразить такую сцену: солдаты сопровождают схваченных женщин и детей, матерей с сыновьями и дочерьми; дети всех возрастов, начиная с грудных и кончая десяти-одиннадцатилетними, есть и взрослые девушки; делают привал; среди белого дня, перед детьми, солдаты бросаются на женщин и девушек и... чередуются, один за другим...

Я вспоминаю подобную сцену в Константинополе, в прошлом году. Порта выписала для устройства почтовой части, которой, кстати сказать, до сих пор не устроено, одного англичанина; раз после обеда он отправляется с женою и дочерью гулять в город; шесть солдат бросились на англичанина, привязали его к дереву и один за другим изнасиловали его жену и дочь; жена умерла, а дочь сошла с ума; в утешение отцу и мужу Абдул-Азис прислал собственноручное сокрушительное письмо...

Разговор наш продолжался довольно долго. Я спросил, что делается в Константинополе?

– Когда я проезжал, там происходили аресты болгар. Истребив села, турки принялись за города: тут им будет большая добыча на счет богатых болгар. Они ни перед чем не остановятся.

– Но Мидхат, молодая Турция?

– Мидхат – это негодяй, грабитель. Ради популярности, ради честолюбия он принимается за реформы, которые выполнить нельзя. А молодая Турция – знаете что? Это турки, которые понимают, что христиане выше их, развитее, и которые ругают правительство и мечтают о возрождении Турции, не зная, как за это приняться. Они хуже еще старых турок. Вот вам пример. В Филиппополе три губернатора сменились в последнее время: один, Ата-бей, был старый турок, религиозный человек, другой, Али-бей, принадлежал к молодой Турции, а третий, Киамиль, что был у вас в Петербурге послом, был из тех, что с Европою знакомы. Ати-бей помог болгарам учредить училище, выдал им деньги авансом, в счет налогов, на постройку здания, и, когда училище основались, он посещал его, бывал на экзаменах и говорил туркам: «Вот и нам бы такие училища нужно учредить». Болгары захотели ему сделать подарок за такое гуманное к ним отношение. Не принял: «Если, говорит, я подарок приму – мне это доброе дело на том свете не зачтется». Сменили его. Али-бей, как только приехал, сказал: «Напрасно болгарам позволили учредить училище»; показывая вид, что он сочувствует болгарской грамотности, как либерал, он в то же время не позволял открывать других училищ. Шамиль, считавший себя совсем европейцем, писал Порте о том, чтоб училище закрыть, и ни разу его не посетил. Выходит, что старый турок лучше всех. Да оно так и есть: у старых хоть религия есть и заветы отцов, а новые на Коран готовы плевать, а Коран ничем себе не заменили, да и заменить не могут. Не им остановить разложение Турции, но бороться она будет отчаянно. Всем жителям раздается оружие, и на днях заказано для них несколько миллионов патронов старой системы. Во всяком турке глубоко живет убеждение, что они – гости в Европе, но что оставят они ее только после

отчаянной борьбы. «Такая будет борьба, – говорят они, – что земля покроется кровью так высоко, что годовалый теленок поплывет в ней, и кончится она только тогда, когда в европейской Турции останется всего 12 турок, подобно тому как 12 турок остались на азиатском берегу, когда остальные перешли в Европу». Настало ли это время?..

Не так бы это было страшно, если б русское общество отнеслось к славянскому делу, как к своему родному, и решилось бы вынести его на своих плечах... Борьба была бы грозная – этого нечего скрывать, но только борьбой мы могли бы укрепиться, только в союзе со славянством мы нашли бы свое спасение, свою несокрушимость, залог для всестороннего и спокойного развития.

Все те, которые сознают это, все те, кто верит в будущность своей родины, кто ее любит, кто желает видеть ее независимою, богатой, просвещенной, кто не желает видеть ее данницею немцев и англичан, пусть идут на помощь славян своими симпатиями, своими жертвами, своей пропагандой славянской идеи, всеславянского единения. Горько пожалеем мы, если упустим настоящий момент, если теперь потеряем веру в себя, в свои силы, в свое призвание. Все партии должны соединиться, все думать об одном, все действовать в одном направлении. Больше, чем когда-нибудь, теперь должно жить в нас убеждение, что мы сыны России и славянства и что удар, нанесенный славянству, горько отзовется на нас, на России.

Я, может быть, повторюсь, но об этом надо твердить каждый день, потому что каждый день теперь дорог.

Сегодня здесь учрежден Центральный болгарский (благотворительный) комитет по инициативе В. С. Ионина. Местные комитеты существуют уже с месяц в разных городах, но не было центра, куда бы могли стекаться пожертвования со всех сторон и откуда давалась бы руководящая идея. Я был на собраниях делегатов от разных болгарских общин (в Румынии около 1 500 000 болгар) и могу только засвидетельствовать о тех горячих симпатиях, с какими относятся болгарские общины к бедствиям своего отечества. Русское общество поможет

центральному комитету выполнить свою роль с небольшою пользою. Вот состав комитета:

Почетный председ.: Вл. Сем. Ионин.

Председатель: К. Цанков.

Подпредседатель: Ив. Грудов.

Кассир: И. А. Григоров.

Секретарь: П. Енчев.

Члены: Кивалжеев, Петров, Висковский, Атаносов, Теодоров.

Выборы производились делегатами от Журжева, Бограда, Краева, Слатина, Турко-Могурели, Галаца и Плоешта.

Помимо своей благотворительной цели, центральный болгарский комитет, заседающий в Бухаресте, может считаться представителем болгарского народа, и одним из первых его дел будет – благодарственный адрес той части английского общества, которая на днях делала представление своему министерству в смысле сочувственном славянскому делу.

Пожелаем успеха этому доброму началу и поможем, чем в силах. Не надо отчаиваться, не надо терять бодрости даже и в том случае, если турки станут одерживать победы. Усилия молодых народов все-таки увенчаются успехом, ибо они вызывают крайнее напряжение со стороны больного, разлагающегося организма Турции. Молодые народы крепнут в усилиях, в борьбе, даже в чрезмерной борьбе, старые, напрягая силы, скорее приближаются к гробу…

Откажемся от Болгарии…

В течение последних дней мы получали несколько писем из Бухареста; сообщения этого города с Болгарией производятся по железной дороге до Журжева, от Журжева до Рущука пароходом; в один день можно доехать до Рущука, пробыть там несколько часов и вечером вернуться в Бухарест. Естественно, что при этой легкости сообщения в Бухаресте всегда можно знать, что делается в Болгарии, в особенности в северных ее частях.

Все полученные нами письма носят на себе крайне тревожный отпечаток и свидетельствуют о новых избиениях болгар. Ежедневно происходят убийства, ежедневно казни, ежедневно грабежи. Болгарину нельзя выйти из своего села или своего города без опасения быть схваченным и убитым. Мусульманское население вооружено все поголовно, тогда как у болгар отобраны даже ножи. Г. Скайлер и князь Церетелев в протоколе о болгарских убийствах указывают на это и говорят о необходимости обезоружить мусульманское население. Но на это обезоружение нельзя рассчитывать, и о нем менее всего может думать турецкое правительство, а с ним вместе державы, покровительствующие Турции, то есть Англия и Австрия.

Положение Болгарии поистине трагическое и безвыходное. Сотни лет она добивается того, чтоб признали болгарскую национальность и дали бы ей свободно вздохнуть. Но этого ей не дают. Надо было истребить города, надо было замучить 150 000 жителей такими муками, которым отказывается верить воображение современного человека и которые даже в Средние века изумили бы всех, надобны были невероятные ужасы, чтобы заставить европейские правительства обратить внимание на эту несчастную страну.

Обратить внимание! Судя по тем переговорам, которые теперь происходят, эта фраза не заключает в себе ничего, кроме иронии, и не обещает болгарам ничего, кроме повторения убийств. Всякая уступка со стороны Порты в пользу Болгарии тяжко ляжет на финансы Турции. Для Порты выгоднее отказаться совсем от Боснии и Герцеговины, чем уступить часть из того произвола, которым управляется Болгария. Болгария не только житница Турции, но это почти единственная ее доходная статья. Отделить Болгарию – и Турции не существует, ибо Болгария – это все пространство земли от Дуная вплоть до Босфора, почти все то, что на картах называется Болгарией и Румынией. Один Адрианопольский санджак приносит Турции 955 000 лир, т.е. более 20 миллионов франков, более, чем весь бюджет Сербии. Расстаться с такою страною – значит расстаться со своим существованием в Европе, дать этой стра-

не автономию – значит приготовить свою гибель; дать ей так называемую административную автономию – значит ничего не дать, значит все оставить по-прежнему и вместе с тем приготовить гибель болгарского народа.

Ни один из народов Балканского полуострова так нам не близок, как болгары, ни один так не расположен к нам, как они. Болгарский язык, почти русский язык, и чем больше он будет развиваться, тем он ближе будет к русскому языку; в болгарских училищах русский язык почти везде обязателен, и вы встретите множество болгар, знающих русский язык, тогда как между сербами знание русского языка – величайшая редкость; болгары стремятся к тому, чтобы объединить свое правописание с русским, сербы – к тому, чтобы сделать свое по возможности самостоятельным. Болгарские добровольцы с восторгом говорили о том, что у них будет русский князь, что русский язык будет общим дипломатическим языком для всего славянства, между тем как сербы эту роль желали бы дать своему языку. Болгарская интеллигенция вся на стороне России…

Мы вовсе не хотим этим сравнением отклонить симпатии русских от Сербии. Сербия важна для нас в другом отношении, и ее стремления к самостоятельности весьма естественны и не только не противоречат видам России, но способствуют им. Сербия – клин в Балканский полуостров, клин в организм Турецкой империи, которую он расслабляет. Сербия – сильные руки, которые бьют, Болгария – сердце, которое изнывает и на котором страшно, болезненно отдается всякая борьба против турок. Кто бы ни наносил удары Турции – Россия или Сербия, Болгария всякий раз от этого страдала и только страдала. Война против Турции – это война против Болгарии, потому что Турция питается Болгарией и всякое напряжение Турции есть напряжение Болгарии. Это – несчастная, роковая жертва в когтях турецкого коршуна: чем больше бьют его, тем глубже запускает он свои когти в бессильно бьющееся тело Болгарии. Пока она не вырвана из этих когтей – судьба ее ужасна; даже предсмертные муки коршуна отдадутся на истерзанном теле Болгарии: он сожмет ее страшно и постарается задушить прежде, чем испустит дух…

Мы не преувеличиваем. Вся история говорит за это, современные события подтверждают это.

Богатая, благословенная Богом страна, доведенная рабством до бессилия, до глухого отчаяния, молит Россию об избавлении от тяжкого ига. Сама она не может свергнуть это иго и чувствует, что та административная автономия, которую ей обещают, окончательно задавит ее. Сами отурченные болгары и православные греки помогут задавить ее, продадут ее, выпьют из нее всю кровь и окончательно обратят ее в послушное стадо, с которого вся шерсть и мясо пойдут на процветание Турции.

У Болгарии нет друзей в Европе; самое сочувствие ее бедствиями является каким-то бесплодным сентиментализмом, с одной стороны, и яблоком раздора для Европы – с другой. Это славянское племя играет роль бесправного негра; за негров Южной Америки, за низшую расу заступилось белое культурное племя и в течение нескольких лет вело ожесточенную войну с белым же и культурным племенем; брат восстал на брата, цивилизованный европеец поднял оружие против цивилизованного же европейца, чтоб отстоять права черного племени на свободу развития, на безопасное существование. Миллионы денег унесла эта борьба, разрушены цветущие города, поля усыпаны костями сотен тысяч павших граждан, и черное племя, совершенно чуждое европейцу, племя задавленное, не способное само отстоять свои человеческие права, получило их ценою крови североамериканцев. Та же Англия, которая теперь не позволяет болгарам быть свободными, и тогда косвенно помогала притеснителям черного племени, но напрасно: правое дело восторжествовало…

Самые либеральные люди в этой Англии говорят теперь: «Заступимся за Болгарию, дадим ей права на существование, ибо это бесспорно культурный, трудолюбивый народ, который сторицею заплатит нам за эту помощь. Заступимся за нее прежде России и отнимем у России всякую надежду на юг, на Черное море, всякую надежду на блестящую роль в будущем. Кровными узами мы не связаны с Болгарией, язык

ее нам чужд, чужда ее вера, непонятны ее нравы, ее обычаи, ее история, но поможем ей, потому что этою помощью мы устраним Россию, мы вырвем из ее рук то, к чему она стремилась всегда, что предназначено ей, как самому сильному славянскому племени»…

Англия понимает, какая сила может быть в болгарском племени, но мы, если не желаем пустить Англию на наше место, должны помнить, что полумеры тут бесплодны: или полное заступничество, или ничего, или все, или ничего. Американцы понимали это, когда вели войну за негров; все полумеры, которые принимались в течение полустолетия в пользу крепостных, оставались мертвою буквою до самого положения 19-го февраля 1861 года. Это ясно, а потому или умоем руки, или потребуем всякой автономии. Если мы не можем потребовать этого, лучше откажемся от Болгарии, лучше скажем ей раз навсегда, чтобы она не рассчитывала на нас, чтобы она не питала на нас никакой надежды, чтоб она отказалась от своего родства с нами, от симпатий своих к нам. А мы в глушь, в Азию…

Да, лучше откажемся! Мы не Западная Европа, мы – Восточная Европа; наши интересы, интересы Восточной и Западной Европы, не солидарны в славянском вопросе. Напрасно «Agence Russe» сегодня говорит, что все европейские кабинеты существенно заинтересованы в практическом применении реформ, так как смуты на Востоке нарушают европейский мир…

Европейский мир! Но если давление будет устроено так, что европейский мир не будет смущен, если наложена будет только искусная заплата на это рабство?

Конечно, Европа не тронется. Что ей за дело до славян, если они погибнут, если они выродятся? Тем лучше для нее. Но разве Россия заинтересована только в европейском мире, только в том, чтобы славянские племена не брались за оружие против своих господ, против этих варваров, которые владеют нашими братьями, населяющими одну из лучших стран в Европе? Зачем же эта самая Россия нарушала этот европейский мир, постоянно воюя с Турцией и даже с целой Европой, когда она заступалась за Турцию? Европа может хранить сей мир,

сколько ей угодно: мы не нарушаем европейского мира тем, что желаем на свой страх и риск освобождения славянского племени из-под ига пришлого, неевропейского племени.

Одна из сегодняшних телеграмм говорит, что турецкие комиссары вымучивают у болгар всеподданнейшие адресы султану «с выражением своего удовольствия». «Особенно неистовствуют эти правительственные чиновники в тех округах, где происходило прежде восстание». Их казнят, мучают, продают в неволю и их же заставляют «выражать свое удовольствие»!.. И они выражают удовольствие, эти бедные негры славянского племени, они будут выражать его, под пытками и мучениями, до тех пор, пока Россия не займет Болгарии и не возьмет ее под свое покровительство.

Но время не терпит.

Недельные очерки и картинки

Дело Струсберга начинается[1]. Помните, весною какой гвалт подняло это дело? Событие первостепенной важности, выдающееся, колоссальное, оно решительно затмевало герцеговинское восстание. Тогда еще только герцеговинское восстание существовало и повторялись имена Пеко Павловича, Лазаря Сочицы, попа Богдана и проч.

А что особенно важного в этом деле? Несколько крупных воров попалось – вот и весь смысл дела. Но тогда мы продолжали еще жить уголовными и скандальными процессами и около них выстраивались в жаждущую движения воды толпу. Один процесс кончался – мы начинали ждать другого, и, на наше счастье, действительно так выходило, что за матушкой игуменьей Митрофанией выскочил Овсянников[2], за Овсянниковым – Струсберг.

Любопытно будет посмотреть, возбудит ли этот процесс и в настоящее время такое же внимание, какое он возбудил бы, несомненно, весною. Продолжителен он будет очень: вероятно, не меньше сорока дней и ночей; что внимание притупится

скоро – это я считаю несомненным уж потому, что в процессе этом слишком много специальных подробностей, нисколько не интересных. Представьте себе, что будут допрашивать массу свидетелей о том, как составляются общие собрания акционеров, как составляются журналы правления, как ведутся банкирские книги и проч. в том же роде. Все это можно рассказать на одной странице, по сути допросить об этом пропасть свидетелей по-русски, по-французски, по-немецки; адвокаты со своей стороны их переспросят, а подсудимые со своей. Все это запишется и – сохрани Бог – все это напечатается. Десятки заседаний пройдут именно в этом, ибо суду для того, чтобы составить себе понятие о самой простой вещи, напр. о том, что пол деревянный, необходимо допросить двадцать свидетелей под присягою.

– Вы показываете, что этот пол деревянный? – спрашивает председатель.

– Согласно присяге показываю – деревянный.

– Хорошо. Г. защитник, не угодно ли вам предложить вопросы?

– Скажите мне, пожалуйста, г. Распопов: почему вы полагаете, что этот пол действительно деревянный? – спрашивает защитник, обыкновенно округляющий фразы.

– Полагаю потому, что вы и сами это видеть можете.

– Конечно. Но, однако, бывают обстоятельства, при которых необходимо точно знать, действительно ли вещь или предмет, или понятие, или объект преступления именно таковы, как кажется. Бывают, наприм., миражи, обман зрения…

– Никакого тут обмана нет.

– Никакого? Хорошо. Но бывают, как вам, вероятно, известно, полы сосновые, полы дубовые, полы березовые. Все ведь это дерево. Из какого же дерева сделан тот пол, о котором теперь идет речь?

– Из какого? Пол дубовый, хороший пол…

– Дубовый. Хорошо. Но если это дубовый, хороший пол, как вы изволите выражаться…

Председатель перебивает:

– Г. защитник, для чего вы все это спрашиваете?

– Мне необходимо определить, г. председатель, степень развития свидетеля, что для моего клиента очень важно.

Председатель старается улыбнуться, хотя ему хочется выругаться.

Защитник продолжает:

– Итак, пол дубовый, хороший пол? Вы это утверждаете?

– Утверждаю.

– Хорошо-с. Я больше не имею вопросов.

Если вы бывали на судебных заседаниях, то, конечно, согласитесь со мною, что это вовсе не карикатура. Судебные следствия сплошь и рядом затягиваются именно совершенно бесцельными допросами. Но беспристрастие – вещь чрезвычайно важная, а потому все необходимо выслушать самым добросовестным образом.

Меня процесс Струсберга в данное время интересует именно с той стороны – уменьшит ли он интерес общества к восточному вопросу или не уменьшит? Станут ли Струсберг, Полянский и К° такими же предметами для разговора, как Дерби, Дизраэли, Андраши, Черняев, или нет? Полагаю, что нет, ибо хочется верить, что господствующим интересом все-таки останется восточный вопрос, который, в своем роде, тоже есть уголовный процесс со всевозможными подделками, тайнами, преступлениями. Тут тоже своего рода Струсберг фигурирует, но Струсберг колоссальный, сотни лет вымучивающий из своих жертв миллионы денег для своего благосостояния!

Виновен ли он или нет? Этот вопрос поставлен, и народы отвечали на него: да, виновен. Но народы – не присяжные; присяжными являются руководители Европы, и между ними только немногие осмеливаются сказать:

– Да, виновен, но заслуживает снисхождения.

Другие прямо отвечают:

– Нет, не виновен.

В настоящую минуту именно происходят совещания присяжных, и никто не знает, какой окончательный приговор они вынесут. Какой бы, впрочем, приговор они ни вынесли,

Турцию нельзя ни сослать в каторжные работы, ни казнить смертною казнью: она взбунтуется против такого приговора, найдет союзников, и – начнется война.

Поэтому о войне теперь только и говорят. Все будто бы уже готово, все поставлено на военную ногу; рассказывают, что начальники отдельных частей имеют в своих руках запечатанные пакеты, что уж отпущены деньги для армии, которая разделена на несколько самостоятельных, больших единиц, что по первому сигналу все двинется…

Двинется ли?

Мне кажется, нет; мне думается, что вопрос так и пойдет разрешаться народным путем, если в русском обществе все более и более будет находиться тех живых сил, которые, не жалея себя, твердо сознавая национальные славянские интересы и ту роль, которая должна принадлежать России, будут стремиться в Сербию и образовывать там армию. Сила должна сломить силу – вот и все. Если б кто-нибудь сказал в прошлом мае, что через два-три месяца наберется в Сербии десять тысяч добровольцев, – никто бы этому не поверил; между тем эта армия собралась без всякой организации, без всякого руководства; только недавно образовался в Белграде комитет для приема добровольцев, и только недавно славянский комитет догадался послать в Сербию своего уполномоченного. И этим, в сущности, сделано мало… Многое можно было бы еще организовать, можно было бы найти преданных людей, целую группу их, которая посвятила бы делу все свое время, всю свою энергию; не случайные какие-нибудь элементы должны войти в эту группу, а люди образованные, которые умели бы хорошо сойтись с сербами и приобрести необходимый авторитет над русскими, отправляющимися в Сербию. Вспомните итальянское движение в пользу объединения, вспомните историю германского движения. Общество, его представители сделали чрезвычайно много для того, чтобы Германия и Италия объединялись.

Считаю нужным сделать тут маленькую оговорку. Когда говорим мы об объединении, мы отнюдь не разумеем – расши-

рение Российской империи и подчинение ей славян. Еще весною говорили мы о том, что разумеем под этим объединением: союз славянских государств с гегемонией России, союз наподобие германского. В прошлое воскресенье мы поместили письмо в редакцию – «Наша национальная задача» – письмо[3], которое возбудило против себя неудовольствие, выразившееся, между прочим, двумя анонимными письмами. Храбрые россияне никак не могут отвыкнуть от анонимных пасквилей, ибо они так удобны: вы выругались, облегчили свою душу, настрочили несколько копий со своего пасквиля для распространения их между своими знакомыми и для упрочения своей кружковой известности, как необыкновенного радикала, смотрящего бесконечно далеко в пространство, и затем совершенно обеспечены от всякого ответа; вы даже того ответа боитесь, ибо очень хорошо знаете, что за теми хлесткими фразами, которые вы излили, скрывается полнейшая ваша пустота и что вам могут ответить совершенно спокойно и в то же время жестоко поразить вас аргументацией, до которой вы, в своем курином миросозерцании, никогда не додумывались.

Автор статьи «Наша национальная задача» мыслил, правда, слишком далеко, но я вас спрашиваю, когда мы научимся уважать чужие убеждения и разбивать их спокойной аргументацией, а не бранью, не выкрикиванием пустых и ничтожных фраз, не показом своего радикализма, вся сущность которого по большей части заключается в том, что люди хлещут самих себя по физиономии, хлещут Россию, и затем, прийдя в спокойный возраст, делаются никуда и ни на что не пригодными, ибо с запасом фразерства и с несколькими азбучными идейками радикализма далеко не уйдешь. Европейская история не представляет случаев, чтоб такие люди могли играть плодотворную роль, чтоб они пользовались общественным уважением, чтоб привели за собою хоть группу какую-нибудь, если не все общество. Все их влияние ограничивается периодом задора, и вся их сущность пропадает в этом задоре, который отнюдь не может длиться особенно. Это – холостые заряды, это – бравирующие инвалиды, которые палят без пороху.

Дело заключается в том, что необходимо пробудить народное сознание, необходимо дать ему *реальные* основы, ибо только такие основы могут поддерживать стремление общества к какой-нибудь, хотя бы идеальной цели. Одни фразы вроде «освобождение», «бескорыстие» и проч. могут на известный промежуток времени возбудить общество, но это возбуждение так же скоро пройдет, как скоро оно возникло. Только у тех членов общества это возбуждение может сделаться постоянным, не столь пламенным, конечно, как в известный период времени, но зато более глубоким, у которых есть реальные основы, у которых есть знание истории, обстоятельств. Из этой мысли и исходил автор статьи «Наша национальная задача»; он может ошибаться в своих стремлениях, он может увлечься своей идеей, но основы ее верны, это основы *национальности и патриотизма,* т.е. самые практические основы, без которых ни один народ не сделал бы ровно ничего, ни один народ не сложился бы в твердый организм. Славянская идея прежде всего национальная идея и патриотическая. Как национальная идея, она обща всем славянам – русским, сербам, болгарам, словенцам, хорватам, черногорцам и проч.; сущность ее – соединение всех славян в один союз, который сделает для цивилизации больше, чем может сделать какая-нибудь одна отрасль славянского племени, отделенная от других и принужденная черпать свою силу только из своего источника или из источников посторонних, чуждых ей. Мы не знаем, что мы можем дать славянам и что нам они дадут, но этот обмен родственных племен непременно должен дать хорошие результаты уже по тому одному, что в настоящее время почти каждое славянское племя теряет пропасть сил на внешнюю борьбу с элементами, ему противоположными, которые стараются его поглотить.

Что касается *патриотической* стороны идеи, тут возможны всякие взгляды – русские, сербские, болгарские, черногорские, и нападать на эти взгляды с пеною у рта, без знания истории и обстоятельств настоящего, а только с запасом фраз прямолинейного либерализма, – по меньшей мере бесплодно. Время должно показать, где правда; время смягчит резкости,

найдет общие точки опоры, общая опасность округлит эти патриотические стремления. Никаким криком, и даже целым морем радикальной пены, вы тут ровно ничего не сделаете. Сделает время, уважение к чужим убеждениям, добросовестная политика во всеоружии знания, а не пустозвонный космополитизм, не самобичевание, не отсутствие патриотизма. Всякий славянин непременно патриот, если он носит в своей душе славянскую идею: серб, болгарин, черногорец и проч. Без патриотизма он потерял бы всякую почву под собою и давно расплылся бы в немецком море, и даже упал бы на дно его. Только радиальный русский человек считает своим долгом не быть патриотом и несет с удовольствием в славянские земли свой беспардонный космополитизм, и врет о братстве народов радикальные фразы. Когда же он видит, что от него сторонятся, что его фраз не слушают, что его приглашают дело делать, быть каменщиком, а не архитектором, он разочаровывается и уходит с бранью и проклятиями. Такие случаи бывали при мне, и, к счастью, они были редки… Большая часть молодежи была далека от этого и явилась в Сербию как простые каменщики, как работники, и перед ними мы почтительно склоняем голову…

Смею выразить такую мысль, что русские люди, наиболее необходимые в настоящее время в Сербии и вообще необходимые для славянского движения, это именно те, в которых сильна и национальная славянская идея, и патриотизм, т.е. любовь к *своей* Родине, какова бы она, т.е. Родина, ни была, как бы мало она ни удовлетворяла нашим прогрессивным понятиям, преданность задачам, стремлениям, чести и достоинству этой многострадальной великой Родины, которую, по словам поэта, сам Христос с ношей крестной исходил, благословляя…

Это меньше всего понимают либералы прямолинейные, воспитавшиеся на чисто европейских началах и вечно смотрящие на носок своего европейского сапога, чтоб как-нибудь он не своротил с той линии, которая проведена европейским либерализмом. Полные преданий сороковых годов, полные *общих* принципов либерализма, они представляют собою русских

доктринеров. Об этих господах стоило бы поговорить подробно, благо случай хороший. Представитель этого доктринерства – «Вестник Европы»[4], и представитель самый выдающийся, наиболее талантливый. Он уже заявил месяц тому назад, что русское общество увлекается и отвлекается от внутренних вопросов. Мы заметили тогда, что для «Вестника Европы» это прискорбно потому, между прочим, что он все еще сидит на учебной реформе и, дальше ее мало видя, не понимает, что дело освобождения славян будет для нас «плодотворнее» бесконечных статей «Вестника Европы» о том, что г. Катков и классицизм – единственные враги России.

«Мы не понимаем, – говорит теперь «Вестник Европы»[5], называя славянский вопрос «внешним вопросом», – какая логика заключается в таком соображении, что война сербов с турками и хотя бы война России с Турцией будет "плодотворнее" обсуждения наших внутренних вопросов. Разве сербы и русские прежде не воевали с турками, разве самая самостоятельность Сербии не была осуществлена при помощи России? И разве это решило хотя бы малейший из наших внутренних вопросов? Разве, наоборот, именно после *блестящего* адрианопольского мира не прошло почти *целого тридцатилетия в полном застое* этих внутренних вопросов? Разве, напр., освобождение крестьян последовало *за победой над турками*? Когда же отвлечение внимания общества на дела внешние подвигало внутренние вопросы? Вся эта теория "оживления" общества посредством войны есть теория совершенно ложная. Войною именно только отвлекается внимание от внутренних дел, и *это отлично сознавали бонапартисты;* наша политика, миролюбивая до последней возможности, означает не нашу слабость и не то, что мы будто бы не готовы к войне, а то, что у нас войну не считают нужною для отведения глаз общества от своих внутренних дел».

Что значит доктринер! У него и логика своя: лет десять жевали мы внутренние вопросы и над этой работой совсем заснули, зачахли; нас приглашает г. доктринер продолжать эту же «плодотворную» работу.

Приведенные строки и либеральны, и благонамеренны, даже более благонамеренны, чем либеральны: в них указывается на застой после *победы* над турками, на движение вперед после *поражения* под Севастополем, на бонапартистов как любителей войны. *Это отделение либеральное. Вот отделение благонамеренное:* указание на нашу силу, на то, что мы *готовы,* но никто не желает отвлекать внимание общества от внутренних вопросов…

Уравновесьте это либеральное отделение и отделение благонамеренное в одной и той же душе – и выйдет доктринер, как раз готовый занять какой угодно пост, даже дипломатический: с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться…

Доктринер «Вестника Европы» ставит, между прочим, излюбленную тему либералов:

– Надо, чтоб нас побили – тогда мы шагнем вперед, а если мы побьем – тогда беда!

Эта тема со времен севастопольской кампании так и ходит; вероятно, из сочувствия этой теме действовали и те интендантские чиновники, которые помогали Овсянникову грабить армию, и те, которые готовы нажиться при изготовлении гильз, патронов, пороха, и те, которые готовы поджечь интендантские мастерские – они же, кстати, и горят уже, – чтоб схоронить в пожаре свои грехи; все это тоже доктринеры в своем роде:

– Помилуйте, Россия еще, пожалуй, победит, а вслед за победою последует застой: давайте обкрадывать казну. Это либерально…

Сопоставление, быть может, очень смелое, ибо гг. либеральные доктринеры «Вестника Европы» – народ честный, но мне кажется, что бояться победы в таком вопросе, как изгнание турок из Европы, – значит обкрадывать народные чувства, обкрадывать его будущее и ничего не видеть в настоящем, кроме одного учебного вопроса, кроме своих маленьких делишек. Победа над турками поведет к совершенной перестановке народных отношений – это будет больше, чем побе-

да аболиционистов над негроторговцами. Распространяться на эту тему я тем менее желаю, что в той же книжке «Вестника Европы» помещена статья г. А. П. «Несколько слов по поводу южно-славянского вопроса»[6]; статья эта не совсем лишена тех же либерально-европейских внушений, но зато в ней незримо больше смысла политического и знания вопроса, чем во «Внутреннем обозрении» этого журнала, откуда я привел выше отрывок.

Г. А. П. высказал много дельного и верного, и его статью можно даже считать ответом на «Внутр. обозрение», ответом, исходящим из того же либерального лагеря, но от человека, который целой головой стоит выше всех остальных членов почтенной редакции. Г. А. П. признает, даже со своей чисто либеральной точки зрения, [успехи] уже теперь значительными и пророчит в будущем еще больше, если только русские сумеют поставить себя к южным славянам в правильные отношения.

Хорошо, что г. А. П. заткнул своей статьей дыры во «Внутреннем обозрении» «Вестника Европы», которое совсем не хочет признать никакого внутреннего значения за современным движением общества. Все это «относится, – говорит оно самодовольно, – *исключительно* к сфере нашей внешней политики, а для внутренних наших дел мы должны ожидать тех или других последствий от собственного нашего развития, от прогресса наших как материальных, так и интеллектуальных сил». Но «собственное наше развитие» зависит ли от того, что мы спим, мошенничаем, обкрадываем друг друга и казну, резонерствуем, ставим на ходули крошечные внутренние вопросы, и от того, что мы просыпаемся, что в нас зажигается вера в свои силы, в свою роль освободителей, что нам становится стыдно за свою спячку, что мы заставляем излюбленную нами доктринерскую Европу считаться с этим движением и делать уступки в пользу угнетенных народов? Зависят ли наши материальные силы от того, что нам возвратят устья Дуная, что Босфор сделается свободным? Или все это только пена и вопрос об аттестатах зрелости, на который «Вестн. Европы» потратил такое бесконечное количество своих листов,

гораздо важнее всего этого «исключительно внешнего» восточного вопроса? Я пропускаю многое, что мог бы сказать, отчасти потому, что говорить об этом не совсем удобно пока, но не могу не воскликнуть в заключение: уж подлинно «Вестник Европы»!..

Мир, господа, мир!

Мир, господа, мир! Хвала богам, если только они в самом деле дадут нам прочный мир, из которого не выйдет никогда войны.

По этому случаю позвольте рассказать истинное происшествие, или, вернее, истинный разговор, происходивший на этих днях в Петербурге между двумя дипломатами, русским и англичанином.

– Чем же все это кончится? – спросил англичанин у русского. – Куда теперь пойдут русские войска?

– Туда, куда поведет нас ваш премьер, Биконсфильд.

– Помилуйте, что за шутки? – возразил озадаченный англичанин.

– Нисколько. У Мольера есть комедия «Le médicin malgré lui» (Доктор поневоле»). Положительно можно сказать, что, по милости вашего премьера, мы, русские, сделались завоевателями поневоле. Вначале мы имели в виду только «улучшение быта христиан». Это скромное желание мы имели право предъявить даже на основании Парижского трактата. Во время константинопольской конференции дело шло как по маслу: даже ваш уполномоченный присоединился к мнению, высказанному большинством. Но вашему премьеру вздумалось помешать удаче конференции, потом затормозить лондонский протокол обидною для чести русского народа оговоркою. Следовательно, причиною войны ваш же премьер и никто другой. Вот почему я утверждаю, что мы пойдем туда, куда нас поведет лорд Биконсфильд. Чем более он будет пугать, тем далее мы пойдем. И если нам придется водрузить русское знамя на

стенах Константинополя теперь, а не через пятьдесят лет, то этим мы будем обязаны вашему премьеру.

Но премьер, кажется, успокоился и удовлетворился.

Политика и печать

Нам приходится слышать, что своей статьей о Бургасе мы принесли «вред», что это была «вредная» статья, так как она вызвала резкие толки в болгарской печати. Но что же вы хотели бы, чтобы эта статья в болгарской печати вызвала? Приглашения – «добро пожаловать – возьмите, что нам не нужно»? Но надеемся – этого ожидать было нечего. Дело шло о части болгарской территории, и очень естественно, что болгарская печать возгласила и возопила. Так и должно было быть, ибо в Болгарии до сих пор, памятуя великое благодеяние России, все как-то не верят, чтобы страна, столько сделавшая бескорыстно, была совершенно свободна от всяких покушений на что-либо болгарское. А между тем это так, и когда болгарин именно нам с особым ударением говорит, что «Болгария принадлежит Болгарии», то нам, казалось бы, вовсе не нужно приходить от этого в растерянное состояние и говорить: «Вот, видите, что он говорит!», но отвечать просто и прямо: «Никто в том и не сомневается, что Болгария принадлежит Болгарии; никто и не покушается на что-либо болгарское, а если говорится о сделке, то о сделке обоюдно выгодной, которая посему ни одной чертой не может нарушить каких бы то ни было прав и интересов Болгарии». Сделки бывают и между великими державами, и между маленькими, и между великими и маленькими, и если они совершаются по взаимной выгоде, то кто из вступающих в сделку имеет ущерб? Кажется, никто. О чем же разговор!? Мы, право, весьма удивились бы, если бы болгарские газеты на нашу статью вдруг воскликнули: «Ах, возьмите от нас Бургас, он совсем, совсем нам не нужен и давно уже надоел!» Но нас нисколько не удивляют их возгласы по сему случаю: «Бургас!.. Без Бургаса что и за существование, какая может

быть и жизнь, и торговля!» Так и должно быть, и болгарская дипломатия – предположим невероятное, что она расположена к сделке с Бургасом, – эта дипломатия, конечно, в сем случае будет довольна своею печатью: «Видите, как это трудно устроить, – послушайте, что кричат наши газеты!» И никто эти газеты не упрекает, что они пишут «вредные» статьи, ибо печать, видящая только внешние декорации политики, – одно, и самая политика – другое. Когда Бисмарк начинал какую-нибудь комбинацию, он нередко в германской же печати поднимал своею рукой агитацию против проектированных им соглашений и говорил тем, с кем он договаривался: «Я бы и рад пойти на большие уступки, но, посмотрите, наши газеты кричат против даже и этого!..» Ему никакая статья газеты не была вредна, но все приносили пользу, и печать говорила и высказывалась, а политика делалась все-таки в кабинете у Бисмарка, и делалась хорошо. Дипломатам талейрановского – не бисмарковского, однако, –толка язык был дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Публицисту немного пришлось бы высказать, если бы он стал следовать этому правилу! Но, и высказываясь, он может утешать себя, что все-таки у него в силу разнообразных обстоятельств всегда будет меньше свободы сказать, чем у дипломата – свободы сделать. Нужно только, чтобы каждый добросовестно делал свое дело.

Мы заговорили о Бисмарке, но удовольствуемся и тем, что и в Болгарии никто не называл статей болгарских газет «вредными» за высказавшуюся в них предубежденность против России, которая, однако, кому же в России может быть очень по сердцу? Но и с этой точки зрения чем «вредны» такие статьи? Он говорит, что Россия опять хочет сделать из Болгарии Задунайскую губернию! И вот и польза от этих статей, ибо это случай и повод еще и еще раз подтвердить Болгарии, что на ее независимость никто в России не только не покушается, но и искренно желают ей дальнейших успехов в этом направлении.

И что бы ни кричали болгарские газеты, исполняя свою обязанность быть стражами болгарских интересов, сердце славянина так устроено, что внутренне, конечно, ни один болга-

рин не будет против появления России в Бургасе, ибо каждый твердый шаг России в восточном вопросе имеет свойство поднимать сочувствием дух и заветнейшие чаяния в душе славянина, на каком бы славянском наречии он ни говорил…

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ

В гостях и дома (заметки о Германии)

I

Наши историки обыкновенно разделяют русскую историю на несколько периодов, больших и малых, и каждый период характеризуют особенными явлениями, большими и малыми, но преимущественно малыми, так как больших, даже при том микроскопе, который постоянно держат при себе наши историки, оказывается немного. Все это прекрасно, потому что если есть история, то непременно есть периоды; но мне всегда казалось, что наши историки недостаточно глубоко проникают в события и упускают существенные черты нашей исторической жизни, имеющие то несомненное достоинство, что они отличаются необычайной простотой; простота же, само собою разумеется, служит к ясному уразумению событий и устраняет всякие головоломные соображения и непонятные загадки.

По моему мнению, которое, конечно, я никому не навязываю, существеннейшие черты нашей исторической жизни заключаются в том, что мы попеременно были одержимы пароксизмами самовосхваления и самоунижения. Сегодня лучше нас нет народа в мире; завтра нет народа хуже нас; послезавтра опять мы оказываемся наилучшею нацией. Таким образом, правдивому историку оставалось бы только надпи-

сывать на отдельных частях русской истории такие заглавия: «Мы лучше всех» и «Мы хуже всех», чтоб каждый истинно русский человек знал, не читая, о чем в тех частях повествуется и насколько жалостливо или комично было наше положение в данном периоде.

Рассудительный читатель, надеюсь, не подумает, что я шучу, ибо достаточно рассудительному читателю кинуть взгляд в глубь нашей истории, чтоб действительно убедиться в несомненном существовании указанных мною черт. И что всего замечательнее в этом, так это то, что выводы всегда противоположны или, лучше сказать, разноречивы с заглавием периодов. Так, если «мы лучше всех» считали себя в известный период, то это значит, что мы были хуже всех или не лучше худших; если же мы считали себя хуже всех, то вывод за данное время был таков, что мы стали лучше худших и даже приблизились к довольно хорошим. Впрочем, дальше этой скромной отметки мы никогда не шли, потому что периоды, когда мы были «хуже всех», отличались обыкновенно краткостью, тогда как периоды противоположного о себе мнения, напротив, тянулись иногда нескончаемо.

Середины почти никогда не было: либо всех лучше, либо хуже. В настоящее время есть признаки, по которым можно уже судить, что наступает пора, когда мы, не обинуясь, станем считать себя лучше всех. Я не был заражен этим самомнением, однако, как человек чувствительный, несколько под влиянием глубоко прочувствованных и красноречивых страниц славянофилов и близкой им по духу и политическим идеалам так называемой иностранною журналистикой партии «национальных демократов», – думал, что если мы и не лучше всех, то не особенно дурны. Конечно, литература наша не может идти в сравнение с европейскою, но она произвела некоторые таланты, преимущественно, однако, в духе «мы хуже всех»; наше искусство не признано самостоятельным в Европе, но мы ведь только начинаем; зато во всем другом мы можем стоять уже наряду с Европою: у нас есть войско, офицеры, генералы и даже полководцы; есть чиновничество, разделенное на четырнад-

цать классов, министры и даже государственные люди; есть промышленность, училища и университеты, прекрасные города, пространные тюрьмы, полиция, железные дороги и другие пути сообщения. Одним словом, есть все такое, что необходимо европейцу, не исключая музеев, библиотек и даже пеших и конных памятников более или менее великим нашим людям. В последнее время завели мы даже закон в форме гласного суда, и если недоставало нам некоторых представительных учреждений, то всем известно, что мы или еще не созрели, или же что нам их и не надо, потому что мы народ своеобразный, которому верховные судьбы дали миссию доказать миру, что представительство есть не что иное, как баловство и переливанье из пустого в порожнее, и что без него славянские племена могут процветать несравненно лучше, чем Запад при нем.

Окрыляемый этими превосходными мыслями, я отправился на Запад. Война помешала мне видеть все его пространство, но я видел Германию в мире и войне, видел проклинаемую у нас Пруссию и думаю, что несколько легких заметок о мелких вещах будут не лишни, во-первых, потому, что мы сбираемся считать себя лучше всех, во-вторых, потому, что я видел Германию во время не совсем обыкновенное.

II

Один немецкий инженер, строивший у нас железные дороги, с большой похвалой говорил мне о сметливости русского мужика, который, будучи нанят для земляных работ, при нужде исполняет каменные работы и проч. «Наш немец на это неспособен», – прибавил он.

– И вы заключаете из этого, что русский народ даровитее немецкого.

– Не из одного этого я заключаю о большой даровитости русского народа. Я присматривался к нему прилежно и довольно долго. Он действительно даровит, но немец имеет перед ним большие преимущества при меньшей даровитости. Немец трудолюбивее в том смысле, что умеет распределять

свой труд с пользою, и если уж что немец знает – то он знает основательно. Вы, пожалуй, способнее нас сделать все, вы многостороннее, но мы сильнее вас своею односторонностью; вы многое можете сделать, но все кое-как, лишь бы держалось, а мы не разбрасываемся, и то немногое, что каждый из нас умеет делать, мы делаем хорошо и прочно. На это, конечно, есть исторические причины, и я думаю, что если б вас не стесняли на каждом шагу, если б у вас было столько свободы, сколько ее есть у нас, то и вы стали бы, быть может, одностороннее, но лучше. Я никогда ничего не слыхал о ваших изобретениях даже в практической области, а у нас таких изобретений много. Дело в том, что, когда человек сидит над чем-нибудь долго, он доведет свое дело до совершенства, насколько, конечно, есть у него способностей. Это выгоднее и в жизни частной, и в государственной, чем многосторонность, отчасти вынужденная и вовсе не направленная. У нас способные люди не пропадают, а у вас им даже негде выказаться, и я сильно удивлялся одному вашему московскому профессору, который, одушевленно говоря о преимуществах русских перед нами, просто восторгался каким-то мужиком, который взлез на какой-то шпиль при помощи одной веревки и ежеминутно рискуя сломать себе шею. «Этого, – говорил он, – ни один немец не сделает». Я отвечал ему, что немец и не подумает этого делать, потому что у немца есть средства сделать это же самое без риску, наверняка. Я видел ваши железные дороги – это срам, какая постройка. При постройке Николаевской железной дороги, говорили мне, много воровали, все, начиная с высших и кончая низшими, но она все-таки лучше всех ваших дорог построена. Понятно, что вам и думать нечего ездить так быстро, как мы, – сейчас все расползется.

– Но вы забываете наш адский климат...

– Что климат? Вы видели наши постройки в Германии – тут приходилось столько трудностей преодолеть, что у вас и речи быть не может ни о чем подобном. Сколько туннелей, подъемов, мостов, какое полотно! В гористой части приходилось употреблять колоссальные средства и труды. Да что?

У нас шоссе гораздо лучше устроено, чем полотно ваших железных дорог. У вас все протекция, взятки, подкуп. Я присутствовал однажды при осмотре вновь построенной железной дороги особой комиссией. Осмотр происходил глубокой осенью; дорога пролегала по местности малонаселенной. Строители пригласили из Петербурга лучшего повара, который приехал с особой комиссией поваров и официантов. Осмотр производился так, что меня гораздо больше интересовала поварская комиссия, на долю которой действительно выпала трудная работа. Среди степи, в холод, под дождем она раскидывала шатры, устраивала походную кухню, сооружала столовую и буфет и приготовляла такие завтраки и обеды, каких у нас король не ест в высокоторжественные дни. Сколько тут было выпито шампанского и других вин, и я думаю, что эти вина не способствовали ясному пониманию дела господами осмотрщиками. Я спросил одного строителя: дают ли они взятки? Он улыбнулся и ответил: нет, но это угощение нам стоит пятнадцать тысяч рублей. Но я знаю, что нигде столько не тратится денег на подарки, как в вашем железнодорожном деле. Об администрации ваших дорог я уже и не говорю: это что-то невозможное. Директора только жалованье получают, но сами ничего не делают; об интересах публики – и помину нет; на ее требования никакого внимания не обращается, и у вас ездить только тем хорошо, которые могут приказывать или которые знакомы с начальством железной дороги. В директора компаний по большей части избираются люди, имеющие связи или знающие ходы к администраторам. Я знал одного такого, совсем немудреного, но он служил докладчиком по железнодорожному делу у одного сановника. Нажившись, он вышел в отставку и немедленно стал приглашаться в директора разных железнодорожных правлений. Ему платили по 5, по 8 тысяч в год, и в одно и то же время он бывал директором в трехчетырех правлениях. Он, разумеется, ничего не делал, но он сохранил все прежние свои связи, он знал все входы и выходы в канцеляриях, он знал, к кому и *как* обратиться в случае нужды. Я не говорю уж о том, что ваше невежество очень глубоко

и иногда на местах, требующих огромных специальных знаний, видишь людей вполне невежественных, гостинных шаркунов, которых водят за нос приближенные и которые и сами настолько недобросовестны, что, отказываясь брать взятки, не отказываются придавать большое значение, торговое и промышленное, таким пунктам, которые его вовсе не имеют, но близ которых лежат собственные их имения.

– Позвольте, вот вы говорили об администрации на железных дорогах, но знаете ли вы, что эта администрация, напр., начальники станций, их помощники, кондукторы, на некоторых дорогах состоит исключительно из немцев?

– Знаю и очень сожалею вам. Вы берете в начальники станций таких людей, которым у нас в Германии не дадут места кондуктора, а ваше общество по этим индивидуумам судит вообще о немцах. Я насмотрелся на ваших немцев и должен сознаться, что либо они ушли из немецкой земли потому, что там не могли бы найти себе пропитания по своей бездарности, лености или невежеству, либо русская среда так дурна, что она втягивает в себя немца и делает его еще хуже русского, хуже потому, что он усваивает себе какое-то высокое мнение о своей особе и на русских глядит с пренебрежением. Вы знаете, что среда – великое дело. У нас каждый служащий – слуга публики и своего дела, у вас каждый служащий – слуга своего ближайшего начальства, а у ближайшего начальства – есть свое начальство, и так целая лестница. Притом вообще всякий важный человек – у вас есть уже начальник всюду, где бы он ни появился. Хотя, говорят, вы очень успели в последние годы, но, приглядевшись поближе, я видел везде такое отсутствие порядка, такой произвол, такую леность в отправлении своих обязанностей, такое пренебрежение к закону и правам публики, что я не могу себе представить, что ж у вас было прежде...

Иностранцу, в самом деле, трудно себе представить, *что* у нас было прежде, когда и теперь не хорошо. Но, выходя из области железных дорог, которых теперь у нас настроено довольно, как много совершеннее их администрация за границей, чем у нас! Говоря «за границей», я разумею Германию и отчасти

немецкую Швейцарию. Не окунувшись еще в европейский порядок, не избалованный еще им, едешь, напр., по Варшавской железной дороге и особенно не возмущаешься, какие бы передряги она ни заставила вас перенести. Но попасть с немецкой дороги на дорогу главного общества – хладнокровие исчезает. Во-первых, 35 верст в час вместо 45–50 на немецких дорогах – уж это не одно и то же; во-вторых, бестолковость кондукторов, когда к ним приходится обращаться, немало поражает вас; в-третьих, смущает вас и международное племя, не русское, не немцы, не жиды, из которого главное общество избирает свой персонал. В-четвертых – вечно опаздывают и, говорят, еще не было случая, когда бы поезда совершенно точно приходили к месту своего назначения. По крайней мере, я не был этому свидетелем. «Ехали за границу – опоздали на полтора часа; ехали из-за границы – опоздали на пять часов, и притом совсем не оригинально, но довольно назидательно».

За Динабургом вдруг останавливаемся в степи.

– Что такое случилось?

– Ничего не беспокойтесь: трубы лопнули в локомотиве.

Начинаются беготня, суетня, брань. Кондукторы ругают машиниста, утешая пассажиров:

– Ведь этакий черт – говорили ему, зачем едешь на испорченной машине? Ничего, говорит, доеду. А как там доехать, когда трубы текли. На прошлой станции говорили – не послать ли отсюда депешу, чтоб выслали другой локомотив? Не надо, говорит, доеду. Вот тебе и доехал – и нам неприятность, и пассажирам.

Делать нечего – вынимают переносный телеграфный станок, ставят его на полотно дороги, соединяют его проволокой с проволокой постоянного телеграфа. Не действует. То один возьмется, то другой, то третий – нет да и только.

– Отчего же он не действует?

– А Бог его знает – не действует.

– Что ж вы сделаете?

– А вот пошлем на станцию пешего. Мартынов, сбегай-ка на станцию.

И Мартынов «бежит» за десять верст, а мы стоим в поле четыре часа, голодные и жаждущие: дело было как раз перед станцией, на которой предстоял чай и завтрак.

Едем далее и смотрим на часы – и убеждаемся, что на каждой станции поезд стоит дольше минутою, двумя, тремя. Ничего подобного, что есть на немецких дорогах, где никто не зевает, где все спорится, кипит, где точны, как... я хотел было сказать «как машины», но это не так. Немцы вовсе не так педантичны и умеют держать порядок разумный: я сам был несколько раз свидетелем, когда поезд ждал лишнюю минуту запоздавшего пассажира и даже, отъехав со станции на четверть версты, возвращался, если опоздавшим пассажирам или растерявшимся на больших станциях, где сходится несколько дорог, удавалось обратить на себя внимание отъехавшего поезда. Потерянные минуты он наверстает на быстроте, но у нас машинист этого не сделает, потому что он не отвечает за то, что опоздал, но отвечает собственным карманом, если истратил топлива более, чем назначено.

И когда убедишься в бестолковости, в небрежности и тупости нашей администрации, то невольно поблагодаришь Бога, что дороги наши растянуты по равнинам. Что было бы с пассажирами, если б у нас природа представила такие же подъемы, спуски, такие же пропасти и туннели, как в Германии и Швейцарии? Население уменьшилось бы наверно, и европейские статистики ни за что не отгадали бы, что причина этому кроется в одном из самых могущественных средств цивилизации – железных путях....

Если б наша железнодорожная администрация высказывала намерение заботиться об интересах публики, то ей можно было бы посоветовать многое заимствовать у соседней Германии. У нас до сих пор нет на таких дорогах, как Царскосельская и Петергофская, так называемых в Германии retour-billet’ов, то есть билетов от одной станции до другой и обратно. В Германии такие билеты выдаются на всех промежуточных станциях. Вы берете, напр., retour-billet от Берлина до Потсдама; билет этот годен вам на два дня, т.е. вы можете остаться в Потсдаме

два дня и с тем же билетом вернуться в Берлин; на третий он уже не имеет силы и вы должны взять новый билет. Конечно, нередко случается, что пассажир, рассчитавший свою поездку на один день, остается в Потсдаме два и три дня; он, таким образом, платит дороже, чем заплатил бы, взяв билет до Потсдама и потом от Потсдама до Берлина; на этих случайностях и основан расчет retour-billet'ов железнодорожными правлениями; для публики же эти «возвратные» билеты выгодны в том отношении, что, во-первых, не надо торопиться на станцию и заботиться о том, чтоб успеть взять билет; во-вторых, «возвратные» билеты стоят дешевле, и притом значительно; в-третьих, «возвратный» билет в курьерских поездах дает пассажиру право ехать обратно со всяким поездом и во всякое время. Для рабочего класса, для торговцев и для комиссионеров эти билеты особенно важны; но наши железные дороги, вероятно, найдут бездну неудобств для своих пассажиров и кондукторов в билетах подобного рода; кроме того, надо ведь особую сумму для того, чтоб отрядить директора за границу для подробного изучения этого сложного вопроса во всех государствах Европы. Как бы то ни было, замечу, что время, на которое возвратный билет годен, рассчитывается по расстоянию: на самых небольших расстояниях оно равняется двум дням, на более значительных четырем, шести, неделе и проч.

На южногерманских, рейнских, французских, голландских и бельгийских железных дорогах существуют еще rundreise-billet'ы, которые можно получать во всех более или менее значительных городах. Эти билеты выдаются на неделю, на три, на месяц, на сорок и даже на пятьдесят дней, смотря по расстоянию, которое вы проезжаете. Расстояние это точно определено в каждом билете, т.е. названы все города, которые вы имеете право посетить. Приведу один пример: из Кёльна вы можете ехать на Люттих, Ахен, Брюссель, Париж, Страсбург, Баден-Баден, Карлсруэ, Дарлштадт, Гейдельберг, Франкфурт-на-Майне, Майнц, все прирейнские города, и возвратиться в Кёльн. Этот круг вам стоит в первом классе 36 талеров, причем вы можете избирать от одного места до другого какой вам угод-

но поезд. Билет имеет силу на 31 день, т.е., предварительно сообразив, вы можете совершить превеселую поездку, останавливаясь в значительных городах дольше, в незначительных – день и два. Если цель ваших стремлений Париж, то, заручившись этим билетом, вы можете пробыть в новом Вавилоне более двух недель и у вас останется еще время на подробный осмотр всех других городов. Благодаря тому, что этот rundreise-billet обнимает Францию, где курьерские поезда существуют только для пассажиров первого класса – что не особенно рекомендует демократизм этой страны, – сумма 36 талеров довольно значительна. В Германии и Италии, где курьерские поезда существуют для пассажиров 1 и 2 класса (в Германии даже для 1, 2 и 3 классов), с помощью rundreise-billet можно очень дешево совершить поездки весьма пространные.

Все, что сказано здесь относительно железных дорог, относится и к пароходам. На швейцарских озерах можно иметь билеты для увеселительных прогулок, lustfahrt-billet'ы, которые выдаются на несколько дней, смотря по расстоянию. Общества пароходства по Балтийскому морю придумали еще такую штуку: если вы берете один билет, платите столько-то; если берете несколько билетов для целой компании путешественников – вам делают уступку, о значении которой можно судить по следующему примеру: переезд стоит $7^1/_2$ талеров, не помню из какого места в какое; если вы возьмете 30 билетов, то платите только по 5 тал. за каждый. Наши петербургские пароходные компании могут смело соперничать в небрежности с компаниями железнодорожными, а потому о возвратных билетах в Петергоф, Кронштадт, острова, Шлиссельбург, на дачи по Неве нет и помину. Оно и понятно: директора ничего не делают, иногда ничего не знают, низшая администрация ведет дело рутинным порядком и все боятся, как бы нововведение не задало работы гг. директорам и не уменьшило дохода. В то время, когда иностранцы всеми силами стараются развить в населении любовь к путешествиям, к любознательности, увеличить число пассажиров, предоставляя им всевозможные льготы, у нас все валится через пень в колоду, кое-как, соглас-

но преданиям отцов, и если в какой-нибудь компании поселится деятельный директор – о нем говорят как о некоем чуде...

III

Удобства, представляемые железными дорогами, пароходами и шоссе (последние в своем роде – тоже совершенство), поднимают в Германии массы путешественников. В каникулярное время вы постоянно встречаете целые общества молодых людей – студентов по большей части, которые то пешком, то по железным дорогам и пароходам изучают свою родину, знакомятся с бытом населения. И никто им не препятствует, напротив, все покровительствует. Нигде у них не спросят паспортов, никто не заподозрит их, что они составили тайное общество с целью ниспровергнуть короля Вильгельма или произвести революцию в среде рабочих. Они вольны и свободны как птицы, и это путешествие, укрепляя их мускулы, дает запас знаний, необходимых каждому человеку. Этот юноша увидит быт народа лицом к лицу, и, когда вступит в жизнь самостоятельным гражданином, у него есть яркое представление о достоинствах и недостатках своей родины. Посмотрел бы я у нас на участь пяти человек, которые бы захотели совершить такое путешествие по одной губернии: им, вероятно, пришлось бы испытать в мирное время гораздо больше неприятностей, чем корреспонденты французские терпели в настоящую войну, когда попадались к немцам, и английские, когда попадались к французам. У нас сейчас же разные блюстители прозрели бы в таком путешествии нечто сверхъестественное, и путешественники должны были бы благодарить Бога, если б их *только* отправили по этапу на место родины.

Оттого мы ничего и не знаем о своей Родине, и она остается для нас и еще долго останется действительно неизвестной землей. У нас есть Кавказ и Крым, могущие по климату и живописности природы спорить с лучшими странами Европы; но попробуйте поехать туда – у нас нет ни одного путеводителя, и вам легче собрать справки о путешествии в какой-нибудь

угол Испании, неизвестный даже испанцам, чем в известные страны собственной Родины. У нас есть минеральные ключи, но и к ним не доберешься, а если доберешься, то натерпишься всевозможных невзгод и по дороге, и на месте.

Вообще каждый шаг за границей доказывает вам, что вы не на Родине, каждый шаг представляет вам материал для сравнений, и, к сожалению, не в пользу Родины. У нас говорят, что немцы выдумали обезьяну; немец выдумал нечто более пригодное, именно порядок, о котором у нас понятия не имеют. Слово это повторяется российскими гражданами постоянно с иронией, а администрацией серьезно; граждане инстинктивно чувствуют, что у нас порядка нет, а есть беспорядок, описанием которого ежедневно заняты наши газеты; администрация тоже чувствует, что у нас нет порядка, и старается ввести его, но, к сожалению, меры ее не всегда хороши и удобоисполнимы; да и вообще порядок приказами не скоро введешь. Что такое немецкий порядок – описать трудно, особенно русскому человеку, привыкшему описывать беспорядок. Это какая-то магическая сила, проникающая все население сверху донизу, это что-то органически слившееся со всем немецким бытом. Это не красивая игрушка, не парад, не что-то случайно приготовленное напоказ высоким путешественникам, а постоянный, прочный уклад жизни, где всему есть своя мера, свой вес и свое место. Словно при создании немца природа сказала не «сотворю немца», а «сотворю порядок» – и немец родился. Нас, людей с широкими натурами, с многосторонностью, имеющею способность ни на чем серьезно не останавливаться, этот порядок иногда коробит, и мы с удовольствием предаемся глумлению над ним, и действительно, он представляет немало сторон, благодарных для меткого остроумия; но когда приглядишься к упорному труду, который царствует в этом порядке, к благоразумной экономии, не пускающей последнюю копейку ребром, к серьезному воспитанию, получаемому молодежью, к незначительной цифре преступлений и ко многому другому, что мирно и хорошо цветет под этим порядком, – сам насмеешься над прежним своим глумлением.

– Посмотрите, что за дурак-немец: только что приехал, лошадь, понятно, разгорячена – а он ее поит.

– Да он поит ее теплою водою.

– Как теплою водою?

– А точно так же, как мы, напр., во время жажды пьем чай.

– Вот что... Штука простая, а ведь мы до сих пор до нее не додумались.

Этот маленький пример может служить образцом наших поверхностных воззрений на немцев. И есть целая лестница «простых штук», до которых мы, при всей широте своих славянских натур, никак додуматься не можем и упрекаем немца в сухости и педантизме, когда приличнее всего было бы себя самих упрекать в невежестве и распущенности. То, что у немца сделалось необходимым жизненным правилом, условием, без которого жизнь немыслима, у нас сплошь и рядом считается либо идеалом, до которого неизвестно еще когда мы доберемся, либо преступлением, подробно обусловленным в своде законов. Может быть, потому немец и считается гнилым, вместе со всем остальным Западом, а мы народом свежим, с миссией конечного счастья для человечества. И этот свежий народ не может еще раскрыть рта в общественном месте, чтоб не оглядеться: нет ли, мол, кого *постороннего?..* А если кто раскроет его слишком широко, то приятели толкают в бок и спешат предупредить: «Что это вы, опомнитесь!» Немец же говорит совершенно свободно обо всем и может невозбранно объявлять всем и каждому, в палате, на митингах, в общественных местах, за табльдотами, что он думает о правительстве, каких он политических воззрений. Сколько я знаю, у нас только один человек объявлял печатно, что он республиканец по убеждениям, и это был Карамзин; у немцев – объявляй себе сколько хочешь, но не выходи из повиновения законам существующего государственного устройства. Мнения – не преступления: это знает даже полиция у немцев гораздо лучше, чем у нас многие либералы, руководители общественного мнения в печати, с жалким юмором и тупым сарказмом обрушивающиеся на немцев.

И вот стадообразная, невежественная толпа гогочет и, поднимая свой нос с гордостью падишаха, любуется своим кулаком; скромные, но тоже невежественные люди приятно улыбаются с самодовольствием невинности. «Да, немцы – это кордегардия, это милитаризм и деспотизм, – бедные немцы!..»

Да, бедные немцы! У них, в этой милитарной и якобы деспотической Пруссии, самый скромный бюджет из всех европейских государств; у них народные деньги не пропадают и идут действительно на народные нужды, а не расходятся по карманам администраторов; у них на соль, напр., нет никакого акциза и их скот употребляет это вещество с бóльшим удобством, чем в иных странах люди; они крошат своим лошадкам такой хлеб, который у нас во многих губерниях никогда не видят люди, а не то чтобы уж едят; у них существует подоходный налог, из которого не изъяты даже члены королевской семьи; у них уже есть артели рабочих, которые владеют заводами и фабриками на правах полных хозяев, и еще больше артелей, которые имеют паи в доходах хозяина; у них рабочих союзов, артелей, обществ взаимного вспоможения, народных банков, школ едва ли не больше числом, чем жителей в Петербурге. А мы все-таки лучше, потому что мы свежее, потому что наша миссия возвышеннее, та миссия, о которой прежде говорили благородные наивные люди вроде Константина Аксакова, а теперь говорят самые грязные газетчики, потому что это выгоднее, потому что это льстит дурным инстинктам массы...

Не подумайте, пожалуйста, что я не ценю свойств и качеств русского народа, что я желаю преднамеренно унижать его. Народные массы почтенны, они заключают в себе бездну талантов и способностей, но дело в том, насколько дано простору последним. Мы будем парить в облаках и говорить более или менее вероятные предположения, если за исходную точку наших суждений станем принимать «неизведанные недра народного духа» и «неизведанные богатства, почивающие в пространной коре земной». Народ ни при чем в наших спорах о его совершенстве; он нас не читает и читать не умеет, да и некогда было бы читать ему нас, когда он в поте лица зарабатывает

деньги не только для своей семьи, но и для нас всех, образованных людей, так как мы освобождены от повинностей, всею тяжестью лежащих на мужике. А самозваных выразителей народа пусть признает кто хочет.

Я понимаю необходимость патриотизма, понимаю, что полезно возвышать народное сознание, но не понимаю, когда говорят, что ему надо льстить. Лесть внушает только одно самодовольство, и льстецы заслуживают такого же осуждения, как и те публицисты, которые преднамеренно выставляют наших соседей в пристрастном свете. Я покажусь вам, быть может, человеком отсталым, но позвольте мне высказаться, что для нашего общества немало принесли вреда те, которые весьма даровито смеялись над парламентаризмом и успели опошлить его в глазах даже просвещенного меньшинства. «Selfgovernment»* в одно время сделалось самым смешным словом, и самые серьезные люди, слыша его, улыбались. Самая даровитая часть нашей печати увлеклась, подобно славянофилам, только с другого конца, многоглаголивой «миссией» русского народа с его общиной, с его расколом, додумавшимся до западного рационализма, трепала несчастный парламентаризм до того сильно, что произошло странное явление. Те, которые наиболее горячо были к нему привязаны и знали, в чем он состоит, замолчали и, так сказать, «ушли в себя». Все более юное унеслось в сферы заоблачные и стало бредить о вещах неосуществимых. Люди хладнокровные просто махнули рукой – оно, мол, и спокойнее. К сожалению, я не могу вдаваться в подробности, но кто наблюдал за нашим обществом, тот мог бы заметить довольно сильный упадок интереса к той политической форме, которую, не испытав, мы так безжалостно развенчали. Быть может, это указывает на ширину нашего духа, на необъятность наших стремлений, но согласитесь, что в изречении Кузьмы Пруткова «нельзя обнять необъятного» есть глубокий смысл, и лично я предпочел бы некоторую узость взглядов ширине их, когда она уж чересчур необъятна и когда даже для узости не расчищено достаточно места. Эта узость так же полезна, как известные

* Самоуправление (*англ.*).

специальности; если для специалиста его дело становится делом жизни и он кладет на нее всю свою энергию, то то же самое можно применить к известной узости политических убеждений: твердо усвоенный, небольшой кружок политических идей делает человека сосредоточеннее, законченнее и сильнее; он служит богу совершенно определенному, знает его достоинства и недостатки и сознательно поклоняется; ширина же политических идей разбрасывает человека, делает его индифферентным и тем легче уживчивым, чем дальше отдаляется возможность осуществления его конечного идеала. Притом в большинстве случаев ширина – порождение индифферентизма или особенно пылкого темперамента, и только в исключениях она – следствие крепкой критической головы; а дела делают не индифференты и не особенно пылкие натуры: это удел спокойных, твердых и рассчитывающих.

Поверьте, что в настоящее время нет ничего легче удовлетворить огромную массу русского общества: начните гонение на немцев и давайте славянские представления с гимнами чешскими, галицкими, словацкими и даже молдо-валахскими: масса и молдаван примет за славян. Как интермедии, недурно устраивать депутации от славян, которые приходят к нам якобы для того, чтоб удивляться нашему могуществу и благосостоянию. Некоторые органы нашей печати с большим успехом проповедуют эту программу, и при нашей ширине политических воззрений, при хвастовстве «неисследованными недрами народного духа» и при пристрастном отношении к ближайшим нашим соседям ближайшие политические идеалы могут сделаться весьма отдаленными.

Я все это говорю к тому, что надо вещи называть собственными их именами и что нам более, чем кому-либо, следует больше говорить о хороших сторонах европейского порядка, чем о дурных. Этим я не хочу отрицать пользу критики чужих установлений, но указываю только на необходимость беспристрастия. Будем, пожалуй, преувеличивать свои достоинства и свои успехи, будем выдавать себе похвальные листы за усердие в науках и добрую нравственность – это поощря-

ет, но не станем называть свое черное белым, потому что оно свое, и черным белое, потому что оно чужое. Беспристрастие постоянно должно нам подсказывать, что мы позади Европы и что много шагов нам предстоит еще сделать прежде, чем мы догоним ее. Да мы едва ли и догоним ее: разве заставим остановиться ее на столетие, разве прикажем ей подождать нас? Но едва ли она нас послушает, и нам остается скромно работать и идти по пятам ее. Это – горькая истина, которую может отрицать только самодовольная посредственность или отчаяние людей умных. По моему мнению, только одним отчаянием можно объяснить обращение к «неизведанным недрам», соблазнявшим, как известно, людей, вполне умных и развитых!.. Без веры живется плохо, и эта необходимость ее порождает кумиры в земных и духовных недрах. А уж какие там недра, когда поверхность не представляет ничего соблазнительного. И это не только в важных вещах, но и во всех мелочах практической жизни, а мелочи составляют весьма важный элемент в народной жизни и могут служить превосходным материалом для характеристики страны.

IV

В Воронежской губернии есть город Бобров, стоящий только в подробных географиях. В этом городе есть у меня родственники. Упоминаю об этом не для своей биографии, а для характеристики наших почтовых учреждений. Прожив в городе Пирмонте, недалеко от Ганновера, я возымел настоятельную необходимость написать в город Бобров. Написав письмо, я отнес его на почту, почта отправила его, и оно дошло по назначению. Казалось бы весьма естественным, чтоб подобной же несложной процедуры было достаточно со стороны моих родственников для ответов мне. Они так и думали. Написав письмо, они несут его на почту. Почтовый чиновник берет его и подозрительно рассматривает.

– Что это за Пирмонт такой? – спрашивает он.

– А город такой в Северной Германии.

– О таком городе я не слыхал.

– Да ничего, что не слыхали: вы возьмите деньги и отправьте письмо.

– Нет, не могу: я о таком городе не слыхал.

Так и не отправил, а я предавался размышлениям томительного свойства – отчего это мне не отвечают? А дело такое ясное, такое знакомое: г. русский почтовый чиновник не слыхал о Пирмонте. Заметьте, пожалуйста, что во всем этом факте самое важное место занимает слово: «Не слыхал». Оно превосходно характеризует состав почтового управления. Его агенты настолько лишь сведущи в географии, насколько «слышали» они от знакомых о разных городах. О Париже он слышал, о Лондоне, Берлине, Вене – он также слышал, но чуть прочтет он незнакомое имя на адресе, кончено – можете посылать нарочного с своим письмом в ближайший губернский город, где, быть может, и найдется знаток, да и то едва ли, если судить по тому, что «сведущий» петербургский чиновник послал письмо, адресованное в Канштадт, – в Кронштадт. Даже слово «Канштадт» вычеркнул и написал «Кронштадт». Тут, очевидно, произошло то же, что и в Боброве: чиновник не слыхал о Канштадте, но о Кронштадте слышал и даже, быть может, был там: поправлю, мол, ошибку и получу заочную благодарность. Это какое-то наивное, добродушное невежество, которое вызывает зубовный скрежет только в лице прямо заинтересованном, а на устах посторонней публики является улыбка. Вы видите, что предания г-жи Простаковой, отрицавшей пользу географии, продолжают жить даже в таком учреждении, для которого знание географии необходимо. Попробуйте проэкзаменовать наших чиновников из географии и оставьте только тех, которые получат удовлетворительный балл, – вы увидите, что некому будет отправлять наших писем.

Проэкзаменовать! Какая дерзость – экзаменовать чиновника! Но в том-то и дело, что у наших соседей, где почта устроена с недосягаемым совершенством, чиновники держат экзамен из географии. Придите на почту и спросите у почтмейстера, как вам проехать ближайшим путем на Вену. Он

расскажет вам это самым обстоятельным образом, потому что пути сообщения ему известны в Европе, как свои пять пальцев. И не на одной почте такие чиновники, а повсюду, во всех управлениях: везде экзамен, везде знания, а не протекция и «семейные обстоятельства». Конечно, исключения есть и там, но это исключения – в дурную сторону, тогда как у нас едва ли не наоборот. У нас говорят, что мы взяли из Пруссии самое худшее – ее военщину и бюрократию. О военщине я подробнее скажу ниже, а теперь только замечу, что все дело заключается в том, *как* взять? Взять форму еще не значит взять содержание, и вся наша беда в том, что мы берем форму, и берем ее тщательно, воображая, что содержание само войдет в форму. И раз взявши форму, мы держимся ее, не обращая внимания на то, что наши соседи становятся содержательнее, что их администрация усовершенствуется, что начальники отдельных частей не только люди вполне образованные, но и специалисты по своей части. А у нас?.. В Берлине за то, что письмо не попало в тот разнос, в который следовало, штрафуют целое почтовое управление и цифра штрафа достигает 12 000 талеров, так как штраф берется пропорционально жалованью: чем оно больше, тем и штраф больше. Меньше всех заплатил почтальон, больше всех – почтдиректор. Оштрафуйте у нас за неисправность кого-нибудь, кроме почтальона, – революция произойдет!.. А дело тогда только и будет спориться, когда почтдиректор так же будет отвечать своим карманом, как последний почтальон.

В Пруссии вы отдаете за письмо 1 зильбергрош и уходите вполне уверенные, что ваше письмо дойдет, что зильбергрош не перейдет в карман почтовому чиновнику. А у нас изобретают такие марки, которых нельзя было бы снять ни под каким видом, и высшая администрация с радостью предается исследованию этого изобретения, ибо она убедилась, что ее чиновники наверстывают скудное содержание на счет отправителей писем. В Германии не берут расписок в получении посылок и телеграмм – такова уверенность в честности и аккуратности чиновника – и письма и посылки постоянно доходят, а у нас и расписку получишь, а телеграмма все-таки не дойдет. А тай-

ны писем? Во всей Германии эта тайна – что-то священное, и когда я говорил немцам, что у нас письма распечатываются и читаются, они слушали это с ужасом, который мне казался комическим: более, чем я, сметливые россияне вероятно бы прыснули со смеху, когда увидели бы эти искаженные удивлением и ужасом честные лица немцев. Да что за важность, что письма читаются, – лишь бы доходили-то, но и этого часто нет: прочтут и не отправят. Скажу яснее: принимай у нас письма неоплаченные, как это делается во всей Европе, тогда бы только письмо пропало, но не пропали бы деньги; но у нас заставят за письмо непременно заплатить и не отправят: почтовое управление ничем не хочет платиться за свою неисправность, а все платимся мы. Наши читатели, впрочем, так часто читали похвалы прусской почте, что это могло и надоесть им; но когда сам на себе испытаешь все удобства в этом важном жизненном деле, как почта, тогда как-то невольно хочется сказать и читателям: да, это верно; все, что вы читали о прусской почте на страницах «Вестника Европы», хотя невероятно, но верно.

Хозяйка дома, у которой я жил в Пирмонте, послала своему племяннику в Гамбург ящик с клубникою. Бывшая при этом русская дама, не посвященная в порядки прусской почты, сказала:

– Как это вы не боитесь посылать клубнику? Ведь вашу посылку раскупорят в Гамбурге на почте. У нас всегда раскупоривают...

– Как же они смеют? – наивно воскликнула хозяйка.

Кстати, это доверие, существующее между администрацией и публикой, производит в высшей степени приятное впечатление. Вам верят на слово, а не подозревают вас, и это доверие гораздо более служит в пользу администрации, чем обыкновенно думают. В таможнях вас не осматривают, а просто спрашивают, нет ли у вас чего-нибудь подлежащего уплате? И при таком порядке таможня получит больше пошлин, чем при осмотре. В самом деле, если мне не доверяют, то я предоставляю гг. чиновникам самим искать, что есть у меня запрещенного. Представьте себе сто сундуков, плотно

набитых: сколько нужно времени чиновникам, чтобы все их осмотреть тщательно, а только при тщательном осмотре, развертывая все бумажки, выкладывая все вещи, можно найти искомое. Но на тщательный осмотр потребовалось бы столько времени, что его взять негде. Гг. таможенные чиновники наверстывают за то на книгах. У меня взяли немецкие газеты, которые купил я в Берлине на дорогу.

– Этого нельзя провозить. Позвольте уничтожить!

– Сделайте одолжение.

И «National-Zeitung», и «Бисмаркова Газета», и «Крестовая Газета» были изорваны в клочки, чтоб не внесли они собою чего-нибудь запрещенного в пределы Отечества. Но множество листов этих газет лежало у меня в чемодане, в качестве оберток: их не тронули потому, вероятно, что они теряют свою зловредность, как скоро в них что-нибудь завертываешь...

V

Увы, вся эта стройность, вся эта гармония жизни нарушилась ужасающим криком «война!». И нигде, ни в одной стране этот крик так не ужасен, как в Северогерманском союзе. Объяви войну наше правительство – это сказалось бы на бюджете, возвысило бы цену жизненных потребностей, понизило бы уровень общего богатства страны, но главным образом война отозвалась бы на том же несчастном мужичке, который участвует во всех повинностях и поборах, во всех горях и напастях, постигающих государство, и не участвует лишь в его радостях и увеселениях. Силой действующей и вместе с тем силой страдательной явился бы народ и в армии, ряды которой он принужден бы был постоянно пополнять. Затем огромная масса зажиточного класса, купечество, дворянство, чиновничество вовсе не было бы заинтересовано прямым образом в бедствиях войны. А многим война представила бы поприще легкой наживы, и они заинтересованы были бы в ее продолжении, как в памятную крымскую кампанию, которая так напоминает настоящую войну, только роли изменились: вместо

русской армии и ее администрации – французская армия и ее жалкая администрация, вместо французов, англичан и турок – пруссаки, баварцы, баденцы.

Совсем другое у немцев. Там каждый заинтересован в войне, каждый несет ее тягости натурою и капиталом и нет тех счастливцев, которым война приносила бы золотые горы, особенно насчет продовольствия армии. Там война действительно народное бедствие, и если настоящая принята была не только без протестов, но с одушевленным патриотизмом, значит, население Германии считало ее совершенно законною и необходимою.

Первый момент – это был момент плача и стона женщин, потом момент проклятий на голову французского императора и подведомственного ему народа, и затем понемногу наступало более спокойное чувство, развлекавшееся патриотическими манифестациями. Что делать: коли война – надо вести ее честно и заботиться только о том, чтоб она поскорее окончилась и дешевле бы стоила. Немец взвешивал причины войны, разбирал действия короля своего Вильгельма и находил, что он поступил благоразумно и благородно. «Благоразумно и благородно» – эти слова я слышал тысячу раз и всегда вспоминал грибоедовские «умеренность и аккуратность». Если б король поступил только благородно – немец был бы недоволен, потому что королю необходимо быть не только благородным, но и благоразумным, главное же – благоразумным, хотя я не видел, в чем заключается благоразумие. «Мы готовы, о, мы готовы! – восклицал немец. – И много побьем французских думкопфов!» Потом он опять начинал размышлять и высчитывать, сколько побьют французские думкопфы благородных и благоразумных германцев. Бывали сцены глубокого комизма и трагизма вместе, и мы плакали сквозь слезы, глядя на благородных и благоразумных сынов Арминия. Сцены эти особенно часто бывали во время того маскарада, который называется мобилизацией армии.

Известно, что в Пруссии и вообще в Северогерманском союзе все обязаны быть солдатами, все, исключая малорос-

лых и имеющих какие-нибудь существенные недостатки. Богатый и бедный, миллионер и крестьянин, купец и профессор – все одинаково обязаны надевать солдатский мундир, прослужить три года в действительной службе, потом в резервах и ландверах: резервисты уже уходят домой и занимаются не военными, а гражданскими делами. Отлучиться нельзя, нельзя и похвастаться своим патриотизмом, представив, например, королю и отечеству единородного сына: он уйдет и без того, а в случае надобности уйдет за ним и отец. Вообще тут нет места тем сентиментально-патриотическим представлениям, которые в таком ходу у других народов, с другою системою образования армии. То, чем у нас можно похвастаться и заслужить наименование патриота особенно усердного, – там всякий обязан делать.

Упомянутые трагикомические сцены происходили именно вследствие того обстоятельства, что каждый немец – либо солдат, либо офицер, когда призывают резервы и ландверы. Чиновник оставляет перо и портфель, купец – свои торговые дела, профессор – свою кафедру, кельнер – свой отель, и все это одевается в мундиры и берет игольчатое ружье. Поражается взор и проникаешься удивлением к этой нации, которая вся идет защищать отечество и еще показывает довольно шумный патриотизм. Несколько дней тому назад вы сидели с изящным джентльменом, молодым и здоровым, только недавно вкусившим сладости супружества с прекрасною и добродетельною супругою, которую он рядил в бархат и шелк и прогуливал в изящной коляске, запряженной красивыми лошадьми. Этот изящный джентльмен имеет очень солидный годовой доход, и жизнь ему улыбалась самым завидным образом. Но вот объявлена война, и джентльмен является в мундире из толстого сукна, в холстинных штанах и несет на плечах своих вязанку сена.

Во время войны 1866 года некоторый русский путешественник, находившийся вблизи расположения прусской армии, встретил однажды стадо быков, которое пас солдат. Тут ничего удивительного не было, но наш соотечественник заин-

тересовался тем, что солдат этот был в очках и, мирно пася быков, читал книгу. Подойдя к этому военному пастуху, он удивился еще более, заметив, что книга, которую пастух читал, была на греческом диалекте. Разговорились, и оказалось, что пастух сей – доцент одного из прусских университетов...

Во время проводов солдат вы постоянно могли видеть, что изящные дамы целуются с солдатами и плачут у них на плечах. Будь это во французской или русской армии – сказали бы, что дамы высшего круга обнаруживали высокий патриотизм, даря свои поцелуи и слезы простым солдатам. В поэтической Германии – это самое прозаичное дело: все это прощанье родных и знакомых, и этот солдат гораздо образованнее нашего офицера.

Что делать, – надо это сказать, особенно когда некоторые органы печати кричат, что Германия – это кордегардия и солдатчина, а русские читатели, знакомые только со своей солдатчиной, наивно верят этому и думают: как, однако, мы выше пруссаков! Нет, к сожалению, мы не выше их. Там почти все офицеры с университетским образованием, там унтерофицеры образованнее наших армейских офицеров, не говоря о таких фактах, как вышеприведенный доцент, пасущий бычачье стадо. Прусская армия – это образованнейшая армия в мире, и она доказывает, что образование не мешает быть армией мужественной и победоносной. Говорят, что в ней уродливая дисциплина; это может быть, но защитники этой дисциплины утверждают, что иначе нельзя при системе ландвера, где зачастую лица высшего общественного положения должны стать под начало лиц низшего положения, что поэтому только строжайшая дисциплина и чинопочитание могут устранить случайности такого порядка.

Организуя страну в войско на случай войны, правительство всеми мерами поощряет стрелковые общества, гимнастические и всякие другие союзы. Почти нет городка, где бы не было такого общества; правительство доверяет стране, считает ее взрослой и в свободных союзах не ищет социализма и разрушительных начал, хотя нередко социализм в них и про-

цветает. Что делать? Крепкое правительство мирится с этим, даже делает уступки социализму, зато и уверено, что, когда потребуется защита чести родины – все пойдут на зов короля – монархисты рядом с республиканцами, социалистами и коммунистами. Только такое себялюбивое правительство, как французское, начиная войну, оповещает мир о каком-то мнимом заговоре, о каких-то резких словах, произнесенных против императора, и о прочей бестолочи, любопытной и интересной лишь для самого императора.

Не знаю, как вы, но я того мнения, что уж если есть армии и армии эти необходимы, пока человечество окончательно не поумнеет и не сольется в едином братском поцелуе – что составляет прекрасную мечту, – то лучше такая армия, где тысячами можно считать людей вполне образованных, развитых и достаточных, могущих отдать себе ясный отчет в политической и экономической необходимости войны, чем такая, где грубое невежество и голь перекатная, где вместо книг – карты, вместо карт – вино, вместо серьезных интересов – интересы плацпарада и двусмысленные похождения. Конечно, оно, пожалуй, лучше, что «мясом для пушек» служит невежественная и голодная масса, жадная поживиться на чужой счет, сырой рабочий материал; но Германия, где все пути к образованию открыты и широки, где гражданки добродетельны и многоплодны, а граждане сильны и крепки, имеет возможность скоро восполнить и поредевшие ряды просвещенных защитников отечества... И мне кажется, что Европа тогда только освободится от бесполезных войн, предпринимаемых не в интересе народа, а для удовлетворения личных взглядов властителей, когда обзаведется именно прусскою системою армии. Когда самый образованный и зажиточный класс будет непосредственно заинтересован в войне, когда министры и короли должны будут посылать своих сыновей в битву, когда война будет не поприщем наживы и интриг сильных мира сего, тогда довольно тяжело будет «с легким сердцем» начинать войну и армия, пожалуй, преспокойно себе откажется проливать кровь для поддержания династических и политических взглядов своего властителя...

Признаюсь вам, я не могу выносить этого дурацкого – passez-moi le mot* – глумления некоторых наших органов над словом «отечество», если оно прилагается к Германии. Эти тупоумные патриоты иначе не называют его, как фатерландом, и для глупцов и невежд это составляет большое наслаждение. Я никак не могу понять, что в этом слове смешного и почему оно смешнее слова «отечество», когда это последнее относится к России, как собранию разных народностей в одно государство. Ведь, говоря откровенно, состав Германии чище, однороднее, чем состав нашего отечества, и, однако, ни один порядочный немец не станет глумиться над этим словом. Но вот чего желалось бы, чтоб русские так же цельно, так же самоотверженно становились за свое отечество, как стали в настоящее время немцы; чтоб наши города, подобно германским городам, по собственному побуждению подписывали по сто, по пятидесяти тысяч талеров на военные потребности прежде, чем король подал пример собою, пожертвовав на войну полмиллиона; чтоб наши министры, подобно прусским министрам, жертвовали по 6000 талеров; чтоб военная администрация наша показала бы себя столь бескорыстной и преданной делу своего отечества, как администрация прусская; чтоб город Петербург, подобно Берлину, собрал для раненых полтора миллиона талеров в неделю. Одним словом, желалось бы видеть в своем отечестве такой же истинный, честный патриотизм, какой видел я в Германии, в этом смешном «фатерланде»... Но когда и все это будет, немецкий патриотизм нельзя сравнивать с нашим, потому что там вся страна идет в солдаты, идет по обязанности, идет все самое свежее, молодое, исполненное жизни и сил, и сверх этого жертвует еще своим имуществом. Это поистине – новая Спарта, Спарта XIX-го века, просвещенная, богатая и экономная. Упомяну еще об одной подробности, которая имела место в одно время с мобилизацией армии. Это набор лошадей. Все владельцы лошадей приглашались привести их на городскую площадь в назначенный день и час под страхом отчуждения лошади. И заметьте – все владельцы: тут исключений никаких

* Простите за выражение (*фр.*).

нет ни для министров, ни для графов и князей, ни для княгини Марьи Алексеевны, которая каждый день при дворе бывает и всем внушает непреодолимый страх. Лошади все в сборе на площади, где сидят депутаты от города, военные приемщики и ветеринары. Лошадей осматривают и самых лучших отбирают. Если лошадь Марьи Алексеевны отберут – конечно, лошадь уйдет на войну, а Марья Алексеевна получит за нее не столько, сколько захочет, а сколько присудит особая комиссия, состоящая из городских депутатов, военных приемщиков и ветеринаров. И если б Марья Алексеевна жила в Германии, то она бы не пикнула, потому что сознавала бы, что она отнюдь не может быть исключением.

Да, мы лучше сделаем, если смиримся перед этим «фатерландом», потому что он сильнее нас и просвещением, и патриотизмом, и честностью. Мы были бы действительно непобедимым народом, если б стояли на той же высоте культурной, на какой стоит Германия; но до этого далеко еще нам. Не нам враждовать с Германией, нам надо подражать ей и изучать ее. Недаром же Петр Великий именно ее и Голландию принял за образец, и не его вина, что наследники его обратились за примерами к Франции. Немалое несчастье для нас заключается и в том, что годы нашего прогресса совпали с годами прогресса бонапартистских идей. Было бы лучше, если б мы заимствовали из Германии, а не из наполеоновской Франции.

VI

– По-вашему, в Германии все доведено до совершенства. Это односторонне!

Так говорили мне некоторые знакомые, прочитавшие начало моих заметок. В свое оправдание я могу только сказать, что я и не претендовал на многосторонность; я говорил только, что в Германии все лучше, чем у многих, решительно все: учреждения, промышленность, торговля, финансы, народное просвещение и проч. Вы едва ли можете мне назвать какуюнибудь отрасль народной жизни, как бы велика или мала она

ни была, которой бы, наприм., нам не пришлось завидовать. Это еще не значит совершенство в абсолютном смысле, но бесспорно совершенство, или около того, сравнительно с тем, что у нас есть. Сравнительно с нами – многое совершенно, сравнительно с другими странами – не знаю и не сужу: я не задавался критикою германской жизни в разных ее проявлениях – я хочу только сопоставить ее с нашею; я хочу только уяснить себе знаменитую формулу, которая с такой легкостью пошла ходить по Руси, именно что «Запад сгнил», а мы процвели.

Я искал этого «гнилого» Запада и находил везде тело более или менее здоровое; я сравнивал его с нашим организмом, и мне постоянно казалось, что здоровье не у нас. И я видел не одни города, не одни «показные», широкие пути, по которым движется масса путешественников; я видел села немецкие, немецких мужиков, немецкие избы, немецкую бедность. Бедность там тоже есть, само собой разумеется, есть и попрошайство, есть эксплуататорство, есть весьма неравное распределение земных благ, есть колоссальный труд плохо оплачиваемый и труд ничтожный, хорошо оплачиваемый, есть, одним словом, все то, чем страдает современная жизнь Европы, но все это на Западе не в такой степени, как у нас, не в такой бессознательной, так сказать, не в такой первобытной, наивной и простодушной форме, как у нас. На Западе во всем залегло сознание, во всем там светится мысль, она дрожит и бьется там в каждом проявлении жизни, а то, что мыслит, то не погибло, то не сгнило, то способно совершенствоваться.

У нас довольно распространено убеждение, что немец очень глубок в отвлеченных сферах, но мелок на практике; я говорю не о практике ежедневной жизни, где немец решительно торжествует, а о практике в широком значении этого слова. Это, пожалуй, и справедливо, если принять в соображение, что в области духа он проникнул в неизведанные пучины, все смерил и свесил, все подверг обстоятельной критике. И все это он сделал почти бесстрастно, без пламенного увлечения, которое часто разбивает все враждебное известному настроению, известной предвзятой идее, единственно потому, что так или

иначе, а надо разбить во что бы то ни стало; немец разбивал аккуратно, не торопясь, долгим и упорным сосредоточиванием мысли на всякой подробности, даже с придирчивостью. Он часто осаживал свою мысль, когда она неудержимо неслась вперед, и как бы говорил ей: «Нет, погоди, мы еще не кончили, мы еще посидим на месте»; и этот добросовестный педантизм делал немца в литературе немножко туманным, даже невыносимым для многих читателей, немцев и не немцев. Если принять в соображение эту критическую деятельность в области духа, то действительно может показаться, что немец на практике мелок, что он признает давно сожженное и поклоняется давно низвергнутому.

Но мне кажется, что самый этот основательный, глубоко разумный процесс в области мышления объясняет, почему немец на практике поклоняется многому тому, что в теории им забраковано. Практика не такая свободная сфера, как мышление: тут приходится бороться с такими твердынями, такими преданиями, такими подробностями, которые трудно сломать разом, к которым даже приступать следует с величайшей осторожностью; практика должна пережить те же моменты, но еще более продолжительные, какие пережила мысль; она будет усваивать себе прогресс мысли медленно, но прочно и основательно, и ни одна страна, быть может, не представляет такого торжества «постепенного прогресса», как Германия. Конечно, порывы и восторженность французов во времена великой революции – грандиозны, как грандиозны и увлекательны многие другие явления бурной истории Франции; но сколько борьбы, крови, жертв, сколько годов тяжких несчастий должна была вынести Франция, чтоб искупить свой высокий энтузиазм, чтоб провести в жизнь великие идеи, таким потоком бившие из голов даровитых и гениальных представителей революции. Скоро Франция будет праздновать годовщину первой своей революции, а многое ли перешло в жизнь и крепко засело в ней из всего того, что восемьдесят лет тому назад казалось столь истинным и поэтому легко осуществимым? Сколько раз видели мы, что она переходила от военного деспотизма к неогра-

ниченной свободе и обратно? Без сомнения, такие порывы и переходы служили превосходным уроком для других стран, черпавших в бурном потоке светлые, живительные струи; без сомнения, без Франции, без отчаянной борьбы этого народа, стремившегося разом овладеть на практике всем прогрессом мысли, Германия пошла бы вперед медленнее, но она, несомненно, пошла бы, потому что продолжала неутомимо учиться, работать и совершенствоваться. А между тем Франция то скакала вперед, то скакала назад; ее порывы были всегда быстры и решительны, словно она не чувствовала себя способной только *идти:* ей нужно бежать или остановиться; она даже с недоверием и с чувством некоторого презрения взирала на свою соседку, двигавшуюся медленным шагом, и как бы думала: «Бедная, жалкая соседка, туманная мыслительница, я не завидую тебе, не завидую тому, что ты так упорно учишься и работаешь, не завидую тому, что ты мыслишь так много и так туманно, ибо что ж тебе и делать во время скучного, томительного пути, как не пробавляться туманными идеями? Но я догоню тебя разом – одного порыва мне достаточно, чтоб ты преклонилась предо мною и признала меня первенствующею державою в мире. Я – сама блеск и яркая мысль; мой день – другие измеряют веками; славе моих фельетонистов завидуют твои короли и князья...»

А Германия все себе шла и шла вперед, точно решившись представить миру доказательство противоположного принципа, именно, что только то прочно и вечно, что приобретается неспеша, не бурными порывами, а твердым шагом человека, сознающего свои силы и свои права. Это – смелость особенного рода, не страстная смелость француза, но все-таки смелость; это – смелость инженера, перебрасывающего легкий мост через бурную реку; это – смелость капитана корабля, самоуверенно пускающегося по океану; это – смелость ученого, столь уверенного в истинах своей науки, что он станет спокойно излагать и анализировать действия властей в аудитории, наполненной властями, излагать с таким спокойствием, как будто дело идет о сусликах; это – смелость оператора,

спокойно отрезающего руку, пораженную антоновым огнем. Но инженер, перебрасывающий мост через реку, не уничтожает реки; оператор режет руку, чтоб спасти остальное тело; голову он отрежет только у трупа, а не у человека живого, хотя бы в немедленной смерти его он был убежден. Хорошо бы, конечно, перелетать реку вместо того, чтоб трудиться строить через нее дорогой мост; хорошо бы совсем уничтожить заразу, чтоб она не заставляла резать члены, и т.д.; но пусть к этому стремятся пылкие души, страстные мечтатели, не умудренные опытом истории и истинами механики и медицины; их порывы, их дерзновенная отвага могут иметь свои плоды в отдаленном будущем, но для настоящего надо пользоваться данными настоящими: мы переедем реку, вылечим от антонова огня, возьмем, или, лучше сказать, заставим своею серьезностью, дальностью и крепостью дать необходимые нам права и побудим справляться постоянно с нашим мнением по всем вопросам, которые касаются нашей жизни, нашего кармана, нашего духовного развития.

Понятно, что при таком серьезном отношении к действительности, при таком «ученом» взгляде на вещи немец может быть и либералом и радикалом в одно и то же время – либералом на практике и радикалом в теории. Оттого, быть может, некоторые остроумцы и говорят, что у двух немцев непременно три мнения; к этому можно бы прибавить, что два из них непременно разумные и основательные. Если бы мы стали считать, сколько мнений приходится на двух русских, то едва ли могли бы отвечать на этот вопрос удовлетворительно. По большей части у нас совсем никаких мнений нет, и замечательно, что мы этим нимало не тяготимся, тем более что всегда есть книги, из которых довольно легко заимствовать необходимое на известный случай: «Что последняя книга нам скажет, то на душе нашей и ляжет». Не хлопотливо и недорого: книги у нас – товар дешевый. Вообще же можно положить, что mininum на двух русских можно положить шесть мнений: одно у каждого из них для себя самого и очень тесного кружка домашних и друзей; другое – для знакомых более или менее близких, тре-

тье – для незнакомых и в общественных местах. Я мог бы прибавить, что есть еще четвертое мнение – для начальства, но это, собственно говоря, даже и не мнение.

VII

Я не могу не вспомнить одного своего приятеля, отчаянного французофила, который писал мне из Берлина в начале настоящей войны: «Разве есть немецкие либералы? Немецкий либерализм смешон». Я отвечал ему, что, может быть, немецкий либерализм смешон, но он, несомненно, серьезен, потому что подкладка под ним весьма положительна – сознательное отношение ко всем вопросам политическим, юридическим и религиозным. Правда, либерализм этот всегда в меру, но это в характере немца, в складе его ума и образования, как говорил я выше; та же черта сказывается и в вопросах религиозных. По-видимому, при существующей в Германии свободе религиозной критики надо бы ожидать, если смотреть на дело с иной, запретительной точки зрения, что немцы – самый безбожный народ. В самом деле, Евангелие у них анализировано самым обстоятельным образом, в Библии нет места, оставшегося без комментариев, не всегда уважительных; самые ортодоксальные писатели принуждены «мирить» науку с теологией и делать многие уступки в пользу первой: соблазн очевидный, и, однако, немец религиозен и продолжает верить и молиться даже в то время, когда перечитал и усвоил себе многие истины, добытые наукой. Противоречие странное, но легко объяснимое: говорят же, что астрономы, наиболее основательно изучившие небо и законы, управляющие течением небесных светил, люди религиозные. Привычка к вечному анализу, кропотливое внимание ко всем подробностям, постоянное взвешиванье и примеривание, заставляющие уважать веру других и самому не оставаться в пустоте и потемках, делают то, чего не могут сделать и никогда не сделают никакие полицейские постановления, никакие гражданские и духовные цензоры. Таким образом, давнишняя свобода исследования во всех об-

ластях мышления не только не мешает немцу быть человеком умеренным и основательным на практике, но эта свобода и создала эту основательность. Не беда, если человек все знает и все понимает, – беда, если он мало знает и мало понимает; знание делает человека возмужалым очень скоро, незнание оставляет его надолго в пеленках. Немцы не называют себя народом молодым, а мы прожили тысячу лет и все молоды, и не краснеем за эту молодость, хотя она, бесспорно, молодость старой девы, не желающей замечать морщин, бороздящих ее лицо.

– Отчего вы не выходите замуж?

– Рано еще: мне только еще тысяча лет. Я не созрела.

– Да? Как вы счастливы: подождете второй тысячи?

– Подожду, потому я не хочу обижать родителей.

Нет, не шутя, когда посмотришь кругом и увидишь – что же? Плохая научная подготовка, вечные отступления в сторону, отсутствие в умах дисциплины, никогда прочно не насаждаемой приказами и «правилами», мелочным преследованием, шаткость убеждений и легковесность морали и т.п., чем так сильно страдают у нас. У нас наука и критика постоянно на привязи, как добрый конь, которому не дают размять членов, не приучают к свободному и благородному бегу и кормят впроголодь; вдруг, в одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, коня спускают с привязи и дают ему вволю овса – конь начинает брыкать и мчится, закусив удила.

– Ну вот, – кричат иные с боязнью в сердце и с торжествующей улыбкой на лице, – мы говорили, что рано еще спускать, – на наше и вышло!

Начинают ловить коня, выпустят множество народу для ловли и, разумеется, поймают, постегают его изрядно и снова на привязь и солому, и выходит в конце концов, что наука и критика – кляча клячей, а немцы кричат между тем у себя про нас:

– Да помилуйте, русские – это неспособный народ; со времен Петра их учат-учат – ничему не выучат. Еще дело идет кое-как на лад, когда они приглашают к себе в наставники немцев, как культуру приносящий и культуре споспешествующий (culturbringendes und culturfurderndes) элемент. Помилуй-

те, денег тратят множество, а ничего не выходит, потому что в самом характере нет терпения и выдержки, нет культурных элементов. Из всех университетов только в одном Дерптском все ученые силы, требуемые штатом, налицо; во всех остальных – страшный недостаток: в Казани из 117 преподавателей по штату – налицо только 64, в Киеве из 114 – 67, в Харькове из 114 – 76 и проч. и проч. Правительство отправляет молодых людей за границу, расходует для этого большие суммы, а молодые люди оказываются неспособными. Русские воображают, что к профессуре можно приготовить всякого, и не обращают никакого внимания на призвание, которого, впрочем, и нет или которое и существует только как счастливое исключение.

– Неправда, – говоришь им, – вы не знаете наших дел, вы не можете вообразить себе всех наших условий, которыми было обставлено наше просвещение, вы не можете себе представить той бюрократической рутины, которая разъедала у нас все...

– А что же это доказывает!? Это доказывает, что вы неспособный к культуре народ...

– Но выслушайте: нам не доверяли, не слушали нашего голоса, не хотели знать наших потребностей; каким образом у нас могут развиться призвания, когда у нас в филологи набирали молодых людей точно так же, как ваш Фридрих-Вильгельм набирал себе солдат: кому есть нечего, кому деваться некуда – тот и идет, а если и таких нет, то прямо говорят: мы дадим стипендию только тем, которые захотят быть филологами... Захотят быть?! Ведь это все равно, что захотеть быть Гумбольдтом. Наше просвещение....

– Oh, das wissen wir schon, ihre Volksaufkldrung!*

И немец улыбается самым добродушным образом, и на языке у него вертится немецкий *виц.* Мне становится ужасно конфузно; я смотрю на него исподлобья и утешаюсь: погоди, думаю я себе.

– Oh, das wissen wir schon, ihre Volksaufkldrung! – еще добродушнее повторяет немец. – Вы – нация оригинальная в том отношении, что начинаете с конца, тогда как все культурные

* О, знаем мы ваше просвещение! (*нем.*).

нации (и он подчеркивает слово «культурные») начинают с начала. Народное просвещение вы начали с академии и утешались тем, что вы наравне с другими стоите, потому что и у вас есть академия наук. За этим первым представлением последовало другое – законодательная комиссия вашей Екатерины: вот, заговорили в Европе, свет идет теперь из России. Но ах, свет от вас так и не вышел. К академии вы прибавили университеты, к университетам гимназии, к гимназиям *несколько* народных школ – и баста! Много ли это? Вы хвалились, что вас 60 миллионов, стало быть, у вас 9 миллионов детей; полагая на каждую школу по 50 детей, что очень много при ваших расстояниях, вы должны бы иметь 180 000 школ, но у вас их всего около 30 000, и вы стояли ниже Турции, потому что в Турции из 100 детей 11 посещают школу, а у вас всего – 6. Вот вам и остается утешаться тем, что у вас есть по части просвещения все, но народного просвещения нет. У вас все так: есть формы для всего, но сущности нет. Ваша законодательная комиссия упредила на несколько лет учредительные французские собрания, но из этого не следует, что вы упредили Францию, нет, не следует, – добродушно повторяет немец и жмет мне руку.

«Господи! – думал я. – Хоть бы сквозь землю провалиться....»

– Да, – продолжал он, – у вас, впрочем, есть кое-что, чего и у других нет: у нас, напр., все школы сосредоточены в руках одного министерства, а у вас все министерства хотят просвещать народ и у каждого есть под ведением школы. По-видимому, как бы процветать вам должно, когда все народ просвещают, а вот нет же этого, и нет потому, что вы народ не культурный....

Я не на шутку начинаю волноваться и доказываю этому филистеру, что виноваты не мы...

– О, я и не думаю обвинять вас. Мы знаем о вас больше, чем вы воображаете, мы знаем вас, как свою родину. Ведь доказали же мы, что Францию знаем мы лучше французов; недаром же и все ваши путешественники были немцы: вы даже самих себя не можете изучить или не хотите...

– А чьи же школы у вас лучше? – начал опять немец.

– Чьи лучше – я не знаю. Но я знаю, что военное министерство преследует в своих школах принцип реализма, народного просвещения – принцип классицизма и таким образом оба принципа идут братски, взаимно друг друга поддерживая и подталкивая. Нам не было бы спасения от латыни и греков, если бы не было военных гимназий...

– Вам не будет спасения ни от такого реализма, ни от такого классицизма по той простой причине, что там, где нет народных школ, там не может быть насаждена твердо ни одна система образования. Это все равно, что начать строить дом сверху, с крыши. Быть может, удастся и таким манером построить дом, особенно крышу: можно вывести ее очень высоко, так что далеко ее будет видно, и потом выводить этажи, но я знаю, что никто и нигде так дома не строит. А вы все с крыши начинаете, и, конечно, одному Богу известны результаты: пожалуй, вам и удастся провести это новое начало в европейскую цивилизацию...

Я был несколько озадачен всем этим, но потом утешился, когда мне удалось услышать разговор одной русской дамы с другим немцем, отец которого долго жил в Москве и вывез оттуда даже самовар, который, кстати сказать, усваивается европейскою цивилизацией. Дама доказывала немцу, начитавшемуся, очевидно, брошюр о немецких колонистах в прибалтийских губерниях, что у нас последним очень хорошо, что они у нас не столько подчиненные, сколько хозяева и что вообще и всем другим немцам у нас очень хорошо и они занимают даже высокие места.

– Далеко еще не все, – возразил немец.

А, подумал я, это все из зависти они так плохо отзываются о нашем народном просвещении и утверждают, что мы воздвигаем его с крыши: им хочется всюду насадить немцев... Но так ли это? Нет ли правды в немецких словах? Какие цифры представим мы против их цифр? И воображение рисует мне милую, дорогую родину, пространную родину и пространное невежество, и пространные затруднения, которыми обстав-

лены у нас устройство и ведение школ, и я невольно нападаю на мысль: разрушают ли дом оттого, что в нем усмотрено несколько худых камней? Нет, вместо этих камней можно вставить новые. Отчего же мы разрушили воскресные школы, когда увидели, что в них завелось несколько наставников, которые начали учить невесть чему вместо того, чтоб учить азбуке? Разве нельзя было устранить этих наставников, разве нельзя было подвергнуть благоразумному контролю это благородное стремление образованной части нашего общества обучить неграмотных мужиков? Не разрушили ли мы дом за то только, что в нем оказалось несколько негодных камней?.. Когда Бог вздумал наказать Содом и Гоморру, он обещал Лоту пощадить эти города, если в них найдется только несколько праведных. Но то был Бог! Мы же, верующие в этого Бога, более склонны поступать совершенно наоборот.

VIII

А как бы нам нужно учиться, Боже мой, как нужно! Европа не будет нас ждать долго, а между тем внутри нас сидит весьма опасный враг; этот враг – наше невежество, наша отсталость, наше незнакомство с азбукой общественной и политической жизни, столь колоссальное незнакомство, что мы продолжаем упорно считать вредным многое из того, что на Западе считается бесспорно полезным. И эта война с невежеством должна быть на жизнь и смерть, отчаянная, упорная война, ни на минуту не ослабевающая.

В наше время существует еще и другой бич, из области внешней политики; он нов по своим средствам и по своим задачам, хотя, по-видимому, средства и задачи стары – война и европейское равновесие! Над последними одни смеются, попирают его ногами, другие ставят его на прежнюю высоту и кричат: не допустим нарушить европейского равновесия! Все это ужасно старо, все отзывается гнилью и плесенью, и в море обыденных фраз, испускаемых нашею журналистикою на этот счет, напрасно вы станете искать даже подновленного

слога, каким писалась в былые дни целая куча сочинений о европейском равновесии.

А между тем оно существует, оно должно существовать, это равновесие, но в новой форме: это, если можно так выразиться, не просто европейское равновесие, а равновесие европейской цивилизации, не счеты за территориальные границы, за присоединение разных клочков земли, а счеты за умственную отсталость, за духовную слепоту, за расширение и уровень умственной территории. Уже войска первой революции, безжалостно нарушавшие территориальное европейское равновесие, восстановляли равновесие умственное; но без железных дорог и телеграфов нельзя было быстро совершать подобные перевороты, и Европа, покрываясь этими быстрыми путями сообщения, тешилась на Востоке и делала небольшие революции у себя дома. Со времен Крымской войны начались войны мирно-революционного характера, т.е. преобразовательного характера в своем результате. Мы слишком прежде высоко подняли голову, не имея на то духовного права; нам доказали это очень ясно и осязательно, и мы бросились вдогонку за Европою. За нами настала очередь Австрии, которой потребовались два сильных урока, чтоб обновить свои обветшалые формы; за Австрией страшно поплатилась сама Франция. Там оставались глухи к голосу общественного мнения, строго наказывали печать, если она посмеет сказать резкую правду в глаза, и полицейским порядком, втихомолку «запрятывали» недовольных, если они неосторожно выражали свое мнение; стесняли совесть, мысль, но зато расширяли права и число полицейских, возлагая на них всю надежду; благодаря таким мерам страна теряла дух инициативы, приобретала равнодушие к общественным делам, становилась даже неспособной на патриотические порывы. «У меня есть преданная армия и преданная полиция», – думал Наполеон и спал на лаврах, успокоенный насчет революции. В самом деле, с армией и с полицией можно было стеснять жителей, можно брать с них произвольные налоги, можно не отдавать им ни в чем отчета. Но вот армия разбита, деньги потрачены

на войну и правительство осталось с народом, обессиленным им же самим. Это слово в слово случалось с Австрией; но теперь, не делая революции, она нашла в войне 59 и 66 годов результаты более блистательные, чем какие могла бы дать ей революция. С Францией случилось нечто несравненно более трагичное, и теперь весь свет относится с уважением к тем самым людям, которые слыли за противников общественного порядка, а охранители этого порядка явились в своем настоящем свете, т.е. охранителями своей карьеры, которая была и есть и будет дороже им всех интересов родины.

Но и революции, и войны – все-таки бичи, и, конечно, было бы желательно, чтоб мир не видел ни тех, ни других; Европа осела в своих геологических переворотах, пора бы осесть ей и в переворотах политических, но случится это, вероятно, не скоро, и над народами еще множество честолюбцев станут производить свои эксперименты. Даже мечтатели о Соединенных Штатах Европы вряд ли станут спорить, что и при существовании подобных штатов может возгораться война столь же убийственная и продолжительная, как американская. Понятно, что до этих Европейских Соединенных Штатов нам так же далеко, как до звезды небесной, и надо утешаться уже и тем, что Европа дожила до той поры, когда никакому государству, занимающему часть ее территории, невозможно больше отставать от других, если оно не хочет испытать на себе всей тяжести ответственности за свою отсталость.

Привилегированные патриоты наши увидели опасность, которая грозит нам со стороны Германии, но они, к сожалению, понимают эту опасность чрезвычайно узко, и, как ни вчитывайтесь в многоречивые статьи их, ничего не вынесете из них, кроме того, что Бисмарк непременно отнимет у нас Остзейский край. Я не знаю, замышляет ли это Бисмарк, но нельзя быть уверенным в том, что рано или поздно нам придется вступить в борьбу не с одними туркестанцами. История исполнена случайностей, и в ней нельзя предсказывать, как в астрономии. «Мы должны готовиться», – говорят патриоты; «мы не готовы», – великодушно сознаются самые смелые из них. Но

с этим последним уверением никто не может согласиться. Военный бюджет Северогерманского союза составляет 67 милл. талеров, военный бюджет Франции – 100 миллионов, а наш военный бюджет – 150 милл. талеров. Вот доказательство, что мы могли бы вызвать на бой весь Северогерманский союз и с Францией вместе, а нам говорят, что мы не готовы для одной Пруссии и что Бисмарк возьмет Остзейский край. Если б Остзейского края у нас не было, патриоты не пошевельнулись бы, но теперь «они не готовы». Радуюсь этой откровенности, но сожалею, что она не полная. Робко и многоречиво, пряча свою мысль в обилии патриотических фраз, в какой-то смеси ухарства и уничижения, они стали прибавлять в последнее время, что нам необходимо завести такую же народную армию, как в Пруссии. Это все ради Остзейского края – не будь его, народной армии нам было бы не нужно, как не нужно теперь ничего другого, кроме народной армии. По крайней мере, патриоты никаких других желаний не высказывают; народная армия – и только: неграмотному очки – и он будет читать превосходно.

Да не подумает читатель, что я желаю говорить против образования у нас народной армии; совсем напротив: если есть у меня пламенное желание, то именно это, но я знаю в то же время, что одного этого недостаточно. Надо, чтоб и все другое у нас хотя бы приблизилось к уровню уж если не общеевропейского, то по крайней мере прусского, да, прусского, как это слово ни режет чувствительные уши читателя, привыкшего думать, что Пруссия – это даже не Европа, а нечто вроде России, только послабей в военном отношении. Конечно, она нашла своего мастера для ружей, тогда как мы искали их повсюду, то принимая один образец и переделывая по нем свои ружья, то принимая другой и переделывая по нем переделанные уже и т.д., но это ничего – известно, что мы не так скупы, как Пруссия. Правда и то, что самую военную форму мы заняли от Пруссии, но зато сколько раз мы ее переделывали, тогда как Пруссия переделывала ее очень мало.

Говоря серьезно, очень жаль, что вместе с формой мы не заимствовали от Пруссии ее военной системы; еще более жаль,

что, принужденные после севастопольской кампании, принесшей нам немало поражений и невыгодный мир, мы не вспомнили о прусской военной системе, а ограничились реформами, правда существенными, преобразившими нашу армию, но не столь существенными, какие решительно приняла Пруссия после поражения при Иене. Униженная, обрезанная в своей территории, низведенная в разряд ничтожных государств, принужденная даже держать только известное количество войска, как мы принуждены были не держать флота на Черном море, Пруссия нашла энергических и талантливых людей: в то время как Штейн взялся за внутренние реформы, Шарнгорст, Бюлов, Гнейзенау и др. решились, к ужасу и негодованию сильной аристократической и придворной парии, – ввести всеобщую военную повинность. Дело неслыханное и до сих пор остающееся беспримерным, дело, стоившее Пруссии названия милитарной, в самом худом значении этого слова. В самом деле, самую тяжкую повинность, на которую обречены обыкновенно те, которые несут наиболее тяжкий и неблагодарный труд, заставить исполнять всех, решительно всех, и даже не дозволить выкупа, не дозволить богатому поставить вместо себя рекрута – какой взрыв негодования должен был объять всех привилегированных рождением и богатством! Ведь это не то, что Сперанский у нас сделал, заставив дворянство кое-что делать на службе гражданской; но мы его сломили за это (между прочим), и все дворянство рукоплескало этому падению. Я недаром вспомнил Сперанского: когда ему ничего не удавалось, в это же время его прусским современникам удалось многое, и мы недаром остались позади...

IX

Едва ли теперь надо еще доказывать, что победы зависят столько же от гения полководца, сколько от духа и вооружения армии: гениальный полководец создает обыкновенно и дух армии; но так как гениальных полководцев нельзя достать из кармана при всякой нужде, то приходится довольствовать-

ся духом армии, ее энтузиазмом, ее твердым сознанием своего долга, т.е. устранить по возможности случайность и создать нечто постоянное. Когда немцы в эпоху большой революции двинулись во Францию, они имели сначала успех; но когда образовалась наскоро республиканская армия – немцы простились с успехом. Немецкого солдата того времени, эту живую машину, привыкшего к пассивному повиновению своим командирам, привыкшего не рассуждать и не иметь другой воли и других целей, кроме воли и целей отцов-командиров, страшно поразило во французском войске граждан именно то, что, по мнению отцов-командиров немецких, должно было погубить республиканцев, – это отсутствие в них механической выправки. Немецкий солдат очутился в беспомощном положении против воодушевленного француза, который бежал вперед из рядов и дрался самостоятельно, бросаясь то на того, то на другого неприятеля. Эту свободу и самостоятельность Наполеон употребил как могучее орудие нового способа войны; когда уже приходилось не защищать свое отечество, а идти на завоевания, гениальный полководец создал дисциплину и открыл широкую дорогу всякому дарованию. Тот не солдат, кто не надеется быть генералом – у нас это больше для пустословия говорится, а во французском войске действительно каждый солдат мог быть генералом и маршалом и солдаты делались генералами и маршалами. Такой новый принцип создал превосходную армию, против которой старая Пруссия не могла выставить ничего равносильного. Тогда-то она ввела общую военную повинность, рассчитывая, что войско, составленное из людей всех званий, народное войско, проникнется любовью к отечеству и чувством своего долга несравненно сильнее, чем механически созданные солдаты, которым в массе более знакомо чувство повиновения и страха, чем чувство настоящего патриотизма. Расчет всегда оказывается верным, когда неестественное противополагается естественному. Понятно, что такое войско было образованнее прежнего и, стало быть, необходимо было создать и образованных офицеров. Завели офицерские экзамены, военные школы и разные другие

образовательные средства. Протекция, наполняющая обыкновенно армии высокопоставленными, но бездарными и ничтожными офицерами, потеряла значительную долю своей силы, когда сын фельдмаршала не мог сделаться поручиком, не выдержав строгого экзамена.

Таким образом, прусское войско явилось представителем новой эры в военной истории; во время войн за освобождение Европы оно показало себя с лучшей стороны, но затем продолжительные годы мира, когда оно было почти бесполезно, были употреблены на плац-парады, бессодержательные ученья, на механическую выправку, на уничтожение самостоятельности в солдате; необычайная выправка русского солдата, которою так усердно занимались в прежние времена, соблазнила пруссаков, и они конкурировали в этом отношении с нами. К счастью для Пруссии, нас побили прежде, и Пруссия немедленно воспользовалась уроком. С 1855 года ученья солдат приняли совсем другой характер: все было направлено к тому, чтоб образовать интеллигентного, думающего и способного солдата, для которого честь и защита родной страны являлись вовсе не пустой фразой. Офицерское сословие, всегда развитое, развилось еще сильнее, протекция совсем была изгнана, и все то, что было лениво, но жаждало отличия, ушло в Австрию, где подобным людям всегда раскрывали объятия и где протекция играла такую же роль, как у нас до Крымской войны. Кому неизвестно, какие дела делались в эту кампанию? Кто не читал очерков графа Л. Толстого, где с такою любовью и правдою описан солдатский и офицерский быт? Сражались солдаты, посылались в жаркие схватки разные Петровы и Ивановы, а князья, графы и сыновья известных фамилий получали чины и ордена: вакансии быстро очищались смертью, и производство разных штабных, прикомандированных к разным генералам, их адъютантов шло чрезвычайно быстро. Вражеская пуля щадила этот «цвет» дворянства, потому что его защищал лес простых смертных, за которых не хлопотали ни тетушки, ни бабушки, ни маменьки. В самом деле, как огорчить какую-нибудь княгиню смертью ее сына, как поразить в сердце вы-

сокопоставленную даму, если сын ее потеряет способность танцевать на блестящих балах? Разве мало безвестных матерей, плач и горе которых никому не будет известно? С тех пор наше военное сословие двинулось вперед и стало получать образование более солидное.

Наш солдат всегда был храбр; теперь он и развитее, но массу солдатскую, конечно, нечего сравнивать относительно развития с прусскою. Недавно было напечатано распоряжение, чтоб солдаты при стрельбе жалели заряды, чтоб они непременно целились. Распоряжение прекрасное и, очевидно, вызванное примерною экономией прусского солдата; но почему сей последний экономен? Он экономен потому, что в заряде для него целый ряд мыслей: он знает, что этот заряд куплен на народные деньги, на деньги его же семьи, он знает, что мелочная экономия в конце концов сводится на большие суммы, что эти суммы входят в бюджет, а бюджет пополняется его отцом, будет пополняться им же самим, когда он снимет свой мундир и отдастся мирным занятиям. Эта экономия вошла уже в плоть и кровь немца, и на казенное добро он не смотрит, как на дойную корову, а как на народные деньги, которые следует беречь больше, чем свои. У многих ли у нас сложились такие прекрасные понятия? Немецкая честность вошла в пословицу, и в их администрации военной и гражданской действительно всякая копейка идет на дело: администратор там не наживется, если б и хотел этого, потому что среда такая, что не даст ходу бесчестному человеку. Прусские кавалеристы оказались особенно интеллигентными в этой войне, и кавалерия, как войско, получила самое разнообразное применение. Я ничего не знаю о наших кавалеристах, но в обществе почему-то сложилось убеждение не в пользу их; за последние годы было несколько случаев, описанных в газетах, когда кавалеристы являлись далеко не в выгодном свете. Я вовсе не думаю обобщать этих случаев, но офицерское сословие не должно представлять так много даже и единичных примеров; случаи, рассказанные в газетах, касались столкновений с гражданами и заставляли предполагать о каком-то антагонизме между военными и штатскими. Ничего

не может быть безнравственнее и уродливее этого антагонизма, потому что доверие граждан к армии – первое качество хорошей армии, то есть я хочу сказать, что армия должна прежде всего заслужить уважение и доверие сограждан. Только во времена крайней солдатчины можно еще понимать обособленность военного сословия и развитие особенных понятий о превосходстве мундира перед фраком; в Пруссии такая обособленность особенно сильно проявлялась в XVIII веке, так что король Фридрих Вильгельм III был вынужден отдать следующий приказ: «С большим неудовольствием узнал я, что многие, особенно молодые офицеры, стараются выставлять на вид свое превосходство над гражданским сословием. Я сумею внушить уважение к войску там, где это необходимо, на театре войны, где оно кровью и жизнью защищает своих граждан. Но в остальное время никто из военных, к какому бы сословию он ни принадлежал, не должен сметь оскорблять кого-либо из граждан; граждане, а не я содержат армии; их хлебом живет войско, вверенное моей власти, и потому арест, отставка и смерть будут наказанием, которому подвергнется каждый ослушник настоящего приказа». Однако приказ этот, запечатленный гуманными идеями, высказанными с высоты трона, не уничтожил совсем печальных явлений обособленности военного сословия: устранения их можно ожидать только тогда, когда армии станут народными и когда военные будут подчинены одному суду со всеми.

X

С точки зрения честолюбцев, заботящихся не столько о народе, им управляемом, сколько о собственной безопасности, лучшею армией была бы, может быть, та, которая состояла бы из здоровых и крепких людей, чувствующих особенное призвание к военному делу и посвящающих ему целую жизнь свою; отслужив 15–20 лет, такой солдат отпускается на покой и получает обеспечение до конца своих дней. Но откуда набрать такую армию? Если же и можно было бы образовать ее, то она

стоила бы страшно дорого, так что никакое государство не в состоянии было бы вынести ее бюджета. Но это еще не самое важное: новейшие войны, при усовершенствованном оружии, требуют огромных масс людей ловких, понятливых, самостоятельных, умеющих обращаться со сложным оружием, имеющих понятие о планах, картах, способных познакомиться, хотя бы поверхностно, с материальными и нравственными силами враждебной страны. Положим, что при настойчивости и продолжительности срока службы и это достижимо; но нынешние сражения уносят десятки тысяч людей, и 300–400-тысячная армия, даже победоносная, может очутиться после нескольких битв в положении весьма незавидном. Откуда взять новых столь же способных и обученных солдат? Все это понято современною Европой, и срок солдатской службы уменьшен, зато наборы стали чаще, так что государства имеют в своем распоряжении, кроме действующей армии и резервов, значительное число отпускных. Это уже переход к более разумной системе, существующей у нас и в некоторых других государствах. Но самая разумная система только в Пруссии; вся беда только в том, что она требует для себя и такого образованного народа, как в Германии.

В Пруссии военная повинность всеобщая; у нас – она привилегия самого бедного слоя населения. Наше крестьянство, обремененное податями, почти одно держит на себе всю тяжесть бюджета. Кроме того, оно одно несет военную повинность, натурой.

У нас, как и во Франции, жеребьевая система, основанная чисто на случайности, на счастье. Рекрут, вынувший жребий, может подумать и, конечно, думает: «За что ж я попал, а сосед мой остался дома? За что ж именно я должен проливать кровь, терпеть все лишения, а сосед остался дома?» – Что делать, братец, армия нужна; впрочем, если не хочешь служить, то откупись, поставь за себя наемщика, купи рекрутскую квитанцию. – «Купил бы, да купила нет». Но у кого есть купило – тот откупается, и на службу идет самый бедный слой населения, тот слой, у которого единственное богатство – здоровые члены.

Если б случилось, что эти обделенные судьбой братья впоследствии не выказали надлежащего мужества на поле сражения, не проникнулись бы в достаточной степени одушевлением, то мы не имели бы никакого права осуждать их, ибо откуда же взять им этого одушевления? Я очень понимаю старых военных наших, недовольных современными реформами в армии, будто бы ослабившими военную дисциплину:

– Помилуйте, да без строжайшей дисциплины, кто их удержит от бегства, кто заставит их сражаться как следует? Прежде он был машиной, прежде он не рассуждал, а исполнял то, что прикажут. Теперь же он рассуждать стал, – говорят эти служаки.

Конечно, такие вопросы и сомнения преждевременны и вовсе не заслужены прошлым нашего прекрасного солдата; но отчего не иметь в виду всех случайностей? Если в самой системе лежит случайность и несправедливость, т.е. зло, то почему же мы должны ожидать непременно только добра? Ведь служила же до сих пор французская армия образцом, и даже наш солдат считал француза лучшим воякой на свете, а что сталось с этой армией после первого поражения?

Затем, обратите внимание на требование новейших войн – развитость солдата. Конечно, обучить можно, но ведь нужна теперь страшная масса солдат. Мы тратим на военный бюджет вдвое более того, что расходует вся Германия, воюющая теперь, а между тем, по словам наших военных, с которыми удавалось мне говорить, мы не могли бы выставить не только такого развитого, но просто такого по количеству войска, какое легко выставила Германия. Кроме того, в каком положении остались бы многочисленные калеки, произведенные войной? Что сталось бы со вдовами и сиротами бедняков, всею тяжестью павших бы на общины и без того небогатые? Государство или должно было бы потратить громадные суммы на их призрение, или пустить по миру. Если Германия, где общий уровень благосостояния несравненно выше нашего, где частная благотворительность развита очень сильно, где в армии люди всех состояний и, стало быть, особенно бедных

сирот сравнительно немного, если Германия, говорю, смущается перед этою массою искалеченных и сирот и призывает все сословия на помощь им, то что же оставалось бы нам делать? Какие армии нищих пустили бы мы по свету – нищих, голод, бесприютность и нужда которых могли бы образовать сильный противообщественный элемент? Вы только поработайте воображением над этой ужасающей картиной, и если волосы у вас не встанут дыбом, то я завидую вашему спокойствию...

Единственный выход из этого порядка вещей – всеобщая повинность. Конечно, она встретит сильную оппозицию в тех слоях, которые оппозируют даже и тогда, если к ним самые обыкновенные законы применяют с такою же справедливостью, как к последнему мужику, которые волнуются и оппозируют даже и в том случае, если хотят обложить налогом их хорошеньких собак и собачек, этих chiens de luxe*, подать с которых приносит Берлину ежегодно 50 т. талеров. Конечно, закон о всеобщей военной повинности встретит противодействие и в наших «спасителях» отечества, которым повсюду мерещится революция или, лучше сказать, которые из этого пугала устроили себе прибыльное ремесло и почили на лаврах влияния и значения; конечно, много слез прольют чувствительные мамаши, когда увидят своих сыновей, с измлада предназначенных к дипломатическому поприщу, в солдатских мундирах; конечно, барышни будут очень шокироваться при встрече в великосветских гостиных с солдатом, но скоро все это сгладится, как сгладилось в Берлине, где в великосветских гостиных не редкость встретить солдата.

А между тем правительство будет иметь за себя большинство образованного сословия, не считая народной массы, которая вздохнет свободно при явлении справедливости в таком важном деле, как военная повинность. Народное войско, составленное из представителей всех сословий и состояний, будет самым консервативным войском; это говорит не одна теоретическая вероятность, понятная без рассуждений, но и примеры исторические: народное войско уничтожало барри-

* Породистые собаки (*фр.*).

кады на улицах Берлина в 1848, а войско профессиональное переходило на сторону революции или готово было перейти на ее сторону в южных германских государствах и в Австрии. И отчего ему не перейти, когда оно нимало не заинтересовано в треволнениях революции, обрушивающихся обыкновенно сильнее всего на богатых? Отчего ему не перейти, когда ему терять нечего, как нечего терять и его родным? Кто гол как сокол, тот скорее может рассчитывать на приобретения во время революции, на улучшение своей участи – отчего ж ему не служить революционным целям?

Введение всеобщей военной повинности, без сомнения, подняло Пруссию, а не уронило ее; она стала иметь возможность употреблять на войско сравнительно весьма немного при том числе его, которое она могла выставить в каждую минуту; по-видимому, торговля, ремесла и наука должны были потерять весьма много при ежегодном отторжении в войско лучших, самых здоровых сил, а между тем ремесла, торговля и наука ни в одном немецком государстве, где царствовала прежняя система конскрипции, так не развились, как в Пруссии. Оно и естественно: военная служба с ее дисциплиною, с ее трудами и опасностями и при ее непродолжительности делается отличною школою порядка, трезвости, пунктуальности, твердости и настойчивости в достижении целей; военная служба при системе всеобщей повинности, без выкупа и наемщиков, способствует образованию характера человека, вносит в него нравственное чувство удовлетворения, когда он видит, что рядом с ним, бедняком, стоит сын банкира и графа; она способствует сближению бедного с богатым, образованного с невеждою, она научает любить труд и чувствовать почтение к трудящимся; она вносит в общество тот здоровый демократизм, без которого ни одно государство процветать не может, что бы ни говорили разные «спасители» отечества, готовые преследовать самое это слово, как нечто столь же страшное, как «жупел» и «металл», при произнесении которых вскрикивают купчихи Островского.

Если Пруссия обладает такими почтенными чиновниками, ставящими чувство долга так высоко, если администрация

железных дорог и почт устроена столь образцово, то это благодаря системе всеобщей военной повинности: на железных дорогах, напр., почти все высшие должности занимают образованные офицеры ландвера.

Я уж не говорю о том приливе в войско техников, ремесленников, врачей, аптекарей, ветеринаров и проч., которые столь нужны ему. Все эти специалисты должны отслужить государству известный срок, должны отбыть свою натуральную повинность, как все остальные. Без лишних хлопот, без лишних расходов государство в военное время обладает огромными интеллигентными средствами, тогда как при нашей системе военной службы государство специально для военного дела должно образовывать врачей, техников и проч. или прибегать к понудительным средствам, к увеличению содержания, наконец, прибегать просто к встречным и поперечным, невеждам или неопытным, которые больше напортят, чем принесут пользы. То же самое относится и до офицеров, которых нынешняя война истребила столь много. Что стали бы мы делать на месте Германии? Заменять опытных неопытными, не кончившими курса в военных гимназиях юношами? Тогда как Пруссия могла пополнить этот недостаток офицерами ландвера и, наконец, образованными унтер-офицерами и солдатами, производя их в офицеры.

Я не вхожу в другие подробности, но настоящая война слишком очевидно показала всем, исключая желающих остаться во что бы то ни стало едиными, что если государство хочет быть сильным, если оно желает не попасть когда-нибудь в положение Франции, то единственное для этого средство – всеобщая военная повинность, школы для народа, реальные и технические школы.

XI

Наша разъединенность поразительна, и что всего поразительнее, так это то, что чем выше люди поднимаются по ступеням образования, тем больше встречают препятствий к

дружному действию вместе. Мужики могут сбираться на сходки, образованные – нет; мужики могут составлять артели – образованные нет или, по крайней мере, могут только после больших хлопот. Можно подумать, что образование есть нечто вредное и что мы завели его у себя только потому, что оно в Европе есть, и что, в сущности, без него было бы лучше. Мы до сих пор думаем, что артели, ассоциации – могущественное средство революции; в Европе уж давно убедились, что это – могущественное средство против революции и чем либеральнее законы, регламентирующие разные союзы и ассоциации, тем общество более выигрывает, тем бедняки спокойнее и консервативнее; тем менее тайных обществ, чем доступнее общества явные. Это азбука. Между тем нигде нельзя встретить такой словобоязни, как у нас. Недавно я читал один русский журнал за 1851 г. и нашел, что там английский парламент называется английским амфитеатром. Нам надо долгое время, чтоб привыкнуть не бояться слов, иногда очень невинных, и затем тоже немалое время для того, чтоб не бояться содержания, скрывающегося за словами, но главное – слов не бояться, это уж будет великим шагом вперед, ибо иногда мы готовы скорее допустить самое содержание, чем слово, его обозначающее. Несколько лет тому назад, напр., затруднялись позволить вывеску: «Склад сыроварной артели», хотя самые артели получили уже должную санкцию и стали приносить народу ту пользу, которую ожидали от них благомыслящие люди.

В Германии уже не боятся ни слова, ни дела и в особенности не боятся ни образования, ни людей образованных. Мы считаем Петербург городом, который может соперничать с Берлином, но это крайнее заблуждение. Берлин – центр германской культуры, центр широко развитой умственной жизни, и это значение он завоевал быстро, на что указывает между прочим увеличение населения. В 1740 году в Берлине было всего 90 000 жителей, из них более 20 тыс солдат; в 1804 году число это уже возросло до 182 тысяч, через 16 лет число это почти удвоилось; в настоящее время в нем 800 тыс жителей; ни один город не представляет такого быстрого возрастания:

меньше чем в пятьдесят лет число его жителей учетверилось. Нет также другого города в Европе, где бы в такой степени были развиты союзы и ассоциации, благодаря которым дальнейшее возрастание и богатство Берлина не подлежат сомнению. Одних обществ взаимного кредита, основанных для бедного и среднего состояния людей, здесь 29, и 25 разных ассоциаций по шульце-деличской системе; в этих обществах могут найти себе деятельность более 5000 человек; под надзором магистрата состоит 31 общество для призрения бедных, больных и выдачи ссуд рабочим; в этих обществах – 67 000 членов, и 60 000 больных ежегодно призреваются ими. Разных благотворительных обществ – огромное количество. Вообще всех учреждений подобного рода, т.е. ассоциаций, товариществ, обществ, известных официально и состоящих под покровительством закона о союзах (Vereingesetz), в Берлине – 720. Можно с достоверностью положить, что по крайней мере четверть всего берлинского населения непременно участвует в каком-нибудь обществе, в какой-нибудь ассоциации. А у нас сравнивают Берлин с Петербургом и называют первый капральским городом! Можно бы утешиться, если бы у нас во всей России можно было насчитать столько ассоциаций с таким числом членов, сколько их в одном Берлине.

Относительно народного образования он тоже значительно впереди нас; во-первых, надо сказать, что Берлин тратит на свою полицию, которая лучше петербургской гораздо, всего 800 т., тогда как Петербургу она обходится более чем в миллион; во-вторых, Берлинское городское общество тратит на народное образование гораздо больше, чем на полицию, именно 1 300 000 талеров, тогда как Петербург об этом и мечтать не может. В-третьих, вот перечисление школ, тоже в назидание Петербургу: 10 гимназий, 9 реально-ремесленных школ (Real-und-Gewerbeschulen), 4 высших школы для девиц, 50 средних и элементарных школ, 35 школ разнообразного характера, состоящих под ведением ферейнов (союзов), церквей и проч., 2 еврейские школы – всего 110 общественных школ, не считая школ частных, которых целая сотня. В 1867 году в

этих школах обучалось 40 675 мальчиков и 34 725 девочек, учителей было 2471, классов во всех них 1644. Кроме того, в Берлине существует 48 детских садов, посещаемых 1500 детьми. Но это еще не все: городское общество содержит несколько гимнастических заведений и 10 народных библиотек с отличным выбором книг.

А вы, петербургские, ну-тка?!

– скажу я, пародируя стих Лермонтова.

Мы требовательны и вместе близоруки: везде дурно, кроме Парижа; для нас общественная жизнь – это уличная жизнь, театры, увеселительные заведения, пожалуй, шумные политические сходки, а здоровой, полезной общественной жизни, незримо идущей в ферейнах, тесно связывающей жителей взаимною помощью, общим трудом, – мы не видим. Наши взоры постоянно обращены к Франции: усовершенствовать надо полицию – едем во Францию; надо усовершенствовать печать – списываем с Франции; надо немножко сузить земство – ссылаемся на Францию; надо образцовых прокуроров – изучаем Францию; надо покутить – едем в Париж. Против последнего я спорить не буду, но все эти заимствования, сделанные нами у Франции, все эти уроки, которые брали мы у ней именно тогда, когда там брать было нечего, – кроме вреда ничего не приносили и ничего не принесут в будущем. Мы брали у страны, которая шла скачками, и обходили страну, которая шла и идет постепенно, которая тоже не все выдумывает сама, но она берет у других лучшее и всегда перерабатывает, всегда вносит свое, иногда малость какую-нибудь, но свое: она в том поставляет свою гордость, чтобы не списывать, не копировать, а все завертывать в немецкую оболочку. Оттого там все немецкое; у нас же такая пестрота, такая помесь нижегородского, французского, немецкого, английского, что нет ничего мудреного, если мы до сих пор не знаем, что собственно значит слово «обрусить», и носимся с этим словом уж несколько лет, а обрусить все-таки никого не можем.

* * *

Пора, однако, кончить. Я мог надоесть с немцем читателю, который не может себе представить его иначе как в колпаке, погруженного в мелочные заботы и в мелочные развлечения; наша славянская душа ищет простора, дали, широких горизонтов. Все это прекрасно, но цель жизни где? Читали вы социалистов, проникались вы желанием жить в тех коммунах, которые строило пылкое воображение Фурье и других? Если читали, то должны знать, что даже у этих мечтателей цель жизни была весьма узенькая: довольство малым и более или менее ровное распределение богатств и труда; иначе и нельзя – земной шар не мог бы доставать всем существование банкиров, но может доставить всем хорошую пищу, здоровое жилище и мирные наслаждения физические и духовные. Коммунисты думают прямо посадить нас в свой рай, созданный их воображением; мечта благородная, но самая неисполнимая; но к этому раю, т.е. к довольству малым, к общему благосостоянию, к солидарности интересов медленно и прочно движется немец путем взаимной помощи, путем производительной артели, ферейнов, порядка и личной инициативы. Он не устроит ничего подобного коммунам Фурье и Оуэна, потому что знает, что только то прочно, что создает прогресс целой нации, а не то, что создает фантазия одного человека, хотя бы самого благородного. Я могу жестоко ошибаться, но мне кажется, что будущее принадлежит не Франции, не Англии, а Германии и что мы должны изучать ее больше, чем всякую другую страну.

О торговом договоре с Германией

Прочитав «сообщение» министра финансов, я подумал нечто такое, что, быть может, покажется читателям величайшим вздором, но что, тем не менее, не выходит из моей головы. Так как я человек достаточно откровенный, то и выскажусь прямо, в чем заключается то, что вы можете назвать «величай-

шим вздором»: я бы не стал заключать договора с Германией до тех пор, пока она сама не запросила бы и не сделала бы выгодных предложений России…

Да, я не стал бы заключать торгового договора с Германией, и вот почему: «Сообщение» министра финансов, несомненно, доказывает, что Россия сделала не только все то, что должна была сделать в интересах миролюбия и соседства, но как будто даже переступила несколько границы возможного. В самом деле, мы шли постоянно в наших переговорах на самые важные уступки, но Германия нарочно, с умыслом затягивала переговоры, покупая голоса аграриев в пользу военного законопроекта и в то же время, стороною, убеждая промышленников подождать, давая им полную надежду, что договор непременно будет заключен и русский рынок останется за Германией. Видя, что переговоры затягиваются при бумажных сношениях, мы предложили конференцию. Германия отвечала: «Конференция эта могла бы привести к *благоприятным* результатам *при одном лишь условии,* если русское правительство расположено удовлетворить *все* германские пожелания относительно *понижения* русского тарифа, за немногими исключениями, которые *во всяком случае не должны бы коснуться интересов земледелия и металлургических производств Германии!»...*

Таков был ультиматум Германии. Это именно ультиматум, господа. Она командовала, а не предлагала, она предрешала результат конференции и приглашала на нее Россию в качестве державы побежденной, которой диктуются условия мира. Мало этого, она выговаривала себе льготные условия и в будущем, на случай сравнения финляндского тарифа с русским. Несмотря на все это, несмотря на этот ультиматум, Россия попробовала предложить временное соглашение, подобное тому, которое заключила Германия с Румынией. Мы не стояли за то, чтобы нас приравняли к молдаванам и валахам! Германия отвергла и временное соглашение. Что же оставалось делать? Ждать конференции? Но Германия обусловила свое согласие на конференцию невозможным образом. Уважая себя, великой державе не пристало выслушивать прика-

зы, хотя бы они были облечены и в отеческую форму. Срок для заключения договора назначен был 1-го апреля 1893 г., и Германия на это согласилась. Россия больше трех месяцев после срока продолжала переговоры и все-таки не могла ничего достигнуть. Нас третировали, как ничтожную величину, и терпение наше должно было лопнуть, наконец и оно лопнуло, и мы ввели максимальный тариф и закрыли немецким судам наши порты. Германия сначала удивилась этой смелости, а потом согласилась на конференцию уже без той оговорки, которая равнялась ультиматуму…

Таким образом, наша решительность заставила Германию согласиться на конференцию без обидных для нас условий. Но что еще будет на этой конференции – мы не знаем. Германия несомненно попробует нас раздеть как можно более. Ведь очевидно, она думает, что Россия – это в некотором смысле ее колония, нечто вроде того, что Индия представляет для Англии, что без Германии Россия и существовать не может. Я далек от мысли уменьшать значение успехов немецкой промышленности и выразился в этом отношении так определенно и прямо, что немецкие газеты осыпали меня за это похвалами. Но я также далек от мысли, что русская промышленность самим Богом, так сказать, предназначена к тому, чтобы стоять на одном месте и не двигаться. Если мы вспомним, что русской промышленности, очень молодой еще, приходится бороться с промышленностью старой, со старой культурой, что покровительственная система существует у нас еще недавно, что у нас нет в достаточном числе промышленных школ, профессионального образования, что мы стремились совершенно напрасно догонять Германию в усвоении классических языков, для нас мало надобных, основывая классические гимназии, что мы не только у себя учредили специальный институт для изучения мертвых языков, которые у нас всегда останутся мертвыми, но даже в самой Германии, в Лейпциге, учредили для этого семинарию; если мы, соображая все это, обратим внимание на успехи нашей промышленности, то увидим, что она, несмотря на все это, сделала все-таки сильные успехи, что русский на-

род – несмотря на все свое чрезвычайное невежество народ, быть может, наиболее одаренный в Европе, способный создать свою прочную промышленность, если представить ему возможность взяться за дело энергично и толково…

Вот я и думаю, что прискорбна, конечно, эта война, но ведь она могла бы и оказать нам услугу незаменимую, раскрыв нам глаза, отуманенные классицизмом, и направив нас на образование реальное, промышленное, на воспитание хороших, знающих техников, мастеров, подмастерьев и т.д., всех тех необходимых нам людей, без которых промышленность обыкновенно двигается медленно. Я не говорю, подобно некоторым моим собратьям, что все обстоит благополучно, что не из Германии, так из Франции или Англии, а получим-таки мы все, что нам нужно. Напротив, в промышленном деле у нас неблагополучно, неблагополучно в нашем образовании, но эта таможенная война, благо Германия сделала ее необходимою, заставила бы нас двинуться быстро вперед и рассчитывать более на себя самих, а не на Европу. Лет 12 тому назад я проектировал 100 миллионов руб. на народное образование, и мы могли бы это вынести, ибо, по-моему, народное образование важнее железных дорог. Дороги строятся, и образование надо строить; если дороги приносят доход, то образование приносит еще больший. Если на дороги находятся сотни миллионов, то и на образование они найдутся, а без него, конечно, всякая таможенная война нам тяжела. Но выдержать ее мы могли бы, если бы даже не подались ни на шаг в уступках Германии. Выдерживаем же мы настоящие войны и связанные с ними страшные потери.

Но хлеб, хлеб, хлеб, что нам с хлебом делать? – Есть, есть надо хлеб и делать из него, что делают другие. – Хорошо вам говорить, – скажете вы, – ведь хлеб будет дешев. – Ну что ж? Я бы желал спросить мужиков, приятно ли им, что хлеб будет дешев? Но как спросить? Мы не спрашиваем мужика и смело говорим от имени России. А если б нашлось средство спросить его, может быть, он отвечал бы, что хорошо, что хлебушек дешев. Но помещикам, особенно крупным, дешевый хлеб

действительно невыгоден, и им, естественно, приятнее, если он дорог, им естественно сожалеть, что мы с Германией разорвали. Но представьте себе, что мы с ней не разорвали, что мы продолжали бы ожидать, когда ей будет угодно осчастливить нас принципиальным согласием на конференцию. Мы бы ожидали, а ее дифференциальные пошлины действовали бы. Ведь они еще не испробованы нами на деле. Как бы пошел хлеб в Германию и по какой цене при этих пошлинах? Может быть, вышло бы то же самое, что случилось после этого разрыва, а может быть, и хуже. Я не знаю. Но я знаю в то же время, что Германия страдает, что в ней промышленность ропщет и боится упустить русский рынок, что даже аграрии обмануты в своих надеждах на большие барыши. Они думали, что, устранив русский хлеб с немецкого рынка, они сами явятся полными распорядителями цен. На деле выходит не то. Цены не слушаются политических и экономических партий и зависят от причин гораздо более сложных. Они видят, что, так или иначе, русский хлеб станет искать новых путей и, главное, непременно повлияет на установление цен, как бы аграрии ни бесились. А они именно бесятся и после победы, доставленной нам графом Каприви, уже громко ропщут на Америку и Австрию. С другой стороны, германская промышленность столько теряет, что для утешения ее раздаются голоса в пользу того, чтобы *заставить* Россию заключить трактат! Да, заставить… оружием, ибо-де западная полоса России есть естественное продолжение Германии. Вот куда хватают! И эти голоса даже в таком официозном издании, как «Post». Не правда ли, как это деликатно! Немецкие официозы, вероятно, думают, что мы сидим и ежимся в неописанном страхе, что у нас нет никакого национального достоинства, никакой способности к самопожертвованиям. Кого не возмутит этот тон, эти к небу поднятые, фыркающие немецкие носы – хотя бы только немецких журналистов?

Вот я и говорю: не станем заключать торгового трактата, попробуем опыт полной независимости от Германии, напряжем все силы на народное образование, на широкую его систему, на прогресс сельского хозяйства и промышленности…

Вы что на это скажете, вы, хорошо помнящие Берлинский конгресс?..

Свидание двух Императоров

Я с большим интересом читал подробности свидания двух Императоров. Самая торжественность, какою оно было обставлено, производила впечатление. Мы начали отвыкать от подобных торжеств. Революция сузила свободу в этом отношении, расставив заговорщиков и убийц, как своих часовых, на всех путях, которые до нее были свободны для Верховной власти и населения, всегда с сердечным чувством встречавшего Государя в его столице.

О чем беседовали два Императора наедине, об этом мы не скоро узнаем. Разговоры министров более или менее известны, да и то на языке общих мест о поддержании мира и о дружбе двух народов. По-моему, особенный интерес этого свидания заключается именно в личностях двух Монархов, которые не виделись более двух лет, и каких лет? Оно не лишено было волнения с обеих сторон и внутреннего, глубокого драматизма. Как наш Государь, так и Император Вильгельм II не могли встретить друг друга без повышенного чувства, очень сложного, не только как представители двух царствующих династий, как честные люди, если можно так выразиться, но и как монархи двух великих народов, много испытавшие в последние годы. Я думаю, что это свидание должно оставить в душах обоих Государей искреннее, теплое чувство, более сильное, чем оно могло выразиться в объединенных тостах, и потому-то это свидание должно иметь особенную историческую ценность.

Будущее никому не известно. Но каждый шаг настоящего должен быть учтен с особым вниманием. Ежедневные события не проходят без следа для истории; судьба народов – влажная почва, на которой остаются отпечатки всего живущего. Счастливый немецкий Император встречал своего русского Собра-

та, который перенес столько волнений и горя, что их достало бы на долгую жизнь. Но счастье – родная сестра несчастья, и потому в благородных душах всегда растет сочувствие и укрепляется сердечная близость.

Мне кажется, что та кошка, которая бегала между Англией и Германией, не была особенно злобной кошкой и бегала без определенного намерения; в настоящее время она убежала в какое-нибудь место, может быть туда, где Великий океан разделяет Японию от Америки. Если для Америки неизбежна война с Японией, то возможно, что Америка станет искать союза в Европе и, может быть, найдет его в Германии. Для этого союза есть уже данные как нравственного, так и материального свойства. Дальний Восток не перестанет играть роль в судьбах Европы и Америки, и вы еще можете дожить до таких неожиданных сцеплений с фантастическими результатами, о которых теперь никто не думает. «Желтая опасность», которую Император Вильгельм пропагандировал и словом, и своим известным рисунком, не может быть им забыта и может повести его или его наследника к комбинациям, о которых дипломатия теперь и не мечтает. Может быть, вы увидите Японию в Европе. Говорят же, что будто в соглашении Франции с Японией существует тайная статья, по которой Япония обязуется высадить в Марселе добрую сотню тысяч или более своего войска, для чего Англия дает свои транспортные корабли, в случае войны Франции с Германией. Со своей стороны Франция отдает Японии свой Тонкин и, конечно, много денег. Это ахинея, но одна из тех ахиней, которые свидетельствуют о необыкновенном повышении фантазии в международных отношениях. Блеск японских побед ослепляет мир, но Япония – только малая часть Азии, самой населенной часта света, пробуждающейся в дыме и громах японских побед. На всем земном шаре живет 1530 милл душ. В Азии – 830 милл д., то есть более половины всего человечества. Из Азии пришла цивилизация в Европу, и из Азии пришли народы, разрушившие ее. Что будет, когда эта страшная масса миллионов совсем проснется, станет цивилизоваться, заводить свои фабрики, приготовлять у себя дома все то, что теперь для

них приготовляет Европа? Что будет даже через 20 лет, когда Китай будет иметь двухмиллионную армию, трудно себе представить. Международная роль России, благодаря ее обширным владениям в Азии, может быть, только начинается, как начинается ее народно-политическая роль. Кто знает, может быть, не за горами то время, когда Соединенные Штаты пришлют своего Витте в Петербург для мирного договора с японцами после войны с ними, которую так неустанно предсказывают.

Фантазия, скажете вы. Кто знает, что это фантазия? Ведь мы начинаем жить в фантастическом веке, каким обещает быть этот 20-й век.

РОССИЯ, АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ

Нуждаемся ли мы друг в друге?

В «Pall Mall Budget» карикатура: лорд Розберри[1] просунул голову в клетку и протянул руку к медведю, лаская его; медведь, по-видимому, с удовольствием принимает эти ласки, высунув набок язык; возле клетки в блузе, в картузе набекрень, засунув руки в карманы, с тревожным выражением в лице стоит Казимир Перье[2]. Подпись: «Слухи о сближении между Англией и Россией вызвали сильные возбуждения в дипломатических кругах Англии». Немецкая карикатура обыкновенно изображает Россию в виде бородатого казака со свирепым лицом, английская – в виде медведя. Но мне не удавалось видеть изображение медведя в этой роли в клетке. Обыкновенно он являлся на свободе. Хотел ли карикатурист сказать этим, что медведь в клетке безопаснее и что, приласкав его, можно постепенно приручить? Но стоит ли внимания карикатура? По-моему, стоит. Карикатура есть популярнейшее изложение данного вопроса и в особенности отношения к нему известной народности в данный момент.

В последнее время ласковое отношение Англии к России занимает русские умы. Что это значит? Почему эта неожиданная дружба? Наверное, Англия хочет нас «обойти» и «провести». Мы вечно боимся, что нас проведут, обойдут, обманут. В этой боязни сказывается наше сознание своей малой культурности в, пожалуй, даже малой независимости в вопросах международных. Боязнь эта развилась отчасти вследствие тех причин, на которые указал В. И. Ламанский[3] в своей превосходной речи, сказанной в Славянском обществе, – в речи, подобно которой, по своему значению и искренности, не только в стенах этого общества никогда не раздавалось, но которая и вообще у нас явление очень редкое. Но причинам этим, то есть стремлениям к союзам, нам невыгодным, к бесполезным для нас жертвам нашей кровью и нашими выгодами, положен предел прошлым царствованием. Русская политика определилась не одним миролюбием, миролюбие есть не причина, а следствие того направления, которое положено в основу политики нашей.

Искренни ли английские государственные люди в своих дружественных словах, обращенных к России, – этот вопрос надо рассматривать в связи с другим вопросом: полезна ли Россия для Англии и Англия для России? Нуждаемся ли мы друг в друге или не нуждаемся?

Император Александр III не только был человеком вполне русским, не только был высокой нравственной личностью и сыном своего отечества, но и сыном своего времени. Он влиял на это время, но и время на него влияло. Традиции английских государственных людей, запечатленные патриотизмом и умом, также отвечают своему времени.

А Европа приближается ко времени, чреватому событиями. Оно только еще намечается, и это дружественное отношение Англии к России – один из признаков этого времени.

Англия стоит во главе колониальных государств и теперь уже считает подданных своих до 350 миллионов, разбросанных по всем частям света. Нельзя сказать, что это нечто компактное, довольное своей судьбой и не стремящееся

врозь. В начале этого века, когда мы спасали чужие алтари и престолы, Англия платила нам денежную субсидию и мы ее брали за пролитую кровь. Для нашего самолюбия воспоминание неприятное и даже обидное, но помнить это не мешает в настоящее время, когда с медведем заигрывают. В пятидесятых годах вместе с Наполеоном III она хотела погубить Россию и поставить ей пределы, настаивая на том, что Россия грозит европейской цивилизации. Но война породила реформы, которые двинули Россию вперед. Генерал Черняев[4] взятием Ташкента открыл нам дверь в Азию. Он же, этот чуткий и даровитый человек, начал войну с Турцией, которая, несмотря на берлинский конгресс и на то, что мы остановились перед Константинополем благодаря угрозам Англии, в конец почти разрушила господство турок в Европе и подвинула нас к Босфору с азиатского берега и потом далее на восток через Ахал-Теке. Мы вступили в роль культурного фактора в Азии и подошли к Индии, несмотря на все старания англичан помешать нам, несмотря на то, что английская политика постоянно со времен Крымской войны не переставала ставить для России западни и создавать затруднения. Я позволю себе припомнить, что покойный Государь был серьезно огорчен бомбардированием Александрии и тем больше было удовлетворено его русское чувство битвой про Кушке[5], где были побеждены не столько афганцы, сколько англичане.

Англичане попробовали повторить угрозы и поднять шум, как было во время движения нашего к Константинополю, но Государь остался спокоен и продолжал свою политику, и политика эта увенчивалась успехом. Не грубым завоевателем явилась Россия, а распространительницей культуры, и этого не могла не видеть Англия и не могла не предчувствовать, что в этой Азии начинается серьезная конкуренция англосаксонского племени с русским, ибо русское племя выросло не численностью только и материальной силой, но и силами просвещения.

Англия очень хорошо видела, что царствование почившего Государя укрепило Россию так, что она может смело смо-

треть на будущее. Примем во внимание наше географическое положение: ни одна страна в Европе так не готова к благоприятному помещению будущего населения, как Россия. В настоящее время на всем земном шаре считается около полутора миллиардов населения, а в Европе около 365 миллионов, а через сто лет в *одной Европе* будет около миллиарда населения (940 миллионов в 1995 г.), т.е. около той цифры, которая разбросана теперь по всей вселенной. Германскому и латинскому племени негде распространяться. Среди германского племени, кроме того, десятки миллионов славян. Мы не пострадаем от роста населения, мы обозначены территорией, где могут жить еще 300 миллионов жителей без нужды, развивая природные богатства новых стран. Только Соединенные Штаты и Бразилия представляют подобную же территорию для населения. Великая Сибирская дорога уже теперь дала результаты, а в будущем значение ее для нашего господства в Азии огромное. Пути сообщения, народные школы, гимназии, университеты понесут просвещение в эти далекие страны. Смею верить, что мы не ниже англосаксонского племени. Мы отстали в просвещении. Да, это верно, но просвещение растет и будет расти. Остановить его уже нельзя, а двинуть более быстрыми шагами вперед есть полная возможность. Иногда надо ему помочь, а иногда только не мешать. С просвещением будут расти промышленность и независимость русского характера, его стойкость и культурная самоуверенность, столь развитая у англичан.

Своим необыкновенным чутьем поняла это Франция, заключив с Россией союз и дорожа этим союзом, умом понимает все это Англия. И вот она не только хочет идти по стопам своей союзницы в крымскую кампанию, но и стать на ее место, совсем ее устранив. Таков смысл карикатуры, с которой мы начали. Но я думаю, во-первых, что Францию нельзя устранить и незачем, во-вторых, что медведя лаской не обойдешь, особенно когда ему отлично известно, что он, несомненно, нужен Англии, ей он нужнее, чем она ему. Странное, однако, дело. Вступил молодой государь на германский престол, Англия подарила Германии остров Гельголанд и взамен

взяла превосходные африканские земли Германии, рассыпаясь перед ней в дружеских излияниях. Англия выиграла, Германия потеряла. Вступил на русский престол молодой Государь, и Англия начинает приветливую политику с Россией. В добрый час. Россия желает только того, чтоб не мешали ей идти своим ровным шагом к тем целям, которые обеспечивают будущее русского народа. Меняться нам нечем: африканских колоний у нас нет, а острова св. Елены нам не нужно, если бы Англия вздумала нам его подарить. Но кое-что нам нужно и теперь, и с вежливым человеком обыкновенно разговаривают, не боясь, что он проведет и обманет. Надо только вопросы ставить прямо и искренно.

Англия и русский патриотизм

– Правда ли, что вы, русские, терпеть не можете англичан? – спросил меня один англичанин, приезжавший в Россию прошлым летом.

Что касается меня, то я их очень люблю. Люблю за Шекспира, Байрона, Вальтер Скотта, Диккенса и проч. Люблю за их твердость, за их просвещение, за их свободу и независимость, которые они отстаивали и отстаивают целые века. Люблю за свободу мнений, люблю за все культурное, литературное, гуманное. Люблю за их прекрасные книги, даже за дороговизну их солидных и роскошных книг, ибо только богатая и образованная страна платит так же охотно за роскошь книг, как и за другую роскошь, например, роскошь обстановки, роскошь обедов и балов. Я люблю у них все то, что любил бы у себя дома.

Так как, к сожалению, я заражен патриотизмом, против которого теперь высказываются хорошие и проницательные умы…

Вы знаете, эти умы говорят, что патриотизм не нужен, а нужна любовь к ближнему, что настает время, когда эта любовь победит все и обратится в неодолимую страсть жить

для других, а не для себя. Конечно, это было бы великолепно, но, к несчастью, мы видим, что самые образованные народы об этой любви думают весьма мало, а много упражняются во вражде между собою, называя это борьбою, и с другими народами, называя это войною…

Так как я заражен патриотизмом от юности моей и не могу победить это чувство и в старости моей, то и английский патриотизм я прекрасно понимаю и понимаю тот шум, которым гремит Англия вследствие победы над Суданом и отступления Франции из Фашоды. Если бы мы сделали что-нибудь подобное, я тоже стал бы шуметь и подливать масло в патриотический огонь. Я не могу быть равнодушным к победам нашим и нашим завоеваниям материальным и нравственным. Меня все еще привлекает «крест на св. Софии», о котором когда-то во время русско-турецкой войны я писал горячие статьи. Я никогда не мечтал о Порт-Артуре и ничего в этом Артуре не понимаю, к моему огорчению, но я мечтал и продолжаю мечтать о более близких вещах, и, если бы кое-что из этого близкого очутилось в руках России, я был бы очень рад. Я бы не стал рассуждать, хорошо ли это или нет. Не стал бы потому, что я маленькая спица в огромной российской колеснице, а эта колесница движется по земле с упорством великорусского характера многие сотни лет и будет двигаться, как я это чувствую своею верующей душой, еще долго и долго. Я знаю, что нас сотня миллионов, что наши души – крепкие души, что наш ум способен к созиданию, к завоеванию жизни и всех ее удобств, что вместо сегодня умерших явятся завтра живые и будут работать и укреплять то, что приобретено…

Я верю, что патриотизм нужен, что бы против него ни говорили. Я знаю, что он способен к увлечениям, к ошибкам, что он переходит через край и иногда становится смешным. Но даже в смешном виде он лучше своей противоположности, пренебрежения к родной стране, равнодушия к ее интересам. Недостатки патриотизма – недостатки всякой сильной страсти, всего живущего и желающего жить. Страсть лучше равнодушия и даже той рассудительности, которая на всяком шагу спрашива-

ет: «Не опасно ли это? Хорошо ли это?» Пощупал и отскочил, чтоб не навлечь себе беды. Пощупал еще раз и отскочил еще дальше, и еще больше напугался. Это нехорошо. У бодрого, живого народа разум всегда явится в необходимую минуту, и потомки сумеют скорее исправить увлечения и ошибки патриотизма, чем ошибки отскакивания, вялости и недомыслия…

Но, чувствуя себя патриотом, в известные моменты начинаешь чувствовать некоторую вражду ко всем тем, кто стоит на дороге и кто мешает нам двигаться, как бы мы хотели, в том числе и к англичанам. Тут патриотизм одних сталкивается с патриотизмом других, является зависть, раздражение, ирония, насмешка, вражда…

Замечательно, что этой зависти и раздражению совсем нет места, когда является где-нибудь какой-нибудь гений, необыкновенный талант, художник, писатель, композитор. Почему это? Да потому, что этот гений принадлежит всем, все народы могут взять из его произведений все, что в состоянии понять и усвоить, все, чем способны наслаждаться. Около гениев в мире искусства и литературы – любовь, потому что они всем принадлежат, потому что все чувствуют, что гении – передовые бойцы за братство народов, за любовь к ближнему. Напротив, около гениев в мире политики, дипломатии и войны – вражда, потому что эти гении действуют только в пользу одной своей страны; посредственности и бездарности в этом отношении поступают еще хуже, ибо они и своей стране ничего, кроме вреда, не приносят.

В телеграмме из Парижа от 27-го октября я прочел, что «парижские газеты не думают, чтобы английские демонстрации были направлены только против Франции: они имеют целью устрашить всю Европу». Англичане умеют устрашать. Министры и ораторы говорят речи на обедах, на митингах, в парламенте. Газеты свободно выражают свои мнения и разносят по всему миру все то, что делается в стране и к чему она приготовляется, и даже то разносят, что не приготовляется и что не имеется в виду, но что может напугать. Шум патриотический способен напугать одним своим шумом. Так демонстрации во-

енные иногда предупреждают войну. Правительство пользуется всем этим настроением, и никому не приходит в голову останавливать это движение: оно само собой остановится, когда необходимость в нем исчезнет. Общественное мнение – та сила, на которую правительство опирается. И за это я люблю Англию.

Но я не люблю Англию за то, за что она нас не любит. А нас она не любит за то, что мы иногда не поддаемся ей и отстаиваем свои интересы. Ей бы хотелось, чтоб мы нигде ей не мешали, чтоб мы вели себя со скромностью школьника или с принижением человека, который считает себя еще слишком малым для того, чтобы сметь с нею спорить, или слишком слабым, чтоб показывать ей кулак. После дела Кушки она подняла такой же шум, как теперь, так же грозила нам, как грозит теперь Франции. Твердость Императора Александра III победила ее воинственный шум гораздо вернее, чем дипломатические расшаркивания, которые начались было у нас и проникли в печать.

Нашуметь легче, чем воевать, и с Англией это надо всегда иметь в виду. Она очень хорошо знает, что нам она может вредить только с моря, а что мы ей можем навредить с сухого пути гораздо больше и гораздо верней. Коли дело идет о победе, о приобретениях, пускай они попробуют их вырвать железом и кровью, а не шумом и угрозами. Восхваляя предложение Государя Императора о разоружении, уверяя, что ему обеспечено горячее сочувствие и поддержка Англии, лорд Солсбери[1] говорит: «Пока эти усилия увенчаются успехом, мы должны подумать об окружающих нас опасностях и принять предосторожности». «Пока»… этому «пока» сколько надо лет жизни?.. Во всяком случае, и мы это «пока» должны принять во внимание, как и «опасности и предосторожности». «Мы отвращаемся от войны, но наш долг передать потомству империю нетронутой», – прибавил почтенный лорд. Под «нетронутой империей» он, конечно, разумеет империю прибавленную, округленную, усиленную, во всяком случае такую, которой не угрожали бы опасности и которая *отдаляла* бы эти опасности как можно дальше и как можно вернее. Эту фразу

и мы можем повторять с полным убеждением, и думать и действовать в том же направлении неуклонно, верные русским задачам и русскому патриотизму и двигая вперед наш ум и талант, наши культурные и нравственные силы, без которых, конечно, спорить с Англией мудрено.

Франко-русский союз

Я считаю, что наша статья о франко-русском союзе[1] явилась как раз вовремя и сделала очень хорошее дело. Она вызвала полемику во всех европейских газетах и заставила тишайшую русскую дипломатию и французское правительство несколько подумать и встрепенуться. Вместо угроз французских радикалов в палате, вместо заявлений со стороны некоторых членов французского правительства по отношению к России, заявлений, радостно и с торжеством принятых левыми газетами и партиями, появились дружественные заявления известных политических деятелей Франции, что франко-русский союз необходим, что его необходимо поддерживать и оберегать. Оба правительства сделали то же. Брань на «Новое время» доказывала только, что стрела, пущенная им, попала в цель. Если Октав Мирбо[2] обратился в «Neue Freie Presse», в Вену, со статьей, враждебной России, то даровитый этот писатель не может забыть своего еврейского происхождения. Оно его толкает и оно кладет на его произведения семитическую печать вражды. Русская дипломатия, при своей тишайшей политике, была недовольна нашей статьей. Зять Карла Маркса, француз Лафарг[3], пришел от нее в негодование. Все эти «негодования» и «неудовольствия» совершенно понятны. Наша статья растолкала и друзей, и врагов России и заставила их высказаться. Призрак Германии сам собой появился на горизонте в таком виде, что незачем было его пояснять и на него указывать. Заигрывания нескольких парижских газет с Германией нимало не ослабили германской тени, прошедшей по Европе. С самого вступления на престол Вильгельма II я чувствовал уважение к

германскому монарху, к его таланту управлять и пользоваться обстоятельствами. Я всегда думал, что от самой России, то есть от русского правительства, зависит та политика, которая сумела бы жить со всей Европой в мире и сохранять франко-русский союз в его живой и деятельной форме. «Новое время» пропагандировало этот союз еще в то время, когда к нему относились наши сферы недоверчиво и боязливо. Я лично участвовал в празднествах парижских, когда союз был заключен, и был свидетелем того живого и яркого энтузиазма, который тогда проявлялся. Покойный наш посол барон Моренгейм рассказывал мне в Биарице о заключении этого союза:

– В докладе министру иностранных дел Гирсу[5] о союзе с Францией я написал: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Государь Александр III написал около этих слов: *«И моему»*, и этим решен был вопрос о союзе.

Граф Пав. А. Шувалов, тогдашний наш посол в Берлине[6], рассказывал мне, когда я возвращался с парижских франко-русских празднеств, что немцы, с императором во главе, с большим тактом отнеслись к этим празднествам. Император увеличил свою любезность к нашему послу, к которому он всегда относился к уважением и нередко попросту заходил к нему и беседовал с ним.

– Если я что знал о политике нашего Министерства иностранных дел, – говорил гр. Шувалов, – то только из этих бесед с императором, который, конечно, получал сведения от своего посла. Петербург по большей части молчал и оставлял меня без всяких инструкций и ответов на мои вопросы.

Когда наши несчастия разразились, во Франции естественно упала вера в союз. Наша дипломатия наделала пропасть ошибок до японской войны. Если гр. Муравьев был бездарен и самонадеян, то гр. Ламздорф[7] не уступал ему в этом отношении. Российская дипломатия велась, в сущности, военным престижем и престижем императорской власти, а вовсе не дипломатией, которая и в данное время плетет какое-то вологодское кружево, вероятно очень искусное, но мало понятное. Может быть, так и надо, чтоб никому не было понятно то, что

делается. Сфинксом быть приятно, но не все – сфинксы, для которых необходим мудрый Эдип. Российские сфинксы сильны были только тем, что не позволяли никому себя разгадывать, и даже разгадчики подвергались наказанию, ибо, по мнению сфинксов, они всегда необыкновенно премудры и все сделали бы великолепно, если б им не мешала печать. Она мешала их премудрости в подцензурное время, мешает и теперь. Но, повторяю, статья «Нов. врем.» о франко-русском союзе была очень полезна именно для этого союза, для его поддержания и важности. Она напомнила о нем, ибо он стал забываться. Надо было сказать, что Россия не quantité negligeable*, что, несмотря на свои поражения и свою революцию, которая хуже этих поражений, это все-таки великая страна, способная дождаться своего возрождения и занять в мире подобающее ей место. Она способна дождаться, если правительство русское проникнется сознанием, что оно не само по себе только – «мы ваши господа, а вы наши дети», – но что оно представитель великого народа и должно дело делать, а не сочинять легион законов и ждать, когда эти законы будут введены. Дело делать – значит вникать во все вопросы, во все нужды России, исследовать их, помогать всем, кто хочет и работать, и тем возбуждать к работе и мало или вовсе не думающих о ней. Никакая Дума ничего не сделает, если само правительство будет сидеть по-старому у моря и ждать погоды. Непогода-то и требует усиленной работы и энергичной инициативы.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС

Малая Азия и Персия

Германские газеты расчерчивают карту Ближнего Востока. «Если Германия берет себе Малую Азию, то предприятиям

* Мелочь (*фр.*).

России открыт огромный простор в Персии». Раздел произведен и подписан германскими газетами: «Сюда вы не ходите, а можете идти вот куда». Известно, что Персия находится рядом с Брауншвейгом и жребии на Востоке раздает Германия.

Как теперь выясняется, предприятие немцев с Анатолийской дорогой гораздо шире, чем сообщено было в газетах первоначально. Кампания Анатолийской жел. дороги проводит одну ветвь от Ангоры через Диарбекир к Багдаду и другую от Кония кругом северо-восточного угла Средиземного моря через Сирию (где уже есть французские железные дороги) с тем, чтобы в свое время примкнуть ее к Каиру. Таким образом багдадская ветвь будет высасывать товары и грузы с Индийского океана и Южного Китая, а сирийская, соединенная с родсовской линией Кан–Каир, повлечет товары с африканского континента. Оба эти потока грузов встретятся на Анатолийской жел. дороге и будут направлены ею к Гамбургу, который станет Нью-Йорком Европы, имея в Лондоне своего младшего и слабейшего брата. Таким образом эта дорога станет артерией двух континентов, и отсюда можно себе представить колоссальную ценность того подарка, который немцы преподнесли себе в этой дороге, и то грядущее значение Германии в экономической жизни Европы и всего мира, фундаментом для которого эта дорога предназначается быть.

Немецкие газеты с восторгом говорят о предстоящих для германского капитала и культуры торжествах в Малой Азии, но озабочены тем, что Россия, пожалуй, не найдет себе настоящего места на Востоке, и спешат указать местечко рядом и в стороне – Персию: Малая Азия уже занята…

Конечно, Германии было бы приятно, если бы мы теперь занялись Персией, Персией и Персией, чтобы дать ей полную возможность заняться Малой Азией, Малой Азией и Малой Азией. Еще недавно занятием Киао-Шау она отвлекла уже однажды наше внимание к Дальнему Востоку, сама же, почти ничего не предприняв со своим новым захватом, все усилия направила на Ближний Восток, на котором не имела уже противников. Германии, конечно, хотелось бы, чтобы мы и теперь

поискали себе где-нибудь новый Порт-Артур и предоставили ей время и досуг окончательно организовать в Малой Азии гигантскую узловую станцию азиатских, африканских и европейских железных дорог и тогда сказать: «До сих пор мы говорили, что у нас в Малой Азии есть только экономические интересы; теперь же мы признаемся прямо: у нас там есть, да всегда и были, интересы политические».

В русской печати уже не однажды раздавались голоса, указывавшие на возможность для нас теперь обеспечить себе выход к Персидскому заливу, утвердившись где-нибудь на его побережье.

Нас, северян, фатально тянет к теплым морям, но ради них не надо забывать о ближайшем уже потому, что Малая Азия есть только переходная ступень в ту же Персию для Германии и, не обратив должного внимания теперь же на усиление немцев в Малой Азии, мы через немного лет встретимся с ними в Персии в очень неприятной для нас роли. На этот счет мы не должны иметь никаких иллюзий.

Говоря о Персии, мы должны помнить, что Персия крепка властью шаха, на политику которого мы пока, бесспорно, легче других можем иметь влияние, и этим преимуществом мы должны пользоваться, не подрывая его авторитета в стране дроблением ее территории. Вразумительным уроком для нас должен был бы запомниться Порт-Артур.

Несомненный факт тот, что Порт-Артур связал нам руки на два года, стоит крупных сумм, возбудил против нас население Китая, дотоле к нам расположенное, и освободил Германии и Англии руки везде, обессилив нас везде же. Именно в эти два года державы эти – Англия и Германия – возросли в мировом значении до таких вершин, на которых они ранее никогда не бывали. Если мы теперь в ответ на Багдадскую дорогу немцев заняли бы какую-либо территорию на магометанском Востоке, то из анатолийского немецкого предприятия мы непременно сделали бы к удовольствию немцев второе Киао-Шау со всеми последствиями Киао-Шау, но уже не для Дальнего, а для Ближнего Востока, т.е. как Киао-Шау

вызвало раздел Китая, так захват чего бы то ни было нами в Персидском заливе естественно поставит на острие вопрос об интересах всех других не окончательно обессиленных держав в этих местах, а значит последует такое же растаскивание на части Персии, какое произошло с Китаем после Киао-Шау. Желаем ли мы этого?

В настоящую минуту мы могли бы реально утвердиться на Персидском заливе только территориальным приобретением и с этим вместе просто уже ради предохранения своего престижа от испытаний должны были бы взвалить себе на плечи новый Сизифов камень тысячеверстной железной дороги к западному пункту, проводимой экстренно в придачу к Манчжурии и еще в одном углу Азии, и напряженно втаскивать его на гору, заняв этим все государственные ресурсы.

Но не довольно ли мы нахватали себе этого черного и спешного железнодорожного труда? Бесспорно, нынешний политический момент чрезвычайно выгоден. Бесспорно, он призывает к свободе действия, а не к свободе бездействия, но своими действиями в этот момент мы должны прежде всего укрепить свое положение на Востоке, придав новое могущество своему слову на нем, а не ослабить его, завалив себе руки черной работой.

Мы достигли на Востоке известного территориального объема и не должны увеличивать его без реальной и прямой нужды, понимая лишь географически чисто культурные и политические идеи. Мы должны укреплять свое влияние на правительства восточных государств, оставляя им их территории. Не следует забывать, что теперь нельзя владеть людьми, не заботясь об их просвещении и возвышении культурном, и что поэтому присоединение новых миллионов к государственному телу России обозначало бы новое дробление света от того светильника культуры, который и так не преизобильно светит на Руси.

Нынешний момент вполне делает возможным не только возобновление нашей прежней железнодорожной конвенции с Персией, но и расширение ее прав. Каждая неделя приносит

нам крупные перемены в политическом положении мира, и ими должно пользоваться, не претендуя создавать обстоятельства, но беря от них то, что они дают, как Германия получила от них острова Самоа и благодаря им отстранила конкуренцию англичан по Анатолийской дороге, причем счет ее к Англии, конечно, еще далеко не кончен.

Устроив наблюдательные консульства по югу Персии, а также в Кермане и Иезде, нам необходимо учредить в Сеистане не вице-консульства, а консульство генеральное. По крайней устарелости всех хозяйственных положений нашего министерства иностранных дел вице-консульство в Азии имеет совершенно тот же состав, как и где-нибудь в Германии, состоя всего из единой особы г. вице-консула, не имеющего даже драгомана. Очевидно, что такое консульство будет лишено всякого значения. В Сеистане необходимо именно консульство генеральное. Против него возражают обыкновенно, что генеральное консульство у нас уже есть в Мешеде; создавать рядом с ним другое – значит создавать двойственность политики. Но тогда не лучше ли вообще на всю Персию ограничиться одной миссией в Тегеране? Однообразие политики выиграет несомненно, но почему такое недоверие к людям?! Англичане, имея в Персии около полдюжины широко поставленных консульств и агентств, умеют же получать от них одну общую имперскую политику! Учредив новые консульства, мы должны обратить серьезное внимание и на Испаган, усилив в ней наше представительство до размеров, при которых оно могло бы серьезно удовлетворять своему назначению в этом главнейшем пункте Юго-западной Персии. Вся эта часть Персии управляется фактически из Испагани, и хотя Зелле-султан, ее правитель, и подчинен шаху, но зависимость эта подвержена случайностям, и нашей заботой должно стать упрочение этих отношений между Персией Южной и Северной. Как известно, Зелле-султан лишен шахом права иметь свою армию. Это имеет оправдание в политических соображениях, но повлекло за собою и серьезные неудобства, усилив в Южной Персии разбойничество, почти уничтожение Зелле-султаном. Можно было бы теперь пере-

вести в Испаган часть персидской казачьей бригады, стоящей в Тегеране, или организовать для Испагани несколько новых ее сотен, конечно находящихся в полной зависимости от Тегерана. Персия – страна с огромными ресурсами, направляемыми, однако, неумело и без необходимого контроля. Организовать их едва ли по силам восточному государству, и, конечно, наши советы в этом отношении могли бы оказаться вполне уместными и своевременными.

Этими и подобными этому мерами мы могли бы в короткое время очень серьезно укрепить на будущее время наше положение в Персии.

Но, распространяя и расширяя свое руководительство в делах Востока, мы не должны брать на себя ничего, что могло бы подорвать на Востоке доверие к нам или занять нас принудительно где-нибудь слишком долго. Мы должны сохранять свою полную свободу рук, ибо она необходима нам для того, чтобы поддержать свое положение на Востоке, к нам ближайшем, чем Персия, и имеющем для нас и для нашего мирового положения гораздо больше значения, чем Персия.

Международные обстоятельства и что делать?

Русская печать обсуждает, как лучше всего использовать нынешний политический момент. Прямее и проще всего это определится ответом на вопрос: «Чем же этот момент создан?», так как в этом ответе будет и указание.

Конечно, нынешнее положение создано затруднениями, испытываемыми в настоящую минуту Англией в Южной Африке. И прежде всего поэтому нам расширяется свобода действия именно там, где противником нашим была одна Англия, т.е. в тех странах, где, по выражению Ч. Дилька, «никакие союзники не могут помочь Англии активно, и она является одинокой перед Россией».

Это – область Центральной Азии. Именно в ней мы должны воспользоваться нынешним моментом, чтобы пересоздать

политическое положение сообразно с нашими потребностями, давно указываемыми действительностью.

Тут многое решающее может быть сделано без всяких активных шагов, средствами исключительно дипломатическими. Надо вообще сказать, положение наше в этих местах стесняется доселе вовсе не активным могуществом Англии, которое не сравнимо с нашим, но преимущественно дипломатическими реминисценциями о соглашении 1873 года, по которому Россия согласилась не посылать своего агента в Кабул. Это соглашение было уже фактически отменено нами еще при Императоре Александре II в 1878 году посылкой генерала Столетова[1] к эмиру Шир-Али; однако все-таки останкам старых канцелярских бумаг англичане сумели придать какую-то магическую силу и по сие время, хотя в крае с 1873 года изменилось решительно все: мы подошли своими границами к границам Афганистана вплотную, чего не было в 1873 году; Закаспийская железная дорога создала для нас серьезные экономические интересы в этих местах; вместо захолустных слабых провинций в Средней Азии у нас создалась вполне организованная огромная область, которая по южной границе не может довольствоваться прежнею неопределенностью отношений к эмиру; наконец, торговый баланс в этих местах перекачнулся от Англии на нашу сторону, а политическое влияние превзошло английское, бесспорно, во много раз. Назначение нашего агента в Кабуле, при всей видимой ничтожности этого события, составит эпоху в наших англо-индийских отношениях именно потому, что им отменены будут по существу разом все предшествовавшие договоры наши с Англией и свободному развитию нашего престижа в Центральной Азии не будет препятствия… до самых границ Индии. «Индия богата, Россия сильна» – вот мнение эмира о двух своих соседях, и этим для него определяются и отношения к этим двум державам. Но ясно, что пока мы не имеем с эмиром правильных сношений, России в Афганистане не существует и между Россией и Индией все еще лежит буфер, устроенный в 1873 г., шириной которого Англия и измеряет меру наглости, которую она может

себе позволить по отношению к нам. Пора, кроме успехов по военному министерству, иметь нам в Центральной Азии успехи и по ведомству дипломатическому уже потому, что именно устарелые дипломатические фикции сковывают нас в этих местах, вызывая неумолкающие жалобы, которые вот уже несколько десятилетий мы слышим от военных, высказывавших обыкновенно гораздо более чутья и политической зоркости, чем их дипломатические коллеги.

О Персии мы говорили еще на этих днях. Наше положение в Персии так подготовлено устройством и организацией нашей военной силы в Средней Азии, что даже и одна реализация достигнутого престижа, сделанная дипломатическими средствами и в формах договорных, даст нам новое могущество в Персии. Англия до сих пор была сильнее нас по влиянию в Южной Персии, и нынешним моментом мы должны воспользоваться, чтобы продвинуть свое влияние в достаточно обеспечивающих формах и в Южную Персию.

Турецкий Восток был отодвинут на второй план в нашей политике отчасти соглашением с Австрией. Таким в общем нужно признать результат этого соглашения. Очевидно, что все наши средства дипломатического воздействия на Турцию, если не считать, конечно, кавказской армии и воздействий исключительных по значению, приличествующих для случаев редких и исключительных, – находятся на Балканском полуострове. Средства эти все заключаются в связях, которые Турция сохранила с Балканским полуостровом. Стремления Македонии из-под турецкого режима, старания турок удержать в своих руках эту провинцию, отношения Турции к Сербии и Болгарии, требования этих государств к Турции, в которой живут миллионы их соплеменников, законное желание Болгарии стать наконец независимой – все это, чрезвычайно сильно отражаясь на государственном престиже Турции, в руках искусного дипломата, конечно, может обратиться в могущественное орудие воздействия на Порту. Для этого, однако, существенно необходимо, чтобы воля наша во всем этом была совершенно свободной от всяких ограничений; необходимо,

чтобы каждому было совершенно ясно, что не только в крупном, но и в мелком деле мы свободны остановиться где захотим и настоять на своей воле, на своем даже капризе – до конца. Соглашение естественно давало обеим сторонам право взаимного дружеского контроля, и у Турции силою его явился новый авторитетный посредник. Ведь положение этих трех держав – России, Австрии и Турции – на Балканском полуострове совершенно различно; в политической борьбе, идущей на нем, Турция отстаивает свое существование, Австрии всегда легче спеться с Турцией, чем нам, так как Турции, как и всякому, легче сделать уступку в сфере экономической, чем в нравственной, в которой ей приходится считаться с Россией. Местом маклера на Балканском полуострове Австрия не замедлила воспользоваться, и факты вскоре показали, что соглашение объединяло нашу политику с австрийской в случаях, когда мы этого не желали, а иногда и не знали.

Еще недавно официоз австрийской политики «Neue Freie Presse» позволил себе заявить, что русское правительство примирилось с нынешним положением в Сербии. Если газета это напечатала, то, очевидно, рассчитывала, что этому поверят; но по этой явной и гласной лжи можно представить себе, что такое агенты австрийской политики распространяли в эти годы под рукою, на что, впрочем, имеются прямые указания и образцы. Так как Австрия имеет более торговых интересов на Балканском полуострове и более развитую агентуру, то она смело пустилась в политику авантюры, к чему ее внутреннее положение никак не давало права, и, как известно, вскоре в Сербию приехал Милан[2], а затем при поощрении дружественной нам австрийской политики произошло и известное судбище. Избегая ложного положения, наш представитель выехал из Белграда.

Нам скажут: «Но вы, кажется, хотите поднять болгарский, сербский и македонский вопросы?!» Нисколько. У нас уже потому не может быть этого нарочитого желания, что, по нашему мнению, дипломатия наша должна ежедневно и ежечасно заниматься всем, что связано с Балканским полуостро-

вом, т.е. и этим болгарским, и этим македонским вопросом, как ежедневно и ежечасно германская дипломатия, работая маленькими средствами, но неустанно, в пятнадцать лет добилась фантастического успеха – Багдадской дороги. Мы никогда не признавали и не признаем за славянскими народами права самим назначать час, когда Россия должна обращать свои силы на помощь им, но думаем, что легче разрешить пять-шесть вопросов, ждущих решения на Балканском полуострове, по очереди, чем накопив их сразу в одну общую связку, могущую от истории получить потом название «кризиса». Вообще к общественному обсуждению решительно неприменимы рамки и термины специально дипломатической профессии, иначе – не окажется времени, когда печатно говорить будет вполне удобно. В самом деле, говорить впредь о событиях неудобно, ибо «вы подымаете вопросы!» Говорить во время событий – мешает дипломатическому делу: «Идут переговоры!»; говорить после событий – тоже напрасно: «Ведь все уже кончилось!»

Не касаясь событий слишком конкретно, скажем, что на турецком Востоке нам надо не только действовать, но и возобновлять старые позиции. Мы не будем говорить здесь о мерах и целях ближайших и частных, но, несколько даже отдаляясь от момента настоящего, мы хотели бы обратить внимание на давнюю, основную, во всем дающую себя знать слабость нашей международной позиции – нынешнюю организацию наших дипломатических средств вообще и в частности на Востоке. Она в нынешнем своем виде вся унаследована нами от десятилетий прошедших и даже давно прошедших, хотя кругом ее переменилось решительно все. До сих пор еще вся деловая часть нашей политики обращена фронтом к европейским канцеляриям, хотя последние уже давно гораздо более ценят успехи «на местах», чем дипломатическую игру в европейских центрах, зная по убедительному опыту, что эти успехи на местах в нынешней политике дают в руки рычаг, наиболее сильный и иногда прямо решающий.

Чтобы не отставать от других, чтобы не допускать новых багдадских дорог, мы должны изменить весь директив

нашей практической политики, «местные успехи» поставить на должное по их значению место перед собою. Мы вовсе не рекомендуем «консульскую политику», когда каждый маленький агент воображает себя Пальмерстоном[3] и готов от себя посылать ультиматумы. Есть мера всему, и мы видим, что везде кругом нас эта мера счастливо найдена, что центр, не допуская своеволия у своих агентов, умеет не подавлять их инициативы и, работая над общим направлением, оставляет им возводить «на местах» фундамент желаемых успехов, которые и приходят с легкостью, поражающей нас, сторонних зрителей. О существе же постановки у нас дипломатического дела, не особенно преувеличивая, можно сказать, что главенствующий ресурс нашей политики – армия, и преобладающий тип нашего дипломата, даваемого общею средой, – тип не дельца, напряженно работающего в самом пылу жизни и стремящегося укрепить в ней создание своего труда, своего служения указанным целям, а тип некоего стратега, занятого самыми общими комбинациями, счетом армий и броненосцев, точно действительно армия должна работать за дипломатию, а не совершенно обратно; исключения есть, но о них мы не говорим. Практически все это сводится к новым отношениям между центром и периферями дипломатического ведомства и к новым «заповедям» для этих отношений…

РАЗДЕЛ VI

ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ПРАВОСЛАВИЕ И РАСКОЛ

История раскола

Двести двадцать шестой раз православная Русь встретила Рождество Христово не в том братском единении, какое было прежде. Собор 1667-го года разделил православных великороссов враждою друг к другу. Вы едва ли знаете подлинный акт этого Собора. В историях раскола он передается в извлечениях, причем опускается та его часть, которая слишком явно свидетельствует о жестоких нравах того времени, ярко отразившихся в этом соборном постановлении. В самом начале царь Алексей Михайлович называется «новым Константином» и «мстителем» «раскольникам и непокорникам». Собор, придающий этот титул мстителя в делах веры царю, тем самым возлагал на него обязанности, противные духу учения Христова, духу кротости, снисхождения и любви. Глубоко религиозный царь, естественно, должен был принять к руководству политику преследования, а потому те тщательные оговорки, которые делает, напр., митрополит Макарий в своей

«Истории раскола»[1], что казни и преследования раскольников шли «от гражданской власти», а не от духовной, теряют свой смысл. Постановлением церковного Собора предписывались «мстительные» меры. Далее, самое проклятие, наложенное Собором на всех тех, которые крестятся двуперстием и вместе с некоторыми обрядами почитают старые книги, выражалось в таких словах, что даже людям того времени они могли показаться вне власти и компетенции Собора. Передавая «проклятию и анафеме» всякого непокорного, Собор продолжает: «Да будет он и *по смерти* отлучен и непрощен, и часть его и душа с Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием и с прочими проклятыми еретиками; железо, камение и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будет неразрешен и неразрушен и яко тимпан, во веки веков, аминь». Этими словами Собор 1667 г. предписывал, как видите, самому Всевидящему Богу, читающему в сердцах, не прощать старообрядцев и после смерти души их помещать вместе с душою Иуды-предателя. После этих слов уже ничего не значит, что сугубое «аллилуйя» названо таким ругательным словом, что его невозможно повторить теперь в печати.

Вспоминаю об этом для противников моих в «Московск. Ведом.».

«Протянуть руку расколу», – восклицает один из них, г. С. П-вский[2]. – Да разве Церковь не делает этого вот уже два столетия? Разве вся история (?) отношений Церкви к расколу за все это время не есть *непрерывный* материнский призыв, обращенный к заблудшим чадам с мольбой о возвращении в лоно матернее? Несомненно, что Церковь, в идеальном своем виде, в словах Евангелия, в богослужебных молитвах, исполненных кротости, снисхождения и любви, «призывала заблудших», но ведь оставалась практика жизни, оставались люди со своими страстями, проклинавшие невозможными клятвами, предписывавшие преследования, заточения, железо, пытки. При чем Церковь, как святыня, в этой вражде, в этих низменных страстях? Разве Церковь виновата в том, что греческие митрополиты, приезжавшие в Москву, продавали отпущение грехов?

В «Истории русской Церкви» митрополит Макарий говорит, что религиозная «борьба началась преимущественно из личных побуждений» и «с обеих сторон». Самовластие, неукротимость, своеволие, сатанинское честолюбие Никона, не останавливавшегося перед подчинением себе верховной власти, перед порабощением царя, играли в этой борьбе огромную роль. Он ли поступал со «справщиками» и с теми, которые осмеливались противоречить ему, «как мать»? Неужели дальнейшие преследования раскола, казни, ссылки, тюрьмы, заточения, дальнейшие гонения, породившие бунты в Москве, в Соловецком монастыре, породившие «самосожигателей», бросавшихся в огонь от насилия и грабежа, – все это «матерний призыв к заблудшим чадам с мольбой о возвращении в лоно матернее»? Правда, все это было во времена давно прошедшие, но они входят в те «двести лет», о которых говорит автор статьи «Москов. вед.». Как осуждать народные массы и их учителей, если они в церковных новшествах Никона видели нарушение православия и жертвовали своим спокойствием, своим достатком, даже своею жизнью для защиты старых книг, двоеперстия и некоторых старинных церковных обрядов? Они ведь знали, что этим старым православием, которое вообще являлось тогда не только народу, но и книжникам, «искусным таинственникам», преимущественно, если не исключительно, только со стороны обрядности своей; они знали, что им, этим старым православием, жила русская держава, усиливалась, объединялась, что по этим старым книгам спасались и св. Сергий Радонежский, и митрополиты св. Алексей, Петр и Иона, что по этим старым книгам молились благочестивые русские цари, патриарх Филарет Романов, сын его Михаил и тот же Алексей Михайлович, которого подчинял себе Никон и который с трудом выбился из-под этого влияния. Мало того, русский человек гордился своей Церковью, считал ее первою на всем Востоке и, может, даже единственно истинною, и вдруг это сокровище, с которым сросся весь его быт, разрушают, по его мнению. Не надо забывать и того, что двоеперстие и сугубое «аллилуйя» были возведены на степень догмата Стоглавым собором, и этот дог-

мат грубо изгоняется и преследуется, как преступление, как убийство, как Иудино предательство. Ведь это ужасно! Ведь религиозные вопросы – это душа жизни народной. Ведь Европа 30 лет вела истребительную войну из-за них! Что ж удивительного и непонятного, если множество русских не только захотели остаться при старых книгах, но считали смертным грехом подчиниться новшествам, о которых столько столетий Русь не слыхала. Это старое православие подняло Русь в Смутное время, оно объединило ее своей силой и крепостью, оно вдохнуло мужество в иноков Троицкой лавры, и воспоминания обо всем этом были еще свежи во времена Никона. Что удивительного, что эти люди предпочитали гонения и смерть тому, что они считали изменой православию? Что удивительного, что этим людям приходили в голову вопросы: если по этим старым книгам так многие спасались, так многие угодили Богу в такой степени, что сделались святыми и творят чудеса, то каким же образом проклинают эти книги и эти обряды? Будут ли спасаться по новым книгам, по новым обрядам – это еще неизвестно, но ведь старина доказала свою святость. Если тут была «духовная гордость», как выражается автор статьи «Московских ведомостей», «духовная гордость», которую он ставит в упрек оставшимся верными старому обряду, то эта гордость святостью и величием православия. Что ж мудреного или неясного, что в никоновских новшествах народ XVII века видел гибель веры, гибель всего православия? И если Никон мог решиться на такую меру, то потому лишь, что его ослепляли неукротимое честолюбие и неразборчивая любовь к блеску, к подражанию грекам, к властному распоряжению всею Русью. Понравился ему греческий клобук, который шел ему к лицу, он переменил русский клобук на греческий, прибегнув к обману царя, и возбудил народное неудовольствие. Так же легкомысленно он поступил и с гораздо более важным, требовавшим большой осторожности и постепенности, со своими новшествами, притом несовершенными. Относительно тех новшеств, которые ему не нравились, он был глубоко консервативным. Он ненавидел «Уложение» царя Алексея Михайловича и требо-

вал заменить его «Кормчею», ибо это усиливало бы его власть. Но тут, в делах веры, которые требуют особенного внимания, особенной деликатности, он поступал как человек совершенно ослепленный. Он ссылался на патриархов, когда они ему были нужны, и он же в грош не ставил их во время суда, выставляя на вид их пристрастие, их низкопоклонство, их продажность. Собор, осудив Никона, утвердил его новшества и произнес известные проклятия на «старую веру». Как тут было разобраться народу во всей этой путанице, во всех этих противоречиях, судах, соборах, когда и теперь еще во всем этом не разобрались многие? Никон был осужден, но никоновская политика продолжала процветать и после него, эта политика хотела взять старообрядство измором, лишив его храмов, священства и всех благ мирной жизни, всех благ равноправности с теми, которые крестились тремя перстами и слушали литургию по новым книгам. Это была поистине глубокая трагедия в жизни старообрядцев, и это поймут все те, которые способны понимать народную душу, ибо для нее вера составляла самое важное в жизни. Надо же быть когда-нибудь справедливым и без всякого лукавства сказать ту правду, которая подсказывается сердцем.

Автор «Московск. вед.» с легким сердцем именует «фанатиками» старообрядцев, их приверженность к старой вере – «фанатизмом». Автор, очевидно, просвещенный человек, умеющий веровать умеренно и аккуратно. Но ведь не всем дана эта легкость, умеренность и аккуратность. Народная масса, к тому же не по своей вине, не может пользоваться теми благами просвещения, которыми воспользовался автор статьи «Моск. вед.», спрашивающий: «Отчего же раскол полностью не перешел в единоверие», «давшее, под условием единения с Церковью, полную возможность любителям *мнимодревнего* "благочестия" *легально* употреблять излюбленные обряды?»

Я думаю, от того, между прочим, что такие истинно православные и просвещенные люди, как автор статьи «Москов. вед.», называют *фанатизмом* это старое православие, с насмешкой говорят о «мнимодревнем *благочестии*», подчеркивая это слово, с насмешкой относятся к «излюбленным»

обрядам и «мнимодревнему *благочестию... того же самого* “единоверия”», которое рекомендуется им. Ведь единоверие существует легально, исповедуя то же древнее благочестие, а автор над ним потешается!.. Да, между прочим, хоть это высокомерие таких просвещенных православных людей, как г. С. П-вский, высокомерие, ничего не имеющее общего с христианскою любовью, высокомерие насмешливое, прямо оскорбительное для верующих – вот одна из причин того, что единоверие не нашли многие. Были и другие того же характера, но об этом в следующем письме.

Памятная Пасха

Нынешняя Пасха останется вечно памятной у русской истории. Государь Император привел в исполнение давнишнее свое желание создать в России свободу вероисповеданий. Этот Высочайший указ – прямо великое дело, прекрасный памятник нынешнего царствования. Дело это широко задумано Государем, основательно и подробно обсуждено и редактировано в Комитете министров. Оно ставит в братские отношения все народы России, все вероучения, все секты, исключая изуверных. Православный может гордиться своей религией, которая нашла справедливым не стоять более в исключительном положении и не прибегать к силе в деле спасения души. Этот закон протягивает братскую руку полякам-католикам. К племенной связи прибавляется связь свободного вероисповедания. Нет более насилий над католичеством, нет препятствий для смешанных браков между всеми христианскими исповеданиями. Судьба детей, которые должны были стать православными в смешанных браках, не будет служить препятствием для заключения браков. Свобода совести подает руку политической свободе и свободе печати. Она разом устраняет из сферы взаимных отношений между гражданами одну из причин разномыслия, споров и недоразумений, иногда очень тяжелых. Она налагает и на православную Церковь новые обязанности, обя-

занности высокого служения своему народу, его просвещению и укреплению в нем веры. Русскому духовенству никогда еще не представлялось такой огромной задачи, как теперь, и такой потребности реформы внутреннего строя Церкви.

Я очень радуюсь за старообрядцев, которые так долго и так много терпели жестокие преследования. Когда родственники ненавидят друг друга, то это одна из самых неугасимых ненавистей. Так было и между родными сестрами, православием и старообрядчеством. Секты, более отдаленные от православия или совсем отпавшие от него, испытывали меньше преследований. Тут, в отношении к старообрядцам, было что-то мелочное, обидное, унизительное, ежедневно испытываемое, ежедневно угнетаемое в самых дорогих понятиях и чувствах. И старообрядцы закалились в этой борьбе и остались искренними русскими людьми и в России, и в Пруссии, и в Австрии, и в Америке. Прекращение этой вражды не только важно с религиозной точки зрения, но и с русской общественной. Это – восстановление в гражданских и политических правах нескольких миллионов искренних русских людей, готовых стоять за свою национальность во что бы то ни стало. Сохранив старый религиозный обряд, сохранив приход и выборы своих священников и епископов, они нисколько не враждебны к просвещению. В их журналах, издающихся за границей часто славянскими буквами, свободные воззрения по отношению государства к обществу господствуют. Допетровская азбука нисколько не мешала расти свободным политическим воззрениям. Борьба выковала из их писателей превосходных полемистов, умеющих говорить явным, оригинальным русским языком и с тою страстной логикой убеждений, которая заразительно действует на читателей. В настоящее время трудно себе представить все те выгоды, которые приобретает Русское государство в этих гражданах, крепких, деятельных, трудолюбивых, убежденных и знающих по самому опыту всю цену солидарности, союза между собою. Дай Бог, чтоб эти качества зрели и укреплялись и с развитием просвещения, успехи которого у старообрядцев и теперь несомненны, а вместе со свободою устраивать школы

возрастут быстро. Если теперь выборных священников и епископов у старообрядцев упрекают в невежестве, то свобода вероисповедания и этому горю поможет. Замечательно, что эти столь долго гонимые, непризнанные, становятся образцами. У православных нет ни крепкого прихода с теми благотворительными и просветительными учреждениями, как у старообрядцев, нет выборов для избрания духовенства. Старообрядцы держались не только за обряд, но и за более важные, общественные льготы старого времени. Митрополит Московский Иоанникий[1] говаривал: «Если бы не было старообрядцев, православие давно бы обратилось в лютеранство». Так ли это или нет, но склонность к протестантству была у Петра Великого и у части нашего духовенства. Известный католик Жозеф Деместр[2] писал в царствование Александра I: «У русского духовенства и лютеранского есть два догмата к согласию: любовь к женщинам и ненависть к нам». По моему мнению, у них есть догмат более важный, общий и православному и протестантскому духовенству и довольно чуждый католическому, – это широкая терпимость. С большим нетерпением православная Церковь будет ожидать обещанного собора Всероссийской Церкви. На этом соборе должна быть высказана мысль о необходимости снятия клятвы 1666 г., что потребует присутствия вселенских патриархов. Это снятие клятвы необходимо, и, конечно, оно совершится скоро.

Между старообрядцами надо ожидать живого, радостного движения. Оно должно отразиться и в Белой Кринице, в Австрии. Вообще провозглашенная Государем свобода вероисповедания сыграет огромную роль в России, вызовет жаркие споры, полемику, переустройство во взаимных отношениях самих сектантов, но все это будет происходить открыто, а не тайно, не кривыми путями, которые все путают и разносят вражду и недоразумения. Было бы желательно, чтобы старообрядческая журналистика переселилась в Россию и нашла здесь ту свободу, которою она пользовалась за границей и которой и вся русская журналистика, светская и духовная, ждет с таким нетерпением.

РАЗДЕЛ VII

РОССИЙСКАЯ ПЛУТОКРАТИЯ. ЕЕ ИДЕАЛЫ И ТРАДИЦИИ

Народные просветители. I. Фабриканты

Мы твердо намерены вычистить конюшни Авгия, в которых жили отцы наши, и, может быть, вычистим, не будучи геркулесами.

Мы не станем говорить читателю о том растлевающем начале, которое заключается для рабочих в самой мануфактурной промышленности, породившей на Западе пролетариат и пауперизм. Мы хотим говорить о наших купцах-фабрикантах, которые эксплуатируют народные силы и здоровье, пьют кровь его безнаказанно, развращают его детей и такими способами наживают громадные богатства. Вероятно, многие политико-экономы с презрением и холодностью взглянут на эти язвы и скажут, что будущее излечит их, и наговорят три короба прекрасных фраз о мануфактурной промышленности, развитие которой способствует процветанию государств, блеску их и проч. и проч. Таких политико-экономов у нас не занимать стать, и мне невольно приходит в голову анекдот, случившийся в нынешнем или прошлом году. К одному весьма ученому человеку, издающему специальный журнал, пришел молодой человек и про-

сил его поместить в своем журнале путевые заметки о состоянии рабочих на строившейся железной дороге. Ученый муж попросил молодого человека прочитать свои заметки, в которых с симпатиею говорилось о бедственном положении рабочих, причиненном промышленными операциями эксплуататоров. Молодой человек читал, а ученый муж сердито двигал бровями, и тем чаще, чем картины, нарисованные автором, становились ярче и ярче. Наконец он прервал его: «Послушайте, молодой человек, вы не понимаете экономических условий и, главное, не понимаете нашего народа. Хуже этого народа, проехав от Москвы до Парижа, я еще не встречал. С ним иначе и обращаться нельзя. Вот вам пример. У меня был переплетчик – всегда аккуратно переплетал книги и приносил их вовремя. А теперь вдруг – вот уже две недели переплетает одну книгу». Более сильного доказательства не в пользу народа со всей своей ученостью господин не умел прибрать и отказался от печатания записок, которые явились в другом журнале. Анекдот этот довольно наглядно рисует тех господ, которые ради воображаемого процветания государства готовы, как иезуиты, говорить: цель оправдывает средства.

Г. Голицынский, автор «Фабричных очерков»[1], совершенно справедливо говорит, что литература и общество до сих пор не обращали должного внимания на класс фабричных тружеников. В качестве доктора г. Голицынский имел возможность посетить многие фабрики, преимущественно в Московской губернии, и довольно близко познакомиться с житьем-бытьем рабочих. Он умел выбрать резко выдающиеся факты и рассказал их в своей небольшой книжке, украшенной красивыми рисунками г. Шмелькова. Доктор Голицынский обладает талантом наблюдателя в достаточной степени, но наблюдения его чисто внешнего свойства. Не выработав еще себе языка, не зная хорошо народный язык, он часто прибегает к карикатуре и юмору, весьма подозрительному, который в состоянии рассмешить разве только известный класс читателей. Юмор этот – гостинnод-

ворский и часто чрезвычайно неприятно действует на читателя сколько-нибудь развитого. Досаднее всего, когда автор прибегает к нему в самых потрясающих сценах; вставляя, например, в уста матери, проклинающей свою дочь, потешные фразы, г. Голицынский растягивает разговор свой с отцом и матерью работника, которому он отрезал раздробленную машиной руку. Отец и мать просили г. Голицынского, чтоб он отдал им отрезанную руку их сына: «Будем мы смотреть на нее и казниться век». Сцене этой автор придал такую преднамеренную пошлость, которая непременно рассмешит гостиннодворцев, и все оттого, что *гоняется* он за юмором и ищет его везде во чтобы то ни стало. Мы понимаем, что юмор Диккенса, заставляющий скорбеть и смеяться, смех Гоголя, в котором слышатся слезы, могут соблазнять г. Голицынского, но неужели автор *фабричных очерков* думает иметь что-нибудь общее с этими писателями? Мы со своей стороны не видим даже и задатков на такое сближение. С таким холодным юмором нельзя относиться ни к каким явлениям жизни, а если писатель не щадит самых потрясающих душу сцен, если самые возмутительные явления производят в нем только смех да равнодушие, если иногда только он скажет: «Досадно мне было», и тотчас же прибавит: «И смешно», хотя смеяться вовсе нечему, такой писатель грешит и против искусства, и против жизни и не найти ему симпатии к себе ни в ком, для кого дорого чувство. Тем не менее книга г. Голицынского все-таки интересна, что увидят сейчас сами читатели: автор сумел выбрать резкие черты, которые, помимо тона автора, заставляют содрогаться читателя.

Московское купечество (не все, конечно) издавна славится своими качествами эксплуататоров, надувателей, рутинеров и религиозностью. Последнее качество, казалось бы, не должно гармонировать с первыми, но так уж сложилась натура московского купца, что без призвания Божьего благословения он ни хорошего дела не сделает, ни на дурное не пойдет. Надует сотню бездомных бродяг, лишит права сиро-

ту, и, если такие *операции* прибавили в его карман лишнюю сотнягу рублей, он позовет «батюшку» и отслужит молебен или поставит рублевую свечку какому-нибудь святому. Нам напоминает это волжских разбойников, имевших, говорят, в своих землянках дорогие образа, перед которыми теплились неугасимые лампады, и всякий раз, когда нужно было отправиться на разбой, перед иконой приносилась усердная молитва, и всякий раз, когда, загубив несколько душ, разбойник возвращался в свою землянку, новая молитва и новые украшения святой иконы оканчивали подвиг. Не входя в причины подобного явления, мы прямо обращаемся к фабрикантам. Г. Голицынский не первый сказал, что чем честнее фабрикант у нас, чем лучше приготовляются товары, чем справедливее он рассчитывается со своими рабочими, тем скорее губит его конкуренция ловких, изворотливых и бесчестных промышленников. Каким же путем достигают эти изворотливые люди перевеса?

Устроив фабрику, обыкновенно не очень поместительную, и наставив в ней машин целую бездну, так что рабочие постоянно подвергаются опасности лишиться то пальца, то руки, то ноги, то совершенно быть истертыми каким-нибудь колесом, фабрикант выписывает англичан прямо из Манчестера и начинает производство. Рабочие являются по необходимости – и старики, и взрослые, и дети. Русский человек не привык к роскоши – фабрикант это хорошо знает, а потому и помещение для рабочих не щеголяет комфортом. Это обыкновенно – большая кухня или несколько кухней, в которых рабочие ночуют все подряд, не различая пола и возраста. Плата назначается хорошая, но случается сплошь и рядом, что рабочие ничего не получают. Фабрикант самыми позволительными и справедливыми с виду манерами затягивает в хомут рабочих и не позволяет им шагу ступить без того, чтоб этот шаг не отозвался благоприятно на благосостоянии фабриканта. Около фабрики заводится овощная лавочка, в которой можно найти всевозможные вещи самого противоположного свойства и употребления, как, на-

пример, деготь и кринолины, булки и хомуты, вино и сено, мука и галантерейные вещи. Случалось, что возле лавочки вследствие стычки с властями заводился и трактир. В обоих этих заведениях рабочие во всякое время дня и ночи могли брать все, что им угодно, *на книжку.* Цены, следовательно, ломились непомерные, доброта товаров – понятная. Дорого и гнило. Кроме того, рабочие не умеют большей частью читать, да и трудно упомнить, что взято в продолжение месяца, а потому фабрикант имеет полную возможность приписывать и усчитывать, так что случается рабочему, получающему 15 р. в месяц, удовольствоваться двугривенным. С горя и досады он пропьет и этот. Привычка и разгульная жизнь удерживают рабочего на фабрике. Он делается беззаботным пролетарием – работает, пьет, гуляет, имеет любовниц. Провизия для рабочих, разумеется, очень часто самого дурного качества. Мука вроде извести, слегшаяся в комки, солонина такая, что и в рот нельзя взять. Фабрикант, унаследовав от тятеньки *коммерческие* приемы, развивается еще более, потому что прогресс есть и в хорошем, и дурном деле. Доктор Голицынский рассказывает такой случай. Один фабрикант так затянул рабочих, что они не имели возможности нигде брать припасов, кроме его овощной лавочки. (При отпуске *на книжку* это очень удобно). Фабрикант насолил такой солонины, что ее не только есть, но мимо лавки, в которой она стояла, пройти было нельзя. Пошла цинга – почти половина фабрики обезножила. Рабочие, выведенные из терпения, отправились наконец к директору фабрики и грозили уйти с нее, если он не переменит солонины. Директор испугался и успел кому-то продать ее. Но купивший привез ее скоро назад и заставил директора снова взять ее, иначе, говорит, я пойду дальше. Солонина снова явилась в лавочке. Как быть? Не бежать же из-за солонины с фабрики, рассуждали рабочие и решились сложиться и купить солонину. Купивши, бросили ее в реку: «Пропадай, мол, ты, окаянная, и с деньгами совсем». Дело этим, однако, не кончилось. Директор отправился рыбу ловить неводом и вместе с рыбой нечаянно

вынул и солонину, которая, немного вымокши в воде, снова явилась в лавочке и пошла за свежую в желудки рабочих. Если рабочие покупали что на стороне, то часовой обыкновенно останавливал их в воротах, вел к директору, который преспокойно отбирал купленное. Дорожа интересом хозяина, он не позволял даже грибы сбирать в лесу: пожалуй, мол, наедятся и в лавке брать не станут ничего.

При фабриках существуют и больницы. При больнице имеется доктор, который обязан беспрекословно иногда исполнять все требования рабочих, часто нелепые, потому что некоторые фабриканты дают тайную инструкцию доктору не стеснять фабричных больничными строгостями и давать им как можно более льготы. Это входит в финансовые расчеты хозяина и основано, вероятно, также на глубоком знании натуры русского крестьянина, не любящего лечиться. Дело в том, что фабрикант опасается больничными строгостями лишиться людей: «Мы всячески стараемся привязать людей к заведению, – говорят они. – Лишний человек умрет от подобных беспорядков – не беда, а вот если лишишься полсотни людей, которые уйдут с фабрики, – так это *сто рук – капитал*»... Фабричным с руки такая распущенность и льстит несколько их самолюбию. Доктор, опасаясь потерять выгодное место, начинает подличать, кривить душой и смотреть на все сквозь пальцы. В больнице – крик, шум, песни, водка, все что угодно. Надоело рабочему в больнице – сам уйдет совсем или пойдет посидеть часок-другой в трактире, в приятной компании, и вернется снова. О диете, конечно, и помину не может быть: те, которые поумнее, еще принимают прописанные лекарства, но зато заедают их клюквой, творогом, солеными огурцами или запивают водкой… Губернатор приедет – тотчас все в исправность войдет. Искалеченные и изувеченные машинами мастеровые запираются где-нибудь на чердаке и ждут там, пока уедет его превосходительство…

Про разврат и говорить нечего – приют для него именно фабрики. Пятнадцатилетние девочки пропадают в этом

болоте, споенные рабочими или прельщенные какой-нибудь безделкой. Фабрикант смотрит на это снисходительно, а иногда и потворствует – разврат ведет к расходам, а у фабриканта лавочка, которой миновать трудно, трактир под боком, который принадлежит также ему… До чего может доходить бессовестность и грабеж фабрикантов, покажет следующий случай, бывший тоже на одной из подмосковных фабрик. Хозяин наделал такого плису, что его никто не взял, и лежал он несколько времени в амбаре, пока становой не надоумил фабриканта сбыть этот плис фабричным. Но как сбыть? Распустили слух, что на фабрику приедет иностранный принц, что он подробно хочет осмотреть все, стало быть, и рабочим нужно показать себя и сшить каждому шаровары и поддевку. Хозяин, когда слух достаточно был распространен, собрал рабочих и просил их показать себя, умолял даже чуть не со слезами. Те поддались – и нашили себе поддевок и шаровар, почти принуждаемые и угрожаемые разными стеснениями и даже розгами станового. Бабам и девкам насильно всучили цветные платки и белые холстинные фартуки с длинными рукавами, со внесением в *книжку.* Бабы кричали и плакали – но что же делать? Приходится утешать себя так же, как вот эта женщина, виденная автором после того, как всучили ей фартук, и кормившая грудью ребенка:

– Кормись, касатик, кормись, – говорила она, всхлипывая, – не разживутся они на нашу трудовую копейку. Что облито слезами, впрок не пойдет… Не на самих – так на детях, на внуках, на правнуках отзовется… умрут, так не будет, может статься, куска вот и эдакой холстины, чтоб грешное тело прикрыть... Кормись, касатик, кормись…

Пора бы взяться за этих народных просветителей порядком и обеспечить быт рабочего. Мы при других условиях, чем западные наши соседи. Что там почти немыслимо без радикальных переворотов, то у нас возможно… Мы только жить начинаем – заря только всходит… Свобода торговли – хорошее дело, промышленность также хорошее дело, но свобода притеснения – дело скверное.

На бирже и у господ плутократов

Биржевая игра и Демутов отель

1869 год останется надолго памятен всем тем, которые вкусили от биржевой игры. Азарт был велик, велико было и разорение. Началась она еще за год перед этим, после подписки на акции Козловско-Тамбовской и Рыбинской железных дорог. Большинство акций осталось за банкирами, спекуляторами и биржевиками, которые при помощи Взаимного кредита имели возможность затратить при подписке незначительные наличные деньги: Взаимный кредит давал под новые акции 50% их биржевой стоимости, а потом довел ссуду под некоторые бумаги до 90%, когда биржевая игра стала развиваться и захватывать в свои сети публику. Сия последняя стала уловляться в особенности с того времени, когда Взаимный кредит начал выдавать в ссуду под лотерейные займы 150 р., если они были застрахованы. Взаимный кредит располагал большими деньгами, которые приливали к нему совсем не от публики. Известно, что он помещался в Государственном банке, директор которого был и директором Взаимного кредита. Направо по коридору Госуд. банк, налево – Взаимный кредит. Не хватает бумажек для выдачи в ссуду под бумаги акционерные – артельщикам Взаимного кредита ничего не стоит сделать несколько шагов в кладовые банка и, наполнив там, с соизволения директора, корзины кредитными билетами, принести их во Взаимный кредит. Чем более процветала биржевая игра, тем с большим удовольствием Госуд. банк отпускал корзины с бумажками; человеку, в первый раз попадавшему в коридоры Госуд. банка, это перетаскивание в корзинах бумажек и процентных бумаг могло показаться перетаскиванием грязного белья из квартиры в прачечную. Кредит развился до баснословных размеров, ибо за Взаимным кредитом и частные банкирские конторы способствовали всеми мерами биржевой игре, выдавая за большой учетный процент большие ссуды. Акции росли; публика

наполняла банкирские конторы; все верили в незыблемость высоких цен и в необычайную доходность железных дорог. О концессиях вздыхали, как о манне небесной. Спит-спит в своей конуре какой-нибудь предприниматель, жаждущий не столько признательности своих сограждан, сколько капиталов, и вдруг проснется со счастливою мыслью:

– Ба! – восклицает он, ударяя себя по лбу, за покрышкою которого никогда ни одной идеи не таилось. – Чего ж я думаю: дорога из Болвановки в Дураковку имеет государственную важность. Тут и промышленность, и стратегия, и... черт знает еще что...

Озаренный этою высшею идеей, он хранит ее в святыне своей пустой храмины, именуемой головой, принимается таинственно за арифметические вычисления, открывает географический атлас, за который он не брался со времен своего счастливого и розгообильного детства, и все более и более убеждается, что Болвановка и Дураковка действительно центры колоссального значения.

– И как этого не заметили все наши государственные люди, эти умы, так сказать, призванные для создания величия России! – толкует он с парением поистине орлиным. – Еду в Петербург, еду протереть глаза всем этим слепотствующим.

Приезжает, находит инженеров.

– Как вы думаете насчет дороги из Болвановки в Дураковку?

– Что ж, – отвечают инженеры, – мы можем ее построить.

– Превосходно. Я всегда думал, что ее можно построить. Нельзя ли заручиться какой-нибудь газетой, которая бы пустила в ход эту линию?

– Можно и газетой заручиться. Скажите только, какой главный продукт думаете вы возить по этой дороге?

– Паклю. В Болвановке – обилие пакли, между тем как в Дураковке оной недостает.

– Прекрасно, так и напишем. Две передовые статьи, четыре задние – и болвановская пакля с приобщением дураковской бедности сделается государственным вопросом.

Предприятие идет в ход, растет и разрастается. Капиталисты предлагают свои капиталы, а предприниматель, совершенно разопсев*, говорит: «Моя дорога».

– Когда я получу концессию на мою дорогу – вы, конечно, не откажетесь участвовать в синдикате? – спрашивает он какого-нибудь банкира.

– Признаюсь вам, – отвечает банкир, – во всякое другое время я не принял бы участия в болвановско-дураковской дороге, но теперь, когда публика, к счастью нашему, весьма невежественная на счет промышленный и всяких других сил в России, слепо бросается даже на ослино-пустяковскую дорогу, я думаю, что и к дороге от Болвановки до Дураковки она отнесется с сочувствием.

– А разве вы не признаете безусловной важности этой дороги? Ведь по ней пойдет пакля...

– Конечно, пакля – продукт, но, между нами, такой продукт, который потребует ежегодной субсидии от акционеров. Но дело не в том: я принимаю участие в вашей дороге, ибо в настоящую горячку она принесет мне хороший процент. А там: après nous le deluge!**

– Что вы изволили сказать?

– Я говорю, что после нас хоть трава не расти. Ничего, господа, будем строить и будем подписываться на дураковскую и тому подобные линии... для капиталистов и прожектеров; будем воображать, что мы это делаем для себя. Мы наивно верим, что эта игра не азартная, что эта игра честная, что в ней не участвуют ловкие шулера. Между тем на самом деле мы в игорном доме, ибо биржевая игра выработала себе особые законы, по которым не караются ни обман, ни подлог, ни тайное общество, явно действующие во вред публике. Если ловкий мошенник вынул у вас из кармана часы, стоящие 10 р., он пойдет в Сибирь; если нищий своровал у вас булку – его

* Это новое слово, подслушанное одним моим приятелем на юге, происходит от существительного «пес» и говорится о людях, высоко поднявших нос. – *А. С.*

** После нас хоть потоп (*фр.*).

запрут в тюрьму, и если, помилуй Бог, его присяжные оправдают на суде, найдутся блюстители нравственности, которые поднимут крик против такого снисходительного приговора: «Помилуйте, скажут: эдак булочникам скоро существовать будет невозможно и цена на муку упадет в подрыв помещичьим хозяйствам!» Но если у публики своруют биржевики миллионы – это значит, что нравственность развивается и Россия прямо идет к богатству и благополучию...

Надо сто раз опустошить наши карманы, чтоб мы убедились, наконец, что учредители многих компаний прямо практикуют обман, что синдикаты, т.е. особые комиссии из гг. банкиров, взявшие на себя труд пустить в ход акции, предприятия, практикуют обман более наглый, чем шулера с краплеными колодами карт.

Гг. учредители новых компаний, пользуясь биржевой игрой, начинают выпускать акции не посредством гласной подписки и не по номинальной цене их, но чрез комиссионеров-банкиров, по частям, и прямо с прежней, которая возвышается со дня на день. Концессионеры Либавской железной дороги первые пустили в оборот этот способ в самый разгар биржевой игры 1869 г. Акции этой дороги, номинальная цена которых составляла 100 р., а первый взнос по ним 20 р., были пущены чрез комиссионеров прямо с премией в 30 р., а как только публика подалась на эту удочку, премия была повышена до 50 р., что составило до 50% премии на *полную* цену акции и до 250% премии на первый 20-ти-рублевый взнос*.

Пример этот соблазнил учредителей Учетного и Международного банков, которые также пустили свои акции с огромною премией, составлявшей до 25% на *полную* цену акции и от 100 до 150% на первоначальный взнос. Публика безумно бросилась покупать эти акции, а учредители прибрели *совершенно даром половину* всего количества акций благодаря сбору премий, которыми окупилась эта половина акций.

* Эти акции стоят теперь, в 1875 г., 47 р.; взнос по ним составляет 80 р., стало быть, подписчик 1869 года приобрел их за 80 р. + премия в 50 р., итого 130 р. Потеря на одной акции составляет в настоящую минуту 83 р. – *А. С.*

Вперед, господа! Пусть текут добытые в поте лица гроши в пространные карманы железнодорожных и банковых предпринимателей. Почва готова. Есть журналисты, которые готовы поддерживать всякое предприятие...

Позвольте маленькое отступление, чтоб рассказать вам совершенно истинный случай. В 1868 г. подписка на одно железнодорожное предприятие пошла довольно неудачно, а тут еще одна газета пустилась затаптывать его в грязь. Временные свидетельства стали падать; надо было заткнуть глотку крикливому журналисту, и к нему отправили депутата, который прямо и откровенно объяснил цель своей миссии.

– Назначьте сами сумму, которую желаете получить, – сказал он.

– Пять тысяч не много будет? – спросил скромный, но опытный журналист.

– Извольте. Только уж мы будем покойны – не правда ли?

– О, помилуйте.

И – что ж вы думаете? – через месяц опытный журналист снова заговорил во враждебном тоне о дороге, вероятно рассчитывая получить новые пять тысяч рублей. Но на этот раз предприниматели сказали только: «Этакая скотина! С него надо было бы расписку взять», и махнули рукой. Другой журналист сделал из своей газеты пристанище всевозможных реклам для биржевиков: там ежедневно являлись восхваления тех или других акций и предсказания их блестящей будущности; назначена была даже цена за эти рекламы, являвшиеся в хронике и в виде передовых статей... Кроме того, журналист получал акции новых предприятий даром и стоял в бюджете новой компании под рубрикою «непредвиденные расходы».

Я всегда думал, зачем так неоткровенны эти руководители общественного мнения? Зачем открыто не махнут они рукой на честность и на другие нравственные батареи, разбить которые так легко: стоит сказать лишь, что это «старый хлам» и успокоить совесть такими вопросами и положениями: разве добродетель торжествует, а порок наказан, разве честная труженица-мать ездит в карете, а куртизанка прилежною

работой заглаживает прошлое? Разве труженик не умирает с голоду, а праздный не катается как сыр в масле? Говорят: суд. Знаем, что есть суд, но есть тысячи таких дел, до которых он никогда не доберется, как бы он ни стремился уравнять всех перед лицом своим. Условия жизни таковы, что их не переделаешь, как ни напрягай своих силенок. Не лучше ли направить их на дорогу более плодотворную, которая дает обилие в настоящем и достаток под старость? Говори прямо: беру с живого и с мертвого – только подавай! Кто хочет быть знаменитым, добродетельным отцом бедных, примерным гражданином, кто хочет устроять родину, взимая с нее двести процентов за свои услуги, – идите, несите и удовлетворяйтесь...

Нет, это грубо. Будь с виду честен и подл внутри. Вот краткая программа для успеха. Так и делают. Но в настоящее время, когда разных предпринимателей развелось паче песку морского, быть может, успех имела бы и такая газета, которая прямо объявила бы, что она «литературная, политическая и продажная». Она могла бы дебютировать передовой статьей такого рода:

Продаемся ли мы?

И много понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Отчизну свою распинают,
Христа своего продают.

Граф А. Толстой

Вот вопрос, о котором уж никак нельзя сказать, что он скромный. Да, продаемся ли мы – прошу покорно отгадать!.. По-видимому, так, потому что об этом ясно говорится в заголовке нашей газеты; но почему же вы знаете, что мы не иронизируем? Есть много, друг Горацио, в заголовках газет такого, чего в самой газете нет, и наоборот.

Были газеты, а может быть есть и теперь, которые получали субсидии, однако не объявляли о себе: “газета политиче-

ская, литературная и с субсидиями", а мы прямо говорим, что продажны. Что же это такое?

Вообще принято, что получать субсидию приятно, но объявлять о том – неприлично; скажут: стыдно продавать убеждения. Благоразумный читатель может заметить, что это – сентиментализм, ибо если не стыдно продавать ситец, то почему же стыдно продавать убеждения? И ситец, и убеждения наживаются, а что наживается, то продается. Не ясно ли это?

Впрочем, для ясности мы приведем другой пример, более разительный. Родители наживают детей. Нажив, они очень часто продают их. Например, дочь свою продают богатому старику или чиновному негодяю. Если б они продали свою дочь только на время, то общество вознегодовало бы, но продавшее "законным" порядком на всю жизнь, по крайней мере до смерти ее драгоценного, в буквальном смысле, мужа, общество не перестанет уважать родителей. Спрашивается: что же дороже – дети или убеждения? Неужели найдется такой кровожадный отец, который предпочтет убеждения детям?

И, наконец, что такое убеждения? Не парус ли это, движимый ветром времени и опыта? Но времена переменчивы, и ветер бывает то с юга, то с севера, одним словом, со всех сторон. Не противоестественно ли двигаться против ветра?

Нам могут возразить, что парус и ветер заменены паром. Прекрасно; но пар приобретает силу только благодаря капиталам. Если убеждения – пар, то пар разлетается бесследно в воздух, если не направлен искусною рукой науки и капитала. Очевидно, что капитал – главный двигатель цивилизации, и те, кто противится капиталу, исчезнут подобно пару, никем не направляемому…

Нам могут сказать, что мы играем в загадки; но не загадка ли самая жизнь? Нам могут сказать, чтоб мы прямо отвечали на вопрос: продаемся ли мы? Мы всегда уважаем прямые пути и потому с гордостью отвечаем: да, мы продаемся, мы отдаемся, отдаемся со всею страстью, со всем энтузиазмом... цивилизации.

Довольно ли этого? Понятно ли всем благомыслящим людям, почему в заголовке нашей газеты стоит, что она продажная? Мы действуем прямо и откровенно. Для тех предпринимателей, в особенности железнодорожных, которые, по каким-либо причинам, не могут уловить настоящий смысл нашей программы, – мы оставляем вопрос: «Продаемся ли мы?» – открытым, как открытым оставляем мы для них и наш кабинет…

Как бы то ни было, почва готова: продажные журналисты есть, публика даже географии не знает, капиталов много, кредиту еще больше: целых пять банков гостеприимно раскрывают свои двери всем желающим строить и расстроиваться. Вперед, господа.

Это будет тем легче, что под покровительством Взаимного кредита, столь усердно помогающего биржевой игре, состоит Демутов отель или Демутова биржа. Организовалась это биржа собственно для того, чтоб разыграть у нас в это смутное время роль Джона Ло[1]; так как такого талантливого человека у нас не находилось, то сотня капиталистов и ловких людей соединяет свои мозги воедино и действует открыто и безбоязненно. Перед золотым тельцом люди выравниваются несравненно скорее, чем перед республиканским принципом «égalité»*. Подобно тому как во времена Д. Ло, по словам Дюкло[2], «на Вандомской площади собирались самые низкие негодяи и самые важные господа, соединенные воедино и сделавшиеся равными в силу жажды наживы», – в Демутовом отеле собирались представители разных общественных слоев и положений: маклера, банкиры, генералы, чиновники. Они сбирались утром от $1^1/_2$ до $2^1/_2$ часов и за бокалами шампанского гнали вверх бумаги без всякого разбора. Сделки совершали между собою члены отеля большею частью на срок, и притом безденежно, без всякого залога. Покупатель не платил денег за покупаемую бумагу, а продавец не отдавал покупателю бумаги. Это картежная игра на мелок, не знающая преграды и границ увлечению. Установив цены, члены отеля отправлялись на биржу и

* Равенство (*фр.*).

поднимали или опускали там бумаги, как хотели. «Биржевые ведомости»[3], сделавшись органом Демутовой биржи, любезно печатали на своих страницах сделки ее. В какой-нибудь час цена акций поднималась на 5, на 10 руб. Козловско-Тамбовские поднялись в одно заседание Демутовой биржи на 57 рублей и затем возросли до 220 руб.*. Публика покупала тем охотнее, что Взаимный кредит шел по следам Демутовой биржи и возвышал ссуды под залог повышавшихся столь неестественно акций; частные банкиры шли еще далее. Напр., вы заказываете банкиру купить для вас 10 Козловско-Тамбовских акций, когда цена их выросла до 215 руб. Банкир покупает, берет с вас известный процент за покупку, закладывает эти акции у себя, выдает вам под них ссуду в 190 руб. на акцию, и вы платите всего в момент покупки банкиру только 215 руб. за все десять акций. Через неделю акции поднялись до 220 руб.; вы их продаете и получаете на свои 215 руб. 50 руб. барыша. Но акции падают, банкир требует приплаты соразмерно падению цен, и вы втягиваетесь незаметно в огромные потери.

Демутова биржа сделалась силою, пред которою падают даже проницательные официальные финансисты. Одному из них, очень важному, говорили, что необходимо закрыть эту биржу. Он отвечал: «Погодите, теперь приходится опасаться, что они испортят подписку на Либавские акции, а потом можно будет приняться и за этих беззаконников».

Но Либавские акции пристроены, а «беззаконники» все благоденствуют. Если б составилось общество бедняков с целью доставления панталон не имущим оных, члены Демутовой биржи сейчас бы закричали, что составился заговор, в котором принимают участие нигилисты и социалисты с тем, чтоб восстановить бедных против богатых. А мы вот не кричим против этого учреждения, против этого заговора, составленного с целью улавливания миллионов в карманах глупой публики...

Нам говорили, что члены Демутова отеля желали прислать редакции «Санкт-Петербургских ведомостей»[4] входной

* Акции эти теперь, в 1875 г., стоят 78 р., стало быть, потеря покупателя 1869 года равняется теперь на каждую акцию 142 р. – *А. С.*

билет в свое святилище для того, чтобы мы могли собственными глазами удостовериться в правильности финансовых операций членов его, но билет нам не был прислан. Я об этом не жалею, ибо и без входного билета я лицезрел этих львов и тигров нашей биржи, слышал их чарующие беседы, внимал их собственным рассказам об их собственных подвигах и запечатлел в своей душе неизгладимое убеждение, что рано или поздно деятельность этих рыцарей биржи, совершающих дела свои при Божьем свете, нанесет нашей многострадальной родине такой сильный удар, что боль от него не скоро залечат наши хирурги-финансисты.

Если б вы, добродетельные и недобродетельные люди провинции, слышали и видели то, что слышал и видел я, вы воскликнули бы вместе со мною:

– Закройте Демутову биржу, если не хотите нажить больших хлопот в будущем!

Когда неблагонамеренный книжный торговец продаст невинным россиянам какую-нибудь запрещенную книжку, его лавку закрывают и самого его подвергают преследованию за тот яд, который внес он в невинные души. Но что значит этот яд, подобный капле дегтю, в сравнении с тем действительным ядом, который разливают вокруг себя рыцари биржи? Положим, что одна запрещенная книжка принесла вред, зато целые сотни в той же книжной лавке приносили пользу. Укажите же мне ту микроскопическую каплю пользы, которую приносят эти наглые жрецы Ваала, число которых хотя и не звериное – 666, однако и незаконное, именно 104?

– Помилуйте, – отвечает жрец совершенно развязно, – мы покровительствуем торговле и промышленности.

О, без сомнения, покровительствуете. В этом отношении я спорить с вами не буду. Как в былые времена русские помещики за границей, так в настоящее время вы в Петербурге пользуетесь любовью содержателей гостиниц и половых. Перед вами все двери настежь, все гнется в три погибели, все улыбается, все вас славословит; нет ни одного лакея в гостиницах, который бы не знал по именам этих ста четырех

и который не хранил бы их образа в сердце своем и своем помышлении.

– Кто здесь из наших? – спрашивает в ресторане рыцарь отеля.

Лакей без запинки перечисляет благородных гостей, вызывая на лице спрашивающего улыбку самодовольствия. Если вам хочется хорошо пообедать за 1 рубль в каком-нибудь ресторане, ступайте туда с переводником отеля. Я говорю с «переводником», а не с переводчиком, хотя оба эти слова происходят от одного и того же глагола «переводить». «Переводничать» – значить промышлять учетом, переводом денег; я беру это последнее значение слова не в его техническом, биржевом смысле, а в смысле общежитейском, например, переводить деньги из одного кармана в другой, переводить их на что ни попало и как ни попало, лишь бы переводить, благо они достались легко. Итак, говорю, ступайте с переводником или рыцарем отеля в любой известный ресторан; вам не дадут того же обеда, который едят в этот день все посетители, а попросят подождать, причем, если вам угодно, дадут вам такое объяснение, что для вас, то есть, в сущности, для вашего товарища из отеля, приготовляют то или другое кушанье так, как он любит.

Таким образом, первая победа одержана жрецами Демутова отеля над содержателями ресторанов и их лакеями. Не могу завидовать таким лаврам, хотя они куплены действительно дорого, как всякие почетные лавры.

Сюзетты, Жюльеты, Альфонсины и другие гетеры современной петербургской цивилизации обыкновенно составляют хвост тех комет мужского пола, которые восходят на бумажном небе биржи. Цена на этих женщин возвысилась, и все, что было прежде не занято, стояло не у дел, теперь нашло себе занятия и экипажи. Члены Демутова отеля явились и тут победителями. Эти новые лавры прочнее, ибо они иногда имеют способность надолго оставлять по себе неизгладимый след.

Целое лето в Петербурге ходили рассказы о лукулловских обедах и фантастических вечерах, которые устраивали члены этой малой биржи друг для друга. На эти праздники

уходили сотни тысяч рублей так же быстро, как быстро они приобретались.

Разгул устраивался обыкновенно по субботам после недели, принесшей громадные барыши. Сначала обед с возлияниями и какой-нибудь Альфонсиной или Сюзеттой. Иногда на этих гетер был голод: так однажды тридцать человек должны были довольствоваться беседою с одною куртизанкой. Само собою разумеется, что эта куртизанка была настоящей Аспазией среди этих денежных философов, которые ходили на головах: эти головы более всего способны на такое занятие, и быть Аспазией для Периклов и Алкивиадов, воспитывающихся у Дюссо и Бореля, совсем немудрено.

После обеда, который продолжается по-римски, несколько часов, компания отправляется к Излеру, где артистки служат ей предметом развлечений. На пути к Излеру она заезжает всюду, где рассчитывает что-нибудь найти для притупленного чувства. Восходящее солнце застает их измятыми, изнеможенными, но еще бодрствующими. Большинство, впрочем, уже клюет носом и приказывает кучерам вести их куда-нибудь. Раз из многоногой компании осталось только шестнадцать ног, которые способны еще были носить своих владельцев. Солнце взошло... Дул попутный ветер к Петергофу, едем туда. Сейчас шлюпку, распустили парус, и он понес по волнам грешников на новые подвиги к одному из товарищей, который занимал палаццо в этом городе дач и садов. Дело шло отлично. Земля была уже далеко. Вдруг – штиль, ветер замер, волна улеглась и парус опустился, как саван над трупом.

– Ничего, сейчас подует ветер, – утешали себя шестнадцать ног, – и мы попадем к завтраку в Петергоф.

Но ветер захотел, видно, сыграть с ними умную шутку: он где-то надолго загулял, оставив пределы Петербурга. Шлюпка стояла неподвижно на взморье, как маяк; веселая компания опустила носы, развесила губы и то кляла, то молила богов. Хорошо, что это случилось в воскресенье, когда биржи не было; случись это в биржевой день, настроение рынка было бы показано «слабо». В Петергоф они попали вечером, часов в

восемь, пробыв на море без пищи более четырнадцати часов. К сожалению, люди в подобных случаях глупее ветра, и шалопаям приходится терпеть только от гнева стихийных сил, а не от сил разумных, которые во всем этом хаосе видели только развитие кредита.

Странная вещь: подвиги рыцарей Демутовой биржи как будто находят себе отголосок в таких господах, как фабрикант Семен Малютин[5], перекрещенный маленькой французской прессой в Симона Милютина, и М. С. Мазурин[6]. Г. Малютин устроил в Ницце великолепный бал на тысячу человек: бал ему стоил 40 000 франков и был удостоен присутствием принца Карла Прусского, герцога Пармского, турецкого посланника и множества генералов, французских и английских. Хотя тут дело идет не о тех генералах, которых московские купцы приглашают к себе на свадьбы, но сущность факта от этого нисколько не меняется. Г. Малютин за 40 000 франков приобрел важное право говорить отныне: «Когда был у меня на балу герцог Пармский...» или «его высочество Карл Прусский, посетив мой бал...» Г. Малютин этим балом возвел только в перл создания традиции свадеб с генералами. «Шампанское било на балу фонтанами», – говорит мелкая французская печать. «Знай наших! – думает г. Малютин. – Ничем не взяли, а насчет угощения – превзойдем всех». Это своего рода откупщик Хлынов из «Горячего сердца» Островского, поливающий шампанским дорожки в своем саду.

Префект не приехал на бал, и по этому поводу одна французская газета сказала: «Г. префект, человек известный своим умом и любезностью, на этот раз поступил не совсем обдуманно: когда иностранцы, приезжая в Ниццу, дают балы в 30 и 40 тысяч франков, доставляющие огромную выгоду местной промышленности, то, без сомнения, на обязанности префекта лежит поощрять их всевозможными средствами. Это больше чем вежливость – это обязанность». Г. Семен Малютин принял этот отзыв за выговор префекту; но я смею его уверить, что отзыв этот – ядовитая ирония над г. Малютиным: «Надо поощрять дикую и глупую расточительность иностранцев,

как дело весьма полезное для местного населения», – вот что, в сущности, сказала газета вежливым образом вам, г. Семен Малютин. Известности захотел маменькин сынок! Граф Уваров дает капитал на премии за лучшие драматические сочинения, Безбородко основывает лицей, Нарышкин учительскую семинарию[7], Малютин заряжает фонтаны шампанским, Мазурин – императрице Евгении арабских жеребцов подводит в подарок...

Да, пять арабских жеребцов предложил он императрице Евгении, и французская газета, издающаяся в Петербурге, восхвалила его за это. Другие газеты посмеялись над ним, а он объявил в «Петерб. газете»[8], что действовал из патриотизма, желая завести торговлю с Францией, и что против обидевших его газет начнет преследование. «Петерб. газета» прибавила к его объяснению следующее: «Г. Мейер, редактор “СПб. Немецких вед.”, получивший уже предостережение *за неприличные выражения, употребляемые им в своей газете относительно лиц, принадлежащих к семействам царствующих государей в Европе,* нашел нужным посвятить целую передовую статью М. С. Мазурину и обозвал его пьяницей, кутилой, маркизом Митрофанушкой и т.п.». Понимаете, до чего доходит дружеская угодливость «Петерб. газеты»: М. С. Мазурин причисляется к семействам царствующих государей в Европе. Счастливый г. Мазурин: каких он холопов находит за свои деньги...

Игра доходила до своего апогея; акции вздулись до невозможности, и преимущественно те из них, которые ничего не стоили, но под которые Общество Взаимного кредита роздало в ссуду более 9 миллионов. Рекламировать новые предприятия было удобно, ибо у публики не было никакого средства поверить рекламы: предприятия еще не начинались, а на посул журавля в небе мы так падки. Мы думали, что мы процветаем и догоняем Европу, наживая так легко капиталы. Госуд. банк выпускает 5% билеты, чтоб изъять из обращения 12 милл. руб. ассигнаций. Публика жадно набрасывается на них, и залы и коридоры банка обращаются в торжище. Вдруг Взаимный кредит отказывает в ссудах. Что это значит? Начался перепо-

лох. «Это ничего не значит, – говорили банкиры, – директор Взаимного кредита, он же и директор Госуд. банка, на даче, в Лесном: без него дело остановилось, ибо Взаимному кредиту нельзя взять ассигнаций из Госуд. банка. Он приедет – все поправится». Однако бумаги падают, публика заваливает ими банкиров, в городе невеселые толки:

– Взаимный кредит ликвидирует дела. Он разорен; более ста тысяч билетов внутренних займов заложено в нем по 150 руб., а билеты падают ниже этой цены...

– Евгений Иванович приехал с дачи?

– Приехал, но дела плохи.

Демутова биржа начинает играть на понижении, и бумаги летят еще ниже. Бледные лица у публики, принужденные улыбки у банкиров, которые продолжают уверять публику, что понижение временное, что все пять зацветет…

Взаимному кредиту в самом деле плохо. Банкиры приглашаются на совещание в Госуд. банк: что делать? Кризис наступает. «Надо поддержать цены». Но цены невозможные. – «Ничего. Пусть падение будет совершаться медленно. Все же лучше».

Начинается крушение еще пущее. Является официальное объявление, что те 12 милл. руб. ассигнаций, которые предположено было сжечь взамен нового выпуска 5% билетов, остаются в обращении. «Слава Богу! – кричит спекуляция. – Мы спасены! Дайте нам эти деньги под залог накупленных нами бумаг, и мы выйдем с честью из кризиса».

– Погодите. Мы подумаем. Надо спасти Взаимный кредит, который так прекрасно торговал бумагами и так великодушно поддерживал спекуляцию. Мы ему должны помочь выйти из затруднения.

Действительно помогают: по октябрьскому балансу Взаимного кредита он должен Госуд. банку 6 милл. руб. С публики требуется доплата по ссудам – Взаимным кредитом, частными банками и банкирами. Ее уверяют, что все поправится. Публика доплачивает, но спекуляторы отказываются от заключенных сделок на срок. Происходят банкротства. Бумаги валятся

и валятся; по временам на бирже случаются кое-какие вспышки: вдруг какая-нибудь бумага шальным образом поднимется; все оживут, но это мираж.

Если б вы взглянули во время пущей паники на собрание биржи, то вас непременно поразил бы один молодой человек, почти еще мальчик, без усов и бороды. Это г. Бетлинг, главный воротила Рыбинско-Бологовских акций, красный от внутреннего волнения, от сознания своей силы, он гордо проходит по зале, обращаясь направо и налево с отрывистыми фразами на немецком языке*; глаза его горят гневом и непобедимой решимостью. Биржевые зайцы ловят его речи с благоговейным трепетом и тоскливо передают из уст в уста:

– Er verkauft (он продает)!

Это магическое слово сотни сердец сжимает болью и наполняет груди отчаянием. «Он продает», он, у которого в это безденежное время полтора миллиона на текущем счету; если он продает – значит дело плохо, бумаги пойдут к низу. И он не стесняется: сердито предлагает он массу всяких бумаг по такой цене, которая несколькими рублями ниже цен предыдущей биржи. За ним предлагает к продаже его хвост – Демутова биржа. Можете себе вообразить тот хаос и ужас, которые производит сотня заговорщиков, обладающая миллионами! Она в состоянии раздавить вас, если вы осмелитесь пикнуть и поступить самостоятельно, а потому торопитесь продавать и вы, не принадлежащие к этой священной коллегии...

Называю Демутову биржу «священною коллегией» потому, что на всем широком поле российского государства она *одна* имеет право существовать без утвержденного устава, без всяких законных правил, она *одна* имеет право, или, лучше сказать, бесправие, собирать митинги из ста человек, арестовывать бумаги своих членов** – одним словом, распоряжаться гораздо свободнее, чем всякое другое, законом закрепленное и всякими заборами огражденное, общество. Это государство в

* Вся биржа ведет деловой разговор по-немецки. – *А. С.*

** Во время банкротства одного из членов отеля к нему пришли без полиции его собраты и заарестовали его бумаги. – *А. С.*

государстве, которое пишет свои законы, произвольно опускает или поднимает курс акций, опершись на бумажные миллионы и глупость стадоподобной черни мелких капиталистов; во главе его стоит тот сердитый, безбородый юноша, тот мальчик, неправильную речь которого, с немецким акцентом, я слушал не раз в толпе, его окружавшей. Его родитель почил от дел в прекрасном замке на берегах Рейна, передав спекуляции младому летами, но старому опытом и ловкостью отроку.

– Он гений, он необыкновенный человек, – говорят ему чуть не в глаза.

В самом деле, он быстро наживает миллионы. Уронив бумаги предложением их на продажу, он быстро скупит их по низкой цене – биржа оживится, заблестит, бумаги пойдут в гору. Все биржевые зайцы перебывают у него утром и справятся, что он намерен делать – kaufen, oder verkaufen*. Если kaufen – на бирже будет твердо, если verkaufen – на бирже будет слабо.

– Er kauft, er kauft!

Вот восклицание, похожее на вороний крик и действительно вылетающее из уст вороноподобных людей: оно производило чудеса в течение кризиса, во время этого бумажного землетрясения, когда разноцветные листы то ярких, то бледных цветов, словно подобие огненной лавы и дыма, наводили трепет на людей, которые не струсили бы перед всяким другим несчастьем.

Я недаром сравнил биржевую панику с землетрясением. «Человеку, – говорит Гумбольдт, – землетрясение представляется как нечто повсеместное, безграничное. Можно удалиться от разверстого жерла, от потока лавы, направленного к нашему жилищу; при землетрясении же, куда ни обратишься бежать, всюду чувствуешь под собою очаг бедствия». Цена бумаг, вращающихся на бирже, еще менее устойчива, чем земная кора; она вечно колеблется – к такому колебанию привыкают: «Если в какой-нибудь стране, – говорит тот же ученый, – следует один за другим ряд подземных легких ударов,

* Покупать или продавать (*нем.*).

то в жителях исчезает почти всякий след страха». Так и на бирже: легкое падение никого не ужасает, но ужас невыразим при ударах, потрясающих самое основание бумажной почвы, и жители сбывают за что ни попало свои состояния.

Иногда приходит на мысль сравнить нашу биржу с каким-нибудь школьным заведением. В самом деле, она не изъята от школьных привычек. Как в учебных заведениях мальчики обзывают друг друга кличками, иногда бессмысленными, иногда меткими, так и на бирже существуют эти клички, и для самых деятелей биржи, и для некоторых предприятий. Например, «скопинская» дорога известна под именем «двинской» – не совсем остроумно; г. Брант известен под именем князя Пожарского (Brand – пожар). Г. Трубникова, издателя «Биржевых ведомостей» и единственного редактора, бывающего на бирже, называют Чубуковым. Завидев его, маклер говорит: «А, вот господин Чубуков идет». Г. Петрококино называют по созвучию Pierre le Coquin и проч.

Разумеется, не одна Демутова биржа поживилась в нынешнем году. В общем потоке нашли золотые россыпи многие и мигом составили огромные состояния. Я знаю несколько примеров поразительных; но один из них особенно ярок. В правлении одной железной дороги служил мелкий чиновник, получая довольно скудное жалованье. Это было в начале этого года, когда бумаги сильно стали подниматься в цене. Чиновник видел, что его товарищ, занимавший более видное место, покупает и продает.

– Научите, меня, – говорит он сему последнему, – как это играют?

– Извольте. Достаньте денег.

Чиновник достал 350 р. На эту сумму много не купишь бумаг, даже с залогом в банке, чтоб можно было хоть взглянуть на них; но, не видя самых бумаг, можно накупить их, заручившись, конечно, солидным банкиром, довольно много. Чиновник и купил 50 акций одной дороги на будущее, отдав задаток в 5 р. на каждую акцию, то есть заплатил всего 250 р. Недели через две бумаги поднялись на 5 р. выше той цены,

по которой он купил их; он продал свое право на них и выручил 250 р. Обладая шестьюстами рублей, он сделал заказ больше, именно на 150 штук акций; опять та же история, но в этот раз он получил барыша столько, что капитал его больше чем удвоился. Счастье придает смелости; он еще призанял немного и купил на все акций другой дороги, и т.д. и т.д. Счастье так везло ему, что он оставил свое место, завел экипаж, нашел невесту. К 1-му сентября у него было сто тысяч рублей. Во время паники он потерял все, все дочиста; осталась ли ему в утешение невеста – не знаю. Что ни говорите, а женский пол легкомыслен и при легкомыслии еще обладает способностью ценить себя слишком высоко. Впрочем, мужчины также не свободны от этого недостатка, что должно в значительной степени уврачевать самолюбие тех, которые могли оскорбиться вышеприведенным замечанием.

Кстати, в число жертв биржевой игры попала одна провинциалка, моя знакомая. Говорю «одна провинциалка» по отношению к моим знакомым, а всех провинциалок-жертв, надо думать, было несравненно больше. Г-жа К. – так назову я мою приятельницу – приехала в Петербург месяца три тому назад хлопотать по делу мужа, которое находилось в Сенате. Дело было денежное, в котором замешаны были интересы ее мужа и его близкой родственницы. Перед розыгрышем 1-го сентября она получила, по окончании дела, 9000 рублей. Подвернулся ей какой-то приятель – не я только, ибо дамам я постоянно склонен морализировать и остерегать их от «очага бедствия».

– Ну что, получили деньги?

– Слава Богу, получила. На днях я уезжаю от вас.

– А знаете что? Хотите сделать сюрприз мужу?

– Да ведь деньги не его только, но и Марьи Николаевны. Я не знаю даже, сколько кому придется.

– Вы меня не понимаете. Я хочу вам сказать, что вы можете сделать сюрприз мужу, не только ничего не истратив на свою поездку и прожитье здесь, но еще увезете с собой порядочную сумму сверх тех денег, которые уже имеете в руках.

– Я вас тоже не понимаю.

Приятель начал толковать.

– Купите, – говорит, – второго займа, да как можно больше, с залогом в Обществе Взаимного кредита, которое выдает под билеты по 150 р. Цена, – говорит, – этому займу 172, а после тиража он непременно поднимется рубля на три, пожалуй и на пять.

– А если не поднимется? – спросила дама, слушая речи этого нового змия.

– Непременно поднимется. Теперь уж это так заведено, что после тиража – сейчас в гору.

– Ну, а если не поднимется? Ведь это убьет мужа.

– Полноте. Волков бояться – в лес не ходить.

– Я лучше спрошу по телеграфу мужа.

– Да что они там в провинции знают? Наконец, вы отнимете все обаяние у вашего поступка, если не сделаете этого сюрпризом...

Змий-обольститель увлек: было куплено 300 билетов по 171 р., причем разницы после залога их она заплатила больше 6000 р.

Предоставляю вам самим вообразить то отчаяние, которое овладело бедною провинциалкой, когда билеты понизились до 139. Она теряла на них 9000 р.

Боже мой, сколько таких маленьких крушений, сколько горя и отчаяния, разбитых надежд, разбитого счастья!

Плутократы в петербургской думе

9-го октября 1874 г. открылось, что в думе заседают господа, которых можно купить за довольно дешевую цену. Открытие это произошло так. На концессию конно-железной дороги в Петербурге явились несколько конкурентов. Конкуренты, разумеется, старались задобрить гг. гласных и в то же время не прочь были подставить ногу друг другу. Это последнее обстоятельство заставило некоторых из них дать знать гласному В. И. Лихачеву[9], что в думе производится под-

куп, и представить ему доказательства этого подкупа. Г. Лихачев явился в заседание Думы 9-го октября с документами, доставленными ему конкурирующими концессионерами. И сказал блестящую речь, исполненную большого такта, меры и вместе с тем энергии. Я привожу лишь отрывок из этой речи, объясняющей суть дела:

«До сих пор какие бы вопросы ни поднимались в думе по части городского хозяйства, какие бы ходатайства мы ни разрешали, мы их решали по своему крайнему разумению, быть может иногда ошибочно, ибо не могут быть всегда безошибочны человеческие действия, но мы решали эти вопросы добросовестно, по своему убеждению, без всяких сторонних влияний. Но вот возник у нас железнодорожный вопрос, и вот принимаются все меры, чтоб помешать нам вопрос этот решить правильно, добросовестно; какое бы решение мы ни постановили, какой бы выбор ни сделали – мы навлекаем на себя вечные нарекания, мы разом навсегда колеблем авторитет городской думы, мы навсегда хороним нашу репутацию во всем, что касается справедливости, неподкупности.

Каждый из нас видел у себя многих из ищущих концессии. В этом еще беды нет. Но вот беда: не довольствуясь личным ходатайством, некоторые из концессионеров прибегли к старому, хорошо им знакомому средству для получения концессии. Я имею в руках несколько обязательств, выданных некоторыми из конкурентов с этой целью. Я прочту вам, гг., эти обязательства по порядку: I. “М. г. Составив договором нашим 11-го декабря 1873 года Товарищество для получения концессии на устройство в Петербурге сети конно-железных дорог, мы, на основании пункта 5-го сего договора, сим обязываемся через 1 месяц по заключении нами с петербургскою городскою управою контракта на вышеозначенную концессию уплатить вам государственными кредитными билетами 300 р. Петербург, сентября 16-го дня 1874 года”. Затем следуют две подписи. II. “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь уплатить предъявителю сего 400 р. на другой же день после того, как дело по постройке конно-железных дорог в Петер-

бурге состоится по баллотировке его думою за (таким-то). 24-го сентября 1874 года". Затем следует подпись и печать. III. "М. г. Не далее трех дней со дня подписания (таким-то) контракта на устройство сети конно-железных дорог в Петербурге я обязуюсь уплатить вам 600 р., из числа которых 300 р. будут вам уплачены в течение суток по решении думою вопроса о предоставлении (такому-то) концессии на устройство конно-железных дорог". Затем следует подпись.

Предположите, мм. гг., что все эти обязательства даны не гласным, что никто из здесь присутствующих таких обязательств не получал, – нельзя, однако, отвергнуть того, что эти обязательства выдавались кому-то, кто может прямо или косвенно влиять на сегодняшние выборы.

Но это еще не все: вчера одним из конкурентов разослано всем гласным заявление, что он обязуется уплатить городу 1 225 000 р. сверхпроцентного сбора с валового дохода в том случае, если ему будет предоставлена концессия конно-железных дорог в Петербурге».

Вот оно что: не один, не двое подкупленных, а целые десятки! И какие это подкупы! Трудно себе представить уровень нравственности этих представителей городских интересов, которые приходят к одному и говорят: «Ваш конкурент покупает меня за триста, вот и промесс его, не дадите ли больше?» «Извольте, я перекупаю вас за четыреста». От этого идет к третьему: «Ваш конкурент покупает меня за четыреста, не дадите ли вы за меня больше?» «Извольте, я перекупаю вас за шестьсот...» И слоняется этот... гласный по передним концессионеров и торгует собою, как публичная женщина, отдаваясь то одному, то другому. Он даже хуже ее, он не из нужды это делает: добровольно, по влечению своего нравственного чувства, не находя этого даже, по всей вероятности, особенно дурным, он продает себя.

Когда г. Лихачев стал говорить, в зале послышался ропот; вероятно, думали, что оратор не запасся необходимыми документами, что он передает только городской слух; но ропот утих, все притаили дыхание, когда он стал читать подлинные

документы, на которых господа концессионеры расписались. Они к этому привыкли, они выдавали не такие промессы, как в триста, в шестьсот рублей: сотни тысяч стояли на иных промессах! Кто наглее подкупал, кто меньше верил в совесть и честь, тот и выигрывал... Говорят, и в думе нашлись гласные, которые оценили себя в несколько тысяч рублей и получили эту цену. Молодцы! К этому слову есть хорошая рифма...

Впечатление от речи было огромное; многие гласные были красны и не смели взглянуть на соседа. Несколько минуть длилось молчание. Но вот встал с места офицер, г. Литвинов, и старался парализовать речь, доказывая, что необходимо приступить немедленно к баллотировке. Еще смелее выступил смелый статский, молодой человек, не успевший запастись бородою, по фамилии г. Голубев, по профессии инженер. В речи его было в особенности интересно то, что он нимало не оскорблялся фактом подкупа и с бесстрастием ссылался на европейские государства, где подкуп также практикуется. В заключение он дрожащим, взволнованным голосом убеждал думу тотчас приступить к баллотировке, ибо жители ждут удобных путей сообщения и всякая отсрочка ложится на них тяжелым бременем. Я узнал, что оба эти оратора принадлежат к так называемой в думе партии «бурят», состоящей из двенадцати человек и получившей свое название от г. Бурова, автора известного проекта канализации Петербурга. Любопытно в молодом человеке это безмятежное отношение к подкупу. То ли было, когда мы были молоды! Теперь все усовершенствовалось: опытность житейская дается еще на школьной скамейке и «здравый смысл» спозаранку гонит прочь идеалы, которыми мы когда-то питались, вероятно, по глупости. Что я говорю – идеалы? – гонят прочь, как ненужный хлам, простые правила житейской нравственности, благо Европа практикует подкуп! Но ведь честные люди в Европе, надеюсь, не за подкуп, не за продажу с публичного торга своей совести! Приятный молодой человек, этот господин Голубев!

Если подкуп в городской думе обнаружился на этот раз так гласно, то он, быть может, существовал и прежде. Мне

рассказывали, что в то время, когда дело шло о канализации Петербурга, один англичанин, предлагавший свой проект, прибегнул к этому средству. Один из молодых гласных думы – опять молодежь! – запросил с него полтораста тысяч рублей за поддержку и проведение этого проекта.

– Деньги эти возьму не я один, – говорил гласный, – надо будет раздать их влиятельным гласным и составить партию. (Он назвал при этом одного известного заводчика, имеющего прекрасный магазин на Невском.)

Англичанин стал торговаться, и сговорились на 30 000 руб. Деньги эти отданы были на руки тоже гласному, который и явился с ними в решающее заседание думы. Проект не был принят думою и англичанин получил обратно свои деньги. Случай этот рассказывал человек совершенно достоверный и берется назвать свидетелей и действующих лиц...

Вопрос о водопроводах, решенный думою в смысле передачи всего дела городу, поступит в городское присутствие. Господа от воды, говорят, забегают туда и сюда и хлопочут о перерешении этого вопроса. Город капиталистов обижает, капиталам не дает ходу, не позволяет частным лицам эксплуатировать стихии! В числе гласных, как известно, достаточно таких, которые с удовольствием согласились провести себя водопроводными деятелями, нимало не вникнув в дело. А дело очень простое и очень выгодное для города. Если дума состоит из людей достаточно зрелых, то она ни одной минуты не должна была бы сомневаться, что предприятия такого рода, как снабжение водою жителей, должны вестись городом. Люди, говорящие в пользу частной предприимчивости, нарочно умалчивают о том, что в деле снабжения жителей водою не может быть речи о таких принципах коммерческих предприятий, как конкуренция, спрос и предложение; водопроводное дело у нас – это монополия, более вредная, чем монополия винного откупа, потому что касается более необходимой для каждого жителя жидкости, чем водка. В тех заграничных городах, где водопроводное дело не находилось даже в руках одного общества, а двух или нескольких, прин-

цип конкуренции действовал только в первое время; затем общества приходили к согласию между собою и заключали стачку, полюбовно разделив город между собою. Так, например, было в Лондоне. В Берлине устроила водопроводы одна английская компания. В начале шестидесятых годов компания эта, не получая дивиденда, предлагала городу выкупить у нее водопроводы за 50–60 процентов их стоимости. Город не пошел на такую сделку. Прошло несколько лет; увеличилось население, усилилась потребность в воде; домовладельцы, не желавшие проводить в свои дома воду, принуждены были это сделать, так как квартиры с водою брались охотнее; дело доходило до того, что прислуга отказывалась наниматься в те дома, где не было проведенной воды. Компания стала получать большие барыши, а жители стали чувствовать большие неудобства от такой монополии. Городу пришлось пожалеть о том, что вовремя он не выкупил водопроводов, ибо в настоящее время, когда он решился приступить к этому, компания запросила огромные деньги. Нет сомнения, что и у нас будет то же, что потребность в воде возрастет, а вместе с нею возрастут барыши Общества водопроводов. Деятели этого общества очень хорошо это понимают и полезут вон из кожи, чтобы только оставить за собою лакомый кусок. Тем страннее близорукость тех гласных, которые якобы боятся лишней обузы для города, если он возьмет в свое ведение водопроводы. Страховое дело гораздо сложнее, в нем гораздо больше надо зоркости, а идет же оно у города с каждым годом лучше и лучше...

Акционерные общества имеют ту общую черту с общественным управлением, что те и другие действуют через своих чиновников, которые по большей части не имеют никакого интереса в том, худо или хорошо идет предприятие. Вопрос поэтому, сводится на то, чьи чиновники лучше, городские или акционерные? Неужели дума полагает, что она не найдет хороших исполнителей, отличных техников? Я того мнения, что служба городу более возвышает человека в собственных глазах, чем служба частному лицу или обществу. При страхо-

вом деле может быть тысяча соблазнов для чиновника: можно сделать оценку выше, можно скрыть поджог имущества и т.д. Есть же у думы такие исполнители, которые этого не делают? В акционерных компаниях сплошь и рядом в правлении участвуют неспособные сыновья, племянники, родственники учредителей и директоров; система непотизма в них царствует с такою очевидностью, что этого никто не станет отрицать, как бы он ни был предан интересам свободы частной предприимчивости; а при ней, как необходимое ее следствие, царствует система прогрессивного уменьшения жалованья сверху вниз: действительно полезные и вполне необходимые чиновники работают из-за ничтожного содержания, а совершенно бесполезные и неспособные «надзиратели» получают десятки тысяч за то, что раза два в месяц съездят в правление. Дума имеет полную возможность избежать такой системы, и мы не видим в городском управлении такого применения ее, как в акционерных компаниях. Пусть вспомнят также гг. гласные думы, что акционерные компании зарабатывают сотни тысяч в особенности несоблюдением контрактов, а в этом они великие мастера. За водопроводным предприятием огромная будущность, и в смысле поддающегося исчислению барыша, и в смысле барыша, не поддающегося вычислению – именно удобств жителей, имеющих дешевую воду. Городское присутствие, конечно, все это оценит и не примет в соображение тех доводов гг. водопроводных деятелей, которые сводятся на жалобу: зачем вы вырываете у нас лакомый кусок?..

* * *

Эти строки были написаны прежде, чем городское присутствие решило вопрос в смысле выкупа городом водопроводов. Городское присутствие, очевидно, поняло всю важность водопроводного дела для города; но между гласными думы можно было найти таких, которые смотрели на это равнодушно, или таких, которые явно становились на сторону Водопроводного общества. Правление общества приняло это в сообра-

жение и, заявив устами одного из своих директоров, г. Сущова, что «дума грабит Водопроводное общество», прибегло к другим средствам. Оно стало обольщать думу подарками, которые подносились городу в виде некоторого количества ведер воды сверх «обязательных» по контракту. Подарок этот стоит правлению весьма мало; употребляло ли оно еще другие средства – неизвестно; но в городе говорили, что употребляло, и, обольщая думу водяным подарком, оно в то же время обольщало отдельных гласных... убедительными доводами. Естественно, что некоторые гласные поддались, и большинством 70 голосов против 63 дело перерешено в смысле оставления на множество лет за обществом водопроводной монополии. Город поздравлять не с чем, но не могу не заметить, что г. Сан-Галли, говоривший прежде в пользу выкупа, на этот раз явился вместе с г. Литвиновым противником этой меры. Как быстро меняются у нас даже водяные убеждения.

Плутократия и ее идеалы

Кончаю свои заметки о бирже и о господах плутократах. Быть может, я слишком долго занимал ими ваше внимание, но этот нарождающийся общественный слой стоит того, чтоб к нему присмотреться. Я очень хорошо понимаю, что акционерные собрания – блюдо не особенно вкусное для вас, но ведь на него нельзя не смотреть как на нечто поучительное уж потому, что оно приготовляется на соусе самоуправления; взирая на то, как директоры и капиталисты кушают это блюдо с возрастающим аппетитом, я думаю: не самоуправлением же в самом деле возбуждается аппетит директоров... И действительно: это открытое ристалище, где «некоторые господа» весьма вежливо водят вас за нос: придешь в собрание и видишь воочию, как руки этих «некоторых господ» удлиняются и бесцеремонно берут за нос весьма почтенных людей, иногда в чинах генеральских, и ведут куда угодно. Иногда так вот и слышишь слова, никогда, впрочем, вслух не произносимые:

– Позвольте, ваше превосходительство, немножко вас за нос поводить...

И его прев-во бессилен сделать что-нибудь против этого. О простых смертных и говорить нечего.

Чувствуешь и видишь, как идет это самоуправление, как образуются эти маленькие государства, маленькие парламенты, где зачастую шарлатаны играют вашими капиталами при помощи наемных господ, набранных по большей части из толпы неоплатных должников и жуиров*, и где честные и порядочные люди хранят глубокое молчание, отчасти из трусости, столь свойственных порядочным людям, отчасти от лености и неподвижности, столь свойственной славянской натуре, отчасти от совершеннейшего легкомыслия. Сидишь в этой большой зале, среди этой тишины, прерываемой скучным чтением массы цифр, нарочно преподносимой для усыпления энергии слушателей, которые ровно ничего разобрать не могут в этом цифровом столпотворении, сидишь и думаешь: какая благодать для всех этих правоправящих!.. Как все в этих маленьких государствах устроено так, чтоб вы не смели своего мнения иметь, чтоб вы не имели никакого юридического права искать и доискиваться. Когда вас ограбят на большой дороге, вы можете жаловаться, и если вы укажете грабителя – иногда и полиция его найдет, – то можете надеяться, что вас удовлетворят; но когда вас ограбят в акционерном обществе, вы остаетесь ограбленным на законном основании; вы и видите грабителя, и вас он видит, но вы ему не вправе сказать ничего больше, как: «Все ли в добром здоровье ваша супруга?» И если он, предпочитая свою супругу Альфонсине, расчувствуется и поблагодарит вас, считайте себя счастливым... От вас все скрыто; вы видите только поверхность, слушаете только упражнение в казенном красноречии. Вам дают за полчаса до собрания «отчет», вам читают из этого отчета извлечение; не только прове-

* «Я вашему пр-ву отсрочу вексель, если вам угодно будет придти в сегодняшнее собрание акционеров и поддержать правление своим голосом, – смело пишет плутократ бюрократу, – я сделаю отсрочку продолжительную, если вам угодно будет привести с собой еще несколько ваших знакомых, на имя которых я могу написать акции...» – *А. С.*

рить его, но даже просмотреть его вы не имеете времени; вам дают отчет, как награду «за прилежание и успехи», и вы ожидаете, авось вас вызовут на середину и скажут: «Старайтесь и впредь», и если вас не вызывают, то единственно потому, что уверены в вашем старании и ныне, и во веки веков... Когда вы усматриваете слишком явное воровство в действиях руководителей предприятия, вы выбираете ревизионную комиссию. Иногда она добросовестно исполняет свой труд и представляет массу доказательств в пользу того, что ваше достояние расхищается; но эти расхитители имеют полную возможность образовать себе большинство и подтасовать цифры. Вы им говорите в лицо, что они воруют, а они сияют и смотрят на вас спокойно, будучи уверены в своей безответственности. Самое большее, чего вы можете достигнуть при огромных усилиях нравственных и материальных, – это смены правления. Расточители удалятся, но с сознанием, что никто не отнимет у них похищенного, никто не призовет их на скамью подсудимых.

Недаром бывший австрийский министр и экономист Шеффле[10] говорит, что в настоящее время в Европе воровство производится в таких колоссальных размерах, до каких никогда не доходил грабеж разбойничьих шаек и средневековых баронов, причем справедливо замечает, что чем колосальнее воровство, тем оно безнаказаннее, и чем ничтожнее, тем скорее оно подвергается каре закона. Это воровство производится под весьма приличными формами и обставлено всеми атрибутами законной честности. Что вы тут поделаете? Признавайте факт и преклонитесь перед ним, произнося в утешение себе, что тому многое прощается, кто много ворует...

Из всех акционерных компаний наибольшим могуществом отличаются железнодорожные. Во всех странах они возбуждают серьезные опасения. Даже в Англии, которая гордится уважением к законам, железнодорожные деятели не только их не исполняют, но позволяют себе нагло говорить в парламенте, что «если правительство станет издавать законы, стесняющие их произвол, то они сумеют найти средства нарушать их». Один уважаемый английский журнал («Quart. rev.»)

сказал по этому поводу: «В самом деле, у этих представителей железных дорог есть протекция, огромные деньги, связи, словом, все, что дает силу, и все в таком размере, который является неслыханным в истории промышленных обществ. Благородные лорды и почтенные члены парламента – у них самые деятельные агенты и ловкие устроители; сплоченные, они составляют такую сильную партию в парламенте, что она выдвигается перед всеми остальными. Печать предалась и продалась их услугам; самые даровитые техники ждут только мановения их руки; повсюду, во всех сферах государственной жизни они приобретают такое влияние, которое со временем может сделаться страшным и роковым, если заранее не будут приняты меры предосторожности. Уже и теперь от их милости или немилости зависит участь 163 миллионов беспомощных путешественников». Другой журнал («Westminst. rev.») говорит: «Среди свободных учреждений Великобритании возрастает новая страшная сила, государство в государстве, которая неограниченным образом налагает налоги на все, что попадется ей под руку, действует произвольно, помыкает всем по своим капризам, одним оказывая предпочтение, других попирая ногами. Это феодальная тирания Средних веков, но без нравственных обязательств рыцарства».

Не думайте, что эту силу создали какие-нибудь гении, какие-нибудь особенные дарования: Кларк, президент Ливерпульской торговой палаты, отозвался о директорах акционерных правлений в парламенте так: «Они так же мало развиты, так же мало понимают свое дело, как этот стол, за которым я сижу». И, однако, они сила, сила в наш интеллигентный век! По-видимому, здесь кроется какое-нибудь противоречие? Нисколько, ибо деньги всегда, во все времена были силою, подчинявшею себе все, если не всех. Нажива их – вероятно, не особенно мудреное дело и зависит исключительно от ловкости, сметливости, подвижности натуры и очень часто от слепого случая. Разберите судьбы наших российских финансовых тузов, учредителей и правителей железных дорог, руководителей банков и проч. Разве это что-нибудь выходящее из

ряду вон по образованию, уму, способностям? Случай большею частью вывел их в люди, ряд двусмысленных действий поддержал их на той высоте, на которую они взобрались; а действия эти легко оценить по тем примерам, какие мы привели: тут и подкуп, и обман, и ловушки, узаконенные биржевой игрой и спекулянтами. А что такое спекулянт? Прочтите в книге англичанина Кремпа «Теория спекуляции», изданной в 1874 г., следующие строки: «В характере спекулянта много общего с натурою разбойника, предоставляющего путешественнику выбирать одно из двух – деньги или жизнь. Для успеха в делах спекулянту необходимо принимать в уважение чувства и карманы других как раз настолько, насколько голодный тигр уважил бы самого спекулянта, если бы тот беззаботно прохаживался в бенгальских рощах».

Вы видите, какой черствый материализм руководит спекулянтом и как заглушает в человеке все другие, более благородные чувства. Жажда денег обращает даже развитых людей в нечто такое, что действительно весьма близко к натуре разбойника. Вот вам случай достоверный. После получения концессии на одну из юго-западных наших дорог учредители собрались для разделения между собою миллиона руб. барыша, исчисленного до постройки дороги. Артельщики разложили на длинном столе кучками ассигнации, поставили свечи и удалились. После этого приготовления к дележке вошли в комнату гг. учредители. Что было при дележке этого миллиона, можно судить по тому, что некоторые из гг. учредителей оказались на другой день с подбитыми глазами. Они передрались, потушив свечи и бросившись захватывать со стола пачки. Заметьте, что между ними были люди благородного происхождения и хорошего воспитания.

С развитием железных дорог и банков эти люди подняли у нас голову и насаждают новые нравы, новую нравственность. Это денежная аристократия, или плутократия, как величают ее на Западе. У нас слово «плутократ», хотя оно и греческого происхождения (от «плутос» – богатство и «кратейн» – властвовать), пришлось не по вкусу многим благо-

даря тому, что в русском языке есть слово «плут», довольно выразительное для обозначения людей, предающихся наживе всевозможными средствами. «Биржевым вед.» пришли даже в некоторое беспокойство по этому поводу и стали утверждать, что правильнее говорить «плутонократия», хотя слово «плутократия» образовано так же правильно, по тем же законам языка, как и «аристократия» (от «аристос» и «кратейн»). Испугавшись слова, «Бирж. вед.» приняли в свои объятия тот общественный слой, который обозначается неприятным им словом, и напечатали следующее:

«Из всех выделений верхних рядов человеческих обществ, совершавшихся в виде теократии, аристократии и проч., выделение денежной аристократии есть наиболее справедливое, так как ряды ее остаются всегда открытыми, и для всякой отдельной личности во всякий момент возможно из самых нижних рядов денежного плебса подняться до верхних рядов денежной аристократии, и никогда не обеспечена возможность обратного путешествия».

Мне кажется, что этот монолог точно так же справедлив, как и следующий моего сочинения:

«Из всех выделений низших рядов человеческих обществ выделение мошенников есть наиболее справедливое, так как ряды их остаются всегда открытыми, и для всякой личности во всякий момент возможно сделаться самым искусным плутом, и никогда не обеспечена невозможность путешествия в Сибирь».

Я не хочу сказать этим, что считаю плутократию скопищем плутов и мошенников: мне очень хорошо известно, что во всяком общественном слое есть порядочные и честные люди, как с безусловной точки зрения морали, так и тем более с условной. Я хочу только сказать, что плутократию невозможно считать «*наиболее* справедливым выделением высших слоев», хотя бесспорно, что богатство играет в гражданском обществе весьма существенную и полезную роль.

Прежде всего, замечание «Бирж. вед.» о том, что для плутократа «никогда не обеспечена возможность обратного пу-

тешествия», заключает в себе истину весьма относительную. Конечно, всякий плутократ может сделаться банкротом и совершить путешествие вниз, но это путешествие тем для него непродолжительнее, чем он ловчее и чем больше усвоил себе нехитрую биржевую мораль. (Банкрот «несчастный» и «злостный» – самые неопределенные термины.) Банкрота сплошь и рядом вытягивают снова вверх и дают ему снова нажиться на тот обыкновенно весьма значительный остаток, который он «спрятал». Если же банкротство грозит целой группе плутократов, то его предупреждают правительственною помощью, иногда в несколько миллионов. Помощь эта, спасая крупных капиталистов, не спасает обыкновенно публики, людей со средним достатком, которые и платятся во время, например, биржевых кризисов. Принимая эту помощь и стараясь о ней, плутократ смотрит на нее подозрительно, когда она обращается правительством на бедные классы, на такие учреждения, как ссудо-сберегательные товарищества, народные банки и проч., на все то, что дает кредит мелким капиталистам и что освобождает рабочих людей от зависимости крупного капиталиста и кулака. Последние готовы называть такую правительственную помощь уступкою социализму, хотя она только весьма естественное желание поднять общественное благосостояние народной массы, которая без правительственной помощи, без справедливого распределения налогов может зачахнуть. У плутократии есть своя замкнутость, своя дешевая мораль и свои законы для наживы.

«Наиболее справедливым явлением была аристократия, когда она была нова, когда она заключала в себе действительно лучших людей, по даровитости, талантам, заслугам перед отечеством; и в настоящее время в этом смысле аристократия была бы явлением справедливым, если б возможно было, при современных условиях цивилизации, выделение всего лучшего по уму, талантам, энергии, личным заслугам: счастливое соединение внешних условий с внутренними качествами высокого чекана встречается в личностях всех сословий, и таким аристократом может быть и аристократ по рождению, и

плутократ, и демократ, и бюрократ». Вот самое справедливое «выделение высших слоев». Но и наследственная аристократия в таких странах, где она не замкнута, где она получает свою силу из народа, как, напр., в Англии, стоит по результатам своей деятельности, по своим заслугам и традициям выше плутократии – этой аристократии денег. Нет ничего мудреного, что находятся люди, которые и наследственную аристократию, если она понимает свои обязанности, считают необходимым элементом в цивилизации. Такая аристократия содействует всякому успеху, представляет собою не только прогресс, но и патриотическое чувство; она покровительствует наукам и искусствам; без спеси в отношении к низшим, она покровительствует всякому труду и поддерживает несчастных; гордая только по отношению к тем, которые готовы попирать ногами и нравственность, и права, и закон, она является перед очами народа более проникнутою чувством своих обязанностей, чем гордостью своих привилегий. Она борется против произвола, не жалея себя, и своим примером учит независимости; она передает свои дела, свои добродетели из поколения в поколение и служит живым архивом конституции, душой ее. В английской аристократии были такие люди, и предания о добродетелях, о личной независимости предков, о их стойкости перед произволом и насилием влияли неотразимо на потомков... Все это, конечно, достоинства относительные, если принимать в соображение недостатки этой аристократии; но довольно и того для ее значения, все более и более падающего в настоящее время, что она выработала свой идеал, имеющий весьма привлекательные стороны...

Денежная аристократия доступнее для всех, чем наследственная, но зато она и низшего чекана. Наследственная аристократия – представитель политического развития страны, ее нравственных успехов; денежная – материальных. Аристократии в английском смысле, с ее идеалами, у нас не было и нет, но наше дворянство, при всех своих недостатках, все-таки играло некоторую политическую роль, имело и, надеюсь, имеет свои политические идеалы; с уничтожением кре-

постного права оно потеряло свою самую непривлекательную сторону и может занять подобающее ему место; у него есть все-таки традиции добродетелей, талантов, независимости, образования; оно служило науке и искусству и может выставить имена довольно блестящие. Доступ сюда никому не закрыт: земли может приобретать всякий, образованным может быть всякий; соединение счастливых внешних условий и даровитости, воспитание независимости при помощи образования и самостоятельного материального положения, традиции политического значения дворянства, расширенные современной цивилизацией, сознание силы солидарности – все это еще может выдвинуть вперед дворянство не как узкую, замкнутую среду, ищущую себе привилегий, а как представителя прогресса и потребностей нравственного и политического свойства. Что дворянство, как среда, не лишено иногда политического такта, доказывает, между прочим, история «Вести»[11]. По-видимому, какого лучшего органа надо было желать для дворянства, как замкнутого, привилегированного сословия, каких оваций не мог ожидать г. Скарятин[12]? И что же вышло: газета должна была опочить от недостатка подписчиков, хотя аллюры ее отличались свободою; а что касается оваций, то редактор получил такую в среде смоленского дворянства, что ей никто не позавидовал...

Плутократия – тоже не замкнутая среда, но уровень ее, у нас по крайней мере, низок, идеалы – мешок с деньгами, традиции – нажива всевозможными средствами и материальные блага. Я никогда не забуду, как один господин говорил мне про другого, живущего не по средствам: «Зачем ему все это, эти ковры, эта мебель? Его жена – бедной девушкой была, и ей всего этого не надо. Вот у моей жены – другое дело: у нее традиции есть». Традиции были именно в коврах и роскоши, ибо его жена была дочерью откупщика, вышедшего из евреев. Других традиций у денежной аристократии нет; а что касается нравственных идеалов – то это такая путаница, в которой все понятия о добре и зле получили своеобразное значение, благодаря непоколебимой, сознательной вере в один идеал –

деньги. Они покупают совесть, убеждения, таланты: ораторы, архитекторы, художники, инженеры – к ее услугам; сильная материальными, не нравственными благами, она купит их, растлит и обратит в ремесленников. Посмотрите, разве серьезные произведения искусства не вытесняются легкими, игривыми, канканными? Вместо трагедии – куплет, вместо оперы – оперетка, вместо комедии – буффонада. Затем – золото, дорогие ткани, бриллианты, все то, что блестит, что кидается в глаза, на что зевает толпа. Искусство на службе у аристократии сделало немало; а что оно сделает у этих новейших тузов? Их благородные черты изобразит, размалюет платья их любовниц, напишет голых женщин, но не Венеру создаст, а вакханку, кокотку. Драма в этой среде не найдет необходимых для нее сильных страстей и коллизий, потому что все у этих торгашей гладко и ловко.

– Непонятно, – говорил мне один приятель, – какие побуждения заставили В. (очень богатого обанкротившегося плутократа) содержать любовницу, когда у него жена и молода, и красива, и умна. Любовнице-француженке он платит 20 000 руб. в год; но этого не хватало, потому что она, любя фрукты, сошлась с фруктовым торговцем и заставляла В. платить магазинщику за поеденные ею фрукты еще 12 000 руб.

Вот она, драма!? Содержание ее – 32 000 руб. в год и обман, обман, обман со смехом, без борьбы, без страданий, обман с жиру... Изобразите это в драме – выйдет буффонада, не более. Скажите поэту, чтобы он воспел этих тузов. «Да что ж мне воспевать? – скажет он. – Даму, лежащую в коляске, ее супруга во фраке, с орденами и медалями, готовящегося взять концессию или читающего отчет в акционерном собрании; страдания от неимения ложи в итальянской опере, от неудачи финансового оборота?.. Нет, доблести родовой аристократии обращаются в этой денежной аристократии в мелкую монету или безжалостно разбиваются, как ненужный хлам.

Сосредоточенная в городах, занятая вечно наживою, плутократия всего менее способна стремиться к какимнибудь политическим идеалам, лелеять их, воспитывать и

осуществлять; ее политика – городские интересы, ее свобода – свобода спекуляции, ее наука – бухгалтерия, ее искусства – галантерейные магазины, ее парламент – биржа и акционерные собрания. И между тем именно она, эта плутократия, начинает властвовать, ибо свободы у нее вволю, а средства занимаются и наживаются легко. Владычество ее у нас тем прочнее, чем проще наша политическая жизнь и чем, стало быть, легче деморализовать ее при помощи денег. Она по большей части невежественная, прежде всего научается поднимать на смех представительство и личное достоинство, независимость человека. Ее акционерные собрания – жалкая пародия на парламентаризм, где только и есть парламентарного, что один колокольчик; ее ответственные министры – правления – сплошь и рядом слепое орудие в руках крупного капиталиста или денежная стачка нескольких для обирания многих. Она смеется над независимостью человека, потому что видит постоянно, как она легко поддается материальным интересам, как охотно идет на приманку взятки, подкупа, обеда. И в каких размерах производит она этот подкуп! Г. Щедрину, когда он писал свои губернские очерки, когда он выставлял на позор и смех взяточников, и сниться не могли те суммы, которыми располагают плутократы для подкупа. Оно и понятно: предприятие в 30 миллионов; нажить по 10 коп. с рубля значит получить 3 миллиона рублей; отчего же не отдать за то, чтоб его получить в свое распоряжение, 100 тысяч, даже миллион? Расчет верный и смелый: и ваше достоинство измеряется рублями, и вашу честность покупают, ничего не жалея. Вы ведь тоже удовлетворены, потому что продались не дешево. Если вы читали «Записки Сегюра», вспомните один разговор, который он вел с Екатериною II о том, что всякую женщину можно купить – дело только в большей или меньшей сумме. Мужчины продаются, как и женщины. Один прямо берет деньги, другому деликатно подсовывают имение по дешевой цене, у третьего покупают земледельческие продукты его имения по высокой цене, четвертого пригласят в учредители, пятому тонко вручат акции, и проч. и проч.

Однако ж, скажете вы, нельзя же отвергать пользу капитала. Еще бы! Об этом я не говорю; но капитал должен соединиться с образованием, с высоким развитием ума и сердца. Помните, во второй части «Фауста», Плутос является щедрым, широко и радостно распределяющим земные блага. Он и его прекрасный возница расплавляют золото и заставляют его падать на землю дождем на бедную, алчущую землю. Плутос, сын Цереры, родился на трижды вспаханном поле и без того уж плодородного острова Крита. Это бог не эгоистического скопления богатств, а широкого распределения их; это бог поэтически-расточительный, приносящий изобилие: «Он как король богат и щедр, и благо тому, к кому он милостив. Его взоры направлены туда, где нужда, и чистая радость его заключается не столько в том, что он обладает богатством, сколько в том, что он может раздавать его».

За Плутосом с нагруженной сокровищами колесницей едет мальчик, который говорит о себе: «Я – щедрость, я – поэзия; я поэт, довершающий себя тем, что расточаю сокровища, принадлежащие Плутосу. Я безмерно богат; я считаю себя равным Плутосу; я оживляю и украшаю его пиры и танцы; я даю то, чего у него нет».

Плутос говорит, что этот мальчик действительно богаче его, бога богатства. Этим Гете хотел сказать, что богатство само по себе ничтожно, что оно грубая, злоупотребляющая сила, если не соединяется с юношеской, манящей, щедро раздающей блага поэзией. Другими словами: капитал должен обращаться на развитие и увеличение общественного благосостояния, упрочение мира, образование, науку и искусство, благотворительность и проч. Я убежден, что многие, прочитав эти строки, иронически улыбнутся. И в самом деле, такая проповедь смешна у нас, в стране, где богатство накопляется преимущественно в самом эгоистическом сословии, помышляющем только о своих барышах, и где даже богатая интеллигенция довольно беспутно тратит свои деньги...

Америка и Европа представляют нам примеры таких богачей, которые приобрели всесветную известность своими

пожертвованиями на общественные дела; Англия и Америка усеяны благотворительными учреждениями, школами, университетами, институтами для рабочих, созданными частными лицами. Говорят, мы богаты, но где же у нас такие богачи, где дела их, которые были бы достойны общей признательности? У вас мелькает в голове два-три имени, да и эти люди не Бог весть что сделали. Гораздо больше таких, которые и милосердием-то занимаются с корыстной целью – завязать связи, получить орденок, проложить себе дорожку к концессии...

Наши плутократы редко высказываются печатно, зато тем драгоценнее речи их. Я никогда не забуду двух писателей-плутократов, коммерции советника С. Т. Овсянникова и г. Кокорева. Г. Овсянников в брошюре своей «Соображения о необходимости радикального устройства Мариинской системы», между прочим, сказал, что «наибольшее приобретение выгод составляет честь купца, подобно тому как честь главнокомандующего заключается в наибольшем приобретении выгод над противником». Отсюда ясно, что те лица, с которыми купец имеет дело, – его неприятели, а с неприятелем не церемонятся. Г. Кокорев известен своими публицистическим винегретом, но едва ли многие знают его письмо к министру финансов о наилучшем устройстве откупов («Сведения о питейных сборах в России», ч. 3-я, стр. 237). В этом письме он жалуется на то, что «в откупах, управляемых по стародавним формам, не дано откупному делу торгового, этого приманчивого и увлекательного направления, а оттого и *остается часть денег не выбранною из капитала, изобильно обращающегося в народе*». Он просит у министра аудиенции для того, чтоб сообщить ему свои замечания о выборе на водку и той части денег, которая еще остается в народе; какие это замечания – не знаю, но он уверял, что если их примут, то «они увеличат *выбор* денег из народного капитала, потому что *торговля питьями получит ту цивилизацию* в отношении роскоши, которая теперь усвоилась для всякой другой торговли». Можете себе вообразить, что это за питейная цивилизация!.. Довольно, однако, хотя эта питейная цивилизация продолжается...

К гг. директорам Московского общества коммерческого кредита

Милостивые государи, Павел Васильевич (Осипов), Владимир Петрович (Веденисов) – директоры, Т. С. Морозов, председатель совета, и Н. Лебедев, член совета, – скажите ради Бога, кто вам отчет за 1875 год составлял?

– А что? – спросите вы.

– Не так больно хорошо составлен. Я такого отчета в жизнь мою не читал: и жалостливо, и морально, и литературно, и финансово, и даже как будто откровенно.

Последнее качество меня особенно трогает, ибо оно нигде у нас не практикуется, а в банковом деле тем менее. Спросите г. Розенталя, спросите г. Кокорева – они прямо вам скажут, что откровенность – последнее дело. «Я понимаю с приятелем по душе поговорить, – скажет Василий Александрович, – но банковое дело – это постоянная черная туча, из которой ни дождя не льется, ни молнии не сверкает. Только при ликвидации она разверзается, и тогда – всемирный потоп, исключая…» Но тут он опять умолкает, ибо исключение вовсе не падает на «праведного» Ноя. Спросите г. Розенталя, и он ничего не скажет, кроме: «Наша общая финансовая матерь – Англия…» И дальше только улыбнется, молча посылая общей матери сыновний поцелуй.

И сам я нахожу, что тайна в банковом деле – великое дело. Если находятся акционеры, которые требуют полной откровенности, то это либо наивные люди, либо такие, которым правление мало предлагает *отступного*, приглашая их к молчанию. Попробуйте откровенничать и, будьте благонадежны, никакого дивиденда не получите. Теперь вам говорят: «За корреспондентами банка 3 миллиона», – вы и спокойны, а если б вам сказали, что эти корреспонденты не что иное, как минус, приобретенный неудачной операцией, – какой дурак отдал бы вам медный грош на текущий счет? Поэтому те господа, которые вопиют о нарушении «прав меньшинства» и

требуют откровенности, действуют либо из личных интересов, либо по отсутствию всякого присутствия. Верьте мне. – Непременно! Тут возможны только два образа действия: либо поддержка тайны и кредита, либо полное отрицание банкового дела в нынешнем его образе и подобии. Радикальные тут надо средства, а не ваши паллиативы… Извините, мм. гг., гг. директоры, что я отвлекся от вашего бесподобного отчета. Я хочу рекомендовать его всем банковым деятелям, как образец для подражания.

Дела ваши, мм. гг., идут неладно. Это большое мужество с вашей стороны сказать такую правду. Но позвольте мне предупредить вас, что на будущее время вам всего лучше последовать общему примеру – помалчивать, ибо ваше мужество весьма подозрительно. Надеюсь, что вы позволите мне высказать вам мои соображения.

Вы говорите, что два предшествующих года были неблагоприятны и в третий год вашему Обществу выпало на долю повторить то же, но в более увеличенных размерах. Два предыдущие периода оставили истекшему году надежду и ожидание, но эта надежда не осуществилась, ожидания не исполнились. *Вместо решительного* (надо думать, «утешительного») *осталось и последовало неблагоприятное».*

Очень хорошая фраза, особенно: «Осталось и последовало». Рисуя бедствия торговли, вы говорите, что владельцы стали продавать скот за бесценок, «невзирая на то что с открытием весны в обработке полей встретится без оного немалое затруднение». А если б они «взирали на то», не стали бы продавать?! Но все это пустяки, а я не хочу придираться к курьезам вашей фразеологии…

«Благодаря взглядам и своевременному пособию нашего просвещенного правительства, потрясения банковых учреждений устраняются, а *потрясенный* торговый кредит, еще *более потрясаемый* нерациональными действиями частных банковых учреждений, переходит на будущий год при самых неблагоприятных обстоятельствах, внося с собою скорбь и болезнь».

«Потрясенный кредит, еще более потрясаемый» «вносит с собою скорбь и болезнь» – это нечто библейское по силе выражения. Оно вырвалось у вас невольно, но я понимаю, что заговоришь библейским языком, коли все так плохо и коли вам самим, быть может, плоше, чем прочим. Не удивляйтесь такой догадке, ибо она ясно вытекает из ваших отчетных приемов. Вы резко и правдиво критикуете «безрасчетливый банковый кредит» в своем отчете, вы нападаете на вредную конкуренцию, на увлечения банков, на иностранцев, на коммивояжеров, на всех и вся и в то же время провозглашаете, что вы сами «честно, разумно и производительно» действовали? Неужели только неблагоприятные обстоятельства, «угнетающие действия» причиною того, что вы принуждены были «сократиться?» В таком случае незачем было бы хвалить себя, а предоставить все воле Божией и угнетающим обстоятельствам. Бывает, что резко критикуют других для того, чтобы выставить себя получше, а вы еще, выставляя себя на счет других в благоприятном свете, вместе с тем рекомендуетесь прямо: «Мы действовали честно, разумно и производительно», и вслед затем признаетесь, что ваше общество «скорей само погибнет, чем достигнет цели». Поищите причин в самих себе, мм. гг., авось найдете их...

И кого только вы не затронули: и все банки, кроме вашего, и кредит, и торговлю, и «скорбь и болезнь», и медленность в судопроизводстве, и суд с его якобы «видным нарушением справедливости» в пользу большинства, когда право только богатое меньшинство, «настоящие кредиторы», и законодательство, которое «не преследует уголовным порядком за фиктивные отчуждения имуществ», и «недобросовестное направление неблагонамеренных адвокатов», и даже «растление нравственности». «При нынешнем растлении нравственности», – говорите вы…

Бросьте лиры, поэты! Публицисты, оставьте ваши перья. Куда вам, когда банки говорят о растлении нравственности!..

Вон откуда нынче сатира идет: от московских купцов Веденисова, Осипова, Морозова, олицетворяющих собою

«честность, разум и производительность» среди «угнетающих обстоятельств, мошенничества, безрасчетного кредита, плутов-адвокатов, неправосудия суда и растления нравственности»...

О, мм. гг., позвольте преклоняться перед вами, чистыми среди грязи, честными среди бесчестия, разумными среди безумных, производительными среди опустошения! Я повесил бы вам медали за «голубиную чистоту» и скромное признание ваших заслуг вами самими. Вы готовы погибнуть, но не по своей вине: как те подсудимые по делу Струсберга, которые отговариваются незнанием немецкого языка и бухгалтерии или такими наивными замечаниями: «Я книги видел, но миллионных сумм в них не видал», – вы гибнете потому, что «ожидания и надежды рушились», а вместо «утешительного осталось и последовало неблагоприятное».

Да, вы откровенны относительно других и неумолимы относительно «угнетающих обстоятельств», «растления нравственности» и всего прочего. Когда вы будете более откровенны относительно себя самих, я сочту своею обязанностью выразить вам чувства моего глубокого удивления.

РАЗДЕЛ VIII

ЖЕНЩИНА В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Очерк истории русской женщины

I

Когда читаешь историков русской женщины, то прежде всего замечаешь, что они задаются совсем не историей, а пропагандой освободительных идей. Они хотят, чтобы читателю лезло в глаза порабощенное положение женщины, и потому они смело не обращают внимания на русскую культуру вообще, на состояние народа и общества. Они не обращают ни малейшего внимания на то, что вообще русская история короче, чем история, например, Франции, Англии, Германии, и что, кроме того, Россия испытала то, чего не испытала Европа, именно татарское иго. Чтобы быть правдивым историком, надо было бы сравнивать соответствующие по развитию времена, а вовсе не хронологические совпадения. Поэтому всякие жалкие слова о рабском положении русской женщины в XVI и XVII веках не имеют ровно никакого значения. Мужчина был груб и необразован, груба и необразованна была женщина. Можно еще рассуждать о такой аномалии, что образованный, развитой грек держал свою жену в положении полного подчинения, но нечего возмущаться тем, что боярин

XVI–XVII вв. держал жену в тереме. Тут ничего нет ни удивительного, ни возмутительного. Ничего нет возмутительного и в «Домострое», который может быть рассматриваем только как исторический памятник, в котором, однако, есть черты общеевропейские и общечеловеческие, которым никто не откажет в уважении. Семья не могла образоваться без всякого принуждения, без известных правил, без подчинения отцу семейства. Исторические памятники заслуживают не насмешки, которая при суждении о старине так легка, а изучения осмысленного, чтобы найти в них то, что объясняет ход истории и развития, что объясняет нам крепость и жизненность известных сторон общества. К сожалению, даже г. Луи Леже[1], профессор в College de France, в своей книге, только что полученной здесь («Russes et Slaves»), недалеко ушел от таких исследователей в суждении своем о «Домострое», которого он, впрочем, никогда не читал целиком. Г. Луи Леже должно быть известно положение если не европейской женщины вообще, то хоть французской в XVI столетии. Уж будто там было такое равенство, что можно ему позавидовать?

Мужья преспокойно били своих жен и не давали им особенной повадки, хотя культура Франции в XVI и XVII веках была, конечно, гораздо выше русской. Если с внешней стороны положение женщины было лучше и сама она обладала качествами общежития и галантерейного обращения, то сущность, строго говоря, мало чем разнилась от сущности русской женщины. Тот же разврат исподтишка, те же измены, то же ничегонеделанье в высшем классе при массе прислуги, то же невежество. Исключения, конечно, встречались, но даже в высшем классе женщин держали вдали от всяких умственных интересов. Жена Расина никогда не бывала в театре и никогда не видала трагедий своего мужа, а может быть, и не читала их. Наполеон I в государственном совете сказал: «Муж должен пользоваться неограниченной властью над поступками своей жены», и многие положения французского кодекса проводили в жизнь это изречение. Да что забираться так далеко? Давно ли Прудон, этот человек замечательного ума и дарований, пропо-

ведовал идеи «Домостроя» со всегдашней своей искренностью и прямолинейностью, встречая во французской публицистике только лицемерный отпор, по крайней мере в мужской публицистике? Жена – так жена: она должна быть хозяйкой и думать только о муже, о детях и о кухне. Дочь должна подчиняться тому выбору жениха, который годен родителям. Такова сущность этой проповеди одного из умнейших французов, который заключал в себе много общефранцузских, национальных черт характера, исключая лицемерие и галантность.

К XVI–XVII столетиям относятся и следующие строки относительно Англии: «Родительский авторитет поддерживался преимущественно страхом; дети стояли или коленопреклонялись дрожа и молча в присутствии своих отцов и матерей и не могли садиться без их позволения, телесные наказания употреблялись очень щедро, без различия полов, пока молодые люди оставались под родительским кровом» («Опис. социол. Спенсера).

Вообще исторические параллели надо проводить осторожно. Пора жалких слов, сентиментальности и восклицательных знаков прошла, и исторические факты следует объяснять, находить им причины, а не проклинать их и не негодовать на них. Русская женщина среднего и нижнего состояния пользовалась обычной свободой и принимала участие в работе и заботах своего мужа. Что ей были знакомы чувства любви, даже и некоторого романизма в любви – доказывают наши народные песни. Женщины высшего круга сидели в теремах, но они вовсе не походили на тюрьмы и не исключали известной доли свободы. Конечно, наши женские историки не упускали случая объяснить развращенность женщин и этого круга тем именно, что они не пользовались свободой. Пользуйся они ею, было бы, конечно, лучше. Ну, а развращенность женщины в позднейшую эпоху, когда она вышла из теремов, чем объяснить? Вопрос этот вовсе не так легко поддается разрешению, как это угодно женским историкам и женским публицистам, которые в таком изобилии явились у нас в 60-х и 70-х годах. Когда Петр I ввел европейские порядки, женщина быстро

усвоила их себе, но нет основания полагать, чтоб XVIII век представлял относительно нравов черты более нравственные и гуманные, чем XVII и XVI. Софья Алексеевна эмансипировалась еще до нововведений Петра и взяла себе любовника, который получал награды за неудачные походы. История первой и второй жен Петра известна всем. Царствование женщин отнюдь не способствовало улучшению нравов, но понизило в мужчинах чувство собственного своего достоинства и породило отвратительное холопство перед фаворитами и конкуренцию в альфонсизме. Высшие слои общества давали соблазнительный пример, и это, конечно, отражалось на нравах. Стоит вспомнить «Дрезденшу» и ее приют, куда приезжали порядочные женщины для любовных дел. Вообще свобода отношений полов между собою была так полна, что ею не пользовались только истинно честные женщины в тех порядочных семьях, которые хранили заветы старины.

II

Таким образом, у русской женщины история короче, чем у европейской, которая прошла сквозь Средние века, сквозь инквизицию, сотни тысяч костров и возмутительных процессов, сквозь рыцарство и сквозь постепенные литературные и политические наслоения. У русской женщины этого не было. Отношения ее к мужчине, к жениху и мужу проще и даже искреннее. Ни особенной вражды к женщинам не было, не было и особенного угнетения, да и не было осознанно-яркого отличия в умственном отношении между женщинами и мужчинами в России во все времена. В Европе это отличие, напротив, было весьма значительно. В то время когда между мужчинами являлись великие поэты, мыслители, ученые, женщина оставалась все-таки на низшей ступени. Можно ли провести параллель между Шекспиром и его женой, между Расином и его женой, между Монтенем и современными ему женщинами? В России, напротив, в этом отношении существовала большая гармония, с тех самых пор, как началась наша история, и попала на стра-

ницы летописей, и отразилась в народном творчестве. В былинах говорится о женщинах-богатырях, которые не уступали иным мужчинам; первая христианка была великая княгиня Ольга – и первая святая в хронологии нашей истории. Если до татарского ига некоторые князья были образованнее и развитие женщин, то татарское иго, вероятно, значительно сравняло их. Господство всем, участие в делах государственных, в общественных ставило мужчину выше женщины, да и организация его, разумеется, была выше, но ходячие понятия так были общи обоим полам и так бедна была общественная жизнь, так мало было в ней умственных интересов и общественных развлечений, что мужчина и женщина могли жить общею жизнью согласнее, чем там, где не было этого равенства в умственном развитии, общественных и научных интересах, в развлечениях. Даже в высших классах муж и жена большею частью были неграмотны; религиозные их понятия были на одном уровне – что было грешно для мужчины, то грешно и для женщины. Самый климат, суровый, с продолжительной зимой, держал и мужа и жену в комнатах, в семье, среди родных и знакомых, среди развлечений, общих обоим полам.

По-моему, ничего нет ошибочнее, как заключать по старым, литературным памятникам Древней Руси о взглядах на женщин. При малой грамотности, кто их читал и кто усваивал себе из этих книжников взгляды на женщин? Господствовал обычай, смягчаясь нравами и христианством, и женщина не могла чувствовать какого-то особенного отчуждения и подчинения. Когда в Европе жгли женщин-ведьм на кострах и производили невероятные по бессмыслию и ужасу процессы, то зачинщиками являлись люди образованные, представители Церкви и ученые, и эти преследования входили в плоть и кровь общества городского, тесно жившего и близко чувствовавшего друг друга. У нас этого совсем не было. Экземпляры сказания о «злой жене» были, конечно, весьма редки, и содержание его вовсе не входило в общее миросозерцание и не могло входить.

Нравы были, конечно, грубы, но на женщину наши предки, как теперешние мужики, духовенство и купечество, вовсе

не смотрели как на какой-то сосуд сатаны. Мужчине естественно считать себя выше женщины, и он, разумеется, считал и считает себя и доселе таковым. Но отсюда до угнетения еще очень далеко. Частные примеры особенной жестокости доказывают вовсе не общее правило. Да в примерах жестокости по отношению к женщинам Европа решительно перещеголяет нас. Указывают на пример такой жестокости в деле принудительного развода Василия III с Соломонидой. Ну, а Генрих VIII английский неужели был лучше? А такое явление, как Марфа Посадница, почему-то не рассматривается с той точки зрения, каковой оно заслуживает. Ведь Иван III нимало не удивлялся тому, что Новгородом управляет женщина, что она имеет там огромное значение, что против женщины ему приходилось собирать полки, брать ее в плен и держать в заточении. Василий III не устраняет свою жену от управления государством во время малолетства Ивана Грозного, и Елена управляет государством и если вызывает против себя негодование, то не как правительница, а как женщина слишком легких нравов. Жена Бориса Годунова, жена Феодора – Ирина, жена Самозванца – Марина, разве они не играют ролей в управлении и разве слышится какая-нибудь специфическая ненависть против женщин?

Русский человек – слишком здравомысленный человек и слишком долго проживший своей собственной жизнью, среди тяжелых условий климата и труда, чтобы делать из женщины какое-то пугало. Его пословицы о женщинах более отличаются юмором, чем жестокостью. История нашего раскола может указать на влияние женщин, на их общественное значение и руководительство. Вообще страницы нашей истории совсем не запятнаны какою-нибудь особенною враждою к женщинам, каким-нибудь особенным порабощением ее. Кто судит иначе, тот судит предвзято, на основании единичных фактов. И недостатки у них были общие с мужчинами, недостатки грубых нравов и отсутствия просвещения. Кто больше развратничал – еще вопрос: мужчины или женщины. По крайней мере, если мы находим такого сластену, как Иван IV, то найдем между

женщинами и почище его, которые, несмотря на свое высокое положение, не стеснялись ничем, никакого приличия и воздержанности не признавали, никакими материальными жертвами на счет народа и крепостных душ не стеснялись, когда дело шло об удовлетворении своей плоти. Дело делалось так просто и бесцеремонно, как самое обыкновенное житейское дело, которое не может встретить никаких замечаний, никакого удивления. Дело доходило почти до гарема из мужчин. Что касается женской жестокости, то достаточно указать на Солтычиху.

III

Мы берем, быть может, дистанцию слишком огромного размера, от Ивана IV прямо к концу XVIII века. Но мы теперь достаточно знакомы с историей русских нравов в этот европейский «философский» век, чтобы вещи называть своими именами. Мы говорим о сущности вещей, а не внешности их. Внешность была блестящая и покупалась кровавым крепостным трудом, но сущность все-таки оставалась скверною и разврат – развратом. Чем он утонченнее, тем даже хуже.

Но мы этот очерк «женской истории» приурочиваем к вопросу о романтической любви. Много ли ее было в допетровской Руси и много ли наросло ее в XVIII веке? Дрезденша со своим приютом, фаворитизм и альфонсизм, как бы дорого он ни покупался, не относятся к романтической любви. Господствовала, очевидно, чувственность, французские нравы, взгляды и моды, и притом без тех политических и общественных идей, которые выразились в произведениях крупных французских писателей. Недаром поэтому литература наша так постоянно нападала на французоманию, которая ей была ненавистна, хотя сама наша литература жила подражанием французской литературе, в особенности в области драматургии. Наша поэзия XVIII века вращалась около торжественной оды, с одной стороны, и чувственной любви – с другой.

Да есть ли у французов, у этого оригинала, которому подражало русское богатое общество, романтическая любовь?

Французы слывут самым любезным и галантным народом. Но эти внешние признаки, эта утонченность обращения закрывают только грубую их чувственность в любви. Необходимое условие романтической любви, т.е. такой любви, которая предшествует браку, которая полна уважения, обожания и самоотвержения, есть свободный выбор женихов девушками и невест молодыми людьми. Но этого у французов и теперь почти не существует. Как pia desideria*, г-жа Сталь говорила, что она желала бы, чтобы дочь ее вышла замуж за человека, которого она полюбит! «Манон Леско», знаменитый роман аббата Прево, превозносимый французской критикой, есть не что иное, как апофеоз чрезвычайно легкомысленной женщины, которая постоянно изменяет своему возлюбленному и к нему возвращается. «Новая Элоиза» Руссо нравственнее и чище, романтичнее, но она совсем забыта и не имела влияния ни на нравы, ни на литературу. Любовь у французов выражается фразою «coucher avec lui, avec elle»**, фразою, которая на всяком другом языке считается неприличною. Французские любовь начинается обыкновенно с адюльтера, то есть с измены замужней женщины, а вовсе не с девической любви к мужчине. Поэтому беллетристика и драматургия французские почти исключительно посвящены адюльтеру. Девушки воспитываются в пансионах, в монастырях и до самого замужества остаются под строгим надзором матери или родных. Брак большею частью дело денежное, торговая сделка, и заключается не только с согласия родителей, но и по их почину. Девушка не самостоятельна и о любви у ней не спрашивают, да и некогда и негде ей развиваться, оттого во французской драматургии этот вечный тип ingenue***, невинной девушки, которая наивно высказывает свои чувства и удивляется тому, что все давно знают. Тип этот, конечно, не лишен даже в значительной степени лицемерия и притворства и выводится для смеха многознающих мужчин и женщин. Такая ingenue, полуребенок по развитию, и идет замуж за того,

* Благие намерения (*лат.*).

** Спать с ним, с ней (*фр.*).

*** Наивная (*фр.*).

кого ей предлагают. Брак заключен. Родился ребенок. Его отправляют в деревню, на руки к кормилице, чтобы он не мешал молодым супругам наслаждаться. Как скоро они решат насчет числа детей и надоедят друг другу, начинается адюльтер, иногда по любви, которая просыпается в женщине, иногда просто из чувственности, иногда и ради удовлетворения тщеславия и потребности широко жить, иметь бриллианты от любовника и т.д. Весь цинизм Золя, в сущности, – верная картинка французской брачной жизни, верное воспроизведение чувственной, циничной натуры французов. Он поднял завесу смелою рукою и с бесцеремонностью француза, и французы и доселе все еще не хотят его признать, потому что он не хочет лгать, как лгут другие из национального тщеславия. Это отсутствие свободного выбора жениха и невесты, эта циничность и искусственность в любви сделали в конце концов то, что вырождается нация и вырождается самая французская красота. Красавиц-француженок так мало, что на одну красавицу-француженку можно найти сто красавиц-итальянок. Но француженка зато берет изящным цинизмом, кокетством, пикантностью, всем искусственным арсеналом, который ни у кого так не велик, как у нее, и никто так не умеет им пользоваться.

Русское высшее общество, как известно, преимущественно жило французскою литературою и французским языком. Но русская литература сторонилась с XIX века от Франции, по крайней мере в лучших своих представителях, и старалась давать образцы из английской и немецкой литературы. Ни Шатобриан, ни Гюго, ни Бальзак, ни даже Жорж Занд не пользовались у нас такою популярностью, как Шекспир, Байрон, Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер, Гейне, Диккенс и Теккерей. Поль де Кока, Дюма и Сю у нас знали больше, чем Бальзака. Только в драматургии господствовали французы, и репертуар наводнился переделками, в которых французская жизнь выдавалась за русскую. Влияние театра сказывалось на всем обществе, но и тут французское мнение было только вредно и для нравов, и для развития родной драматургии. Русская жизнь должна сложиться не по французскому образцу и складывает-

ся, действительно, по своему, в новом русском интеллигентном обществе, а в деле добрачного обращения молодых людей и девушек скорее приближается к Англии и Америке...

IV

Романтическая любовь в нашей литературе начала появляться со времен Жуковского и Пушкина; Марлинский внес ее в свои романы, которые в этом отношении имели хорошее влияние. Но из этого, конечно, не следует, что в жизни не было до этого совсем романтической любви. Как я уже сказал, присутствие ее можно найти в великорусских и особенно малорусских песнях, деревенские посиделки сближали молодежь обоих полов и совсем не отличались в старину такою распущенностью нравов, как в новейшее время. Купечество, сохраняя старину, народные обычаи, не было чуждо и романтической любви, как можно судить по некоторым комедиям Островского. Но дворянство, конечно, в этом отношении стояло впереди, и как наиболее образованное сословие, и как сословие преимущественно деревенское. Жизнь по деревням вносила много общности между молодежью обоих полов, и браки по влечению были явлением весьма частым. В деревне и выросла русская романтическая любовь. И русская девушка, настоящая русская девушка, с ее славянской красотою, добродушием, веселостью, непринужденностью обращения, с открытым и искренним сердцем, тоже выросла в деревне. И Татьяна Пушкина, и Лиза Тургенева, и Наташа Толстого – все это продукт деревенской жизни, сохранявшей много прекрасных патриархальных черт, видоизменившихся, смягченных временем и обстоятельствами, но черт, которые связаны преемственно с допетровскою стариною, со старинным, скромным, русским домашним бытом. Даже Москва играла у нас более роль деревни, чем города. Настоящим городом был только Петербург…

Петербург и реформировал, и приказывал, и бунтовал, и пускал в обращение западные идеи и нравы. Со времени железных дорог его влияние стало могущественным. Петербург

начал в шестидесятых годах и клеветы на историю русских женщин, и поднял так называемый женский вопрос. Он провозгласил, что русская женщина – раба, что она принижена, она кукла, она должна сознать свои права. О семье, о женщине как матери, как хозяйке говорилось с презрением и негодованием. Такие женщины назывались просто «самками» и «кухарками», для скромных девушек, не мечтавших об эмансипации, придумано название «кисейных барышень». Какая-то госпожа в Казани стала читать публично, на общественном литературном вечере, «Египетские ночи»:

Клянусь... о, матерь наслаждений!
Тебе неслыханно служу:
На ложе страстных искушений
Простой наемницей схожу!
Клянусь, до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю!

Согласитесь, что это было чересчур. Вейнберг в «Веке»[2] посмеялся над этой доморощенной Клеопатрой. Начался протест. Литераторы точно взбесились и полезли подписывать свои имена. Явилась особая рубрика «Безобразный поступок “Века”». Журналистика доказывала необходимость восстать женщине! Появившиеся историки русской и всеобщей женщины говорили: «На Западе женщины борются за свои права. Но у нас, где женщина необразованна, мужчина должен вести эту пропаганду». Или: «Жорж-зандовская идеализация любви и женщины должна замениться идеализацией более здравой и реальной, выражением которой служит роман “Что делать?”» (Шашков. История русской женщины. Стр. 284)[3]. Появилась необыкновенная путаница в понятиях и нравах. Начались фиктивные браки, девушки побежали от родителей, жены от мужей, мужья от жен... для того, чтобы «воспитывать девушек

и жен наших». В этом движении было много горячности, искренности и даже самоотвержения во имя идеала, но и достаточно простой «клубники», соблазнительной легкости пользоваться на ее счет. Сколько тут было драм и слез, сколько разочарований! Сколько порядочных девушек и женщин очутились в конце концов в домах терпимости! Молодые люди высших учебных заведений прямо обращались к девушкам приблизительно с такою речью: «Вы учитесь, и мы учимся. Вы поэтому должны нас беречь от заразы... и жить с нами». И они жили. Для этого времени еще не настала история, но когда она настанет, ее нельзя будет читать без негодования и слез, а иногда и без удивления перед самопожертвованием женщины. Я не принадлежу к числу тех, которые ничего не имеют в своей душе к этому времени, кроме чувства горечи и вражды. Я молодым пережил это время и чувствовал его искренность. Это была какая-то бессознательная буря, которая смешала и перепутала чистое с грязным, благородное с низким, искреннее с лицемерным. Буря эта захватывала всех и так или иначе оставляла на всех свои следы. Были и спасенные, но все-таки помятые. Были и хорошие результаты, породившие, напр., серьезные стремления у некоторой части девушек учиться. Но оборотная сторона медали была так непривлекательна, а число погибших жертв так велико, что все это не стоило маленьких результатов, которые, быть может, пришли бы сами собою и в более чистом виде...

V

Обиднее всего то, что женщины и девушки бросились в эту бурю ради каких-то принципов, сломя голову, сокращая расстояние между собою и мужчинами и отдаваясь им без всякого романтизма и ухаживания. Известная фраза Елены из «Накануне» Тургенева «Так возьми ж меня!» сделалась ходячею. Тургенев был мастер на словечки, и в таком виде, «возьми меня» или «возьми меня всю», – фраза эта в женских устах сокращала любовные объяснения и устраняла недоразумения

у робких мужчин. Роман «Что делать?» внес в отношения полов свои частности и нарисовал фантастические алюминиевые дворцы, в которых танцующие пары удалялись в отдельные кабинеты. «Новая Америка» Диксона познакомила читателей с брожением в Америке, которое старалось устроить жизнь на новый лад, причем отношения полов между собою играли первостепенную роль. Диксон говорил, что американки рожают или не рожают по желанию, и видел в этом чрезвычайно вредный симптом для будущности Соединенных Штатов. Право наслаждения без обязанностей и без детей – вот та проповедь, которая показалась увлекательной для женщин, ибо осуществление этого идеала, то есть неимения детей, приравнивало женщину к мужчине, даже ставило ее выше мужчины, то есть свободнее его, ибо мужчина все-таки не мог сбросить с себя бремени работы для поддержания себя и своей половины, а половина могла только любить, любить и изменять. Женщине прежде говорили: «Если муж изменяет, то он не приносит жене чужих детей; если же изменяет жена, то вместе с нарушением супружеского долга она еще приносит мужу чужих детей». Но если женщина устроилась так, что может не рожать, то, стало быть, и она, изменяя мужу, не навесит уже материального ущерба. Они, таким образом, равны. Отсюда уже недалеко до дальнейшего шага, когда брак можно совсем побоку, и начнется настоящая вражда, последняя вражда за существование между мужчиной и женщиной – и они не съедят друг друга. Поэтому когда Толстой говорит, что мир может прекратиться от воздержания и целомудрия, то это не особенно страшно: он прекратится мирно и тихо. Ведь и священные книги говорят о конце мира. Следовательно, он прекратиться должен когда-нибудь. Но прекратиться во вражде, в борьбе за существование – это нечто вроде пришествия Антихриста...

Но Немезида не дремлет и жестоко наказывает за нарушение Божеских законов. Мне кажется, что в «Анне Карениной» такой же смысл, как и в последнем произведении Толстого. Помните эпиграф знаменитого романа: «Мне отмщение, и Аз воздам»? За что она погибла? За то, что любила? Но разве это

справедливо? Погибла жертвой общественного «предрассудка», жертвой упрямого мужа, который не хотел дать развода? Но это мелко. Она погибла за другую, более тяжкую вину...

Помните сцену ее с Долли, в деревне Вронского, когда она говорит, что больше у нее детей не будет, и намекает на услужливость доктора; удивление и любопытство Долли и замечание Толстого: «Она чувствовала, что это было слишком простое решение слишком сложного вопроса». Именно слишком простое. Анна сказала «У меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа». Это почти то же самое, что говорили Диксону американки, не желавшие рожать («Новая Америка». СПб. 1867, стр. 355). «Первая обязанность женщины – казаться прекрасной в глазах мужчин, так чтоб привлечь их к себе. Никогда не надо позволять, чтобы что-нибудь становилось между мужем и женой», т.е. ни даже дети. И Анне этого надо было. Она сгорала от любви и желала, чтоб Вронский был постоянно около нее. Она говорит Долли: «Чем же я поддержу его любовь? Вот этим? И она вытянула белые руки перед животом». Да, только «этим» она могла поддержать его любовь и привязать его до конца дней своих. Страстная любовь не может быть вечна; в супружеской любви играют огромную роль дружество, взаимные симпатии, дети и пожертвование личным счастьем для них. Будь у Анны еще дети, не соблазнись она этой прелестью вечного наслаждения, без помехи беременности и детей, не было бы этой вражды, в которую переходила любовь, и не было бы трагической смерти. Последнее произведение Толстого служит как бы дополнением к «Анне Карениной», развитием разговора Анны с Долли. За нарушение Божеских законов – наказание...

Как бы то ни было, и в Америке это противоестественное движение привело к крайнему расстройству нервной системы женщины, к болезненности и к учению об умеренности, гигиене в супружеской жизни, гигиене рождения, и даже к изучению тех условий жизни и зачатия, при которых могут рождаться гениальные люди. Об этом я поговорю особо когда-нибудь, а теперь пора кончать.

Мир спасется только тою женщиною, которая будет исполнять Божеские законы, а не тою, которая станет презирать их и заботиться исключительно о самой себе...

У Спенсера в его «Основаниях социологии» (§ 340) есть строки, которые следовало бы написать золотыми буквами в каждой женской школе: «Если бы женщины понимали все, что заключается в домашней сфере, никогда не потребовали бы они для себя никакой другой сферы деятельности. Если бы они могли видеть все, что требуется для правильного воспитания детей, – хотя до полного разумения этого не дошел еще ни один мужчина, а тем более ни одна женщина, – они никогда не стали бы искать для себя более высокой деятельности».

В этом глубочайшая правда. Что бы женщина ни выдумала, что бы она ни произвела в сфере умственного и артистического труда, все-таки лучше детей она ничего не выдумает. Эти дети – Сократ, Платон, Эсхил, Шекспир, Байрон, Гете, Бетховен, Пушкин, Гоголь, Толстой и другие светочи человечества. Эти дети – добро, поэзия, творчество в мире искусства и науки, все то, что делает жизнь сладкою и приятною и что дает надежды на лучшее и совершеннейшее будущее. Эти дети – Богочеловек и его пречистая Матерь, которой молятся и поклоняются наравне с Сыном...

А чтоб дети рождались даровитые, способные на труд, талантливые, с зачатками добра и правды, и родители должны быть добрыми, правдивыми и чистыми. Великие люди не рождались в домах разврата, от распутных отцов и матерей.

РАЗДЕЛ IX

ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Судьбы русских литераторов

(Портретная галерея русских деятелей. Издание А. Мюнстера. Том второй. Сто биографий. СПб. 1869.)

Если кто, полюбовавшись в превосходном издании г. Мюнстера внешностью вереницы русских литераторов, следующей за вереницею гражданских и военных деятелей, заключенных в первом томе, не ограничится тем и захочет заглянуть в их внутренний быт, в их судьбы, того на первый раз могут удовлетворить биографические очерки «Галереи» всех этих деятелей и писателей. Там читатель найдет, конечно, небольшие данные, выраженные иногда лаконически, но и в своем лаконизме – красноречивые. Прежде всего, каждого поразит огромное различие судьбы русских деятелей первого тома и русских деятелей второго тома; над первым томом распростирается рог изобилия, из которого вылетают аренды, имения,

чины, миллионы, сначала в червонцах, потом в депозитках; для обитателей второго тома – совершенно иная перспектива: борьба с нуждою, с бедностью, даже с нищенством, борьба с предрассудками, невежеством; есть иногда борьба и для обитателей первого тома, борьба, обставленная шипами, но эти шипы не без роз. При перелистывании первого тома пред нашими глазами мелькают слова: «произведен», «награжден», «оставлен с сохранением содержания», «оказал неоценимые услуги отечеству»; во втором томе только и видим: «написал то-то», «возбудил неудовольствие того-то», «подвергся резким отзывам там-то», «переведен на жительство туда-то», «предался пагубному недугу», «скончался от злейшей чахотки» и изредка «получил табакерку с червонцами», и т.д. Сколько тут надломленных жизней, разбитых надежд, подорванных существований, и трудно после этого строго судить ошибки и увлечения этих «русских деятелей».

Русский писатель сначала, в лице Тредьяковского, служит шутом и подставляет свою спину ударам вельможи; он ползает, заискивает, высматривает себе меценатов, сочиняет торжественные оды и надписи к фейерверкам и иллюминациям. Знаменитый «меценат» И. И. Шувалов забавляется «травлей», которую он у себя устраивает между Ломоносовым и Сумароковым. Претензии Сумарокова на звание «русского Вольтера» смешны, но сколько презренных и ничтожных было между теми, которые поднимали его на смех! Письмо Ломоносова к Шувалову, в котором он говорит, что не желает быть дураком не только у его превосходительства, но далее и у Господа Бога, – решительный подвиг в то время со стороны писателя; но то была только вспышка, и Ломоносов целую жизнь бился из-за куска хлеба, выпрашивал милостей, прерывал свои серьезные работы сочинением стихов на разные случаи и умер, предаваясь иногда запою. Сумароков тоже спился и, состоя в высоком чине, ходил в халате с генеральскою лентою через плечо в кабак через улицу. Толпа фаворитов, бездарных и ничтожных, пользуется всеми благами и высоко поднимает свою голову перед представителями русской мысли, науки

и искусства; русский писатель боязливо просовывает между ними свою голову, изображая на лице своем просительную, уничиженную мину. Публика мало читает и покупает его творения; писатель зависит исключительно от своей службы и того поощрения, которое может дать ему правительство; но последнее, даже в царствование Екатерины, уделяет ему лишь ничтожные крохи. Правда, Державин получает табакерку с червонцами за свои хвалебные гимны, исполненные таланта и лести, но несравненно большее количество червонцев идет за границу, в руки «господина Вольтера» и других, берущих на себя обязанность петь торжественные хвалы царице на французском языке; еще большие суммы этих червонцев идут разным Зоричам, о заслугах которых история никогда ничего не сообщит. Вообще на русскую литературу смотрят как на роскошь, пригодную для декорации на разные празднества, на русского писателя – с обидною снисходительностью. Новиков явился было настоящим литератором и журналистом, поставившим свою деятельность прямо в зависимость от публики; но эта широкая деятельность подрезана в самом разгаре своем, и несчастный представитель русской мысли, первый в европейском смысле издатель, приговорен к смерти; хорошо еще, что «по милосердию императрицы осужден на 15-летнее заключение в том самом каземате Шлиссельбургской крепости, где содержался и трагически погиб принц Иван Антонович Брауншвейг-Беверн-Люнебургский». Две политические жертвы не одинаково важные. С Новикова начинается ряд писателей, которые подвергаются более или менее значительному неодобрению и карам за ту независимость мысли, которую они выражают в произведениях своих, печатных и рукописных. Список их длинен сравнительно с тем незначительным временем, которое прожила русская литература. Исключая Карамзина, Крылова и Жуковского не было ни одного замечательного писателя, который бы не вынес на плечах своих бремени неодобрения. Пушкин попадает в Бессарабию, потом в Одессу, потом в псковское имение своей матери. В делах архива псковского губернского правления хранится сле-

дующее отношение от 1824 г. псковского генерал-губернатора маркиза Паулуччи к губернатору той же губернии Адеркасу: «Коллежский секретарь Александр Пушкин, к несчастию, не только не переменил поведения и дурных правил, которые ознаменовали первые шаги общественной его жизни, но даже *распространяет в письмах своих* предосудительные и вредные мнения. Посему, по Высочайшему повелению, он исключен из списка чиновников коллегии иностранных дел, и, дабы отвратить, по возможности, от молодого человека всю строгость законов, которой бы он, *оставшись в совершенной независимости,* мог подвергнуться при ненадежности своего поведения, Государь Император изъявил свою волю, дабы он немедленно был отправлен на жительство Псковской губернии в поместье родителей своих, где будет состоять под наблюдением местного начальства».

Из этого документа видно, что «предосудительные и вредные мнения» (в этом случае – «легкомысленные суждения о религии») преследовались даже в письмах к приятелям. О Пушкине у нас в последнее время стали появляться мнения, силящиеся повалить его окончательно не только как человека, но и как писателя. Нам кажется, что следовало бы принимать больше к сведению обстоятельства, в которые он был поставлен; в жизни его едва ли можно насчитать много дней, когда бы он не находился под бдительной опекой; еще молодым человеком не оставляли его «в совершенной независимости», наблюдали за его «поведением», распечатывали и читали его письма, упрекали в неблагодарности, то ласкали его, то на него хмурились, то угрожали ему. Едва ли и сильный характер выдержал бы не покачнувшись при тех условиях, в которых жил он. Между тем, если б захотел он, то выход из такого положения не представил бы для него значительных препятствий: он так же спокойно мог бы петь, как пел Жуковский, этот счастливейший из всех русских поэтов, на жизненном небе которого не прошло ни единого мрачного облачка, если не считать за таковое насмешку над ним князя Шаховского, представившего его в комедии своей «Урок кокеткам,

или Липецкие воды» в лице поэта Фиялкина; но и тут, как говорит сам Жуковский: «Друзья за меня заступились. Дашков написал жестокое письмо к новому Аристофану; Блудов написал презабавную сатиру, а Вяземскому сделался понос эпиграммами... Город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури». Жуковский был ярким представителем искусства для искусства, между тем как Пушкин пролагал путь направлению реальному и отзывался на стремления своих современников. Гармонию стиха и поэтические образы Жуковский ставил выше всего, поэтому неудивительно, что он писал стихотворный «Отчет о Луне», находил, что «настоящее призвание Гоголя – монашество», высказывая самые странные мысли о европейских политических событиях, относился «с большой похвалой» к сборнику плохих стихотворений Некрасова «Мечты и звуки» и до того был поражен и восхищен книжкою звучных стихотворений Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Пушкин на вопрос – какого он мнения о новом поэте? – отвечал, что «у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей».

Плеяда поэтов и писателей, вышедших на поприще деятельности вместе с Пушкиным, была крайне несчастна и погибла в ранней юности. Даровитый Батюшков сошел с ума в цвете таланта и силы; причины этого болезненного состояния поэта недостаточно исследованы, но письма его, напечатанные года два тому назад в «Русском архиве», свидетельствуют, что он близко принимал к сердцу современные ему события и реакция последних годов царствования Александра I произвела на него весьма тяжелое впечатление. Невозможно отрицать, чтобы политические события не подействовали и на Грибоедова; мы знаем, что он сидел в крепости и против воли поехал посланником в Персию, которая наскучила ему еще в то время, когда он был секретарем при тамошней миссии; еще в 1820 г. он писал в Петербург: «Чем просвещеннее человек, тем полезнее может он быть своему отечеству. И именно для

приобретения средств к просвещению испрашиваю я увольнения или отзыва моего из этого грустного царства, где вместо того, чтобы научиться чему-нибудь, забываешь все, что знал до сих пор». «Персия – моя могила», – говорил он друзьям, уезжая в 1828 г. из Петербурга. Бессмертная комедия его могла явиться только четыре года спустя после смерти ее автора. Кто не знает, как невыносимо для писателя, когда готовое произведение, долженствующее произвести на общество большое впечатление, должно оставаться в его портфеле или ходить в потаенных списках! Страдает его самолюбие, его достоинство, подрезываются в корне лучшие начинания. Мы не удивляемся, что он принялся за романтическую трагедию «Грузинская ночь»; в душе его горело пламя, в голове рождались мысли, он чувствовал потребность высказаться, потребность к творчеству, а между тем высказываться нельзя было и наполовину; эта борьба между внутренним жаром поэта-сатирика и между окружающим его холодом могла разрешиться или подавлением в себе всех образов, населивших воображение писателя, или произведением чуждым жизни и чуждым дарованию писателя. «Грузинская ночь» – вещь вымученная и потому фальшивая и ничтожная. Она вовсе не показывает, как думают некоторые критики, что Грибоедов весь высказался в «Горе от ума» и что нового произведения в таком же роде создать был не в силах; нет, силы у него были, но подавили их обстоятельства. Он сделался жертвою своего времени, как и многие другие, менее даровитые, но так же остановленные или в начале пути, или на полдороге. Полевому запрещают «Московский телеграф» за невинную рецензию на драму Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла»; Надеждину запрещают «Телескоп» за статьи Чаадаева; редактора высылают в Усть-Сысольск, а автор принужден затворником прожить в Москве целую жизнь; Киреевскому запрещают «Европейца», и даровитый человек погружается в мистицизм, из которого так и не нашел выхода. «Киреевский, добрый и скромный Киреевский, – писал Пушкин Жуковскому, – представлен правительству сорванцом и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается и

что клеветники – или по крайней мере клевета – устыдятся и будут изобличены». Вспомните, что стоило Гоголю и друзьям его провести «Ревизора» и «Мертвые души», и считайте последние годы его деятельности также продуктом болезненного развития. Лермонтов страдает за стихотворение «На смерть Пушкина», которое в наши более счастливые дни помещается в хрестоматиях для гимназистов. Вырастает новое племя писателей, но и оно не много счастливее. За что иногда подвергались ответственности писатели, видно из примера Тургенева, который провинился тем, что написал в 1852 году некролог Гоголя, назвав творца «Мертвых душ» – великим писателем. Попечитель петербургского учебного округа счел это выражение величайшею дерзостью, ибо, по мнению попечителя, громко высказанному, Гоголь был «лакейский писатель».

Таковы факты из истории русской литературы, которые мелькают пред глазами при перелистывании второго тома «Галереи»; этот том можно принять за «Ад» Данте: на каждом шагу встречаются души, изнывающие в муках.

Обратите внимание на безвременную смерть писателей, на тот недолгий срок, который живут они. Пушкин умирает 37 лет, Гоголь – 44, Лермонтов – 26, Грибоедов – 34, Веневитинов – 22, Кольцов – 34, Белинский – 38, Добролюбов – 26, Дружинин – 39. Все они начинают очень рано свою деятельность; из писателей живущих особенно рано развился Некрасов: лет 17-ти он издал книжечку своих стихотворений под заглавием «Мечты и звуки», 19-ти напечатал повесть «Опытная женщина», 25-ти лет сделался издателем-редактором «Современника», опасным соперником Краевского, издателя-редактора «Отечественных записок».

Возвращаясь специально к «Портретной галерее», мы должны сказать, что в ней встречаются ошибки, напр., весьма известное стихотворение Мея из «Песни песней» приписано Щербине, и, кроме того, попадаются необъяснимые странности. К числу последних мы относим резкие противоречия в биографиях Белинского и г. Краевского. Не говоря о том, что биограф признает за г. Краевским «очень великие заслуги», ве-

роятно, на том основании, что в юных летах этот журналист писал о «некоторых вопросах философии и истории литературы» – сочинения, оставшиеся, к сожалению, до сей поры неизвестными, – он, биограф, утверждает, что «враги А. А. (т.е. г. Краевского) распустили клевету об эксплуатировании им Белинского, тогда как они (враги?) оставались всегда в *самых близких и приязненных отношениях* между собою, и если Белинский в последние два года своей жизни оставил журнал Краевского, то потому, что он думал быть хозяином в новом издании, где поступили с ним совершенно бесцеремонно, найдя неудобною критическую статью его о повести Григоровича, помещенной в декабрьской книжке “Отеч. записок 1846 года”». Если «совершенная бесцеремонность» заключалась только в одном этом, то большой беды мы еще не видим. «Чахотка, – продолжает биограф, – развилась в Белинском еще до университета, и если он увеличил ее журнальной работой, то потому, что *усидчивый труд был в его натуре* и он предавался ему со всем жаром увлечения, не умея ничего делать вполовину, рассчитывать и соразмерять свои силы. От этой же *нерасчетливости* (в труде или в плате за него?) он никогда не жил в довольстве и постоянно нуждался, что также заставляло его прибегать к усиленным занятиям.» Далее: «С Краевским Белинский *расстался самым приятельским образом*».

Итак, Белинский «постоянно нуждался», потому что работал с увлечением, с жаром, усидчиво, нерасчетливо. Одно сопоставление этих слов уже свидетельствует о крайней натяжке; но в биографии Белинского, помещенной в той же «Портретной галерее», находим следующие строки: «Сотрудничество Белинского в “Отеч. записках” продолжалось до 1846 г. (с 1840 г.) – и оно-то, главным образом, сокрушило физические силы гениального критика, вынуждаемого *за весьма умеренную плату* трудиться ежемесячно над разбором и оценкою всякой всячины, иногда *по осьми часов сряду не класть пера...* Весною 1846 г. Белинский, истомленный работою, решился отдохнуть в Москве, оттуда летом отправился с М. С. Щепкиным в южные губернии и без особенной пользы

своему здоровью осенью 1846 г. возвратился в Петербург, где он, *несмотря на совершенное отсутствие средств к существованию, уже не хотел иметь никакого дела с редакцией* “Отечественных записок”».

С одной стороны – «самые близкие отношения», «приятельское расставанье», с другой – нежелание иметь с г. Краевским «никакого дела», труд «за весьма умеренную плату», «труд, сокрушивший физические силы Белинского». Мы вовсе не желаем брать на себя решения вопроса об отношениях г. Краевского к Белинскому, ибо вопрос этот не имеет существенной важности: был ли г. Краевский в приятельских отношениях к Белинскому, как утверждает биограф г. Краевского, или не был, как говорит биограф Белинского в той же самой «Портретной галерее», – в истории русской литературы во всяком случае имя Белинского займет одно из первых мест, наряду с именами Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Вопрос о том, хорошо ли или «весьма умеренно» платил г. Краевский Белинскому, – также существенного значения не имеет, но он не без интереса для истории вознаграждения за литературный труд, которое составляет также одно из важных условий независимости писателя.

Известно, что наши прежние писатели ничего не брали за свои труды, а когда плата начала входить в обычай, И. И. Дмитриев горько на это жаловался, находя, что служение музам должно быть бескорыстно и что плата унижает писателя; он не подозревал, что вознаграждение за литературный труд освобождает писателя, а с ним литературу и мысль, от посторонних влияний; пока не было платы – писательством могли заниматься или только люди богатые, или состоявшие на государственной службе или на службе у меценатов, т.е. люди, уже получившие плату и, следовательно, пишущие также не даром. Плата открыла поприще всем, и чем талант выше, тем более может он рассчитывать на независимое материальное положение. Это, однако, случается не прежде, чем литература разовьется надлежащим образом и конкуренция между издателями позволит писателю делать выбор. При существовании же

двух-трех журналов, разумеется, нельзя рассчитывать на правильную заработную плату, тем более что журнальные фирмы – не то же, что фирма фабричная; при выборе журнальной фирмы уважающий себя писатель принимает в соображение нравственные и политические ее достоинства, и выбор становится особенно затруднительным в том случае, если придется выбирать из дурного менее дурное. При таком положении вещей не рабочие регулируют плату, а предприниматели, и очень естественно, что от последних зависит держать писателя в черном теле, впроголодь; если б писатель стал жаловаться на такое невыгодное для него положение, то, во-первых, жалоба ни к чему бы его не привела, во-вторых, предприниматель легко и безнаказанно мог бы упрекнуть писателя в нерасчетливости и даже мотовстве. И он был бы прав со своей точки зрения, ибо можно жить на 500 р., на 1000 р., даже на 100 р.; если получаете 100 р. – соразмеряйте с этим вознаграждением свою жизнь, но соразмерять с ним свой труд – будет возможно вам, при отсутствии конкуренции, лишь в том случае, если позволит вам это предприниматель. Прибавьте к этому, что репутация, приобретенная писателем при участии в известной журнальной фирме, которой он придал блеск и значение, нравственно привязывает его к ней и заставляет держаться ее во что бы то ни стало.

Биограф Белинского говорит, что г. Краевский платил своему критику 3000 р. асс. жалованья в 1840 году; за это жалованье он должен был писать известное число листов в месяц; если не изменяет нам память, газета «Голос», издаваемая г. Краевским, прошлым летом говорила, что Белинский получал в последние годы своего сотрудничества в «Отечественных записках» до 5000 или 6000 р. асс. в год. Мы не можем сказать – хорошая ли это плата или весьма умеренная; но в «Портретной галерее» мы находим следующий факт: «С 1840 года Губер (переводчик «Фауста», стихотворец, весьма посредственный критик), примирившийся с Сенковским, взял на себя постоянное сотрудничество в «Библиотеке для чтения» по отделу критики, с жалованьем по 6 т. рублей асс. в год, кроме гонорара в 200 р. асс. за каждый печатный лист, – и начал светскую

жизнь, беспрерывно посещал аристократические салоны или маскарады, особенно ему нравившиеся, а в 1842 году совершенно оставил службу и на лето должен был *для поправления расстроенного здоровья* уехать в орловскую деревню одного из своих приятелей».

Таким образом, в одном и том же 1840 году два писателя, малоизвестный Губер и весьма известный Белинский, поступают в качестве критиков в два журнала, причем Губер получает 6000 р. жалованья и 200 р. полистной платы, а Белинский – 3000 р. жалованья вместо всякой полистной платы. Такая большая плата дала возможность Губеру посещать салоны и маскарады, и он «уничтожил свое здоровье у Дюссо и в маскарадах», как говорит далее биограф его; незначительное жалованье Белинского не давало ему средств посещать Дюссо и маскарады, и он, конечно, прилежнее работал вследствие этого. Правда, и он расстроил здоровье, но трудом, а не распущенною жизнью, как Губер. Впрочем, умерли они почти в одно время: Белинский 28 мая 1848 г., а Губер – 10-го апреля 1847 г.; не можем, однако, не заметить, что на стороне умеренной жизни и неумеренного труда все-таки преимущество на один год и 48 дней. В числе условий при назначении заработной платы, о чем говорено нами выше, мы забыли упомянуть, что предприниматели не дают баловаться рабочим и лучшим средством для удержания их в пределах «трезвого поведения» считают именно умеренную плату. Кто знает: быть может, они и не ошибаются.

Другую странность встретили мы в биографии г. Каткова: «Если до него (г. Каткова) мнения прессы подчинялись мнениям толпы или административным взглядам, то теперь, наоборот, голос прессы управляет часто мнением публики». Произнося эту оценку, биограф погрешает против фактов известных всем и каждому. Значение прессы началось у нас не со вчерашнего дня, не со времен г. Каткова, и в лучших своих представителях она никогда не подчинялась ни взглядам толпы, ни взглядам административным; она постоянно шла впереди общества, даже в те отдаленные времена, когда Но-

виков явился на журнальном поприще; не говоря о влиянии на общество первоклассных наших писателей и принимая значение слова «пресса» в тесном смысле журналистики, мы увидим, что они руководили обществом по мере сил и возможности, даже в самые тяжкие времена господства цензуры, когда администрация налагала свою печать на всякую мысль. Разве Белинский, напр., подчинялся взглядам толпы или администрации и разве его влияние на общество не было во сто крат сильнее и благотворнее, чем влияние г. Каткова? Возьмем даже беллетристику сороковых годов, разве она не подготовила отчасти общество к той реформе, которая совершилась 19-го февраля 1861 года? Мы могли бы указать на других деятелей, но считаем достаточным и приведенных примеров. Когда нельзя было ничего «проводить», журналистика в лице лучших своих представителей предпочитала молчание подчинению чьим бы то ни было взглядам. Слова биографа о г. Каткове справедливы только по отношению к «Северной пчеле» и некоторым другим органам, имевшим влияние на общество, но известного рода; действительно, г. Катков оставил их далеко за собою, и теперь, кажется, наступило время оценить справедливо значение г. Каткова. Значение г. Каткова заключается именно в том, что он постоянно подчинялся взглядам толпы или администрации и если шел иногда впереди той или другой, то почти исключительно в том смысле, что развивал их же взгляды... и развивал иногда до абсурда. Такое значение приобрел он преимущественно с 1863 г. Польское восстание тревожно настроило русское общество и администрацию. «Московские ведомости» старались развить эту тревогу и подозрительность до высшей степени, до того предела, когда люди перестают узнавать друг друга и друзья начинают видеть в друзьях врагов, держащих камень за пазухой. Едва ли осталось в России много губерний, патриотизм которых не был бы заподозрен, едва ли много осталось государственных людей, которые намеком или прямо не были обвинены в измене. «Измена, сепаратизм и нигилизм» – эти три слова были для г. Каткова тем талисманом, который дал ему подписчиков

и влияние. Многие и до сих пор наивно верят, что без г. Каткова Россия пропала бы, как будто наша история представляет мало примеров, когда отечеству нашему грозили неизмеримо большие опасности, чем в 1863 году, и оно выходило из борьбы не только целым, но и обновленным. Роль публичного обвинителя так понравилась г. Каткову, что он не выходил из нее несколько лет сряду и – надо отдать ему справедливость – он исполнил эту роль так блистательно, что даже сама администрация поверила в него, как в общественную силу, и поставила его газету в исключительное положение, наравне с «Русским инвалидом», то есть освободила ее от цензуры. Ослепление толпы было так велико, что неудача вмешательства Франции в наши внутренние дела, в польское восстание, приписывалась более г. Каткову, чем твердой политике правительства, высокоталантливым истолкователем которой явился князь Горчаков. И этому нечего удивляться, хотя вспомнить об этом смешно: г. Катков населил всю Россию громадно-ужасными призраками, которые протягивали костлявые руки за нашим нравственным и материальным достоянием со всех сторон – с севера, с запада, с востока и юга. С севера – петербургский нигилизм и его представитель, как намекал г. Катков вовсе не двусмысленно, бывший министр народного просвещения г. Головнин; с востока – Владимирская губерния, приготовлявшая будто бы полушубки для повстанцев, и другие чудища; с юга – малороссийский сепаратизм, блистательным доказательством которого г. Катков выставлял намерение издать Евангелие на малорусском наречии и учить детей грамоте на природном их говоре; с запада.... но запад действительно покрывали тучи, и эта реальная опасность придала веру в призраки, созданные московскими журналистом; но тучи с запада разгонял не он; их видели все – и простые русские люди, и люди государственные, без г. Каткова, и все стремились к тому, чтоб наступил снова мир, чтоб проглянуло солнце. Одну из самых необходимых и наиболее плодотворных мер – освобождения крестьян с землею в Польше – г. Катков проглядел в погоне за пугалами, и ее проповедали другие.

Раздув опасность до размеров колоссальных и не разогнав западных туч, он в сторонах северных, восточных и южных действительно спугнул многих невинных пташек, которые клевали себе спокойно корм и никогда не воображали, что они – дикие звери, чудовища, рожденные природою для ниспровержения России. Пташек перевезли в края более отдаленные и менее плодородные, где, быть может, они действительно ожесточились и заострили свои бедные клювы о каменистую почву. Это – первая заслуга г. Каткова; но была и другая: рассеивая подозрения, представляя ту Россию, которая не разделяла его мнений, скопищем негодяев и изменников, требуя реакции, он влагал гнев даже и в те польские, полупольские и остзейские души, которые настроены были равнодушно и даже благодушно и смотрели на всякое восстание как на неразумную и гибельную попытку. Бессильные отвечать на дерзкий вызов вызовом, бессильные доказать свою невинность, слыша, как попиралось самое имя поляка или остзейца, они ожесточались понемногу и отдалялись от нас. Вот это, действительно, заслуга г. Каткова: без него мы могли бы иметь сотни врагов, а благодаря ему мы встречали их тысячами. Своею неумеренностью, возбуждением диких страстей и непримиримой национальной и религиозной ненависти он в то же время закладывал у нас весьма твердую почву для реакции и деморализации; он несоразмерно возвысил цену на тот ходульный и бессодержательный патриотизм, одним достоинством которого, даже его сущности, явилось искусство подозревать, величать себя «русским деятелем» и ничего не делать прочного и путного. Истинно просвещенных людей, скромных, не кричащих патриотов г. Катков удалил апофеозом насилия и национальной вражды от деятельного и непосредственного участия в деле обрусения. Он вообразил себя «собирателем земли русской», когда уж она собрана и укреплена, и заставил в себя уверовать. Даже министры писали ему письма, испрашивали его советов, и один предлагал издать его творения на казенный счет. Слава была куплена дешево, благодаря молчанию

русской печати, которая поставлена была в невозможность дать надлежащий отпор московскому журналисту.

Скорбное событие 4-го апреля дало г. Каткову новую пищу для проповеди ненависти и подозрений. «Высшие правительственные сферы» были объявлены им в прозрачных намеках заговорщиками и руководителями. Он указывал из Москвы, где надо искать корень зла, и направлял следователей, как верховный публичный обвинитель и безапелляционный прокурор. Он давал понять, что ему все известно; его, к сожалению, не подвергли допросу. Когда явился официальный отчет следствия, произведенного графом Муравьевым, и когда оказалось из него, что «высшие правительственные сферы» не замешаны в дело, г. Катков сделал нагоняй своему любимцу, объявив, что он не туда направился, что он сделал ложный шаг. Это был тот момент, когда надлежало поручить пересмотр следствия руководителю «Москов. ведомостей». Момент был важный, ибо он стоял рубежом между сильным влиянием и слабым. Следствия г. Каткову не поручили – обвинения его стали терять свою силу, свой кредит в глазах читателей, хотя он увенчан был в это время еще свежим, неувядшим венком мученика трех предостережений. Заклятые его поклонники были смущены тем обстоятельством, что он вдруг перестал придавать нигилизму прежнее значение, нигилистов называл ничтожными, безвредными по своему ничтожеству мальчишками и брал их под свою защиту от слишком неразборчивых охотников на эту дичь, которых прежде он сам одобрял. «Что же это такое, – подумали друзья, – не сам ли уж теперь изменяет?», – и, после весьма хорошего размышления, к которому самые заклятые друзья г. Каткова вообще прибегать не любили, как к работе головоломной и ненужной в их философии, друзья эти порешили, что он действительно изменяет и есть не что иное, как «переодетый нигилист» и «неодетый демагог». Несколько разумных статей г. Каткова по крестьянскому и другим вопросам, между прочим горячая и талантливая защита новых судов и печати от нападок обскурантов, то есть прежних заклятых друзей г. Каткова, и последние почти

окончательно убедились в своем предположении, что перед ними что-то переодетое. Но с другой стороны, они также ясно видели прежнюю струю, которая вдруг иногда разливалась в целый поток, бурно мчавшийся на твердые границы здравого смысла и цивилизации. В сущности, удивляться тут нечему: г. Катков следовал правилу: *divide et impera**, т.е. ссорь всех, поселяй повсюду вражду, – и будешь господствовать. А лучшее средство ссорить всех – это раздувать дурные инстинкты и в обществе, и в администрации и потом время от времени читать им наставления, чтобы спасти собственную репутацию и заслужить славу спасителя общества и государства. Такую политику можно изобрести только там, где слабы понятия о свободе печати; только в такой среде мог сто лет тому назад Ломоносов не «желать быть дураком у его превосходительства, ни даже и у Господа Бога» и в то же время биться из-за куска хлеба. Та же причина осуждает и современного литератора драпироваться Янусом и играть вместе в оппозицию и в угоду. Но таковы были судьбы русских литераторов: твердые принципы, глубокие убеждения, прямые пути представляли более или менее неодолимые препятствия, и карьера их определялась личным характером: с характером Новикова на журнальном поприще они были вредны самим себе; не имевшие характера Новикова осуждены были, как г. Катков, нанести вред целому обществу, возбудив в нем всех против каждого и каждого против всех.

Наша поэзия и беллетристика

I

Тему, которою я доселе занимался, я отложу на этот раз тем охотнее, что и вчерашний фельетон посвящен женщинам[1]. Не одни женщины на свете, а потому можно поговорить и о мужчинах, поэтах и беллетристах.

* Разделяй и властвуй (*лат.*).

В. П. Буренин[2] говорил о первой главе поэмы г. Мережковского «Вера». Я первой главы не читал, но прочел вторую и последнюю. И, странное дело, я не чувствовал не только ни малейшей охоты читать первую главу после второй, но и надобности в этом мне никакой не представлялось. Мне «Вера» показалась совсем определенной поэмой с началом и концом в одной второй главе, и я совсем не понимаю, зачем была написана первая глава и что такое он там проповедовал. Во второй главе стоит следующее. Сергей сидел над Курой, разумеется под чинаром, а Вера скакала с кадетом возле, и он видел, как кадет ей «руки жмет, целует, а она… она смеется, радости полна». Сергей взбешен, возревновал, сделал Вере сцену, а Вера пришла к нему вечером, просила прощения, а «он ножки маленькие грел, как птенчиков озябнувших, руками и поцелуями… Но мрак густел. “Пора”, – он встал, и с грустью молчаливой они простились… Он уснул счастливым». Поэт пропускает затем одну строфу, а потому неизвестно, что происходило между Сергеем и Верой до конца августа. Следующая строфа так и начинается.

Кончался август, с ласкою печальной
Глядело солнце…

Но из последующего мы можем догадываться, что происходило. Сначала страсть, потом охлаждение. Сергей целует Веру, но думает, что жениться совсем не для чего, «обуза тяжкая – законный брак», визг детей, нянюшки, запах от пеленок. Насчет любви его мнение просто: это – «каприз воображения», «порыв» и «невозможно чувству приказать». Банальнейшие изречения, находящиеся во всех «песенниках». Он начинает злиться, вымещать над Верой свою досаду, ему не нравятся уж ее «красные, опухшие глаза», ее улыбка кажется ему глупой, она ему надоела, и в нем – «скука, лень и отвращенье». Очевидно, человек насладился до пресыщенья, «утолил тщеславие», «бесцельное свершил он преступленье». Вера увидела все это и хотя продолжала его любить, но на-

писала ему, что она разлюбила, т.е. принесла себя в жертву возлюбленному. Он заплакал будто бы, взял тройку и уехал не простившись. И стал он жить в Питере:

Простая жизнь казалась пошлой долей,
Он гордую свободу предпочел.

Но, как и следовало ожидать от этого легкомысленного и пошлого юноши, он не знал, что делать с этой «свободой». По вечерам стал ему слышаться шорох женского платья, воображение заиграло, и он написал страстное послание к Вере. Мать ее отвечала ему, что Вера опасно больна в Крыму, что врачей «пугает грусть ее». Он летит в Крым. Находит умирающую. Она очень счастлива и говорит ему перед смертью, чтоб он себя ни в чем не винил, что его любовь дала ей все. Она умерла, похоронили ее, а он стал профессором, любимцем молодежи.

Обаяньем слова
Лишь потому в толпе царит Сергей,
Что сам был молод, сердцем близок ей,
Он чувствовал с улыбкой, гордой, смелой,
Что делал доброе, святое дело.

Вот это мне удивительно! Добро бы он просто делал свое дело, старался учиться и учить, но почему он чувствовал «с улыбкой, гордой, смелой, // Что делал доброе, святое дело»? Откуда эта у него самоуверенность? У него, который так пошло начал жизнь, который так подло поступил с любимой девушкой, которая отдалась ему вполне, а он, насытившись ею, бросил ее грубо, цинично, как дворовый набалованный девками лакей, и потом, оправившись и не находя около себя женщины, когда снова в нем плоть заговорила, стал о ней думать и поехал доедать ее остатки и хоронить ее? Не могу я этого понять не у Сергея, а у г. Мережковского, который с полным сочувствием относится к этому господину, к порывам его похоти и к его «святому делу»: «Мы одного

мучительно желаем, // Мы вместе плачем над родимым краем», – восклицает г. Мережковский этими стихами.

II

Да, позвольте, чего вы плачете над родимым краем, когда, в сущности, родимый край должен был бы плакать над вами? И как этому родимому краю не плакать над вами, когда вы, делая гнусности, находите им оправдания и когда вы, принимаясь за профессуру, «гордо и смело» воображаете сейчас, что делаете «святое дело». Чуть человек перестал гадости делать – и уж это означает, что он за «святое дело» принялся. Что он преподавал и как – никому неизвестно; но что бы и как бы он ни преподавал, – пускай он даже прекрасно преподавал, – он делал только дело, исполнял долг человека перед другими людьми, которые еще не знали того, что он знал. Мужик, который пашет, купец, который торгует, изобретатель, который проектирует машину, европейский ученый, который преподает в университете, пишет книги, не говорят: «Мы делаем святое дело». Не потому ли они не говорят этого, что убеждены, что делают самое простое, довлеющее всякому дело, сообразно своим способностям и образованию? Не потому ли у нас говорится «святое дело», что мы не умеем ничего делать и если займемся, наконец, делом, только тогда, когда оно нам кажется «святым»? Как скоро оно перестает нам казаться «святым» или как скоро встретим мы препятствия в проявлении этой мнимой «святости» – сейчас же и охладеваем и говорим: «Будем плакать над родимым краем». Родимый край работает в поте лица и на себя, и на нас, а мы только плачем, да и то такими слезами, которые высушиваются первым лучом даже петербургского солнца. Точь-в-точь как и в любви этого Сергея. Влюбился, овладел девушкой, потом «лень, скука, отвращение»; порыв прошел, святыня разбилась, не перед черепками же ее поклоняться? Взял тройку и уехал.

И, Боже мой, неужели такие жалкие характеры заслуживают песнопения и сочувственной оды? Неужели г. Мережковский не сознает всю непроходимую глупость своих

припевов, одобряющих молодого человека или меланхолично раздающихся над могилою девушки?

Она была любима и любила!

Может быть, я выражаюсь несколько жестко, говоря прямо: «Непроходимая глупость». Но я другого определения не могу прибрать к этим припевам, в которых именно не хватает ума. У г. Мережковского есть иногда стих, недурные сравнения, плавность рассказа, даже чувство внешней природы, но именно никакого ума нет. Не о г. Мережковском я говорю, что у него ума нет – этого я не знаю, а о поэме его, что в поэме его нет ума. Я даже не говорю: «Нет психологического анализа», а просто-таки нет ума. Правда, Гете сказал, что «поэт поет, как птица», но ведь Гете был очень умный человек, и умному человеку отчего и не петь, как птица. Он будет петь, как птица, т.е. свободно, от сердца, но не как глупая птица, а как человек умный, который имеет поэтический дар. Это необходимо иметь в виду всем поэтам, ибо без ума и без идей – даже самая гармоническая поэзия дело довольно бесполезное. Уменье, конечно, много значит, ибо даже между птицами одного вида бывает большая разница: есть соловьи в 10 руб. и есть соловьи в 1000 рублей. Но кроме уменья петь, кроме мелодии от соловья-человека требуются ум и идеи, чем он между прочим и отличается от певчей птицы. Г. же Мережковский, кажется, думает, что ума совсем не нужно, что ему Сергей приятен, а потому все, что он сделает, все то бесподобно.

Ах, какое заблуждение! Я не могу судить о степени таланта молодого стихотворца по этой одной вещи – ничего другого я не читал, – но я убежден, что этого таланта у него мало для того, чтоб какой-нибудь парадоксальный вздор, какую-нибудь фальшивую идею облечь в ослепляющий блеск стиха, в прелесть гармонии, остроумия и увлекательности в такой степени, чтоб читатель не заметил ни вздора, ни фальшивости идеи. Фальшь вся вылезает вперед, и дрянь остается дрянью, какими бы цветами г. Мережковский ее ни украшал.

Цветы эти быстро вянут, и вместо их аромата слышится трупный запах. Лирические воздыхания к «безвестным, далеким друзьям», которые вместе с поэтом «полны одним негодованьем, одной любовью и одним страданьем», – общие места, давно известные и рассчитанные на внимание и благоволение к себе тех, которые гоняются за фразою и ценят ее тем более, чем она мечтательнее и неопределеннее.

Вы скажете: да стоит ли говорить о какой-нибудь «Вере»? В мире, как и в литературе, все относительно, а в фельетоне, который занимается текущею журналистикою, каждая вещь еще относительнее. «Вера» – такая же повесть в стихах, каких множество в прозе. И отличие ее только в форме да в отступлениях, по примеру романтических поэм. Это в существе дела не поэма, а та же беллетристика, только в стихах, иногда не дурных, иногда тяжелых, насильственно склеенных, в которых нет и признака свободного вдохновения.

III

Я перечел значительное число томов наших новых беллетристов. Не буду называть их, не буду прикладывать к ним эстетических мерок, не буду определять степеней дарования, но выскажу только общее впечатление мое и укажу на недостатки, относящиеся, по моему мнению, более или менее ко всем новым писателям.

Что за герои и героини у наших писателей? Все это люди неизвестно откуда и зачем. Они называются христианскими именами и русскими фамилиями, они добры или злы, умны или глупы – глупых даже больше, – непременно любят добрых или злых, глупых или умных женщин, и затем конец. Ничего другого не выжмешь. Прочитал рассказ, повесть или роман и забыл. Начал новый, прочитал и опять забыл. Если что-нибудь остается, то разве какая-нибудь недурная сценка или какая-нибудь слишком вопиющая несообразность. Ничего нового не встретишь, все погудки на старый лад, то подражание Толстому, то Тургеневу, то Достоевскому, то Гончарову. Нового они

ровно ничего не выдумали, кроме тех кличек, которые дала жизнь: земец, судья, прокурор, адвокат, инженер, техник, студент, врач. Но это только клички и кличками остаются. В сущности, все эти люди делают одно и то же: влюбляются, разлюбляют, разводятся с женами, снова женятся и умирают.

Оно, конечно, совершенно справедливо, что люди любят, женятся, разводятся, развратничают, смиряются и умирают. В большей или меньшей степени все это делают и все в равной степени непременно родятся и умирают. Но все, кроме того, делают еще нечто другое, и от этого другого меняется жизнь, ее интересы, характеры. Студент слушает лекции, инженер – строит мосты, железные дороги, купец – торгует, техник – управляет заводом, типографией, фабрикой, врач лечит, земец сидит в управе, поверяет счеты, разбирает споры, свидетельствует мосты и гати, наблюдает за подрядами, участвует в выборах, ораторствует. У каждого есть какое-нибудь дело, которое его поглощает значительно, кладет на него известные черты, подчиняет себе его характер, его жизнь. А наша жизнь сделалась гораздо сложнее, чем прежде. Прежде были, кроме крестьян, только помещики, чиновники, купцы и духовенство. При этом помещик сливался с чиновником и военным. Одни условия воспитания, одна среда. Материальные средства делали между нами различия не особенно существенные. Но вот уж лет тридцать, как жизнь стала усложняться. Явились новые занятия, новые люди, иная обстановка. Число образованных людей сильно возросло, профессии стали свободнее, сословия перемешались, униженные возросли, унижавшие понизились, свободы жить вообще стало больше, увеличилась нравственная независимость существования.

В три десятка лет мы пережили целую революцию с добрыми и злыми ее последствиями. Людям, родившимся в день освобождения крестьян, теперь под тридцать лет, людям, родившимся в день введения нового суда, исполнилось гражданское совершеннолетие.

Да, почти все переменилось, а содержание беллетристики все то же самое. В ней именно не найдешь того, что встреча-

ешь на каждом шагу в жизни, а если и найдешь, то в виде чего-то недосказанного, какого-то намека на то, чего сам писатель не изучил и что ему самому известно только как намек. Эти новые среды, новые условия жизни, новые профессии, мы их встречаем в беллетристике только в виде теней или ярлыков, например, инженер, врач, земец и т.д. Что инженер делает, какие его занятия, какое его дело, как оно влияет на него, в какие условия его ставит, какие пружины вокруг него действуют – беллетристы этого не говорят, потому что они не знают этого, не изучили этого. Они только видели инженера или слышали его. Они видели врача только у своей постели или у постели своих детей, жены или любовницы, но быта его и условий его жизни они не изучили. Когда люди этих профессий выводятся в беллетристике, то они говорят только о любви или общих социальных вопросах, причем, смотря по влечению беллетриста, техники являются благородными, стойкими, а врачи – материалистами и бездушными, или наоборот. Беллетристы ищут только любви, а все частности быта опускают, между тем как условия этого быта делают жизнь сложнее, порождают новые стремления, которые требуют больших усилий для своего осуществления, для успеха.

Самая любовь прошла известные степени в своем развитии и своих увлечениях и видоизменилась. Она приобрела, по моему мнению, некоторые национальные черты и видоизменилась более всего именно вследствие того умственного напряжения, которое прожило общество не только в образованных слоях, но даже полуобразованных, захватив отчасти и народ. Это напряжение сказалось в нервности, в усиленной мозговой деятельности в ущерб физическому развитию и физической силе. Независимо от разных социальных веяний, усиление мозговой деятельности не могло не влиять на любовь и отношения полов между собою. Все, что соединяется с любовью, гордость, тщеславие, кокетство, ревность – все это приняло иные оттенки и несколько иначе выражается. Ревность даже, вероятно, усилилась, вследствие развития, ибо у развитых умов, у гениальных писателей, напр., она всегда

была сильна. Чем тоньше чувствительность, тем она чаще и больнее проявляется. Чем развитее человек и умнее, тем более он сознает свое превосходство и тем более считает себя достойным любви, тем более, по его мнению, у него прав на монополию любви женщины, жены или любовницы. Пушкин был ревнив, Лермонтов также, Толстой превосходно изображает ревность, значит чувствует ее силу; Тургенев почти обходит ее… из либеральных, я думаю, побуждений. Гейне был так ревнив, что отравил несчастного попугая, которому милая ему Матильда оказывала слишком много нежности. И мало ли произошло интересного в этой области, которой посвящена почти исключительно беллетристика. Судебные процессы, если б кто их изучил внимательно и подробно, дали бы более значительный и более правдивый материал для характеристики общества, чем тот, который мы можем извлечь из беллетристики. Она почти только повторяет Тургенева, Толстого, Достоевского, Гончарова и не имеет ни силы, ни знания, чтобы двигаться далее. Традиции литературные, ходячие идеи, совсем у нас не обновленные, сковывают беллетристов, и они пригоняют все в те же рамки, где стоят огромные законченные картины, выходящие, конечно, из пределов данного времени по общерусскому, общечеловеческому и художественному достоинству, но и не заключающие в себе того, что наросло потом, после их создания.

IV

Образовательный уровень беллетристов не повысился, а скорее понизился с тех пор, как форма повестей, рассказов и романов была усвоена. С этой выработанной формой теперь все пишут. Производительность страшно возросла, но стала ремесленной, цеховой, и нет времени у современного беллетриста в погоне за насущным хлебом учиться, наблюдать и доводить свое произведение до известного совершенства. На даровых хлебах, как во время крепостного права, жить нельзя. Эта нужда в хлебе, конечно, значительное смягчающее об-

стоятельство в судьбах нашей беллетристики, но не все же им объясняется. Беллетристы просто не знают много такого, что знать им следует…

Наука физиологии, патологии, психологии остается им неизвестна. «Психологический анализ» – только слово в беллетристике, а вовсе не дело. Если критик, разбирая какую-нибудь повесть или роман, говорит о психологическом анализе, то с его стороны это просто недоразумение или снисходительность, в которой он большей частью сам не отдает себе отчета. Мир болезненно-нравственных явлений, странный, разнообразный мир нашим беллетристам так же мало известен, как мир явлений здоровья, энергии и труда специального. То, что наука признала уже не предрассудком народным, не пустым суеверием, а действительно жизненным явлением, болезненным или вызываемым особенным свойством человеческой природы (гипнотизм, внушение и проч.), которое только теперь начинает находить свое объяснение, у беллетристов продолжает быть предрассудком, и они упражняются в насмешках над ним. Теория наследственности, имеющая уже большую литературу, остается тоже без приложения в беллетристике, хотя с нею следует обращаться осторожно. Мир религиозных явлений, интересный и поучительный, владеющий целыми массами народа и интеллигенции, остается почти нетронутым. Если что изучено – воспитание. Так как каждый беллетрист учился и воспитывался, то биографии героев полны подробностями детства и юношества, но теперь уже и это исчерпано. Стремление писать маленькие рассказы, лучшим мастером которых остается Чехов, заставляет обходить эти подробности, надоевшие всем донельзя…

Незнанием жизни и ее сложных явлений объясняю я и запружение беллетристики историческими романами. Для исторических романов есть готовый материал, который можно достать в «Русском архиве», «Русской старине», «Историческом вестнике» или просто у Карамзина и Соловьева. Это прошлое легче узнать, чем настоящее, и читатель естественно начинает предпочитать исторические романы, в которых он хоть что-

нибудь находит: известные факты, анекдоты, имена. У него что-нибудь остается от этого чтения, он даже думает, что этим чтением повышает свои знания, свою интеллигентность, хотя в большинстве случаев он получает только превратное представление об истории своей родины и исторических лицах. Между тем идет же история настоящего, сложная и яркая история, но ее нельзя вычитать, а надо почувствовать, понять и узнать. Более ее не чувствуют, не понимают и не изучают, а переписывают старое…

Мир железнодорожный, адвокатский, судебный, земский, городской выборный – где он в беллетристике, в каких характерах, в каких повестях и романах? Публицистика и фельетон трогали этот мир, разрабатывали его для своих публицистических целей, но беллетристика не дала относительно этого ничего сколько-нибудь значительного. В жизни повторяются имена дельцов, ставших почти типическими, беллетристика обходит их, точно сознавая перед ними свое бессилие. Она роется в старом, она повторяет в сотый раз давно известное и не видит того нового, что наросло и нарастает, а если и видит, то не изучает. О купцах написано много, но, помимо комедий Островского, и в этой области нашей жизни сделано мало. Усвоен купеческий язык, да и то в карикатуре, но сущности купеческой жизни, ее оборотов, всей ее механики, среди которой движутся миллионы населения, совсем нет в беллетристике. Случайные наброски, поверхностная наблюдательность, насмешка, ирония – вот материал и орудия наших беллетристов, вращающихся в одном и том же кружке, кружке литературных интересов и споров, однообразных лиц и стремлений.

А русский язык? Продвинула ли его современная беллетристика, обогатила ли, из его непосредственного источника, народной речи? В русский язык вошла масса иностранных слов, по большей части совсем не нужных, мало понятных большинству. Рассказчики из народной жизни обезобразили народный язык, ввели его в литературу в карикатурных формах, желая вызвать улыбку на устах читателя. После Григоровича, Тургенева, Толстого и Достоевского («Записки из

Мертвого дома») народный язык является в беллетристике в искаженном виде, каким-то пьяным и глупым языком, и становится непонятным, каким образом на этом языке существуют прекрасные поэтические песни, мудрые пословицы, остроумные загадки? Откуда все это взялось у этого народа, который беллетристы показывают нам едва обладающим способностью связать немудреную фразу? Или поглупел совсем этот народ и потерял свой образный и выразительный язык, или он не находит себе настоящих живописцев и наблюдателей? Ответ, кажется, ясен…

Что нужно беллетристу?

Конечно, прежде всего талант, способность наблюдательности и ум. Затем – изучение и кропотливое собирание фактов. Нужно прекрасное, всестороннее общее образование, для которого, впрочем, на русском языке очень мало книг. Чем шире жизнь, тем беллетрист должен знать больше, или должен избрать себе какой-нибудь один угол, как специальность, и в нем стараться сделаться если не мастером, то хорошим работником. Тогда только беллетристика может вносить в общее сознание некоторые идеи и представления о родной земле и приносить пользу. Теперь она в огромном большинстве своих произведений – просто праздное дело, развлечение для праздных людей, и, если б она вдруг почему-нибудь прекратилась, никто бы ничего не потерял.

А. С. ГРИБОЕДОВ

«Горе от ума» и его истолкователи

I

– Чацкий совсем не лицо, а идея, но поэтому его не стоит играть, – говорили нам часто актеры.

– «Горе от ума» – художественная сатира, а вовсе не комедия, – слышали мы часто от литераторов и постоянно читали это в книгах.

Предрассудки в такой по преимуществу прогрессивной области, как литература, по-видимому, не должны бы существовать, но только стоит вспомнить правила того русского классицизма, которому долгое время подчинялись даже гениальные писатели, как Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, чтоб прийти к другому заключению. В нашей литературе предрассудки существовали и существуют по отношению к тем или другим писателям. И, странное дело, предрассудки эти сплошь и рядом не разделяются публикой, а упорно существуют только среди литераторов, передаваясь от одного поколения к другому. Это явление в особенности ярко сказалось в истории «Горя от ума». Попробуем проследить эту историю, причем остановимся, во-первых, на «личности Чацкого», так как лицо это и в литературе, и на сцене до сих пор не установлено, и, во-вторых, на вопросе: правда ли, что «Горе от ума», *как комедия*, как художественное целое, не выдерживает серьезной критики?

«Горе от ума» стало ходить в рукописи с 1823 г. и сразу завоевало себе симпатии всех читателей. В 1825 г. в альманахе Булгарина «Русская Талия» явился отрывок из этой комедии, именно 7-е, 8-е, 9-е и 10-е явления первого действия и ее третье действие с некоторыми цензурными сокращениями. В первой книжке «Моск. тел.» на тот же год, в рецензии о «Русской Талии», эти отрывки были похвалены, но не безусловно и выражено желание, чтоб комедия скорее была напечатана. Похвала эта почему-то задела за живое М. А. Дмитриева, посредственного стихотворца и племянника известного баснописца и поэта И. И. Дмитриева. В «Вестнике Европы», этом ковчеге литературного консерватизма, Дмитриев поместил замечание на отзыв «Моск. тел.» о комедии Грибоедова.

Находя, что Грибоедов «изобразил очень удачно некоторые портреты», Дмитриев называл язык комедии «жестким … и неправильным», а Чацкого «почти невозможным»: «Все злос-

ловит, говорит все, что ни придет в голову», говорит «грубые дерзости». «Естественно, что такой человек наскучит во всяком обществе, и чем общество образованнее, тем он наскучит скорее…» «Чацкий есть не что иное, как сумасброд, который находится в обществе людей *совсем не глупых, но необразованных,* и который *умничает* перед ними, потому что считает себя умнее; следственно, все смешное на стороне Чацкого! Он хочет отличиться то остроумием, то каким-то *бранчивым патриотизмом* перед людьми, которых презирает. Словом, Чацкий, который должен быть умнейшим лицом пьесы, представлен менее всех рассудительным! Это Мольеров Мизантроп в мелочах и карикатуре»… «Мудрено ли, что от такого лица (т.е. Чацкого) разбегутся и примут его за сумасшедшего?»

Этим отзывом дан был сигнал к битве в защиту Грибоедова, и битва продолжалась целый год. Предел ей был положен событиями 14-го декабря, которые наложили печать молчания на уста журналистов о многих вопросах, о «Горе от ума» в том числе. Известно, что сам Грибоедов был арестован, как приятель нескольких декабристов, но вскоре был выпущен на свободу. И молчание о «Горе от ума» длилось до 1831 г., когда комедия была поставлена на сцене (в Петербурге 26 января 1831 г., в бенефис Брянского, в Москве – 25-го февраля того же года). Но в 1825 году битва была упорная.

Против Грибоедова говорил только один «Вестник Европы», где продолжал писать Дмитриев под псевдонимом Пилада Белугина, «Моск. телегр.» и «Сын Отеч.» отстаивали комедию, ее язык, ее типы и в особенности Чацкого. Отписываясь и оскорбляясь литературными намеками, Дмитриев отстаивал традиции Мольера и Пирона и больше и больше нападал на язык. Уж говорилось не об отрывке из комедии, а о целой комедии по рукописи ее. По мнению этого критика, язык комедий Загоскина, Шаховского и Хмельницкого правильнее и чище языка комедии Грибоедова. «Софья Павловна и Чацкий, – доказывал Дмитриев, – говорят наречием, которого не узнает ни одна грамматика, кроме, может быть, лезгинской… *“Вдвоем мы мочи нет друг другу надоели”* – лезгинская фраза… “*Ни на*

волос любви” – выражение неприличное. *“...На ком жениться мне?”* – тут оскорблено все сословие женщин». Такими придирками и таким «лезгинским» остроумием занимался Дмитриев, и они, разумеется, находили себе сочувствие не только в староверах, кружок которых редел и редел, но и среди многих либералов: последним не нравились в комедии некоторые места и намеки, которые они могли принять на свой счет, и это недовольство либералов длится до сих пор, благодаря в значительной степени тому, что оно нашло себе таких сильных выразителей, как Белинский и князь Вяземский.

II

В «Московском телеграфе» полемизировал с Дмитриевым У. У., в «Сыне Отечества» – Орест Сомов и ДРК[2]. Вероятно, для многих будет ново, что мысли этих критиков легли в основание всех дальнейших наиболее справедливых разборов «Горя от ума». Что кратко высказано было ими в 1825 г. в пользу комедии, то повторялось потом более или менее пространно и такими известными писателями, как Белинский, Галахов, Гончаров. Оно и понятно: О. Сомов и У. У. явились отголоском нового общественного мнения, защитниками новых идей в лице Чацкого, защитниками языка и таланта Грибоедова, защитниками новой формы комедии, в которой не было ни резонеров, ни благородных отцов, а были только живые люди. У нас многие верят, что до Белинского едва ли кто произнес о литературе правдивое слово, что он первый все определил, разместил и увековечил. История русской литературы так мало у нас разработана, что подобные мнения принимаются у нас на веру, без всякой проверки, и Белинский царит, хотя пора бы анализировать этого критика и указать на те промахи и даже нелепости, которых достаточно в 12 томах его произведений.

В прошлом году г. Н. Г. в «СПб. вед.»[3] уверял, что «у нас до сих пор еще не оценен по достоинству язык “Горя от ума”. Его даже (увы!) многие считают несовременным, деланным языком». Г. Н. Г. счел нужным доказывать, что «Грибоедов,

степенный стихом и рифмою, писал таким живым разговорным языком, который до сих пор может служить образцом простоты и удивительной силы». На самом деле язык этот оценен еще в 1825 г. в упомянутых журналах. Вот как говорили об этом языке или о слоге: «Разговорный слог г. Грибоедова есть образцовый в полном смысле сего слова. Искусство необыкновенное подвести обыкновенный разговорный язык, со всеми его изысканиями, под правила поэзии таким образом, что рифма, кажется, есть натуральное окончание каждого речения». Другой отзыв: «До Грибоедова слог наших комедий был слепок слога французских… натянутые, выглаженные фразы… заставляли почитать даже оригинальные комедии переводными. У одного Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский». Как на практическое доказательство этих слов автор указывал на то, что «почти все стихи Грибоедова сделались пословицами». «Мне, – продолжал он, – часто случается слышать в обществе целые разговоры, из которых большую часть составляли стихи из “Горя от ума”».

Любопытно, как отставал литературный язык от разговорного, и как литератор, хорошо говоря у себя дома, говоря, как мы теперь говорим, совершенно тем же языком, – когда садился писать, начинал говорить языком тяжелым, неестественным, затянутым, как в мундир, в условные книжные формы. «Учиться языку у московских просвирен» – такой совет *смел* дать только Пушкин. А чего справедливее этого? Но для самых простых вещей нужен гений. И в наши дни самым простым, самым разговорным языком пишет самый даровитый писатель – граф Л. Толстой.

III

Критики 1825 г., стоявшие на стороне Грибоедова, указывали, что «обыкновенная французская мерка не придется по его (Грибоедова) комедии», в ней нет «ни одного сколка с

тех лиц, которых полное число служит во французских театрах уставом для набора театральной челяди… Здесь характеры узнаются и завязка развертывается в самом действии; ничто не подготовлено, но все обдумано и взвешено с удивительным расчетом». Переходя к содержанию комедии, критики говорят, что Грибоедов создал «целую картину» общества, что у него «лица превосходно группированы, нравы общества схвачены с природы, а *противоположность* между Чацким и окружающими его весьма ощутительна». Это Дмитриев находил, что Грибоедов не дал Чацкому «надлежащей противоположности» с обществом, ибо «все смешное на стороне Чацкого». (И эту фразу Дмитриева, как увидим, с обычным своим пылом развил Белинский.)

Что же такое Чацкий? «В Чацком комик (т.е. Грибоедов) не думал представить *идеала совершенства,* но человека молодого, пламенного, в котором глупости других возбуждают насмешливость, наконец, человека, к которому можно отнести слова поэта: “Не терпит сердце немоты”. И с этой точки зрения, как справедливо говорит противник Дмитриева, Чацкий составляет совершенную противоположность с окружающими его лицами, и одна сторона оттеняет другую; в одной видна сила характера, презрение предрассудков, благородство, возвышенность мыслей, обширность взгляда, в другой – слабость духа, совершенная преданность предрассудкам, низость мыслей, тесный круг суждений» («Моск. телегр.», № 10). У Чацкого нет «ни малейшей тени двуличия», «он следует первому впечатлению», он как будто «ищет противника, чтоб поразить его», он – «возвышенная душа», в нем «действует патриотизм до фанатизма» и пр. Критик «Сына Отечества» выражается также: «Грибоедов представил в лице Чацкого умного, пылкого и доброго молодого человека, но не вовсе свободного от слабостей: в нем их две, и обе почти неразлучны с предполагаемым его возрастом и убеждением в преимуществе своем перед другими. Эти слабости – заносчивость и нетерпеливость. Чацкий сам очень хорошо понимает (и в этом со мною согласится всяк, кто внимательно читал «Горе от ума»), что,

говоря невеждам о их невежестве и предрассудках и порочным о их пороках, он только напрасно теряет речи; но в ту минуту, когда пороки и предрассудки трогают его, так сказать, заживо, он не в силах владеть своим молчанием; негодование против воли вырывается у него потоком слов, колких, но справедливых. Он уже не думает, слушают и понимают ли его или нет: он высказал все, что у него лежало на сердце, – и ему как будто бы стало легче. Таков вообще характер людей пылких, и сей характер схвачен г. Грибоедовым с удивительною верностью» («Сын От.», ч. 101).

Очевидно, в 1825 г., в эпоху декабристов, когда все это писалось, были люди подобные Чацкому и проповедь их слышалась в обществе. Было это, конечно, ново, это оскорбляло староверов, но это, несомненно, было. Недаром Дмитриев выступил против Чацкого, представляя его человеком «смешным», «менее всех рассудительным». И, защищая общество прямо, он защищал его косвенно нападками на Чацкого и в его лице нападал на тот протест, какой сказывался в обществе против старого, отживающего и отжившего. Как справедливо замечали защитники Чацкого, резонера французских комедий, с теми сатирическими *общими* местами, которые верны, как прописная мораль, но которые не задевают за живое современное общество, ибо не рисуют его пороков в картине верной данной действительности, в лицах, прямо выхваченных из общества. Грибоедов нарушил все литературные традиции театра и явился со смелостью гения, и вот люди, задетые в своем консерватизме или узком либерализме – Грибоедов не пощадил и либералов, – подвергали разбору эту смелость на весах условных форм, условной правильности языка и условного уважения к обществу и идеям. Дмитриев являлся защитником тогдашних мудрецов и вершителей в Москве – членов английского клуба: «Это звание, – говорит он, – очень уважается, потому что дается только по выбору людей почтенных… Некоторые стихи в сцене Репетилова удостоверяют, что и самому автору хотелось мимоходом видеть почтенное собрание». Какие это стихи – не понимаем. В устах Дмитриева, во всяком случае, понятно

раздражение против Чацкого – и как против человека, нарушающего светские приличия и задевающего действительные живые лица, живую жизнь со всем ее старым хламом и едкою пылью, не дававшею дышать новым людям, – и как лица комедии, не отвечающей всем правилам комедии французской.

IV

Князь Вяземский отличался большим критическим тактом и в своем кругу играл роль авторитета настолько значительную, что даже Пушкин ему несколько подчинялся. Мнение князя Вяземского цитирует Галахов в своей «Ист. р. слов.», и потому на них мы остановимся еще далее; теперь же ограничимся тем, что он говорит о Чацком. В своей книге о Фонвизине он хвалит «благородство правил» Чацкого, но «способность проповедовать» его «утомительна». «Ум, каков Чацкого, не есть завидный, ни для себя, ни для других. В этом главный порок автора, что посреди глупцов разного свойства вывел он одного умного человека, да и то бешеного и скучного (??). Мольеров Альцест (в «Мизантропе»), в сравнении с Чацким, настоящий Филинт, образец терпимости. Пушкин прекрасно характеризовал сие творение, сказав: *Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен»* (Фонвизин. СПб. 1848, ст. 222).

И князь Вяземский, и Пушкин, как видите, согласны с Дмитриевым относительно ума Чацкого; но какой ум они разумеют? Практический ум человека уживчивого, идущего на компромиссы с обществом, соблюдающего светские приличия, знающего, где можно развернуться, где следует сдержаться, где молчать, где иронически даже потакать глупостям? Очевидно, все дело в этом. Чацкий умен, но бешеный и скучный, говорит князь Вяземский; его «ум незавидный ни для него, ни для других». Если б вместо «незавидный» поставить «невыгодный», то эта характеристика ума Чацкого, смелого, пылкого, имела бы основание. Но ни князь Вяземский, ни Пушкин не обращают внимание на то, в каком нравственном состоянии был Чацкий. Остановимся на фразе Пушкина,

которою постоянно злоупотребляют, не трудясь справиться, при каких условиях она была сказана.

Фраза эта находится в письме Пушкина к А. А. Бестужеву (Марлинскому) от 25 января 1825 г., из сельца Михайловского, где Пушкин жил тогда в ссылке и куда декабрист Пущин привозил ему рукопись «Горя от ума». Комедией он «наслаждался», называл ее «прелестной», говорил, что «половина стихов должна войти в пословицы» – это пророчество сбылось, – сделал беглые заметки о характерах, но оговаривался так: «Может, в ином я ошибся, и эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог справиться», то есть когда рукописи комедии у него уже не было. О Чацком он сказал: «Теперь вопрос: в комедии *Горе от ума*, кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Почему он говорит все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому под.».

Ни московским бабушкам на балу, ни Молчалину, ни Репетилову Чацкий ничего такого не говорит, что не мог бы сказать умный человек, обязанный знать, с кем имеет дело. Его поведение с нами или полупрезрительно, или равнодушно спокойное. Очевидно, Пушкин не мог «справиться» с рукописью, чтоб поверить свои суждения. Почему Чацкий говорит Фамусову при Скалозубе, что – разберем дальше. Положим, умный человек не станет метать бисера перед всяким, но если умный человек вынужден к тому, если он крайне возбужден, если он задет в лучших надеждах своей жизни, если на него нападают, его преследуют. Пушкин был очень умный человек. Но когда коснулась его сплетня, когда ничтожные люди стали преследовать его клеветами – не метал он бисера перед графом Бенкендорфом, не вышел он на дуэль с ничтожным

человеком и не погиб жертвою своего порыва и клеветы? Глупцы и негодяи разве не доказали на нем самом справедливость названия комедии Грибоедова? У людей умных может быть пылкое сердце, нервы натянутыми до невозможности, но нельзя их называть неумными единственно потому, что они *не могли* совладать с собою.

Для верного суждения о Чацком гораздо важнее вопрос: есть ли такие люди, как Чацкий, были ли они, выхвачены ли они из действительности? Князь Вяземский дает понять, что этот образ не художественный, что он грешит против эстетики. Почему же? Ведь Чацкие, бесспорно, были. Ведь действие комедии происходит во времена декабристов, во времена аракчеевской реакции и умственного возрождения. Если о перевороте шептались взаперти, то о злоупотреблениях крепостного права, о фаворитизме, о низкопоклонстве, о всем том, о чем говорит Чацкий, можно было говорить вслух, и об этом говорили. Сам князь Вяземский впоследствии в своей «Записной книжке» указывает на людей, в которых были элементы Чацкого, – Михаил Орлов, И. Тургенев, Чаадаев, Константин Аксаков. Это были «проповедники слова», как и их предшественник, Чацкий. Стало быть, Чацкий – живое лицо, реальное лицо, так же понятное, как Онегин, Печорин, Рудин и проч. Тут скорее эстетическое недоразумение, чем какая-нибудь погрешность против эстетики и жизни. Тут повторение чужих слов, недостаточно проверенных и вошедших и в «Очерки русской поэзии» г. Милюкова, и в «Историю русской словесности» А. Д. Галахова (Г. П., стр. 381–2). Особенно утверждению этого взгляда содействовал Белинский (Соч. т. III). Вот его слова: «Что за глубокий человек этот Чацкий. Это *просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое*, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать дураками и скотами – значит быть глубоким человеком? Что бы вы сказали о человеке, который, войдя в кабак, стал бы с одушевлением и жаром доказывать пьяным мужикам, что есть наслаждение выше вина – есть слава, любовь, наука, поэзия, Шиллер и

Жан-Поль Рихтер?.. Это новый Дон-Кихот, *мальчик на палочке верхом*, который воображает, что сидит на лошади. Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это *горе – только не от ума, а от умничанья*. Искусство может избрать своим предметом и такого человека, как Чацкий, но тогда изображение долженствовало бы быть объективным, а Чацкий – лицом комическим (?); но мы ясно видим, что поэт не шутя хотел изобразить идеал глубокого человека в противоречии с обществом, и вышло Бог знает что».

Сравните эту страстную, но нелепую тираду с тем, что говорил М. Дмитриев, узко и враждебно относившийся к «Горю от ума». Это почти дословное повторение, это патент на глубину, выданный посредственному стихотворцу и литературному консерватору. Именно Дмитриев находил, что Чацкий *умничает*, и Белинский называет это «глубоко верным». Удивительно странное заблуждение у таких писателей, как Пушкин, князь Вяземский и Белинский. Но князь Вяземский и Пушкин еще могли говорить об уме Чацкого с точки зрения своего светского общества, обычаи которого они превосходно знали. Но почему Белинский, этот демократ, никогда не бывавший в свете, так раскричался на Чацкого – совсем понять невозможно. Гончаров в своей статье «Миллион мнений» говорит, что сам Белинский был из разряда тех же людей, как и Чацкий, и был умным человеком. В самом деле, почему искренняя горячность – позерство, почему пламенная обличительная речь – профанирование святыни? Почему она законна в книге, в журнальной статье и почему она незаконна в обществе? И почему так позорно пойти в кабак и доказывать, что есть наслаждение выше вина? Разве, например, проповедники христианства не входили туда? Чем лучше сидеть со своей «святыней» и сообщать ее только посвященным? Искренняя и горячая речь не умничанье; резонерство, опытная и благоразумная ирония – есть это умничанье. А когда душа кипит, когда негодование захватывает – это не умничанье, а человеческий и законный порыв чувства. Если это чувство выливается умною речью – то и человек, бесспорно, умен. Между тем

эта тирада Белинского повторялась десятки лет, как беспрекословная истина, и вошла в учебники. Она могла бы войти в учебники, как *практическое* правило, как формула из книги «Хороший тон», но как литературная характеристика – она глубоко фальшива и нелепа.

Почему Чацкий должен быть комическим лицом, чтоб быть объективным, – это едва ли кто докажет. Он был бы комичен, если б очутился среди глубоких мудрецов, давно ушедших вперед и наслаждающихся всеми благами знания, свободы, человеческого счастья и достоинства. Но в том обществе, где он явился, он должен быть таким, как создал его Грибоедов, то есть таким же живым лицом, как Гамлет, как Лир, как Отелло, и в положении его, как умного человека среди глупых и подлых, как несчастного среди счастливых и довольных, очень много трагического элемента.

Попробуем определить, почему Чацкий поступает именно так, как изобразил его Грибоедов, и почему иначе он и действовать не мог.

V

Если б Чацкий говорил всякий вздор, что взбредет в голову, всякие грубости без всякого повода, как в 1825 году находил Дмитриев, или если б он врывался в общество и начинал ругать всех дураками и скотами – с таким господином сравнивает его Белинский в 1840 г., – то такое лицо действительно нельзя было бы оправдать не только никакою эстетикой, но никакими правилами общежития. Это был бы либо дерзкий нахал, либо «беленый», как обзывает Чацкого князь Белинский в 1848 г. Но ведь это просто клевета на Чацкого, это какой-то предвзятый взгляд, совсем-таки не вытекающий из комедии.

Чацкий ни в чем подобном не виноват. Он не говорит ничего без повода, и если все, что он говорит, – зло и остроумно, то не выходит из пределов приличия и даже светского тона. Быть остроумным и злым, даже злословить, ни в каком обществе, будь оно самое высшее, не возбраняется. И тогда были,

и теперь есть остряки и смельчаки, которые в обществе очень рельефно рисуют картины прошлого и настоящего, иллюстрируя их анекдотами, характерными чертами разных лиц, преимущественно высоких и влиятельных, и приправляя все это солью остроумия и злости, если она у них есть. Правда, таких умных и страстных людей, как Чацкий, очень немного, но уж это не его вина. Глупые люди и злобные консерваторы на таких людей, разумеется, злятся, но масса слушает их с удовольствием, проникается их идеями.

Но, вдумавшись в личность Чацкого, повторяя ходячие кружковые мысли, Белинский даже ставит себя в положение светского человека и начинает советовать Чацкому, как поступать в том или другом случае. Любовь и ревность Чацкого – «это буря в стакане воды!» – восклицает он. «И на чем основана его любовь к Софье? Любовь есть взаимное, гармоническое разумение двух родственных душ, в сферах общей жизни, в сферах истинного, благого, прекрасного». Наивная душа – как он мало знал, что такое любовь, и как много вздора наговорилось о любви, о ревности, вообще о чувстве во всех своих 12 томах. «И что он нашел в Софье? Меркою достоинства (?) женщины может быть мужчина, которого она любит, а Софья любит ограниченного человека без души, без сердца» и проч. Это граничит со знаменитым стихотворением одного лица в «Нови» Тургенева:

Полюби не меня, а идею.

Увы, и мужчины любят дрянных женщин, и женщины любят дрянных мужчин. Даже всемирная история полна такими примерами, не говоря уже об обыденной жизни. Набирая красивые фразы и отвлечения, Белинский воображал, что говорит о любви, что он понимает сердце женщины, что он уничтожает все существо Чацкого, который любил женщину потому, что любил ее, потому, что она влекла его к себе неотразимо своей красотой, обаянием своей молодости. Нет, надо «сродство душ в сферах истинного, благого, прекрасно-

го» – всякая другая любовь вздор, буря в стакане воды. Грибоедов должен был поразить Белинского совершенно реальным изображением любви не самой ходячей, обыденной, без фраз, а той, которая начинается глазами и быстро переходит в объятия и ночные свидания с их негою и возбуждением, когда плоть говорит с плотью. Грибоедов и в этом отношении является *первым русским реалистом*, предупреждавшим Пушкина и Толстого. Очутившись перед реальною, обыденною любовью, которою живет огромное большинство человечества, Белинский и не понял ничего ни в Чацком, ни в Софье. Софья не лицо, а «призрак»! – восклицает критик. Почему? Потому что она полюбила Молчалина, «не увидев прежде, что такое Молчалин». Женщина должна сначала анализировать мужчину, узнать всю красоту его души, объем его ума и тогда уж полюбить! С 40-х годов вся эта идеалистическая, парфюмированная вода ушла из любви и, вероятно, уйдет еще больше к концу века. Женщины очень много завоевали в XIX веке, но они еще не сказали нам, что такое *женская* любовь, чем она отличается от мужской. Ведь должна же она чем-нибудь отличаться, ибо организмы разные. Но самые даровитые женщины-писательницы, Жорж Санд и Джордж Элиот, анализ женской любви заимствовали у мужчин-романистов, просто повторив их схоластику любви и не открыв ничего особенного или не посмев идти собственным путем, не посмев открыть тайны женских ощущений. Это еще дело будущего сильного таланта. Делаем это замечание мимоходом…

До самого конца, до последней сцены крик продолжает преследовать Чацкого, как личного своего врага. «Какой бы порядочный, по крайней мере не сумасшедший человек, на месте Чацкого, не удалился тихонько, узнав горькую истину?.. Но ему надо было произвести трагический эффект, а вышла преуморительная комическая сцена (??), сцена, где самое смешное лицо г. Чацкий»… Даже *господин* Чацкий! Надо было удалиться! Вон Молчалин даже убежал в свою коморку, не то что удалился. Но Чацкий не удалился потому, что он Чацкий, что он человек с характером, со страстно поднятыми нервами,

заставляющими его выпить чашу до дна и посмотреть опасности прямо в глаза. Многие порядочные люди, измученные и возбужденные как Чацкий, не удалились бы тоже, если б страсть кипела в них. Всякая так называемая порядочность, всякие соображения тогда исчезают. Но в 1840 г. не было еще ни Гончарова, ни Тургенева, ни Толстого, даже «Героя нашего времени», и Белинскому негде было почерпнуть знания жизни, и потому он продолжает поражать своей наивностью. «Софья расхваливает Молчалина, а Чацкий убеждается из этого, что она его не любит и не уважает… Догадлив!.. Где ж *ясновиденье* внутреннего чувства?» – восклицает критик. Вот у него как легко все решается: там надо «сродство душ в сферах истинного, благого, прекрасного», там надо быть просто «порядочным человеком», а тут надо «ясновидение». К сожалению, в жизни человек всего чаще является просто человеком, вне всяких сфер прекрасного и ясновидений, всего этого придуманного романтического вздора. Грибоедов знал ум и сердце человеческое неизмеримо лучше, чем Белинский.

VI

Проследим в кратких чертах личность Чацкого, и вы увидите, как глубоко неправы все те, что считают Чацкого какою-то ходячей сатирою, каким-то нерассудительным и заносчивым человеком, как глубоко неправы были и Пушкин, и князь Вяземский, и Белинский, и Галахов, и Милюков, не говоря уже о тех педагогах вроде г. Водовозова, которые перефразировали Белинского более или менее резко и распространяли это мнение среди учащейся молодежи, в школах.

Чацкий с Софьей Павловной умен, остер, оживлен, исполнен той радости свидания, которая так говорлива. Он вспоминает знакомых и обливает их своими сарказмами смело. С Софьей Павловной он не только не считает нужным стесняться, но он помнит, как нравились ей его насмешки, его ум, как она хохотала с ним. Воскресить перед ней эти воспоминания, понравиться ей ими – вот чего он желал. Он

не только подчинялся своей природе, но он подчинялся желанию нравиться. Он видит под конец, что усилия его напрасны, но любовь загорается в нем еще сильнее, он оправдывается в своих колкостях, он готов броситься в огонь для Софьи, и она же зло ему отвечает:

Да, хорошо, сгорите; если ж нет?

Затем, он с Фамусовым. Он жил у него, и они друг друга знают, и опять им нечего стесняться. Они и не стесняются. Фамусову, конечно, не впервой было спорить с Чацким и выслушивать от него резкие истины. Между ними наверное даже были размолвки, и указание на них можно видеть в словах Софьи (дейст. 1, явл. 5):

…потом
Он съехал, уж у нас ему казалось скучно,
И редко посещал наш дом.

Она не указывает на причину этого бегства Чацкого из их дома, но причина эта ясна из взаимных отношений Фамусова и Чацкого*. Разговор их настолько откровенный, что Фамусов говорит ему то «вы», то «ты», дает советы, как мальчику, и, не церемонясь, отказывает ему в руке своей дочери. Чацкому неудача и у девушки, и у отца. Самолюбие его жестоко задето; если следить за каждым стихом комедии, мы ясно увидим, как раздражение Чацкого растет, как он поднимает и поднимает тон под влиянием нанесенных ему оскорблений. Фамусов хвалит перед ним, в лице Максима Петровича, при-

* В драматических произведениях, где автор пользуется меньшею свободою, чем романист, мы обязаны при анализе характеров всякое слово принимать в расчет. Софья не объясняет мотивов поступка Чацкого в данном случае, но эти мотивы ясны для всякого, кто потрудится вникнуть в отношения Чацкого и Фамусова. Призрев и воспитав Чацкого у себя в доме, Фамусов, конечно, рассчитывал, что это будет его воспитанник, нечто вроде послушного сына. На деле оказалось другое, и раздражение Фамусова против Чацкого весьма естественно. – *А. С.*

мер такого холопства, что не протестовать мог разве только человек без всякого сердца, вроде Молчалина. Но Чацкий еще сдерживается, он отвечает скорей со спокойной иронией, чем со злостью. Является Скалозуб. Фамусов даже не знакомит его с Чацким – из боязни ли столкновения между ними или из пренебрежения к Чацкому, но это обстоятельство во всяком случае может только усилить раздражение Чацкого и против Фамусова, и против Скалозуба: ведь Павел Афанасьевич не скрыл перед Чацким и того, что молва называет этого глупого полковника женихом Софьи. Следите, как автор мастерски, звучными аккордами вливает яд в сердце своего героя, как разочарования одно за другим мучат его после нескольких бессонных ночей, нервной тревоги ожидания, самолюбивых мечтаний о счастье, о любви. Чацкий молчит, прислушиваясь к разговору, приглядываясь к ухаживанию Фамусова за Скалозубом. Но сердце его кипит и ревностью, и негодованием. Великим мастером является тут Грибоедов, приготовляя зрителя к вдохновенному монологу Чацкого. Слушайте, каким цинизмом веет от разговора Фамусова со Скалозубом, при котором присутствует Чацкий. Скалозуб говорит о своем двоюродном брате, что он «набрался каких-то новых правил, в деревне книги стал читать», о счастье на ваканции: «То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты», а Фамусов восклицает:

Да, чем Господь кого поищет, вознесет!

Господь беспокоится о ваканциях для Скалозуба, способствуя тому, чтоб «иные были перебиты». Умный и пылкий человек, по мнению критиков, нападающих на Чацкого, все это обязан сносить молча. Он не должен метать бисер, как говорит Пушкин в цитированном выше письме к Бестужеву. Далее: Фамусов советует Скалозубу

Речь завести об генеральше…
Что ж? У кого сестра, племянница есть, дочь…

И вслед за тем живописует нравы московского общества в своем знаменитом монологе:

Вкус, батюшка, отменная манера!

Но мало того, живописует: он мимоходом задевает и Чацкого:

Другой хоть прытче будь, надутый всяким
чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в семью не включат, на нас не подиви.

Весь этот монолог Фамусов говорит с явным расчетом задеть Чацкого в его убеждениях; Фамусов с умыслом сгущает краски, чтоб поддразнить своего воспитанника, чтоб показать ему, что он в грош его не ставит; присоедините к этому, как его неприветливо встретили, как оскорбительно с ним обращаются, как оскорбляют его самого и все ему дорогое, его убеждения, его любовь, девушку, которую он любит и которую предлагают явно в жены бездушному фронтовику; попробуйте войти в душу молодого человека, прилетевшего на крыльях надежды в родной его сердцу дом и нашедшего там одни развалины, и вы поймете, что в его устах знаменитый монолог

А судьи кто?

так же прост и естествен, так же вытекает из всего предыдущего, как у другого, чувствительного, неумного человека какая-нибудь пустая, но раздражительная фраза. Если б он смолчал, если б не ответил красноречивым монологом на красноречивую картину Фамусова о служебных и семейных нравах Москвы – он не был бы самим собой. Белинский говорит, что эти прекрасные монологи к делу не относятся: «Сцена удивительно смешная, – замечает он, – но только не

в похвалу комедии». Эта фраза брошена им без всяких объяснений, в пылу какого-то нелепого азарта против Чацкого. Сцена эта, напротив, совершенно необходима для выяснения отношений четырех лиц – Фамусова, Чацкого, Софьи, Скалозуба. Ведь весь узел комедии Софья, около нее все эти лица с прибавлением Лизы и Молчалина, и все они, более или менее, против Чацкого. Надо же ему защищаться в этой войне, которую *ему* объявили, как только он преступил порог этого дома. *Не Чацкий объявляет войну, а Чацкому ее объявляют* – это ясно из всякого стиха комедии, и этого не замечали по какому-то убеждению, по литературным традициям, укрепленным такими авторитетами, как князь Вяземский и Белинский. Чацкий высказывается весь, потому что он задет за живое и лично, и в своих убеждениях. Он говорит умно, вдохновенно, иногда раздражаясь, но все-таки в пределах приличия и своих откровенно-семейных отношений к Фамусову. На картину благополучия Москвы он отвечает другой картиной. Что тут неестественного? Иной умный человек все бы перенес и смолчал. Может быть, хотя допустить это трудно. Но Чацкий везде верен своему горячему темпераменту, верен той личности, которую имел в виду Грибоедов. Посмотрите далее, как должно расти в нем раздражение, как удары продолжают из него сыпаться. Молчалин падает с лошади, Софья падает в обморок и потом оскорбляет Чацкого злою насмешкой, оскорбляет при Скалозубе по поводу его меткого анекдота о княгине Ласовой, которая сломала себе ребро и для поддержки ищет мужа:

Ах, Александр Андреич, вот –
Явитесь вы вполне великодушны:
К несчастью ближнего вы так неравнодушны.

Чацкий не выдерживает насмешки, теряется и преувеличивает свою услугу Софье, говоря:

Не знаю для кого, но вас я *воскресил.*

Насмешка Софьи в самом деле очень язвительна, и немудрено даже умному человеку потеряться. Он уходит, но все еще надеется, все еще не может помириться на мысли, что ему предпочли Молчалина. Он старается выпытать у Софьи ее тайну; но так как самая глупая женщина проведет десять умных мужчин, а Софья к тому же совсем не глупа и, воспитанная вместе с Чацким, не могла не занять у него и кое-чего хорошего, то Чацкий начинает колебаться в своих сомнениях и после разговора с Молчалиным хочет убедить себя, что она не может любить человека «с такими чувствами, с такой душою». Но кто знает, что такое любовь и ревность, кто знает муки сомнений, тот поймет также, что Чацкий не может успокоиться. Он рад встрече с Натальей Дмитриевной, он любуется ее свежестью и красотою, он рад встрече с ее мужем. Но тут же его раздражает и графиня-внучка, и Хлестова, и Загорецкий, и Молчалин; ему мило только одно существо, но оно убегает от него, и он может только удивляться, как этому существу не противны все эти лица, все эти разговоры и как оно может не отличить среди всех его, Чацкого? Он самолюбив, и подобная мысль, конечно, гнездится в его голове. Не ради сатиры только Грибоедов вывел все эти лица на сцену, а ради того также, чтоб показать, в какой среде очутился Чацкий и как эта среда могла на него подействовать, как она могла усилить его терзания. Задача художника – перенести душу зрителя в душу Чацкого, и зритель действительно понимает положение этого человека и более и более ему сочувствует…

Не зная, что он уже провозглашен сумасшедшим, он ищет спокойствия опять около Софьи и ей поверяет, а вовсе не обществу, не «московским бабушкам», как говорил Пушкин, случай с французиком из Бордо. Все отходят прочь, одна Софья около него, она его спрашивает: «Скажите, что вас так гневит?» Эта фраза говорится ею попеременно с участием, с кокетством, ибо если она не чувствует своей вины перед Чацким, то должна показать ему, что она не со всеми, но показать с тактом женской хитрости и расчета. И Чацкий рад этому участию, рад тому, что она *в первый раз* сама к нему подо-

шла, и высказывается только перед нею; он ей говорит: «вообразите», «вот случай *вам* со мною», и только перед концом монолога Софья ускользает танцевать…

Где ж Чацкий говорит или поступает как не умный человек, где он «ругает всех дураками и скотами» – как уверяет Белинский? Не видим этого. Он ни разу не был груб, ни разу не выходил из роли умного человека; он свободно, не стесняясь, говорит только с Софьей и Фамусовым, а не проповедовал всем и каждому зря, без нужды, чтоб только раздражить всех и поумничать. Где это «бешенство», которое приписывает ему князь Вяземский? На бале, в обществе Чацкий ведет себя как светский остроумный человек, который не прочь поспорить, поострить – и только. Не он оскорбляет, а его скорее оскорбляют. Княгиня Тугоуховская посылает своего князя звать Чацкого на бал, потом громко отзывает его назад, нимало не стесняясь тем, что Чацкий видит этот маневр и догадывается о его сущности. Хлестова вспоминает, как она дирала его за ухо: ей досадно, что Чацкий не смеялся, когда она отделала Загорецкого! Но кто ж тут деликатнее, даже с точки зрения светских приличий, Хлестова или Чацкий? Граф.-внучка, старая дева, удивляется, что он не женился на модистке. Чацкий отвечает ей остротою, которой стоила ее вызывающая речь. Между тем он слышит, как Хлестова третирует Загорецкого и Скалозуба, как Платон Михайлович называет прямо в глаза Загорецкого «отъявленным мошенником и плутом». Таковы нравы в этом обществе, за которое Белинский распинался и называл Чацкого «полоумным», «сумасшедшим». Люди этого общества называли друг друга «скотами», всех ругали и всех принимали, а не Чацкий, который ничем не ронял своего достоинства даже как светский человек. Что он, в самом деле, сделал этому обществу? Если б Софья не выдумала своего злобного мнения – Чацкий уехал бы с бала благополучно. Раздражение против него только и было, что у Фамусова и Софьи. Остальные не имели причины провозглашать его сумасшедшим. Но всякая сплетня, всякий вздор, всякая клевета на людей, стоящих сколько-нибудь независимо, принимается обществом тем скорее и тем радостней,

чем она пустее и бессмысленнее. Нечего вспоминать о том, до чего должен быть оскорблен Чацкий свиданием Софьи с Молчалиным. Это понятно всякому…

Нам необходимо было только указать на то, что не Чацкий вызывал общество на войну – он только защищался, отбивался и, страдая и мучаясь, хотел отстоять свою любовь, свое счастье. Нам надо было показать, как мастерски Грибоедов вел своего героя, начиная от бешеной скачки по почтовым дорогам, нервного ожидания счастья и любви, через сомнения, разочарования, оскорбления и преследования, до самой той ямы, из которой можно было выбиться только разорвав совсем и с обществом, и с той любовью, из-за которой он попал в это общество. В «Мизантропе» Мольера Альдест, с которым сравнивают Чацкого, прямо называет комедию раздраженным и злым тоном, точно он с цепи сорвался. У Грибоедова Чацкий *весь в действии*, как у Шекспира весь в действии и Отелло, и Гамлет. Точно музыкальная мелодия, начинаясь прекрасным мотивом, растет и усиливается с каждым явлением пьесы, оканчиваясь криком растерянного сердца, так постепенно развивается и чувство Чацкого, и вся его личность является необыкновенно живою, цельною, понятною и в высокой степени художественною и типическою…

VII

Чтоб выяснить вполне лицо Чацкого, надо разобрать его, так сказать, политические убеждения. Что такое Чацкий – либерал или славянофил? Этот вопрос ставили и решали в свою пользу именно либералы, западники, и ставили и решали его по выводу заключительного монолога 3-го действия о французике из Бордо. Монолог этот так не идет провозвестнику чистого либерализма и так всегда нравится массе публики, чувствующей в нем что-то правдивое и родное! М. Дмитриев, от которого идут все заблуждения насчет «Горе от ума», называет патриотом Чацкого, вероятно за этот монолог, – «бранчивым», Киреевский в «Европейце» (1832, № 1) по поводу этого

же монолога Чацкого выражается в том смысле, что следует отличать пристрастие к *иностранному* от пристрастия к *иностранцам*, ибо первое только смешно, но не вредно, второе же и смешно и вредно. В этом замечании видно желание провести параллель между *иностранцами* и *иностранным*, но эта параллель, верная в теории, едва ли уловима на практике, в обществе разнокалиберном. Еще в двадцатых годах, когда «Горе от ума» ходило в рукописи, монолог 3-го действия и разные характеристики в речах Репетилова возбуждали неудовольствие среди либералов, группировавшихся в литературном обществе «Арзамас». Противником «Арзамаса» была «Беседа» с известным А. С. Шишковым во главе, и отражение идей этой «Беседы» видели в этих местах комедии тем скорее, что Грибоедов принадлежал к числу противников «Арзамаса». Г. Анненков («А. С. Пушкин в Александровскую эпоху») замечает, что идеи «Беседы», вероятно, имели «некоторую обольстительную сторону для своего времени». Разумеется, не узкоархаические затеи А. С. Шишкова прельщали Грибоедова, а самая мысль этого общества, выступавшего против «двусторонних и прямолинейных поклонников европейского либерализма». Чацкий своим монологом как бы бил «чистый либерализм», и бил беспощадно, бил со сцены, прямо вперед толпою. Вот где надо искать разгадку того горячего до нелепости протеста Белинского, который монолог этот прямо называет «дичью» и уверяет, что «не Фамусовы, не Загорецкие, не Хлестаковы, а люди отлично умные и глубокие, и те приняли бы его за помешанного». Мы уже говорили об отношении Белинского к Чацкому и здесь только заметим, что наш знаменитый критик явился выразителем *либерального исследования* против Чацкого и намеренно, с этой задней мыслью, старался уничтожить это лицо, провозгласить его фразером и т.д. Совсем не критико-литературные цели руководили Белинским, но цели политической пропаганды против *слишком* русских идей, против, если хотите, идей славянофильства и в пользу безусловного перенесения европеизма на русскую почву. Как мы видели, он нашел себе поклонников, которые повторяют

его взгляд на Чацкого до сих пор, подкрепляя его мнениями Пушкина и князя Вяземского*. Г. А. Веселовский в своей статье «Первоначальная история *Горя от ума*» («Рус. арх.», 1874 г.), хотя оправдывает Грибоедова от упрека, сделанного г. Анненковым по адресу того же монолога 3-го акта, где будто бы Чацкий проповедует «модные архаические, славянофильские тенденции», но это оправдание далеко не безусловное, сделанное в интересах, так сказать, «историко-литературных» и притом партийных. Припоминая *Думы* Рылеева и *Исторические песни* Немцевича, г. Веселовский говорит, что оба поэта обращением к старине старались «расшевелить своих соотечественников», возвысить их патриотизм, «напомнить им, что они не разобщенное и изолированное племя, а народ, у которого есть прошедшее, налагающее на него важные обязанности». «Нет спора, – замечает далее г. Веселовский, – что во всем этом есть значительная доля идеализма, и именно того идеализма двадцатых годов, который стал почти поговоркой и который так живо сказывается во всех литературных и политических начинаниях тогдашнего молодого поколения. Но невозможно эти начинания разобщать с их временем, забывая, что уже более полувека отделяет от них и нас, и наши воззрения. Чацкий во всем, что только можно подвести под категории “модного архаизма”, является вполне последовательным выразителем только что очерченного направления». Выходки же Чацкого «против европейского костюма и т.п. могут быть в комедии ни чем иным, как балластом». Из этих слов ясно, что нам, мол, нечего беспокоиться насчет воззрений Чацкого в монологе 3-го действия, ибо это «идеализм двадцатых годов», от которого

* Есть предание, что Пушкин был серьезно озабочен успехом «Горя от ума», так как Чацкий являлся сильным противником Онегину. Князь Вяземский тоже был не вполне доволен комедией, и, как увидим ниже, в его отношениях к Грибоедову играли роль даже какие-то «сплетни». Современники хотели видеть в Удушьеве Ипполите Маркелыче (монолог Репетилова), который сочинил «Взгляд и нечто», именно князя Вяземского с его аристократически-литературными претензиями. Справедливо ли это – решать не беремся. Ко времени создания «Горя от ума» князь Вяземский известен был несколькими стихотворениями и критическими статьями о Дмитриеве, Озерове, которым, пожалуй, и можно было дать название «Взгляд и нечто». – *А. С.*

мы отделены полувеком и насчет которого мы, мол, прозрели. Это написано как бы для примирения либералов, безусловных поклонников Запада, с личностью Чацкого. Вот до какой тонкости доходит забота критиков относительно такого важного лица, как Чацкий, и он действительно заслуживает этой заботы, как увидим далее.

Г. Веселовский далее старается доказать, что Чацкий – «точный портрет Грибоедова» и что «его речей, его стремлений и понять нельзя (???) без помощи постоянного сличения с оригиналом». Из нашего изложения и из самой жизни «Горя от ума» в публике и на сцене надеемся ясно, что Чацкий совершенно понятен и понятны все его стремления без всякого отношения к Грибоедову, как понятны Гамлет и Отелло без всякого отношения к личности Шекспира. Утверждать, что Чацкий – «точный портрет» Грибоедова, – значит намеренно низводить творческое создание на степень «точного портрета», суживать его значение и силу. Бесспорно, всякий автор отражается в своем создании; в драматическом произведении он говорит за своих героев, он направляет их; ничего более противоположного, чем Чацкий и Фамусов, и представить себе невозможно, и, однако, бесспорно все речи Фамусова суть речи Грибоедова, а Фамусов такой же совершенный тип, как и Чацкий. Чем выше талант художника, чем глубже он проникает в душу своих героев, тем они совершеннее выходят. Грибоедов распоряжался душою Чацкого так же свободно и правдиво, как душою Фамусова. Конечно, г. Веселовский это понимает, но, доказав по-своему, что у Чацкого идеализм двадцатых годов – явление случайное, он хочет доказать «сходством» с Грибоедовым, что Чацкий не был провозвестником славянофильства (такой чудесный человек и славянофил!?), а был «лучшим выразителем надежд и стремлений либерализма двадцатых годов». Вот для чего потребовались портретные натяжки и для чего написаны и следующие странные строки: «Пусть строгая теория справедливо укажет промахи в настоящем развитии этого характера в комедии, пусть перечтет неловкие минуты (?), которые заставляет пережить его автор (вроде монолога в

конце третьего акта) и которые как будто *указывают на несколько насмешливые отношения автора к своему герою;* быть может, оттого, что *устами Чацкого говорил он сам, что он не смотрел на него как на нечто вне его находящееся*, он и допустил у себя эти промахи».

Что может быть натянутее и сбивчивее этого объяснения? Такой художник, как Грибоедов, допускает в развитии личности своего героя промахи и противоречия ради того только, что он хотел себя самого изобразить в Чацком! Он заставляет его пережить «неловкие минуты» потому, что это сам автор, как будто герой должен быть таким совершенством, в котором каждый либерал должен признать самого себя и свое совершенство, как будто даже герой-либерал должен переживать только минуты своего торжества, а неловких минут у него и быть не может. И вся «неловкость» заключается, в сущности, в том, что Чацкий говорит в третьем действии не по программе либералов. Стало быть, «неловкость» не перед обществом, для которого он говорил и выше которого он стоял неизмеримо во всяком случае, а перед… программою либерализма!..

Таким образом, г. Веселовский недалеко ушел от Белинского. Белинский старался уничтожить Чацкого за его монолог 3-го действия, а г. Веселовский старается объяснить этот монолог и его противоречия с либерализмом исторически тем, во-первых, что это «идеализм двадцатых годов», и тем, во-вторых, что Грибоедов как будто баловался, «несколько насмешливо» смотря на Чацкого, как на «точный» свой «портрет»…

По нашему мнению, вопрос о том, насколько Чацкий есть «точный портрет» Грибоедова или кого бы то ни было из современников, имеет, конечно, некоторое значение для биографии автора «Горя от ума» и для историко-литературных изысканий о тогдашнем обществе, но он не имеет решительно никакого значения для определения личности Чацкого. Эта личность существовала, существует и будет существовать, как самостоятельный, чисто русский тип, вне личной жизни Грибоедова, в которой и не было случая, положенного в основу комедии. Что Грибоедов вложил в уста Чацкого свои любимые идеи, свой

взгляд на общество – это бесспорно и без всяких указаний всем понятно, но каким образом из этого следует, что Чацкий есть «лучший выразитель надежд и стремлений либерализма двадцатых годов», если из роли его следует исключить все то, что он говорит в монологе 3-го действия, а также кое-что выбросить и из монологов Репетилова, где зло осмеяны теоретики либерализма, кричавшие, что «радикальные потребные тут лекарства – желудок больше не варит», упивавшиеся своим ораторством и запивавшие его шампанским?..

VIII

Скажем несколько слов об этом монологе и посмотрим, какое значение имеет он в личности героя.

Чацкого продолжают мучить, его возбуждают более и более, и, как живой человек, он не может молчать, как не смолчал бы на его месте всякий живой и правдивый человек, среди его обстановки и отношений к нему всех этих лиц,

В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором!..

Разве вся эта орда, усвоившая себе лоск европейского образования, воображающая себя просвещенной, обрившая бороды, одевшаяся по-европейски и выучившаяся болтать по-французски, разве она не в состоянии возбудить желание поучиться у китайцев? Вся сатирическая литература XVIII столетия восставала против этого внешнего лоска, против пристрастия к иностранному без всякого разбора и пристрастия к иностранцам еще с меньшим разбором. Разве не повторяется этого теперь, хотя в меньших размерах? Разве доступ в большой свет, например, какому-нибудь иностранному проходимцу не легче, чем вполне порядочному русско-

му человеку? Разве там не смотрят с благорасположением на всякую иностранную дрянь, а ведь оттуда идет направление, там связи и власть…

У Пушкина в письме к князю Вяземскому (июнь 1826 года) находим следующее любопытное место: «Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. При англичанах дурачим Василия Львовича (Пушкина); пред m-me Stael заставляем Милорадовича отличаться в мазурке. Русский барин кричит: "Мальчик! Забавляй Гекторку" (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Все это попадает в его журнал и печатается в Европе. *Это мерзко.* Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, *но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство*». Чувство Чацкого в данном случае по отношению к тому обществу, среди которого он находится, сходно с чувством Пушкина, хотя оно гораздо выше, как Грибоедов в *то время* был по своему развитию, или, вернее, по цельности своего характера, выше Пушкина. Можно презирать общество и в то же время не хотеть, чтоб оно унижалось перед иностранцами и иностранным, ибо это оскорбляет русского человека, оскорбляет народное чувство…

Кстати. В массе заметок Грибоедова* есть язвительные и меткие выходки против идола либералов, Петра, именно против его презрения к обычаям Руси, к ее истории, к русскому народу; Грибоедову же принадлежит двустишие против Петра, доселе не появившееся в печати. В Петре Грибоедов видел именно излишества того поклонения перед Западом, которое создало беспочвенную, международную интеллигенцию, готовую ломать все родное, обезличивая русского человека и пригоняя его в наружный ранжир европейца. Следующие строки Грибоедова объясняют монолог Чацкого и его характер: «Петр вводит чужие новизны. Царевич Алексей мог любить отечество, и пользу народа, и славу, – и потому пустых немецких нововведений мог не желать». «Преобра-

* «Черновые тетради Грибоедова», статья Д. Смирнова в «Русск. слове». – *А. С.*

жение Думы в Сенат. Отмена формулы: "Государь указал, бояре приговорили"». Чтобы русских приохотить к чтению, Петр велел перевести Пуффевдорфа, который *русских не на живот, а на смерть бранит*». Это оскорбляло Грибоедова*, как русского, и это же чувство он вложил и в своего героя, который возмущается последствиями того ненужного излишества в петровских реформах, без которого дело могло бы стоять лучше и правильнее. Наблюдая эти типы, которые теснились вокруг Чацкого, как было не сказать:

Хоть у китайцев бы нам *несколько занять*
Премудрого у них *незнанья иноземцев.*

«Несколько занять у китайцев незнанья иноземцев» – совсем не значит обратиться в китайцев или отвернуться от Европы. Это значит только, что надо быть самостоятельными, надо переваривать европейское просвещение, а не холопствовать перед иноземцами, перед всей совокупностью их жизни, их быта, их истории и не заимствовать все без разбору. Тот «идеализм двадцатых годов», о котором говорил г. Веселовский, живуч; потеряв многое в своем наружном блеске, он выиграл относительно глубины по мере нашего знакомства с народом и с теми нашими допетровскими учреждениями, которые имели все права на развитие и жизнь, а не на смерть насильственную. Слова Чацкого об одежде, с выводом из них –

Как платья, волосы, так и умы коротки –

независимо от степени раздражения Чацкого вполне понятны и естественны в устах его и нисколько не противоречат сущности его самостоятельной и правдивой натуры. Они дают

* Вот слова современника, очень близко знавшего Грибоедова: «Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ…» *Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове, Ф. Булгарина. СПб., 1830. – А. С.*

ему характер *смелого* русского человека, который так уверен в уме и способностях русского народа и так прочно убежден в силе науки и просвещения, что ни бороды, ни длинное платье наших предков не могли бы помешать нашему развитию. В самом деле, неужели следовало прежде всего стричь, брить и одевать, а потом уже просвещать? Кто возьмет на себя вычислить, сколько труда, денег, забот, административной энергии, внимания, времени, даже крови, да, крови и жестоких, бесчеловечных преследований было потрачено на одежды по европейскому образцу! Кто это вычислит? Кто серьезно станет теперь доказывать, что все это потраченное вознаграждено этими одеждами, введенными к нам как начало якобы просветительное? Ведь прогрессировало же и прогрессирует в просвещении духовенство, оставшееся в древних одеждах. Не говорим уже о греках и римлянах, которые очень странно одевались и, однако, заложили прочные литературные, общественные, просветительные и всякие другие основы для новой Европы… Если Белинский с удовольствием готов был присоединиться к Фамусовым, Загорецким и т.п., чтоб провозгласить Чацкого за этот монолог сумасшедшим, то в наши дни этого уже никто не скажет. Острый период прошел, и нам яснее и яснее Чацкий и глубже, и проницательнее Грибоедова…

IX

Как известно, Грибоедов был классически образованным человеком, почти ученым человеком и, разумеется, человеком убежденным. Едва ли не самый образованный из тогдашних литераторов, Грибоедов не мог без критики относиться к теоретическим идеям либерализма и не мог не сознавать, что русскому человеку, усвоившему европейское образование, надо думать и действовать самостоятельно, вырабатывая свободу лиц, сословий и учреждений собственным умом, сообразно коренным основам русской жизни. Положительную сторону просвещенного, но самостоятельно мыслящего русского человека Грибоедов и представил в Чацком, во всей

его личности, в совокупности всех его идей и убеждений, в его любви к просвещению, к науке, к родине, в его ненависти к крепостничеству, низкопоклонству, грабительству, к бессодержательной либеральной болтовне, к «нечистому духу пустого, рабского, слепого подражания». В Чацком только предубежденные люди могут видеть программного либерала или программного славянофила. Это человек не программный и не партия. Он не ищет формы правительства, совсем не обольщен Европою и на вопрос: «Где лучше?» – отвечает: «Где нас нет». Чацкий – лицо серьезное, выдержанное с начала до конца, и все его речи составляют нечто единое и цельное, без всякого отношения к какой-либо одной партии. Будучи сам цельным человеком, Грибоедов и героя своего сделал человеком цельным, который нигде не противоречит своим основным убеждениям. Монолог 3-го действия не только не есть что-либо противоречащее в речах Чацкого, но *без этого монолога Чацкий был бы не полон*, не был бы вполне русским человеком, способным *пережить* разные веяния и не потерять своего обаяния и через пятьдесят лет. Верный тип познается лучше всего долговечием, и в этом случае все данные истории и современности на стороне Грибоедова.

Гоголь*, говоря о лицах «Горя от ума», замечает, что «прямо-русского типа нет ни в ком из них: не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумении насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование против того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу». Согласиться с этим замечанием невозможно, хотя нельзя ему отказать в самостоятельности. Если даже Чацкий *«показывает только стремление чем-то сделаться»,* то и это уже пример; если он «негодует против того, что презренно и мерзко в обществе», то и это уже образец. Но Чацкий не показывает только стремление – он уже есть то, чем показывает себя, он действует так, как

* «Письма к друзьям». Полн. соб., т. IV, письмо XXXL. – *А. С.*

говорит. Он, конечно, не идеальный русский гражданин, но он заключает в своем уме и сердце все то, чтобы сделаться хорошим русским гражданином. Он человек живой и русский человек, он любит то, что должен любить русский человек, – свое отечество, свой народ, науку, просвещение; он правдивый, горячий и независимый человек. Притом он человек добрый в сущности, ибо «на друзей особенно счастлив», как выражается о нем Софья. Его, стало быть, ценят те, которые его хорошо знают, ценят его живой ум, его способности, его открытый и честный нрав. Были тогда и такие люди, но их не было у врат власти, и не они распоряжались – распоряжались те, над которыми он смеялся или против которых негодовал. Мы ни разу не видим, чтоб он шел на какие-нибудь компромиссы, противоречащие его сердцу или его убеждениям. Он еще очень молод, он честолюбив, самоуверен, но тверд в своих убеждениях, не увлекается ни фразами крикунов, ни фантастическими политическими построениями, ни переворотами; он прошел уже через испытания и вынес их твердо, ни разу не уронив себя. Разве всего этого мало? Зритель не знает, «чем должен быть русский человек», говорит Гоголь. Но такие требования слишком велики от художника и едва ли исполнимы без того, чтоб не вдаться в идеализацию и односторонность программы, как это случилось с самим Гоголем во второй части «Мертвых душ». После такого художественного произведения, как «Ревизор», мы не знаем, чем должен быть русский человек. Достаточно того, что, прослушав комедию Гоголя, мы знаем, чем он не должен быть, а прослушав «Горе от ума», мы знаем в значительной степени и то, чем должен быть русский человек…

Как политическая личность Чацкий схвачен глубоко именно потому, что он не программен, что он не принадлежит ни к какой партии, а как бы соединяет их в себе и господствует над ними, указывая те основания, которые должны быть прежде всего в душе русского человека. Грибоедов предвидел то время, когда образованные русские люди станут действовать самостоятельно и, пользуясь наукой и просвещением Ев-

ропы, не будут забывать, что они русские люди прежде всего, что они связаны и с родной почвой, и с родной историей и что они такой даровитый народ, который может идти вперед твердым и самостоятельным путем.

Что Чацкий оригинальное лицо, а не список с Альцеста мольеровского «Мизантропа», лицо самобытное – доказано вполне тем же г. А. Веселовским, автором «Первоначальной истории *Горя от ума*», в его этюде о «Мизантропе»*, а французом А. Легреллем – в предисловии к его переводу *Горя от ума***. Г. Веселовский, конечно, и тут не вполне отошел от Белинского, называя Чацкого «натурой не цельной», упрекая его, наравне с Альцестом, в излишней горячности и запальчивости; по его мнению, Чацкий «сгоряча является защитником китайской неподвижности (?), старовером, забывая в эти минуты о своих научных и политических симпатиях». Мы видели, что *Чацкого преследуют*, а он только защищается, тогда как Альцест, напротив, на всех нападает сам; мы видели также, что Чацкий совсем не проповедует «китайской неподвижности» и «не забывает своих научных и политических симпатий»; что касается его «староверства», оно входит в его политические убеждения, как часть целого, как признак человека русского, который убежден в том, что не следует разрывать ни со своей национальностью, ни с европейским просвещением. Как цельная политическая личность, Чацкий решительно выше… всех героев Тургенева, выше и живучее… Все они сошли или сходят со сцены, Чацкий продолжает жить полною жизнью, как представитель благородных человеческих стремлений и национального развития.

Нам осталось рассмотреть, что такое «Горе от ума», – сатира или комедия, и сказать несколько слов о том, какие трудности представляет личность Чацкого при исполнении на сцене.

---

* Этюды о Мольере. Мизантроп. Монография Алексея Веселовского. М., 1881. – *А. С.*

** Le Molheur d’avuir de l’esprit (Gore oto ouma), trad. par A. Legrelle, Moscou, 1885. – *А. С.*

X

Мелочные придирки к комедии Грибоедова не ограничивались всем тем, что сказали мы доселе. Подняли чисто схоластический вопрос: комедия ли «Горе от ума», или сатира? И этот вопрос решил Белинский против Грибоедова, хотя признает в нем «исполинскую силу таланта», лица его считает «типическими», характеры – «художественно созданными». Но «Горе от ума» «неизмеримо, бесконечно ниже “Ревизора”». Уж эти поистине смешные и курьезные измерения достоинства комедии посредством «неизмеримого» и «бесконечного» говорят о предвзятом взгляде критика. «“Горе от ума”, – продолжает Белинский, – не есть комедия, по отсутствию, или, лучше сказать, по ложности, своей основной идеи; не есть художественное создание, по отсутствию самоцельности, а следовательно, и объективности». «Горе от ума» – «сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением». «Горе от ума», «в его целом, есть какое-то уродливое здание, ничтожное по своему назначению, как, наприм., сарай, но здание, построенное из драгоценного паросского мрамора, с золотыми украшениями, дивного резьбою, изящными колоннами». «Горе от ума» – «недоносок», «произведение слабое в целом, но великое своими частностями». Отсюда ясно, что статья Белинского – амальгама восторженного поклонения перед красотами «Горя от ума» и такого же восторженного унижения этой комедии и мелочных придирок. Это не спокойный анализ критика, в котором, выражаясь его же словами, «разумный опыт жизни и благодетельная сила лет уравновесила волнования кипучей натуры», а лирические порывы публициста, выраженные огненною речью, которая захватывает не столько ум, сколько сердце читателя.

В самом деле, Белинский и в этом случае употребил доказательства столь же мало веские, как и в разборе личности Чацкого. Для доказательства малой объективности Грибоедова он указывает, что и Фамусов, и Софья, и Молчалин изменяют своим характерам, потому что говорят иногда «эпиграм-

мы на общество». «Мало этого: сам Скалозуб острит, да еще как!», и Белинский приводит его рассказ о княгине Ласовой, «наследнице-вдове», которая расшиблась в пух:

Теперь ребра недостает,
Так для поддержки ищет мужа.

По мнению Белинского, и Фамусов, и Скалозуб «слишком глупы», чтоб говорить остроты и эпиграммы. Мнение как нельзя более узкое. Всякий человек, сжившийся со своим обществом, приобретает коллективный ум этого общества и делается настолько умен, что может говорить и остроты, и эпиграммы, когда они не выходят из круга его воззрений. Мы иногда поражаемся меткими замечаниями извозчика, бабы, лакея, и эти замечания вылетают из их уст, как нечто весьма обыкновенное, чему сами они не придают никакого значения. В беглом разговоре какой-нибудь весьма обыкновенной дамы и весьма обыкновенного офицера мы слышим иногда и остроумие, и эпиграммы, когда дело касается у них злоречия, сплетен, любовных шашней. И Скалозуб по-своему умен и остроумен, так сказать, умом и остроумием своего кружка, и Лиза справедливо говорит о нем:

Шутить и он горазд – ведь нынче кто не шутит.

О княгине Ласовой он мог рассказать именно так, как это стоит в комедии, потому что случай этот вполне входит в программу разговоров таких лиц, как Скалозуб, в программу офицерских шуток и офицерского остроумия. Фамусов же гораздо умнее его, и если мы предположим, как доказывали это в начале нашей статьи, что свой монолог о Москве он говорит и с целью понравиться Скалозубу, и с целью уязвить Чацкого, то весь этот монолог – верх художественного создания, вполне отвечающий личности Фамусова, изображаемой с художественною объективностью. О Софье и говорить нечего: она вовсе не глупая женщина, и ее речи не противоречат правде ее характе-

ра и положения в течение всей комедии. «Но нигде, – говорит Белинский, – субъективность автора не проявилась так резко, так странно и так во вред комедии, как в очерке характера Молчалина, который он заставляет делать самого же Молчалина:

Мне завещал отец,
Во-первых, угождать всем людям без изъятья, и проч.

«Скажите, Бога ради, – продолжает критик, – станет ли какой-нибудь подлец называть себя при других подлецом? Ведь Молчалин глуп, когда дело идет о чести, благородстве, науке, поэзии и подобных высоких предметах; но он умен, как дьявол, когда дело идет о его личных выгодах… Так кстати ли ему давать оружие на себя горничной, так простодушно хвастаясь своей подлостью?» По-видимому, это справедливо, но только по-видимому. Припомните, что Фамусов рассказывает о своем дяде, Максиме Петровиче, которому на куртаге случилось оступиться, и сопоставьте общественное положение Фамусова и Молчалина. Если Фамусов мог приводить пример холопства, за который его дядя был так отличен, – а что он мог приводить этот пример с готовностью ему последовать, в этом не может быть сомнения, то почему же Молчалин не мог подражать своему господину в разговоре с Лизой и хвастаться своею угодливостью? Понятия, высказанные им, были ходячими; он высказывал их как маленький человек, прокладывающий себе дорогу, почти как раб, зависящий от своего господина и обязанный угождать всем в доме; он высказывал это Лизе, которая сама, как раба, эту философию отлично понимает и даже отчасти и сама ее практикует. Кроме того, примите во внимание, что Молчалин, сообразно своему положению в *ту минуту*, то есть натурально в *ту минуту*, заигрывает с ней, и его откровенность заигрывающая, ласковая, захлебывающаяся, почти бессознательная*. Он чувствует

* Ни один актер, исполнявший роль Молчалина, не выражал такого состояния души Молчалина, ибо ни один порядочно не исполнял этой роли и не вдумывался в нее. – *А. С.*

свою близость к такой же слуге, как и сам, и инстинктивно желает привлечь ее как бы равенством положений и средств держаться в жизни и равенством натуры. Два сапога – пара... А эта «печальная краля», т.е. Софья Павловна, ее и обнять-то страшно. Все это, нам кажется, говорит против Белинского и отнимает у его доводов всякую силу.

Мы, впрочем, не можем утверждать, что в комедии совсем не сказывается субъективность автора, что лица его совсем не говорят «языком автора». Но если б разобрать «Ревизора», которого Белинский ставит «бесконечно выше» «Горя от ума», с такой же придирчивостью, какую он прилагает к комедии Грибоедова, то и в «Ревизоре» мы нашли бы эту субъективность в «языке автора». Белинский решительно знать не хотел, говоря о «Горе от ума», что некоторая субъективность комедии зависит от драматической формы, менее свободной, чем эпическая. Если б с этой точки зрения Белинского посмотреть на Шекспира, то и у него много лиц надо бы признать фальшивыми, ибо эти лица не могли высказывать тех высоких мыслей и тем образным языком, каким заставляет их говорить Шекспир. Трагедии его пришлось бы считать не художественными созданиями, а тем «сараем из драгоценного паросского мрамора, ничтожным по своему назначению», с которым сравнил Белинский «Горе от ума»…

Это сравнение даже понять нельзя. Пусть «Горе от ума» будет этим сараем, но каким образом оно «ничтожно по своему назначению»? Назначение-то его именно высокое и поучительное. Но сарай этот и эта «ничтожность по назначению» Белинскому понадобились для того, чтобы убедить читателя таким корявым сравнением в том, что в комедии нет идеи или что эта идея ложная. Как же он это доказывает? Очень просто. Могут возразить, говорит он, что идея в комедии есть – «противоречие умного и глубокого человека с обществом, среди которого он живет». Но Белинский отрицает, чтоб общество состояло все из таких людей, как Фамусовы, Молчалины, Софьи, Скалозубы и проч. «Эти люди не были представителями русского общества, а только представителями одной стороны

его, следственно, были другие круги общества, более близкие и родственные Чацкому. В таком случае зачем же он лез к ним, а не искал круга более по себе? Следственно, противоречие Чацкого случайное, а не действительное; не противоречие с обществом, а противоречие с кружком общества. Где же тут идея?» и т.д., о том, что такое «конкретная идея» и какой это «крикун, фразер, идеальный шут» Чацкий…

Теперь даже странно опровергать такие натяжки. Мы имеем уже целую литературу мемуаров о двадцатых годах и очень хорошо знаем, что хотя *все* общество не состояло из одних Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных и проч., но в существе дела все эти собирательные лица представляли собою именно общество, а не кружок; нравы, привычки, воззрения, общественные и семейные идеи, которыми живут лица Грибоедова, – все это *типические* нравы, обычаи, воззрения и идеи того времени. Если б поскоблить людей получше Фамусовых, Молчалиных и проч., то и в них мы нашли бы немало фамусовского, молчалинского, репетиловского и проч. Возьмите даже такое лицо, как Сперанский, после его возвращения из ссылки, и посмотрите, не мало ли молчалинского элемента у него в отношениях своих к Аракчееву, например. Да, теперь нельзя уже сомневаться, что огромное большинство тогдашнего общества было именно таково, каким оно представлено в «Горе от ума»; общественное мнение, сила и власть были именно за людьми подобного рода, а вовсе не за «кружком» каким-нибудь. «Кружок» составляли не эти лица, а те, которые были подобны Чацкому или сочувствовали более или менее его воззрениям, его протесту. Стало быть, несомненно, что Чацкий являлся противоречием *обществу*, а не кружку. Почему он «лез» в это общество, тоже понятно, естественно и было неизбежно. Он воспитался в нем, он принадлежал к нему по своим связям и рождению, он любил девушку, жившую в этом обществе. Он сам не думал, что три года разлуки так отдалят его от этого общества: так он сам вырастет и так это общество постареет. Чацкий был не одинок, у него был и свой круг, он искал друзей и находил их, у него была «связь с министрами, потом разрыв».

Поэтому он являлся представителем кружка, бойцом за новые идеи, за новую жизнь, и противоречие его было действительное, а не случайное, как не случайна борьба нового со старым. Считая Чацкого, в комедии изображено *все* общество, все его главнейшие течения, насколько это возможно в драматическом произведении. Борьба новой жизни со старой – это ли не «конкретная идея?» Это ли не идея достойная комедии, дающая ей целостность, гармонию, силу, вечную живучесть?..

«Когда в произведении искусства нет основной идеи – то и характеры действующих лиц не могут быть верны, по крайней мере все», – говорит наш критик далее. Поставив фальшивое положение относительно «идеи» пьесы, он начинает говорить о характерах с тою мелкою придирчивостью, образчики которой мы уже представили.

Таким образом, основное положение Белинского, что в комедии нет идеи, а потому «Горе от ума» будто бы не комедия, а сатира, не художественное произведение, – падает само собою, падает уж на основании изучения мемуаров двадцатых годов и устранения из разбора Белинского того предвзятого публицистического задора, которым преисполнена его критика, и того неверного освещения лиц, которое иногда просто бьет своей фальшью, предубеждением, понятным всякому беспристрастному читателю. «Горе от ума» – превосходная комедия, блестящее художественное произведение с такой вековечной идеей, как ни одна из русских комедий…

XI

Князь Вяземский посвятил комедии Грибоедова три странички в своем «Фонвизине», вышедшем в 1848 г. (5 том «Полного собрания сочин. кн. Вяземского»). «Буду говорить о сей комедии беспристрастно, – начинает он, – моя откровенность тем свободнее будет, что она не связана прежними обстоятельствами. Я любил автора, уважал ум и дарования его; вероятно, я один из тех, которые живее и глубже были поражены преждевременным и бедственным концом его, но сам автор знал, что я

не безусловный поклонник комедии его; вероятно, даже в глазах его *умеренность моя сбивалась на недоброжелательство* по щекотливости, свойственной авторскому самолюбию, и по сплетням охотников, всегда ищущих случая разводить честных людей». Уж это предисловие ничего не обещает хорошего, ибо от него веет фальшью. Кто беспристрастен, тот не предваряет о своем беспристрастии, как о некоторой милости или снисходительности, да еще к такому гениальному писателю, как Грибоедов; наконец, можно быть беспристрастным и выражать ложные мнения; он «глубже и сильнее многих был поражен» смертью Грибоедова, но если это так, почему же он не оставил какого-то следа этого своего чувства ни в журналистике, в которой принимал участие в момент смерти Грибоедова, ни в своих стихотворениях, из которых столь многие обязаны разным «случаям», «на смерть» и т.п., ни в своей «Записной книжке», куда вносилось так много всяких мелочей, слухов, впечатлений? Почему это так случилось? Грибоедов мог заключить, по мнению самого же князя Вяземского, что «умеренность» последнего «сбивалась на недоброжелательство», что были «сплетни», разводившие их. Не играло ли роль в этом молчании князя о Грибоедове именно это «недоброжелательство»? Не сказалось ли оно и в его критике 1848 года, почти двадцать лет после смерти Грибоедова? Во всяком случае, князь Вяземский повторил в своей критике отчасти Белинского, отчасти М. Дмитриева, этого родоначальника всех нелепостей о нашей превосходной комедии, хоть раз и назвал его в своей «Записной книжке», в отличие от его дяди, И. И. Дмитриева, Лже-Дмитриевым. Мы имеем основание утверждать, что дружба Грибоедова с Булгариным играла немаловажную роль в этих отношениях либеральных и высокопоставленных авторов к Грибоедову и его произведению. Как ни странным это может показаться, но в истории русской литературы можно найти еще более странные случаи, еще более несправедливые предубеждения*.

* Отношения Грибоедова к Булгарину и к тогдашним литературным кружкам заслуживали бы особого разбора. В нашей литературе этим вопросом никто еще не занялся. – *А. С.*

Мы говорили уже о ложной характеристике Чацкого, сделанной князем Вяземским, и не возвращаемся к ней более. Комедию он признавал «неправильною», но «живою»; она «в целом не довольно обдуманная, в частях и особенно в слоге часто худо исполненная»; «если она (комедия) не лучшая сатира наша в литературном отношении, потому что небрежность языка и стихосложения (?) доведены в ней до непростительного своеволия (??), то по крайней мере она сатира, лучше и живее всех обдуманная». «Действия в драме (в «Горе от ума»), как и в творениях Фонвизина, нет или еще и менее. (Странная фраза: действия менее, чем «нет»). Здесь почти все лица эпизодические (?), все явления выдвижные (??): их можно выдвинуть, вдвинуть, переместить, пополнить *и нигде не заметить ни трещины, ни приделки»*. Вы думаете, что этот решительный отзыв подтверждается какими-нибудь доказательствами, что критик показал, что можно выдвинуть, вдвинуть, переместить, пополнить, и привел читателя к убеждению, что от таких приемов над комедией не осталось «ни трещины, ни приделки»? Ошибаетесь. Все это сказано, как нечто решительно авторитетное, не требующее ни доказательств, ни сомнений. Но пусть в самом деле кто-нибудь попробует принять «почти все лица» комедии за «эпизодические», пусть кто-нибудь попробует принять не только «все явления», но хоть некоторые за «выдвижные» и начнет их выдвигать, перемещать, пополнять, и пусть найдется хоть один мыслящий читатель, который «не заметит ни трещины, ни приделки». Князь Вяземский был человеком умным, острым, образованным, но если бы он попробовал эту операцию над каким-нибудь лицом или явлением, то тотчас же заметил бы, что его приговор лишен всякого здравого и эстетического смысла.

О «небрежности стихов, доведенной до непростительного своеволия», мог говорить только человек, придающий значение какой-то «правильности», не страшившийся, очевидно, ни от условных общепринятых форм и лиц французской комедии, ни от условного языка ее. Доказательство этого мы найдем в самых сочинениях князя Вяземского, который постоянно охраняет немножко староватый слог и староватые литературные

приемы и, очевидно, щеголял этим архаизмом, как щеголяют некоторые баре старым покроем платья. Впрочем, мнения князя Вяземского так спутаны и так противоречивы, что можно только удивляться тому, что, напр., г. Галахов принимает некоторые из них за нечто неоспоримое. В комедии «нет движения», «нет правильности», но в ней «есть жизнь», «она дышит, движется»; в комедии есть «странности», т.е. нарушения старых традиций, но «самые странности эти достойны внимания», ибо они «расширяют границы самого искусства». Видишь не критика, не исследователя, а именно человека предубежденного, который *старается* показать беспристрастие и потому говорит несообразности.

Г. Веселовский повторяет почти дословный отзыв Белинского относительно недостатков «Горя от ума» как комедии*. Зато наш известный романист Гончаров в статье своей «Мильон терзаний» прямо говорит, что пьеса Грибоедова «есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и, скажем сами за себя, – больше всего комедия – какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех высказанных условий… В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективной законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю». Авторитет Гончарова мы имеем и за то, что «пьеса в высшей степени сценична». К ее сценичности мы и перейдем.

XII

Белинский признавал, что «Горе от ума» во всех отношениях выше «Недоросля», стало быть, и в сценическом. Князь Вяземский находил, что «действия» в «Горе от ума», как и в

---

* См. его предисловие к изданию «Горя от ума» в «Русской библиотеке» г. Стасюлевича. В позднейшем своем труде, «Этюды о Мольере», который мы цитировали выше, он говорит об этом уже мягче. – *А. С.*

«Недоросле», «нет или еще менее». Гоголь говорил о сценичности обеих комедий вместе, не разделяя их одну от другой.

«Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц… Если б они (авторы) заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре – это были бы два высоких произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выражения, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов».

Гоголь ошибался в корне уже потому, что не отличает сценические условия «Горя от ума» от таковых же «Недоросля», тогда как между ними большая разница. Фонвизин строго держался ложно-классических условий и подчинил им действие. У него Милон, Софья и Стародум – сотое повторение совершенно таких же лиц французских комедий, лиц условных, в сценическом отношении ничтожных и затягивающих действие. «Недоросль» кончается свадьбой – точно так же, как это принято было в той же ложно-классической литературе и чему считал необходимым подчиниться Мольер даже в такой общественной комедии, как «Мизантроп». Фонвизин сохранил все условные три единства. Грибоедов явился новатором во всех отношениях: подчинив действие основной идее пьесы, он едва ли не первый из русских писателей комедий в стихах нарушил единство места*, первый выбрал

* Наши драматические писатели рабски следовали правилам французского театра, как относительно трех единств, так и всего прочего условного вздора. Когда Корнель в своей комедии «La Veuve» нарушил единство времени и места, ему досталось за это от критиков. Бомарше тоже не соблюл всех единств. Вплоть до первых проявлений романтизма в начале двадцатых годов три единства соблюдались во Франции, а на нарушения их критика смотрела как на нарушения законов искусства. Все авторы комедий времен Грибоедова, Загоскин, Шаховский, Кокошкин, сохраняли эти единства и писали тяжелым шестистопным ямбом. – *А. С.*

самый естественный стихотворный размер, первый, вместе с Крыловым, заговорил действительно настоящим русским языком, живописным в своей разговорной неправильности, быстрым, точным и ярким, патетически прекрасным в лирических монологах Чацкого. Он первый взял такую широкую общественную задачу и, соединив частную интригу с общественной, первый окончил комедию логически, выбросив своего героя из старой жизни и покрыв негодующим смехом представителей ее. Гоголь в «Ревизоре» следовал образцу, данному Грибоедовым, совсем подчинив частную интригу общественным задачам; развязка «Ревизора» имеет большое сходство с развязкой «Горя от ума». Как там Городничий остается в дураках и каменеет при известии о приезде «инкогнито», так тут остается в дураках Фамусов и с ужасом думает, что скажет княгиня Марья Алексеевна, своего рода также «инкогнито». Но развязка «Горя от ума» глубже действует на обыкновенного зрителя: он оставляет театр не с веселым только смехом, как в «Ревизоре», но у него остается еще и негодование против этих «гонителей» ума, «в вражде неутомимых». Говоря, что ничтожная французская пьеса выше в сценическом отношении «Горя от ума», Гоголь, очевидно, принимал плохое исполнение комедии, что так традиционно поддерживается на нашей сцене вплоть до наших дней, за отсутствие сценичности. Не говорим уже о том, что во времена Грибоедова французская комедия имела только одну пьесу, которая предупредила ее и могла соперничать в сценичности с русской, – именно «Женитьбу Фигаро»; только со времени Скриба[4] сценическая техника французов стала развиваться и, кажется, угрожает поглотить собою существенные стороны комедии: так дом, над внешним видом которого чрезмерно стараются, теряет внутренние удобства. Полное освобождение Грибоедова от традиций французской комедии было одной из причин той литературной вражды, в которой приняли участие и такие образованные люди, как князь Вяземский. Плохое исполнение комедии, жалкая обстановка ее утвердили за ней репутацию несценичности. На самом деле в сценичном

отношении у нее доселе остается только один соперник – «Ревизор». Ни в одной комедии, исключая последнюю, нет такого блестящего по движению акта, как первый акт «Горя от ума». Комедия прямо начинается с действия, узел ее завязывается тотчас же, и так завязывается, что в первом же акте пред зрителем ярко поставлены все действующие лица и определены их взаимные отношения. Второй акт менее сценичен, но зато он в монологах Чацкого и Фамусова характеризует несколько десятков лет нашей общественной жизни и поднимает интерес зрителя до интереса яркой общественной сходки, где два оратора соперничают между собой. О сценичности третьего и четвертого акта, кажется, нечего говорить. Если в начале третьего акта любовная интрига уже достаточно исчерпана и не может держать зрителя в напряжении, то является общественная интрига, является неожиданно, среди бала и блеска, в форме провозглашения Чацкого сумасшедшим. Комическое в его высшем развитии, в лице общества, и трагическое в лице Чацкого так резко становятся друг против друга, что интерес зрителя вырастает до высшей степени. Четвертый акт, сцена разъезда, по сценической смелости для своего времени и по движению в нем для всякого времени может быть причислен к самым живым и самым логическим актам в комедиях всей европейской литературы. Замечательно, что люди, говорившие о малой сценичности «Горя от ума», никогда не приводили доказательств, а ограничивались несколькими словами, в виде бесспорного положения, точно это какая-нибудь аксиома и точно дрянное, часто лишенное смысла исполнение на театре пьесы не вредит ее сценичности, не искажает ее.

Кончаем и не можем не вспомнить странной судьбы «Горя от ума». М. Дмитриев, посредственный литератор из консервативного лагеря, первый бросил в нее камень, и, по странным предубеждениям, его слова без всякой поверки повторялись такими писателями, как Белинский, князь Вяземский и др. Дирекция Императорских театров получила «Горе от ума» *даром*, наполняла доходами от представлений ее свою кассу и доселе не считает необходимым хорошо поставить и

обставить лучшими силами превосходную русскую комедию. Чиновники дирекции даже не отпраздновали день 30-летия. Очевидно, все это господа, которые «служат делу, а не лицам». Не говорим уже о том, что несколько десятков лет комедия являлась в печати со значительными пропусками. Итак, критика, цензура, литераторы, театральная администрация – все смотрели более или менее косо на одно из совершеннейших и чудеснейших созданий русского гения. Только толпа, публика не принимала в этом гонении участия, выучив комедию наизусть и забывая в театре усвоенные по учебникам в школе мнимые ее недостатки, забывая их перед очевидной прелестью комедии, перед ее сатирой, ее остроумием, ее благородным и возвышенным патриотизмом, до которого когда-либо возвышался русский писатель! Публика сразу поняла комедию Грибоедова, сразу оценила, пронесла через поколения, через литературные пристрастия и веяния, как драгоценный перл, и воздвигла Грибоедову памятник в своем уме, в своем сердце. Эта же публика воздвигнет когда-нибудь автору «Горя от ума» памятник вещественный, как воздвигла она Пушкину…

А. С. ПУШКИН

Кое-что о Москве и провинции

Быть может, возвращаться к пушкинскому празднику теперь поздно, но мне думается, что есть несколько вещей, о которых не говорилось в светлые дни праздника, но о которых теперь сказать должно. Я опоздал со своим отчетом потому, что был увлечен из Москвы на Волгу, в Ярославль, Кострому, Нижний. В первый раз в жизни увидел я мать русских рек, кормилицу пол-России. Для русского человека вовсе не диво съездить несколько раз в Европу, исколесить ее в разных направлениях, поплавать по Эльбе, по Днепру, по Рейну, по

Сене и умереть, не увидев Волгу. Случай толкнул меня, и я не жалею о тех днях, которые провел в приволжских городах и на пароходах, рассекавших широкую поверхность могучей реки. Свои впечатления, веселые и грустные, да позволят мне читатели рассказать, начиная некоторыми подробностями пушкинского праздника.

Я имею основание думать, что он устроился сам собою, а вовсе не благодаря распорядителям. Его устроило одушевление, разом охватившее всех, охватившее всех неожиданно для всех и каждого, заставившее многих плакать теми слезами радости, восторга и умиления, которые для чиновного петербуржца совсем непонятны – и для всех тех, которые не присутствовали на открытии памятника. Слезы выступали на глазах таких людей, которые еще вчера иронизировали, еще вчера готовились ко дню открытия с полным равнодушием. В течение нескольких дней сотни тысяч народа перебывали у памятника и стояли около него толпами. Народ, конечно, недоумевал, за что такая честь штатскому человеку. Многие крестились на статую. Спустя две недели, кажется, установилось мнение, что человек этот «что-то пописывал, но памятник ему за то поставлен, что он крестьян освободил». По крайней мере, я слышал это от многих простых людей и, разумеется, не разуверял.

Да, никто не ожидал, что так выйдет! Думали, что выйдет по старым образцам, что будет маленькое торжество, которому официальные лица придадут некоторую импозантность. А вышел «на нашей улице праздник», как удачно выразился Островский за литературным обедом. И этот праздник необыкновенно повысил нервы не только участников, не только интеллигентных зрителей, но даже самых простых смертных. Масса сплетен, ходивших до праздника, разом исчезла, самолюбия маленьких людей, не на шутку было разыгравшиеся, стушевались совсем, и всякий почувствовал себя на своем месте, всякий почувствовал себя участником в каком-то серьезном деле, которое должно еще иметь свои благотворные результаты.

Благодаря, однако, неожиданности всего этого, в празднике не приняла участия вся Россия, как бы следовало; боль-

шинство земств, дворянских собраний, корпораций городских, адвокатских, педагогических не только депутатов не прислали, но не прислали и телеграмм поздравительных. Не стоит, мол, беспокоиться о таких пустяках, благо никто к тому не принуждает и ни от одного министерства не было официальных распоряжений. Резон, как видите, очень достаточный с нашей обыденной точки зрения. Зато когда газеты разнесли вести о празднике, как многие сожалели о том, что не попали в Москву! «Если б знать было», – говорили они. Вести проникли даже в монастыри. Игуменья женского монастыря в Костроме, у которой мы с С. В. Максимовым[1] и двумя-тремя знакомыми пили чай, очень интересовалась праздником и по поводу его вспомнила покойного митрополита Филарета.

– Однажды он говорил мне, что св. Сергий шел к народу на помощь, – народ идет теперь к нему. Так и к Пушкину пришел теперь народ, вероятно потому, что он помнил о нем и заботился.

Очень хорошее замечание. Игуменья, впрочем, большая умница и, конечно, успела уже прочесть слово московского митрополита, сказанное перед открытием праздника. Это теплое слово как бы разрешало и монашествующей братии высказывать свое мнение насчет светского поэта, и она высказала его так глубоко…

Председатель Общества любителей российской словесности, г. Юрьев[2], был едва ли не первым усердным деятелем по части устройства пушкинского празднества. Он забыл даже свою обычную рассеянность, своего Шекспира и Лопе-де-Вегу и бросился хлопотать о зале для заседаний. Приезжает в университет к ректору, г. Тихонравову[3]. Так и так, говорит, нельзя ли университетскую залу для этого утилизировать? Г. Тихонравов думает и говорит, что университетская зала и плоха, да и сам он, ректор, по всей вероятности, не будет в Москве во время празднества. Ведь оно будет чем-нибудь незначащим и пройдет так же незаметно, как в Петербурге дождь. Конечно, он этого выражения не употребил, но отнесся к празднеству с тем чувством, которое было обще многим, если не всем, т.е. что

толку из него никакого не выйдет. Г. Юрьев едет тогда к предводителю дворянства: так и так, граф, хотим праздновать благоприятеля и в некотором роде родственника, а залы не имеем. Не соблаговолите ли залу Дворянского собрания уступить на сие торжество литераторам? – Граф Бобринский[4] сейчас же собрал дворянство и говорит: «Господа дворяне, важный вопрос, наконец, предложен нам на свободное наше решение». Господа дворяне навострили уши, одни добродушно, другие, более опасливые, с сомнением – не предложение ли жертвовать на пользу отечества? Когда открылось, что дело действительно идет о жертве, и даже на пользу отечества, но при этом без всякой жертвы, все высказались единогласно: отдать залу…

Хвала дворянству… Не так поступил театр. Там вышли пререкания и споры из-за костюмов для Самарина[5], который хотел сыграть «Скупого рыцаря»; дирекция не хотела давать ни декораций, ни костюма, и едва ли дело не дошло до генерал-губернатора и даже министра. Против г. Самарина образовалась какая-то партия из артистов, и были счеты самолюбий. Дрянно, одним словом, но Петербург разрешил и костюмы, и декорацию. Хвала Петербургу…

Началось некоторое волнение между московскими любителями словесности. Некоторые из них вообразили, что будут праздновать собственно не Пушкина, а их, любителей, что это будет преотличный случай заявить о величии самих себя. Эта мысль стала вдохновлять. Юрьев торжествовал, одержав победу над залой Дворянского собрания. Но друзья его задумались: а что если он, по своей забывчивости, станет праздновать годовщину «Овечьего источника», испанской пьесы, им переведенной? От него можно всего ждать – выскочит и начнет: «Господа, мы, современные испанцы, живущие в Мадриде, празднуем сегодня знаменитого соотечественника нашего»… Нет, ему необходимо назначить полицмейстера, который станет распоряжаться и твердо помнить, о ком и о чем идет дело. Назначили полицмейстером г. Поливанова[6]. Выбор был необыкновенно удачен. Человек средних лет, с бегающим взором, с физиономией, вечно озабоченной составле-

нием хрестоматии – то для старших классов гимназий, то для младших, хрестоматии плохой, а потому ходкой, г. Поливанов очень идет к этой роли, думали друзья г. Юрьева: необходимо только втолковать ему, что дело идет о той же хрестоматии, но только для взрослых и с тою разницей, что надо не обирать писателей, а вежливо их группировать. Пусть он думает, что составляет хрестоматию с этой целью – не надо обременять его головы – и тогда дело пойдет отлично. Эта мысль так увлекла друзей г. Юрьева, что г. Поливанов получил председательство в особой комиссии, которая должна была разослать приглашения на праздник, заказать обед, составить программу чтений и проч. К сожалению, г. Поливанов не понял своей роли: он вообразил, что назначен начальником литераторов и что составление хрестоматии, или, иными словами, получение доходов с чужого имения, дает ему право свысока относиться ко всем тем, кто имел до него какую-нибудь нужду; он тщательно заботился даже о том, чтоб кто-нибудь не вздумал не признать в нем начальство, полицмейстера от общества любителей. Я не видел ни одного литератора, который бы не посетовал на этого распорядителя. Даже самый просвещенный и самый знаменитый из них после одного заседания комиссии, состоявшей из 6–7 человек, где г. Поливанов резко прерывал всех, точно дело происходило в парламенте из 600 человек, сказал о нем: «Поливанов – совсем невоспитанный человек». Благодаря сознанию им своего начальственного достоинства произошел первый «случай» с г. Катковым. Комиссия решила не посылать ему, как редактору «Моск. вед.», билета; решено это было, говорят, без члена оной, проф. Ковалевского, который, кстати сказать, походит издали на Гамбетту величавой постановкой своего корпуса, зависящей, со своей стороны, от очень солидного брюха, которым Господь наградил этого ученого. Г. Поливанов своей властью послал билет. В следующем заседании это происшествие произвело смуту; г. Ковалевский поставил вопрос резко: «Или я, или Катков». Грозная эта постановка смутила даже г. Поливанова, и г. Юрьев написал послание к Михаилу Никифоровичу,

объясняя, что билет ему был послан по ошибке. Этот случай произвел в Москве смех над г. Юрьевым; некоторые из видных москвичей-литераторов возмутились; им отвечали, что нельзя же «всякого» приглашать, особенно такого, который назвал журналистов «мошенниками пера». Но ведь он не называл так Пушкина, – возражали возмутившиеся, – напротив, он написал о нем одну из лучших критических статей; а ведь Пушкина празднуют, и вы не смеете, по поводу Пушкина, мстить за кого бы то ни было; Катков не называл так ни Тургенева, ни Достоевского, а уж если кого будут праздновать еще на этом празднике, то их. Как бы то ни было, нашлись и такие умники, которые находили, что комиссия совершила «гражданский подвиг». Как видите, гражданские подвиги совершать в Москве очень легко, и, вероятно, распорядители готовились к дальнейшему совершению таких же подвигов, чтоб окончательно прославить свое гражданское мужество, но то общее одушевление, которое охватило всех в день открытия памятника, смахнуло все эти поистине «миленькие» препирательства…

Позвольте вернуться назад. Когда началась агитация в газетах по поводу пушкинского праздника, когда, благодаря г. Юрьеву, зашевелились москвичи, когда стали называть большие имена писателей, желавших присутствовать на празднике, проснулась московская дума и началось соревнование. Г. Тихонравов приготовил торжество в университете, дума приготовилась обедать и угощать; пока, впрочем, не приезжал городской голова, пока товарищ его, г. Сумбулов, правил – толку выходило мало. Г. Сумбулов все как-то не хотел признать праздника и старался подставить ему ногу. Бывают такие странные люди, которые вдруг, ни с того ни с сего, начинают показывать, что они нечто.

– Умный человек этот г. Сумбулов? – спросил некто у одного москвича.

– У него брат умный человек, мы потому его и выбрали…

– По брату?

– Да, по брату…

Счастливый своим братом, г. Сумбулов даже на остроумие пустился: на одном знамени поставил «присяжных поверенных, общество водопроводов и еврейское общество». Только накануне праздника гг. адвокаты освободились от такого странного совмещения корпораций. Курьезнее всего то, что дума и Общество любителей совсем забыли типографии и книгопродавцев. Общество водопроводов, общество ассенизации фигурировали на знаменах, книгопродавцы, типографщики, наборщики отсутствовали. Это уж чисто по-сумбуловски и по-генеральски. Вообще же г. Сумбулов был как раз под пару г. Поливанову: так же чудесно пугал и так же показывал всем, что он начальство. Не явись вовремя голова, московская дума, вероятно, наврала бы с три короба…

Отсутствие на празднике графа Л. Толстого известно. Тургенев ездил к нему в имение приглашать. Граф Толстой выслушал его и нашел, что все это комедия. Вероятно, Тургенев когда-нибудь расскажет об этом свидании с обычным нравоучением…

Вы знаете случай с г. Катковым на думском обеде. Сказав хорошую примирительную речь, он обратился с бокалом к Тургеневу, а Тургенев «слона-то и не приметил», т.е. он приметил, но сделал вид, что не приметил. «Голос» воспользовался этим случаем, чтобы наговорить всякого вздора, который возмутил решительно всех, не исключая, конечно, Тургенева, и Катков явился жертвой, явился человеком обиженным, оскорбленным даже в глазах тех, которые смотрели на него, как на своего заклятого врага. До получения телеграммы «Голоса» в Москве об этом случае говорили слегка: в самом деле, слишком недавно «Московские ведомости» поместили письмо г. Маркевича, которым Тургенев имел полное право обидеться и даже не забыть; но это было его личное дело, на которое мало кто и внимания обратил. Но телеграмма возбудила общее негодование, которое, конечно, видел и слышал сам «каменный гость» русской литературы, г. Краевский, столь много лет ползавший перед Катковым и за Катковым, как самый услужливый и льстивый раб. То же самое, как оказалось, было и в Петербурге.

Одно очень высокопоставленное лицо в Петербурге, прочитав телеграмму «Голоса», сказало: «По поводу такого прекрасного праздника – и такая гадость» (по-французски было сказано: «ça pue»). Г. Катков, таким образом, решительно выиграл, благодаря этой грубой и пошлой выходке «каменного гостя», который всюду торчал неподвижно и молчаливо обдумывая удар, который пришелся как раз по лицу самого «каменного гостя» и его прислужника. Негодование, высказанное этой выходкой, уже говорило о том высоком настроении, которое господствовало, о том такте, который решительно ни разу не был нарушен ни на обедах, ни в собрании Общества любителей. Выходка показалась дрянною, низменною, лакейскою, оскорблявшею достоинство праздника; во всякое другое время на нее никто не обратил бы внимания, но в тот момент она не могла не задеть за живое всех, и не столько выходкою против Каткова, сколько вообще своим лакейским тоном, который так далек был ото всех участников в празднестве…

Я слышал, что Тургенев сам сожалел о том, что «слона-то и не заметил», что не протянул бокала «примирения». Не смею утверждать, что это верно, но кто видел на празднике это добродушное, сияющее радостью лицо, кто слышал этот добрый голос, которому чуть заметная шепелявость придавала что-то детски милое, тот мог поверить, что в этом человеке злоба даже принципиальная не может долго жить. А в отношениях Каткова и Тургенева есть немалая доля невыясненного. Что разделило их и давно ли это произошло? Русские либералы помнят ту статью Каткова в «Современной летописи», издававшейся при «Русском вестнике», еще до издательства «Московских ведомостей», в которой он назвал покойного Герцена «вавилонской блудницей». Эта статья уже отделила либералов от Каткова, обозначила даже вражду между ними. Тургенев, бывший всегда в хороших отношениях с Герценом, остался верным Каткову. «Отцы и дети» появились у Каткова, в «Русском вестнике», и Катков понял Базарова точно так же, как понял его Писарев, то есть оба признали в нем умственную силу, но, разумеется, иначе отнеслись к этой силе. Вся деятель-

ность Каткова во время польского восстания и после него, все его обвинения в нигилизме, сепаратизме, государственной измене, бросавшиеся нередко в увлечении страстью, но с полным апломбом в непогрешимости, одним словом, вся самая выдающаяся часть его публицистической деятельности, создавшая ему большую репутацию и больших и малых врагов среди либеральной, радикальной и даже славянофильской печати, вся эта деятельность не разрывала солидарности между Катковым и Тургеневым. Они, по всей вероятности, в некоторых частностях не сходились между собою, но были настолько солидарны в главных основаниях своих убеждений, что Тургенев и свой роман «Дым» напечатал опять у Каткова, в «Русском вестнике». А это было уже в то время, когда издатель «Москов. ведом.» весь высказался. Деятельность его во время франко-прусской войны могла быть только симпатична Тургеневу, ибо она вся была направлена за французов и за Францию, эту столь любимую нашим романистом страну. Другое выдающееся явление – русско-турецкая война – не могла также пробуждать в Тургеневе вражду к Каткову, хотя бы Тургенев и не разделял убеждения в необходимости этой войны. Дело шло об освобождении Болгарии, которой посвящено «Накануне». Остается классическая пропаганда в последние годы деятельности Каткова. Это ли могло насмерть поссорить двух писателей или Тургенев печатал свои романы в «Р. вестн.» за неимением другого органа? Решение этого вопроса я не беру на себя, но напомню вот эти строки Тургенева, которыми дает он совет молодым литераторам, как опытный писатель: «Делайте свое дело – а то все перемелется. Во всяком случае, пропустите сперва порядочный срок времени – и взгляните тогда на все прошедшие дрязги с исторической точки зрения»*. Это всем давно пора сделать, ибо в прошлом нашем действительно гораздо больше дрязг, мелочей, личных столкновений, преувеличений, клеветы, чем действительно серьезных разногласий. Слава Тургенева слишком велика, чтоб можно было долго помнить личные оскорбления, и потому-то я готов верить, что он

* Соч. Тургенева, т. 1, стр. 108. Изд. 1880. – *А. С.*

сожалел о том, что не протянул бокала Каткову. Впрочем, этот «бокал примирения» разве кого и к чему обязывал? Он обязывал только соединиться в общем чувстве к Пушкину, которое и без того было несомненно. Катков не указывал да и не мог указать, на чем следует мириться, то есть на какой политической программе; ведь только на ней можно мириться более или менее солидно и прочно, а о такой программе не могло быть речи на пушкинском празднике: он был общий, всенародный праздник, праздник примирения в добре, в желании служить своей родине, своему народу, своей родной литературе, своему родному языку. Есть и должны быть минуты, когда политические разногласия, когда злоба дня, когда личные оскорбления должны забываться, когда мужество должно заключаться не в том, чтоб отвернуться от врага, а в том, чтоб не обидеть его своим пренебрежением, в том, чтоб, сознавая свою силу, свое значение, свое влияние в данную минуту, уметь дать лучшим движениям сердца свободный простор…

Думаю, что такую именно минуту сознавал Катков. Он не мог мечтать о политическом примирении, не отказываясь от самого себя, от всего своего прошлого, но он забывал все дрязги, все оскорбления, ему нанесенные, и думал, что забудут их и те, которым он их наносил, забудут не навсегда, а на этот миг, на этот праздник, а что будет потом – там будет новая дорога и, пожалуй, новые счеты. Каяться он никого не приглашал и сам не каялся, и только глупцы или люди без всяких убеждений могли подумать и напечатать: отчего, мол, он не покаялся – ему покаяться следовало, ну, а после покаяния, мол, даже «каменный гость» протянул бы руку, точно кому-нибудь нужна эта «политическая» рука и точно маниловщина что-нибудь путное производила…

Набрасывая эти строки, я считаю нужным сказать, что сам не был на думском обеде по обстоятельствам семейным и не видал ни этого случая, ни Каткова, которого я видел только раз в жизни, да и то в пору моей юности, 20 лет тому назад; но мне передавали подробности случая очевидцы, а результаты лакейской выходки «Голоса» я наблюдал своими глазами…

Выше я говорил, что если будут праздновать кого вместе с Пушкиным, то Тургенева и Достоевского. Действительно, их праздновали, и это празднование имело решительно политическое значение в нашей небогатой жизни. Писатель снова вступил в свои права, снова явился политическим человеком. Напрасно одно время мечтали, что наука явилась руководительницею общества, что люди науки, популяризаторы ее заменят писателя, литератора. Увлечение такое было, но оно прошло, как мимолетное, как вызванное случайными обстоятельствами. Наука бесстрастна, ее истины сухи и отвлечены или слишком практичны и односторонни; они не дают достаточно пищи чувству, сердцу, фантазии, не дают ее по крайней мере настолько, насколько могут дать художественные создания выдающихся писателей и поэтов. Кроме того, художник действует на массу, на всех читателей; ученый – на тех, кто учится, в кругу своей аудитории; ученый подготовляет взрослого и зрелого читателя, писатель-художник показывает ему живых людей в их стремлениях, в их внутренней и внешней жизни, в их идеалах. Наука и ее истины доступны немногим, художественные создания – всем, кто читать умеет. К тому же наука входит и сама собою в художественные произведения. Когда с недавнего времени снова завелись чтения, когда стали являться на них Тургенев, Достоевский, Салтыков, снова обозначилось, что писатель руководит обществом, а не ученый, не популяризатор науки. Так было везде, так останется и у нас. На пушкинском празднике это поклонение писателю-художнику, эта благодарность ему сказалась очень ярко, и даже не без комического элемента, который, как известно, почти всегда присутствует в восторженных заявлениях.

Тургенев и Достоевский, в некотором отношении, два полюса, и между ними, несомненно, существует личное соперничество, может быть даже некоторая неприязнь, выходящая из разности их убеждений. Такое же соперничество существует, несомненно, и в публике, которая *вся* убеждена, что оба писателя необыкновенно талантливы, но не *всей* публике оба они одинаково нравятся. Тут публика решительно делит-

ся, хотя всегда отдает должное их талантам. Лучше всего это было бы проследить на женщинах, как на натурах более непосредственных и более увлекающихся, чем мужчины, но предмет этот слишком тонок и, пожалуй, сразу оборвется. Как бы то ни было, на празднике это поклонение сказалось так ярко, что дело доходило до слез восторга и даже до *целования рук* у этих писателей; оно проявилось как два направления, одно – *либеральное,* другое – если можно так выразиться – *народное.* Либеральное прежде всего выразилось в университете, где Тургенев был провозглашен почетным членом и где о Достоевском даже не вспомнили, как не вспомнили о Толстом (г. Анненков тоже получил почетное членство, вероятно как биограф Пушкина), потом на чтениях и литературно-музыкальных вечерах. Первые два дня Тургенев решительно царствовал – восторги не только неслись к нему, но, так сказать, давили его и он мог сказать, что сыт ими по горло. На первом литературном вечере Достоевский был встречен очень горячо, задушевно, но не так, как Тургенев… Во время литературного обеда овации распределились ровнее, доставшись на долю Островского, Тургенева, Юрьева и др., которые предлагали мотивированные и заранее условленные тосты; Достоевский не участвовал в произнесении этих тостов – распорядительная комиссия обошла его в этом. Впрочем, я слышал, что ему предложили произнести тост за педагогов, как истолкователей Пушкина, но он отказался, и хорошо сделал. В самом деле, какие это педагоги истолковали Пушкина? Они его унижали; составляя хрестоматии и наполняя их его произведениями, они собирали обильную дань с «чужого имени», но истолковывали его совсем превратно; он являлся у них камер-юнкером, художником, но человеком без мысли, барином, занимавшимся писанием звучных стишков. Мнения Писарева были усвоены педагогами, как бесспорные и либеральные, а либерализм всегда подкупает педагога, обязанного действовать на молодую душу: когда за душой у педагога ничего нет своего, ни мысли, ни изучения, то чего проще – явиться человеком, парящим, хоть и на чужих крыльях, выше великого поэта? Педагоги и

вообще-то способны следовать моде, как люди односторонне развитые. Вот и вышло у них, что не только Некрасов, но даже Никитин будто более значит, чем Пушкин. Так как г. Поливанов – педагог и распорядитель литературного празднества, то и тост за педагогов был бы кстати, с его точки зрения. Но он не вышел. Тургенев действительно произнес тост за «истолкователей Пушкина», но это относилось к критикам, к Белинскому, Анненкову и др., что он тщательно и пояснил. Педагоги, таким образом, остались с носом.

Когда официальные тосты окончились, то и Достоевский говорил, но уже в кругу не обширном. Напомним о том, что покойный Император Николай назвал Пушкина самым умным человеком в России, и о том, что Император сам был умным человеком, – «я имею право об этом говорить», добавил он, Достоевский провозгласил тост «в память Пушкина, как величайшего и гениальнейшего художника, в память Пушкина, как чистейшего и честнейшего русского гражданина, в память Пушкина, как умнейшего русского человека во всем нашем столетии, если не самого умного». Тост был принят с восторгом. Тургенев и проф. Ковалевский стояли в толпе в качестве наблюдателей… Тост этот был преддверием той речи, которую произнес Достоевский на другой день и которая действительно явилась событием и похоронила под собою всех говоривших. Вышло что-то никем неожиданное, в особенности для корифеев, которые уже совсем расположились царствовать, не ожидая конкуренции ниоткуда. Так бывает иногда в опере. Идет она с успехом, все поют хорошо, первый тенор разливается соловьем и получает обильную дань рукоплесканий. Вдруг является дебютант, новый певец, и берет такую удивительно высокую, чистую и неожиданную ноту, вносит в исполнение так много свежего чувства, искренности, страстности, что публика сначала недоумевает и вдруг, забывая все и всех, венчает нового певца таким искренним восторгом, что первый тенор, кусая себе губы, считает нужным поздравить с успехом товарища. Именно это самое вышло с Достоевским. Если собрать все овации вместе Тургеневу и другим, все-таки не представишь себе

ясно того пламенного восторга и умиления, которые овладели публикой. Чем-то деланным, напыщенным, виляющим, чем-то рассчитанным на известный эффект показались некоторые предшествующие речи перед речью Достоевского, дышавшею необыкновенной искренностью и сказанною льющимся в душу тоном честного и убежденного проповедника. Такой новой ноты по отношению к Пушкину еще никто не брал. Это был апофеоз праздника, высшая его точка…

Подробности известны. Женщины поднесли ему венок. Вечером молодые люди, как бы в пику женщинам, поднесли совершенно такой же венок Тургеневу: надо, мол, поравнять их, но такие моменты, как описанный, бывают только раз, и их нельзя сочинить. Здесь мне говорили, что речь не производит в чтении того впечатления, какое она произвела в собрании, а г. Г. У. в «Отеч. зап.»[8] подозревает даже г. Достоевского в том, что в печати она явилась в ином виде. Последнее совершенная неправда, – что касается первого, то оно понятно: обстановка и искренний тон чтеца сообщали речи более рельефности.

Между тем часть публики рисковала совсем не услышать Достоевского, благодаря распорядителям. Дело в том, что заседание было назначено в 2 часа, а началось почему-то раньше и двери были заперты. Человек сто ожидали у запертых дверей с четверть часа и, вероятно, прождали бы вплоть до перерыва, если б не случилось, что дети Пушкина опоздали несколькими минутами. Благодаря им г. Поливанов смиловался и пустил эту сотню человек в залу в середине речи г. Чаева[9]. Полицмейстер оказался, слава Богу, сговорчивым.

На этом пока кончу, надеясь возвратиться к прерванному рассказу на этих же днях…

По поводу печального дня

Приближается день пятидесятилетия со смерти Пушкина. День, который, без сомнения, должен быть почтен траурным воспоминанием русскою литературой и русским

обществом, как один из наиболее печальных дней в истории нашего развития. В этом траурном воспоминании должна принять и, конечно, примет участие вся литература, без различия партий и направлений. Общий характер воспоминания о том грустном дне, когда полвека назад погиб насильственной смертью великий русский поэт, отнюдь не может носить оттенок какого-то праздничного торжества: это было бы неприлично и даже противоестественно.

По-видимому, трудно представить себе, чтобы из среды литературы могло изойти мнение, что поминки роковой смерти поэта могут быть организованы в какой-либо иной форме, кроме траурной, и что организация этих поминок должна быть взята на себя не выборными представителями ото всех наличных сил литературы, а кружком лиц, самовольно возложивших на себя сказанное представительство.

А между тем, по дошедшим до нас слухам, затеяно нечто именно в таком роде. Появилась «комиссия», предъявляющая претензию организовать – как ни странно это слышать – «торжество» в память пятидесятилетия смерти Пушкина. Откуда эта «комиссия», кто выбирал ее членов? – это никому неизвестно. Говорят, что комиссию эту затеял г. Вейнберг. По чьему уполномочию он затеял – никто не знает. Г. Вейнберг называет скромно себя секретарем комиссии, но в сущности – говоря выражением Пушкина – он ее «зачинатель» и «совершитель», а все те, кого он пригласил в помощь себе, играют несколько странную роль.

В заседаниях «комиссии» до сих пор обсуждались изумительные предложения по организации «торжества» в воспоминание смерти Пушкина. Кто-то предлагал почтить день смерти поэта торжественным литературным обедом, за которым «между жарким и бланманже» ораторы, вроде тех, которые являются на тех обедах, какие-то присяжные «затрапезные» литераторы, должны были произносить речи. Кто-то предлагал устроить литературное чтение избранных пьес Пушкина тоже присяжными, хотя и необыкновенно плохими чтецами. Один из членов самозваной «комиссии» прибавил, что на этом

чтении Пушкина было бы хорошо читать эти пьесы не только в подлиннике, но и в разных переводах: французском, немецком, английском, шведском, финском, сербском, наконец, даже еврейском – очень остроумное предложение, и тем более выполнимое, что те же самые лица, которые услаждали бы публику чтением Пушкина по-русски, но с еврейским сюсюканьем, конечно, могли бы с таким же искусством продекламировать гармонические строфы поэта по-еврейски или по-чухонски…

К чести двух-трех действительных литераторов, случайно завернувших в комиссию, глупые предложения об обеде и о чтении пьес Пушкина на разных языках были отвергнуты. Тем не менее декламирование стихов Пушкина плохими чтецами, декламаторами с еврейским акцентом, проектировано комиссией, и притом еще с таким добавлением, что в этом чтении должны принять участие немецкие и французские актеры. Что будут читать немцы и французы – неизвестно. Привлечение последних к чествованию памяти Пушкина, вероятно, сделано мудрыми членами комиссии с целью напомнить русскому обществу, что великий поэт был убит французом.

Кроме чтения, комиссией предполагается в день смерти Пушкина заупокойное богослужение. Но и в этом – единственно разумном из всех предложений комиссии – выказывается некоторая несообразность. Проектируют две панихиды: одну в придворной конюшенной церкви, где отпевали Пушкина, в девять часов; другую, через два часа после первой, – в Казанском соборе. Доступ на первую будет, как говорят одни, по билетам, и она должна иметь, так сказать, парадно-аристократический характер: на ней, вероятно, будут фигурировать в белых галстуках и во фраках разные «затрапезные» литераторы, считающие себя представителями той литературы, представителем которой может служить г. Вейнберг. Другие к этому прибавляют, что эта ранняя панихида устраивается и с тем еще, чтобы дать возможность воспитанникам учебных заведений быть на ней и затем поспеть на поминки по Пушкину в свои учебные заведения. Кто же уполномочил комиссию распоряжаться за учебные заведения? Учебные заведения имеют свои церкви и

свое начальство, и никакой литературной, да еще самозваной, комиссии не может никакого дела быть до воспитанников. Что касается второй панихиды, то доступ на нее свободен будет всем – эта панихида демократическая, для «черни», но и ею будет управлять г. Вейнберг, как прямой наследник Пушкина…

Печально, что подобные комические глупости выдумываются и обсуждаются по поводу предстоящих поминок великого поэта. Печально, что к великому имени столь назойливо пристегиваются этакие устроители обедов и церемоний, как, например, почтенный г. Вейнберг, посредственный стихотворец, переводчик и компилятор, не имеющий никаких прав на фигурирование в роли какого-то литературного руководителя и за последние годы самозвано разыгрывающий подобную роль. Когда такие господа устраивают разные празднества в честь юбилеев различных виртуозов еврейского происхождения, – они там вполне на своем месте с их метрдотельскими, ораторскими способностями, с их семитическою юркостью и назойливостью. Но возмутительно видеть, что даже скорбное воспоминание о смерти Пушкина не может удержать этих господ от их всегдашней привычки соваться туда, куда их никто не просил и не просит.

По нашему мнению, никаких «торжеств» в день 29 января не требуется, никаких трапез, пений и чтений «от литературы» для «общества» не подобает устраивать в этот печальный день. Литераторы и «общество» должны сделать одно: отслужить в Казанском соборе панихиду, панихиду всенародную, доступную всем без «особых приглашений», билетов, без различия чинов и рангов, и на этой всенародной панихиде помолиться за упокой великой страдальческой души поэта…

Еще по поводу скорбного дня

Вчера «Новости» напечатали сердитый ответ на нашу статью[1], вызванную тайными действиями какой-то самозваной комиссии, взявшейся за устройство чествования памяти Пуш-

кина 29-го января. Сердитый ответ их сводится к следующим словам их, которые выписываем дословно:

«Лучшим ответом на грубый навет о произвольности, партийности и юдофильстве собравшейся комиссии – могут служить имена ее членов.

Вот эти имена:

И. А. Гончаров, Я. К. Грот, Столповский (член Гос. сов.), А. А. Краевский, Д. В. Григорович, М. М. Стасюлевич, С. В. Максимов, А. А. Потехин, В. Р. Зотов и И. Н. Вейнберг».

Кто выбирал в эту комиссию этих почтенных членов? Г. ли Вейнберг или те лица, которые известны редакции «Новостей» и которые, во всяком случае, самозвано приняли на себя эту обязанность? Мы называем г. Вейнберга, ибо на него указывает Я. К. Грот, письмо которого мы печатаем ниже. Письмо почтенного академика дает нам ключ к странным «тайнам» этой комиссии, действительно самозваной, никем не выбранной, никем не уполномоченной, действующей под покровом тайны и называющей своими членами таких литераторов, которые ни разу не были в комиссии. Все упомянутые лица могли действовать сами от себя, но не от литературы и учебных заведений, которые они взяли тоже в свое ведение. За это дело мог взяться Литературный фонд, как представитель литературы, могло взяться словесное отделение Академии наук. По существу своей организации оба эти учреждения имеют полное право взять на себя такую инициативу.

Наконец, сотрудники журналов и газет могли бы собраться вместе для общего дела и выбрать из себя комиссию для устройства того или другого чествования для кончины Пушкина.

Вот правильные пути. Те лица, которые известны редакции «Новостей», избрали какой-то косвенный путь, в котором не могло быть никакой надобности. Я. К. Грот, введенный в заблуждение г. Вейнбергом, протестует против «театральных» поминок по Пушкину. Мы знаем, что И. А. Гончаров ни разу не был в комиссии и тем людям, которые его приглашали туда, он прямо сказал, что понимает единственный путь поминок по Пушкину – панихиды. Обед, который затевался и о котором

ему говорили, он отверг с тем негодованием, которое только может подсказать благоговейное поклонение Пушкину со стороны нашего знаменитого романиста. Как видно из письма нашего академика, Я. К. Грот, любовь которого в литературе и поклонение ее высоким представителям запечатлены целою трудовою жизнью, разделяет мнение И. А. Гончарова. Третий член комиссии, Д. В. Григорович, только раз был в ней и в существе дела вполне солидарен с гг. Гончаровым и Гротом.

Вот правда. Вычеркните этих лиц из списка комиссии и скажите, многое ли представляют собою все другие члены ее, неизвестно кем избранные. Бесспорно, что гг. Гончаров, Грот и Григорович могли войти в комиссию даже без всякого выбора, как всеми призванные литераторы, как почетные представители литературы, но они-то и не согласны с ее проектами, они-то и протестуют против «театральности». Ну, а другие члены? Пусть они скажут, кто их избирал и уполномочил и насколько они солидарны с теми «избирателями», которые имеют какой-то непонятный для нас интерес действовать втемную и в таком вопросе, как поклонение памяти великого народного поэта?

«Новости», выставив список членов комиссии, оказывающийся даже подложным, говорят нам, что они будут ждать, чтобы мы «выставили своих, лучших, заслуженнейших кандидатов». Из этого как бы следует, что «избирателями» являются «Новости». В таком случае, зачем же это скрывать? Тогда все и знали бы, что это комиссия не от литературы, а от гг. Нотовича и Вейнберга[2]. Что касается нас – мы указали настоящий путь – путь выбора комиссии всеми наличными силами петербургской литературы, если за это дело не считает возможным взяться Литературный фонд или Академия. Всякий другой путь мы считаем путем недостойной интриги…

Кавалерист-девица и Пушкин

Редакция «Досуг и дело» выпустила очень интересную книжку «Кавалерист-девица Александра Дурова, составил

В. Байдаров». Г. Байдаров[1] говорит, что Дурова приехала в 1830 г. в Петербург, бывала у Греча, где рассказывала свою историю, а г. Байдаров ее записал. Теперь он нашел свои записки и издал их. Нам кажется, тут случилось что-то странное. Дело в том, что рассказ г. Байдарова *дословно* повторяет известные воспоминания Дуровой, вышедшие в 1836 году в 2 ч. под заглавием «Кавалерист-девица. Происшествие в России. Издал Ив. Бутовский». Как это так вышло, что г. Байдаров повторяет эту книгу, выпуская только кое-что и везде заменяя «я» словом «он» или «Надежда Андреевна», понять невозможно. Нельзя представить себе, чтобы г. Байдаров мог записать за Дуровой все дословно, и нельзя представить себе, чтобы Дурова похитила бумаги г. Байдарова и списала их себе. Казус этот объяснить было бы весьма легко, допустив, что г. Байдаров прошелся карандашом по книге воспоминаний Дуровой и сочинил небылицу о том, что он якобы записал за нею рассказ. Другими словами, он просто совершил подлог. Нас в этом убеждают, кроме дословной перепечатки воспоминаний Дуровой, еще следующие обстоятельства.

Г. Байдаров ничего о Дуровой не знает, кроме того, что нашел в ее книге. Он ссылается на какой-то ее «Альбом», из которого приводит несколько слов, но эти слова находятся и в записках Дуровой, слово в слово. Он не знает даже, что Дурова известна в литературе своими повестями, что она попала в «Сто русских литераторов»*, он не знает, что кроме записок ее, вышедших в 1836 г. под заглавием «Кавалерист-девица», вышло добавление к ним в 1839 г. в Москве, под заглавием «Записки Александрова», в которых очень много подробностей о ее детстве и к которым приложен ее портрет 14 лет. Г. Байдаров не знает о том, что часть «Записок» Дуровой была напечатана в «Современнике» Пушкина и что наш великий поэт с большим

* В нашей библиотеке кроме трех упомянутых книг Дуровой есть еще: 1) Повести и рассказы. Соч. Александрова (Дуровой). СПб., 1839. 4 части; 2) Гудишки. Роман в четырех частях. Соч. Александрова. СПб., 1839. С портретом автора в гусарском мундире; 3) Ярчук. Собака-духовидец. Соч. Александрова (Дуровой). СПб., 1810; 4) Клад. Соч. Александрова (Дуровой). СПб., 1840. С тем же портретом, что и в «Ста русских литераторах». – *А. С.*

участием отнесся к автору их. Кроме записки Пушкина к Дуровой, напечатанной с примечаниями барона Бювара («Рус. арх.» 1872 г., стр. 199–204), об этом она сама говорит в своей книжке, вышедшей в СПб., 1838 г., «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». В этой книжке заключается несомненное доказательство того, что в 1830 году Дурова не была в Петербурге, а г. Байдаров говорит, что в этом году слышал ее рассказ у Греча и что весь Петербург интересовался ею. «В театре, на гуляньях, в ресторанах, на приятельских вечерах Александров всегда является в черной венгерке и серых шароварах». Все это выдуманный вздор. Дурова была в Петербурге в 1836–37 г., а не в 1830 г., и носила в это время не венгерку, а сюртук и фрак; в своей книге «Год жизни в Петербурге» она прямо говорит, что не была в Петербурге ровно 15 лет, т.е. была в нем, стало быть, в 1821 г. Все это заставляет нас думать, что г. Байдаров поступил слишком просто, т.е. перепечатал книгу Дуровой и выдал ее за свою. Это тем легче было сделать, что подлинная «Кавалерист-девица» составляет большую библиографическую редкость.

Мы хотим по поводу этого подлога г. Байдарова сказать несколько слов о Дуровой и об ее отношениях к Пушкину, пользуясь тоже редкой книжкой Дуровой «Год жизни в Петербурге». Об этой книжке не знал и почтенный издатель «Рус. арх.», ибо, делая примечание в записке Пушкина к Дуровой (см. выше), выразил несправедливую догадку, не познакомился ли Пушкин с ней в Казани.

Дурова везде говорит, что убежала из дома родителей и определилась в военную службу юнкером. На самом деле она убежала от мужа, как это видно из документа, напечатанного в «Русском архиве» 1872 года, стр. 2043, именно всеподданнейшего доклада, сентября 28-го дня 1817 года: «Коллежский советник Дуров, в Вятской губ., в городе Сарапуле жительствующий, ищет повсюду дочь Надежду, по мужу Чернову, которая по семейным несогласиям принуждена была скрыться из дому и от родных своих, она, записавшись под именем Александра Васильева сына Соколова в конный польский

полк, служит товарищем и была во многих с неприятелем сражениях. Отец ее и брат его, в С.-Петербурге находящийся, всеподданнейше просят Высочайшего повеления о возвращении им сей несчастной». По запискам Дуровой видно, что Императору Александру она представлялась в первых числах января 1808 года, когда ее взяли, по приказанию свыше, из ее эскадрона, стоявшего около Полоцка, и привезли в Петербург. Государь принял ее ласково, она созналась ему, что она женщина (по ее словам, ей было в то время 17 лет), и велел ее «возвратить в дом». Она бросилась на колени и молила Государя не отсылать ее домой, а оставить на службе. Государь подробно расспросил ее, тронулся ее рассказом, хвалил ее мужество, которое было засвидетельствовано и начальством ее, велел называться Александровым, по имени Государя, навесил ей сам Георгия, и она была записана корнетом в Мариупольский гусарский полк. Судя по тому, что после милостей Государя она увиделась с дядей своим, о котором в официальном документе, выше приведенном, было сказано, что он находился в Петербурге, нельзя ли думать, что в «Русском архиве» пометка документа 1817 годом (вместо 1807 г.) – простая опечатка? П. П. Бартенев мог бы об этом справиться. Мы имеем основание думать, что это опечатка, так как в той же книжке «Русск. арх.» приведен отрывок из письма отца Дуровой к неизвестному лицу, от 27-го августа 1807 г. В этом письме говорится о смерти матери Дуровой, и о том же сообщил ей самой ее дядя, после того как, обласканная Государем, она с ним увиделась.

Во всяком случае подробности ее о бегстве, еще девицею, из родительского дома – явный вымысел. Печать некоторого вымысла лежит и на некоторых других подробностях ее воспоминаний, как в первой книге («Кавалерист-девица»), так в особенности во второй («Воспоминания»). Не обладая талантом оригинальным, она подчинялась романтической школе, и рассказы ее о своей жизни носят именно этот характер романтизма и отсутствия правдивости в изображении людей. В ее воспоминаниях не столько люди являются и подробности быта, сколько «приключения» более или менее занимательные.

Записки свои она написала уже в отставке и послала часть их Пушкину, который любезно ответил ей и поместил присланное в «Современник». Он же вызывался руководить ей в этом непривычном для нее литературном деле. Получив такое одобрение, она взяла у сестры своей 800 р. асс. и 24-го мая 1836 г. приехала в Петербург, и, остановившись у «Демута», в 4-м этаже, написала Пушкину о своем приезде. На другой же день «карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда». Пушкин вошел и стал хвалить «слог записок»… «Любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякий раз, когда я, рассказывая что-нибудь относящееся ко мне, говорила: *был*, *пришел*… Долговременная привычка употреблять “е” вместо “а” делала для меня эту перемену очень обыкновенною». Пушкин вызвался издать ее записки, взял их себе, сказав, что велит их переписать, и, прощаясь, поцеловал мою руку!.. Я поспешно выхватила ее, покраснела и, уже вовсе не знаю для чего, сказала: “Ах, Боже мой! Я так давно *отвык* от этого!” На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома он не принуждал себя и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно смеялся от души над последним восклицанием». Через два дня Пушкин опять приехал к ней и предложил ей переехать к нему на квартиру в городе, так как сам он жил на даче, на Каменном острове*. Она приняла это предложение и послала лакея узнать, можно ли ей переехать в дом, занимаемый Пушкиным. Лакей возвратился с ответом, что Пушкин, переезжая на дачу, расплатился с квартирою и что она сдана уже другому. «Я не знала, что подумать о такой странности, и рассудила, что лучше вовсе не думать о ней. Отписала Пушкину о разрушении моих надежд на перемещение, поблагодарила его за благосклонный отзыв о записках моих и просила его поправить, где найдет нужным». Как разъяснилось это странное обстоятельство, Дурова не говорит. Но она переехала жить к родным, на Пески. Пушкин просил ее

* Это подтверждается упомянутой выше запиской Пушкина к Дуровой. См. «Рус. арх.», 1872 г. – *А. С.*

обедать к себе, сказав, что из уважения к провинциальным обычаям обед будет в пять часов.

«– В пять часов?.. В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?

– В седьмом, осьмом, иногда и девятом.

– Ужасное искажение времени! Никогда бы я не мог примениться к нему.

– Так кажется; постепенно можно привыкнуть ко всему.

Пушкин уехал, сказав, что приедет за мной в три часа с половиною.

С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь!.. Александр Сергеевич указал мне его».

Очевидно, тут идет дело о казненных декабристах, и цензура, вероятно, пощипала это место в книжке Дуровой.

«С нами вместе обедал один из искренних друзей Александра Сергеевича, господин П***в (Плетнев), да три дамы, родственницы жены его; сама она была больна после родов и потому не выходила.

За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине; у него четверо детей, старшая из них, девочка лет пяти, как мне казалось, сидела с нами за столом; друг Пушкина стал говорить с нею, спрашивая: “Не раздумала ли она идти за него замуж?” – “Нет, – отвечало дитя, – не раздумала”. – “А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку?” – “За тебя и за папеньку”. – “Кого ж ты больше любишь, меня или папеньку?” – “Тебя больше люблю, и папеньку больше люблю”. – “Ну, а этого гостя, – спросил Александр Сергеевич, показывая на меня, – любишь? Хочешь за него замуж?” – Девочка отвечала поспешно: “Нет! нет!”

При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел… неужели он думал, что я обижусь словам ребенка… Я стала говорить, чтобы прервать молчание, которое очень некстати наступило за словами девочки: “Нет, нет!”, и спросила ее: “Как же это! Гостя надобно бы больше любить!..” Дитя смотрело на меня недоверчиво и, наконец, стало кушать; тем кончилась эта

маленькая интермедия!.. Но Александр Сергеевич!.. Отчего он покраснел?.. Или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребенка, не хотел бы он, чтоб я слышала что-нибудь не так вежливое!.. Или он имеет странное понятие о всех живущих в уездных городах».

«*15-го июля.* Сегодня опять был у меня Александр Сергеевич; он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтоб ее можно было читать: я имею дар писать таким почерком, которого часто не разбираю сама, и ставлю запятые, точки и запятые вовсе некстати, а к довершению всего, у меня везде одно “с”.

Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид; я спросила о причине: – “Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом!.. Позвольте мне оставить вас; я должен быть еще в двадцати местах до обеда”. Он уехал.

Две недели Александр Сергеевич не был у меня; рукопись моя лежит!.. Пора бы пустить ее в дело!.. Я поехала сама на дачу к Пушкину; его нет дома.

– Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок, – сказал мне один из его искренних друзей, и именно тот, с которым я вместе обедала (И. А. Плетнев), – разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты, и возьмется очень радушно, но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением, он со своими собственными делами не успевает управиться, такое их множество, где же ему набирать дел еще и от других!.. Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому.

Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. (Бутковскому, имя которого и стоит, как издателя, на книге «Кавалерист-девица».) Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя, но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет проти-

виться моей воле. “Впрочем, – прибавил он, – прошу вас покорнейше, во всем, в чем будете иметь надобность в отношении к изданию ваших записок, употреблять меня, как одного из преданнейших вам людей”.

Так-то имела я глупость лишить свои записки блистательнейшего их украшения… их высшей славы – имени бессмертного поэта! Последняя ли уже это глупость?..

Должно быть, последняя, потому что она уже самая крупная!..»

Приводим эти подробности, так как всякая черта из жизни нашего поэта имеет значение. Пушкин является в этих сношениях с Дуровой деликатным и светским человеком, но Дурова, по всей вероятности, представляла собой малый интерес. Это можно заключить из всей этой ее книжки «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». Второе заглавие собственно и составляет смысл книги. Когда вышли ее записки, Дурова сделалась героем дня; ее всюду приглашали и интересовались ею; Государыня прислала ей бриллиантовый перстень, который она продала в Кабинет; ее приглашали в высшее общество, к графам и князьям; она подвивала свои волосы, надевала фрак и ехала. Дамы ужасно интересовались такими вещами в ее офицерской жизни, которые ставили Дурову в неловкое положение. Но в каждом доме ее очень хорошо принимали в первый раз, хорошо во второй и совсем равнодушно в третий раз. Она теряла всякий интерес. Сначала она не понимала этого, но потом поняла и пришла сама к убеждению, что никакого интереса она действительно не представляет. Записки ее хорошо продавались, хотя она и плакалась, что они идут не так, как ей хотелось. Она завидовала Загоскину в его успехе с «Юрием Милославским», который будто бы дал ему возможность купить деревню. Но в конце концов, перед отъездом из Петербурга, у ней было шесть тысяч золотом.

Несомненно, что она была в Петербурге целую зиму 1837 г. и уехала только в конце мая или начале июня. Она, стало быть, знала подробности дуэли Пушкина, слышала все разговоры о ней и, может быть, видела Пушкина. Но обо всем

этом ни слова. Только раз еще она упоминает о Пушкине. Какая-то знакомая рассказывала ей, что о ее записках говорили в гостиной княгини Б-й, но Пушкин защищал ее. «Защищал! – воскликнула Дурова. – Стало быть, против меня были обвинения?» «О, да еще какие!» Но какие – она не сообщает. Мы думаем, что отсутствие в этой книге подробностей о последних днях жизни Пушкина объясняется просто цензурой, которая не пропустила всего того, что она написала. Известно, что в журналах и газетах тогдашних было только известие о *смерти* Пушкина, но никаких подробностей этой смерти не сообщалось. Нам также кажется несомненным, что Пушкину Дурова показалась мало интересной и записки ее, при знакомстве с ними в полном объеме, не могли нравиться Пушкину, который заметил, конечно, фальшивый тон их во многих местах и некоторую хвастливую бесшабашность.

Напутствие «Обеденному собранию»

«Новости», в лице г. Григория Градовского и г. В. Михневича[1], начинают прибегать к приемам самым недостойным по поводу чествования памяти Пушкина 29-го января. Я постараюсь им ответить совершенно спокойно, как того требует самое дело.

Еще в декабре стали говорить о чествовании памяти Пушкина, и все литераторы, с которыми мне приходилось говорить об этом, были согласны в том, что этот день – скорбный день, что невозможно забыть всех горьких подробностей дуэли, всех раздирающих душу страданий великого поэта в день его кончины, что только люди, вполне равнодушные или никогда не читавшие этих подробностей, способны этот день помянуть обедом и возлияниями. И. А. Гончаров говорил об обеде с негодованием. В русской литературе XIX столетия был только один гений, давший ей то направление, которое она получила, сделавший ее тем, что она есть, – это Пушкин. И со смертью этого гения соединилось не только воспоминание об утрате,

которое следует за всякою смертью, но воспоминания о насильственной смерти и о таких страданиях и обидах, другого примера которым мы не знаем в истории русской литературы. Ничья смерть из русских писателей так не поражала скорбью и ужасом всю Россию, как смерть Пушкина, и к этому имени, и к воспоминанию о его страданиях можно относиться только с благоговением. Поэтому пусть обедают и пьют те, которые могут, – вольному воля, но нельзя устраивать обеда и возлияний от литературы. В этом весь вопрос, ибо г. Градовский хочет тащить за собою к возлияниям всю литературу. Г. Градовский говорит, что «Новое время» остается «изолированным» в этом случае. Нам приятно остаться изолированными с И. А. Гончаровым, Я. К. Гротом, Д. В. Григоровичем, А. А. Майковым, Я. П. Полонским, графом Кутузовым[2] и многими другими действительными литераторами. С кем будет пить и есть г. Градовский – нам это не любопытно. Как он пристегнет свое имя к имени Пушкина и что он будет говорить за обедом – это до литературы не относится. Он надеется, что «Новое время» будет исключено из «предложенного им *обеденного собрания*». «Новое время» само себя исключило из этого «обеденного собрания» и сами себя исключили из него все упомянутые литераторы, так что г. Градовский может подобрать себе такую компанию, в которой он может играть роль и говорить в полное свое удовольствие. Мы опять нисколько не завидуем ни его роли, ни его «избранникам». Он упрекает нас в лицемерии, цитирует «народные обычаи», древнюю «тризну», когда люди веселым пиром поминали и поминают умерших. На здоровье. Мы заметили бы только одно: уж если пришла охота подражать народу, то подражайте вполне – берите с собой яства и питие и отправляйтесь на могилу Пушкина и справляйте там «тризну». Это паломничество, по крайней мере, заставит вас несколько потревожиться, сделать несколько верст в вагоне и на лошадях и будет подходить к паломничеству народа. Тогда и народ может присоединиться к вам.

Но дело совсем не в этой «тризне» для них: они просто себя самих хотят почтить, удовлетворить своему желудку и

самолюбию в изящном ресторане, на входе в который можно поставить стих Пушкина:

Пускать не велено сюда простой народ.

Вот что им угодно. Что ж, и так никто не мешает, если, как говорит г. Градовский, «предстоящее 29-я января взывает о чествовании бессмертной славы Пушкина» и если слава Пушкина требует обеда и присутствия на нем г. Градовского и его собутыльников. Мы думаем иначе и совсем не верим в необходимость для славы Пушкина ни обеда, ни г. Градовского, ни даже всех его собутыльников. Но это наше личное мнение. Мало ли что нам кажется. Нам кажется, напр., что если указывать на то, что «50 лет тому назад многие сомневались в славном поприще Пушкина», подобно «покойному графу Уварову», как говорит г. Градовский, то пример можно бы взять поближе, хотя бы для характеристики лицемерия прицепившихся к имени Пушкина. На страницах «Вестника Европы» г. Стасюлевича появились статьи одного известного ученого, который со снисходительным высокомерием относился к Пушкину. Писарев называл Пушкина: «наш маленький и миленький Пушкин», или «легкомысленный версификатор», или такие фразы: «Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью, как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей *внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия»*. Или такие: «Место Пушкина – не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и поломанными аркебузами». Давно ли читали это с восторгом, давно ли кричали, что Некрасов выше Пушкина? Теперешний Некрасов выше Пушкина? Теперешний критик «Новостей», г. Скабичевский[3], в статье своей о Писареве («Отеч. зап.», 1869 г.) обнаружил согласие с Писаревым во многих пунктах. Так, напр., г. Скабичевский находил, что «лирика Пушкина, что бы там Белинский ни говорил о ее художественности, *все-таки пуста, иногда и пошла*», что «поэзия Пушкина не может

иметь прямого воспитательного влияния на наше поколение», что «мы (г. Скабичевский) не видим в Пушкине никакой народности или реализма», что Пушкин имеет «только историческое значение», и проч., и проч. и проч.

Ничего подобного мы никогда не проповедовали; Пушкин нам всегда казался богом современной литературы, и мы не могли не протестовать, когда увидели, что именем его хотят воспользоваться для *личных целей, но от имени всей литературы*. Г. Михневич говорит, – что «начинания, касающиеся одинаково всей литературы, могут у нас возбуждаться только по частной, *личной* инициативе», потому что литература «не сословие и не корпорация». Хорошо. Но существуют организованные литературные единицы – редакции. Почему инициаторы хранили все дело в тайне, почему они не уведомили ни одной редакции, кроме редакции «Вестника Европы», кто дал право этим инициаторам действовать втемную в таком деле, которое, по словам самого же г. Михневича, касается всей литературы? Или *личная* инициатива была слишком самоуверенна в своем авторитете, или в ее расчеты входило хранить тайну? Пусть г. Михневич ответит на это. Пусть он ответит и на то, почему эти инициаторы не уведомили даже комитет Литературного фонда, который стоит вне партий и который, по нашему мнению, неприлично даже было обойти в этом случае. На все эти вопросы можно отвечать не ругаясь.

Мы говорили в пользу инициативы в этом деле Литературного фонда и Академии наук. Г. Михневич умалчивает об Академии, как будто о ней не было и речи, а о Литературном фонде говорит следующее: «Во-первых, названное общество, по своему составу, заключает в себе ничтожный процент литераторов (?) и никак не может считаться сосредоточением представительства всей литературы; во-вторых, по своему уставу и программе оно есть исключительно благотворительное учреждение и, в-третьих, наконец, комитет общества, сколько известно, ничем не обнаружил (?) до сих пор желания взять в свои руки организацию чествования памяти Пушкина».

Какой процент литераторов в этом обществе, мы не считали, но стоит взглянуть на список членов этого общества, чтобы убедиться в том, что почти все наличные литераторы участвуют в нем, в нем участвуют и все члены «самозваной комиссии». Что это общество благотворительное – делу нимало не мешает. Напротив, устроить какое-нибудь доброе дело в память Пушкина, усилить, напр., пушкинский капитал – разве это хуже обеда в пользу ресторатора, который так старается устроить г. Градовский? Стало быть, возражения г. Михневича относительно Литературного фонда падают сами собой. Что касается третьего, то литературный комитет гораздо ранее «самозваной» комиссии решил помянуть Пушкина панихидой и устройством утреннего благотворительного спектакля 1-го февраля. Это положено было еще в ноябре.

Для этого комитет сносился с Министерством двора, прося у него театра и артистов. Министерство двора согласилось поручить дирекции театров устроить этот благотворительный спектакль и весь сбор отдать в Литературный фонд для присоединения к пушкинскому капиталу.

Таким образом, Императорский театр сливался вместе с литературною и с тою публикой, которая пойдет в этот спектакль, чтобы помянуть память Пушкина добрым делом. Не сомневаемся нисколько, что этот спектакль будет полон и что найдутся люди, которые станут платить за ложи и кресла более назначенной цены.

Естественно, что, когда Министерство двора получило просьбу дозволения артистам участвовать в каком-то чтении, просьбу от какой-то «самозваной» комиссии, назначенной не то г. Вейнбергом, не то г. Градовским и г. Михневичем, оно отказало в этой просьбе. Наша статья, обнаружившая кружковые тайны и письмо г. Грота, который должен был читать о Пушкине и которого «великодушные» комиссионеры вроде гг. Градовского и Михневича теперь ругают, называя «малодушным», – все эти факты парализовали «самозваную» комиссию.

Из этого изложения видно, что комитет Литературного фонда ранее «самозваной» комиссии взял на себя, по праву,

инициативу в поминках по Пушкину, что «самозваная» комиссия только напутала своим укрывательством и, ничего не сделав, высылает комиссионеров своих для брани; из нашего изложения также видно, что в усилиях «самозваной» комиссии не было никакой надобности; есть ли надобность в брани, которую расточают комиссионеры направо и налево, сомневаемся, хотя, быть может, как прелюдия к «обеденному собранию» она и необходима…

Еще несколько замечаний. Выдумали, что 29-го января исполнится 50-летие *бессмертья* Пушкина. Нам кажется, что бессмертие Пушкина началось гораздо раньше его смерти. Его славою полна была Россия еще в двадцатых годах, его чудесный язык, его совершенные создания еще до 1830 года создали ему славу первого великого русского поэта, и, умри он десятью годами раньше, он все-таки остался бы бессмертным и все-таки Россия гордилась бы им. Пятидесятилетних юбилеев смерти великих людей не справляют нигде, справляют столетние юбилеи рождения их. Пятьдесят лет после смерти – слишком короткий срок не для того, чтобы убедиться в их значении, а для того, чтобы забыть их потерю. Столетняя годовщина рождения великого поэта – вот настоящий радостный день и день, подаривший России Пушкина, настанет через 12 лет, 26-го мая 1899 года. Кто доживет до этого, тот увидит, как еще более вырастет имя Пушкина, но и тогда не позволят отдельному литературному кружку распоряжаться празднеством, как ему угодно, и теория г. Михневича не будет принята к руководству. Чтобы предсказать это, не надо быть пророком, а надо только уважать родную литературную славу.

В заключение я должен сказать несколько слов по личному делу, хотя оно относится к Пушкину. Г. Михневич свою бранную заметку заключает такими словами: «Издатель “Нового времени”, беспричинно упрекающий других в желании своекорыстно воспользоваться годовщиной смерти Пушкина, – сам без церемоний собрался бойко поторговать в этот день в своей книжной лавочке. Он широковещательно рекла-

мирует, что в означенный день, именно 29-го января, в его лавочке откроется продажа нового дешевого издания сочинений Пушкина. Этот ловкий коммерческий гешефт рассчитан, очевидно, на то, что в день предстоящей годовщины публика более, чем когда-нибудь, будет сгорать желанием восстановить в благодарной памяти сочинения поэта – тем самым желанием, удовлетворение которого, по программе комиссии, “Нов. время” назвало “глупой и нелепой затеей”… Логично ли это и последовательно ли?

Ясно для всякого, что между названной программой и предложением лавочки “Нового времени”, по существу, нет никакой разницы, а если и есть, то только в форме – настолько, насколько может разниться чтение дома, про себя, от слушания чтения в собрании; явно, следовательно, что если последнее есть, предположим, “нелепая затея”, то в такой же степени должно быть признано “нелепым” и первое».

Перепечатываю эту выходку с истинным удовольствием, перепечатываю ее как лучшую похвалу себе со стороны г. Михневича. Похвала литературного врага начинается с того момента, когда он договорится до абсурда, до глупости, увлекшись стремительностью своего нападения. Это и случилось с г. Михневичем. Возражать против таких глупостей, что издание сочинений Пушкина и публичное чтение некоторых его пьес – одно и то же, что разница «только в форме – настолько, насколько может разниться чтение дома, про себя, от слушания чтения в собрании», – возражать против этого так же стыдно, как говорить это, ибо всякому понятно, какая это огромная разница. Что такое «гешефт», по мнению г. Михневича, я не знаю, но мой «гешефт» заключается в следующем. В 10-ти томах моего издания Пушкина 4280 стран. Если же 4280 стран. цена 1 руб. 50 коп., то за 428 стран. цена 15 коп., за 42 стран. цена $1^{1}/_{2}$ коп. Г. Михневич знаком с издательскими расходами и может судить, «гешефт» ли это – $1^{1}/_{2}$ коп. за 42 стран., или за 1218 строк. Я знаю одно, что по такой низкой цене, даже не принимая в расчет уступку книгопродавцам, и при таком четком шрифте, сколько мне известно, не был из-

дан ни один из европейских писателей ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии.

Подделка «Русалки» Пушкина

Письмо CCCLXVI

I

Были два инженера, братья Зуевы. Один управлял Николаевской железной дорогой, а другой представил окончание пушкинской «Русалки». Г. Зуев рассказал, что в 1836 году у поэта Губера[1] он, будучи 14-ти лет, слышал чтение всей «Русалки» и записал на память ее вторую половину, которая ему особенно понравилась и которую Пушкин прочел, по его просьбе, два раза. Эту «запись» г. Бартенев – прости ему, Господи! – напечатал, как некую драгоценность, а В. П. Буренин и другие критики весьма основательно усомнились в принадлежности этой вещи нашему великому поэту. Казалось, на этом и надо было кончить с этим непозволительным водевилем дурного тона. Но вот в трех книжках ученых «Известий Отдел. рус. языка и словесности Имп. Академии наук» является целое «исследование» г. Ф. Корша, посвященное зуевской «Русалке», т.е. 228 стихам инженера, которые он прибавил к 497 стихам Пушкина. Исследование занимает 364 стр., т.е. 23 печатных листа.

Г. Корш[2] говорит, что «подробности личного участия г. Зуева в деле сохранения прежде неизвестного отрывка поэзии Пушкина» «менее всего допускают рассмотрение», т.е., другими словами, менее всего существенны, что «чудесная память» встречается нередко, и т.д. Мне думается, что самая существенная сторона в этих подробностях заключается именно в том, что 14-летний Зуев, записав на память окончание «Русалки», хранил это в тайне более 60 лет: записал он в 1836 г., а обнародовал в «Рус. архиве» в 1897 г.[3]. Почему он не открыл

этой записи никому из современников Пушкина, ни Губеру, ни Жуковскому, ни Вяземскому, ни Плетневу, ни Краевскому, который был в числе лиц, разбиравших бумаги Пушкина, и, как влиятельный журналист, издававший «Отеч. записки», «Прибавления к “Рус. Инвалиду”», «СПб. вед.» и «Голос», стоял во главе литературы 50 лет. Этого вопроса г. Корш даже не коснулся, хотя виделся с г. Зуевым, который на вопрос о том, почему его запись начинается только как раз после последнего стиха пушкинской «Русалки», открыл ему, что запись его начинается раньше, именно он записал и 8 последних стихов сохранившегося пушкинского текста. Неоконченная «Русалка» явилась в «Современнике» в 1837 г. Губер умер в 1847 г. Почему Зуев не вспомнил о том, что в ноябре 1836 г. Пушкин читал ему всю «Русалку»? Почему г. Зуев никого не назвал, кто присутствовал во время чтения у Губера, – он, имевший чудесную память? Если у Губера присутствовал только 14-летний Зуев, а Пушкин читал «Русалку» им двоим, то весьма вероятно, что этот юноша был близок Губеру и не мог скрывать от него, что он записал «Русалку», и даже не мог бы не показать ему свою запись. Не говорю уже о том, что юноша не мог бы удержать этого секрета даже потому, что он юноша, удостоившийся такого счастья, что Пушкин *для него* дважды прочитал «Русалку». Это было что-то совсем выходящее из ряда вон, что-то необыкновенно милое и дорогое. И вот этот юноша – никому ни слова в течение всего того времени, когда были в живых Губер, Плетнев, Вяземский, Жуковский, Краевский, и секрет хранится 60 лет, как нарочно до того времени, когда никого из современников Пушкина не осталось. Г. Зуев не проговорился даже во время открытия памятника Пушкину. Согласитесь, что такой секрет невозможно себе объяснить никакой причиною, кроме одной: этой «записи» никогда не существовало не только в 1836 г., но и гораздо позже. Это просто сознательная и бездарная подделка под Пушкина.

Метод г. Корша заключается в следующем. Так как подделка до очевидности бездарна и плоха, то надо доказать, что у Пушкина есть несовершенные стихи, плохие рифмы и т.д.

Как скоро это будет доказано, то подделку можно рассматривать как первоначальную редакцию окончания «Русалки» и этим объяснить всю ее бездарность и зуевские стихи объявят пушкинскими.

«Само собою разумеется, – говорит г. Корш, – что на страницах академического издания такая работа должна состоять не в полемике с отдельными критиками, а в строгом, по возможности научном исследовании доступных разбору сторон вопроса, хотя иногда невозможно пройти молчанием их (критиков) возражения». Критики, благодарите! Это «по возможности научное исследование» отыскивает доказательства чисто формальные, технические, почти ничего общего не имеющие с внутренним содержанием поэтического произведения. Г. Корш, как статистик, берет примеры, раскладывает их по рубрикам и подводит итоги. Точно для суждения о поэтическом произведении не нужно никакого вкуса, ибо о вкусах не спорят, а нужна только техника в этот технический век. Для него, поэтому, «пушкинский стих тот, который, будучи даже не совсем правилен по языку, построен по пушкинской технике». Стало быть, стоит только научить пушкинскую технику преимущественно по примерам несовершенным, черпая их в значительном числе и из лицейских и вообще ранних его произведений, и дело в шляпе. Хотя «Русалка» была написана в период полной зрелости Пушкина, но ради г. Зуева это следует игнорировать. Так он и поступает; он приводит стихи из всех пушкинских произведений, наполняя ими сотни страниц, и при этом указывает, где Пушкин не соблюдал цезуры в пятистопном стихе, хотя заявлял, что «любит ее», выписывает его неудачные, бедные рифмы, рифмы одного корня и наглагольные, т.е. опять несовершенные, указывает на малое чутье его в этимологии, на неправильное иногда чередование у него мужских и женских окончаний и проч. и дает к этому небольшие пояснения. Такая проверка убеждает г. Корша, что пушкинский стих – «несовершенный». Мало того, у Пушкина есть «места не только темные, но прямо непонятные», «правда, очень редко». Он указывает одно место в «Руслане и Люд-

миле», одно в «Полтаве» и одно в «Медном всаднике». Только всего. Из этих трех мест только одно первое еще может считаться недостаточно ясным, остальные два совершенно ясны, как следует вот из этого примера «неясности», приводимого им. В «Полтаве» есть стихи:

В стране, где мельниц ряд крылатый
Оградой мощной обступил
Бендер пустынные раскаты, –

г. Корш замечает, что «воображению представляется Голландия, как страна, изобилующая мельницами». Можете себе представить! Но ведь Пушкин писал для русских и сам Голландию никогда не видел, а воображению русских легко представлялись русские местности, изобиловавшие мельницами, а отнюдь не голландские. Правда, «раскат»,– фортификационное выражение, но всем известное, кто учился русской истории. Таким образом, в этих стихах все ясно, но этот пример ясно и говорит о придирчивости г. Корша. Имея в виду все ту же слабость зуевской подделки под Пушкина, г. Корш очень односторонне характеризует приемы работы Пушкина и заключает, что «исправления Пушкина (стихов) в большинстве случаев касались целого, а не частностей, к которым он был сравнительно равнодушен». Рукописи Пушкина, напротив, доказывают, что и то и другое занимало его и он много раз менял слова и выражения в одном и том же стихе. Хотя пушкинский стих, по словам г. Корша, «отличается чистотой, правильностью, простотою, богатством, гибкостью и нередко народностью выражений и оборотов… но и в этом отношении Пушкин не представляет собою совершенства». И опять целые страницы примеров несовершенства, нередко столь же придирчивых, как придирчив был к Пушкину Мартынов в «Маяке» 1843 г.[4], тоже указывавший между прочим на несовершенство рифм.

Известно, что поэты и писатели повторяют не только одни и те же слова, но даже фразы с незначительными вариан-

тами в разных своих произведениях. Даже у Шекспира таких повторений множество. Для убеждения в этом стоит только обратиться к огромному тому, составленному Марией Коуден-Клэрк (Mary Cowden-Clarke), «The Complete concordance to Shakespear», где указаны все слова, употребленные Шекспиром в связи с фразою и указанием акта и сцены произведения. Эта трудолюбивая женщина шестнадцать лет работала над этим трудом, который впоследствии был дополнен несколькими английскими критиками, и последнее издание его (1886) может назваться совершенством в своем роде. По этому труду легко подобрать повторения у Шекспира. Так, слово *love* (любовь и любить) употреблено Шекспиром больше чем в 1900 стихах, слово *god* (бог) в 1000 стихах, слово *youth* (юность) больше чем в 200 стихах, слово *Christian* (христианин) в 76 стихах, слово *woman* и *women* (женщина и женщины) в 570 стихах и т.д.*. Не имея такой книги относительно Пушкина, должно признать, что г. Корш дал для этого несколько материалов, отыскивая у Пушкина подобные повторения. Он находит, что в 1817 г. у Пушкина есть «минуты упоенья», а в 1820 г. «минуты умиленья»; в 1821 г. он говорил: «крик, шум» и в 1824 г. – «крик, шум», в «Братьях-разбойниках» – «мне душно здесь» и в «Евгении Онегине» – «ей душно здесь» и т.д. и т.д. Нагромоздив эти примеры, он делает такой курьезный вывод: «Понятно (?), что чем скорее он пишет, тем чаще употребляет привычные сочетания слов и даже повторяет бывшие прежде в его сознании мысли; потому (??) в заключительных сценах "Русалки"

* Кстати, г. Корш, говоря в другом месте своего исследования, что Пушкин подражал Шекспиру, употребляя между белыми стихами рифмованные, плохо считал рифмованные стихи у Шекспира в его драмах и комедиях. У Шекспира очень много рифмованных пятистопных стихов, особенно в ранних его произведениях. В «Love's L. Lost» 1028 стихов с рифмами, в «Ромео и Юлии» их 485 (в первой редакции только 364), в «Ричарде III» – 170, в «Гамлете» – 81, в «Макбете» – 118, в «Отелло» – 86, в «Лире» – 74 и т.д. Короткие рифмованные стихи и песенки в этот счет не входят. Кроме того, надо сказать еще, что у Шекспира в его драмах встречаются стихи одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестистопные. Все это давно высчитано, и г. Коршу незачем было самому считать и приводить отрывочные и неверные сведения об употреблении… – *А. С.*

(зуевских), если они были написаны Пушкиным, мы должны ожидать повторений (??) всякого рода». Ну, а если эти сцены написаны г. Зуевым, мы не должны ждать повторений всякого рода, и на такое заключение о своих произведениях он не дает ни малейшего права, а именно у г. Зуева, у подражателя, у поддельщика. Разве вторые половины «Бориса Годунова» или «Каменного гостя» представляют повторения первых половин? Подражать легче, чем создавать, компилировать легче, чем сочинять. Сколько драматургов даровитых и бездарных подражают Шекспиру, усваивая его мысли и его форму, сколько написано *шекспировских* стихов разными поэтами, сколько написано *пушкинских* стихов!

Но г. Корш пишет только «по возможности научное» исследование, а потому о логике иногда и не беспокоится. Ему хорошо известно, что «Русалка» писана Пушкиным с годичными перерывами, стало быть не скоро, и при годичных перерывах менее всего возможны повторения, но так как он стремится навязать зуевскую «запись» Пушкину, то ему ничего не стоит, вопреки всякому здравому смыслу, утверждать, что в окончании «Русалки», если бы Пушкин написал его, «должно ожидать повторений всякого рода». А так как в зуевской «записи» множество повторений, то, значит, писал Пушкин. Такими-то натяжками наш критик сближает Пушкина с подделкой.

Я позволю себе эту беседу возобновить завтра.

Письмо CCCLXVII

II

Оправдания тех или других выражений в подделке г. Корш ищет в похожих выражениях во всех произведениях Пушкина. Например, у г. Зуева «месяц золотой». Кажется, это выражение стало уже банальным у всех поэтов. Но г. Корш сообщает стихи Пушкина с «месяцем золотым», с «луною златой», с «луною серебристой», с «луною серебряной»; у

г. Зуева – «волны стали холодеть», у Пушкина в «Русалке» – «волны охладели». У г. Зуева – «ветерок пахнул свежий», у Пушкина в «Е. Онегине» – «И вестник утра, ветер веет»; у г. Зуева – «угадала, знать», и у Пушкина – «знать, не горевал», «знать, на дороге» и проч.; у г. Зуева – «девушка с стыда» (вместо со стыда), у Пушкина – «с своей пылающей душой», «с спокойным сердцем»; у г. Зуева – «сердце ноет», у Пушкина – «душа в ней ныла»; у г. Зуева свечи отражаются «*на* зеркале», у Пушкина – «*в* зеркале», в «Русл. и Людм.», но зато у Пушкина – вместо «*на* чужбине» – «в чужбине», а потому он мог отражать свечи и *на* зеркале; у г. Зуева – «*вмиг* на руках погасли свечи», у Пушкина… ах, какая радость: "вмиг" – одно из любимых выражений Пушкина», – восклицает г. Корш! И на двух страницах выписывает фразы из Пушкина со словом «вмиг». Эврика! Уж если у г. Зуева есть слово *вмиг*, любимое слово Пушкина, то как же Зуев не Пушкин!?

Я сделал только маленькое извлечение из сотен страниц, которые заняты подобными сравнениями. Характеристическая особенность приема г. Корша в этом случае заключается в том, чтобы потопить г. Зуева в Пушкине для их слияния. Этого наш критик думает достигнуть тем, что не приводит из г. Зуева больших отрывков, чтоб не выдать всю пошлость и ординарность его стиха, а действует алонатом относительно Пушкина и гомеопатом относительно г. Зуева. Две строчки из г. Зуева и 200 строк из Пушкина, три строчки из г. Зуева и 300 строчек из Пушкина. Пушкин и прикрывает все. Все, что есть несовершенного у Пушкина, все это ярко выставляется, а все, что есть бессмысленного, безграмотного и глупого у г. Зуева, то тщательно затушевывается. Бессмыслицу он старается объяснить, но объяснения выходят туманными; а явные ошибки против языка и стихосложения у г. Зуева он старается оправдать или неверной расстановкой законов препинания, или вмешательством в ямб трохея, или умолчанием. Иногда, чтоб придать стиху г. Зуева какой-нибудь смысл, он выкидывает из стиха полстиха или заменяет одно слово другим, по своей догадке, или прибавляет два слова, или

утверждает, что «при отделке Пушкиным один из этих стихов (зуевских), вероятно, был бы исключен». Свою предусмотрительность он простирает до того, что прямо указывает, как бы мог Пушкин исправить тот или другой стих, как будто и сам г. Корш чувствует себя Пушкиным, – конечно, возле г. Зуева. Так, предполагая в одном месте зуевской «записи», именно в сцене охотников, пропуск, г. Корш сам сочиняет три стиха, которые, должно признаться, принадлежат к лучшим зуевским стихам. Вот эти стихи г. Корша:

Любимец князя.
И ты туда ж. Во сне тебе, должно быть,
Пригрезилось!
Другой охотник.
Пожалуй, что и так:
Всю эту ночь и глаз мы не смыкали.

Вообще снисходительности нашего критика к г. Зуеву почти нет никаких границ. Точно адвокат, уверяющий судей, что явный убийца, зарубивший пять человек, в сущности, уже не Бог весть как виновен, ибо убитые были очень нехорошие люди. Вот примеры. «Промешкаться охотой» – не говорится и ничего подобного у Пушкина нет. Но у него есть: «Возможно ли, какой судьбою?» – и г. Корш находит аналогическое сходство между двумя этими выражениями. Нельзя сказать: «Ну, от часу»; г. Корш утверждает, что тут просто ошибка и вместо «ну» надо поставить «час». У Пушкина нет «песней огневою», и прилагательного «огневой» нет во всем Пушкине, но есть «громовой», «боевой», «круговой» и проч. и проч., а потому он мог употребить и «огневой». У Пушкина нет зуевского слова «истомный», нет его даже во всем литературном языке, но у него есть «бесстыдность», «разнота», «безуханный», а потому он мог употребить и «истомный». У г. Зуева – «красавец *безотказный*», эпитет совершенно бессмысленный, никогда Пушкиным не употреблявшийся. Г. Корш проходит это слово молчанием. У г. Зуева – «бабен-

кой справить». У Пушкина этого нет. Опять молчание. Молчание всякий раз, когда уж никакие натяжки помочь не могут. Но если могут – он готов. Встретив стих, лишенный размера, г. Корш отмечает его, но… свидетельствует свою благодарность г. Зуеву: «Снова, – говорит он, – приходится отдать справедливость добросовестности (??) П. Д. Зуева, который, конечно, сознавал эту очевидную неправильность». Другими словами, это значит, что отсутствие ритма было у Пушкина. Но во всем Пушкине нет стиха подобного зуевскому, о котором идет речь. Вот он:

Сказки! Непраздною… погибла… важность!

Это безобразие во всех отношениях, кончая точками.

У г. Зуева читаем в монологе Русалки:

Что скажешь, князь? Как приглянулась дочь
Красавица, красавцем зачатая, –
Тобой! В тебя рожденная лицом.

Кажется, достаточно неуклюжие стихи, каких у драматурга барона Розена[5] не найдешь. Но г. Корш считает их пушкинскими и только замечает, что в них есть маленькая неточность: «“зачинает” собственно женщина», – скромно говорит он. Очевидно, Пушкин забыл об этом, а г. Зуев мог и не знать, будучи отроком 14-ти лет. Это мои соображения во вкусе нашего критика. В том же монологе:

Румянец ты украл, покрыл позором
Мое лицо; от слез потухли (?) очи.

Эта адвокатская защита могла бы сердить, если б вы не чувствовали, что чем больше цитирует из Пушкина г. Корш, тем яснее, что самые несовершенные стихи Пушкина во сто крат лучше совершенных стихов г. Зуева. Можно ли найти у зрелого Пушкина даже в набросках такие плохие стихи:

За ревности сердечные страданья,
За ночи, князь, с разлучницей моей,
За ласки страстные ее объятий, –

ведь это детство стихотворства – подобные стихи, да еще для ритма со вставным словом «князь», совершенно лишним. А вот эти:

Любовью жаркою и страстной сердце бьется,
И ждут уста твой поцелуй желанный,
Истомный, сладкий, прежний поцелуй!

Мог ли Пушкин, всегда гибкий, точный и трезвый в своих образах и красках, поставить целых четыре слова для определения поцелуя? Конечно, нет. Сам г. Корш говорит, что «образ выражения Пушкина отличается *даже в стихах* такой *точностью и ясностью,* что в этом отношении с ним не по силам соперничать и многим прозаикам». Но ведь мы имеем дело с адвокатом! Приведенные стихи взяты из монолога Русалки, вообще плохого и бездарного и по стихосложению, и по мыслям; в нем всего 31 строка, но в них по крайней мере 60 пошлых слов. Тут и «красавцем зачатая», и «рожденная лицом», и «утро на заре», и «любились мы» – пошлое выражение, Пушкиным не употреблявшееся и едва ли народное, – и «блестели очи», и «угасли очи», и «пылали уста» и «уста поблекли», и «горькие слезы», и «сердечные страдания», и «жаркая и страстная любовь», и «поруганная любовь», и «ласки страстные», и дважды «день и ночь», и кроме «поцелуя желанного, истомного, сладкого, прежнего» еще «уста поблекли, жаждой поцелуя палящего ревнивою томясь». Неужели все это не бездарнейшая белиберда, с позволения сказать? У какого Пушкина на пространстве 31 строки можно найти столько пошлостей, цыганства и бессмыслия? Понятно, что после такой белиберды князь бросается в Днепр: марку эту действительно трудно выдержать, как кашинский херес, прославленный И. Ф. Горбуновым. Подделка г. Зуева – это именно кашинский херес…

Пушкин, как и все даровитые драматурги, очень краток относительно вводных лиц. Так это во всех его драматических вещах, так и в «Русалке». Но г. Зуев как дошел до охотников, так и написал одних их речей 66 строк, почти целую треть своей «записи». Возможно ли это? Но охотники могут болтать всякий вздор, а вздор может болтать и г. Зуев. И он устами охотников болтает, не думая о том, что в драме должно быть все гармонично, все на своем месте. Пушкин выкидывал даже хорошие стихи, если ему казалось, что они лишние. Но и вздор этот показывает все бессилие поддельщика, ибо охотничьи речи эти, написанные очень плохим, якобы народным языком, идут все о том, что уже известно читателю из пушкинской «Русалки», именно: о связи князя с Русалкой, о самоубийстве ее, беременности и проч., не представляя ни одного факта, не подвигая ни на волос действия. Отвечая одному из критиков, который указал на повторения того, что уже известно, на рассказы о случившемся, г. Корш ссылается на греческую трагедию. Помилуйте, говорит, да после этого и Вестнику в греческой трагедии нельзя рассказывать? Но ведь Вестник рассказывает о том, что случилось, но что еще неизвестно зрителю, а г. Зуев о том, что известно по самому действию драмы. Разница большая, не говоря уже о разнице греческой трагедии и новой.

В речах охотников есть стихи без меры и стихи без смысла, напр.:

Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла в воды.

Что это значит? Это значит, говорит г. Корш, что тут пропущено «точно», «словно», «как будто». Там пропущено «у меня», «мое лицо», здесь «точно», «словно», но уже г. Корш не сочиняет сам своего стиха, так что стих и остается бессмысленным.

И как же мог Пушкин за год до смерти писать таким невозможным языком? Как мог он написать такой стих:

Прочь с глаз! *Продàвец* дочери проклятый!

Уж не говоря о том, что Пушкин, как чуткий художник, не мог вложить в уста дочери проклятие своему безумному отцу, как он мог сказать *продàвец?* Мог, – говорит г. Корш. – Говорят же: книгопродавец, христопродавец, может быть, это слово «употребительно в каком-нибудь говоре русского языка». Но разве Пушкин писал разными говорами русского языка? Он удивительно облагородил русский литературный язык художественною простотою и изяществом. Я могу предложить г. Коршу другое объяснение, столь же авторитетное, как и его. Пушкин часто обращался с книгопродавцами и так привык к этому слову, что и *продàвец* употребил с тем же ударением, как в слове книгопродавец. Думаю даже, что в моем объяснении более если не правдоподобия, то хотя некоторого остроумия.

Откладывая окончание моей беседы до завтра, спешу сказать, что исследование г. Корша во всем том, что касается состава и ритма стиха Пушкина, заслуживает и внимания, и благодарности. До него никто так обстоятельно не говорил об этом предмете и никто не вносил в подобное изучение столько тщательного и вполне научного труда. Вообще со многим из того, что он говорит и вообще о Пушкине, невозможно не согласиться. Тем непонятнее для меня его защита г. Зуева. Мне иногда кажется, что он просто шутит, упражняется в доказательствах, что дважды два не четыре, а стеариновая свечка и что «искусство для искусства» – хорошая вещь и в критике. Если не ошибаюсь, г. Ф. Корш – сын Евг. Фед. Корша, человека очень остроумного, любителя парадоксов. Может быть, в этом случае сказалась наследственная черта…

Письмо CCCLXVIII

III

Почему Пушкин не окончил «Русалки»? Преимущественно по лености, догадывается г. Корш. Легкомысленная, хотя, быть может, и ученая догадка. Мне думается, что вопрос

этот важный для окончательного решения вопроса о подделке на основании внутреннего ее содержания. По моему мнению, он не окончил ее потому, что подошел к сцене, требовавшей всего напряжения его таланта. Он остановился там, где предстояло ему написать нечто вполне достойное великого поэта. Никогда такая трудная задача еще ему не представилась. Живой отец – виновник гибели любимой женщины и дочь его – фантастическое лицо. Столкновение реального с фантастическим, свидание отца и дочери в таких положениях, какие едва ли когда являлись во всемирной литературе. Все, что предшествует этой сцене, для Пушкина было сравнительно легко, но тут был центр драмы, ее сущность, ее идея, ее значение. Дело не столько в том, что девушка бросилась в воду, но в том главным образом, что она унесла с собою и другую жизнь – ребенка. Какую чудную сцену мог написать. Пушкин, какие краски, какие мысли явились бы под его пером! Недаром же он ввел Русалочку. Посылая на берег свою дочь, Русалка еще не знает, что выйдет из этого свидания, что произойдет на берегу между отцом и дочерью и какие чувства возбудятся в них обоих. Интерес в драме растет именно в главном ее пункте, он идет к высшему ее подъему, который именно тут, в этом свидании отца с дочерью. Мне думается, я не ошибаюсь, говоря о подобном замысле поэта. Иначе, что же это за великий поэт, если он сделал только то, что представил нам г. Зуев в своей якобы «записи»? Он представил нам такую плохую компиляцию из пушкинской «Русалки», что просто становишься в тупик перед безвкусием г. Корша, который одобряет и объясняет своего Данта, Зуева. Русалочка повторяет Князю слова своей матери, написанные Пушкиным, иногда слово в слово, иногда в плохой перефразе, и предлагает себя «поцеловать и приласкать»: мать о том «меня просила», – говорит она; девочка – дочь мельничихи никогда не скажет: «Мать меня просила». Речь Русалочки заключена в 30 стихах. Из них 23 стиха взяты или почти слово в слово, или с незначительными изменениями, как плохой и расплывчатый пересказ, из речей Русалки в первой сцене и в пятой и речей Князя в четвертой сцене. Если бы у меня было

место, я доказал бы это наглядно, параллельными выписками. Не правда ли, это по-пушкински!? Г. Зуев сочинил только 7 стихов, которые г. Корш сочинил бы гораздо лучше. Князь берет дочь на руки и целует. В это время выходит Мельник и начинает читать с искажениями и преувеличениями пушкинские слова о вороне-мельнике:

Не оскверняй невинных уст ребенка
Нечистых уст твоих нечистой лаской.
У ворона – я ворон – клюв остер,
И когти есть: он защитить сумеет:
Он крыльями могучими собьет (с ног?)
И острыми когтями сердце вырвет (у тебя?),
Он очи выклюет, княжие очи!
И дочери на дно реки пошлет
Подарочек. Пусть тешится подарком.

Мельник бросается на князя. Русалочка кричит. Является Русалка, говорит отцу, что он *«продàвец* дочери проклятый», и затем тот самый нелепый монолог, состоящий из подбора пошлых слов, о котором я говорил вчера, и скрывается в воду. Князь бросается туда же, сказав:

Нет, не разлучусь с тобою,
Жить без тебя, без нашего ребенка
Не в силах… Лучше смерть в твоих объятьях.

Г. Коршу это очень нравится, исключая трех последних строк Мельника (об «очах княжих»), которые он старается переделать, но вотще! «Запись г. Зуева, – говорит он, – изображает смерть героя так коротко, как только возможно (сказать, к слову, совсем по-пушкински (?)): князь произносит два с половиной стиха, бросается в воду – и сцене конец». Почему «по-пушкински» – неизвестно. Пушкин никогда не был бездарностью. А тут все пóшло. Никакого чувства, никакой психологии, ни единого правдивого и поэтического стиха, никакой правды

в речах Русалочки, из которой Пушкин сделал бы дивное создание, полное наивности и поэзии. Репортерский отчет о самой внешней стороне подобной сцены был бы написан гораздо лучше. В ней все фальшиво, все несносно по своей лжи, по языку, по отсутствию всякой мысли. Не разбираю трех последних стихов монолога Мельника, как забракованных за грубость и неуклюжество самим адвокатом г. Зуева. Но вникните в остальные выписанные стихи. У Пушкина ворон, которым считает себя Мельник, весьма обыкновенная птица, всем известная, только с «сильными» крыльями, чтоб поднять Мельника и дать ему возможность летать. Он «клюет мертвую корову», сидит «на могиле и каркает», не думает на кого-нибудь нападать, говорит о своей шаловливости и боится, чтобы Князь не удавил его, ворона, ожерельем. Сумасшедший, воображающий себя вороном, иначе и не может себя вообразить, как со свойствами и нравами этой птицы, хорошо ему известной, совсем не страшной, не имеющей и «клюва острого» – клюв у ворона толстый, согнутый, конусообразный. Один из небезызвестных русских людей в пятидесятых годах, сойдя с ума, вообразил себя свиньей и ел не иначе, как из корыта, и поступал, как свинья. У г. Зуева – прямой мелодраматический, неестественный ворон, ничего подобного себе не имеющий в природе. У него крылья «могучие», которыми он «собьет» – подразумевается, «с ног», конечно, – а когтями он «сердце вырвет». По безграмотности этих стихов выходит, что ворон и крыльями может сердце вырвать. Курьезен стих: «Я ворон – у ворона»… Первые два стиха тоже не в духе Мельника, который нигде не выражается у Пушкина высокопарно. Если поискать, то подобные стихи можно найти у Кукольника: они совершенно в его манере. Но главное, что бросается в глаза даже при беглом чтении этой сцены, – это молчание Князя. У Пушкина он говорит при виде Русалочки:

Откуда ты, прелестное дитя?

– и только. У г. Зуева он говорит: «Дитя!..», потом: «Но кто же ты?», и, наконец, два стиха:

Дочь! Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я с ума, как старый, бедный мельник.

Конечно, г. Корш может сказать и тут, что «это так кратко, как возможно» и «совсем по-пушкински». В самом деле кратко: всего 19 слов, считая и такие, как *я, с, и, но, кто, же, ты.* Не предполагая даже, что Пушкин остановился перед этой сценой, потому что она казалась ему чрезвычайно трудной и важной, эта краткость ничего собою не изображает, кроме бездарности плохого стихотворца, лишенного всякой фантазии. Только самый ординарный стихоплет может написать подобную сцену так безнадежно плохо. Для Русалочки у него были стихи самого Пушкина, как сказано выше, для Мельника тоже был материал в словах Пушкина о вóроне. Но речи Князя надо было написать самому, надо было знать человеческую душу, ее страдания, ее радости, отцовскую любовь, мгновенно проснувшуюся и вызвавшую у него небывалые движения души. Надо помнить, что прямым доказательством тому, что подобное состояние Князя Пушкин имел в виду, служат слова Княгини (3-я сцена):

Когда б услышал Бог мои молитвы
И мне послал детей, к себе тогда бы
Умела вновь я мужа привязать.

У Княгини не было детей, и Князь не знал родительского чувства. Оно именно тут, при свидании с дочерью, должно было родиться и вызвать у него не краткие восклицания, ничего не обозначающие, а речи полные чувства и мыслей, чрезвычайный подъем всего его существа. Семья тогда только семья, когда есть дети, и дети – то связующее звено между мужчиной и женщиной, которое скрепляет любовь и дает ей вечный смысл. Во имя этого смысла он и вывел Русалочку. Всякий чувствующий читатель легко себе это вообразит и поймет. Как же великий поэт, т.е. человек, которому Богом открыты такие области, каких мы, обыкновенные люди, не видим с такою яркостью, как он, – как же этот поэт, так хорошо знавший

любовь, ненависть, ревность, знавший любовь к детям, мог ограничиться в подобной сцене почти одними междометиями? И Князь мог броситься и в Днепр (такое окончание еще Белинский подсказал), но к какому концу привел бы нас поэт, угадать невозможно; это случилось бы совсем не так, как у г. Зуева с его краткостью и мелодраматизмом плохой французской пьесы. Краткость тогда хороша, когда она исполнена яркой мысли, высокого полета, а не тогда, когда она полна только безграмотности и пустых слов и восклицаний. Допустить, что Пушкин написал эту сцену так возмутительно плохо, значит допустить, что в конце своей жизни Пушкин весь выдохся, потерял не только всякий талант, но даже чувство стихотворной речи и превратился в жалкого стихокропателя и компилятора из собственных своих произведений.

Я принужден отложить, по недостатку места, окончание моего «наследования» до завтра.

P.S. Делаю две поправки: 1) Вместо «аналогическое сходство» следует «сродство», или, как у г. Корша: «Есть немало примеров конструкций и оборотов по аналогии». 2) «О красавце безотказном» г. Корш говорит. Это мой недосмотр в обширной книге г. Корша. Слова этого у Пушкина нет, но оно есть у Даля, но толкование Даля не подходит к смыслу стиха. Г. Корш вертит это слово и так и сяк, но зуевский стих продолжает быть без смысла. Тогда он решается вынуть слово «безотказный» и сам сочиняет вместо г. Зуева гораздо лучше, именно:

Князь молод и горяч, *собой* красавец,
Богат и щедр.

Но, позвольте, зачем же сочинять? Для соперничества с г. Зуевым, что ли? Ведь г. Зуеву было 14-ти лет, когда он записал окончание «Русалки». Слово «безотказный» такое мудреное, что сам г. Корш полез в словарь Даля, чтобы узнать его значение. В академическом словаре, существовавшем в 1836 г., этого слова нет. Словаря Даля тогда не было. В литературных

произведениях оно ни разу не встречалось, нет его и теперь. 14-летний г. Зуев не мог его знать. Что-нибудь одно: или г. Зуев слышал его от Пушкина, или сам сочинил гораздо позже. Если он слышал его от Пушкина, то почему же г. Корш говорит, что «Пушкин этого стиха не одобрил бы»? Значит, этот стих не пушкинский. Если он не пушкинский, то зуевский. Так выходит по самому г. Коршу. Очень рад.

Письмо CCCLXIX

IV

Механическо-филологический прием, примененный г. Коршем к зуевской подделке под Пушкина, меньше всего может быть приложен к поэтическим произведениям в стихах, где большую роль играет гармония и другие свойства, отличающие стихи от прозы. Если взять поэтов пушкинской эпохи и даже драматургов того времени и употребить такой же филологический прием для сравнения, то окажется, что все они Пушкины, только в степени превосходной перед г. Зуевым. Великий поэт умалится до последнего своего подражателя, потому что чем больше рабства у подражателя, чем более он списывает, тем более он будет походить на Пушкина при таких приемах. Как можно сравнивать великого поэта с малым, указывая на то, что у того и другого такие-то формы и обороты, такие-то неправильные стихи, такие-то любимые выражения. Несколько страниц из великого поэта и из малого скажут вам о их значении гораздо больше, чем целые тома филологических изысканий вроде следующего, который беру из Корша и который дает понятие о его чисто формальных приемах:

«Построение этого места вполне пушкинское: здесь мы находим параллелизм трех предложений, которых глаголы поставлены в неопределенном наклонении, и двух с глаголами в изъявительном прошедшего времени, градацию первых трех параллельных членов, единоначатие в двух последующих и

возрастающую плавность стихов (??) сообразно с усилением чувства, выражающимся в градации, а затем, по переходе от воображаемых картин к унылому размышлению, снова два стиха, менее правильных…»

Вот какими учеными соображениями втирают нам очки: параллелизм, единоначатие, градация и проч.

Гораздо убедительнее этих фокусов простой арифметический прием. У г. Зуева 228 стихов. Из них, как уже сказано, 66 (вместе с тремя стихами, сочиненными г. Коршем для объяснения явной бессмыслицы, – 69) заняты бессвязной и ненужной болтовнею охотников, т.е. почти треть всего произведения г. Зуева, и для него это в порядке вещей. Но для Пушкина – такое предпочтение охотников, лиц вводных, всем другим лицам драмы – бессмыслица, исключающая всякое представление о движении, гармонии и смысле драмы. Исключив из счета зуевский хор русалок, главным действующим лицам остается: Русалочке – 41 стих, Мельнику – 14, Княгине – 36, из них 23 стиха – рассказ о ее сне, ничего не прибавляющий к действию и ее характеристике, Русалке – 33 стиха и Князю – 5. Всего 129 стихов, т.е. только почти вдвое более против того, что дано болтовне охотников! Какое же тут соответствие! Можно ли себе вообразить даже набросок Пушкина в таком безобразии! И неужели эти цифры не красноречивы и не говорят даже они одни, что мы имеем дело с явной подделкой? Не говорю уже о том, что в этих 129 стихах бо́льшая часть составляет дословное или близкое повторение тех же фраз, мыслей и фактов, какие находятся в пушкинской «Русалке», и останется каких-нибудь 50 стихов, и притом плохих, которые соорудил по средствам своей жалкой фантазии г. Зуев. Хор русалок в подделке – сколок с пушкинского, слабое подражание и по фактуре стихов, и по их смыслу. Усилия плохого стихокропателя выдают его на каждом шагу, как я уже это указал и мог бы указать еще сколько хотите. Один из критиков «записи» находил недурным рассказ Княгини о своем сне. Г. Корш останавливается на этом с особенною любовью. По замыслу сон этот очень вычурный, а по стихам – очень банальный и плохой. В нем такие выраже-

ния, как «в яхонты рядилась кровавые, блестящие, большие»; ряд эпитетов вроде «желанный, истомный, сладкий, прежний поцелуй». Княгиня говорит о себе:

Из водных струй сотканною фатой
Покрылась и, блистая красотой,
С улыбкой в храм Божий я вступила.

Один из критиков «записи» заметил, что «блистая красотой» – «банальность». Г. Корш сейчас же приводит из Пушкина:

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой;

еще:

Красою девственной сияя,

и проч., и проч. Но г. Корш не сообразил, что во всех этих пушкинских примерах – все это слова *самого* поэта, *его* впечатления от красоты. Княгиня же *сама* о себе говорит: «блистая красотою», и вот этого у Пушкина никакой г. Корш не найдет, потому что это ни с чем не сообразно, противореча ее характеру древнерусской княгини. Тут же:

Не аксамит, а зеркало, как лед
Холодное, *постлали* пред надоем.

«Постелите мне зеркало!» – говорит ваша супруга горничной. Это означает, что она занимается поэзией, а не заговаривается, ибо г. Корш прямо говорит, что «“зеркало постлали” возможно в поэзии». Конечно, возможно, только в какой поэзии? Ведь есть и бессмысленная «поэзия».

В руках погасли свечи,
И там, внизу, *на зеркале,* зажглись.

Г. Корш замечает: «Легко было бы устранить эту неточность (*в* зеркале вместо *на* зеркале), сказав так:

И *подо мною* в зеркале зажглись».

Ну, если *под нею* зажглись свечи, то странно, как она могла это увидеть, и так же странно, как она не сгорела, когда под нею загорелись свечи. Впрочем «в поэзии возможен» всякий вздор, как и в толкованиях г. Корша. Этот удивительно парадоксальный человек, найдя во *всем* Пушкине только *два* неправильных стиха, в которых *его* надо выговаривать с ударением на *е*, оправдывает у г. Зуева всевозможные неправильные стихи, но найдя во всем Пушкине только *один* неясный стих, который он, однако, сам объясняет совершенно толково, строго замечает: «Уже самая необходимость толкования, да еще *неизбежно более или менее натянутого и скучного,* отнюдь не говорит в пользу ясности выражения». Но когда дело идет о г. Зуеве, г. Корш позволяет *«постлать зеркало»*… вероятно, для того, чтоб глядеться в него вместе с г. Зуевым.

Г. Зуев кончает драму смерти Княгини словами Мамки:

Умерла!
В сонм ангелов прими ее, Всевышний!

Это та самая Мамка, которая у Пушкина так остроумна и так народна. У г. Зуева она говорит, как архиерей.

Кстати. Замечательно, как les beaux ésprits se rencontrent*. У меня есть книга: «Осенние листы. Собрание стихотворений Антония Крутогорова. СПб., 1866 г.». В этой книге есть «Русалка. Окончание к драме Пушкина». Произведение плохое, но более обширное и сложное, чем зуевское. Между обоими произведениями, однако, немало сходных черт. Оканчивает драму г. Крутогоров тоже смертью Княгини и тоже восклицанием Мамки:

Что будет с ним-то, с круглым сиротою?

* Проницательные умы сходятся (*фр.*).

Однако надо кончить, а то, пожалуй, напишешь столь же обширное «исследование», как и г. Корш. Надо наконец остановить в покое и мучительный труд г. Зуева в подыскивании слов и выражений по пушкинским образцам, и мучительный труд г. Корша в подыскивании к этому бездарному подбору и бессмыслицам отступления у нашего великого поэта от строгой грамматики.

Г. Корш кончает свой труд комическим восклицанием: «Где у нас тот поэт и вместе знаток Пушкина, который мог бы написать то, что сохранил от забвения Д. П. Зуев?» Возглашение совершенно естественное у филолога, который так самоотверженно старался подделать г. Зуева под Пушкина, у адвоката, который сваливал всю вину своего клиента на другого, невиновного человека, который слишком велик, чтобы к его произведениям приставили когда-нибудь вирши г. Зуева и вирши самого г. Корша.

Г. Бартенев, печатая подделку, рекомендовал г. Зуева «маститым старцем», который постоянно «услаждается творениями великого поэта». Он умел писать стихи, как увидим ниже. Возможно, хотя и сомнительно, что он слышал разговор Пушкина с Губером о «Русалке», который завяз в его памяти. Прошли годы. Не попробовать ли окончить «Русалку»? Он стал работать над этим окончанием, работал долго и постепенно уверялся в том, что его окончание очень хорошо и может быть принято за пушкинское. У непризнанных поэтов такое самомнение – дело обыкновенное. Но он знал судьбы «окончаний». Выдай он окончание «Русалки» за *свое сочинение*, все признают, что оно ничего не стоит. Оно погибнет в реке забвения, как погибли несравненно более даровитые окончания шиллеровского «Самозванца», написанные иногда истинными поэтами и по широкой программе, оставленной великим немецким поэтом.

А не выдать ли свое сочинение за пушкинское? Это возбудит интерес, станут спорить, доказывать, и, кто знает, может, и удастся провести кого-нибудь. Он колеблется, рассчитывает шансы за и против, но думает: а что если отыщется пушкинское

«окончание»? После появления сочинений Пушкина под редакцией г. Морозова и описи его рукописей, сделанной г. Якушкиным, т.е. в то время, когда в бумагах Пушкина не было найдено окончания «Русалки», г. Зуев подал о себе слух, и в литературных кружках Петербурга заговорили о зуевской «записи», но, сколько мне помнится, в обстановке несколько иной, чем теперь. Состоялось чтение у г. Зуева. Один из присутствующих, человек несомненного таланта и вкуса, на вопрос:

– Пушкин ли это? – отвечал:

– Да, Пушкин, но маргариновый.

Прошли еще годы, прежде чем г. Зуев решился выпустить свою подделку, но обставил ее своими 14-тью летами и своей феноменальной памятью, существование которой у него, однако, еще никто и ничем не доказал. Но и 14 лет, и феноменальная память – хорошая выдумка, ибо у всякой памяти могут быть недочеты, а потому недостатки этой «записи» легко приписать именно недочетам памяти и ошибкам «отрока». Г. Корш и повис на этом…

«Запись» была пущена в печать как раз с того места, где остановился Пушкин. Критика прежде всего обратила на это свое внимание. Тогда г. Зуев победоносно заявил, что он записал и предыдущие 8 стихов, но не напечатал их потому, что это было бесполезно, и потому, что и из этих восьми 4 заключают незначительные отличия эти – в 4 словах, по одному в каждом стихе. Г. Корш явился к г. Зуеву, который возмущался недоверием к нему и упреками критики за грубость некоторых выражений в «записи». И вот он сознается, что, напротив, преследуя приличия, он подделал в «записи» несколько стихов, или, как выражается г. Корш, прибег к «самовольной перемене». *Любимец Князя* рассказывает охотникам – хотя они и без него не могли этого не знать, – что Мельничиха сама навязалась Князю («подговорилась» у г. Зуева):

охотою слюбилась,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку
О псице. Аль забыл? Ну, и молчи.

Г. Зуеву показались эти якобы пушкинские стихи неприличными, и он не исправил их, как в печатной «записи» в «Рус. арх.», так:

охотой отдалася,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку:
«Насильно мил не будешь». И молчи,
И не болтай пустого, ты не баба.

Отсюда несомненно, что г. Зуев умел писать стихом. Оба варианта плохи, и первый, якобы пушкинский, еще хуже второго, в сочинении которого г. Зуев сознался. Хуже потому, что не в обычае у Пушкина писать намеками, да и не в обычае у охотников не договаривать своей мысли. Между ними не было дам. Поговорку о псице я не знаю, как не знают ее, вероятно, многие. Но г. Зуев, очевидно, знал ее, если заменил другою, вероятно однородною. Пушкин, несомненно, или обошел бы эту поговорку совсем, или всю ее написал бы, в особенности в рукописи первоначальной.

Если г. Зуев подделал несколько стихов и сказал об этом поздно, то почему же он не мог подделать и всего? Он, как говорится, открыл «следы преступления», хотя и с тем расчетом, что такая искренность говорит за него. Но при всех других доказательствах подделки эта искренность тоже поддельная.

Преступления доказываются следствием, допросом очевидцев, биографией преступника; подделка требует таких же приемов. От такого следствия г. Корш отказался. Какие особенности характера г. Зуева, с кем он был знаком, нет ли в его бумагах следов подделки, сделали ли у него обыск? Конечно, ответы на эти вопросы могут быть только отрицательные, потому что такое следствие немыслимо. Но вот что возможно было определить: каким почерком написана «запись» и на какой бумаге? Г. Корш говорит, что он видел *подлинную запись*. Чем эта подлинность доказывается? Признаками ли бумаги 1836 г., когда запись была написана, знакомством ли г. Корша с почерком г. Зуева, когда ему было 14 лет, или чем-нибудь

другим? К рукописям относятся критически, и, прежде чем признать их подлинность, необходимо подвергать их внимательному рассмотрению экспертов. Произведено ли подобное следствие? Г. Корш ничего об этом не говорит. Г. Бартенев тоже ничего об этом не сказал. Конечно, внешние стороны подделки – дело не важное. Подделывают и бриллианты и кредитные билеты, а не то что рукописи. Но все же для полной картинности и характеристики подделки адвокатам предстоит доказать, что бумага, на которой «запись» написана, действительно 1836 или близкого к нему года и почерк рукописи действительно почерк 14-летнего г. Зуева…

Желаю им в этом успеха. Сам я останусь с убеждением, что г. Зуев есть г. Зуев, г. Корш есть г. Корш и Пушкин есть Пушкин, до которого не только всем нам, как до звезды небесной, далеко, но далеко до него и всякой Академии. Он академик у самого Аполлона, бога поэзии и света.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Подделка поэмы «Демон»

Несколько лет тому назад, кажется г. Богоявленский, подделал несколько страниц «Мертвых душ». Г. Семевский с восторгом напечатал подделку в «Русской старине», как несомненное произведение Гоголя. «Вестник Европы» поместил об этой подделке пространную критическую статью, как о несомненном произведении Гоголя. Тогда поддельщику стало совестно долее морочить таких почтенных и «понимающих» литераторов и вводить в заблуждение малопонимающую публику, и он представил несомненные доказательства своей подделки. Скандал был значительный, но, правду сказать, поддельщик обнаружил большую ловкость и тщательное изучение манеры Гоголя. К тому же он подделал текст, но не подделывался под руку Гоголя.

В издании «Сочинений М. Ю. Лермонтова», явившемся под редакцией г. Висковатова, напечатан «Демон», по моему мнению, в явной подделке текста, а, следовательно, и руки Лермонтова…

Но г. Висковатов не только не сомневается в подлинности того, чему он дает заглавие *«“Демон” в окончательной обработке 1840–41 г.»*[1], но рекомендует эту подделку, как нечто выдающееся, как «самоцветные камни поэзии», как произведение зрелого таланта, который перешел от «субъективного, личного элемента (в “Демоне”) к эпическому элементу, и поэма основывалась не на автобиографическом начале, а на народных верованиях, хранящих в себе воззрения целой страны, ставшей для поэта второй родиной». Г. Висковатов «был уверен» в существовании именно такой редакции «Демона» и нашел то самое, в чем был уверен заранее. Это совпадение мыслей г. Висковатова с мыслями Лермонтова было бы замечательно, если б действительно было такое совпадение. Замечательно и то, что г. Висковатов упрекает прежних издателей за то, что они примешивали к «Демону» «мишуру и фольгу», упрекает г. Ефремова, весьма хорошо знакомого с подлинными рукописями Лермонтова, в том, что он, г. Ефремов, принял за подлинную рукопись поэта такую, которая не может считаться подлинною «по внимательном рассмотрении», но относительно своей находки списка «Демона», якобы исправленного рукою Лермонтова карандашом, он не позволяет себе и тени сомнений, под списком стоит «184 » – «последняя цифра стерлась, – говорит г. Висковатов, – почему мы его и относим к 1840 и 41 году». Даже эта стертая цифра – обстоятельство важное наряду с тем, что ничто другое не стерлось, – нимало не беспокоит г. Висковатова. Он так убежден, что это перл, что я вовсе не льщу себя надеждою поколебать его, а имею в виду исключительно читателей. Я не могу взять на себя труд доказывать, что рука Лермонтова подделана, – на это у меня нет ни материалов, ни знакомства с подлинными рукописями Лермонтова; но мне известно по многочисленным процессам, что подделаться под чужую руку – дело весьма нехитрое, для чего не надо ни ума, ни таланта, а только навык. Но подделать стихи Лермонтова, подделаться под его мысли, «дыша-

щие силой», на которые «как жемчуг нижутся слова», – вот что чрезвычайно трудно, ибо тут необходимы и ум, и поэтический талант, равные Лермонтову. Я и хочу доказать, что подделка не носит на себе ничего лермонтовского, следовательно, автор карандашных поправок подделался под руку Лермонтова; кроме того, я хочу доказать, что ни в 1840, ни в 1841 г. Лермонтов не мог заниматься «обработкой» «Демона» и именно в эти годы относился к своей поэме довольно скептически.

* * *

Лучшим текстом «Демона» считается текст, напечатанный в 1856–57 г. в Карлсруэ; этот текст очень близко подходит к тому тексту поэмы, который был распространен в публике в рукописных списках до появления его целиком в *русском* издании; к этому тексту 1856–57 г. очень близок и список «Демона», сделанный рукою Белинского: этот список редакция «Сочинений Лермонтова», изданных фирмою «Кушнарева и Комп.», получила от свояченицы Белинского, г-жи Орловой, через посредство г. Джаншиева, и напечатала его с отличиями от издания 1856–57 г. (см. том II этого издания, носящего название «художественного»).

Г. Висковатов стремится подорвать доверие к этому тексту как «окончательной обработке поэмы». Окончательно она обработана именно в том списке, который, по мнению г. Висковатова, есть шедевр, а по моему мнению, есть не что иное, как грубая, неуклюжая и бездарная подделка человека, способного, быть может, подделаться под руку Лермонтова, но не способного подделать его стихи.

Вот мои доказательства.

Кому неизвестно, что Лермонтов якобы согрешил относительно львицы, приписав ей гриву, в следующих стихах:

И Терек, прыгая как львица,
С косматой гривой на хребте,
Ревел.

Поддельщик прежде всего пожелал освободить Лермонтова от упрека в незнании зоологии и сочинил вместо этого следующие стихи:

И разъяренною тигрицей
Косматый Терек в глубине
Ревел.

Зоология спасена, но прекрасный образ Терека исчез. Вместо *прыгающего,* стремительного и ревущего Терека с косматой гривой волны на спине явился *неподвижный* косматый Терек, только ревущий тигрицей. Замечу, во-первых, что самый рев Терека может быть сравнен скорее всего со звонким, громовым ревом льва, отличающимся от прерывистого рева тигра; во-вторых, Терек действительно как бы прыгает и на середине его потока волна возвышается, как грива. Для меня совершенно ясно, как образовался постепенно этот образ Терека в представлении поэта. В очерке «Демона» 1833 г. Лермонтов говорит о *волнах* моря при закате:

Их раззолоченные гривы;

в другом месте того же очерка он говорит:

И белогривые мятели,
Как львы, у ног его ревели.

В очерке «Демона» 1833 г. нет еще ни Кавказа, ни Терека; когда впоследствии Лермонтов внес в свою поэму описания природы Кавказа и кавказский сюжет, то исчезли из нее стихи о «раззолоченных гривах» волн и о «белогривых мятелях», ревущих, как «львы»; вместо этого является «Терек с косматой гривой» (волны) на хребте и с ревом и прыжками львицы. Помоему, «косматая грива» вовсе к львице не относится и стихи можно выразить прозою так: «И Терек с косматой гривой на хребте прыгал и ревел, как львица». Ведь гривы нет ни у волн,

ни у метелей, однако поэт нашел у них гриву; почему же ему не найти ее у Терека, не сравнивать волны его с косматой гривой? Но, так или иначе, Лермонтов бесподобно владел стихом, и, если б ему понадобилось удовлетворить зоологов переделкою стихов, он не лишил бы Терек самой существенной стороны – стремительности, прыганья; кроме того, Лермонтов не прибегнул бы к повторению, которое есть в подделке, именно в ней «Косматый Терек *в глубине*» стоит почти рядом со стихами: «И *глубоко* внизу чернея, вился излучистый Дарьял». Поддельщику «глубина» нужна была для рифмы; для Лермонтова она не была нужна, ибо и Терек, и Дарьяльское ущелье одинаково, относительно летящего Демона, были «глубоко внизу». Смешал ли поэт львицу со львом или нет, но он не мог пожертвовать своего выразительного образа Терека в пользу зоологической фразы о Тереке только ревущем, как тигрица. Я того мнения, что поэту поэтическая, художественная истина дороже зоологической, и в мировой поэзии мы встречаем очень часто таких зверей, каких никогда не существовало. Самый Демон есть полное отрицание зоологии и вообще естественных наук.

Стихи:

И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой

в подделке стоят так:

И звезды яркие, как очи
Грузинки пылкой, молодой.

Зачем тут «пылкой молодой грузинки»? Поддельщик, очевидно, старается поправить Лермонтова, и ему кажется, что вместо повторения «очи» и «взор» лучше грузинке дать пылкость вместе с молодостью. Но яркость очам дает молодость, а пылкость, т.е. страсть, дает им совсем другое выражение, влажное, темное. О звездах говорится, что они яркие, ясные, тихие, такие же очи могут быть у всякой молодой грузинки, у всякой моло-

дой девушки; но пылкость и у молодости может быть только в минуты возбуждения и страсти, пылкой может быть и зрелая женщина. Понятно, что Лермонтов не мог написать того стиха, в принадлежности ему которого не сомневается г. Висковатов.

Стихи:

Немой души его пустынью
Наполнил благодатный звук,
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты –

ясные и поэтические стихи эти тоже показались поддельщику недостаточно хорошими, и он заменил их следующими неуклюжими и банальными виршами:

В немой души его пустыню
Проникла молнией любовь,
И он опять постиг святыню (?)
И мир добра и красоты.

Неужели есть где-нибудь у Лермонтова, в лета его зрелости, такой беспримерно плохой стих, как «В немой души его пустыню»? Пересмотрите его стихи за 1838–41 годы и попробуйте найти хоть один такой, поистине безобразный. Не найдете. Поэтому я думаю, что даже одного этого стиха «В немой души его пустыню» было бы достаточно, чтоб видеть подделку, совершенную самым заурядным рифмоплетом. Не говорю уже о мысли: у Лермонтова Демон «постигнул святыню любви, добра и красоты», а у поддельщика он «постиг мир добра и красоты» да еще какую-то «святыню». Какую же? Не монастырскую ли?..

Далее у Лермонтова:

…мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним *катилися* тогда.

Поддельщик вместо «катилися» поставил «воскреснули», и вышло совсем несообразно: звезды именно катятся, по народному выражению; они катятся и закатываются, «воскресать» звезды могут только разве в сильный телескоп, когда становятся видны и такие из них, которые простым глазом не видны. Сравнение длинной цепи мечтаний, которые катятся, как звезды друг над другом, поистине прекрасно и вполне отвечает поэтическому языку народа. Поддельщик же даже русским языком не вполне владеет, что видно из следующего примера: Лермонтов сказал о чухе, что «кругом она вся галуном *обложена»*; поддельщик поставил «*обведена».* Пушкин советовал своим критикам поучиться русскому языку у московских просвирен; г. Висковатов, если б с должным вниманием отнесся к подделке, мог бы в настоящем случае справиться у портных, и они сказали бы ему, что говорится: «обложить мехом, галуном».

У Лермонтова

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит;

поддельщик ставит вместо этого:

Лишь только ночь своим покровом
Долины ваши осенит;

но ведь ночь в гористых странах ранее наступает в долинах, чем на высоте гор; в долинах уже темно, а на горах еще блестят снега на солнце, ибо солнце там еще видно. Ясно, что Лермонтов хотел сказать, что Демон будет прилетать к Тамаре только тогда, когда наступит *полная ночь,* т.е. когда она наступит и на *верхах* Кавказа. Известно, как работал Лермонтов, как он исправлял и перечеркивал свои произведения, как мало был он доволен даже тем, что мы теперь считаем хорошим. Оттого-то всякая подделка его даже в мелочах, всякое даже незначительное исправление его текста так

и бросается в глаза. По-видимому, не все ли равно сказать «верхи Кавказа» или «долины ваши», но оказывается, что это далеко не все равно. Поэт выражается точно, поддельщик же – не спросясь разума.

У Лермонтова говорится, что Демон

…был похож на вечер ясный;
Ни день, ни ночь, ни *тьма*, ни свет;

у поддельщика говорится, что Демон

…был похож на вечер ясный,
На день, на ночь, на *мрак*, на свет;

по-моему, у поддельщика просто бессмыслица: если Демон на все походил – и на вечер, и на день, и на ночь, то он ни на что не походил; сходство с ясным вечером, напротив, говорит воображению; самый строй мысли, где прежде всего говорится о вечере, а потом уже о дне, показывает, что поэт хотел сказать именно то, что сказано; поддельщик, оставив первый стих неприкосновенным и изменив только второй, тем самым еще более выдает свою подделку, не говоря о том, что она бессмысленна; если б поэт хотел сказать, что Демон ни на что не походил, то он не поставил бы «вечер ясный» впереди дня и не характеризовал бы вечер словом «ясный», как не характеризовал он ни дня, ни ночи; если же вечер он отличил словом «ясный», то второй стих является естественным объяснением этого «ясного вечера». Именно на *ясный* вечер походил Демон, а не на темный или просто на вечер.

Описав пляску Тамары, Лермонтов говорит:

В последний день она плясала…
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвое дитя,
Судьба печальная рабыни,

Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья:
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты.

Тут все понятно, все отвечает и обрядам, и состоянию души девушки, готовящейся к венцу. Кроме того, стихи эти указывают, что Тамара не только красавица, но и мыслящая девушка, от которой не закрыта и оборотная сторона брачной медали. Вместо этого поддельщик сочинил следующие вирши:

Увлечена *летучей* пляской,
Она забыла *мир земной,*
Ее узорчатой повязкой
И золотых кудрей *волной*
Играет ветер – лишь *порой*
Темнили смутные сомненья
Ее *небесные* черты.

Не говоря о таких незвучных рифмах, как *волной* и *порой*, не говоря вообще об этом ненужном наборе слов, читатель совершенно недоумевает, какие это «смутные сомнения темнили ее небесные (?) черты»? У Лермонтова ясно, какие это сомнения, ясно, что смущало девушку накануне свадьбы; у поддельщика – загадка, вероятно понятная г. Висковатову: но он, к сожалению, не дает объяснения ее. Он говорит только, что поэт, очевидно, хотел сделать Тамару белокурой («волна золотых кудрей»), так как есть очень красивые белокурые грузинки; но неужели для белокурых грузинок Лермонтов пожертвовал бы смыслом?

Мелкие поправки поддельщика я пропускаю* и обращаюсь к тому смыслу, который хотел придать он поэме. Лермон-

* Все они не выдерживают критики. Укажу на одну. У Лермонтова «Роскошной Грузии равнины *ковром раскинулись* вдали». У поддельщика вместо последнего стиха – *«Ковром пестреющим легли».* Почему же «*пестреющим* ковром», когда ковер и сам по себе заключает в себе понятие о пестроте! Не есть ли даже «пестреющий ковер» в некотором роде бессмыслица? – *А. С.*

тов якобы хотел освободить ее от субъективности, придать ей эпическое значение. Но поправки поддельщика нимало не дают поэме этого значения. Демон остается тем же Демоном, который тревожил Лермонтова с очень ранней юности: он так же рекомендует себя Тамаре: «Я враг небес, я зло природы»; он так же горд и властолюбив, так же смело идет против Бога и таких же соблазнов полна его речь; можно сказать, что девяносто девять частей поэмы осталось без всяких изменений против того текста, который явился в Карлсруэ; личность Лермонтова осталась так же, насколько она отразилась в этом его романтическом создании, ко второму очерку которого, написанному 16 лет, он приписал:

Как Демон мой, я зла избранник,
Как Демон с гордою душой,
Я меж людей беспечный (?) странник,
Для мира и небес чужой.

Тамара осталась такою же, несмотря на старания поддельщика придать ей черты какой-то сестры милосердия относительно Демона. Поправки поддельщика только внесли в поэму неуклюжие или нелепые стихи его собственного сочинения и некоторые слишком незрелые стихи самого Лермонтова из самых ранних очерков «Демона». Поддельщик только напряг усилия своего небольшого ума и весьма малой стихотворной способности на то, чтоб согласить, да и то только при помощи неясных намеков, поэму с каким-то для самого г. Висковатова, поклонника этой подделки, неясным кавказским преданием о том, что любовь непорочной девушки могла бы обратить Демона на путь правый, если б он полюбил ее «платонически».

Где записано это предание, в каких словах оно передается, об этом г. Висковатов ничего не сообщает. Если такое предание существует, оно должно иметь свою народную форму, как сказка, как песня. Мы его не имеем в этой форме, и Лермонтов, очевидно, до 1840 г. не знал об нем. Услыхав о нем в этом году, он решился исправить своего «Демона» в смысле этого предания.

Положим, так. Но если б Лермонтов стал исправлять, то он исправил бы по-лермонтовски. Не так ли? Ведь в 1840 г. – это удивительный поэт, не только пишущий «правильною, прекрасною, благоухающей прозою», как выразился о нем Гоголь, но и поднявший свой стих до изумительной простоты, яркости и правильности благоухающей прозы. В нем ни сучка, ни задоринки – как ключ прозрачной воды, течет он свободно, почти не прибегая для размера и рифмы к насильственной перестановке слов, столь обычной у наших поэтов. Именно в это время он имел право сказать о своей поэзии:

На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг, нижутся слова,

и

Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум*.

Отвечает ли этому совершенству формы этот «Демон», якобы «в окончательной обработке 1840–41 года»? Мы уже видели примеры неуклюжих и даже глупых стихов, приписанных Лермонтову. Мы увидим далее нечто еще более неуклюжее и совсем бессмысленное.

* * *

Эпиграфом к подделке поставлены четыре стиха из посвящения «Демона» 1831 г. В. А. Бахметьевой (урожд. Лопухиной), но, замечает г. Висковатов, «с характерным изменением четвертого стиха:

Прими мой дар, моя мадонна!
С тех пор, как мне явилась ты,
Моя любовь мне оборона
От гордых дум и суеты.

* Стих. 1810 г. «Журналист, читатель и писатель». – *А. С.*

Этот последний стих в 1831 г. гласит:

От порицаний клеветы.

Видно, созревающий поэт, вспоминая прошлое, определяет важное значение любимой женщины в своей жизни, что он в 1840 г. так чудно выразил в предисловии “Валерику”, тоже ей посвященному».

Для меня совершенно ясно, что это «характерное» изменение четвертого стиха сделано поддельщиком, а вовсе не Лермонтовым, ибо оно совершенно противоречит всей поэзии Лермонтова, которая именно есть поэзия «гордых», независимых дум. Предисловие к «Валерику» написано в этом же гордом тоне независимого ума:

Я жизнь постиг,
Судьбе, как турок иль татарин,
За все равно я благодарен,
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу.

Мог ли поэт в том же 1840 году сказать, что «любовь ему оборона от гордых дум» и от какой-то «суеты», сочиненной, очевидно, для рифмы, ибо «суета» тут ровно ничего не изображает собою. Мог ли он отречься от самого себя, от духа своей поэзии? Но поддельщик думал, что изменением этого стиха он разом укажет на наступление «эпической» струи в характере Лермонтова. «Гордых» дум больше не нужно, а нужно петь спокойно народные предания. К подделке, ничего ясно не выражающей, г. Висковатов спешит со своими примечаниями и объяснениями. Так, он уверяет, что Демон получил от Бога позволение влюбиться в Тамару, что об этом позволении известно было Херувиму, что Тамара играла в этой истории роль сестры милосердия и «пала жертвою заблуждения, а не порочных начал». Что это за «порочные начала» такие? А видите, Тамара пылала страстью дома под влиянием Демона;

когда же она поступила в монастырь, то «ощущениям чувственности нет места в обители», – продолжает обязательно комментировать г. Висковатов на том только основании, что поддельщик одну строфу о страстных мучениях Тамары перенес из второй части поэмы, посвященной монастырской ее жизни, в первую. Но я полагаю, что основание это недостаточное, ибо мне весьма хорошо известно, что монастырь вовсе не исключает «ощущений чувственности», что во множестве доказывается житиями святых. Да и в самой подделке, несмотря на старания изменить образ Тамары и несмотря на примечания, что в монастыре «нет места для чувственности», Тамара остается чувственной и, когда Демон начинает ей говорить о своей любви, она вся пламя, страсть, и молит его пощадить ее. Поэтому напрасно г. Висковатов уверяет, что у Тамары «все больше и больше *пробивается* мечта о слышанном ею в детстве предании, по коему непорочная дева в силах вернуть к добру злого духа». Эти слова г. Висковатова служат комментарием к следующим стихам поддельщика, стихам поистине великолепным по своей неуклюжести:

Теснятся в ней воспоминанья
Из детства раннего сказанья
Родной и милой старины.

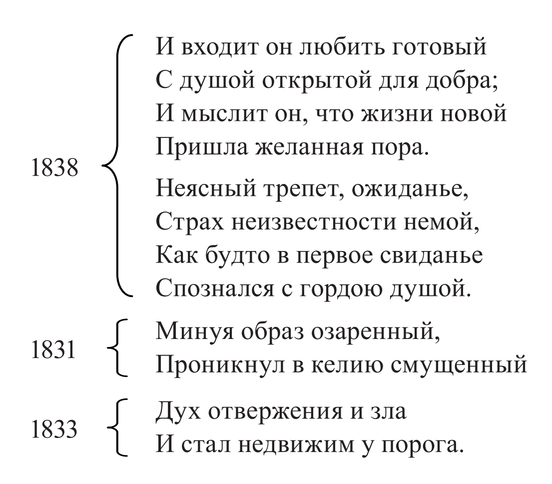
Помните в начале «Демона»:

И лучших дней *воспоминанья*
Пред ним *теснилися* толпой –

г. Висковатов уверен, что Лермонтов, принявшись «обрабатывать» свою поэму в 1840–41 г., ничего не мог придумать, как повторить свой же стих, но в неуклюжей форме: у Демона *«теснились воспоминанья»* лучших дней, а у Тамары *«теснились воспоминанья из детства раннего».* Не объяснит ли, по крайней мере, поддельщик, что это за «сказанья» такие? Нет, он не объясняет, очевидно, рассчитывая, что это сделает г. Висковатов

прозою, в чем, как мы видели, он и не ошибся: г. Висковатов сказал нам прозою, что сказанье это заключается в том, что «непорочная дева в силах вернуть к добру злого духа».

Признаюсь, я бы очень желал, чтобы нашлось какое-нибудь сказанье, которое могло бы вернуть к здравомыслию г. Висковатова. Оно было бы необходимо, чтоб разобраться в том сумбуре, где вращается этот почтенный человек, для которого нет такой нелепости, которую он не принял бы с восторгом, если эта нелепость принадлежит поддельщику. Самая манера работы Лермонтова извращается; им руководит не вдохновение, не желание выражаться просто и ясно, а потуги жалкого компилятора, который подбирает стихи из очерков «Демона» разных годов и связывает их *новыми* стихами самой неуклюжей фактуры, а иногда и такого бессмыслия, которое впору совсем глупому человеку. Не угодно ли вам полюбоваться, как компилирует якобы Лермонтов в следующей строфе, где цифры обозначают стихи Лермонтова из очерков «Демона» 1829, 1830, 1831 и др. годов, а *курсивом* напечатаны *новые стихи,* якобы Лермонтова, написанные им в 1840–41 г. Прочтите, пожалуйста, и полюбуйтесь этим Лермонтовым в подделке нашего рифмоплета:



1838 {
И входит он любить готовый
С душой открытой для добра;
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Неясный трепет, ожиданье,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознался с гордою душой.

1831 {
Минуя образ озаренный,
Проникнул в келию смущенный

1833 {
Дух отвержения и зла
И стал недвижим у порога.

И чуя сияние Бога
Не смея приподнять чела,
1833 *На грудь склонился головою,*
Томим неведомой тоскою,
Но взор он поднял – ангел нежной

1833 В одежде легкой (дымной?), белоснежной
Стоит с блистающим челом,

1838 Хранитель схимницы прекрасной,

И от врага с улыбкой ясной
1830 Приосенен ее крылом,
Они невинны, чисты оба!

Он смотрит – ненависть и злоба
Мгновенно пробудили страсть:
1829 *Исчезнул ясный рой мечтаний;*
Века вражды, века страданий
Над ним свою явили власть.

Херувим

Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
1838 Твоих поклонников здесь нет;
Зло не дышало здесь поныне!
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.

Демон

Оставь ее. Меж ней и мною
Не становись, она моя!
1838 *Мы связаны судьбой одною*
И ей, как мне, ты не судья.
Под чарой ясной благостыни
Я счастье лучших дней ловлю!

1838 Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею, я люблю!

Прочтите все напечатанное курсивом и вы увидите, как все это банально, плоско, тяжело, аляповато, бессмысленно, как все это ниже даже самых ранних стихов Лермонтова 29-го, 30-го и 31-го года! Какой, например, этот канцелярский стих о том, что «века вражды, века страданий»

Над ним свою явили власть!

Можно ли такую плохую прозу приписывать Лермонтову? В очерке «Демона» 1829 г., когда Лермонтову было 15 лет, есть стих, выражающий такую же мысль:

Коварство, ненависть, вражда
Над ним владычествуют ныне –

этот стих 15-летнего Лермонтова несравненно гармоничнее того, который приписывает г. Висковатов 26-летнему Лермонтову. А чем не проза, да еще плохая, эти стихи:

Он смотрит – ненависть и злоба
Мгновенно пробудили страсть –

даже неизвестно, какую «страсть» пробудили, неизвестно, и для чего тут стоит это слово: ведь «ненависть» и «злоба» – сами по себе «страсти», какую же они еще страсть пробудили? У Лермонтова в очерке «Демона» 1830–31 г. соответствующее этой подделке место читается так:

И зависть, ненависть и злоба
Взыграли демонской душой.

Опять, как лучше выражается 16-летний Лермонтов 26-летнего – к счастью, мнимого! Что значит *«ясный рой* мечтаний»? Разве рой бывает ясным? Рой всегда темный, а Лермонтов всегда отличался точностью в своих поэтических

сравнениях. Но поддельщик доходит до вершины совершенства вот в этом двустишии:

Под чарой ясной благостыни
Я счастье лучших дней ловлю! –

не бессмыслица ли это? Что это за «чара ясной благостыни»? Есть выражение «чара зелена вина», но «чара благостыни», да еще «ясной», – это что-то из Тредьяковского. Назидательно, что г. Висковатов очень строго относится ко всему тому, что выходит из ряда предлагаемой им подделки; он, напр., сомневается в принадлежности Лермонтову таких, по его мнению, прозаических стихов, как:

О, не брани, отец, меня!
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну – жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой.
Я гибну – сжалься надо мной.

Прозаичны они или нет, но смысл их ясен, а ведь г. Висковатов не только приписывает Лермонтову стихи в сто раз более прозаичные, но приписывает ему смешные бессмыслицы и ни единым словом не выразил своего сомнения, «принадлежат ли они его перу»? Что это такое – наивность, непонимание, потемнение рассудка, расчет на близорукость читателей или какая-то самоуверенность в своем авторитете? Я решительно понять не могу, почему г. Висковатову так мила эта явная подделка, почему он в ней не сомневается, почему он пишет к ней комментарии, почему он для нее даже забывает, как работал Лермонтов, как он строго относился к себе? Почему он вообразил, что Лермонтов мог 26-ти лет, в пору сильного развития своего таланта, писать такие же плохие стихи, какие пишет г. Висковатов, такие же топорные, неуклюжие, вымученные, как, напр., стихи его, г. Висковатова, приложенные к VI тому изданных им «Соч. Лермонтова», где есть такие вирши:

С севера на юг влеком далекий…
Скал толпа склонилася над ним…

Десять лет человек научал жизнь и сочинения Лермонтова, собрал много фактов, приносящих большую честь его усердию и прилежанию, и не может отличить самой глупой подделки под Лермонтова от Лермонтова!

Это что-то совсем невероятное. Правда, отцы и матери сплошь и рядом не видят недостатков своих детей, но ведь подделка не принадлежит самому г. Висковатову, а только им найдена. Неужели эта находка так ему дорога, что он не видит всего ее безобразия? Неужели он не видит, что поддельщик просто рифмоплет и компилятор, чуждый всякого вдохновения! Не видит, не видит. Он так ослеплен рифмоплетом, что комментирует его; он комментирует, почему рифмоплет зачеркнул целые страницы «Демона», находя, что они риторичны. На самом деле выпущены прекрасные стихи, например, 33 стиха, начиная с «И в страхе я, взмахнув крылами» до «Но злобы мрачные забавы недолго нравилися мне», или 16 стихов, начиная со стиха «Кто устоит против разлуки, соблазна новой красоты», полных мыслей и выразительности в такой степени, что они очень часто цитируются, как бесспорные истины. Вместо этих 16 стихов сочинены такие прозаические, где трудно добраться до смысла:

Но пусть другие б утешались
Ничтожным жребием своим:
Их думы неба не касались,
Мир лучший не доступен им.

Пропущено также поистине великолепное сравнение лица мертвой Тамары с картиной солнечного заката на снегах Кавказа:

Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,

Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа на мгновенье,
Отлив румяный сохраня,
Сияют в тихом отдаленье;
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь на ней он не осветит
С своей вершины ледяной.

Любопытнее всего то, что г. Висковатов знает, почему поддельщик выпустил эти стихи: «Они плохо редактированы». А вот «Чары ясной благостыни», «В немой душе его пустыню» и другие, столь же неуклюжие и нелепые, превосходно редактированы, по мнению г. Висковатова! Где поддельщик коснулся своей рукой, там все превосходно. Удивительно, просто удивительно.

* * *

По-моему, самая мысль переделать «Демона» не могла прийти Лермонтову в 1840–41 г. Именно в это время он властно, с полным сознанием созревшего художника, ясно видящего недостатки прошлого, называл своего «Демона» «диким бредом» и превосходно характеризовал его в «Сказке для детей»:

Кипя огнем и силой юных лет,
Я прежде пел про Демона иного:
То был безумный, страстный, детский бред.
Бог знает, где заветная тетрадка?
Касается ль душистая перчатка
Ее листов и слышно: c'est joli!..*
Иль мышь над ней старается в пыли?

Далее, рисуя *нового* Демона 1840–41 г., он говорит, что старого Демона он «воображал не так»:

* Как мило (*фр.*).

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно сладкой красотою,
Что было страшно… и душа тоскою
Сжималася – и этот *дикий бред*
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами.

Это несомненное свидетельство самого поэта, хронологически совпадающее с тем временем, к которому относится якобы «окончательная обработка» «Демона», предложенная г. Висковатовым, свидетельство в пользу того, что «Демон» им брошен, пережит, что он иронически отзывается и о «заветной тетрадке» и называет его «детским, безумным, диким бредом». В 1840–41 годах Лермонтов не мог переделывать «Демона» в якобы «эпическую поэму» не только в том виде, в каком переделал его протеже г. Висковатова, но и в том, в каком он мог бы его переделывать, если б в самом деле вдохновился каким-то кавказским преданием. Лермонтов начал в это время писать другого Демона, и начал его иронией над «эпическими поэмами» и «повестями в стихах». Он говорит о *новом* Демоне:

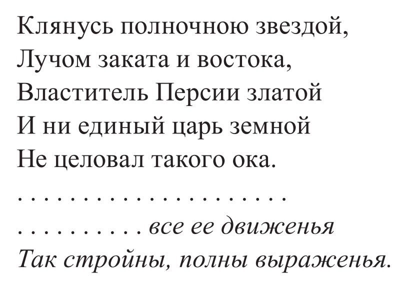
То был ли сам великий сатана
Иль мелкий бес не самых невиновных,
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел семейных и любовных –
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, *по рогам и платью*
Я мог бы сволочь различать со знатью.

Поэт совсем освободился от романтического бреда в этих 1840–41 гг., и «Сказка для детей» есть как бы гениальная пародия на поэму «Демон» и вместе образец, как должно писать поэмы. Это здравомысленный русский Демон, рисую-

щий превосходно русскую действительность, русское барство и новую Тамару на берегах Невы, Нину – тоже грузинское имя. Там старый Гудал, здесь старый барин, у того Тамара, у этого Нина; и Тамаре шепчет Демон, и у подушки Нины он же сидит и шепчет, но совсем иначе шепчет, как реалист-художник. Иногда Лермонтов прямо пародирует своего «Демона» даже в подробностях и как бы хочет указать, как далеко он ушел от романтического «бреда» и как глубоко понимает реальные задачи искусства. Вот примеры:

Нет, никогда свинец карандаша
Рафаэля иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль. *Все ее движенья*
Особого казались выраженья
Исполнены.

Так в «Сказке для детей». А вот как это самое в «Демоне»:


Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока.
. . . .
. . . . *все ее движенья*
Так стройны, полны выраженья.

Обратите внимание на то, что вместо «властителя Персии» и «царей земных», которые в «Демоне» призываются как авторитеты в оценке красоты, в «Сказке для детей» авторитеты эти – «карандаш Рафаэля», «кисть Перуджина», т.е. авторитеты действительные, а не призрачные. В самом деле, не смешно ли считать «властителя Персии» и «царей земных» авторитетами в оценке красоты, и что определенного и важного могут сказать читателю эти оценки, хотя бы они и сопровождались

довольно бессмысленною клятвой какою-то «полночною звездой» и «лучом заката и востока»?

В «Сказке для детей» читаем:

> Я понял, что *душа ее была*
> *Из иных,* которым рано все понятно.
> Для мук и счастья, для добра и зла
> В них пищи много; только невозвратно
> Они идут, куда их повела
> Случайность без раскаянья, упреков
> И жалобы. Им в жизни нет уроков;
> Их чувствам повторяться не дано.

Эти стихи, которые говорит Демон в «Сказке для детей», напоминают стихи в поэме «Демон», которые говорит Херувим:

> *Ее душа была из тех,*
> Которых жизнь одно мгновенье
> Невыносимого мученья,
> Недосягаемых утех:
> Творец из лучшего эфира
> Соткал живые струны их,
> Они не созданы для мира,
> И мир был создан не для них.

Романтическая характеристика Тамары сменяется реальной, полной житейской правды характеристикой Нины. Есть и другие места в той и другой поэме, которые напрашиваются на сопоставления, но я и без того уже перешел границы фельетона. Если б «Сказку для детей» Лермонтов окончил, то, мне думается, не осталось бы никакого сомнения, что это прекрасная, полная жизни и правды пародия на «Демона», что это бесповоротное прощание с романтизмом, отрицание романтических поэм с их демонами, херувимами, с их «бредом детским, безумным, диким». Трезвая правда отныне должна руководить

поэтом, та правда, которая так блистательно выступает в «Герое нашего времени», в «Валерике», в «Сказке для детей» и других превосходных созданиях созревшего поэта*.

Г. Висковатов дал маху. Для меня это несомненно. Убедил ли я читателей – не знаю. Но г. Висковатову, во всяком случае, предстоит доказать, что Лермонтов мог в 1840–41 г. писать неуклюжие и бессмысленные стихи, и затем отдать излюбленный им список «Демона», якобы с собственноручными поправками Лермонтова, на тщательный разбор людей, знакомых с рукописями поэта. Я убежден, что этот разбор докажет, что рука Лермонтова подделана жалким рифмоплетом, хотя в этом случае он, быть может, показал большую способность…

Еще о подделке «Демона»

Мне очень жаль, что г. Висковатов обратился не в «Новое время», а в «Новости» со своим возражением на мой фельетон «Подделка поэмы “Демон”». Я напечатал бы целиком это возражение, ибо в таком вопросе самолюбие надо отлагать в сторону и дело должно оставаться делом.

Прочитав это возражение, я еще более убедился, что якобы совершеннейшая редакция поэмы «Демон», явившаяся в издании г. Висковатова, есть действительная подделка. Как и следовало ожидать, г. Висковатов постарался обойти все то в моем фельетоне, на что у него не могло быть никаких возражений. Он ни слова не возразил на компиляторский прием

---

* Статья эта была набрана, когда я получил книгу «Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения. Опыт историко-литературной оценки. Н. Котляревского. СПб., 1891». Книга эта написана с талантом и свидетельствует о прекрасной, поистине европейской подготовке молодого ученого к этюдам такого рода. К сожалению, г. Котляревский только мимоходом коснулся «Сказки для детей», посвятил ей всего 14 строк. Между прочим он говорит: «Автор имел, кажется, в виду написать *сатиру*. Любопытно, что еще в юношеских тетрадях поэта есть проект написать сатирическую поэму *«Демон»*. Если Лермонтов возвратился к этому проекту, то «Сказка для детей» прежде всего есть *сатира* на его «Демона» в смысле творчества, созданного на русской действительности, и трезвой правды. – *А. С.*

поддельщика, который разложил перед собой всевозможные списки «Демона» и вылавливал из них *в раздробе* отдельные стихи, то поправляя их по своему разумению, то связывая их своими прозаическими, неуклюжими стихами. Этот «компиляторский» прием есть *важнейшее* доказательство в пользу подделки, ибо поэт не мог таким способом придавать поэме «эпическое» содержание и превращать ее «личное» настроение в «эпическое» народное сказание. Для этого требовалось вдохновение, перестройка совершенно свободная, поэтическая, к которой мы приучены в произведениях Лермонтова и в произведениях всякого замечательного писателя. Они не компилируют, а пишут, творят. «Творить» – не пустое слово, оно выражает именно то, на что обыкновенный смертный не способен. Скажут, что Лермонтов переносил многое из прежних стихотворений в новые. Да, переносил целиком частности, тирады, десяток стихов, но *не подбирал по стиху*, а затем целое являлось уже совсем переработанным («Мцыри», «Орша» и проч.). Переделка «Маскарада» сделана была так, что дала совсем *другую* пьесу (хуже или лучше – тут не вопрос). Этот прием, это «творчество» совсем отсутствуют в списке «Демона», о котором идет речь, и г. Висковатов в своем возражении только увеличивает число примеров для подтверждения «компиляторского» приема, к которому Лермонтов не мог прибегать по существу своего таланта. Это неопровержимо, и все поэты, и все талантливые писатели подтвердят это, как аксиому творчества. Не говорю уже о том, что у Лермонтова не было и не могло быть под рукой всех тех списков поэмы «Демон», какие могли быть у поддельщика и какие народились после смерти Лермонтова в бесконечном числе. Так, в одном списке стояло

И взгляды яркие, как очи
Грузинки *жарко*-молодой,

вместо чего поддельщик поставил «пылкой, молодой»: по-моему, нехорошо и то, и другое. Так, в другом списке стоит

Лишь только ночь своим покровом
Долины ваши осенит,

вместо «Верхи Кавказа», и поддельщик взял «Долины ваши» из этого списка, а не сам их сочинил, как я предполагал. Шесть из семи стихов, начиная с «Увлечена летучей пляской», приписанных мною поддельщику, как неясных и неудовлетворительных, оказывается, тоже взяты из одного из списков «Демона», и поддельщик вставил в них только один свой стих: «И золотых кудрей волной», так как, по словам самого г. Висковатова, стих «Она забыла мир земной» в прежних изданиях «стоит без *соответственного* стиха» (т.е. без рифмующего с ним), ну, беспорядок, а потому и надо было его сочинить.

Я очень благодарен г. Висковатову за эти указания, доказывающие несомненным образом подделку, ибо у поддельщика, очевидно, было под рукою множество списков, из которых он компилировал и которые Лермонтов, вероятно, и в глаза не видал. Г. Висковатов, думая, что поражает меня, не сбиравшего списков «Демона», на самом деле поражает поддельщика, раскрывая его приемы работы. Я благодарен г. Висковатову и за то, что он сам начинает критиковать поддельщика, находя, что «остается открытым вопрос, что лучше:

И Терек, прыгая, как львица,
С косматой гривой на хребте,
Ревел;

или:

И разъяренною тигрицей
Косматый Терек в глубине
Ревел»;

и объявляя, что ему, г. Висковатову, «более симпатично», что Демон

…был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет,

чем стих поддельщика, который поставил, что Демон был похож «на вечер ясный, на день, на ночь, на мрак, на свет». Я благодарен за все это г. Висковатову потому, что мои усилия доказать, что напечатанный им список «Демона» есть подделка, воздействовали на него и он начинает немножко стыдиться, что принял подделку за настоящие перлы. Следы этой пробуждающейся стыдливости видны и в том, что г. Висковатов приводит из своей статьи в «Русском вестнике» (у меня ее не было в Феодосии, где я писал свой фельетон) следующие строки: «Карандаш от времени потерся, и поэтому *трудно утверждать с достоверностью, что это написал сам поэт».* Отчего же г. Висковатов этой фразы не сказал в своем издании «Сочинений Лермонтова»? Отчего он рекомендовал, напротив, свой «список» как совершеннейшее и несомненнейшее произведение Лермонтова и только теперь, после моей статьи, немного образумился? Ведь если «трудно утверждать с достоверностью, что это (т.е. нелепые и прозаические стихи подделки) написал сам поэт», то как же не сказать об этом читателям и покупателям «Сочинений Лермонтова»? «Почерки схожи», – отвечает г. Висковатов. Но разве даже отлично подделанный вексель непременно должен быть признан действительным? Разве трудно подделать почерк? Трудно подделать *поэзию* Лермонтова, а не почерк Лермонтова. Я доказывал и доказываю, что поэзия, стихи подделаны, и отсюда вывожу, что и почерк подделан. И г. Висковатов ничего не возражает мне на это или возражает так, что становится стыдно за этого профессора словесности. Послушайте, как он отстаивает нелепые стихи:

Под чарой ясной благостыни
Я счастье прежних дней ловлю:

«Хотя (?) мы и не можем, – говорит он, – разделять мнения почтенного г. Суворина, говорящего: “Что это за чара?.. есть “чара зелена вина”, но “чара благостыни”, да еще “ясной”, – это что-то из Тредьяковского”. Что это, – спрашиваю

я, – острота со стороны г. фельетониста? Уж не писано ли (??) это под "чарой" чары? Или он хочет сбить с толку доверчивого читателя, прежде утверждая, что стихи, принадлежащие Лермонтову, писаны "поддельщиком", а теперь смешивая нарочно понятие "чары" от "очарования" (? не наоборот ли?) с "чарою", т.е. "чаркою"?».

Не говоря о том удивительном языке, которым написал эти строки* г. Висковатов, я должен сказать, что это не «острота» и не желание «сбить с толку» доверчивого читателя: дело в том, что я имею некоторую претензию на знание русского языка и в данном случае могу сослаться на такого знатока этого языка, как Даль. Предлагаю г. Висковатову взглянуть в его «Толковый словарь». Там он найдет следующее: «Ча́ра – *чарка*, чарочка, стопка, кубок, стакан, рюмка, из чего пьют водку, вино. Чарочка вполтретья ведра… Что скучен? Аль кто обнес тебя чарой зелена́ вина» и т.д. Только это значение и имеет «чара», поэтому «Под *чарой* ясной благостыни» есть нелепость. Следовало сказать: «под чарами ясной благостыни», но тогда не вышло бы стиха, и поддельщик хватил «чару». Замечательно, что г. Висковатов доселе этого не видит, говоря, что я «смешиваю понятие чары» от «очарования» с «чарою», т.е. с «чаркою». Но ведь стоит в стихе: «чара», стало быть, и по г. Висковатову – «чарка», т.е. выходит «под чаркой ясной благостыни». Слово *чары,* стоящее совершенно отдельно в «Толковом словаре», как самостоятельное слово, – действительно имеет значение волшебства, волхования, колдовства и т.д., но «чара» этого значения не имеет. Лермонтов, бесспорно, это прекрасно знал и не смешал бы «чару» с «чарами». Если г. Висковатов, будучи профессором русской словесности, этого не знает, то отсюда еще не следует, что он имеет право бессмыслицу выдавать за стихи Лермонтова и принимать под свою защиту поддельщика почерков.

* Г. Висковатов вообще владеет русским языком плохо. Так, в этой же статье находится фраза: «Не был подвергнут со стороны автора серьезной разработке и ознакомлению». За такую фразу гимназиста можно «подвергнуть наказанию». – *А. С.*

У г. Висковатова остаются еще, по его мнению, piéces de résistance*. Таковых две. Поговорим о них. Первая заключается в следующем:

«В найденном мною списке Ангел уступает Демону, когда последний ссылается на Бога и как бы именем Его отстраняет Ангела, очевидно, знающего, что здесь совершается предназначенное Небом. Демон оканчивает свое обращение к Ангелу словами:

Решило небо нашу встречу,
Любовь и торжество мое…
Не ты – пред небом я отвечу
И за себя, и за нее.

И тогда только Ангел улетает. Но г. фельетонисту не угодно было привести эти стихи, а он до них обрывает свою выписку, очевидно, чувствуя (??), что эти стихи нельзя заподозрить и приписать вымышленному им поддельщику (??). Следующие за этим стихи из найденной мною рукописи он также не приводит:

Тамара гордой речи внемлет;
Чудесный страх ее объемлет;
Он перед схимницей стоит;
Знакомой блещет красотою,
И утихающей грозою
Взор отуманенный блестит.

Только после этих стихов в найденном мною списке Тамара обращается к Демону со словами:

О кто ты? Речь твоя опасна! и т.д.

Что же, и вышеприведенные стихи не лермонтовские?»

Конечно, не лермонтовские, т.е. по крайней мере не того Лермонтова, о котором мы говорим и которого мы знаем как

* Основные аргументы (*фр.*).

славу русской поэзии, Лермонтова созревшего, а в данном случае Лермонтова 1840–41 г. Ведь дело идет о переделке поэмы «рукою мастера», о переделке ее в 1840–41 г., когда Лермонтов был действительно мастером. Есть еще другой Лермонтов, отрок, незрелый юноша, писавший плохие, никому не нужные стихи и сам их осуждавший в пору этой своей зрелости. Этого-то отрока и юношу-поэта и не любит г. Висковатов и г. поддельщик, из него-то г. поддельщик и компилирует и к нему-то присочиняет, его-то поправляет, из него-то понадергал плохих стихов в «Демона» и уверяет, что «Демон» стал от этого шедевром. Но нужны ли они, уместны ли, хороши ли, поэтичны ли – этого поддельщик не понимает точно так же, как не понимает и г. Висковатов. Возьмем первые четыре стиха «Решило небо нашу встречу» и проч.

Если Ангел знал, по мнению г. Висковатова, что Демон действует по повелению Божьему, то ему незачем было являться к Тамаре и выслушивать понапрасну оскорбления Демона. У Лермонтова Ангел улетает потому, что видит, что дело его проиграно, что Демон овладел уже душою Тамары. Это согласно с религиозным представлением о борьбе злого духа с добрым, который грустно удаляется, когда видит торжество противника. Но у поддельщика Ангел улетает потому, что Демон отдает ему приказания именем Бога, т.е. Ангел как будто и прилетел затем, чтоб выслушать это приказание Демона. Г. Висковатову, как профессору, вероятно, известна небесная иерархия лучше, чем мне, но я полагаю, что такое поведение Ангела ни с чем не сообразно еще вот почему. Демон у поддельщика говорит:

Решило небо нашу встречу,
Любовь и торжество мое –

умалчивая о прозаичности этих стихов и не настаивая на разрешении вопроса, можно ли на хорошем русском языке сказать: «Я решаю вашу встречу, любовь и торжество», – полагаю, что Ангел, знавший решение Неба, имел полное право

сказать Демону, что он лжет, и тут же обличить его перед Тамарою и раскрыть все его карты. Ведь дело в том, что Небо, если допустить существование легенды, по которой чистая любовь девушки могла возвратить Демона на путь добра, Небо, говорю, отнюдь не могло решать всего того, о чем он говорит: оно могло «решить» встречу их, но не могло «решить любовь и торжество» Демона – он должен был подвергнуться испытанию в своем поведении, иначе с какой же стати отдавать ему на съедение девушку, очень порядочную, честную и вдобавок несчастную? Что это за игра такая с духом зла, известным своим лукавством и злобою! Если б Небо все решило, решило даже «торжество» Демона, то и предполагаемая легенда потеряла бы всякий смысл, и Демон явился бы самым банальным, прогнанным чиновником, без ума, без способностей на ядовитые соблазны, без жгучего красноречия и страсти, но единственно с дозволением снова безобразничать, как ему вздумается, и над кем? – над несчастной девушкой! Есть ли тут смысл какой-нибудь? Зачем Демону ум, сила соблазна, обаятельные речи, когда Небо заранее все решило, и встречу его с Тамарою, и любовь, и торжество, и Демон это знает так же хорошо, как и Ангел? Могла ли быть подобная поистине глупая задача у Лермонтова, когда он Демона рисовал протестантом, врагом Бога и людей, и когда весь смысл поэмы именно в этом образе? Поэтому «Решило небо» и проч. Лермонтов не писал и не мог писать.

Что касается следующих затем «Тамара гордой речи внемлет» и проч., то это опять компиляция и поправки стихов отрока Лермонтова, которому не было еще 16-ти лет и который в эти годы влагал в уста монахини, обращающейся к Демону, такой смешной стих:

Что ты хочешь получить?

Это, бесспорно, стих Лермонтова, написанный им в начале 1830 года, но не «лермонтовский» стих, не стих Лермонтова 1840–41 г. Потом рядом с «Чего ты хочешь получить?» стоят и:

Лукавый с девою сидит,
И чудный страх ее объемлет;
Она, как смерть бледнея, внемлет.

Плохие и ненужные стихи, брошенные Лермонтовым навсегда и с поправками возобновленные г. поддельщиком-компилятором, который не мог понять, что они выкинуты, как слабые, как ненужная «ремарка» в драматической сцене.

Таким образом, гордое восклицание г. Висковатова – «что же, и эти стихи не лермонтовские?» – доказывает еще раз, что за подделку взялся плохой рифмоплет, а за комментарии к нему плохой критик, хотя он и говорит о себе, что поет, как соловей крыловской басни. Я полагаю, что это из области глупостей, т.е. то, что г. Висковатов соловей…

Другая piéce de résistance выражена г. Висковатовым в следующих словах:

«Г. Суворин уже раз высказал по поводу этого дела свое скороспелое суждение. Я читал о “Демоне” и показывал рукописи в начале мая 1888 года в Литературно-драматическом обществе в Петербурге. Г. Суворин тогда же (4-го мая) написал заметку с искажениями истины, почему и был принужден, по требованию председателя, 8-го мая напечатать у себя сообщение в ином виде».

Г. Висковатов совершенно напрасно обратился к этому «воспоминанию», ибо оно прямо говорит против него. Большинство Литературного общества, где г. Висковатов читал подделку «Демона», прямо высказалось против нее, что я и выразил тогда же такими словами: «Начались прения, сущность которых сводилась к тому, что *ничем не доказано,* что поправки произведены Лермонтовым, что поправки эти почти все неудачны или слабее того подлинника, который мы все знаем, что изменения смысла поэмы ровно ничего ей не придают». Далее я говорил, что необходимо прежде всего доказать при помощи *специалистов* подлинность руки Лермонтова. Г. Висковатов на это обиделся и пошел жаловаться на меня г. Исакову, председателю Литературного общества. Г. Исаков

не имел ровно никакого права что-нибудь от меня *требовать* и не думал требовать; для утешения г. Висковатова он просил меня напечатать официальный, так сказать, отчет о заседании. Отчет этот отличается от моей заметки тем, во-первых, что у меня было сказано, со слов г. Висковатова, что он приобрел список «Демона» у какого-то «сторожа» Главного штаба, а в отчете официальном было сказано, что список этот приобретен у одного «служащего» в Главном штабе: «сторож», очевидно, резал ухо и, пожалуй, кому-нибудь дал бы повод сказать, что поправки сделаны не Лермонтовым, а сторожем Главного штаба, тогда как «служащим» мог быть и генерал, поправки которого могут быть лучше поправок «сторожей»; во-вторых, тем, что в этом отчете было упомянуто и о мнении какого-то меньшинства. Привожу это дословно: «В продолжительных прениях, возбужденных этим сообщением (г. Висковатова), в которых приняли участие С. А. Андреевский, А. Н. Майков, Л. Н. Майков, Я. П. Полонский, К. К. Случевский, А. С. Суворин и др., был главным образом подвергнут обсуждению вопрос о значении роли изменений, которые встречаются в тексте последнего списка по отношению к основной мысли поэта и ее развитию. При этом с одной стороны было высказано мнение (одиночное мнение г. Висковатого?), что эти изменения являются несомненным признаком большей зрелости мысли поэта и более строгой выдержанности основной идеи поэмы, с другой же, что *эти изменения не представляют ни по содержанию, ни по форме ничего такого, что следовало бы предпочесть печатному тексту, и не могут служить доказательством правильности воззрения докладчика на этот новый вариант»* («Новое время», № 4378). Это уж не мое одиночное мнение, а мнение многих литераторов, засвидетельствованное председателем Литературного общества. Не я «искажал истину», когда писал в 1888 г. против «списка» «Демона», а г. Висковатов искажает истину, умалчивая о том, что Литературное общество отвергло его «список».

Если это не так, пусть г. Висковатов назовет по именам тех литераторов и поэтов, которые признавали значение за

его списком «Демона», которые усмотрели «зрелость мысли» в неуклюжих стихах, иногда лишенных всякого смысла, и «выдержанность основной идеи» в жалком компиляторстве поддельщика, теперь, надеюсь, вполне доказанном. Пусть он назовет этих литераторов и пусть они публично признают превосходство списка, купленного у сторожа Главного штаба, перед всеми другими списками. Это, по крайней мере, будет голос людей беспристрастных, которые могут быть заинтересованы только в репутации Лермонтова, а отнюдь не в репутации г. Висковатова и излюбленного им поддельщика. Но г. Висковатов не только этого не хочет, он не хочет даже свой список «Демона» отдать теперь же на обсуждение специалистов, обещая только когда-нибудь передать его в Публичную Библиотеку, но когда – неизвестно.

И так, deux piéces de résistance никуда не годны и обличают только лживость показаний почтенного дерптского или колыванского профессора.

Г. Висковатов говорит еще о каких-то моих «инсинуациях». Какие тут инсинуации, помилуйте! Я прямо говорю и доказываю, что это нелепая «подделка». Кто подделал – я могу догадываться, но наверное не знаю: наверное я знаю только, что эта подделка сделана человеком без ума, вкуса и дарования. Я указывал в 1888 г. и указываю теперь последний путь для проверки, если я доказываю недостаточно убедительную подделку, – это передачу списка поэмы в руки специалистов. Почему г. Висковатов делает такую тайну из своего «списка», не будучи даже уверен в том, что Лермонтов написал все то, что ему приписывается? Ждет ли он, что кого-нибудь проведет этим «списком» и получит общественную благодарность… от сторожей Главного штаба? Не от сторожей, конечно, но он ждал благодарности за этот список, за эту подделку, он ждал, что явятся обширные критические статьи о *новой редакции* «Демона», «обработанной рукою мастера», что в этих статьях будет превознесена проницательность г. Висковатова и «новая редакция» «Демона» будет принята литературною критикой как шедевр. И вдруг ничего этого не случи-

лось ни в Литературном обществе, ни в журналах и газетах, когда «список» явился в печати. Самые осторожные сказали: «Подождем, когда “список” перейдет из рук г. Висковатова в Публичную библиотеку: тут что-то неладное». Но г. Висковатов, продолжая делать тайну из этого «списка», начинает взывать к «знатокам литературы», чтоб они заступились за этот «список» против меня.

Увы, он этого не дождется никогда ни от какого «знатока литературы», и ни один порядочный издатель не повторит этой явной подделки.

И. С. НИКИТИН

Иван Саввич Никитин

Я познакомился с Никитиным летом 1859 года, когда он уже не терпел нужды, обеспечив свое материальное состояние прекрасным книжным магазином. Он тогда только что оправился от тяжкой болезни, от которой прострадал целую зиму, и жаловался еще на слабость и грудную боль. Сошелся я с ним довольно легко и скоро, хотя он вовсе не принадлежал к экспансивным натурам и смотрел скорее сурово, чем ласково и приветливо. Первые дни он был неразговорчив, сосредоточен как-то и словно боялся высказываться, так что не распространялся даже о крестьянском вопросе, который, как оказалось после, сильно интересовал его своим исходом. Потом мы как-то разговорились с ним об одном общем знакомом, кропавшем ничтожные стишонки, изданные в начале пятидесятых годов в Харькове каким-то любителем просвещения. Никитин оживился, стал говорить бойко, весело, за словом, как говорится, не лазил в карман, насказал множество анекдотов из своей прошлой жизни с таким юмором, что я хохотал от всей души. О своих стихотворениях он избегал говорить,

и если кто-нибудь неотвязчиво вызывал его на этот разговор, то он обыкновенно отвечал односложными *да* и *нет* и делал такую физиономию, что нужно было иметь много нахальства и храбрости, чтобы продолжать разговор на эту тему. Несмотря на то, что подобные господа являлись часто в магазин его единственно для того, чтоб посмотреть, что это за птица такая Никитин. – «Вы Никитин?» – спрашивали его, пристально оглядывая его с головы до ног. – «Я-с», – отвечал он обыкновенно. – «Ммм… Да-с… Скажите… Стихи-то это вы пишете? Я читал, вы хорошо пишете. Вот это стихотворение (господин называл) как хорошо!» – «Не думаю-с, – отвечал Никитин, – оно довольно пошло». – «Что вы – помилуйте!.. Могу вас уверить…» – и так далее в том же роде. Часто случалось, что после подобного вступления господин вынимал из кармана тетрадку своих собственных стихов и, мало заботясь о том, приятно ли их слушать Никитину, начинал обыкновенно декламировать по целым часам. – «За каким вы чертом слушаете подобных господ?» – скажешь ему бывало. – «Что ж делать, – ответит он, – не гнать же его». Особенно надоедал ему сочинитель, одно произведение которого поместил когда-то г. Погодин в своем *Москвитянине*. – «Замучил меня просто этот противный старикашка, – говорил он. – Целый час читал какую-то повесть из итальянской жизни, бранил наших литераторов – Гончарова, Тургенева, Гоголя, и хвалил себя самого». – «И вы ничего?» – «Да что же я ему скажу? Я все с ним соглашался или отмалчивался. Представьте себе, что за господин! Вы ведь видели его – волосы черные, как смоль, зубы белые, а ведь все это не свое. Ему уже за 60, и все Поль-де-Коком на французском пробавляется. Другого ничего и не читает».

Дамы не были деликатнее, хотя и не приносили ему читать своих произведений; но *глядеть* его приходили. Конечно, с одной стороны, это доказывает их любознательность, но с другой, происходило вот что: войдут две-три госпожи и начнут вертеться как сороки, спросив что-нибудь для виду. – «Вы Mr. Никитин?» – «К вашим услугам». – «C’est Mr. Nikitine, mesdames», – обращается спросившая к подругам. – «Ah, il est

comme il faut, – отвечают те. – Je pensais que c'est tout-a-fait un paysan, que c'est un homme… – в чуйке. – Ah, ma chire, mais pourquoi vous avez pensé ainsi? Ne vous ai-je pas dit?..»* А Никитин слушает и краснеет, как стыдливая девушка: он очень хорошо понимал по-французски, хотя и не говорил на этом языке, сохранив тот убийственный выговор, который можно приобрести только в наших семинариях. Иногда ему приходилось выслушивать и не столь благоприятные комплименты, и если б знали прелестные создания, с каким комизмом он передавал потом нам, приятелям своим, их полурусский, полуфранцузский разговор! Вообще Никитин мастерски рассказывал те сцены, свидетелем которых ему приходилось быть волей-неволей в книжном магазине. И как он умел подметить смешные стороны своих покупателей, становившихся на ходули перед таким маленьким человеком, как он, и поучавших его с высоты своего величия. Мне особенно памятны два случая. Явился к нему в магазин генерал Ж-в и скорчил из себя необыкновенного либерала и эманципатора. – И жена моя – эманципатор, и двоюродный брат – ужасный либерал. Все мы либералы, вся уж семья такая. Просто уж, видно, в крови у нас так. – И потом этот господин стал рассказывать, как он собрал своих крестьян и объяснял им, что такое *воля* и что такое *свобода?* – «Воля – это зверь бежит, птица летит, утка плавает. Свобода – это великое слово, это – величайшее слово. Это – развитое чувство собственного достоинства, это – право пользоваться правами; это – одним словом, то, чего вы, ребята, и понять не можете». Другой господин выдавал себя за славянофила и отзывался с сочувствием о крепостном праве. – «Вы читали мою поэму *Уния?»* – спросил он Никитина. – «Нет-с, не имел чести». – «Помилуйте, что ж после этого вы и читали, – заговорил господин с презрением, – вы ничего, значит, и не читали», – и он принял гордую осанку. – «Да она, *Уния*-то, напечатана?» – спросил Никитин. – «Напечатана?! Если б была

* «Это месье Никитин, сударыни. […] Он приличен. […] Я думала, что он совершенный крестьянин, что он человек… [в чуйке]. Ах, дорогая, ну почему вы так думали? Разве я вам не говорила?» (*фр.*).

напечатана?! Нет-с, милостивый государь, – она в рукописи разошлась в десятке тысяч экземпляров, вот что! Хомяков от нее был в восторге, и другие были в восторге – вот что?.. Я вам пришлю, непременно пришлю – вы прочитаете!.. Это великая вещь!..» – «Почту за особенное удовольствие», – отвечал Никитин, едва удерживаясь от улыбки.

Эта способность замечать комические стороны в людях была так в нем развита, что он не щадил и самого себя. В жизни его было больше горя, нужды, страданий, чем радости. Семейное положение его было несравненно хуже, чем положение Кольцова, который никогда по крайней мере не чувствовал материальной нужды. Между тем эта нужда сопровождала Никитина едва не с колыбели. Он сам говорит, что «с суровой долею он рано подружился, ни от кого речей разумных не слыхал», зато все,

…Что грязного есть в жизни самой бедной, –
И горе, и разгул, кровавый пот трудов,
Порок и плач нужды, оборванной и бледной,
Я видел вкруг себя с младенческих годов.
Мучительные дни с бессонными ночами,
Как много вас прошло без света и тепла!
Как вы мне памятны тоскою и слезами,
Потерями надежд, бессильем против зла.
(Стих. И. С. Никит., 1859, стр. 1).

Отец его по совету богомольных друзей своих отдал сына в семинарию на том основании, что там будто мальчик поучаться будет только божественному и всему такому хорошему. Многие черты из своей семинарской жизни Никитин передал в «Записках семинариста»[1], напечатанных в *Воронежской беседе.* Что такое наши семинарии и что за преподавание в них – известно более или менее всякому. Никитин говорил, что ему многих усилий стоило впоследствии перезабыть все то, чем набивали его голову в семинарии и что вовсе не ладилось с тем, что приходилось узнавать ему потом из книг и из жизни.

Стихи он начал писать еще в семинарии и писал их с бóльшею охотою, чем задачи на такие темы: *В чем состоит простота души? Можно ли что-нибудь представить вне форм времени и пространства? Знания и ведения суть ли тождественны? Каким образом ум, как источник идей, может служить средством к приобретению познаний?* Но что лучше выходило у него – *задачи* или стихи – решать не берусь, хотя можно догадываться, что и то и другое было одинаково дурно. Выйдя из семинарии, он не бросил стихотворство и много писал и много жег – все это было не более не менее, как подражания прочитанным стихотворениям Пушкина, Жуковского, Кольцова. Несколько стихотворений он послал в сороковых еще годах в *Отечественные записки* и *Библиотеку для чтения* – разумеется, напечатаны они не были. Первые два стихотворения его появились во время восточной войны в *Воронежских губернских ведомостях* и обратили на себя внимание многих. Особенное, теплое и искреннее участие в Никитине принял Н. И. Второв[2]. Он отыскал его, приглашал потом к себе, давал ему книги и, одним словом, делал для бедного молодого человека все, что может сделать человек с прекрасным сердцем. У Н. И. Второва Никитин познакомился с многими воронежцами, выдавшимися из ряду обыкновенных, пошлых чиновников, между прочим с М. Ф. де-П.[3], с которым Никитин впоследствии подружился, и эта дружба продолжалась до смерти последнего. Никитин рассказывал мне раз забавный анекдот про тогдашнего инспектора классов воронежской гимназии, наблюдавшего за изданием *Воронежских губернских ведомостей*. Начать с того, что инспектор посмотрел на него с высоты своего величия. – «А уж я тогда, – говорил Никитин, – и так был не смел, садился обыкновенно на кончик стула, если кто заговаривал со мной, я вставал, и сохрани Бог, коли не ласково, – у меня, бывало, колени даже задрожат. Вот отрекомендовал меня Н. И. (Второв) инспектору. – “А, говорит, очень рад. Вы меня, однако, поставили в затруднительное положение своими стихами…” Я там и обмер, и едва мог выговорить – чем-с? “Да там, – говорит, – был один стих такой – *моя*

Россия, как же это можно так выражаться, – ведь Россия-то вовсе не ваша. Признаюсь, это место привело меня в сильное *смущение:* я с час сидел над ним, и если не поправил его, то единственно потому, что знал, какие иногда в стихах допускаются поэтические вольности"».

Тогда же, то есть во время крымской кампании, приехал в Воронеж граф Д. Н. Толстой[4], по какому-то министерскому поручению. Ему, как любителю в некотором роде просвещения, представили Никитина, и он взялся издать его стихотворения. Между тем семейные обстоятельства Ивана Савича становились все хуже и плачевнее. Отец его… ничего не делал, а жили они постоялым двором, на котором останавливались извозчики. Вся тяжесть забот пала на Никитина. Случалось так, что в доме не было ни работника, ни работницы, а отец не только ничего не делал, но еще мешал делу. Нужно было и за двором присмотреть, и овса и сена отпустить, и сходить за ними на базар, и накормить извозчиков. «Бывало, – говорил Никитин, – пойдешь, нарубишь дров, затопишь сам печку, сваришь обед, с грехом пополам, на стол соберешь и накормишь извозчиков. Потом, намаявшись днем-то, вечером сядешь за книгу или за писание. Но долго не сидишь, потому что дорожишь сальным огарком. Только что заснешь, тебя уже будят – ворота отпирай да рассчитывайся». Все это Никитин рассказывал просто, никогда не драпировался в тогу гениальности или угнетения, не выставлял себя мучеником. Напротив, он говорил об этом времени со свойственным ему юмором и старался выставить себя скорей в смешном, чем в печальном виде. По совету Н. И. Второва он принялся за французский язык. При постоянных занятиях по хозяйству он учился только урывками. «Пойдешь на базар, взвалишь себе на плечи мешок в несколько пудов овса, идешь, а сам твердишь: je suis, tu es, il est». Отец, родные и знакомые смотрели на эти занятия французским языком и стихами не только с пренебрежением, но и с ненавистью, не упускали случая зло посмеяться над стихотворцем, хотя для стихов и книг он не оставлял, как мы видели, хозяйства, и занимался ими в то время, когда другие спали

или сидели за полштофом… Часто в то время, когда он погружался в книгу, когда хотел отвести душу чтением в своей небольшой коморке,

…безумная и пьяная тревога,
Горячий спор и брань кипели за стеной.

Но вскоре все эти насмешки *на время* прекратились. Граф Толстой, издав стихотворения Никитина, поднес несколько экземпляров их членам Высочайшей фамилии, между прочим, покойной императрице Александре Федоровне и Наследнику престола. Сделано это было графом Толстым без всякого согласия со стороны Никитина, который совершенно нечаянно получил через городскую думу часы, перстень и благодарственные письма от членов Высочайшей семьи. Некоторые советовали ему написать на этот случай стихи… Никитин написал простое верноподданническое письмо прозою к почившей государыне. Вслед за этим *Отечественные записки* расхвалили его, Введенский написал к нему восторженное, задушевное письмо, г. Майков прислал свои стихотворения, тоже при письме, в котором говорилось о святости служения музам и о других высоких предметах. Это время, конечно, было самое счастливое в жизни Никитина. Он забыл и нужду, и горе и весь предался радости. Критика *Современника* несколько отравила эту радость, хотя Никитин и сознавал, что рецензент во многом прав. Рукопись стихотворений лежала у графа Толстого едва ли не два года. Никитин, находясь в это время в обществе людей образованных, быстро развился и писал графу, чтоб он потрудился исключить из рукописи многие стихотворения; но или граф не заблагорассудил этого сделать, или было уже поздно – только рукопись была напечатана в том виде, в котором получена графом за два года перед этим. В 1858 году он издал своего *Кулака* и им упрочил свою известность. Литераторы, посещавшие Воронеж, знакомились с ним. Так он познакомился прежде всего с Н. В. Кукольником, который жил некоторое время в

Воронеже в качестве чиновника провиантского ведомства (во время крымской кампании) и удивлял преимущественно купеческие дома декламацией своих стихотворений и драм. Кукольник читал всегда так громко, что часто ложечки звенели в чайных стаканах слушателей. Тогда же Кукольник поместил в *Воронежских ведомостях* свои письма с дороги, в которых говорилось и о Петре Великом, и о союзе галлов и саксов со служителями Магомета, и излагались разные мысли, большею частью, кажется, о суете мирской. Кукольник познакомился с Никитиным и старался внушить ему, что Гоголь – фарсер, посредственный подражатель Поль-де-Кока, и что беспристрастное потомство повергнет его в прах и возведет на пьедестал тех, которые теперь унижены. Никитин, разумеется, одним ухом слушал, а другим выпускал услышанное: он имел в замечательной степени поэтическое чутье и судил очень здраво о наших старых писателях и о новых произведениях современной литературы. Кроме Кукольника он был знаком с Авдеевым и Островским.

Несмотря на постоянное чтение, несмотря на то, что он постоянно вращался в кругу людей более или менее образованных, Никитин, однако же, не отстал от некоторых привычек, усвоенных им в той среде, в которой он вращался так долго. Я далек от того, чтоб обвинять его за это, тем более что у кого же нет недостатков? Но он все-таки был гораздо развитее Кольцова, больше знал и больше читал, чем Кольцов, и мне всегда было смешно читать тех критиков, которые относились к Никитину снисходительно и выражались таким образом, что, мол, ведь он мещанин и образования никакого не получил. Но Никитин меньше знал народ, меньше вращался среди него, чем Кольцов. Он видел только извозчиков, останавливавшихся в его постоялом дворе, и по ним составил себе понятие о народе, который он, тем не менее, любил, но любил больше инстинктом. Его постоянно шокировали грубость, дикость и разврат *пригородного* простонародья, и он отзывался иногда с желчью и вообще о народе. Но русскую природу он любил сознательно, оттого в стихотворениях его

есть прекрасные поэтические описания. Знал он также слишком хорошо нужду и бедность, голодную, оборванную бедность, оттого и те стихотворения его, в которых говорится про эти наши язвы, запечатлены истинной поэзией и каждый стих глубоко прочувствован. Тут не нужно было сочинять, а стоило только найти выражения для того, чем изболело и изныло его бедное сердце. Потому он поэт нужды, поэт тех грязных и ужасных вместе с тем явлений, которые окружали его юность и зрелый возраст. Он сам это сознавал и в одном из самых последних своих стихотворений говорил так:

Пали на долю мне песни унылые,
Песни печальные, песни постылые,
Рад бы не петь их, да грудь надрывается.
Слышу я, слышу, чей плач разливается:
Бедность голодная, грязью покрытая,
Бедность несмелая, бедность забытая, –
Днем она гибнет, и в полночь и за полночь,
Гибнет она, и никто нейдет на-помочь,
Гибнет она, и опоры нет волоса,
Теплого сердца, знакомого голоса…

Ни в одном из его стихотворений нет радостного мотива, как не было радости в жизни. Последние годы его страдальческого существования озарила несколько любовь своим светом. Он сильно полюбил одну девушку. Он только и говорил, только и мечтал о ней. Но и тут бедность помешала счастью. Девушка была очень богатого отца, а он только что начинал вылезать из нужды; девушка привыкла к относительной роскоши, к хорошей семейной обстановке, а он не мог похвалиться этим и не хотел оставить своего старого, почти слепого отца, от которого, однако ж, кроме неприятностей, он ничего не видел. Его постоянно смущала мысль, что она будет тяготиться и его семейной обстановкой, и тем, что он не в силах будет доставить своей жене то довольство, каким она наслаждалась дома. Но все-таки надежда не покидала его, а тут вдруг подо-

спела смерть, и с жизнью был покончен расчет. И он словно предчувствовал смерть, написав в конце прошлого года такое задушевное, такое прекрасное стихотворение:

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,
Горько она, моя бедная, шла –
И как степной огонек замерла.

Что же? – Усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится…
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна!..

Вот она – слышится песнь беззаботная,
Гость погоста, певунья залетная,
В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается…
Тише!.. О жизни покончен вопрос –
Больше не нужно ни песен, ни слез![*]

Воронежцы при погребении бедного поэта показали очень мало сочувствия к нему. Оно и понятно. Он был человек независимого характера, ни перед кем не гнул спины своей, ни в ком не искал, никому не льстил, а провинция смотрит на такие добродетели еще свысока и трудится еще над решением вопроса, что такое добродетель и что такое порок? Потому Воронеж ценит больше всего наружную блестящую обстановку, а достоинств истинных еще не знает… Как видите, малолеток еще… В прошлом году Никитин был в Москве и в Петербурге

* Стихи эти мы берем из «Записок семинариста», напечатанных в *Воронежской беседе* на 1861 год. – *А. С.*

и не познакомился там ни с одним литератором. «Отчего вы ни к кому не ходили?» – спрашивали его. – «Зачем же мне было ходить к ним? Навязываться со своею личностью я ни к кому никогда не навязывался и не вижу причины, почему бы могли мной интересоваться литераторы. Кроме того, я не люблю ни снисходительных приемов, ни оскорбительного покровительства. Пожалуй, подумали бы, что я знакомлюсь затем, чтоб снискать покровительство моим стишонкам… Нет уж, оно лучше, что я не был…»

Мы не обинуясь скажем, что литература потеряла в Никитине честного и полезного деятеля, а все знавшие его – искреннего друга и прекрасного человека. И что за странная судьба! В то время, когда жизнь начала улыбаться человеку, – подоспела неумолимая смерть!..

Мы знаем, что после него осталась неоконченная поэма *Городской голова,* в которой много прекрасных мест, и несколько стихотворений, *неудобных* для печати.

Н. А. НЕКРАСОВ

Грязь и идеалы

(Стихотворения Н. Некрасова. Издание второе, с издания 1856 года, с прибавлением стихотворений, написанных после этого года. СПб., 1861).

Страдай, молчи, притворствуй и не плачь!..
Н. Некрасов

I

– Отчего это у нас любят так Некрасова? – спросил в книжной лавке один господин другого после рассказа при-

казчика, что Некрасов идет отлично, – что в первый день получения стихотворений его в их лавке нарасхват было взято 100 экземпляров.

– Оттого, – отвечал серьезно другой господин, – что лучшие стихотворения Некрасова не помещаются в хрестоматиях.

– Это более остроумно, чем справедливо, – возразил первый. – Нет, в самом деле, чего это ищет публика в его стихотворениях? Ведь в последние два года стихотворения Некрасова, изданные Солдатенковым в 1856 году, продавались в провинции по 7 руб. сер. за экземпляр. Чего, повторяю, ищет в нем публика? Поэзия, что ли? Да какая же поэзия может быть в наш промышленный век? Поэзия умирает, если не умерла еще совсем…

Бедная поэзия!.. Сколько таких криков слышится ежедневно вот уже в продолжении нескольких лет. Крикуны забывают, что в человечестве все видоизменяется, но не уничтожается. События, время, люди видоизменили много чувств, много идей, многое из того, что составляет потребность разума. Но вряд ли можно сказать, что какое-нибудь чувство, какая-нибудь великая идея совершенно исчезли из мира. Цивилизация могла расширить их кругозор, обобщить, извлечь из сферы исключительной, но не уничтожить. С тех пор как стал жить человек, его постоянно тревожат два желания: выражать то, что он чувствует, и захватывать новые впечатления. Отсюда произошли все искусства, и поэзия прежде всего. Она не умерла и умереть не может до тех пор, пока жив будет человек, пока будет он радоваться, горевать, страдать, гореть мщением или любовью, злобою или отчаянием. Что такое поэзия? На такой вопрос вы постоянно можете услышать следующий ответ: «А я, право, не могу вам сказать чтó это такое, *но это чувствуется».* Именно чувствуется, более или менее, сильнее или слабее, смотря по таланту поэта. Поэзия не умерла, но перенесла только свои симпатии и антипатии на другие, более человеческие, *земные* интересы. Были поэты, которые парили в недоступных высотах, ища где-то *там* своих идеалов и успокоения от грязи и бедствий мира сего;

они считали себя слишком великими, чтоб спускаться долу, – поэты нашего поколения гордо решились быть *малыми* и с презрением отнеслись к так называемым великим предметам и великим вещам. Если теперешний поэт хочет, чтоб его слушали и читали, он должен говорить с нами по-человечески, нашим обыденным языком, он должен согласиться жить, чувствовать себя живущим, проникаться жизнью не для того, чтоб рабски идти за толпою, потакать ее грязным прихотям, льстить ее нелепым заблуждениям и предрассудкам, но для того, чтоб вытягивать ее из грязи, насильно вытягивать, и показывать ей тот идеал, к которому она должна стремиться. Прежде чем записаться в живописцы, скульпторы, музыканты, в искусные слагатели размеренных строчек, звучащих более или менее гармонично, сделайся человеком, и пусть твои слезы будут настоящими слезами, пусть твой смех будет настоящим смехом, пусть твое горе будет заразительно для других, пусть твое чувство мщения, любви, скорби, злобы передастся тем, которые слушают тебя или читают. Человеческие страсти не умирают – они могут заснуть на время, успокоиться – разбуди их! Действуй на сердце и на ум, но действуй сильно – и тебя послушают, и пойдут вслед за тобою!.. Но прежде всего *живи* и чувствуй жизнь: тогда твое слово не будет только словом проклятия, тогда ты найдешь те связующие звенья, ту чистую струю жизни, которая бьет и в грязи, и в пороке, и в разврате. Грязная лужа, наполненная всякими нечистотами и гадами, не заслуживает еще совершенного презрения, не заслуживает еще того, чтоб отворотиться от нее и бежать, бежать без оглядки, изрыгая ругательства и затыкая свой нос, привыкший к более ароматному запаху. Ведь из этой грязной лужи может отделиться чистая светлая вода, такая вода, что течет в горных источниках и питает обильные реки.

Г. Некрасова действительно любят у нас, но любят не потому только, что он является грозным сатириком, что ему удается вызвать часто своими стихами чувство негодования в читателях, а потому особенно, что он чувствует жизнь, что он нашел в ней примиряющий элемент, что он не утратил веры в

человечество и является не просто бичующим сатириком, но борцом за те идеалы, которые лежат в душе его. Он не просто говорит, что человек скверен, но и указывает причину этой скверности и средство избавиться от нее. Душа поэта не озлоблена только, но она – любящая и нежная душа, в которой «порывы жестокости мятежной» не прочны и не долговременны, потому, может быть, что есть на чем и успокоиться бунтующей душе. Успокоение это вносится в душу поэта чувством любви к родине и к народу. Это чувство чрезвычайно сильно в нем, сильны и могучи те звуки, которые вырывались у него при обращении к родине-матери и к народу.

Родина-мать! Я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.
Сколько б на нивах пустынных твоих
Даром не сгинуло сил молодых,
Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои не нагнали
На боязливую душу мою –
Я побежден пред тобою стою.
. . . .
Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно –
Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенье страданий моих!

И нива просветлеет перед поэтом, станет пышней и красивей, и ласковей замашет лес своими вершинами, и слезы хлынут из глаз, и в умиленье посылает он привет и рекам родимым, и деревенской тишине, и широким нивам, и Божий храм пахнет на него детски чистым чувством веры, и пропадает отрицанье и сомненье. «Войди с открытой головой», – шепчет ему какой-то голос. И чудные, упруго-металлические стихи вырываются у поэта, стихи скорби и любви льются из-под пера его, когда он входит в Божий храм и вспоминает о народе, который он так любит, о народе-герое, который

«в борьбе суровой не шатнулся до конца», – которого «венец терновый светлее победоносного венца»:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали –
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил –
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

Эта скорбь, эта горячая молитва была бы непонятна в душе *только* озлобленной, но не любящей и не нежной (когда мы говорим – *нежной,* – просим разуметь нежность трезвую, а не расплывающуюся, которая так близка к сентиментальности). Тот, у которого отчаянье и злоба являются только вследствие рефлексии, вследствие существующего зла, сознанного одним холодным умом, тот не увлечет нас за собою, не выжмет из глаз наших ни единой слезы и не так скоро заставит нена-

видеть зло, как тот, у которого после всех бурь и страданий не иссякла любовь, не зачерствело сердце, у которого ненависть имеет своим источником любовь. Так понимаем мы поэзию г. Некрасова, в том же смысле проговаривается и сам он, когда говорит о своей печальной музе, о своей деятельности, о характере своего таланта:

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я ходил.
Не повторю, что там я видел…
Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренне любил!

Звала его муза

…то в города, то в степи,
Заметным умыслом полна,
Но…
И мигом скроется она…

Случайною гостьей являлась ему муза и пела про печальных бедняков, «рожденных для борьбы, страданья и трудов», порой тревожила его младенческий сон разгульной песней, но и в этом разгуле звучал тот же скорбный тон, и слышались в нем:

Расчеты мелочной и грязной суеты
И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.
В порыве ярости *с неправдою людской*
Безумная клялась начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: мщение! И буйным языком
В сообщники свои звала Господень гром!

Но мы сказали уже, что такие порывы были кратковременны, потому что присуща душе поэта любовь. В стихе Некрасова, как сам он говорит, нет *творящего искусства,*

Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая теплится любовь, –
Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет
Беззащитного певца.

Или вот еще:

Стихи мои – плод жизни несчастливой,
У отдыха похищенных часов,
Сокрытых слез и *думы боязливой;*
Но вами я не восхвалял глупцов,
Но с подлостью не заключал союза…

Мы считали необходимым привести эти отрывки из разных стихотворений Некрасова, потому что они лучше наших слов характеризуют его поэзию, объясняют ее задачу и ту любовь, которую русская публика питает к Некрасову более, чем ко всякому другому современному поэту…

Народ, его тяжкая доля, людская неправда, тюрьмы, суды, больницы, внутренняя грязь роскошных палат, пустота светской жизни – вот та сфера, в которой вращается г. Некрасов, и тут он полный господин, тут он сильно чувствует и часто (но не всегда) сильно и поэтически выражает свои чувства. В эту же сферу сходил на некоторое время г. Бенедиктов, и постоянно живет в ней г. Розенгейм; но сии два господина видели там только грязь одну, и злоба-то была у них мальчишеская, мелкая и пустая, оттого и стихотворения их не что иное, как размеренная проза, иногда весьма жалкая, редко остроумная и еще реже довольно сильная. Гг. Бенедиктов и Розенгейм[1] в таком же от-

ношении находятся к Некрасову, в каком ходульные ораторы находятся к оратору-художнику. У одного поэтический талант, любовь и ненависть, часто небрежность формы, но сильный и сжатый стих, не всегда правда поэтический, но почти всегда рельефный и бьющий, а у тех – отсутствие поэзии, мелкое понимание жизни, гостиннодворский юмор (у г. Розенгейма). Стихотворения Некрасова переложите в прозу – и будет сильная, упругая проза; совершите такой же процесс со стихотворениями гг. Бенедиктова и Розенгейма, и выйдет водянистое разглагольствование с совершенным отсутствием поэзии, и прежде, чем найдешь одно меткое и прочувствованное выражение, заснешь несколько раз самым тяжелым сном. Этого сопоставления мы коснулись потому, что находятся оригиналы, которые притягивают г. Розенгейма к Некрасову.

Теперь посмотрим на те картины, которые нарисовал нам Некрасов, посмотрим на тот идеал, который чувствуется во многих его стихотворениях сам собою, независимо от автора, и который впоследствии он старался создать в *Несчастных*. Говорим *старался* потому, что эта поэма вышла вообще неудачна и слишком натянута.

II

Симпатии г. Некрасова стремятся к народу – ему легче становится среди полей необъятных, нив и лесов, вдали от шума, разврата и мелкой суеты городской жизни. Не здесь, не в этой жизни, где бесплодно гибнут силы, где царствуют духота, бездумье, лень, где сонливо тянется время,

Как самодельная расшива
По тихой Волге в летний день, –
Там только не грешно родиться
Или под старость умирать –

не здесь пробовать молодые силы и закалять их. Первоначальная ясность души сохраняется дольше в тиши, а не в городах,

не в столицах, из которых особенно противен г. Некрасову Петербург. В Петербурге, говорит поэт, правда,

Есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,

но зато сколько недовольной нищеты, забитых сил, погибших существований, которые прячутся в душных или сырых коморках, надрывают груди над трудом, но не смущают собою пышности города, потому что появляются только утром, и то кое-где,

Как будто появляться вредно
При полном водвореньи дня
Всему, что зелено и бледно,
Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит голову склоня,

и где холера и подобные немочи ведут к такой картине.

Все больны, торжествует аптека
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека,
В ком бы желчь не кипела ключом;
Муж, супругою страстно любимый,
В этот день не понравится ей,
И преступник, сегодня судимый,
Вдвое больше получит плетей.
Всюду встретишь жестокую сцену, –
Полицейский не в меру сердит,
Тесаком, как в гранитную стену,
В спину бедного Ваньки стучит.

Не в одном Петербурге есть особые типы людей неполных, боязливых, несмелых, иногда глубоко ненавидящих, страстных сначала, когда еще сил избыток и молодая кровь

кипит. Это не те *забитые люди,* о которых так симпатично говорил г. Добролюбов в своей предсмертной статье, это другие люди, во-первых, с высшей цивилизацией, во-вторых, с высшими стремлениями. У Некрасова тип этот выходит полным и законченным. Не отмеченные особенно ни Богом, ни судьбой, они кипят к молодости, желают, тратят силы и, богатые поздним опытом, стоя у дверей гроба, находят ряд заблуждений в своей жизни, и впереди им – смерть да обидное сознание своего бессилия. Они могут сказать про себя:

Душа моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни веры благодатной –
Постыдное бессилие раба!
Ей все равно – холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь –
Погасла и спасительная злоба,
Что долго так разогревала кровь.

Иные из них скоро мирятся с действительностью и затягиваются с ушами в болото той среды, где суждено им вращаться. Воспоминание о прежнем остается в случайных фразах, брошенных кстати или некстати, лишь бы хоть в глазах других показаться недюжинными, что и удается им иногда. Это, собственно говоря, самые дюжинные из этого разряда людей – другие не так скоро кончают борьбу, но результат из нее также далеко не блестящий. Полное равнодушие к жизни делает из них тряпок, не только ни на какое дело не способных, но даже неспособных великодушно сознаться в своей ненужности и бесполезности. Личности более сильного закала говорят вот так:

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу день за днем бесполезно губя;
Что я силы своей не пытал ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб,

Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб.
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,
Что любить я хочу… что люблю я весь мир,
А брожу дикарем – бесприютен и сир,
И что злоба во мне и сильна, и дика,
А до дела дойдет – замирает рука.

Все это люди разговора, с высшей цивилизацией. Они являются в разных видах, смотря по натуре и другим побочным обстоятельствам. Самые сильные из них именно те, у которых достает великодушия презирать себя. Середину между этими последними и совершенными пошляками, однако громко кричащими в своем углу, занимает вот этот законченный тип:

Книги читает да по свету рыщет –
Дела себе исполинского ищет,
Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,
Благо идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.
«Нет, я души не растрачу моей
В мелких делах и тревогах людей:
Или под бременем собственной силы
Сделаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свету звездой пролечу!
Мир, – говорит, – осчастливить хочу!»
Что ж под руками, того он не любит,
То мимоходом без умыслу губит.
Знаете: *в наши великие дни*
Книги не шутка: укажут они
Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое,
Но не научат любить глубоко…
Дело веков поправлять нелегко!
Все, что возвышенно, что благородно, –

Сердцу его и доступно, и сродно,
Только дающая силу и власть
В слове и деле чужда ему страсть!
Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись – комара не обидит!
Да, говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует – не кровь!
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:
Верить, не верить – ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!
Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;
Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет.
Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит;
Если ж за дело возьмется – беда!
Мир виноват в неудаче тогда;
Чуть пообслабнут нетвердые крылья,
Бедный кричит: «Бесполезны усилья!»

Как видите, г. Некрасов желчно и справедливо отнесся к этим господам, вся польза которых заключается в том, что «сеют они все-таки доброе семя», и может случиться, что в добрую почву упадет зерно и «пышным плодом отродится оно». Польза эта едва ли выкупается тем вредом, который приносят эти люди своей родине. Вместо того чтоб данные Богом кое-какие силы употребить *на дела по силам,* они растрачивают себя в поисках исполинских подвигов, хотят осчастливить мир.

Такой тип не мог вызвать сочувствия у поэта, проповедующего жизненное дело, – он отнесся к нему иронически. Но вот в душе его возрастают другие картины, другие люди. Вот те, которые гордятся ровностью пробора, щегольски обутою ногой, вот герой великосветских гостиных *(Прекрасная*

партия), блистающий светскостью манер, воспитанный на Фудрасе и Дюма, строго осуждающий Жорж-Занда, что носит панталоны, страстный любитель театра, остудивший сердце у Кессених в танцклассе и утративший радость в ресторации Дюсо. И жизнь пуста их, и сердце пусто – ни одного мало-мальски свежего чувства уж не выжмешь у них ничем. Это разочарованные пошляки, не заслуживающие даже презрения, но, тем не менее, часто губящие свежие силы других, заедающие чужой век совершенно равнодушно, точно так и следует. Остающиеся силишки и страстишки самые грязные они тратят окончательно около камелий, и снуют от безделья по Невскому эти «потерявшие шик молодцы, бледны, полны тупых сожалений», эти знатоки известных вещей, находящие грацию в цинизме и геройство в бесстыдстве продающихся с публичного торга женщин. Чистая душа не прикасайся к ним – они загрязнят и загубят ее, а чистоты и непорочности не поймут. Имя этим людям – легион даже в настоящее время, – они расплодились и в провинции, они вносят заразу и в мирные уездные городки, привлекая к себе неопытные сердца блеском наружности и губя их с беспощадным бесстыдством. Они до того обыкновенно измельчаются, исподличаются, что неспособны бывают не только на какое-нибудь честное дело, но неспособными делаются и на преступление…

Люди нравственные, то есть люди условной морали, заклеймены в стихотворении Некрасова, которое начинается так:

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

Жена влюбилась и ушла к любовнику – муж прокрадывается в дом с полицией и уличает. Любовник вызывает его на дуэль, но дуэль – дело беззаконное, а подобные люди стоят за закон и обычай и оправдываются ими. Дочь влюбляется в бедняка – отцовское проклятье на сцену – смирится и выйдет за седого богача.

Прочтите *Секрет* и *Современную оду* – и перед вами новые люди. Подлостью, кражей, грабежом разживаются они, приобретают себе вес и известность и в самообольщении доходят до того, что восклицают:

И сам я теперь благоденствую,
И счастье вокруг себя лью:
Я нравы людей совершенствую,
Полезный пример подаю.
Я сделался важной персоною,
Пожертвовав тысячу в год:
Имею и . . . .
И звание «друга сирот».

Большая часть стихотворений г. Некрасова посвящена меньшей братии. Тут уж нет места злобе и проклятиям, но зато тут много невыносимой тоски, сердечной боли, которая передается и читателям. По свойству таланта своего он примешивает сюда иногда и юмор, но юмор этот не веселый, а болезненный. Можно сделать яркую параллель, довольствуясь одними стихами г. Некрасова, между жизнью помещиков и крестьян. Мы не беремся за этот труд, но постараемся только намекнуть на картину этой жизни.

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных людей
Завидовал житью собак и лошадей;
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но ненависть в душе постыдно притая.
Где иногда бывал помещиком и я
. . . .

…Все, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, –
Всему начало здесь, в краю моем родимом!

Вот из другого стихотворения:

Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде, чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже разврат дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.

Прочтите еще одно за другим: *На улице, В деревне, Забытая деревня, Псовая охота, Влас, Песня Еремушки, Знахарка, Дума* (Сторона наша убогая), *Деревенские новости, Плач детей, На воле, Свадьба, В дороге, Огородник, Тишина* и, наконец, поэму *Коробейники,* и перед вами русские картины с их мрачными и светлыми красками! Хотите, общее впечатление подскажет вам *Песня убогого странника* в *Коробейниках:*

Я лугами иду – ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно.
Я лесами иду – звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно и проч. и проч.

И везде проходят тут искреннее горе, глубокая ненависть и любовь; везде – совет не спать, не бездействовать, не подчиняться опыту, потому что

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно

Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно,

не мешать пробуждению человеческих стремлений:

С нами ты рожден природою –
Возлелей их, сохрани!
Братством, истиной, свободою
Называются они.
Возлюби их! На служение
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца.
Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей:
Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.
С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь Божьею грозой…

Вот какого идеала ищет г. Некрасов, но мы к нему еще возвратимся, а теперь приведем несколько мест из стихотворений, посвященных народу, который, по словам г. Некрасова, плакать не любит, а больше поет, и зато что же это за песня однообразная и унылая, накрывающая грудь!..

Выдь на Волгу – чей стон раздается
Над великою русской рекой:
Этот стон у нас песней зовется –
То идут бурлаки бечевой…

. . . .
Почти нагнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик.
. . . .
О горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!
. . . .
Прочна суровая среда,
Где поколения дюлей
Живут бессмысленней людей
И врут без всякого следа
И без урока для детей!

«И никак не могут наткнуться на вопрос, чем хуже был бы их удел, когда б они менее терпели; как их отцы, умрут они безгласно, пропадут бесплодно с покорностью без конца, в чертах усталого лица». Всегда и везде одна и та же мысль. Хомяков делал чуть не апофеозу из терпенья и относился к этому качеству чуть не любовно, находя в нем много хорошего и усладительного. Г. Некрасов бичует терпение как чувство нечеловеческое, а холопское*, говоря, что люди должны стремиться к “братству, истине и свободе”»**.

Идеал Некрасова, да и вообще идеалом для нас должен быть – гражданин, деятель, всецело посвящающий себя роди-

* Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей. (Песня Еремушки). – *А. С.*

** Там же. – *А. С.*

не. Какими качествами он должен быть наделен – говорит песня Еремушке, отрывок из которой мы привели выше. Нянька, державшая на руках Еремушку, советовала ему клонить голову ниже тоненькой былиночки, потому что

Сила ломит и соломушку –
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей,

а там, говорит, станешь водить дружество с вельможами, будешь с хорошенькими девками шалить,

И привольная и праздная
Жизнь покатится шутя…

Мы вообще ведь поклонники такой жизни, поклонники покоя. Поэт называет песню няни безобразною, а сам поет… И его песня диаметрально противоположна няниной песни, и по словам ее у нас,

Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей…
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. А остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни – стяжатели и воры,
Другие – сладкие венцы,
А третьи: … третьи мудрецы:
Их назначенье разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,

Мы ждем: авось, поможет время,
И горды тем, что не вредим.

Хорошо человеку, когда приходится гордиться ему своею безвредностью – ведь это такое уже общее качество, что если гордиться им, то, значит, гордиться нужно и тем, что я не вор, не мошенник, не взяточник. Поэт советует не разделять участи этих «богатых словом, делом бедных, и не ходить в стане безвредных, когда можно быть полезным».

А что такое гражданин?

Отечества достойный сын.
Ах, где же он? Кто не сенатор?
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? Откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!..

И поэт стал искать гражданина: но искания были тщетны – он не создал полного идеала, с плотью и кровью, а один очерк, довольно бледный и неопределенный. Что это за идеал? Прежде всего он страстно любил родину и пожертвовал ей собою. Он любил Петра Великого и ставил его в образец венценосцам, как человека, который создал новую Россию и «кому в царях никто не равен». И вот жертва, которую он принес, отняла у него всякую возможность служить больше родине. Чужбина нагладила все, чем жила молодость,

И только слезы гражданина
Душа живая сберегла.
. . . . Великая душа!
Его страданья были горды,

Он их упорно подавлял,
Но иногда изнемогал
И плакал, плакал… *Камни тверды,*
Любой попробуй… но огня
Добудешь только из кремня…
Таков он был.

Эти строки еще мало характеризуют человека, а вместе с тем, что сказали мы прежде, выходит действительно идеал, без крови и плоти. Не по замыслу слаба поэма – отнюдь нет, – а по исполнению, по неудачной аффектации, по некоторой ходульности и мелодраматизму. Г. Некрасов знает, что *человек*-гражданин нужен, а не бесплотное существо, каким он представил своего героя. Но в поэме есть прекрасные стихи, как, например, вот это место:

Мечтаньем чудным окрылил
Его Господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен;
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил…

Надеемся, что мы достаточно выяснили и направление г. Некрасова, которому нельзя не сочувствовать, потому, во-первых, что он так горячо говорит о слабых да о бедных, призывая на них общественное сочувствие, потому, во-вторых, что страстно призывает он нас к подвигу, к делу, потому, наконец, что он любит народ, что он, по его же словам, «глубоко ненавидит и глубоко любит».

Заметка

Мы получили несколько писем, в которых нас просят сообщить подробную биографию Николая Алексеевича. Думаю, что в настоящее время едва ли у кого есть для этого материалы; вероятно, в первой книжке «Отечественных записок» будет напечатано все, что известно его друзьям и родным. Пока мы можем указать на несколько биографических данных, напечатанных во втором выпуске «Русские современные деятели», где помещен и портрет Некрасова, недостаточно схожий, однако, хотя награвированный с очень хорошей фотографии: гравер придал рту Некрасова такое выражение, какого никогда не было у оригинала, от этого нижняя часть лица совсем не похожа. Некрасов родился в Каменец-Подольской губернии, в одном из местечек, где тогда квартировал полк, в котором служил его отец Алексей Сергеевич, женатый на Александре Андреевне Закревской. С ее семьей отец Некрасова познакомился в Херсонской губ., где Закревский приобрел обширные поместья на известных в то время правах поссесионера. Оставив службу с чином майора, отец Николая Алексеевича поселился окончательно в своем имении, в деревне Грешнево Ярославской губ., на почтовом тракте между Ярославлем и Костромой. Многочисленное семейство, процессы по имению, хлопоты и заботы ставили главу семейства в затруднительное положение. У Николая Алексеевича всего было тринадцать братьев и сестер, из которых теперь в живых двое братьев и одна сестра.

В биографическом очерке, из которого делаю это заимствование, сказано, что Н. А. родился 22-го ноября 1811 г. Это опечатка, следует 1821 г. Насчет года рождения должно заметить следующее: 1821 год поставлен в метрике, но мать Некрасова говорила, что он родился в 1822 г. Что касается метрики, то она не заслуживает особенного уважения, потому что священник того села, где родился наш поэт, не отличался аккуратностью и раз дал справку, что один из сыновей Алексея Сергеевича родился в марте, а другой в июне одного и

того же года, что уж совсем несообразно. Из юношеских лет жизни Некрасова упомяну об одной подробности, которую он мне передавал. Снискивал он себе хлеб не одной литературой, но также и уроками. Некоторое время он жил учителем у одного из воспитателей Пажеского корпуса и готовил мальчиков во все учебные заведения по русскому языку. Между учениками его находился и М. Т. Лорис-Меликов, теперь начальник отдельного кавказского корпуса и один из видных деятелей нынешней войны. Ученик был моложе своего учителя на четыре года.

Сколько известно, бумаги Некрасова еще не все разобраны. Он говорил в 1874 г. А. Н. Пыпину и мне, что начал писать свои записки. Записки эти он начал писать сгоряча, оскорбленный известной брошюрою гг. Антоновича и Жуковского[1], которые «пробрали» его, как он выражался. Написано было, по его словам, листов десять. Думал он также писать книгу, об игроках. «Это будут игроки настоящие, взятые из действительной жизни, а не те, сочиненные игроки, которых мы знаем в нашей литературе», – говорил он. Называл он и героя этой книги и выражался о нем так: «Он один чего стоит». Особую часть этой книги должны были составлять воспоминания о четырех женщинах, очень интересных и оригинальных, как он говорил. Разбор бумаг должен решить, сделал ли он что-нибудь в этом отношении или нет. Из больших вещей осталась после него одна довольно большая поэма. Сочинения свои он завещал сестре.

Некрасова считали очень богатым человеком, но, кроме имения в Ярославской губернии, он не оставил никаких капиталов ни в наличных деньгах, ни в бумагах.

Кстати. Я знаю, что есть люди, которым доставляет большое удовольствие сочинять про меня всевозможные гадости и поддерживать их в обществе. Подобные слухи можно сочинять тем безнаказаннее, чем глубже они затрагивают вас в вашей интимной жизни и чем менее поэтому возможности у вас отвечать на них открыто. Но я не думал, что найдутся и такие смелые сплетники, которые позволят себе сочинить и такой

слух, который может быть проверен сотней свидетелей и может быть публично опровергнут. Дело в том, что меня спрашивают письмами, правда ли, что я говорил на могиле Некрасова и что мне не дали кончить речи. Подобные же слухи, с разными вариациями, доходят до меня и другими путями. Не желая на сей раз доставить особенное удовольствие гг. сплетникам и сплетницам, для которых молчание того, на кого они сплетничают, – золото, ибо дает их фантазии и усердию особенный полет и вес, я вынужден сказать следующее:

Я был на похоронах Некрасова не для того, чтоб высказать ораторски тот или другой образ мыслей, заявить так или иначе о себе или о своих чувствах, но для того, чтобы почтить память человека, которого я любил, и память поэта, который оставил глубокий след в литературе. Из этого следует, что у меня и в голове не было мысли о том, чтобы произносить речь на могиле Некрасова. Не говоря о том, что я вообще не охотник до речей на могиле и во всю свою жизнь не держал ни одной речи даже в каком-нибудь обществе, в данном случае мне уж и потому не могла придти в голову подобная мысль, что, имея газету, я мог в ней сказать открыто все, что считал нужным сказать, и притом перед аудиторией неизмеримо большей того кружка, который толпился на могиле Некрасова. Я был во все время отпевания в церкви, вышел оттуда вслед за гробом и остановился у ворот кладбища с несколькими знакомыми, не пытаясь даже проникнуть в толпу, которая от самой могилы до ворот стояла непроницаемой стеной. Со своего места я ровно ничего не видал, что происходило на могиле, и слышал только две фразы, случайно долетевшие до меня: «Этот человек… этому человеку», и больше ничего. Один из любопытных, сидевших на дереве, громко спросил в это время: «Кто это говорит?» – «Это Суворин говорит», – отвечал обязательно полицейский господин, стоявший у ворот, около дерева в трех шагах от меня. – «Слышите, Суворин, – сказал мне приятель, стоявший сзади меня, – как полиция всех хорошо знает, даже то, чего нет». – «Известно, что у нас полиция всеведущая», – сказал я, оборотясь; стоящие возле

засмеялись, а г. полицейский сконфузился, – по крайней мере, мне так показалось, что он сконфузился именно от своего всеведения. Постояв еще некоторое время, я уехал домой. Вот все, что случилось со мной, и это, по моему убеждению, самое большое, что могло случиться.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

«Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского

«Преступление и наказание», роман г. Достоевского, окончен в декабрьской книжке *Русского вестника*. При появлении первой части романа мы говорили в ответе некоторым критикам, упрекавшим г. Достоевского в том, что он будто бы хочет опозорить молодое поколение своим Раскольниковым, – мы говорили тогда, что такого намерения не мог иметь почтенный автор. Теперь, когда роман окончен, когда действующие в нем лица очерчены вполне, мы можем только повторить прежде сказанное. Раскольников – больной человек; это нервная, повихнувшаяся натура, помешавшаяся на мысли о том, что убить старуху-процентщицу вовсе не преступление. Как скоро родилась в нем эта мысль, он развивал ее последовательно, необыкновенно логически, и привел в исполнение тогда уже, когда мысль сделалась для него очевидною истиной. Но когда голова старалась оправдать разными софизмами совершенное преступление, вся природа убийцы возмутилась, и началась та ужасная душевная мука, которую вынести было труднее каторги. Болезненно направленная, извращенная мысль встретилась в Раскольникове с любящею, сильною природой. Повихнувшаяся голова старалась все оправдать, подсказывала, что награбленные деньги послужат, так сказать, фондом к будущему счастью убийцы и всех тех, кого он хотел облагоде-

тельствовать, но первый же шаг словно опрокидывал всю эту пирамиду ловко подобранных софизмов, и убийца старается отделаться от всего, что взято им на месте преступления. Душевные муки убийцы изображены автором романа во многих местах так мастерски, так горячо, что ни один читатель, как бы ни был он равнодушен к поэтическим произведениям, не мог бы не увлечься этими страницами, – не мог бы не признать за ними глубокой правды, яркой изобразительности. Невольно вспоминаешь «Мертвый дом» г. Достоевского, и сравнение само собою напрашивается под перо. Как ни мучительно то чувство, которое выносишь из чтения этого произведения, но оно смягчается светлыми страницами, торжеством человеческой природы, которая то и дело проявляется в самых загрубелых натурах, проявляется наивно, искренно, не рисуясь. Как ни тяжелы подробности той жизни, которую описывал г. Достоевский в «Мертвом доме», но к ним привыкает читатель постепенно, как привыкает к ним и каторжник. В «Преступлении и наказании» муки, испытываемые Раскольниковым, как-то сильнее сообщаются читателю, действуют на него продолжительнее. Тут перед вами преступление, совершенное словно и сознательно, словно и бессознательно, – тут полный разлад между головою и сердцем, который напрасно старается примирить герой романа. Вы точно присутствуете перед зрелищем, которое едва ли в состоянии вынести какие-либо нервы: человек, живой человек, режет перед вами свое тело и старается, улыбаясь, растолковать вам все подробности своего организма; вы не желаете смотреть на подобную сцену, но она против воли приковывает ваше внимание, и вы только того желаете, чтобы скорее все это кончилось смертью героя; но он не умирает и все продолжает вам показывать себя, запуская нож глубже и глубже в тело. Наконец он, кажется, кончает операцию, он решается признаться в совершенном преступлении, но и тут тот же разлад ежеминутно сказывается. «Не плачь обо мне, – говорит он сестре, – я постараюсь быть и мужественным и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю

вас, увидишь… Главное, главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится на двое, все, все…» Через минуту он думает уже другое, голова снова подсказывает ему софизмы: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать, двадцать лет (каторги) так уже смирится душа моя, что уже не будет более никогда во мне таких жестов и я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надобно… Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их всех ненавижу!»

Но кто же его неволит идти с повинною, когда он считает себя лучше всех этих окружающих его, которых он так глубоко ненавидит? Его никто не неволит, но внутренний голос говорил ему, что все эти измышления напуск и ложь, говорил постоянно, и этого голоса он не может заглушить. Кроме того, перед ним стояло чистое, любящее создание, Соня, которая невольно действовала на него так же, как и внутренний голос. Он не хотел отдать себе отчета, почему это слабое создание так сильно действовало на его гордую душу, – он отдалял от себя анализ этого странного впечатления, между тем как оно было бы понято и самым дюжинным человеком; это – впечатление непорочности душевной, любви самой преданной, более глубокого, разностороннего, *здорового* понимания всего окружающего и человеческой природы, хотя Соня – девушка совершенно неразвитая, а он такой сильный, такой развитый, по-видимому, человек, решитель мировых судеб. Но недаром сказано, что первые будут последними, а последние – первыми; она своим инстинктом лучше понимала то, что Раскольников не мог понять при своем странном, болезненном развитии головы; здоровым инстинктом понимала она, что убийство требует очищения, требует страдания, что убийство – вещь подлая, как ни оправдывай его, к каким софизмам ни прибегай, какими душевными силами ни обладай.

Раскольников сам это чувствовал, т.е. это чувствовала нетронутая, здоровая сторона его природы, потому что иначе нечем объяснить его повинной, нечем объяснить того, что во время допросов он словно нарочно выставлял свое преступление самым ужасным. Но голос сердца заглушался головою, и он упорно не сознает себя виновным перед своею совестью; он продолжает убеждать себя, что он прав, он постоянно двоится, изображая из себя какие-то две половинки, не имевшие между собою ничего общего. Перевес, однако, постоянно остается за головой, которая и в каторге еще долгое время остается несвежею. Он так рассуждает там: «Чем моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другою на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется не так… странною. О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!

Ну, чем мой поступок кажется им так безобразен! Тем, что он – злодеяние? Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову… и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы,* а я не вынес, и стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

Почему же он не вынес этого шага? Такой вопрос он не задает себе, а если и наталкивается на него, то либо обходит, либо винит себя в трусости и мелочности. Не болезненное ли это развитие, не патологический ли перед нами факт? Раскольников – натура сильная, развитая; отчего же он в своем анализе обходит такой существенный вопрос? Ведь если бы он так же обстоятельно попробовал анализировать его, как анализирует другие вопросы, относящиеся к его положению, то, без сомне-

ния, разом бы должен был сознаться, что убеждения его ложны и что нельзя оправдывать свое преступление преступлениями других, что злодеяние, кем бы оно ни было совершено, все-таки останется злодеянием и человечество не может относиться к нему иначе как с ужасом. Люди, прокладывавшие себе дорогу к власти преступлением, не могут пользоваться совершенным сочувствием, хотя бы они загладили свое преступление многими важными для человечества услугами. Беспристрастная история все-таки не простит им этого, не вычеркнет из своих летописей убийства, не скажет, что *они правы.* Скорей прощается грабеж, насилие, но убийство, притом темное убийство, не прощается легко, потому что нет ничего противнее человеческой природе, как насилие такого рода. Здоровый человек все бы это сообразил довольно легко; но Раскольников больной, почти сумасшедший человек, зараженный idée fixe*. Он даже вполне сумасшедший человек, потому что предметы постоянно представляются ему только с одной стороны; эту сторону он анализируют здраво, другая совсем у него ускользает; для этой стороны от него нет разума, он умер, задавлен всепоглотившею идеей. Эта идея об убийстве так же повернула его голову, как повертывает голову всякая другая идея, сводящая человека с ума. Один вообразит себя Фердинандом VII, другой вообразит себе, что весь человеческий род преследует его, весь он занят только тем, чтобы стереть его с лица земли. Раскольников вообразил себе, что убийство ради тех целей, которые признавал он благородными, – вовсе не преступление. Уже страшная нервность его, проявлявшаяся с самого детства, должна была при постоянных неудачах и ударах обстоятельств выработать его голову в одну какую-нибудь сторону. Сумасшествие приходит иногда вследствие сильных нравственных потрясений, иногда даже вследствие крутой болезни. То же делается и с Раскольниковым. Он вынес на каторге сильную болезнь, которая, само собою разумеется, потрясла его организм, удалила все прежние его измышления. Он незаметно для себя самого стал лучше и чище; в нем проснулись давно подавленные ин-

* Навязчивая идея (*фр.*).

стинкты, он разом понял и Соню, которая следовала за ним на каторгу, и глубоко полюбил ее. Он, одним словом, выздоровел. «Он воскрес», – говорит автор, что, очевидно, одно и то же; «тут, – продолжает г. Достоевский, – уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомство с новою, доселе совершенно неведомою действительностью».

Итак, Раскольников вовсе не тип, не воплощение какого-нибудь направления, какого-нибудь склада мыслей, усвоенных множеством. Картавого человека, хромого человека, одноглазого человека – мы не считаем за типы, а считаем физическими уродами; людей с idée fixe мы не считаем за типы, потому что это явление болезненное и крайне разнообразное в своих проявлениях; общей черты тут схватить невозможно, потому что тут многое зависит от индивидуальности, от обстоятельств, так или иначе сложившихся. Если же Раскольников не тип, он и представлять собою ничего не может, и нет никакого повода думать, чтобы автор хотел кого-нибудь оклеветать, хотел навязать молодежи «поголовное стремление к убийству с грабежом», как выразился один критик в начале прошлого года.

Однако ж, скажет читатель, положим, что Раскольников действительно больной человек, крайне впечатлительный, нервный, одним словом, способный сделаться полоумным, – отчего же он напал именно на мысль об убийстве с грабежом и так последовательно развил ее, а не напал на что-нибудь другое, более невинное? Во всяком случае, не вследствие *одного* одностороннего развития, вред которого, конечно, мы и не думаем отрицать. Летописи преступлений представляют нам слишком много примеров, когда люди образованные решались на преднамеренные убийства и совершали их хладнокровно, из побуждений отнюдь не лучших, чем те, которые руководили героем романа г. Достоевского; нельзя объяснить преступления Раскольникова материализмом, потому что этот материализм, это неверие – в нем тоже напуск, скорее следствие idée fixe, чем последняя могла быть следствием материализма; с выздоров-

лением, с любовью и материализм проходит у Раскольникова, и вера начинает прокрадываться в его сердце. Таким образом, с уничтожением причины уничтожаются и последствия. Кто внимательно прочтет роман, для того ясны будут причины, побудившие Раскольникова на преступления; причины эти чисто индивидуального свойства, а вовсе не из тех, которые носятся в воздухе. Скажут еще, пожалуй, как же мог больной человек так верно рассчитать преступление, так подробно обсудить его и так долго выдерживать пытку, которую производил над ним Порфирий Петрович. Вместо ответа на этот вопрос мы спросим, в свою очередь: как может лунатик безопасно ходить по карнизу, взбираться на такие неприступные высоты, взойти на которые здоровому человеку решительно было бы невозможно; здоровый человек, даже искусный гимнаст, считал бы безумием самую мысль о том, чтоб пройтись по краю крыши четырехэтажного дома, между тем как лунатик спокойно совершает эту путешествие…

Странное дело: незадолго до появления «Преступления и наказания» в Москве совершено убийство, почти такое же, какое описывает г. Достоевский, и также молодым образованным человеком. Мы говорим об убийстве Попова и служанки его Нордман – убийства, подробности которого читатели недавно имели случай читать. Раскольников убивает старуху, потом Лизавету, которая нечаянно входит в незапертую дверь. Данилов убил Попова, потом Нордман, которая вернулась из аптеки, войдя также в незапертую дверь.

Если вы сравните роман с этим действительным происшествием, болезненность Раскольникова бросится в глаза еще ярче. Убийца Попова и Нордман вел себя вовсе не так, как вел себя Раскольников, и тотчас после преступления, и во время следствия. Честная, добрая природа Раскольникова постоянно проявляется сквозь болезненную рефлексию и давила ее почти против его воли, внутренний голос заставил Раскольникова принести повинную, хотя он всячески старался уверить себя, что он совершил вовсе не преступление, а чуть ли не доброе дело; убийца Попова и Нордман сплетает неве-

роятные происшествия, отличается хладнокровием и лжет в самые торжественные минуты. Тут не было никакой давящей рефлексии, никакой idée fixe, а просто такое же черное дело, как и все дела подобного рода…

Мы распространились о Раскольникове не для того только, чтоб снять обвинение с писателя честного; мы сказали, что Раскольников не тип, и в этом заключается слабая сторона романа. Г. Достоевский не обладает тем талантом, который дает г. Тургеневу возможность схватывать современные явления, идеи, носящиеся в воздухе, и воплощать их в типы. Его Лаврецкие, Рудины, Базаровы – явления жизненные, подлежащие критике, вызывающие в читателях целый ряд вопросов самых жгучих о нашем развитии, о наших недостатках и заблуждениях; Раскольников, как явление чисто болезненное, подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике. Дело последней заключается только в том, чтобы доказать, что подобные явления возможны при всяком уровне развития, если только тому способствует крайне расстроенная нервная система.

Какие же типы, действительно жизненные, нарисовал г. Достоевский в своем романе? Наиболее удавшееся лицо в романе – Мармеладов, этот спившийся с кругу чиновник; характеристика его, встреча с Раскольниковым принадлежат к лучшим страницам не только «Преступления и наказания», но и всего, что когда-либо было написано г. Достоевским. Типы подобного рода постоянно, впрочем, удавались нашему романисту, начиная с Девочкина в «Бедных людях»; это типы приниженных и забитых людей. Жена Мармеладова обрисована тоже хорошо; это тоже приниженная и забитая личность. Из других лиц вполне удался г. Достоевскому Порфирий Петрович, следователь, хотя автор уже чересчур много заставляет говорить его и слишком мало действовать. Характер Разумихина только набросан, но не отделан достаточно; это натура грубая, но чрезвычайно честная, способная на самопожертвования; это нечто вроде «черноземной силы» (в «Накануне»), просветленной наукой. Женские личности, кроме указанной жены Мармеладова да еще, пожалуй, матери Раскольникова,

не представляющей, впрочем, ничего нового, все бледно отделаны. Сестры Раскольникова, Дуня, Соня – все это скорее общие места, чем живые личности; Соня, впрочем, все-таки рельефнее оттенена, особенно в начале романа. Совершенно мелодраматическая личность – Свидригайлов. Автор довольно долго заставляет его носиться перед читателями, сообщает ему какие-то демонические замыслы, награждает таинственностью, способностью к самым коварным интригам; но чем далее читатель следит за Свидригайловым, тем он является ему более и более непонятным. Подвиги его как-то чересчур фантастичны, невероятны; слышишь в его проделках «по щучьему велению, по моему прощению»; читатель едва ли в состоянии понять, что такой развращенный до конца ногтей человек, убийца, хлыщ, грабитель, в состоянии был так безумно влюбиться в Дуню; еще менее понятно самоубийство Свидригайлова. Подобные люди дорожат своею жизнью, наслаждением тела и без сильных причин не решатся на такое дело, как самоубийство; читатель же не только сильных, но и каких-либо причин к самоубийству у Свидригайлова не видит. Смесь крайнего разврата, бессердечности, цинизма, всякой нравственной грязи, которую только вообразить себе можно, и в то же время какого-то великодушия, геройства – таков Свидригайлов. Личность эта, по нашему мнению, наименее удавшаяся г. Достоевскому, просто невозможна и может быть названа не иначе как фантастическою, сказочною.

В романе много страниц прекрасных, полных, художественных; но в нем немало также страниц слабых, недостаточно выясненных; завязка крайне запутана и обременена лишними подробностями, приклеенными или ради эффекта, или совсем неизвестно для чего. С некоторыми лицами г. Достоевский поспешил расстаться, как, например, с женихом Дуни, который только для того и нужен был, чтобы Дуня с матерью приехала в Петербург. Затем он решается на подлое дело с Соней, которое не удается, и затем бесследно исчезает, не оставив ни на ком ни малейшего впечатления. Между тем, судя по началу, читатель готов видеть в этом женихе одно из

главных действующих лиц. Решительного суждения о романе г. Достоевского, составляющем, без всякого сомнения, явление замечательное, трудно произнести, в то время когда объявлено о втором его издании, *значительно исправленном* автором и, вероятно, значительно распространенном, так как в новом издании он будет иметь шесть частей, в *Русском* же *вестнике* он делится всего на три части.

О покойном

Вы будете пробегать эти строки, когда прах Достоевского уже успокоится в могиле. Я не могу не поговорить еще и еще раз о человеке, смерть которого глубоко поразила не меня одного. Чувства, волновавшие меня, я старался выразить в тех немногих строках, которыми в этот четверг известил читателей о нашей общей русской потере. Но слово бессильно.

Болезни его не придавали никакого значения. Достоевский выглядел так моложаво сравнительно со своими летами, так был подвижен, жив и нервен, так кипел замыслами и так мало думал о покое, что мысль о смерти вследствие разрыва каких-то артерий мне и в голову не приходила. Я знал, что от этой болезни сплошь и рядом выздоравливают. Но организм Достоевского был слишком потрясен, и смерть покончила с ним быстро...

В понедельник показалась кровь из носа, потом пошла горлом. Он встревожился, но тою нервною тревогою, которая укладывается тотчас же, когда опасность миновала. Мы все нервны, и наш организм именно складывается удобно для этих переходов и помогает нам жить. Организм Достоевского тем более к этому должен был привыкнуть, так как вынес он в своей жизни чрезвычайно много. Падучая болезнь, которою он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучающее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. В последние годы она как будто ослабела, сдела-

лась реже, но была постоянно в зависимости от напряжения в труде, от огорчений, от жизненных неудач, от той беспощадности, которой так много в нравах русской жизни и русской литературы. Приступы ее он чувствовал и начинал страдать невыразимо; невольно закрадывался в душу страх смерти во время припадка, болезненный, тупой страх, тот Дамоклов меч, который висит над такими несчастными на самой тончайшей волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове,– все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно – так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспамятстве, умереть в пять минут – надобна большая воля, чтобы под этой постоянной угрозой так работать, как работал он.

Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным – точно он был пьян. «Не удивляйтесь, – глядя на меня, сказал он, – у меня сейчас был припадок». Нечто подобное было с ним, когда он почувствовал себя худо в понедельник, – смерть тотчас ему представилась, быстрая смерть, с приготовлениями к которой следует торопиться. Он исповедался и причастился. Позвав детей – мальчика и девочку (старшая – девочка, которой 11 лет), – говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны

любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им. Потеря крови сильно его истощила, голова упала на грудь, лицо потемнело. Но ночь восстановила его силы. Вторник прошел хорошо, и мысль о смерти снова была далека. Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях. Но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждет смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает, какая светлая будущность ждет это поколение, к которому они принадлежат, как много может сделать оно при свободе жизни и как будет счастливо, и как много несчастных обратится к счастью и довольству...

Настал третий день. С утра ему опять было хорошо. Он непременно сам хотел надеть себе носки. Никакие увещания и напоминания о спокойствии не подействовали. Он сел на постели и стал обуваться. Это мелочь, но в подобных болезнях все зависит от ничтожных мелочей. Усилие, которое он сделал, вызвало новое кровотечение, которое повторялось несколько раз. Он стал тревожнее и тревожнее. К вечеру ему стало хуже. В семь часов началось обильное кровотечение, он впал в беспамятство, и полтора часа спустя его не стало.

Я смотрел в драме Гюго г-жу Стрепетову в роли венецианской актрисы, которая умирает от руки возлюбленного, которому она самоотверженно приготовила счастье со своей соперницей. Смерть предстала в реальном образе – так умирают не на сцене, а в жизни. Потрясенный этою игрою, я приезжаю домой, и в передней меня встречают известием, что Достоевский умер. Я бросился к нему. Это было за полночь. Никому, конечно, нет дела до того, что я чувствовал, но иногда невозможно устранить себя, чтобы передать верно то впечатление, которое испытывали многие. Знаешь, что едешь на беду, знаешь, что она существует, чувствуешь ее и видишь, но остается какое-то сомнение, какая-то надежда, смутная, странная, тревожная, невероятная. А может быть, он и не умер, может, меня

обманули – надо увериться, убедиться, своими глазами увидеть. Это не любопытство, а именно присущий нам инстинкт жизни и ненависть к смерти. Хочется отдалить на час, на четверть часа полную уверенность в смерти близкого человека. Способностями в это время не владеешь, и в голове какая-то безобразная путаница мыслей.

Я вбежал на лестницу, на которой стояли три-четыре фигуры в некотором расстоянии одна от другой. Зачем они тут? Мне показалось, что они хотели мне что-то сказать. У самой двери еще фигура, высокая, рыжая, в длинной чуйке. Когда я взялся за звонок, она вдруг взмолилась: «Порекомендуйте меня. Там есть гробовщики, но они ненастоящие». И фигура проскользнула за мной в переднюю. «Ступай, ступай!» – «Пожалуйста, скажите!» – «Сказано, скажу, ступай!» Этими фразами обменялись гробовщик и человек, отворивший мне дверь. Когда умрешь, вот это самое будет и у тебя, эти же фигуры будут ломиться в двери, подумалось мне невольно, и в то же время стало несомненным, что смерть действительно вступила в этот дом. Я вошел в темную гостиную, взглянул в слабо освещенный кабинет...

Длинный стол, накрытый белым, стоял наискосок от угла. Влево от него к противоположной стене на полу лежала солома, и четыре человека, стоя на коленях, вокруг чего-то усердно возились. Слышалось точно трение, точно всплески воды. Что-то белое лежало на полу и ворочалось, или его ворочали. Что-то привстало, точно человек. Да, человек, на него одевали рубашку, вытягивали руки. Голова совсем повисла. Это он, Федор Михайлович, его голова. Да он жив? Но что это с ним делали? Зачем он на этой соломе? В каторге он так леживал, на такой же соломе, и считал мягкой подобную постель. Я решительно не понимал. Все это точно мелькало передо мной, но я глаз не мог оторвать от этой странной группы, где люди ужасно быстро возились, точно воры, укладывая награбленное. Вдруг рыдания сзади у меня раздались. Я оглянулся: рыдала жена Достоевского, и я сам рыдал... Труп подняли с соломы те же самые четыре человека; голова у него отвисла навзничь;

жена это увидела, вдруг смолкла, бросилась ее поддерживать. Тело поднесли к столу и положили. Это оболочка человека – самого человека уже не было...

Храни вас Боже видеть такую ужасную картину, какую я видел. Ни красок, ни слов нет, чтоб ее рассказать. Реализм должен остановиться в своих стремлениях к правде на известных гранях, чтобы не вызывать в душе ужаса, проклятий и отчаяния...

Надо говорить о душе человека, а не об оболочке...

Вот он живой. Он стоял у шкафа с книгами и говорил: «А у вас много старых книг? Есть ли у вас одна – я ее искал – “Постоялый двор”? Это хороший роман». Мы с ним сели и стали говорить. Это было дней за десять до его смерти. Он приступал к печатанию своего «Дневника». Срочная работа его волновала. Он говорил, что одна мысль о том, что к известному числу надо сдать два листа, подрезывает ему перья. Он не отдохнул еще после «Братьев Карамазовых», которые страшно его утомили, и он рассчитывал на лето. Эмс обыкновенно поддерживал его силы, но прошлый год он не поехал из-за празднования Пушкина. На столе у меня лежали «Четыре очерка» Гончарова, где есть статья о «Горе от ума». Я сказал, что настоящие критики художественных произведений – сами писатели-художники, что у них иногда являются необыкновенно счастливые мысли. Достоевский стал говорить, что ему хотелось бы в «Дневнике» сказать о Чацком, еще о Пушкине, о Гоголе и начать свои литературные воспоминания. Чацкий ему был несимпатичен. Он слишком высокомерен, слишком эгоист. У него доброты совсем нет. У Репетилова больше сердца. Вспомните первое явление Чацкого. Пропадал столько времени и претендует, что девушка перестала его любить. Сам о ней он и думать забыл, веселился за границей, влюблялся, конечно, а въехал на родные поля, скучно, вот стал дразнить себя старой любовью и взбешен, что Софья не в восторге от свидания с ним. И далее. Дал понюхать уксусу Софье, когда она упала в обморок, повеял платком в лицо и говорит: «Я вас воскресил». И это ведь се-

рьезно он говорит, с жестким упреком в неблагодарности. На Софью у нас слишком строго смотрят, а на Чацкого слишком снисходительно: очень он подкупает нас своими монологами. Кстати я спросил у него, отчего он никогда не писал драмы, тогда как в романах его так много чудесных монологов, которые могли бы производить потрясающее впечатление.

– У меня какой-то предрассудок насчет драмы. Белинский говорил, что драматург настоящий должен начинать писать двадцати лет. У меня это и засело в голове. Я все не осмеливался. Впрочем, нынешним летом я надумывал один эпизод из Карамазовых обратить в драму.

Он назвал, какой эпизод, и стал развивать драматическую ситуацию. Он много говорил в этот вечер, шутил насчет того, что хочет выступать в «Дневнике» с финансовой статьей, и в особенности распространился о своем любимом предмете – о Земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям. Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного им предмета: что-то ласкающееся, просящееся в душу, отворявшее ее всю звучало в его речах. Так он говорил и в этот раз. У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и все это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, и он прибавлял: «Полная. Суд для печати – разве это свобода печати? Это все-таки ее принижение. Она и с судом пойдет односторонне, криво. Пусть говорят все, что хотят. Нам свободы необходимо больше, нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставалось невысказанным». Конституцию он называл «господчиной» и уверял, что так именно называют ее мужики в разных местах России, где ему случалось с ними говорить. Еще на пушкинском празднике он продиктовал мне небольшое стихотворение об этой «господчине», из которого один стих он поместил в своем «Дневнике», вышедшем сегодня:

А народ опять скуем.

Он был того мнения, что прежде всего надо спросить один народ, не все сословия разом, не представителей от всех сословий, а именно одних крестьян. Когда я ему возразил, что мужик ничего не скажет, что они и формулировать не сумеют своих желаний, он горячо стал говорить, что я ошибаюсь. Во-первых, и мужики многое могут сказать, а во-вторых, мужики наверное в большинстве случаев пошлют от себя на это совещание образованных людей. Когда образованные люди станут говорить не за себя, не о своих интересах, а о крестьянском житье-бытье, о потребностях народа, – они, правда, будут ограничены, но в этой ограниченности они могут создать широкую программу коренного избавления народа от бедности и невежества. Эту программу, эти мнения и средства, ими предложенные, уж нельзя будет устранить и на общем совещании. Иначе же народные интересы задушатся интересами и защитою интересов других сословий, и народ останется ни при чем. С него станут тащить еще больше в пользу всяких свобод образованных и богатых людей, и он останется по-прежнему обделенным. Как я прочел, он тему эту развивает в своем посмертном «Дневнике», по необходимости односторонне, конечно, далеко не высказывая и того, что он мне говорил.

Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности. До этих идеалов очень далеко и либералам, которые так безжалостно, а иногда и мерзко его преследовали, называя даже «врагом общественного развития». Кто говорил с Достоевским искренно, тот это знает, знают и те, кто вчитывался в его сочинения, кто понимал его типы, над которыми, точно проклятие какое, тяготела мрачная судьба, какая-то серная, удушающая, коверкающая, почти до безумия доводящая атмосфера, кто понимал, что надо всеми этими несчастными звучит сострадательное, теплое, призывающее к миру и любви слово писателя, психолога и мыслителя. Не деревянными фразами, бездушными и ординарными, не звонкой строкой передовой статьи изображал он эту атмосферу, коверкающую

людей, а страницами, полными огня, чувства, глубокого проникновения в сердце человека, словами проповеди, рвавшей душу и сжигавшей ее. Чувствовался искренний, горячий друг людей неудовлетворенных, людей, стремящихся вдаль, ищущих истины. В мраке живут его люди, живут в непроглядной ночи, но они бьются к свету и правде всяческими путями, и чистыми и нечистыми, быть может нечистыми больше, потому что в мраке трудно различать пути: только избранные, даровитейшие попадают на верный путь.

О своих литературных врагах он говорил мне раз:

– Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он называл известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся. А на деле вышло не то. «Бесами»-то я и нашел наиболее друзей среди публики и молодежи. Молодежь поняла меня лучше этих критиков. И у меня есть масса писем, и я знаю массу признаний. Вообще, вы знаете, критика ко мне не благоволила, она едва удостаивала меня снисходительным отзывом или ругала. Я ей ничем не обязан. Сами читатели, сама публика меня поддержала и дала мне известность за те произведения, которые писал я, возвратясь из каторги. В особенно близкие отношения с читателями поставил меня «Дневник», и я думаю, он не оставался без влияния на общественное мнение.

В революционные пути он не верил, как не верил и в пути канцелярские; у него был свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как глубоко верил в бессмертную душу, как глубоко был проникнут учением Христа в его настоящей, первобытной чистоте.

Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. «Вы не видели того, что я видел, – говорил он. – Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». В праздник 25-летия Государя он был необыкновенно весел. Я просидел у него часа два. Он говорил: «Вот увидите, начнется совсем новое. Я не

пророк, а вот вы увидите. Нынче все иначе смотрят». Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова[1] его смутило, и он боялся реакции. «Сохрани Бог, если повернем на старую дорогу. Да вы скажите мне, – твердил он мне, точно я что-нибудь знал, – хорошими ли людьми окружил себя Лорис, хороших ли людей пошлет он в провинции? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего. Да знает ли он, отчего все это происходит, твердо ли знает он причины? Ведь у нас все злодеев хотят видеть... Я ему желаю всякого добра, всякого успеха».

Граф Лорис-Меликов, конечно, не знал, как относился к нему покойный, но он знал заслуги писателя для родной земли и тотчас представил о них Государю. Министр знает сердце своего Государя и знает свои обязанности. Добрым словом вспомянули о нем сегодня не раз.

Как Достоевский относился к молодежи – она сама про это знает. В последние месяцы он бывал в каком-то восторженном состоянии. Овации страшно подняли его нервы и утомляли его организм. Подносимые ему венки он считал лучшей наградой. В ноябре или декабре, после бала в одном высшем учебном заведении, на который ему прислали почетный билет, он рассказал мне, как его принимали. «Потом мы стали говорить, – продолжал он, – затеяли спор. Они просили, чтобы я им говорил о Христе. Я им стал говорить, и они внимательно меня слушали». И голос его дрожал при этом воспоминании.

Он любил русского человека до страсти, любил его таким, какой он есть, любил многое из его прошлого и верил с детской непоколебимою верою в его будущее. «Кто не верит, тому и жить нельзя», – говаривал он, и говорил правду. Народная гордость жила в нем, жило в нем то сознание силы русского народа, которое разным пошлякам кажется квасным патриотизмом, но уже не кажется это так вступающему в жизнь поколению. Эта независимость духа, эта искренность, с какими он высказывал свои мнения, насколько позволяли ему условия печати, сделали его любимцем публики, любимцем подрастающих поколений. Весь либерализм наших либералов

из любой иностранной книжки можно вычитать, но русскую душу можно узнать только в глубоком писателе-человеке. И вот почему к нему ходили, как на исповедь, ему делали невероятные признания, в силу его слова верили и стар и млад. Как общественная личность, как личность политическая, он не может быть объяснен в данный момент, не может быть объяснен одними своими произведениями. Пусть явятся воспоминания, пусть явится переписка, но многое он унес с собой, много такого благородного, такого любящего и глубокого, о чем можно только догадываться, что можно только чувствовать по некоторым страницам его произведений.

Я не могу собрать воедино все те черты этой личности, которые заставляли любить его, которые наполняли меня беспредельным уважением к нему. Я чувствую, что в этом маленьком очерке все разбросано, что в нем может быть упущено самое важное, я чувствую также, что и условия печати потребны более широкие, чтобы изложить с достаточной ясностью его убеждения политические и нравственно-философские. На продолжение своего «Дневника» он смотрел отчасти как на средство выяснить все это и завязать узел борьбы по существенным вопросам русской жизни. Все это теперь кончено, кончен и замысел продолжать «Братьев Карамазовых». Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве...

Все это кончено. Уста смолкли навек, горячее сердце перестало биться. Похороны его, вынос его тела – общественное событие, невиданное еще торжество русского таланта и русской мысли, всенародно и свободно признанных за русским писателем.

Зрелища более величавого, более умилительного еще никогда не видел ни Петербург и никакой другой русский город. Ничья вдова, ничьи дети не имели еще такого великого утешения – свою скорбь смягчить таким выражением общественной признательности к близкому им человеку, свою жизнь напол-

нить воспоминанием о незабвенном великом дне, хотя он был днем вечной разлуки.

Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, ее воскресение…

Тень Достоевского

За день до сочельника я получил от одного литератора довольно большое письмо, которое начиналось так: «Одна бедная женщина, лично мне известная, владеет портретом Достоевского, писанным масляными красками в день выноса его из квартиры, 31-го января 1881 г., художником В. С. Крюковым (живым и здравствующим). Недавно этот портрет был предложен А. Г. Достоевской для покупки за 25 р.».

Затем литератор довольно пространно рассказывает, что А. Г., вдова Ф. М. Достоевского, выразила сомнение, чтоб существовал портрет ее мужа в гробу, кроме писанного Крамским тотчас после смерти; потом, когда портрет ей был принесен, она нашла его непохожим и отказалась его приобрести. «Не найдете ли вы кого-нибудь из почитателей Достоевского, кто бы купил этот портрет?» Так заключалось письмо. Я телеграфировал литератору, чтобы прислали мне портрет. В самый сочельник вечером мне подали этот портрет на полотне, в квадратных пол-аршина. Я увидел мужскую голову с закрытыми глазами, с большим лбом, с рыжей бородой и усами, над которыми чернелись две ноздри носа, и с губами, плотно сжатыми. Кругом что-то намазано, не то цветы, не то Бог знает что. Потому ли, что портрет, как сообщал мне литератор, «написан при спущенных шторах и восковых свечах», или почему-либо другому, но я был совершенно согласен с А. Г. Достоевской, что он не походил на ее покойного мужа.

Я приобрел портрет, хотя не люблю ни фотографий, ни портретов с мертвых. Эти лица с закрытыми глазами гораздо хуже, чем nature morte*. Мертвая роза не то что мертвое тело.

* Натюрморт (*досл.* – мертвая природа) (*фр.*).

Я взял портрет и, положив его в ящик шифоньерки, закрыл несколькими листами бумаги, чтоб не увидеть его, когда мне придется раскрывать ящик. Но, быть может, это старание, с каким я прятал портрет от себя, заставило меня целый вечер думать о Достоевском. Я живо вспомнил его смерть и то глубокое впечатление, которое она на меня произвела.

Я поехал на его квартиру. Это было за полночь. Не верилось в его смерть, или, вернее сказать, я чувствовал какое-то сомнение, смутное, странное, тревожное. Может быть, он не умер, и я застану его живым. Такое чувство мне много раз случалось испытывать после вести о смерти близких мне людей, и я думаю, что это инстинкт жизни и ненависть к смерти. Хочется отдалить на час, на четверть часа полную уверенность в смерти близкого человека.

Я вбежал по лестнице, и, когда лакей отворил мне дверь, в нее вошел за мною гробовщик, которого лакей стал гнать. Я снял пальто и вошел в темную гостиную. Кто-то повторял несколько раз – «Где мундир?», и кто-то отвечал: «Почем я знаю где». Вероятно, дело шло о мундире сына Достоевского, гимназиста, но я не сообразил и думал, разве у Достоевского есть мундир? И каторга его, описанная им в «Мертвом доме», пронеслась у меня в голове…

Тихо ступая, я подошел к его маленькому кабинету и заглянул в него. Длинный стол, покрытый белым, стоял наискось от угла. Влево от стола, к стене, я увидел четырех женщин, сидевших на коленях и корточках на соломе, постланной на полу, они быстро возились с чем-то белым, пошлепывая по нем, поливая на него воду и вытирая. Это белое ворочалось, глухо стучало по полу чем-то и шуршало по соломе. Женщины так быстро и грубо обращались с этим белым, точно воры, спешившие поскорее собрать награбленное и убежать. Я решительно не понимал, что это такое, и приглядывался. Вдруг белое поднялось и село, и на белом висела голова, лицом вниз.

– Держи ему руки! – сказала женщина. – Давай рубашку!..

И у повисшей головы вытянулись руки, и все тело закачалось то назад, то вперед…

Это было тело Достоевского. Его обмывали на соломе, вытирали и обряжали на этот длинный стол.

Я вспомнил беседы с ним, вспомнил удивительные его похороны, о которых я тогда сказал, что это были «не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни», вспомнил то время, лихорадочное, напряженное, что-то затаившее точно в себе, дышавшее чем-то таинственным и загадочным. Это было незадолго до 1-го марта. Я очень хорошо помню, что у всех замечалось какое-то смутное беспокойство и какая-то нервная, точно кем-то приказываемая подвижность.

И в это-то время свалился этот талант, сам заключавший в себе что-то таинственное, страстное и загадочное. В литературе нашей он явился как привидение, как выходец из какого-то такого мира, о котором до него никто не говорил. Этот мир так противоречил всему тому, что открывало до него русское словесное художество. Какие-то поломанные, больные люди, какие-то «бесы», «идиоты», «сладострастники», «преступники» явились и раскрывали свою русскую, удивительно сложную душу, в которой наслоились веками рабство, свобода, самопожертвование, отрицание всего существующего, распутство, продажность тела и души и сияющие призраки фантастического будущего…

До самого утра Достоевский не выходил у меня из памяти, и портрет его, этот непохожий, плохой портрет беспокоил меня так, что у меня являлось сильное желание выбросить его или запрятать куда-нибудь так, чтобы забыть о нем совсем. Мне невольно вспомнился «Портрет» Гоголя и то беспокойство, которое овладело художником. Бессонница мучила меня, и сам Достоевский вырастал передо мной в какую-то фантастическую личность.

Странное дело, на другой день, в Рождество, я совсем забыл о портрете. Но мне было очень грустно и тяжело, особенно к ночи. Точно я сделал что-то такое, чего не следовало делать, и это меня мучило. К этому присоединилось чувство какого-то невыносимого одиночества, того одиночества, которое всего сильнее чувствуется в старости, когда не то что люди уходят от вас, а уходит самая жизнь, приучая нас к одиночеству в мо-

гиле. Я решительно не находил себе места. Ночью я взял Шекспира и стал читать «Ричарда II». Меня остановили стихи:

Горе
Мое внутри: наружу можно видеть
Лишь только тень невидимой печали,
Терзающей измученную грудь.

Бросив «Ричарда», я принялся за «Генриха IV»: Фальстаф развеселит меня, думал я. Но и у Фальстафа мне бросались в глаза не комические, а умные слова, и я отметил себе: «Если ромашка растет тем лучше, чем ее больше топчут, зато молодость портится тем скорее, чем больше насилуют». Шекспир тем, между прочим, отличается от современных драматургов, что у него и глупцы говорят умные речи, а у современных – и умные говорят глупости. Виновато в этом не наше время, не реализм, а наши теперешние драматурги, у которых ума не отыщешь. Шекспировская фраза о молодости напомнила мне «Бесов» и одно мое знакомство, следы которого остались в письмах ко мне, лежавших в той же шифоньерке, в моей библиотеке, где я положил портрет Достоевского.

Я отпер ящик, и мертвое лицо Достоевского было передо мною. Я открыл почему-то именно тот ящик, в который положил вчера портрет и в котором – я знал это – писем не было. Я хотел задвинуть его и запереть и вдруг вспомнил о тех бумажных листах, которыми я закрыл портрет. Где же они? Ящик был заперт. Кто-нибудь отворял его? Я осмотрел ключ, точно он мог мне что-нибудь сказать. Потом вынул портрет, осмотрел его и, снова положив, ушел в кабинет, чтобы взять белой бумаги и завернуть его. В кабинете моем горела электрическая люстра, а библиотека была не освещена, и я ходил в нее со свечой. Взяв листы и книгу, я подошел к библиотеке с тем странным чувством перед темнотою, которое, конечно, многим знакомо. Это страх, но страх рассуждающий, говорящий, что в мире ничего нет таинственного и что страх – только следствие наших предрассудков. Я победил этот страх и подошел к ящику. Он

был открыт, как я его оставил, но мне показалось, что портрет я положил затылком головы к окну, а он лежал этим затылком к двери. Какой вздор, ободрял я себя и нарочно медленно положил на портрет несколько листов бумаги, расправил их и, заперев этот ящик, выдвинул другой, где лежали письма.

Я стал отыскивать те, которые мне были нужны. Какая смесь почерков и лиц! Говорят, что почерки выражают характер не только человека, но даже женщины…

А, вот письма, которые я искал. Они писаны таким ровным, ясным и четким почерком, что читались как хорошо напечатанная книга. Значит ли это, что рука, писавшая их, принадлежит ясной, ровной и честной душе, в которой можно читать без затруднения? Я думал об этом, остановившись над несколькими строками, где встречались слова: Лозанна, Ormont dessus, Diableret… Дьяблере… дьявол… черт… таинственность… Отчего именно над письмом из Diableret я остановился?..

Вдруг шорох… Я оглянулся, и сердце забилось… Я проворно положил письма и запер ящик. Но только что замолк звенящий звук замка, я услышал ясно шорох именно в том ящике, где лежал портрет Федора Михайловича Достоевского. Неужели это мыши? Теперь, говорят, вся Россия наполнена мышами, которые даром приобретают никем не покупаемый хлеб, и естественно также, что они любят водиться в библиотеках и зубами читать книги. Мыши, наверное, знают, что есть книги, напечатанные исключительно для них. Я отпер ящик. Портрет был закрыт, но бумага смята. Я снял листы и увидел, что портрет перевернут вниз лицом. Не может быть! Вероятно, я сам нечаянно перевернул. Разве возможно, чтобы чья-нибудь невидимая рука распоряжалась в этом ящике? К тому еще ящик неглубокий, полотно натянуто на раме, а потому перевернуть портрет можно не иначе, как сняв полотно с рамы. Тем не менее мне становилось жутко, и я подчинялся тому, что называется паникой. Я захлопнул ящик и бросился вон. Но только что я сделал несколько шагов, как свечку кто-то задул.

– Федор Михайлович! – крикнул я невольно, точно кто-то подсказал мне, что это шутки покойного Достоевского. Сердце у

меня так билось, что я ухватился рукою за стол и ясно слышал, что будто что-то пронеслось надо мною, как тихое движение воздуха.

Войдя в кабинет, я зажег в нем две электрические люстры и две лампы, а двери запер. Удивительна эта несообразность: если духи есть, то они ведь проникают сквозь стены и запертая дверь им нипочем. Но я, очевидно, в тот момент думал иначе и отдыхал от испуга в запертой и ярко освещенной комнате.

Какой стыд пугаться! Даже если тени приходят сюда, то ведь они никому зла не делают. О скольких привидениях читали мы и слышали, но ни разу не случалось, чтоб эти пришельцы побили кого-нибудь или сделали какую-нибудь пакость. Я даже не помню, чтоб кто умер от испуга, а каких только ужасов не рассказывали «очевидцы». Ясно, привидения – существа безобидные. Но я был так взволнован, что если б не только человек, но даже моя собака явилась в кабинет, я приветствовал бы ее, как истинного друга. Что я, собака? Даже шум извозчичьего экипажа успокоил бы меня. Но Эртелев переулок и теперь такой же пустынный, каким был во времена М. И. Глинки, который жил против меня, т.е. дощечка с надписью, что тут жил Глинка, прибита как раз против окон моего кабинета…

Я ушел к себе в спальню и старался уснуть. Но Достоевский не давал мне покою. Я так ясно его видел, его фигуру, тихо и осторожно движущуюся, его худое и печальное лицо. Я видел его, когда глаза мои были закрыты. Он носился сверху вниз. Я не видел, как он поднимался вверх, но, опустившись вниз, он снова являлся вверху и плыл вниз. Раз я видел его говорящим. Он двигался сверху вниз, говоря что-то, и только что он скрылся из пространства моего внутреннего зрения, я ясно услышал, что кто-то ступал осторожно, точно в валенках.

– Кто это? – произнес я. – Кто?

– Это я, – сказал чей-то голос, и шаги снова послышались за ширмою, которая отделяла мою постель от комнаты. Человек ходил взад и вперед тихо и осторожно, а я старался зажечь лампочку и искал ощупью электрические проводники, висевшие по стене, у постели. Говорить я не мог от страшного волнения. Но в уши мне несся тихий шум шагов и глухой голос:

– Алеша Карамазов, Алеша Карамазов… Два гения – Толстой и Ницше, Ницше и Толстой… Ницше выступил антихристом, Толстой христосиком… Ха, ха, ха…

Это был не смех, а сухие, холодные звуки, выходившие точно изо рта механической куклы.

– Я утопист, утопист, утопист… Я мистик… мистик… Ах, Алеша Карамазов… Ты тоже мистик… Тоже утопист… И доброта – утопия, большая утопия… Ведь даже у Господа Бога есть ад…

И затем глубокий вздох, и как будто кто-то побежал мелкими шажками, точно маленькая птичка.

Он стоял сзади ширмы и из-за нее виднелась только его голова, но не та, что на портрете, а другая, несомненно на него похожая, с редкими волосами на голове, с его глазами, с его бородой. Она точно воткнута была на ширме…

Галлюцинация, галлюцинация, повторялось в моем мозгу, точно маятник, отбивающий секунды. Но голова, несомненно, виднелась мне совершенно реально, и глаза светились и моргали…

– Галлюцинация, галлюцинация, – говорила голова, качаясь взад и вперед. – Сначала умри, а потом говори: галлюцинация, галлюцинация, галлюцинация…

И голова закачалась быстрее… и исчезла…

Не знаю, я, может быть, с ума сходил. Но то, что я видел, – видел, а как это называется в науке – не все ли равно?

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

Критик Писемского из новых

Есть одно маленькое обстоятельство, о котором я дал слово двум молодым писателям поговорить. Обстоятельство это порождено «критико-биографическим очерком» г. Вен-

герова[1], приложенным к то́му первому полного собрания сочинений Писемского. Этот «очерк» вызвал в «СПб. вед.» статью, из которой «Новое время» сделало извлечение (№ 2811) в отделе «Среди газет» и высказало свое мнение о молодом критике. Теперь этот очерк я прочитал и составил о нем свое мнение, мало, впрочем, отличное от мнения «СПб. вед.». Эта газета извлекла из статьи г. Венгерова все то нелепое, бездоказательное и легкомысленное, что позволил себе г. Венгеров об одном из самых выдающихся наших писателей. Сгруппировано все это было настолько искусно, что производило впечатление пасквиля, написанного г. Венгеровым над свежей могилой Писемского. Само товарищество М. О. Вольфа, издавшее Писемского, так встревожилось негодованием публики, порожденным этим «очерком», что изъяло из продажи этюд г. Венгерова. Это у нас первый случай, что книгопродавец подчиняется общественному мнению и спешит сам устранить из продажи то, что публика осудила. И я думаю, что товарищество, расписавшись в этом случае в своем невежестве, в то же время поступило не дурно для своих интересов, ибо нет сомнения, что с такою биографией Писемского ни одна общественная библиотека, ни одно учебное заведение не приобрели бы сочинений Писемского, изданных – надо отдать справедливость товариществу – очень неряшливо, на дрянной бумаге, недалеко ушедшей от оберточной.

Меня лично занимает только то, что г. Венгеров, обидевшись отзывом «Нового времени» о своем труде, нисколько не обиделся своим трудом, который он считает «критико-биографическим», и, по всей вероятности, негодует на своего гадателя, который подчинился общественному мнению. Заблуждение, свойственное молодым людям, которые берутся не за свое дело. Когда г. Венгеров разбирал произведения Альбова, Белинского (беллетриста)[2] и других новейших беллетристов, он был более или менее в своей тарелке, в кругу понятий и типов, которые он мог наблюдать и знать; но, взявшись за Писемского, он должен был очутиться в кругу понятий и лиц совсем недоступных ни его наблюдению, ни его знаниям. Он

должен был или бродить ощупью, или взять на себя смелость судить с плеча. Он сделал то и другое. Его очерк занимает 192 страницы. Большая часть его занята сводом критических мнений о Писемском; этот свод сделан достаточно добросовестно и усердно; г. Венгеров собрал все, что мог, не утаивая ни хорошего, ни дурного, и все перечитал, с одним согласившись, другое отвергнув, иногда голословно, иногда стараясь доказать свое положение. В этой «критической» работе виден усердный работник, но человек весьма малоталантливый, неспособный анализировать ни произведение, ни человека тонко, психологически и исторически, т.е. в обстановке данного времени. Читаешь и глазам не веришь: да неужели это взрослый человек, «критик», а не юноша, сидящий еще на школьной скамейке? Все приемы ученика, который, прочитав кое-какие книжки, не читанные учителем, думает, что он выше учителя. Боже мой, как же мало вырос г. Венгеров с того времени, когда под псевдонимом Гамлета Щигровского уезда он вел литературный фельетон в «Новом времени»! Тогда у него были кое-какие общие литературные идеи, под которые он и подводил все; вне этих идей он обнаруживал слабую критическую способность, и я был несказанно рад, когда Буренину *стало возможным* заменить его. С прежним Венгеровым только одна разница: тогда г. Венгеров был не так смел, как теперь. Смелость – хорошая вещь, когда она талантлива, ярка, блещет жизнью, чувством, увлечением. Такая смелость обыкновенно всякое свое положение доказывает, развивает, смеется, волнуется, пускается в лиризм, поднимается до пафоса чувства. С такою смелостью можно не соглашаться, можно не любить ее, находить ее неосновательной, беспутной даже, но свежее чувство, юношеская манера доказывать, страсть увлечения предметом, молодой и чистый вздор – все это подогревает и холодного читателя, и он следит за критиком с интересом, со вниманием и иногда наталкивается на блестящие страницы. Таков был Писарев, те же черты есть у г. Протопопова[3]. Но у г. Венгерова ничего подобного нет. Какой-то холодный ритор, какая-то мелкая рассудочность, да и то не своя, а партийная, какие-то детские

замечания, выходящие тем неуклюжее, чем серьезнее и авторитетнее они высказываются. В самых приемах критической работы какая-то отрывочная компилятивность, что-то бессвязное, идущее точно по кочкам и ухабам; ни признака оригинальности, своего прочувствованного, пережитого, больно выношенного душой; ни любви, ни страсти, ни негодования, а все какие-то сентенции, какая-то скучная и вялая серединность. Слог даже точно не свой, а наборный, нахватанный коегде и кое-как, безжизненный и малолитературный до того, что он употребляет такие выражения, как: «он относится одинаково *скверно* ко всем», «жизнь в ее *ансамбле*», «Рудин во время своего учительства *скандалится*» и проч.

Из этого, однако, еще не следует, что г. Венгеров совсем лишен эстетического чувства и понимания; у него есть известный навык, известные серединные положения и начитанность, но лишь в такой мере, которая не дает ему возможности разобраться в своих впечатлениях. Он вовсе не является врагом Писемского, пасквилянтом его, как это можно было заключить из статьи «СПб. вед.», которая подобрала перлы и сгруппировала их. Но у него нет ничего *своего*, самостоятельного, оригинального, ни ума сколько-нибудь заметного, ни чувства сколько-нибудь глубокого, ни проникновения в русскую действительность, в русские радость и горе, в русский талант. Он как будто вне всего этого и поэтому поверхностен и холоден до того, что не замечает своих противоречий, своей отрывочности, своей спутанности. У него Писемский – невежда, человек узкий, очень плохой мыслитель, крайне мало образованный; правда в произведениях Писемского – «правда злая, главным образом знающая человека со стороны его животной природы»; если он читал Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго, Жорж Занда, «то какая же провинциальная барышня не читала их», хотя, по-видимому, il y a maniére et maniére*; если он был в университете, то ведь он был на математическом факультете, который совсем не содействует «развитию», – сему последнему содействуют только юридический и истори-

* На все есть манера (*фр.*).

ческий факультеты, по мнению г. Венгерова. Постаравшись натяжками и наивными замечаниями отнять у Писемского всякую культурность, всякое знакомство «с учениями и верованиями наиболее распространенными», почти всякое понятие о добре и зле, г. Венгеров говорит, что Писемский – «крупнейший после Гоголя реалист», что он «стремился к полной объективности творчества», что он (слушайте!) «на первый план выдвигает правду *психологическую»* (курсив в подлиннике), что некоторые типы Писемского «не уступают в художественном отношении типам Тургенева», что Шамилов есть «родоначальник Рудина», что «*Тысяча душ* утвердила популярность Писемского в Германии», что в критической статье своей о «Мертвых душах» Писемский обнаружил «замечательно глубокие идеи», что он «обладал очень хорошим эстетическим вкусом». И рядом с отзывами такого рода вдруг опять «суздальская манера» письма, «одна мужиковатость и трезвость не делают еще писателя и в особенности беллетриста», и проч., и проч. С кочки в яму, из ямы на жердь, с жерди в пошлость. Очень плохой мыслитель, круглый невежда, неразвитой, ничего не понимающий в социальных условиях и учениях, вдруг первый после Гоголя реалист, объективный писатель правды, соперничающий с Тургеневым в художественной изобразительности, обнаруживающий в критической статье замечательно глубокие идеи, предвосхищающий у Тургенева даже такой интеллигентный тип, как тип Рудина. Что это такое? Не ученик ли это?

Нет, это называется критикою, и критикою *новою*, новыми путями в критике, и этот критик решается говорить о писателе совершенно оригинальном, продукте особенного русского склада, человеке очень умном и самостоятельном. И этот критик говорит о «морализующих целях» творчества, об интеллигентности, которая приобретается только в юридическом и историческом факультетах, о русских типах, даже о народной русской жизни. Да, даже об этом. Язык произведений Писемского из народной жизни так совершенен, что такого языка не только нет у Тургенева, но нет ни у кого и из

молодых писателей. Это совершенно верно. Но содержание, но типы! Фуй, как они пошлы, как неестественны! Где же это видано, чтобы барин влюбился в крестьянку, где виданы такие мужики, как Ананий, где эта «народная бедность», этот «протест против крепостного права»? Ужасно! «Свои фальстафовские наклонности и аппетиты Писемский самым не реальным образом сообщил и народной жизни», – восклицает г. Венгеров. «Какое странное представление о русском народе получил бы иностранец» по произведениям Писемского! – восклицает снова г. Венгеров.

Этот иностранец и есть господин Венгеров. Вот разгадка этого микроскопического сфинкса. Ни русской души, ни русского чувства, ни малейшего участия к русской жизни и ни малейшего знания ее. Да, ни малейшего, ни капли, ни тени. Все фразы, вся тенденция сухая, бездоказательная, антихудожественная, пошлая в своих выражениях и пошлая в своих приговорах, как напр. такой: «Так вот значит в чем состоят идеалы его (Писемского): "не воруй, не убивай, не обманывай". Нечего сказать, хороши идеалы для первоклассного писателя». Чем же плохи? Г. Венгеров забыл заповеди, которые Моисей предписал его предкам. Кто не ворует, не убивает, не обманывает, тот не сотворит себе кумира, не станет лжесвидетельствовать не только на друга своего, но и на врага, не станет завидовать, враждовать и пр. Если б мир выучился только не обманывать, то он преобразился бы весь до неузнаваемости!

Чувствую, что игра свеч не стоит, но должно сказать еще о характеристике Писемского как человека. Это сластолюбец, Фальстаф, трус, обжора, пьяница, позорно равнодушный ко всему тому, что не желудок, не чувственность. Эти обвинения только немножко смягчаются словом «добродушный циник». И если где особенно ярко выступила бездарность г. Венгерова, то именно в этих холодных, ничем не мотивированных приговорах, худших во сто раз, чем приговоры прокурора. Точно гостиный щеголь, закручивающий свои усы, завивающий свои волосы, исполненный чувства воспитанности самой паркетной, судит человека, судит его вне времени и пространства, вне на-

рода, вне современников и потому вне правды. Нет, не щеголь это с парикмахерской выставки, а якобы критик, и критик из новых, критик из новейшей интеллигенции… Какая тонкость, какой анализ, какая психология!

Если Бог не дал таланта, а писать хочется – надо учиться у кого-нибудь. Учиться всего лучше у мастеров. Назову мастера – С. Бёва[4]. Как он умеет поставить писателя как историческую личность, как умеет окружить его всем арсеналом современности и отделить в нем то, что принадлежит ему, от того, что принадлежит всем. И все это без резких слов, без бранчивых выходок, все это в картинной последовательности, где герой его занимает первое место с его нравом и обычаем, с его манерой письма, с его идеями и типами. Полное незнание русской жизни, отсутствие анализа, легкомысленность тенденциозности заставили г. Венгерова бросить в личность Писемского какие-то бездушные репортерские отметки и бежать в Шекспира за Фальстафом. Писемский никогда не был ни обжорой, ни пьяницей, ни развратником, не был ими уже даже вследствие своей болезненной мнительности, которую сам же старался осмеять в своем «Ипохондрике». Если он был циничен на словах, грубоват, мешковат в своих манерах, то в известной степени эти черты не частные, а общие. Г. Венгеров думает, что люди сороковых годов отличались «тонко-интеллигентными чувствами», что это были «восторженные эстетики», толковавшие об абсолютах, о «святыне чувства», о всем том прекрасном, чего он в Писемском не находит. Но Писемский был в сравнении со многими из них – чистым агнцем. «Тонко-интеллигентные эстетики» отличались таким тонким развратом, тонким кутежом, такими вакханалиями на счет крепостных, что Писемский уже по бедности своей ничего подобного себе позволить не мог. Любовь к скабрезным анекдотам – это общая черта многих писателей, не только русских, но и французских, и писателей выдающихся, как умерших, так и живых. Я бы мог назвать имена, если бы это было сколько-нибудь любопытно. Отчего она происходит? Вопрос мог бы быть любопытен в устах даровитого критика.

В заключение два слова: г. Венгеров никогда не сделается сколько-нибудь заметным критиком не только потому, что у него нет для этого таланта и ума критического, но и потому, что он еврей. Чтоб судить о выдающихся русских писателях, надо быть русским, надо иметь русскую душу, чтоб понимать явления русской жизни в их целом, понимать их в самом себе, в своем сердце. Иностранец даже с талантом Белинского и Добролюбова никогда бы не мог сказать того, что они сказали, и сказать так, как они, то есть чтоб слово их проникало не только в ум читателя, но и в его сердце. Будь г. Венгеров русским, он даже при своих знаниях, при своем маленьком талантике сказал бы о Писемском цельнее, лучше, определеннее и избежал бы тех пошлостей и оскорбительных для памяти писателя вздоров, какие он наговорил в своем бездушном резонерстве.

И. С. ТУРГЕНЕВ

По поводу «Отцов и детей» (из моих воспоминаний)

...К числу наиболее мелких произведений Тургенева принадлежит «Собака»; для меня с этою «Собакой» связано одно из приятных воспоминаний молодости. Это было в конце лета 1861 года. Полагаю, что в наши дни об этом довольно отдаленном времени можно говорить свободно. Было в нем много хорошего, увлекательного и много комического, юношески незрелого. То была весна нашего либерализма, как теперь зима его. Г. Катков в то время не был еще «отцом отечества» – он даже едва ли и помышлял об этой роли, ибо ореол английского самоуправления, которым он был окружен некоторое время, начал сильно блекнуть. В обществе заметно было брожение; явились пионеры, призывавшие к само-

деятельности, к движению вперед мирным путем; с другой стороны начали являться прокламации…

Я жил в то время в Москве, на даче, в Сокольниках, у известной нашей писательницы, г-жи Евгении Тур, которая в то время, отделившись от «Русского вестника», издавала «Русскую речь» вместе с Е. М. Феоктистовым. Между сотрудниками были я, только что приехавший из провинции и робко вкушавший сладость литературного бытия, и г. Лесков, впоследствии преобразовавшийся в г. Стебницкого[1] даже не по правилам, изложенным у Овидия. Этих двух лиц (Овидия – в сторону) не надо смешивать, хотя они, несомненно, обозначают одно и то же лицо. Г. Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой переводной политико-экономической книжечке Гильдебрандта, явившейся летом 1861 г. на русском языке, если не ошибаюсь, под редакцией В. П. Безобразова. Я был в то время ужасно робок и скромен и слушал г. Лескова как оракула. Некоторые выражения его до сих пор остались у меня в голове, например, «народ – это чиновник».

Помню как теперь, чудесный, тихий вечер, чуть-чуть пропитанный запахом соснового бора. Мы сидели на террасе, выходившей в сад, и пили чай. Г-жа Евгения Тур что-то рассказывала; ручная белка сидела у нее на плече и грызла орехи, которые та давала ей время от времени. Вошедший человек подал ей на подносе письмо. Она медленно его распечатала и побледнела. «Что это такое?» – с обычной живостью сказала она, подавая листок г. Лескову.

– Это... прокламация, – таинственно, тихо сказал г. Лесков, пробежав печатный листок, заключавшийся в письме.

Прокламация!.. Это слово было так ново в то время, что у нас вытянулись лица и явилось желание прочесть и обсудить это новое явление соборно.

– Подождите немного, – сказала хозяйка, – я отнесу белку. В самом деле, подумал я, белка не должна слушать такие вещи. Мы сдвинули стулья, и г. Лесков тихо прочитал прокла-

мацию «Великорусс». Хозяйка взяла ее у него, сложила в несколько раз и разорвала на мелкие кусочки. Некоторое время мы молчали. Хозяйка вертела в руках конверт и полосками его разрывала, свертывая из них трубочки; я усиленно вздыхал, сам не знаю чего; г. Лесков глубокомысленно смотрел на небо, усеянное звездами. Так хорош был вечер, но в душе... Мы стали говорить, но шепотом, точно заговорщики, хотя в сущности все мы были люди самые смирные и удивлялись дерзости автора прокламации. Кто бы мог написать ее? Мы терялись в догадках. Известно, что эту прокламацию автор разослал всем более или менее известным лицам, сам надписывая конверты. Один из этих конвертов был послан из провинции в Петербург, и по руке отыскали автора. Это было начало того тяжелого конца, который переживаем мы теперь.

Господи, сколько в то время было переговорено, сколько смутных мыслей бродило в головах!.. Я сказал уже, что то была весна либерализма, когда стремления были неопределенны, шатки, когда шли продолжительные и горячие споры об английской конституции, о социализме, о фурьеризме, вообще о «материях важных», когда всюду цвело, но каков был этот цвет, каковы деревья – ни один мудрец определить бы не мог, потому что и мудрецы увлекались несбыточными мечтаниями. И замечательно, что интересы насущные, напр. суд присяжных, стояли гораздо более в стороне в тогдашних спорах, чем отдаленные мечты о всеобщем благоденствии. Я не могу без смеха вспомнить, как спрашивали тогда друг друга серьезно:

– Вы конституционист или республиканец?

– Я конституционист.

– Допускаете ли вы две палаты или одну?

– Я допускаю только одну.

– Позвольте, почему же одну? – и т.д. Если б теперь обратиться к кому-нибудь с подобным вопросом, то, без сомнения, можно бы получить ответь: «Убирайтесь к черту»... И резонно!..

Г-жа Евгения Тур, несмотря на свою ссору с г. Катковыми, часто говаривала:

– Если в Англии есть лорд Брум и лорд Маколей, то почему ж не быть в Москве – именно в Москве, заметьте – лорду Каткову и лорду Леонтьеву?

Я наивно соглашался, ибо в г. Каткове действительно сильно подозревал лорда Брума, а в г. Леонтьеве – лорда Маколея, тем более что с «Пропилеями» московского профессора я был знаком основательно. «Отчего ж?» – думал я. – И Маколей историк, и г. Леонтьев – историк. И, наконец, что за беда, если Леонтьев и Катков сделаются лордами? Ведь детей мне с ними не крестить – пусть их, делаются чем хотят». Они лордами не сделались, но зато стяжали себе славу другого рода. Тогда подобной славы никто не подозревал, и Кисловку, где жили издатели «Русского вестника» и «Современной летописи», считали некоторою российскою Великобританией.

Так в это-то странное время, о котором многое можно было бы порассказать, я в первый раз увидел г. Тургенева, у той же г-жи Евгении Тур, в Москве. Тургенев приехал из своей тульской деревни, где он докончил «Отцов и детей». Человек шесть сидело нас в уютном кабинете г-жи Тур. Тургенев тогда еще не был сед, как изображен он теперь на портрете. Впрочем, у меня осталось очень смутное воспоминание о его лице, ибо я взглядывал на него робко, с некоторым благоговением, как на знаменитость. Коренастый, высокий ростом, он почти не садился и рассказывал сильно жестикулируя, больше все стоя, преимущественно обращаясь к очень хорошенькой женщине, С. А. Ф-вой, находившейся тут же. Он был, как говорится, в ударе и почти не умолкал. Остроумная речь его так и лилась потоком, вызывая на лицах присутствующих самое веселое выражение. С большим юмором рассказывал он о какой-то немецкой актрисе, которую он видел вместе с Марком Вовчком на одном германском театре. Актриса эта играла Маргариту в «Фаусте» Гете; немцы слушали ее благоговейно; но Тургенев и Марко Вовчок не могли удержаться от хохоту, когда Маргарита, в сцене сумасшествия, схватила связку сена, воображая, что это дитя ее, и, освободив из-за корсета грудь, совала ее в сено. Я очень ясно помню фигу-

ру Тургенева, представлявшего Маргариту, вынимающую грудь. Все много смеялись.

В тот же вечер он рассказал свою «Собаку». Рассказ этот был так живописен и увлекателен, что производил огромное впечатление. Когда впоследствии я прочитал его в печати, мне он показался бледной копией с устного рассказа Тургенева. Невольно думалось – и это была правда, – что, садясь писать «Собаку», Тургенев задавался опасением, как бы читатели и критики не подумали, что он сам верит в такое таинственное приключение; ему хотелось сохранить не только полную объективность, но даже придать повествованию шуточную форму, между тем как подобные рассказы с фантастическою завязкой тогда только и хороши, когда художник сам верит в чудесное, по крайней мере на то время, когда пишет. Достаточно вспомнить Гофмана, чтоб такое положение показалось совершенно правильным. Устный рассказ о собаке потому и производил впечатление, потому и был хорош, что Тургенев рассказывал с увлечением, с верой: он даже бледнел, и лицо его принимало оттенки ужаса в драматических местах.

Придя домой, я несколько часов не мог заснуть: все мне мерещилась большая желтая собака и широкий луг, освещенный месяцем, по которому (по лугу, а не по месяцу) она бежала. Когда я уснул, во сне я увидел Тургенева, который несся в какой-то колеснице, но только не огненной, к месяцу, по полосе лучей его, как по торной дороге...

* * *

Когда появились «Отцы и дети» – это лучшее его произведение, – я был в восторге.

– Ну, как вы находите роман Тургенева? – спросила меня г-жа Тур. – По-моему, это превосходная вещь. – А Базаров? – И Базаров превосходен. – Помилуйте, – он не уважает родителей!

Я родителей уважал, но когда читал впоследствии враждебные роману критики, мне постоянно припоминался от-

зыв г-жи Тур, потому что критики именно проникнуты были чувством, похожим на ее чувство. Один злился на Базарова за то, что он не уважает родителей, другой за то, что он не уважает Фенички, третий за то, что он не умел надлежащим образом обольстить Одинцову, и за то, что о женщинах непочтительно выражается. Я думаю, что они злились на него потому, что чувствовали себя неизмеримо ниже его, как по силе характера, так и по силе ума. В самом деле, перечитайте «Отцов и детей» теперь, когда «злоба дня» прошла, когда к прошлому можно относиться спокойно; перечитайте также враждебную роману критику; если вы сравните остроумие Базарова, его меткий язык, одним словом уничтожающий противника, с остроумием критиков и их водянистыми измышлениями, то эти критики не могут не показаться жалкими и несколько тупыми.

Я немножко удивляюсь Тургеневу, который говорит теперь, что он сочувствует Базарову во всем, исключая его воззрений на искусство, удивляюсь потому, что время Базаровых прошло и современная действительность требует иных деятелей, с иными убеждениями, гораздо более мирными; но сила воли и независимость, которую обнаруживает этот герой романа, действительно симпатичны.

Г. Катков, составляющий нечто среднее между Павлом Кирсановым и Базаровым – кирсановские *принципы* и базаровская резкость, без его ума и остроумия – г. Катков, говорю, тотчас понял, какого полета птица Базаров. «Если и не в апофеозу возведен Базаров, – писал он Тургеневу, – то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. *Он действительно подавляет все окружающее.* Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать?» Далее г. Катков сожалеет о том, что Тургенев не заставил Одинцову обращаться иронически с Базаровым. Я полагаю, что таких людей иронией не проймешь, даже и в том случае, если б ирония шла со стороны таких мужчин, как г. Катков, привыкший, впрочем, брать не столько иронией, сколько за шиворот.

«Отцы и дети» были несколько раз переведены на немецкий язык, и иностранцы никак не могут понять обвинений, сыпавшихся на Тургенева за Базарова. Тургенев приводит следующий отзыв «Фоссовой газеты»[2]: «Для непредупрежденного читателя остается совершенно непонятным, как могла радикальная русская молодежь по поводу подобного представителя ее убеждений и стремлений, каким нарисовал Базарова Тургенев, – войти в такую ярость, что подвергла сочинителя формальной опале и осыпала его всяческой бранью? Можно было скорей предположить, что всякий новейший радикал с чувством радостного удовлетворения признает свой собственный портрет, своих единомышленников в таком гордом образе, одаренном такою силой характера и такою полной независимостью от всего мелкого, пошлого, вялого и ложного».

Говоря откровенно, между молодежью едва ли были Базаровы: такой тип испугал ее отчасти, отчасти поселил в ней зависть; Писарев узнал себя в Базарове, но это напрасно: он был несравненно мягче, деликатнее и несравненно дружелюбнее относился к действительности. В таком ярком лице, как Базаров, Тургенев скорей создал образчик радикала, по которому стали выкраиваться некоторые российские юноши, понявшие внешность Базарова, которую усвоить в самом деле легко. Когда Базаров был на бале у губернатора – он ничем не обратил на себя особенного внимания, если не считать «староватого фрака», в который он был облечен, потому, конечно, что не имел нового. Вообще фигура его не представляла ничего резко выдающегося; подражатели же его именно внешностью стали заявлять себя: они отрицали обыкновенные правила общежития, чистое белье, ножницы для волос, мыло для рук и лица, баню для всего тела и проч. Длинные волосы вдруг стали признаком нигилиста, как будто прежде никто длинных волос не носил; даже городовые узнали слово «нигилист» и на каждого мужчину с длинными волосами, особенно шершавого, указывали как на такового; в нравственном мире идей отрицание этих юношей было ничуть не страшно и едва ли шло дальше отрицания тех офицеров, которые, до известного строгого закона,

пользовались при всяком удобном случае клубничкой и насчет взаимных отношений полов между собой имели понятия самые свободные. В этом смысле нигилизм находился у нас давно, и кто читал что-нибудь о нравах наших предков во второй половине XVIII века, тот знает, что никогда нигилизм так не процветал, как в то время.

Я говорю, конечно, о посредственностях в молодом поколении, а не о людях умных и развитых: эти не имели нужды брать пример с Базарова, ибо обладали своим собственным кругом воззрений, который приближался к базаровскому лишь в том смысле, что стремился к «независимости от всего мелкого, пошлого, вялого и ложного»; весьма естественно, что они и к авторитетам относились критически, в чем ничего дурного я не вижу, особенно в настоящее время, когда иные авторитеты начинают заговариваться. И чем, в самом деле, гарантирует вас авторитет, что он не скажет какой-нибудь пошлости? Гете был гений, а пошлости говорил. Тут вовсе не отрицание авторитетов в силу того, что они авторитеты, а, напротив, широкое признание всякой разумной мысли, всякой истины, от кого бы она ни исходила. Ведь было бы крайне глупо не признать локомотива потому, что его построил вовсе не авторитет в науке, а человек, не умевший до 17 лет читать; было бы так же глупо не признавать бездны других изобретений, то есть практических истин, которые для современного человека должны быть очень дороги, и указанных людьми ремесла или скромными учеными. Что касается авторитетов в области умозрения, то разве есть хоть один из них, систему которого можно было бы принять целиком?.. Правда, были мальчики, которые легкомысленно называли дураками и подлецами людей весьма почтенных. Но я спрашиваю: потеряли ли что-нибудь от этого почтенные люди? Если они потеряли – значит, заслуживали того; если нет, то все обстояло благополучно, ибо мальчики, придя в возраст, одумались и устыдились...

Я не был в Америке, но, судя по тому, что я читал о ней, – Базаров сильно напоминает господствующее там типы. Оставляя в стороне его убеждения, которые, повторяю, разделять

невозможно, присутствие в нем силы характера, которою мы столь бедны, напоминает янки. Можно быть уверенным, что если американцы читают «Отцов и детей», то хвалят силу характера и независимость Базарова.

Таким образом, у нас, собственно говоря, никаких нигилистов не было, а было то же, что бывало всегда, то есть что молодое поколение шло дальше отцов и предъявляло к жизни большие требования. Убеждения вовсе не носили на себе особого клейма, особого мундира, а были разнообразны, как всегда.

Озлобление критиков на Тургенева, собственно, объясняется изобретенным им словом «нигилист». У нас слова постоянно играли большую роль и нередко ничтожное явление обращало на себя внимание, потому что оно являлось под определенным термином, и явление важное оставалось незамеченным, потому что оно не носило названия. Вспомните давнишние цензурные привычки, когда не пропускались в печать слова «свобода», «эманципация», «парламентаризм», «конституция». Слова исчезали, но мысль оставалась и проникала в публику. В новейшее время клички «сепаратист», «хохломан», «обруситель», «благонамеренный человек» играли и играют роль; хотя все эти клички не выдержат серьезного анализа, но для политического разговора они удобны, как готовая форма не сложившегося еще содержания. Еще детьми мы узнаем слово «бука». Что такое «бука» – кто его знает? – а страшно; бывало, трясешься весь, воображение рисует какое-то пугало, и спешишь натянуть одеяльце на глазенки. Клички, выдумываемые для запугивания взрослых, так же мало что-нибудь определяют, как мало уличная брань определяет характер и качества человека, к которому она обращена. Но они – сила в известное время, и понятно, что слово «нигилист» наделало немало беды. Сам изобретатель этого слова не скрывает тех последствий, которые оно породило: «Выпущенным мною словом “нигилист” воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтоб остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово, но как

точное и уместное выражение проявившегося исторического факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения – почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям – и, как бы подтверждая распространенные опасения, оправдали старания и хлопоты наших "спасителей отечества"... ибо и у нас на Руси проявились тогда "спасители отечества"».

В другом месте своего объяснения по поводу «Отцов и детей» г. Тургенев говорит: «Когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора – слово "нигилист" уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: "Посмотрите, что *ваши* нигилисты делают! Жгут Петербург!" Я испытал тогда впечатления хотя разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях; я получал поздравления, чуть не лобызания от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня: я хорошо знал, что я честно и не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу: я слишком уважал призвание художника, литератора, чтоб покривить душою в таком деле».

Тургеневу можно верить, ибо вся его литературная деятельность была посвящена на служение своей родине. То, что крылось в неясных намеках, то, что воспринято было только маленьким кружком передовых людей, в ярких образах, созданных Тургеневым, делалось достоянием читающей массы. Он опередил европейских романистов в создании типов, выражающих известный исторический факт вполне, со всею его историческою обстановкой, с причинами и последствиями. Будущий историк нашей цивилизации не обойдет его романов, потому что в них он будет в состоянии беседовать как бы с живыми лицами и они объяснят ему многое, чего не скажут ни официальные летописи, ни записки современников. Тургенев

у нас делал и делает то, что Шпильгаген[3] (с талантом которого у него много общего) в Германии: он пишет современную историю, но не как «дьяк в приказах поседелый», а как художник, стоящий на уровне современного развития. Про него нельзя сказать, что «он листа разумел лепетанье», но он давно понял и уразумел много такого, что только теперь начинают понимать европейские романисты.

Я ничуть не преувеличиваю значение Тургенева, которого у нас теперь ругает даже г. Краевский и которым в Европе занимаются первоклассные критики. Европа не поняла и не поймет значения «Мертвых душ», потому что это великое произведение рисует слишком русские типы, созданные не европейскою цивилизацией, а чисто нашими, коренными условиями жизни. Кроме того, непередаваемая прелесть языка и юмор составляют неодолимые препятствия – позволю себе так выразиться – для европейской акклиматизации этих произведений. Романы Тургенева, напротив, построены на европейской почве; они выражают преимущественно ту Россию, которая Европою питается и Европою возрастает; «веяния», захваченные русским романистом, – веяния европейские, а потому и типы, выставленные им, совершенно понятны европейским читателям. Этим я объясняю себе большой успех его романов за границей, независимо от художественного таланта и той степени развития, на которой не стоит ни один из современных наших писателей-художников. Последнее условие, конечно, очень важно для успеха таких романов, какие пишут Тургенев у нас и в Германии Шпильгаген, захватывающих все общественное движение, весь круг интересов, а не прозябающих только в одном роднике – любовном.

Мне кажется, попытки повалить Тургенева напрасны, и вотще восклицает один орган: «Наконец всем известно (?), что пьедестал, на котором стоял г. Тургенев, был разрушен (??) главным образом Добролюбовым»*. Тургенев совершен-

* Всем известно, что этот пьедестал весьма усиленно потрясал г. Антонович, но так и отошел, предпочитая сразиться с г. Зайцевым, которого и поборол с успехом. – *А. С.*

но справедливо говорит: «Статья Добролюбова *о последнем моем произведении перед “Отцами и Детьми” – о “Накануне”* (а он по праву считался выразителем общественного мнения), – явившаяся в 1861 году, исполнена самых горячих – говоря по совести – самых незаслуженных похвал». Немного выше он говорит: «Мои критики называли мою повесть “памфлетом”, упоминали о “раздраженном”, “уязвленном” самолюбии; но с какой стати стал бы я писать памфлет – на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя?» Базаров нарисован с «молодого провинциального врача Д. и подобных ему лиц». Так признается г. Тургенев, но я не видел бы большой беды, если б и в самом деле Базаров напоминал Добролюбова, – ведь Базаров прежде всего очень умный, оригинальный, независимый человек; ведь это не Волохов, в котором г. Гончаров изобразил не человека, а какое-то, с позволения сказать, чудище.

«Одна остроумная дама» по прочтении «Отцов и детей» сказала автору, что он сам нигилист. «Не берусь возражать, – замечает Тургенев, – быть может, эта дама и правду сказала». Дамы вообще скоры в приговорах, но не всегда основательны. Вся жизнь г. Тургенева слагалась именно так, чтоб ничего нигилистического в нем не было, и я удивляюсь, какая побудительная причина заставляет его под старость надевать этот истрепанный костюм. Хочет он сделать из себя очистительную жертву за все то, что наделало изобретенное им слово? Но никакие жертвы этого не искупят, да они и бесполезны с его стороны, ибо кличка так кличкой и останется, и с тем содержанием, которое придали ей «отцы отечества».

По поводу «Дыма» Тургенева и проч.

На Малом театре давали драматические сцены в 4-х действиях под названием «Дым», заимствованные из романа Тургенева. Первое представление пьесы, в бенефисе

г-жи Холмской[1], прошло с незначительным успехом, второе с успехом гораздо большим: пьесу почистили, посократили, актеры лучше знали роли и согласнее играли. Наш Литературно-артистический кружок один театральный критик, не из жестоких, упрекнул в постановке пьесы, переделанной из романа Тургенева. Не считаю это литературным преступлением. Русских новых пьес очень мало, т.е. порядочных русских пьес, а публика все-таки предпочитает русские пьесы иностранным, за немногими исключениями. Что же лучше: дать оригинальную, но плохую русскую пьесу или дать пьесу, составленную из романа знаменитого писателя? Я предпочту последнюю. Она все-таки напоминает о романе, о знаменитом писателе, она все-таки передает черты прожитого времени, подмеченные художником первоклассным.

Я очень хорошо понимаю, что роман трудно укладывается в драму и что хороший роман невозможно обратить в хорошую драму, но понимаю также, что попытки переделывать романы в драмы будут делаться постоянно, ибо соблазн слишком велик, соблазн перенести на сцену эти живые лица и живые страсти. То, что нас так волнует в романе, то, что сжилось с нами, кажется, так и просится на сцену, так и вылезает вон из книги и как будто уже шагает по сцене. А возьмитесь за эту обработку, возьмитесь с полной любовью к автору, и трудности являются на каждом шагу; даже чем больше переделыватель питает уважения к романисту, чем больше желает сохранить его текст, его слова, тем драма меньше обнаруживает движения и жизни. И это понятно. Роман свободен, как жизнь, а драма заключена в тесные рамки сцены, в тесные условия пространства, времени и действия. Шекспир распоряжался свободно драмой, и она у него так же широка, как роман; но, живи он в наше время, во время этих сложных «постановок», перемен декораций, он, быть может, отказался бы от драм и стал бы писать романы. Недаром же из нескольких десятков его драм и комедий не наберется и десяти вещей, которые можно поставить целиком, без уре-

зок, без искусственного соединения в одно место сцен, происходящих в разных местах и в разное время. Вы сами, читатель, с романом свободны, вы его читаете, когда и где вам угодно, вы прерываете чтение и возобновляете его. С драмой и вы, как зритель, несвободны, как несвободен драматург: извольте идти в театр, слушайте по команде, по команде отдыхайте, по команде садитесь, по команде вставайте и будьте готовы лишиться в значительной степени своей личности, своего *независимого* впечатления, ибо в театре вы невольно подчиняетесь другим зрителям, подчиняетесь друг другу, как происходит это с вами во всякой толпе.

Мне думается, что легче всего переделываются в драму плохие романы, если в них есть драматический сюжет и если за переделку возьмется человек, обладающий драматической техникой, и труднее всего переделывать хорошие и превосходные романы. Чем роман сложнее, чем больше он захватывает лиц и интересов, тем трудностей больше при перенесении его на сцену. Все это должны были испытывать авторы, переделавшие «Дым» Тургенева для сцены. Соблазн велик перед этими лицами, резко образованными, стреляющими остротами; как их выпустить из драмы, когда в романе они так интересны? Как пройти мимо остроумия, разбросанного в романе, сатирических выходок против большого света и против литераторов и общественно-литературного движения того времени? И вот драматурги отчасти берут это в драму, и в результате это оказывается лишним. Даже Потугин, играющий в романе значительную роль, в драме кажется тенью. В романе он говорит чрезвычайно много, он изображает собою самого Тургенева, его «западничество», он критикует славянофильство – и в этом его значение. В драме он говорит только об отношениях Литвинова к Ирине и Ирины к Литвинову да является в конце, чтоб сказать Ирине, что все «дым», сказать то, что Тургеневым вложено в уста Литвинову и что вообще есть бессмыслица, ибо дым есть следствие горения, признака горения, а не что-то самостоятельное. И не «дым» было все то, что описывал романист. Нечего говорить о тех

«вольностях», к которым драматурги должны были прибегнуть, чтоб влить роман на сцену. Его широкая струя сузилась, его общественное или, вернее, его историческое значение умалилось, но осталась интересная интрига, осталось несколько любопытных лиц и, если хотите, осталась довольно любопытная поверка настоящего прошлым.

Я смотрел драму и вспоминал это прошлое, прожитое мною, как и лицами романа. В нем много верных и ярких черт. Заметили ли вы, что все романы Тургенева, за исключением «Рудина», в котором указана смерть героя, именно 26-го июля 1848 г., в Париже, на баррикадах, т.е. точно указано время *окончания* романа, все другие романы, напротив, первыми строками указывают *начало* действия.

«Дворянское гнездо» (написано в 1858 г.) начинается с четвертой строки первой главы так: «Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… *(дело происходило в 1842 году)*, сидели две женщины»…

«Накануне» (написано в 1859 г.) начинается так: «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, *в один из самых жарких летних дней 1853 года,* лежали на траве два молодых человека»…

«Отцы и дети» (написаны в 1861 г.) начинаются так: «– Что, Петр? Не видать еще? – спрашивал *20-го мая 1859 года*, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим»…

«Дым» (написан в 1867 г.) начинается: «*10-го августа 1862 года,* в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известным “Conversation”, толпилось множество народа».

«Новь» (написана в 1876 г.) начинается: «*Весною 1868 года,* часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый».

Таким образом, в пяти романах описано время с 1842 по 1868 год, именно 26 лет. В известном смысле это – исторические романы, с несомненными чертами времени, нра-

вов, характеров, стремлений и с несомненными чертами умственного роста самого писателя. И вся эта история 26 лет есть история почти исключительно дворянская, с небольшой прибавкой того, что впоследствии стало называться «интеллигенцией». По романам Тургенева можно восстановить в памяти это время нашего шествия вперед, насколько оно отражалось в руководящих слоях общества, в «благородном сословии». Достоевский брал иные слои и довольно иронически относился к тем лицам и слоям, которыми вдохновлялся Тургенев. Там, где Тургенев терялся, где он не знал и не чувствовал пульса русской жизни, там стал его сменять Достоевский, а Толстой значительно закрыл и тургеневский мир дворянского общества своей «Анной Карениной». Помимо своего художественного значения эти три писателя – наши настоящие исторические романисты, наши, если хотите, Вальтеры Скотты. Ведь и история-то наша, самая дорогая наша история, давно ли она началась? «Капитанская дочка» Пушкина, «Война и мир» Толстого, его же отрывки из «Декабристов», «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова и затем романы Тургенева, Достоевского и Толстого. Вот последние полтораста лет нашей истории, и я скажу, конечно, великую ересь, но все-таки скажу ее: прочитав эти романы, один вслед за другим, в том порядке, который я наметил, прибавив к ним «Горе от ума» и «Ревизора», вы будете знать самое существенное из нашей истории гораздо лучше, чем по учебникам не только г. Иловайского, но и по другим, более совершенным, если таковые есть у нас. Мне всегда казалось, что наша история, история русского человека в преемственной связи поколений, история русских идей лучше выражена в этих художественных произведениях, чем в сочинениях исторических, из которых многие стоят не выше «Истории генералов», которую сочинил гоголевский Тентетников.

Поэтому и «Дым» есть маленькое звено в этой истории, именно маленькое, ибо «Дым» не из лучших романов Тургенева. Но он читался с любопытством и возбуждал

множество толков в обществе и литературных кружках. В Ирине Ратмировой видели одну знатную помпадуршу; говорили, что биография ее, рассказанная в романе, но в драму не попавшая, заключает в себе подлинные черты биографии помпадурши. Сцена генералов в Баден-Бадене, чуть-чуть вошедшая в драму, имела очень большой успех в тогдашней публике. Говорили, что Тургенев этой сценой мстил высшему обществу за те похвалы, которые он получал от него за «Отцов и детей». По словам самого автора «Дыма», он оскорбил этим романом «и правую, и левую сторону нашей читающей публики».

Драматическая сторона в романах Тургенева всегда незначительна. В «Дыме» драма почти отсутствует вовсе, и содержание его напоминает собою «Вешние воды». Лицо Ирины, конечно, значительно, но она гораздо ниже Анны Карениной по глубине характера и несколько напоминает собой кокотку, которая выгодно продается, но и не прочь лежать на груди своего Армана во время досугов от светских удовольствий, выездов и проч. Трезвую русскую публику нельзя поймать на крючок сочувствия такому женскому лицу, ибо публика понимала, что драматическое положение Ирины очень близко к комическому и тривиальному. И теперь чересчур длинная сцена 4-го акта прощания Ирины с Литвиновым (сокращенная со второго представления) вызвала в публике сатирические замечания вместо того, чтоб трогать ее. Трезвый драматизм есть только в отношениях Литвинова и его невесты, но и в романе, и в особенности в драме, лицо молодой девушки чуть только затронуто. Оно носилось перед Тургеневым в неясных чертах и осталось эскизным, но симпатичным.

Говорю все это именно по поводу упрека, обращенного к нам за постановку «Дыма». Ведь несправедливо же к частному театру относиться строже, чем к Императорскому, который поставил переделку «Дворянского гнезда» и у которого множество всяких преимуществ, начиная со средств и столетней фирмы, которая привлекает к себе все лучшее.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Признаки времени и Письма о провинции М. Салтыкова (Щедрина). СПб., 1869 г.

Имя г. Щедрина принадлежит к именам настолько талантливым современной русской литературы, что, без сомнения, займет в истории ее видное место. Начав свою деятельность губернскими очерками, он породил целую обличительную литературу, на поприще которой вышло вслед за ним многое множество писателей бездарных и несколько талантливых. Одно время журналы только и питали свой беллетристический отдел, что этою литературою; читатели бросались на нее с жадностью, находя в ней источник для благородного негодования и для содержания себя на высоте современных требований; но так как современные требования росли, а обличительная литература оставалась на точке отправления, выработавшись в своего рода искусство с особыми формами, приемами, красками, с известными восклицаниями и умолчаниями, то в читателях заметно стало являться к ней равнодушие; все бесталанное тотчас исчезло, талантливое, но не умевшее хорошенько оглядеться вокруг и найти точки опоры в более широких воззрениях, чем те, которые требовались для бичевания исправников и становых, тоже умолкло или приискало для своих питаний более подходящие сюжеты. Если репутация г. Щедрина не только не упала во время этого крушения обличительной литературы, но еще окрепла, значит, в его таланте была действительная сила, способная не на одно воспроизведение отживающих форм жизни и на предание их позору; сила эта заключалась в восприимчивости к новым идеям и требованиям, в бойком, несколько грубом юморе и в известной доле художественности.

Можно быть почти уверенным, что сравнение г. Щедрина с Кантемиром[1] многие найдут слишком смелым, и сме-

лым – совершенно несправедливо, – но в пользу г. Щедрина, на том единственном основании, что г. Щедрин не успел еще обратиться в классика; но нам это сравнение кажется весьма естественным и даже необходимым для указания того места, которое должно принадлежать г. Щедрину в истории русской литературы. В характере деятельности того и другого писателя и в их положении относительно современников много общего, как много общего между нашей эпохой и той, которая порождена была реформами Петра. Мы не думаем проводить пространной параллели, а только наметим главнейшие черты сходства и несходства. Общественные силы, как тогда, так и теперь, делились на два лагеря, весьма отличных друг от друга и друг с другом боровшихся то явно, то тайно: лагерь сочувствующих реформам и влияниям новой жизни и лагерь противников их; каждый лагерь, конечно, состоял из нескольких отделов, отличавшихся друг от друга не столько родовыми, сколько видовыми признаками. Типическое воспроизведение этих двух сторон общества с их видоизменениями составляло задачу Кантемира, бедного поэтическим талантом, но богатого образованием и известными твердыми, хотя и несколько узкими даже для того времени идеалами; ту же задачу взял на себя и г. Щедрин, богатый юмором и довольно бедный сколько-нибудь определенными идеалами. Перечитывая г. Щедрина, трудно составить себе точное понятие о его философии, о его положительных стремлениях, о той обработанной и непоколебимой почве, на которой, казалось бы, следовало стоять беллетристу-исследователю, каким он является в первых своих произведениях, и юмористу-сатирику, каким он является в последних. Оба, Кантемир и Щедрин, каратели «глуповцев», оба – произведения своей эпохи, но один приступает к своим глуповцам с ясным мировоззрением, с готовыми формами для мысли и образов, даже с определенной дозой одушевления и негодования; другой обладает одушевлением, заостренным бойким юмором, а потому более сильным, но без установившегося, глубоко продуманного политического или социального учения. Направляя

стрелы своего остроумия и юмора преимущественно на бюрократию, он почти так же без почвы, как и она; сознавая ее положение, он проникается к ней тем большею злостью, что чувствует сам в себе ту же беспочвенность. Кантемир верно и здравомысленно судит своих современников, стреляя из своей крепостцы неторопливо, усердно и долго прицеливаясь, тщательно взвешивая каждый заряд пороха и словно боясь, что лишний золотник поведет к разрыву орудия; он чувствует под собою твердую землю и действует, как исправный артиллерист, уверенный в своих познаниях, но не совсем уверенный в своем таланте; у г. Щедрина больше таланта, больше вдохновения, но он действует под впечатлением минуты, известных обстоятельств, даже личного раздражения и увлечения, и не жалеет пороха для своих глуповцев, особенно если убежден, что стрельба совершенно безопасна для самого артиллериста. Увлекаясь и раздражаясь, он иногда стреляет по пустому пространству, иногда принимает за грозного неприятеля невинных овец, как принял их за такового недавно один из наших генералов, «что-то покоривших», иногда преследует бегущих неприятелей с неудержимой злобой и хохотом, не проникаясь ни малейшею жалостью к побежденным, но чаще выстрелы его действительны и, метко попадая в одну и ту же толпу, производят в ней урон и некоторое смятение. Холостые заряды, однако, оправдываются смягчающими обстоятельствами: артиллерист не полный хозяин своей батареи и принужден иногда, скрепя сердце, наводить орудия вовсе не в ту сторону, где стоит действительный неприятель. Он и махнул бы по нем, махнул бы верно и метко, да заслоняет его нечто вроде того облака, которое заслоняло иудеев от фараона. Все сказанное нами легко было бы подтвердить цитатами из книги, заглавие которой выписано и которая заключает в себе последние произведения сатирика. Книгу эту можно считать квинтэссенцией щедринского юмора и сатиры; автор повторил в ней себя самого, переложил прежние образы в рассуждения, кое-что объяснил глубже, кое-что добавил, применяясь к росту общества. С этой книгою в руках можно приступить к г. Щедрину,

как с гидом, уразуметь его врагов и даже определить, конечно отчасти только, его мировоззрение.

В самом начале «Признаков времени и писем о провинции» есть фраза бабушки Татьяны Юрьевны, обращенная к внуку Николашеньке: «Попомни ты, свете, речь мою великую: не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши»; в другом месте той же книги есть другая фраза, произносимая г. Щедриным от своего лица: «Бывают положения, к которым нельзя относиться по произволу так или иначе, но ввиду которых делается обязательным именно то, а не иное отношение». Эти прекрасные правила можно было бы посоветовать всем нашим сатирикам особенно твердо памятовать; г. Щедрина мы тем менее можем исключить, что он вовсе не привык обуздывать своего юмора. Юмор – одно из самых капризных свойств писателя; он может быть глубок и мелок, меток и поверхностен; достоинства его настолько ценны, симпатичны и живучи, насколько широко и живуче развитие самого писателя; великие способности художественные могут подсказать часто то, что не дает никакое развитие, но сравнительно небольшие художественные способности требуют осмотрительности и вдумчивости. В жизни бездна комического: почти всякое явление можно рассматривать с этой стороны, но «можно» не значит «должно». В книге г. Щедрина есть один рассказ, который всего больше заставляет вспомнить слова Татьяны Юрьевны: «Не молви ты слова, языка твоего не прикусивши». Рассказ этот – «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя», возбудивший при самом своем появлении неблагоприятные для автора толки. Нашлись люди, которые позволили себе прямо упрекнуть автора в каждении бюрократии. Упрек этот очевидно нелеп в отношении к писателю, положившему лучшие силы свои отнюдь не в курильницу с ладаном; но упрек был заслужен, потому что автор направил свой юмор на такое явление, которое показало признаки разложения и некоторую несостоятельность не вследствие внутреннего своего бессилия и лжи, а вследствие таких же обстоятельств, которые ставят, например, современного сатирика в положение

довольно комическое и беспомощное. «Сеятели и деятели», как зло обозвал г. Щедрин земских людей, имели такое же право глубоко и основательно оскорбиться, какое имел бы современный сатирик, если б сказали ему, что он вертится, как белка в колесе, и говорит тоже о своего рода «попах, мостах и о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья». При помощи юмора не совсем трудно сатиру самого г. Щедрина свести именно к таким остроумным предметам, хотя такое отношение к деятельности даровитого писателя заслужило бы со стороны беспристрастного мыслителя строгий, но справедливый приговор. Все дело вовсе не в том, что сатирик хотел будто бы кому-то курить, а в том, что юмор его на этот раз был направлен не в ту сторону, в какую следовало его направить, и притом направлен в такое время, когда было вовсе не до смеху. Никакого умысла у г. Щедрина не было и даже не могло быть потому, что он человек искренний и честный; честность и искренность – те качества, которые заменяют ему отчасти не совсем определенную политическую и социальную почву и с которых он никогда не сбивается; встречающаяся иногда поверхностность и неглубина его юмора легко объясняется отчасти незначительною долею других качеств, на которые мы указали и которые совершенно необходимы для того, чтоб никогда не сходить с известной высоты, отчасти обстоятельствами внешними, совершенно не зависящими от автора. Оставляя эти последние в стороне, мы укажем еще на один признак, характеризирующий первые.

В настоящей книге г. Щедрин то и дело из области образов переходит на почву размышлений; пока он рисует, со свойственным ему юмором, признаки какого-нибудь существующего явления, вы чувствуете его силу; но иногда ему кажется этого мало, и он уходит в глубь явления, стараясь отыскать и объяснить породившие его причины: тут он и скрывается в непроницаемой тьме, уразуметь которую можно только разве при помощи особенного словаря и особенных примечаний, столь же длинных, как и самое рассуждение. То же самое приходится сказать и о некоторых картинах действительности, напр., об

очерке «Легковесные», в котором самое лучшее – заглавие. Происходит ли это в первом случае оттого, что причины явления ускользают от самого сатирика, способного схватывать ярко только результаты, а во втором от привычки к умолчаниям, намекам и аллегориям, – разбирать не станем: для нас в настоящем случае важен факт, который отрицать невозможно, и факт такого рода, что он через десять лет сделает чтение некоторых очерков и рассуждений г. Щедрина столь же затруднительным, как чтение иероглифов или по меньшей мере сочинений наших мистиков и масонов. Трудно ожидать, чтоб нашлись особые специалисты, которые взяли бы на себя труд объяснить намеки и аллегории, но, если б не нашлись они, потомство едва ли что-нибудь потеряет. Значение г. Щедрина вовсе не в этом тумане и в претензиях на глубину: туман останется туманом, а в глубину не все же в состоянии спускаться и выходить из нее невредимыми и целыми. Значение г. Щедрина – в искренности, в ясных, образных фигурах и юморе. При этом, однако, нельзя не заметить, что, несмотря на продолжительную деятельность нашего писателя, он не дал нам ни одного яркого, законченного образа, который был бы настолько значащ, что представлял бы собою целую страницу из современной истории, и настолько целен, что обратился бы в нарицательное имя. Образы, творимые г. Щедриным, обыкновенно как-то скоро блекнут и не заседают в голове на всю жизнь. Мы опять не станем разбирать, отчего это происходит – от недостатка ли художественных сил или оттого, что самая среда, из которой преимущественно черпает свой материал писатель, слишком машинообразна и слишком бесцветна, или оттого, наконец, что писатель, набрасывая свои очерки, постоянно старается выводить новые лица, которые, в сущности, отличаются от прежних только видовыми, а не родовыми признаками. Впрочем, последнее замечание говорит в пользу того, что г. Щедрин не достаточно обладает способностью к концепции характеров.

Мы должны поставить г. Щедрину на вид еще один недостаток его очерков – их растянутость, многоречивость, которая положительно мешает цельному впечатлению. Укажем

для примера на статью «Хищники»; это едва ли не лучше всего, что есть в настоящей книге, и даже один этот очерк, по глубине и верности мысли, стоит всех «Признаков времени» взятых вместе. Под именем хищничества сатирик разумеет одно из наследий крепостного права, выражающееся в произволе одних над другими, в преклонении перед грубою силою. Это, по его словам, «сила, которая движет нами, перед которою мы пресмыкаемся и раболепствуем, которую мы во всякую минуту готовы обожествить... Это единственная сила, притягивающая к себе современного человека, одно-единственное понятие, насчет которого не существует разногласия... Хищничество не внимает и не убеждается, но раздражается и наступает... хищничество идет дальше какого-нибудь презренного Картуша; оно грабит, разоряет и уязвляет и в это же время находит справедливым, чтоб в уязвляемом судьбой играло сердце. Оно любит видеть лица довольные, и если факты не соответствуют его ожиданиям, то укоряет в неблагодарности и нераскаянности. – «“Представьте себе, ведь еще вздумал упираться, гадина! – говорил однажды некоторый молодой хищник, рассказывая мне историю одной расправы с какою-то очень ничтожною и безызвестной козявкою. – Мы его, знаете ли, за волосы – так нет! Корячиться вздумал... клоп постельный”... Я взглянул хищнику в лицо: оно пылало таким искренним негодованием, что мне сделалось жутко. – “И он вас очень больно укусил.... этот клоп?” – спросил я не без волнения. – “Кто укусил? Кого укусил? Кто вам говорит, что укусил? – напустился он на меня. – Разве эта мерзость кусает? Ее нужно истреблять... потому... потому”... Он не мог докончить, потому что негодование сковывало его мысль, сдавливало горло и задерживало там приличные случаю выражения». Очерк этот написан со страстным одушевлением, и всякая строка его понятна без всяких объяснений; но автор нашел нужным руководить читателя и даже предостеречь его, чтоб он не применял написанного к той или другой общественной сфере, к тому или другому общественному классу. Предосторожность, по нашему мнению, совершенно напрас-

ная и только ослабившая разными вводными подробностями и повторениями целостность очерка.

То же самое должны мы сказать и о «Письмах о провинции», которых семь, но которые легко могли бы уместиться в три. Превосходные характеристики несколько разжижены и тут лишним многословием и даже повторением давным-давно сказанного самим г. Щедриным нисколько не хуже, если не лучше, чем теперь. Главный интерес этих писем сосредоточен на анализе трех групп провинциалов, которые г. Щедрин называет «историографами», «тонерами» и «складными душами». Впоследствии он прибавляет еще четвертую группу под именем «ненавистников», но, в сущности, это те же историографы, показанные только исключительно по отношению к одному факту, именно к 19 февраля 1861 года. Разделение провинциалов на эти группы произошло вследствие наплыва лиц судебного ведомства, «пионеров», которые отличаются деловитостью, скромностью и независимостью убеждений, качествами прежде не встречавшимися, по крайней мере в такой законченности, в провинции. «Историографы» – это те, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России и зиждителями ее судеб, и вдруг это их мнимое право оспаривается. Историографы, не обладающие ни образованием, ни начитанностью, никакими видными качествами, поднимаются именно во имя своего ничтожества и зависти и начинают действовать, «отчасти лганьем, отчасти клеветою»: «Пионеры» – постепеновцы, то есть люди, верующие, и совершенно рационально, в преуспеяние отечества путем постепенных реформ, и таких-то людей «историографы» обвиняют в нигилизме, коммунизме, в стремлении произвести революцию даже внешними формами, гуманным обхождением, скромным образом жизни, отсутствием стремления «бить подсудимых по скулам и сгибать их в бараний рог». Но главное страшилище их, представляемое тонерами, это – законность, «тот многоглавый минотавр, с которым сей новый Тезей искони ведет неустанную борьбу, и ведет далеко не безуспешно»... Ненавистник, как мы уже сказали, только

видоизменение историографа, жалкое, почти помешанное от злобы существо на великую крестьянскую реформу. «Он всякую народную беду готов приурочить к 19-му февраля, потому что в дурацкой его голове нет ни одной мысли, кроме мысли об обиде, нанесенной ему этим ужасным для него числом.... Ненавистники не вздыхают по углам, не скрежещут зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свете дня и на всех диалектах изрыгают хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возражений, сулят окончить в самом ближайшем времени с тем, что они называют "гнусною закваскою нигилизма и демагогии" и под чем следует разуметь отнюдь не демагогию и нигилизм, до которых ненавистникам нет никакого дела, а преобразования последнего времени». Это явление замечается, как известно, и в столице, на него обращала внимание вся журналистика, но г. Щедрин охарактеризовал его такими крупными, такими бесподобными чертами, что после него сказать нечего. Резюмируя все толки о пьянстве, исходящие от историографов, г. Щедрин говорит: «Представьте себе страну, которой жители поголовно пьяны, в которой господа с утра до ночи пьют мадеру, а рабочий и прочий "подлый" народ сивуху, – какое будущее может ожидать такую страну? Представьте себе: в этой стране есть правосудие, но оно отправляется в пьяном виде; есть армия, но она защищает отечество в пьяном виде; есть администрация, но она распоряжается в пьяном виде; есть, наконец, администрируемые, но они повинуются в пьяном виде... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, как плоская и невероятная шутка, что это нелепо-волшебное представление, в котором неожиданности и сверхъестественности превращений дозволено заменить здравый смысл, – да, это так, это действительно наглая и смеха достойная шутка; но таков именно фон той картины, которую всласть рисуют перед нами губернские историографы».

«Письма о провинции» имеют еще одно достоинство по отношению к характеристике самого писателя. Мы сказали вначале, что невозможно уловить у г. Щедрина определенного мировоззрения: только что успеешь подумать, что он вот

что, как через несколько страниц приходишь к убеждению, что ошибся. В «Письмах о провинции», подписанных в «Отечественных записках», где они первоначально были напечатаны, псевдонимом «Гурин», напротив, воззрения г. Щедрина являются в довольно определенном виде: тут он просто защитник реформ, их сущности и широкого применения к жизни, и во имя одного этого принципа он бьет историографов, ненавистников и складные души (под этим термином он разумеет людей без убеждения, перебегающих от пионеров к историографам и наоборот и кончающих тем, что оба лагеря их отвергают). Нам кажется, что тут-то именно и скрывается настоящий, искренний Щедрин. Если же в других произведениях он является с физиономией менее определенною, то это происходит от большого запаса юмора, который не сдерживается вследствие честного чувства против реакционных замашек и бьет иногда, недостаточно разбирая кого. Но неопределенность все-таки существует и все-таки мешает сатире быть совершенно ясною; легкий скептицизм, не совсем удобный в наше все измеряющее и взвешивающее время, старается замаскироваться в нечто такое, что будто бы весьма далеко идет, дальше, чем все другие, и не замечает, что производит карикатуру и шарж, даже фельетон, действие которых скоропреходяще, как веселость после хорошего обеда.

Историческая сатира

(История одного города по подлинным документам, издал М. Е. Салтыков (Щедрин). СПб., 1870.)

По-видимому, нет ничего легче, как дать себе отчет о произведении писателя, талант которого окреп и вполне определился и имя пользуется известностью наравне с лучшими именами нашей литературы. Но последнее произведение г. Салтыкова в читателе внимательном порождает некоторые недоумения, разрешить которые не совсем легко. «История

одного города» по замыслу есть нечто новое, есть попытка на новом поприще, на которое г. Салтыков еще не выходил: он пробует свои силы, если можно так выразиться, в исторической сатире, то есть ищет для себя образов в прошлом, не особенно далеком, что не лишает его произведение некоторого современного значения, потому что, несмотря на несомненный прогресс в нашей жизни, и более отдаленное прошлое в некоторых чертах сохраняет еще для нас интерес современности: достаточно указать на сочинение Флетчера: «О государстве русском», явившееся в XVI-м столетии; оно так глубоко указало на причины наших недугов, что некоторые страницы его смело могут быть вставлены в современную публицистическую статью и ни одному читателю не придет в голову, что это не мысли современного автора, а голос просвещенного, дальновидного политика-англичанина, умершего двести шестьдесят лет тому назад. Г. Салтыков берет своих героев из второй половины прошлого века и первой четверти настоящего; естественно, что в этом пределе он мог выбрать весьма рельефных героев, которыми вообще так богат был XVIII-й век; если б какому-нибудь из наших теперешних талантливых поэтов пришла охота *перевести* сатиры Кантемира звучными ямбами, то можно поручиться, что они возбудили бы живой интерес, потому что содержание их далеко не вымерло; но современный сатирик, который решился бы добросовестно изучить эпоху, непосредственно следовавшую за Кантемиром, во всех ее подробностях и изобразить ее в ярких картинах, был бы, конечно, в положении гораздо лучшем, чем «переводчик» Кантемира; сообразив все это, г. Салтыков, конечно, принял во внимание и большую свободу творчества, предоставляемую условиями нашей печати для писателей, уходящих, так сказать, в глубь веков. Таковы были выгоды положения сатирика.

Если бы он приступил к своему предмету прямо, никаких недоумений, о которых мы упомянули, могло бы и не существовать; но ему захотелось почему-то усложнить свою задачу и выразить в предисловии те цели, которые имел он в виду. Одна из них – историческая сатира, как мы уже сказали, за-

ключенная, однако, в довольно узкие рамки, ибо автор желает только «уловить физиономию города (Глупова) и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах». Другая цель, как то можно судить по некоторым прозрачным намекам того же предисловия, – сатира на метод историографии, которого придерживаются гг. Шубинский, Мельников и др.[1]: имена эти г. Салтыков приводит. По-видимому, с этою целью он рекомендует себя только издателем «Глуповского летописца», заключающегося в большой связке тетрадей, найденной им в глуповском городском архиве. «Летописец» веден четырьмя архивариусами с 1731-го года по 1825-й г., и содержание его «почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательных их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т.п.». Для большей ясности своей цели автор прибавляет, что он «только исправил» тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. «С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это уже одно может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче».

Прочитав одно предисловие и не приступая еще к самой книге, можно подумать, что это – просто шутка, смех для смеха, потому что странно было бы писать целую книгу с той между прочим целью, чтоб осмеять разных невинных компиляторов, которые в конце концов все-таки приносят свою долю пользы. Но, познакомившись с содержанием целой книги, по временам видишь, что г. Салтыков как будто и в самом деле не упускает из виду пародий, и вследствие того становится трудно отделять те взгляды, которые сатирик может считать своими в качестве бытописателя, от взглядов мнимых его архивариусов. Правда, тон пародии нигде не вы-

держан, «грозный образ М. П. Погодина» нимало не преследует сатирика, и он является самим собой, со своей манерой, со своим давно известным юмором, со своим остроумием, со всеми своими достоинствами и недостатками. Вообще в «изложении», в художественных приемах нет и запаху каких-нибудь архивариусов, но в «воззрении» на некоторые исторические явления и на главнейший фактор их – народ, слышатся иногда архивариусы, преисполненные бюрократического достоинства и чиновничьего миросозерцания. Так и думаешь, что это пародия, и ждешь подтверждения своей догадке, но сатирик спешит вас разочаровать и повергнуть в новое недоумение. Написав половину книги, он заметил, что архивариусы уж слишком выступают вперед и заслоняют собою просвещенные понятия и дальновидную историографическую зрелость невыдуманного автора, а потому он счел нужным оговориться; но вы ошибетесь, если подумаете, что он, в качестве историка-сатирика, чувствующего себя стоящим неизмеримо выше гг. Шубинских и компании, подвергнет критике мнимого «Летописца», укажет ему надлежащие границы и, осудив его узкую мерку, которою он мерит события, воспользуется этим, чтоб высказать свой собственный, просвещенный и современный взгляд; совсем напротив: сатирик берет под свою защиту архивариусов (стр. 155–157) и со свойственным ему остроумием доказывает, что сама правда говорит устами их, как ни грустна начертанная ими картина, и что глуповцы иными и не были и быть не могли в силу исторических обстоятельств, как такими, какими изобразили их архивариусы, особенно если принять во внимание, что «“Летописец” преимущественно ведет речь о так называемой черни»; но несколько страниц далее мы видим, что архивариус ничуть не лучше трактует и об интеллигенции... Стало быть, это не пародия, стало быть, сатирик готов подписаться под взглядами архивариусов, или он опять шутит, беззаботно смеется и над архивариусами, и над читателем, и над господами Шубинскими? Читаете дальше, и перед вами возникает новый вопрос: не захотел ли г. Салтыков насмеяться и над

самим собою? Подобное самоотвержение редко посещает авторов, но все-таки бывает...

Вот те недоумения, которые порождает в нас книга г. Салтыкова; явились ли они в ней вследствие неудачного литературного приема и двойственности цели или неясности для самого сатирика причин исторических явлений? Так как эти недоумения преследуют читателя через всю книгу, то это мешает ее цельности, ее впечатлению на читателя, путает его относительно воззрений автора на события и лица и смешивает его личность с изобретенными им архивариусами. Путанице этой способствует поверхностное знакомство автора с историей XVIII-го века и вообще с историей русского народа. Для того, чтоб изобразить эту историю хотя бы в узкой рамке одного города Глупова, для того, чтоб глубоко верно и метко представить отношение глуповцев к власти, и наоборот, для того, чтоб понять характер народа в связи с его историей, надобно или обладать гениальным талантом, который многое отгадывает чутьем, или, имея талант далеко не великий, долго и прилежно сидеть над писаниями, положим, тех же архивариусов. Иначе, без изучения, можно впасть в ту же грубую ошибку, в какую впадали некоторые иностранцы, посещавшие Русь в XVI-м веке и говорившие, что «русским народом можно управлять, только запустив в их кровь по локоть руки». Г. Салтыков, конечно, не говорит ничего подобного, и ничего подобного и в намерении иметь не может, но его глуповцы так глупы, так легкомысленны, так идентичны и ничтожны, что самый глупый и ничтожный начальник их является существом высшим, равного которому из среды себя глуповцы не могли бы представить. В читателе естественно рождается мысль, что глуповцы должны благодарить Бога и за таких начальников... Хотел ли это сказать г. Салтыков, или это вышло против его воли, или все это он шутит, все беззаботно хохочет, желая во что бы то ни стало потешить просвещенных соотечественников и на счет начальства, и на счет его подчиненных, так чтоб не было обидно ни тем, ни другим?.. Вопрос любопытный для характеристики нашего сатирика, но решение его затруднительно.

Мы уже сказали, что невозможно ясно разграничить мнения сатирика от мнений архивариусов, и если взяться за этот труд, то он уж потому окажется бесплодным, что иногда речи, вложенные сатириком в уста архивариусов, отличаются и метким остроумием, и даже глубиною, тогда как мнения, принадлежащие, по-видимому, самому сатирику, не отличаются ни тем, ни другим. Прочтите, напр., следующее принадлежащее архивариусу сравнение истории Глупова с историей Рима: «В Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники». Очевидно, что тут даровитый сатирик сидит в архивариусе, тогда как в других – архивариус влезает неизвестно зачем в сатирика. Наконец, есть и такие места, где нет ни сатирика, ни архивариуса, ни историка, а есть просто человек, старающийся вас позабавить во что бы то ни стало и являющийся перед вами без всякой руководящей идеи. Что делать критике при этой путанице? Писать ли комментарии к «Истории одного города», прозревать ли в ней то, чего нет, отделять ли личность сатирика от личности архивариуса или принять, что перед вами цельное лицо автора, в котором все эти противоречия слились в силу каких-либо исключительных законов гармонии?

Мы избираем средний путь, и прежде всего проследим в «Истории одного города» действия градоначальников и подданных и посмотрим, кто кого лучше. Нас не задержит это долго, потому что от подробного разбора избавляет нас предисловие, где в сжатых, остроумных выражениях резюмируется большая часть книги и главнейшая ее сущность. Читатели не забыли, что «Летописец» почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников; эти чиновники были таковы: «Градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою (?). Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями ци-

вилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых, и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости». Итак, главные, если не единственные, занятия градоначальников – сеченье и взыскание недоимок; традиция эта унаследована ими от самых древнейших времен, со времени призвания глуповцами к себе князей, что сатирик рассказывает в особом очерке «О корени происхождения глуповцев», очерке слабом, неостроумном, не возбуждающем даже улыбки, хотя автор очевидно рассчитывает на читательский смех, наполняя свое сказание якобы смешными словами вроде «моржееды», «лукоеды», «гущееды», «вертячие бобы», «лягушечники», «губошлепы», «кособрюхие», «рукосуи» и проч. – так именуются независимые племена, жившие в соседстве с глуповцами, или «головотяпами», как они первоначально назывались; назывались же они так потому, что «имели привычку *тяпать* головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется – об стену тяпают; Богу молиться начнут – об пол тяпают». Это «тяпанье» уже достаточно говорит о душевных, прирожденных качествах головотяпов, развившихся в них независимо от князей, а, так сказать, на общинной воле, на вечах; неизвестно почему идут глуповцы искать себе князя глупого, но нечаянно наталкиваются на умного, который переименовал их в глуповцев и при первом бунте, который они устраивают, выведенные из терпения притеснениями наместника, является к ним собственною персоною и кричит «запорю!» «С этим словом, – замечает сатирик, – начались исторические времена».

Таким образом, первое и последнее слово в истории Глупова – сеченье, предпринимаемое в особенности для сбора

недоимок. Градоначальники с этой целью устраивают целые походы: один из них так поусердствовал, что «спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною»; другой «стал сечь неплательщика, думал преследовать в этом случае лишь воспитательную цель и совершенно неожиданно открыл, что в стене у секомого зарыт клад. Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок». Все это и остроумно и метко бьет.

Что касается субъективных особенностей градоначальников, то в этом отношении мы находим мало разнообразия: все они более или менее похожи друг на друга; главное отличие их заключается в том, что одни буйны, другие – кротки, одни отличаются необыкновенной энергией даже в подавлении мнимых бунтов, другие, напротив, предоставляют глуповцам более или менее самоуправления. Подробную характеристику градоначальников историк-сатирик начинает с 1762-го г., когда в Глупов был прислан на градоначальничество Дементий Варламович Брудастый, который выразил свою программу следующими словами: «натиск и притом быстрота, снисходительность и притом строгость»; при нем «хватали и ловили, секли и пороли, описывали и продавали» до тех пор, пока не оказалось, что у градоначальника вместо головы был органчик, сделанный Винтергальтером и выговаривавший два слова: «разорю» и «не потерплю». Этих двух слов оказывалось достаточно для управления глуповцами, народом, в сердцах которых все градоначальники, «как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память». К несчастию, местный механик не мог исправить органчика, когда он испортился, и Брудастый принужден был отправить голову для исправления в Петербург; при доставке ее обратно в Глупов ямщик, услыхав, что голова отчетливо произнесла «разорю», выбросил ее в ужасе на дорогу, и с этого времени началось в Глупове безначалие и явились самозванки: Ираида Лукинишна Палеологова, Клемантинка, Амалька, Дунька и Матренка. Все эти самозванки овладевали властью и истребляли друг друга, так что осталась, наконец,

одна Дунька-толстопятая, которая вместе с Матренкой делала дела поистине удивительные: «они выходили на улицу и кулаками сшибали головы проходящим; ходили в *одиночку* на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова». Картина поистине нелепая, лишенная не только остроумия, не только реальной, но и фантастической правды. Но она делается еще нелепее, безобразнее и бессмысленнее по тем последствиям, которые произвела: глуповцы обезумели от ужаса и стали истреблять друг друга, потом утопили Матренку-ноздрю, но с Дунькой решительно совладать не могли. «Был, по возмущении, день шестый, – острит сатирик, – глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный и беспримерный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные». Это глуповцы называли «очищением», после чего объявили против Дуньки всеобщее ополчение, но покорить ее все-таки не могли: победили ее клопы, заевшие ее насмерть. Прочитавши весь этот вздор, наполненный похождениями неестественных баб и девок, картинами вроде вышеприведенной, словами вроде «паскуда», невольно спрашиваешь себя: что это такое, для чего это написано – для забавы и смеха, рассчитанных на читателей, снисходительных к здравому смыслу, к художественной правде и неразборчивых на юмор, или в самом деле сатирик-историк полагал, что все это имеет реальное отношение к тому, что совершалось в «высших сферах» и что отражалось в Глупове, как в малом зеркале? Напрасно, однако, станем мы искать в истории XVIII-го века что-нибудь подобное, и если г. Салтыков видит в этой истории нечто подходящее, то он должен все-таки согласиться, что он написал уродливейшую карикатуру, и что в ряду словесных произведений карикатура занимает низшее

место, чем сатира, и что даже карикатура имеет свои пределы, за которыми она делается просто вздором.

Один из следующих очерков – «Голодный город» – несравненно лучше: тут немало метких замечаний о беспомощности жителей против буйства начальников и о той удивительной поспешности, с какою являются военные команды усмирять совершенно смирных обывателей, кажущихся, однако, начальническому глазу бунтующими, и чем кривее этот глаз, чем ограниченнее рассудок и чем больше склонности к самодурству у подобных начальников, тем чаще эти мнимые бунты и тем более возов розог истребляется на мужицкую спину. Но этому очерку, как и последующему («Соломенный город»), где есть картина пожара, написанная рукою настоящего художника-мастера, положительно вредят бабы и девки, которых напускает в свои произведения г. Салтыков в излишнем количестве, без нужды, и занимается ими слишком прилежно, мы готовы даже сказать: с любовью, поистине необъяснимою. Герой этих очерков, градоначальник Фердыщенко, заводит себе помпадуршу* в лице посадской жены Алены, потом какой-то общественной бабы Домахи, из-за которых глуповцы начинают враждовать с градоначальником, по причинам не совсем ясным и даже, можно сказать, фантастическим, что, однако, навлекает на них немало бед, ибо, как уже сказано, Фердыщенко постоянно прибегал к помощи военной команды, которая упадала как снег на голову бедным глуповцам даже тогда, когда они ожидали от высшего начальства благодарности за свое благонравие и долготерпение. Фердыщенке посвящен еще третий очерк, где описывается его «фантастическое» путешествие кругом города Глупова; по нашему мнению, очерк этот

* Слово «помпадурша» не есть изобретение г. Салтыкова, а употребляется у нас издавна, еще со второй половины XVIII-го века. Так, мы находим в «Записках» дядьки великого князя Павла Петровича, известного С. А. Порошина, под 29 октября 1765-го г., следующую строку: «Помпадурша наша очень хорошо вчера была одета». Помпадурша эта – тогдашняя красавица Вера Николаевна Чоглокова, в которую влюблен был одиннадцатилетний великий князь («Запис. Порошина», стр. 481. – «Семен Андреевич Порошин», статья г. Семевского в «Рус. вест.» 1866 г., август). – *А. С.*

один из слабых, ровно ничего не говорящих; между тем как в «высших сферах» происходило действительно сказочное путешествие в Крым, обставленное такими декорациями, которых ни один декоратор ни прежде того, ни после произвести не был в состоянии, ибо для этого затрачены были миллионы, путешествие это могло бы представить прекрасный материал для сатирического изображения, тем более уместного, что все описатели его восхищались им и оно перешло в предание, как очаровательная сказка, тогда как на самом деле оно дышало невообразимой нескладицей. Другой фантазии того времени – завоевания Византии – г. Салтыков тоже коснулся, и довольно остроумно («Войны за просвещение»), хотя, по правде сказать, сюжет этот достаточно исчерпан. Была другая фантазия, более дикая и нелепая, взлелеянная всесильным Платоном Зубовым после 1793-го года; фантазия эта сохранилась в собственноручных набросках знаменитого временщика: разграничив Европу, он присоединял к России все пространство до устьев Эльбы на севере и до Триеста на юге и назначал несколько российских столиц, в которых государи должны были жить по нескольку месяцев в году, эти столицы были: Петербург, Москва, Ярославль, Астрахань, Берлин, Гамбург, Вена и еще что-то; извращенная фантазия и невежество всесильных россиян того времени не останавливались ни перед чем, подкрепляемые беглыми маркизами и другими представителями старого режима, устремившимися в Россию, как в землю обетованную.

Мы почти исчерпали все то, что нашел г. Салтыков для своей сатиры во второй половине прошлого века, и читатели не могут не видеть, что замечено им крайне мало, если не предположить, что город Глупов уж такой несчастный, что в нем не отражалась и сотая доля того, что происходило в «высших сферах». В самом деле, мы вовсе не видим главнейших явлений екатерининского времени. Где те ничтожности, которые попадали на «высоту честей» по щучьему веленью, где эти баре-философы, эти волтерьянцы и энциклопедисты, которым все это не мешало изнурять народ, обкрадывать казну, развращаться до мозга костей и развращать других, подкапываться

друг под друга и рабски ползать и дрожать перед мальчишками, внезапно надевавшими генерал-адъютантский мундир? По нашему мнению, это ползанье высших поучительнее дрожания темной массы перед возами розог. Где тот наглый разврат, заменивший слово «любить» словом «махаться» (см. «Живописец» Новикова[2]), сделавший из женщин цинических амазонок и смешавший полы; где этот сенат, не имеющий у себя географической карты России и не знающий суммы доходов и расходов; где многоглаголивый «Наказ», списанный с Монтескье и др., явившийся таким блестящим фейерверком и лопнувший в пространстве, как неудавшаяся ракета, не оставляющая после себя искристого хвоста, но на минуту смутившая и встревожившая обывателей и градоначальников; где тот страшный Пугач, тот зловещий ворон, который заставил трепетать как «высшие сферы», так и градоначальников, которые забыли все мероприятия относительно подчиненных и заботились только об одном мероприятии – спасти собственную свою персону, для чего вымаливали иногда прощение у баб и мужиков и валялись в ногах у самозваных «енаралов», познавая всю тщету своего градоначальничества; где эти выскочки, чудесным образом вылетавшие в люди, с гордостью носившие свой позор и даже возбуждавшие к себе зависть в других; где эти лейб-кампанцы, игравшие роль преториянцев, возмущавшие и бунтовавшие (см. описание их бунтов у Манштейна[3]); где такие градоначальники, как Прозоровский[4], допрашивавший масонов, и о котором Лопухин оставил нам драгоценные страницы, блещущие юмором тем более ярким, что он выливался в допросах градоначальника искренно и наивно; где чудеснейший прототип всех тайных дел мастеров, начиная с грубейших и кончая изящнейшими, – Шешковский[5], «помаленьку кнутобойничавший» и совершавший экзекуции иногда над важными дамами с патриархальной простотой: пришел, взял и высек; пришел со своими архангелами прямо в спальню, взял даму с ложа и тут же, в присутствии оторопевшего мужа, отсчитал положенное количество по приказанию светлейшего князя Григория Александровича[6]. Что за время было

чудесное! Чтоб арестовать Новикова, посылают чуть не целый полк, и для чего? – для того, конечно, чтоб показать «авторитет власти», чтоб каким-нибудь образом беззащитный журналист не нанес ущерба ее достоинству, тогда как один квартальный весьма удобно мог совершать этот немудреный подвиг. А когда действительно приходилось показать «авторитет власти», когда государство, созданное могучею волею великого Петра, когда зачатки просвещения, им насажденные с таким трудом, были угрожаемы со стороны поднявшейся казачины под предводительством беглого каторжника, marquis de Pugatchef*, как называла его Екатерина в письмах к Вольтеру, когда эта серьезная опасность встала под ореолом Императора Петра III, – «авторитет власти» вдруг пал, вдруг оказался до того бессилен, до того презренен, что нам, читающим теперь историю того времени, могло бы показаться это невероятным, если б и на наших глазах не совершались такие же чудеса, т.е. показывание «авторитета власти» над бессильными, никому не опасными «вольнодумцами» и падение в грязь, когда этот «авторитет» сталкивается с сильным врагом (просим припомнить поучительную историю Наполеона III, великого полководца в кампаниях против мнимых заговорщиков). И ничем подобным г. Салтыков не воспользовался, ничем подобным не вдохновился, не взял изо всего этого ни одной черты, ни одного типа. Нам могут возразить, что мы напрасно вопрошаем г. Салтыкова о том, чего он не сделал, вместо того чтоб ограничиться разбором того, что он сделал. Но в этом случае мы вправе вопросить даровитого сатирика, ибо он взялся за сатиру историческую и как бы вступал в конкуренцию с тем, что сделано до этого тогдашними литераторами. Разумеем сатирические журналы Новикова, некоторые строфы Державина, «Вадима» Княжнина, «Недоросля» и мелкие сатирические статьи Фонвизина, как, напр., его «Придворную грамматику», которая по остроумию и смелости едва ли не выше «Мыслей о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем», которые заставляет г. Салтыков сочинять одного

* Маркиз де Пугачев (*фр.*).

из своих градоначальников, Бородавкина («Мысли» эти, впрочем, блещут остроумием); к этому следует прибавить другие сатирические журналы, напр., «Почту духов» и книгу Радищева, в которой недостаток таланта и слога выкупается ярким сатирическим содержанием, а местами и одушевлением. Как вы хотите, чтоб, читая сатиру на вторую половину прошлого века, мы забыли то, что сделали для нее тогдашние писатели? Как вы хотите, чтоб мы не указывали сатирику тех фактов, которые просятся в сатиру и которые так удобны для нее и так живучи? Если он говорит о прошлом, если он рисует жизнь, сделавшуюся достоянием истории, мы вправе указывать на то, чего он не сделал. Правда, есть у него кое-какие намеки, но такие отдаленные и такие путанные, что необходим весьма подробный комментарий к ним, который никем иным не может быть составлен, как самим автором, ибо отгадать его намеки не в силах человеческих. Хотел он, напр., изобразить переход от либерализма к реакции, и в результате вышло только глумление над глуповцами.

Бедные эти глуповцы! Читатели видели отчасти, как третирует их сатирик, какою благодарностью пылают их сердца, по его уверению, даже к буйным начальникам; но мы не показали еще всего. «Глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный» (должно быть, сеченьем); глуповец руководится «не разумом, а движениями благодарного сердца»; Глупов – город «беспечный, добродушно веселый». «Ежели посудине велят кланяться, – рассуждает глуповец, – так и ей, матушке, поклонись», и при этом, замечает сатирик, «их волнует только одно сомнение, как бы казне не было убытка, если станут они кланяться посудине». «Ежели нас теперича всех в кучу сложить, – рассуждает опять глуповец, – и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не вымолвим. Нам терпеть можно, потому мы знаем, что у нас есть начальство». Спрашиваем всякого беспристрастного человека – не идиотские ли это мнения и где, в какой трущобе подобные мнения можно услышать? Где этот город Глупов, населенный такими идиотами? Или он не знал борьбы с притеснением, или он не

бегал от злоупотреблений власти, или он не восставал против нее со страшною местью при Разине, при Пугачеве, или он не умел хитро и ловко провести ее, как провели ее раскольники? Должно быть, Глупов где-нибудь с краю...

Но положим, что Глупов пассивно, а иногда даже с «благодарным сердцем» переносил весь гнет, которым угнетали его «буйные» градоначальники; положим, что глуповцы действительно способны были кланяться посудине и ни единого слова не промолвить, если б их сложили всех в кучу и запалили со всех четырех концов. Страх – великое дело, он отнимает разум даже у разумных и парализует энергию сильных; чтоб составить себе определенное понятие о человеке, надо посмотреть, как живет он при обстоятельствах благоприятных, в счастье и довольстве. Оказывается, что такое наблюдение можно произвести и над глуповцами, ибо и у них были кроткие градоначальники, между которыми нельзя не упомянуть без особенной благодарности о некоем Прыще, имевшем вместо обыкновенной фаршированную голову, что и было потом открыто, и голова эта съедена с большим аппетитом предводителем дворянства. Но прежде, чем это случилось, глуповцы успели насладиться покоем, ибо фаршированная голова оказалась несравненно пригоднее для развития самоуправления у глуповцев: Прыщ позволил им жить, как они хотят, и даже громогласно объявил, что в невмешательстве в обывательские дела и заключается вся сущность администрации. Конечно, впоследствии, при крутых обстоятельствах, которые опять настали, глуповцы часто повторяли: «Ах, если б все градоначальники были с фаршированными головами!» Без сомнения, они заблуждались, потому что и так бывает часто, что именно градоначальники с головами, во всех отношениях похожими на фаршированные, более всего и мешают самоуправлению, но при Прыще было наоборот, и глуповцы сильно стали поправляться. Последующие начальники, хотя и не отличались благодушием фаршированного, но были люди веселые, незлые, любящие наслаждения и иногда похвалявшиеся и либерализмом. И что ж? Глуповцы «изнемогли» под бременем

своего счастья и забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальниками, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежим им «по праву», и «стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем», а когда тогдашние обличители начали греметь против этого, глуповцы говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим – тот же хлеб будет». Засим неизвестно для чего, а только по свойственной им глупости, они стали строить башню до небес и не выстроили ее только за недостатком архитекторов, но зато они наверстали на других безумствах: «забыли истинного Бога и прилепились к идолам», вытащили из архива старых богов Перуна и Волоса и, собрав сходку, порешили на ней: знатным обоего пола особам покланяться Перуну, а смердам – приносить жертвы Волосу. Глядя на все это из окна своего дома, тогдашний градоначальник Дю-Шарю кричал: «Sont-ils bétes! Dieux des dieux! Sont-ils bétes ces moujiks de Gloupoff!»* Развращение нравов шло crescendo, началась всеобщая гульба, и глуповцы «мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля».

Кажется, этого было бы довольно; уж достаточно унижен бедный глуповец, достаточно низведен до бессмысленных скотов. Нет, наш сатирик так высоко парит, что глуповцы кажутся ему презреннее мух, которые только и дела делают, что гадят и любовью занимаются. И действительно, стали они ни на что не похожи с водворением у них градоначальника Эраста Андреевича Грустилова, когда ко всей прежней распущенности прибавилась еще заграничная зараза. «Влияние кратковременной стоянки (глуповцев) в Париже оказывалось повсюду... Явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось "ездою на остров любви". Представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы *езды на остров любви*». Жить было лег-

* Какие дураки, клянусь богом! Какие дураки эти глуповцы! (*фр.*).

ко, потому что представители интеллигенции «чувствовали себя счастливыми и довольными и не хотели препятствовать счастью и довольству других»; «эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам... Смерды наполняли свои желудки жирной кашею до крайних пределов», предались многобожию, стали поклоняться Волосу и Яриле, «но в то же время намотали себе на ус, что если долгое время не будет дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и сорвать на них свою досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял. Общество, во всех разнообразных слоях своих, начиная *от магнатов интеллигенции до самого последнего смерда,* предавалось ему с упоением». Развращенные постоянной гульбой, смерды «до того понадеялись на свое счастье, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине. “И так, шельма, родит!” – говорили они в чаду гордыни». Сатирик определяет даже время этого удивительного происшествия – 1815–1816 гг.

Мы не славянофилы; мы никогда не говорили и никогда не скажем, что в русском народе – а глуповцы составляют часть его – есть какие-то особенные качества, способные обновить «гнилой Запад», но мы уважаем этот народ и видим в нем все задатки для развития; благодаря этому народу создалось государство, благодаря ему явились интеллигенция, литература, искусство и разные другие удобства жизни; сам питаясь Бог знает чем, он питает всех, не исключая сатириков даже самых возвышенных и непреклонных, которые говорят, что, как скоро дана была этому народу возможность «наполнять свои желудки жирной кашей до крайних пределов», как скоро не стали «препятствовать его счастью и довольству», он немедленно начал производить невообразимые безумства, загулял и бросил даже хлеб сеять... Не правда ли, какой презренный народ и как достоин он всего того, что призывали на него ревнители его нравственности! Как ниже он всех его начальников, не только таких, как Прыщ, который вместе с фаршированной

головой обладал и благоразумием, но и всех тех, с которыми мы познакомились. Они гнали и притесняли народ, они делали много глупостей и жестокостей, но ни один из них не доходил до того безумства, каким ознаменовали себя в счастливые годы глуповцы, подлые и гнусные в несчастии и разгульно-идиотичные в счастье. Сатирик говорит нам, что «мы без труда поймем» все это, если припомним, что у глуповцев «назади стоял Бородавкин, а впереди виднелся Угрюм-Бурчеев». Действительно, мы поймем это, только не с той стороны, на которую указывает сатирик: для таких бессмысленных идиотов, еще в начале своей истории, на воле, обнаруживших только способность «тяпать головою», начальники вроде Бородавкина шли как нельзя лучше. Они друг друга стоят. Независимо от этого, т.е. допуская справедливость указания г. Салтыкова, заметим, что ведь народ, эти смерды, живет изо дня в день, живет настоящим моментом, не имея ни времени, ни средств на то, чтобы провидеть будущее и прилежно анализировать прошедшее. Власть, бесспорно, действует на нравственность народа так или иначе, в положительную или отрицательную сторону, и в этом случае глуповцы не могли быть исключением; но ни история, ни настоящее вовсе не говорят нам ничего похожего на те картины, которые нарисовал г. Салтыков. Напротив, народ, при всей своей невежественности, постоянно выбивался из-под тяжкой опеки, не говоря уже о том, что всякое облегчение всегда принималось «смердами» как милость Божия и они не только не бросали свиньям хлеб, не только не разбрасывали зерна по целине, но обыкновенно лучше вспахивали землю, хотя та же история не представляет нам ни одного момента, когда бы народ до отвалу наедался жирной кашей: он всегда был и есть впроголодь, и поклоняться Яриле и Волосу могли только те, кто не обливался потом на скудных нивах. Выставляя в таком виде народ, не отделяя его от слоя его эксплуататоров, г. Салтыков приносит такие жертвы, на какие способны разве архивариусы. В самом деле – градоначальники безумны, народ еще безумнее, градоначальники развратны, народ еще развратнее, градоначальники вислоухи,

народ еще более вислоух. Где, какой сатирик приносил подобное жертвоприношение? Делали ли это Рабле и Свифт в своих бессмертных произведениях, делал ли это Гоголь? Нет, тысячу раз нет, и оно понятно: если отвергать народ, отвергать его здравый смысл и даже простую его житейскую сообразительность, то что же признавать после этого?..

Мы вовсе не хотим сказать, что народу надо кланяться и кадить ему. Мы не хотим также сказать, чтоб какие-нибудь глуповцы были застрахованы от бича сатиры; но на все есть такт, всему есть пределы, и искусство выработало верное средство для отношений сатиры к угнетаемым и падшим, и этим средством г. Салтыков обладает в достатке. Средство это – юмор; но юмор не значит ни смех для смеха, ни карикатура для карикатуры; юмор – не «капризное свойство писателей», как определил его не совсем давно один критик, потому что от каприза должны спасать писателя разум и развитие и потому что каприз есть баловство или патологическое состояние нервов. «Видимый миру смех сквозь незримые слезы» – это определение юмора, сделанное Гоголем, в высшей степени верное и многообъемлющее, налагает на писателя известные обязанности, далекие от каприза и смеха ради смеха; хотя Гете сказал, что юмор – одна из безграничных форм искусства, хотя, по его мнению, «der Humor zerstort zuletzt alle Kunst»*, но это относится более к внешней форме его, чем к внутреннему содержанию; внутреннее же это содержание стремится к тому же, к чему наука в ее широком значении: юмор стремится освободить общество от предубеждений, от унаследованных традиций, от неравенства; для него нет ничего малого, но нет также ничего и великого. Он развенчал великое, чтобы возвысить малое, отринул поклонение избранникам судьбы, чтоб показать живучесть идей в толпе, в ординарном, загнанном, ничтожном, что древнее искусство приносило в жертву богам и героям. Аристократия красоты и изящества, добродетель, таланты, мудрость, сила и богатство – вот над чем трудилось прежнее искусство, на что обращало оно все свои помыслы и

* Юмор – один из элементов гения (*нем.*).

средства. Оно развило вкус к изящному, уважение к добродетели, мудрости, к нравственной силе – заслуги бесспорно великие, – но толпа для него почти не существовала, потому что она представляла будто бы смешение элементов незначащих и обыденных, где самую добродетель трудно отличить от порока. Юмор указал, что и в толпе живете мысль, что и в ней есть чувство, есть задатки на величие и нравственную силу. Христианство сказало: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», и эти слова сделались лозунгом юмора. Таким образом, он стремился признать в человеке, кто бы он ни был и как бы высоко или низко ни стоял он, – человека, т.е. существо, наделенное не одними пороками, не одними добродетелями. Не жертвуя малым великому, он великое низводил до малого и малое возвышал до великого. К сожалению, современные юмористы в своем усердии увеселить публику во что бы то ни стало, даже в ущерб собственной репутации, забывают это или этого не знают, руководствуясь исключительно побуждениями собственной природы, не проверенными и не сдерживаемыми разумом.

По тому, что мы сказали о юморе, легко понять его отличие от сатиры. Юмор прощает грешникам и дает им возможность поднять голову, сатирик – бичует их. Он открывает все раны, где бы их ни заметил, он гремит проклятиями и осуждениями, не указывая никаких средств для спасения и исцеления. Но громит он во имя высшей идеи о человеческом достоинстве, которую, однако, не высказывает; она только чувствуется за его отрицанием, между тем как юморист ее не скрывает; по самой сущности юмора его идея, форма и сущность нераздельны; но если в сатире и не высказывается прямо руководящая идея, то о ней всегда можно составить себе понятие по отрицательным образам сатиры. Чем больше сатира обращает внимание на ничтожные мелочи, тем мельче и идея, воодушевляющая сатирика. Это так ясно, что распространяться об этом – значит напрасно терять слова. Одним словом, сатирическое произведение всегда даст масштаб для определения нравственной высоты той идеи, которою вдохновляется сати-

рик. Из всего сказанного, по-видимому, следует, что сатирик и юморист противоположны друг другу: юморист копается в мелочах жизни со смеющимся лицом и охотно останавливается в вертепах порока, чтоб и тут отыскать человеческие черты, тогда как сатирик имеет право отвернуться от этого и послать туда проклятия. Все это так только в теории, но в действительности, по закону противоположностей, они постоянно соприкасаются и юмор с такою же неуловимой быстротою переходит в сатиру, как сатира в юмор: они ежеминутно сменяют друг друга, так что критику очень трудно иногда отличить юмор от сатиры и сатиру от юмора. Это легко объясняется как самыми многообразными свойствами человеческого духа, так и сложностью явлений действительности. Юмористу, при всем его старании, при высочайшем проникновении руководящею им гуманною идеей, не удается иногда осветить этою последнею безобразные и наглые явления действительности; он слишком часто наталкивается на бессовестнейшую эксплуатацию, и его смех, карикатура, ирония заменяются серьезным, лирическим настроением сатирика. Со своей стороны, сатирик не может, по самому свойству человеческого духа, совершенно устранить от себя великодушие, доброту, сострадание; он не может по справедливости совершенно выделять и себя самого из окружающей его действительности, которой он есть часть, и это еще более смягчает его, и сатира его переходит в юмор. Но и сатира, и юмор исчезают и остается голая проза, безжизненное переливание из пустого в порожнее, смех ради смеха, как скоро сатирика и юмориста оставляет высокая идея служения добру и истине. Величайшая гармония между юмором и сатирою, при художественности и зрелости образов, существует у нас только у одного Гоголя. Он ни разу в своих произведениях не провинился, так сказать, против законов, которые вывела теория о сатире и юморе. Самые жалкие отребья человечества, вроде чиновника в «Шинели», возбуждают в нем именно такой смех, сквозь который слышатся слезы; в «Записках сумасшедшего» юмор нигде не переходит свои границы и в конце этого произведения обращается в вопль сострадания к больному че-

ловечеству; мы не говорим уже о «Мертвых душах», где талант Гоголя развернулся во всю свою ширь.

Да не подумают читатели, что мы желаем сравнивать Гоголя с г. Салтыковым, мы хотели только указать на то, как великий писатель пользовался своим дарованием и какой живой пример, не в отвлеченной теории, оставил он своим последователям. Дело в том, что г. Салтыков продолжает традицию Гоголя и по мере сил и возможности разрабатывает частности той самой картины, которую так гениально начертил Гоголь. Как верный ученик, г. Салтыков не выходит из рамки этой картины и не расширяет ее горизонта; этим, однако, мы отнюдь не хотим сказать, что у г. Салтыкова мало сил – их довольно для того, чтоб быть заметным и полезным учеником великого таланта, но эти силы иногда направлены фальшиво и односторонне. Из указанных нами в общих, слабых чертах существенных свойств сатиры и юмора, построенных теорией не произвольно, а на основании произведений именно великих талантов, ясно, что и та, и другой имеют свои границы и являются выразителями руководящей авторами идеи. Нравственное чувство и искусство в современном его значении откажутся признать какое бы то ни было поэтическое достоинство за сатирою на крепостных крестьян, за сатирою на негров, перевозимых как товар на плантации, хотя бы авторы их обнаруживали несомненный талант: низменная, чисто животная идея, которая легла бы в основание подобных произведений, лишила бы их всякого значения и достоинства; это был бы отвратительный пасквиль, от которого с презрением отвернулось бы искусство, потому что оно служит прогрессу и цивилизации. Этим примером, конечно грубым, мы хотим объяснить, почему фальшиво отношение г. Салтыкова к народу (т.е. к его приниженным и угнетенным глуповцам), не только с исторической точки зрения, но и с художественной. Его юмор грешит в этом случае тоном и своим содержанием, потому что автор недостаточно выяснил себе свои идеалы, свою нравственную идею; его юмор обращается в злую, а иногда и просто в пошлую насмешку над несчастьем и неразвитостью

темной массы; его юмор часто не проникнут высокой идеей братства и любви там, где этого ожидаешь и где это необходимо, и вдруг проникается любовным элементом там, где нужен элемент противоположный; его юмористическое настроение не связывается достаточными нравственными путами и опрокидывается иногда зря на первый попавшийся предмет, – лишь бы он представлял смешную сторону. Неужели это настоящий юмор, неужели это служение искусства добру и правде? Нет, это не юмор, а самодовольный хохот, от которого да хранит Бог на будущее время такой замечательный талант.

Нам осталось сказать о последних двух очерках в книге г. Салтыкова: один из них посвящен градоначальнику Эрасту Андреевичу Грустилову, другой – Угрюм-Бурчееву. Эти два очерка, в особенности последний, лучшие в книге г. Салтыкова. В Грустилове представлен человек по-видимому либеральный, с первого знакомства как будто что-то обещающий, но в сущности растленный похотью и властью, суеверный и сентиментальный в худшем значении этого слова и блещущий отсутствием твердых убеждений. Это почти флюгер, но флюгер, однако, себе на уме, умеющий свои наружные достоинства и свою власть употреблять для удовлетворения господствующему своему влечению – похоти; и либерализм, и мягкие манеры, и сентиментальность, и суеверие – все это в нем проявляется не столько как основные черты его характера, сколько как более или менее искусная маска для уловления сердец. Ленивый и беспечный, он поддается всякому *влиянию,* лишь бы оно льстило господствующей в нем слабости или избавляло от хлопотливых забот по управлению глуповцами. Оберегайте только его личные интересы, содействуйте осуществлению его вожделений, и он позволит вам делать, что вам угодно. При случае вы можете напугать его дьяволом, при случае бунтом, при случае можете обольстить прелестью либерализма и благословением потомства. У г. Салтыкова, впрочем, рельефною вышла только «клубничная» сторона, анализированная с большим искусством и юмором. Но если Грустилов напоминает нам лучшие произведения нашего сатирика, как «Ташкентцы», «Глупый

помещик», то Угрюм-Бурчеев стоит едва ли не выше всего, что до сих пор написал г. Салтыков. Это если не совсем цельный, то во всяком случае рельефный образ деспота-самодура, в своем ослеплении и самонадеянности вызывающего на бой даже силы природы. Угрюм-Бурчеев перед рекою, которая вдруг преграждает свободный ход его дикой фантазии, – удивительно удачная картина.

«– Зачем? – спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождающих его квартальных.

Квартальные не поняли: но во взгляде градоначальника было нечто, до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

– Река-с... Навоз-с... – лепетали они как попало.

– Зачем? – повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубиться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

– Уйму! Я ее уйму!»

Далее идет картина этого унимания реки, в которую валят целые возы мусора, но она продолжала течь по-прежнему, только изредка как бы останавливаясь, и бурлила, когда масса мусора сбрасывалась в нее. Эта картина невольно напоминает другую, столь частую в действительной жизни народов: останавливаются самодуры испуганно перед потоком живых идей и говорят судорожно: «Уйму я его, уйму!», но поток пробивает себе дорогу через плотины по-видимому самые надежные, и, год от году делаясь все шире и шире, заливает береговые пространства и превращает даже самый мусор в плодоносный чернозем. Самодуры с течением времени замечают это странное, по их мнению, явление и стараются усугубить свое усердие; но поток все-таки течет, иногда под почвой пробивает себе ложе, незримо для соглядатаев, и вдруг вырывается из нее такими бурным каскадом, что голова самодуров кружится и они теряют всякую способность к усмирению непокорной стихийной

силы. Возвращаемся к Угрюм-Бурчееву. Стройность этого прекрасного очерка нарушается, однако, несколькими страницами, посвященными какому-то Ионке Козырю, в истории которого сатирик, по-видимому, хотел изобразить историю глуповского либерализма и, по обыкновению, впал в апокалипсическую темноту и в ничего не выражающую карикатуру. Мы могли бы еще сделать два-три замечания. Нам, напр., не нравятся слова «идиот» и «прохвост», которыми обзывает своего героя сатирик; и с нашей стороны это далеко не капризное субъективное чувство, а одно из тех требований искусства, перед которыми художник должен преклоняться по той простой причине, что подобное отношение к герою – не художественный прием: герой должен выходить цельным образом, без этих часто ничего не говорящих, при всей своей резкости, эпитетов. Кроме того, в настоящем случае слово «идиот» достаточно противоречит всей деятельности Угрюм-Бурчеева, ибо из нее, при всей ее дикости, нельзя все-таки вывести заключения, что перед нами идиотическое существо, неспособное ни к какому размышлению. И только такая постановка лица дикого самодура и мыслима в серьезном литературном произведении, иначе, то есть при допущении идиотизма у самодура, он теряет свое широкое значение и черты, равно приложимые, хотя и не в одинаковой степени, к ограниченным и умным из них, часто исчезают, являясь лишь принадлежностью одного лица, пораженного идиотизмом. Тип, таким образом, сильно бы умалился в своем нравственном значении. К счастью, сатирик не сделал этой ошибки, и эпитет «идиота» употреблен им совершенно излишне, по привычке к крепким словам: в Угрюм-Бурчееве много сметливости, хитрости, дикой наглости, способности комбинировать планы благоустройства, хотя планы и «прямолинейного» содержания. Напрасно также г. Салтыков придал ему некоторые такие черты, которые как бы указывают на присутствие необыкновенно сильной воли в этой натуре. «Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень, вставал с зарею, надевал виц-мундир и тотчас же

бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты, и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям».

Как карикатура на чрезмерную страсть к маршированию и выправке эти выписанные нами строки не лишены остроумия и злости, но как черты характеров, подобных Угрюм-Бурчееву, они лишены всякого значения. Угрюм-Бурчеевы никогда себя не забывают и работают только для себя; сильной, непреклонной воли, самобичевания в них также никогда не замечалось. Сам г. Салтыков намекает на это в конце очерка, когда народилась новая сила и Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе». Они не только исчезают, когда власть отнимается от них, но обнаруживают презренную трусость и готовность унижаться перед теми, которых вчера еще держали по два часа в своей передней навытяжку. Лишь наружно они готовы показать спартанскую твердость и выставить напоказ свой протертый сюртук и изношенную шинель: для толпы ношение градоначальником, этою важною особою, старой шинели является чем-то грандиозным и внушающим почтение к себе; она готова бессмысленно повторять: «Смотрите, дети, этот человек мог бы ежедневно надевать новую шинель и новый сюртук, но он ходит в старых. Какое величие!» Она готова удивляться старому сюртуку с таким же увлечением, с каким удивляется, глазея, блеску и золоту. Она не размышляет о том, что старым сюртуком прикрыта полнейшая нравственная разнузданность, выказывающая себя где-нибудь в четырех стенах, вдали от людских очей. Если же толпа способна создать себе культ из старой шинели, треугольной шляпы и серого сюртука, то действительные самобичевания и закаление своей природы тяжкими лишениями найдут между нею еще большее число поклонников, потому что лишения эти, в ее глазах, свидетельствуют о нравственной силе человека, о

преданности его своей идее, хотя бы это была и дикая идея. Тут уж является фанатизм, способный жертвовать во имя идеи своей жизнью. Но еще не видано, чтоб Угрюм-Бурчеевы были способны на такие подвиги: они, как только достигли власти, скорей пожертвуют тысячью жизней других, чтоб сохранить в целости свой указательный перст и продолжить свое благосостояние, чем уронить волос с головы своей.

Если эти недостатки и вредят цельности образа Угрюм-Бурчеева, то настолько незначительно, что не разрушают впечатления, оставляемого в читателе всем очерком, более существенными сторонами его. Самый тон юмора гармонирует как нельзя лучше с содержанием, и что всего замечательнее, глуповцы просыпаются и начинают тайную борьбу с этим страшилищем; в конце концов сатирик сжалился над ними, или, лучше сказать, в конце концов сатирик приблизился к истории, хотя и не совсем. Он все еще продолжает думать, что глуповцы проснулись частию оттого, что разглядели идиотство своего градоначальника, частию... Но тут является крупное противоречие: мы видели, что пребывание глуповцев за границей породило в них женственность и разврат до такой степени, что смерды перестали пахать и загуляли, до отвалу наедаясь жирной кашей, а интеллигенция стала «равнодушна ко всему, что происходило вне замкнутой сферы езды на остров любви». Это было в 1815–1816-м году, как обозначил наш автор, при предместнике Угрюм-Бурчеева, Грустилове. И вот, объясняя пробуждение глуповцев, сатирик говорит, что тому способствовали «множество глуповцев», вернувшихся из чужих краев, где они были для ратного дела и ученья. Очевидно, наш автор не совсем последователен, лучше сказать, он игнорирует историю, когда увлекается своею страстью к карикатуре и забавничанью, и вспоминает о ней, когда серьезная мысль начинает руководить им. Пусть сам он сравнит достоинство карикатуры, хотя и производящей смех, но витающей в области фантастично-нелепого, с достоинством сатиры и юмора, одушевленных реальною правдой и верной руководящей идеей. Пуская свой юмор в беспредельность, не ставя ему ника-

ких границ, т.е. никакой идеи, он удачно начертит несколько картинок, попадет метко в несколько действительно смешных или возмущающих душу сторон нашей жизни, рассыплет цветы своего бойкого остроумия, но не создаст ничего цельного, ничего достойного своего таланта и вместе с тем как бы мимоходом осмеет ненужным смехом такие явления, которые писатель, одушевленный идеей служения добру и правде, никогда бы не отдал на потеху смешливому легкомыслию.

Зато г. Салтыков становится другим человеком, когда ему удается верно подметить причины известного явления и разгадать его сущность, или когда он доходит до этого изучением, или когда представляется ему материал, вполне очищенный критикою: он способен тогда возвыситься до настоящего одушевления и рисовать типические образы; тогда и архивариус из него вылетает бесследно, и смех его звучит не надорванной нотой усталого забавника, а едким сарказмом, и карикатура является осмысленной и понятной. Укажем в доказательство на несколько страниц, посвященных в очерке «Поклонение мамоне и покаяние» изображению состояния народного просвещения в Глупове, которое приняло юродивый характер. Начальником школ назначен был юродивый Парамон; товарищ его по юродству, Яшенька, получил кафедру философии, которую нарочно для него создали в уездном училище. Вот как действовали эти два достойные мужа:

«...Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька со своей стороны учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом Человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное,

в некоей житнице сложены и оттоль в мере надобности спущаются долу, дабы оное сонное видение в скорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать – и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. "Для сего – говорил он, – уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок"».

По обычаю, нам следует сделать общий вывод из всего сказанного нами о г. Салтыкове. Но нужно ли это? Если б г. Салтыкова мы считали обыкновенным фельетонистом, произведения которого живут не дольше листа газеты, мы ограничились бы теми отлично выработанными общими местами об остроумии, меткости и злости, которые, несмотря на свою ординарность, все еще продолжают утешать авторов; но мы, несмотря на однообразие произведений г. Салтыкова, обусловленных заколдованной административной сферой, считаем их далеко не эфемерными, а талант его – весьма замечательным; а кому больше дано – с того больше и спрашивается. Вот наше заключение.

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Человек, который страстно любил жизнь

Вот человек, который страстно любил жизнь и умел жить, – это Д. В. Григорович. Уметь жить – великое дело. Я не говорю о его литературной и художественной деятельности. Я разумею только человека общественного. Узнал я его, когда ему было уже лет 50. Приятнее, общительнее человека трудно было найти. Я думаю, что такие люди чрезвычайно редки

в нашем обществе. Талант блестел в его разговоре почти до последних дней его жизни. Талант вдохновенного импровизатора, превосходного рассказчика, остроумного, находчивого человека, обладавшего способностью ярко схватывать смешные и нелепые черты своих современников и выражать их художественно. Когда бывал он в ударе, а это случалось часто, он был неистощим и неподражаем. Это был ходячий юморист и сатирик, удивительно разнообразный собеседник. Кто знает Григоровича только по его печатным «Воспоминаниям», по тем характеристикам, которые встречаются там и в его произведениях, тот знаком только с небольшой частью его таланта рисовать людей. Это был один из весьма немногих русских литераторов, имевших обширное знакомство не только в литературных и художественных кругах, но и в высшем обществе. Он принадлежал к числу тех литераторов, которые посещали дом г. Виельгорского[1], князя Одоевского в сороковых годах, когда литература не замкнулась еще в особую область. В его памяти стояли сотни лиц, как живые, на пространстве более полувека. И когда он начинал говорить, речь его лилась, полная блеском остроумия, неожиданных сближений и «красных слов». Умер человек, и весь этот блеск ушел с ним. Он записывал анекдоты, но не записывал своих импровизаций, а они составили бы прекрасные томы. Дар сатирика и юмориста у него превосходил талант беспристрастного объективного художника. Когда он говорил, говорило его лицо, говорил разными интонациями его голос, его жесты и горели глаза. И это все было изящно, не переходило в грубый шарж и не требовало удаления дам. Он был одним из тех литераторов, которые могли бы сказать о себе, что они далеко не выразились в своей литературной печатной деятельности. Самая обширность его знакомства мешала ему в этом, самая общительность его, любовь к обществу, к беседе, к обмену мыслей в маленьком кружке не давали ему свободы высказываться в литературных произведениях. Не вино, но шампанское возбудило его, как многих, то шампанское, которым всегда была полна его прекрасная горячая голова. Он был бы любимым популяриза-

тором художества, если бы стал читать лекции. Но он создал превосходный музей и школу для популяризации прикладного искусства. Он был глубоко огорчен и взволнован, когда в этот музей, в дело его любви и труда, внесли беспорядок. Сколько он положил усилий на это собрание вещей, трудно исчислить. Он собирал не как барин, обладавший большими средствами, а как любитель, желающий прекрасное приобрести из надежных источников и для многих русских поколений. Я видел, как в Венеции он целые часы бегал по мастерским, по художникам, по домам, где что-нибудь продавалось, по храмам, стараясь приобрести что-нибудь для музея. В Париже он исходил все чердаки, где ютятся иногда талантливые представители прикладного художества, где он мог заказать копию или оригинал. Расчетливый по природе, умеренный в своих привычках и потребностях, не бравший никогда в руки карт, он был завален всевозможными чужими делами и никогда на это не жаловался. Делу время, потехе – час. Он мог сказать это себе. Ему хотелось не только самому двигаться – он хотел двигать других. Неподвижность, застой, леность он ненавидел, как настоящий европеец, как русский, желавший успехов своей родине. Тут он был беспомощен в своих сарказмах. Зато всякий талант глубоко его интересовал. Он носился с ним, говорил о нем всюду. Стоило явиться какому-нибудь дарованию, он сейчас замечал его. Чехова он полюбил еще в «Петерб. газете», в его первых рассказах, когда никто не ценил этого превосходного дарования. Кто любит талант, тот сам талантлив и любит людей и любит жизнь. Чуть отпускала его болезнь в последние два года, он тотчас начинал работать, тотчас же являлся в обществе и интересовался всем: литературой, художеством, политикой. Надо ли говорить о том, что он любил женщин. Кто любит общество, живую беседу, живые интересы, тот любит и женщин. Но и эта любовь была любовью талантливого человека, который ценил в женщине кроме красоты ум и душевные качества. Как типическая, своеобразная и редкая личность, он везде был заметен и везде принят, хотя острое слово наверно мешало его карьере. У нас умных

людей да еще с метким юмором не любят. Надо было слишком выдаваться своими способностями, чтоб стать тем, чем был покойный, милый, добрый, умный и всесторонний человек…

Я видел его накануне смерти. Он лежал, говорил и бредил. На груди у него сидела маленькая его собачка, которую он инстинктивно гладил правой рукой. Была еще надежда на его выздоровление, хотя слабая: сердце действовало плохо. Он предчувствовал скорую свою смерть. Но задолго до смерти он говорил своей знакомой: «До нового года я не доживу», но купил отрывной календарь на новый год. Он надеялся. Он хотел жить, потому что любил эту жизнь не для себя только, но и для других. Не верилось, что этот преимущественно живой человек может перестать жить. Казалось, он смерть заинтересует своим живым умом и она оставит в покое надолго этого человека, который и в глубокой старости не составлял ни для кого бремени, не опускался, не смотрел с завистью на молодое и свежее, на веселость и беззаботность тех, которые начинали жить. Напротив, родник жизни его, душа его оставалась молодою, чувствительною, доброю, способною увлекаться, способною болеть болезнями общества и волноваться негодованием и радостью. Только старое тело не давало простора молодой душе…

Сегодня он лежит бездыханный. Лицо выражает как бы удивление перед смертью, которая остановила его сердце. Зачем? Зачем она пришла? Даст ли она что-нибудь новое, неизведанное на земле, или только вечный сон и вечный покой, которых он так не желал?..

Грудь его вздымалась в последней мучительной борьбе, призывая жизнь, стараясь осилить этого бессмысленного, страшного врага, которого одолевал он прежде. Но смерть победила, и никто не скажет, что она даст душе взамен этой жизни с людьми, с искусством, с литературой, с природой, с животворящим солнцем…

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

Смена поколений, эта вечно обновляющаяся жизнь, этот новый строй молодых голов, которые смотрят вперед непобедимо, – вот одно утешение для тех, кто умирает. Все победить можно, кроме смерти. Но когда она берет от нас живых, верующих в жизнь вообще и в русскую жизнь в особенности, умевших жить и любить, непобедимые и гордые своей молодостью, своей силой, своими надеждами пусть поклонятся с благодарностью этому ушедшему от жизни, в которую душа его внесла прекрасные чувства любви и сострадания…

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Граф Лев Николаевич Толстой (литературный портрет)

Граф Л. Н. Толстой родился в 1828 году. Затем никаких других биографических подробностей о нем никогда не было напечатано. Когда обращались за ними к нему самому, он говорил, что он не считает себя таким большим человеком, чтоб публика могла интересоваться его личностью. Замечательная скромность, не доходящая, однако, до того, чтоб не подписывать своего имени под своими сочинениями. Если публика интересуется сочинениями, она интересуется и личностью самого автора, и в Европе ни один человек не откажет составителю биографического словаря в своем послужном списке.

Два года тому назад И. Н. Крамской написал портрет графа Л. Н., если не ошибаюсь, для галереи известного любителя художеств, москвича П. М. Третьякова. Портретисту стоило большого труда и красноречия, чтоб Л. Н. позволил писать с себя. Портрет вышел прекрасный: наш знаменитый романист сидит в блузе; маленькие, но выразительные глаза его смотрят немножко насмешливо; негустая борода, оклад лица и рта, низкий лоб придают особенное выражение его физиономии, не то

мужества, не то большого упорства. Я нечаянно увидел этот портрет в мастерской художника, который выразил сожаление, что не может его поставить на выставку, так как оригинал решительно этому воспротивился. Мне показалось это тем страннее, что в «Галерее» Мюнстера и в «Иллюстрированной газете» 1865 г.[1] помещены литографированные, довольно плохие портреты графа Л. Н. в военной офицерской форме.

Эта «оригинальная» в мире писателей скромность уже отличает графа Л. Н. от прочих наших писателей, которые не считают нужным ни скрывать своих портретов, ни своих послужных списков; это та скромность, о которой говорят, что она паче гордости, но, разумеется, никто не вправе сетовать за то на нашего писателя. Он хочет быть оригинальным, он всю жизнь свою отличался этим, как отличался огромным художественным талантом.

Если не ошибаюсь, он воспитывался в Петербургском артиллерийском училище, потом попал в службу на Кавказ и принимал участие в экспедициях наших войск против черкесов, не в качестве какого-нибудь штабного щеголя или прикомандированного к начальнической гостиной, а в строю, вместе с солдатами, типы которых он так мастерски рисовал в своих военных очерках. Кавказ, игравший в нашей поэзии такую большую роль, Кавказ, вдохновлявший Пушкина и Лермонтова, оставил свой след и в произведениях графа Толстого: его «Казаки» представляют яркую картину природы и населения Кавказа. Здесь же он написал свое «Детство», первое свое литературное произведение, которое разом выдвинуло его вперед, и корифеи петербургской литературы не задумываясь говорили, что всходит новое светило, которое затмит собою все наличные таланты. К этому же времени относится странная автобиографическая подробность, которую я нашел в странной книге г. Погодина «Простая речь о мудреных вещах»[2], имевшей в два года три издания.

Книга эта прекрасно определила значение нашего маститого ученого в истории русской литературы: ни его драмы и повести, ни его история, ни его журнальная деятельность не

имели успеха сколько-нибудь выдающегося. Гораздо счастливее был он со своим древлехранилищем, которое приобретено было у него казною за 500 т. руб. ассигн. «Простая речь о мудреных вещах» – своего рода древлехранилище: это сборник отрывков без начала и конца, сентенций, выписок из книг, анекдотов о привидениях, предсказаниях, сновидениях и проч. Как собрал он свое древлехранилище, так собрал он и этот хлам для известного рода читателей. И в этом-то хламе нашел я зерно, жемчужное ли? – пусть судят сами читатели:

«Проигравшись (в молодости) в карты, – пишет граф Л. Н. г. Погодину, – я передал зятю свое имение, с тем, чтобы он уплачивал мои долги и присылал мне на содержание по 500 руб. в год. Вместе с тем я дал ему слово не играть более в карты. Но на Кавказе я опять стал играть, спустил все, что у меня было, и задолжал Кноррингу 500 р. на вексель. Срок подходил, денег у меня не было, а зятю писать не смел о своем позоре и был в отчаянии. Жил я тогда в Тифлисе, чтобы держать юнкерский экзамен. Я не спал ночей, мучился, обдумывал, что мне делать, и вспомнил о молитве и силе веры. Я стал молиться от глубины души, считая свою молитву испытанием силы веры; молился, как молятся юноши, и лег спать будто успокоенный. Поутру, лишь только я проснулся, подают мне пакет от брата из Чечни. Первое, что я увидел в пакете, – это был мой разорванный вексель. Брат писал ко мне: Садо (мой кунак, молодой малый, чеченец, игрок) обыграл Кнорринга, выиграл твой вексель, привез ко мне и ни за что не хочет брать с тебя денег».

Что это такое? Заявление ли о том, что граф Л. Н. играл и проигрался, а кунак его выручил, или о том, что провидение явно вмешалось в карточные дела будущего знаменитого писателя? Если б граф Л. Н. хотел сказать, что молитва его успокоила, то это такой общеизвестный факт, что о нем говорить нечего: всякий молился жарко хоть один раз в своей жизни и всякий знает силу молитвы; но он смотрел на молитву как «на испытание силы веры», он ждал награды от Бога за эту молитву – и вексель был разорван!.. Но ведь он

был разорван раньше, чем граф Л. Н. молился, ибо из Чечни в Тифлис не рукой подать, стало быть, провидение помогло чеченцу Садо выиграть у Кнорринга вексель прежде, чем граф Толстой снизошел до молитвы... Если б я не знал, что граф Толстой человек серьезный, я подумал бы, что он смеется над старцем Погодиным, столь усердно и неразборчиво собирающим свое новое древлехранилище...

* * *

Во время севастопольской кампании граф Л. Н. был уже офицером и служил в 14-й артиллерийской бригаде. Он видел смерть возле себя, видел, как кормили наши интенданты армии, и написал необыкновенно живые, полные правды и драматизма очерки «Севастополь в декабрь 1854 года», «Севастополь в мае и в августе 1855 года». Ему же приписываются две солдатские песни, блещущие юмором и разошедшиеся в рукописных списках по всей России:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать, и проч.

и

Как восьмого сентября, и проч.

Первая из этих песен появилась в нынешнем году в «Рус. старине» в нескольких вариантах. Граф Толстой не возражал против приписываемого ему сочинения этих песен, в которых севастопольская кампания рассказана с точки зрения солдат, недовольных начальством. После кампании он приехал в Петербург, и два тогдашних журнала, «Отеч. записки» и «Современник», оба старались приобрести его произведения; граф Л. Н. остался верен «Современнику», в котором стали появляться его повести: «Два гусара», «Записки маркера» и проч. Он писал медленно, по нескольку раз переписывая свои вещи,

дополняя, сокращая, улучшая их во время самого процесса переписки. Увлеченный успехом Островского, он пробовал писать комедии, но из этой попытки ничего не вышло, как и предсказывал ему сам Островский, говоря, что в его таланте «нет драматической складки».

Выйдя в отставку, граф Л. Н. поселился в своей орловской деревне, Ясной Поляне, верстах в четырнадцати от Тулы, по шоссе. Тут у него хорошая усадьба с превосходным, большим прудом; в окрестностях есть места прекрасные по живописности. В нескольких верстах от Ясной Поляны, тоже в деревне, жил Тургенев; оба писателя одно время часто виделись между собою и часто спорили о разных предметах; споры эти возбуждались тем легче и были тем упорнее, что Тургенев стоял на культурной европейской точке зрения, граф Толстой был оригинален и старался дойти до всего своим умом. Не знаю, сколько времени продолжалась их дружба, но они все-таки разошлись. Разрыв этот не мешает, конечно, им ценить друг друга; по крайней мере, Тургенев отзывается о произведениях графа Л. Н., в особенности о «Войне и мире», как о весьма замечательных; как художника он ставит его чрезвычайно высоко.

* * *

Было время пущего прогресса; явились воскресные школы, Тургенев писал своих «Отцов и детей» и готовился выпустить на свет божий «нигилиста». Этому новому типу вслед за Тургеневым заплатили свою дань все лучшие наши писатели: Писемский, Достоевский, Гончаров; один граф Толстой не прикоснулся к нему и вообще игнорировал современное движение, относясь к нему с скептическим пренебрежением. Он увлекся другим потоком – педагогией, он «влюбился в школу», по собственному его выражению; съездив за границу, осмотрев тамошние школы и неудовлетворенный их состоянием, он основал в своей деревне «свободную» школу, на принципе полного равенства между учителем и учениками, с устранени-

ем всякой дисциплины и рутинных форм. О школе заговорили, основатель ее стал издавать для пропаганды своих идей ежемесячный журнал, назвав его именем своей деревни, «Ясная Поляна». Художник обратился в педагога...

В 1862 г. я с ним познакомился в Москве. Передо мною был высокий, широкоплечий, с тонкой талией человек лет 35-ти, в усах, без бороды, с серьезным, даже несколько мрачным выражением лица, которое, впрочем, принимало оттенок добродушия, когда он смеялся. Разговор зашел о событиях, которыми так полна была русская жизнь того времени. Граф Толстой тотчас же обнаружил, что он живет вне этой жизни, что ему чужды интересы того слоя, который считает себя образованным. Он являлся противником прогресса, который, по его мнению, выгоден только для небольшой части общества, наименее занятой, и составляет положительное зло для большинства, для народа, для которого он тем невыгоднее, чем выгоднее он для образованного меньшинства. Телеграфы, железные дороги, книгопечатание – все это монополия дворянства, купечества, чиновничества; для народа ничего этого не нужно, и народ наш относится ко всему этому враждебно. Все, что необходимо народу, приобретается им на его земле, его трудом; деньги для него роскошь; заработная плата – случайность и тоже роскошь, и проч. Выдающиеся, образованные личности, проповедники прогресса – народ их не знает и знать их не хочет, стало быть, решительно все равно, дают ли им действовать свободно или отнимают у них эту свободу. «Мы лично, – писал он потом в «Ясной Поляне», – считаем движение вперед цивилизации одним из величайших насильственных зол, которому подлежит известная часть человечества, и самое движение это не считаем неизбежным».

Присутствовавшие горячо с ним спорили; он сам то увлекался, то начинал иронизировать; я больше слушал, чем говорил; в то время, когда все бредили прогрессом, такая оригинальная смелость мысли меня поразила, и я чувствовал невольную симпатию к этому новому Руссо, который начал противопоставлять благам цивилизации – блага природы: леса,

дичь, рыбу, физическое развитие, чистоту нравов и т.п. Казалось, что этот человек живет народной жизнью, ее взглядами, что он предан народному благосостоянию всеми силами своей души, хотя и понимает его иначе, чем другие. Доказательство – его школа, эти мальчики, о которых он говорил с явною любовью, выхваляя их даровитость, понятливость, их художественное чувство, их нравственную целостность, до которой далеко детям других сословий. Не будь этой школы, можно было бы подумать, что под этою оригинальностью взглядов на цивилизацию скрывается полнейший индифферентизм к общественным вопросам или желание быть во что бы то ни стало чем-то особенным, исключительным, оригинальным для оригинальности. Не увлечение ли это художника? – спрашивал я сам себя: быть может, он любит эту школу, этих мальчишек, эти воззрения как пейзаж, как картину, как готовый образ?.. Все это сменится другим, все это отойдет на задний план, все забудется, и если что останется, то разве эти воззрения, потому что замечательному художнику непременно хочется быть мыслителем... Но педагогия, очевидно, и доселе его занимает, и еще в прошлом году он напомнил о себе...

«Ясная Поляна» просуществовала всего год; о школе перестали говорить; граф Л. Н. женился в 1862 г. на дочери одного московского доктора. Прошло несколько лет, прежде чем снова о нем заговорили. На этот раз это было действительно нечто выходящее из ряду вон, исторический роман и эпопея «Война и мир». Сочинение это стало являться в «Русском вестнике»; когда публика заинтересовалась им, граф Л. Н. стал выпускать его продолжение отдельными книгами. Успех был огромный и вполне заслуженный. Замечательно, что во всех произведениях графа Л. Н. до «Войны и мира» не было ни одной рельефной женской фигуры, а тут их явилась целая плеяда, удивительно тонко, психически верно и красиво очерченных. Богатство и разнообразие мужских фигур, великолепные описания сражений, целая масса чудесно нарисованных сцен, в которых являются лица всех положений в обществе, начиная с императоров и кончая мужиками и бабами, делают это произведение одним

из лучших украшений нашей словесности. Но и в нем граф Л. Н. захотел быть философом-историком, объяснителем мировых судеб. Чудесные художественные картины перепутывались рассуждениями, не имеющими никакой цены и только мешавшими силе впечатления: в полном издании его сочинений, 1873 г., рассуждения эти выделены из романа и составляют ряд отдельных статей: это материал для характеристики графа Толстого как историка и философа.

* * *

В «Войне и мире» ярко сказалась еще другая сторона нашего романиста: выяснились его житейские идеалы, напомнившие мне человека, отрицавшего в 1862 г. необходимость прогресса и веровавшего в природу, развитие физических сил, чистоту нравов и т.п. Идеал его – семья, во всей ее русской патриархальности, а все остальное – просто ненужное коловращение. С явным недоброжелательством относится он ко всему тому, что выдвигается вперед силою своего ума и таланта (Наполеон, Сперанский), и особенною любовью награждает простых, немудреных людей, как награждал он ею яснополянских мальчишек. В людях выдающихся он подмечает пошлые, обыденные черты и явно не верит, чтобы они способны были на искреннее чувство. В натурах немудреных, напротив, он копается с усердием физиолога-микроскописта, отыскивая в них симпатичные черты и выставляя их, при помощи своего таланта, необыкновенно привлекательными. Для графа Толстого словно неприятно то неравенство, с которым природа распределяет свои дары, и он старается подвести всех под один ранжир, всех нивелировать, возвышая простых и немудреных и унижая выдающихся из толпы. Только *род* имеет для него значение, только родовые черты он уважает – видовых, выделяющих человека из ряду вон, ставящих его на пьедестал он не признает...

Если он напишет роман из времени Петра Великого – года два тому назад об этом много говорили, – эту нелюбовь к вы-

дающимся людям мы увидим еще яснее. По рассказам людей, с которыми граф Л. Н. беседовал о Петре Великом, выходит, что этого Государя он низведет в разряд скорее смешных, чем великих людей. Я не выдаю этого за истину, но я считаю, что это возможно, потому что нимало не противоречит его логике. «Народу Петр представлялся шутом, – говорил будто бы о нем граф Л. Н., – народ смеялся над ним, над его затеями, и все их отвергнул». Опять народ и его воззрения!..

* * *

Но если так важны для него народные воззрения, простые и неиспорченные, откуда у него эта любовь к великосветской жизни, эти обольстительные, *развращающие* воображение краски для живописи пошлых великосветских типов, дрянных в нравственном смысле подробностей, ненужного блеска, чванства, блонд, кружев, обнаженных плеч с их «холодной мраморностью»? От избытка объективности, что ли? Но граф Л. Н. со своим воззрением на выдающихся людей и проч. менее объективен, чем Гончаров, которому Белинский говаривал: «У вас, Иван Александрович, не разберешь, кого вы подлецом считаете, кого хорошим человеком», и потом тихонько, в виде утешения, прибавлял: «Но это-то и есть настоящая объективность». При объективности необходима всетаки ширина воззрений, и с помощью ее Гончарову удалось создать такой яркий, вечный тип, как Обломов. У графа Л. Н. воззрения уже, несмотря на их якобы философскую глубину, и он продолжает в новом своем романе «Анна Каренина» вертеться с любовью все в том же «тюлево-ленто-кружевном» кругу, где «обыкновенно говорят всякий вздор», и все около одного и того же предмета, *любви,* как будто никаких других интересов в современном обществе нет. И все те же тонкие, нежные, обольстительные краски, которые ослепляют читателя и, конечно, не способствуют ему возвыситься до простоты, природы, чистоты нравов и т.п. Даже так называемые критики обольщаются прелестью этих картин, не видя за блеском их

всей пошлости и дрянности выведенных типов. Г. Иловайский в московском «Обществе любителей»[3] предпослал публичному чтению «Анны Карениной» слова любви и благодарности автору за ароматное представление героев царства одеколона. Критик «СПб. вед.» сказал: «Мы читаем здесь все качества наших присных, друзей и знакомых, за которые мы их *любим,* за которые *радостно им отворяем наши двери,* читаем и их недостатки, слабости, над которыми *подсмеиваемся, подшучиваем* и которые в послеобеденное время дают пищу нашим семейным разговорам». Этот критик, должно быть, прямо из большого света и обладает салоном, а может и то, что он там только «радостно отворяет двери»... Но уж совершенным панегириком звучит речь критика «Русского мира»[4]: «Среди беспорядочно смешавшегося общества еще есть люди, сохранившие привычки и стремления *к чему-то лучшему.* Течение несет их, куда ему вздумается, но они остаются сами собою, рассеиваясь, но не растворяясь *в мутном потоке.* Отличительная черта таланта гр. Л. Толстого заключается именно в том, что он умеет находить этих людей, сохраняющих среди новых общественных наслоений *лучшие предания старого культурного общества.* Оставаясь реалистом, автор умеет над *пониженным уровнем* современной действительности отыскать разреженный *верхний слой,* живущий *чисто человеческими интересами,* доступный *благородным чувствам* и *романтическим* порываниям. В этом кругу существуют люди, у которых *изящество жизни не считается развратом,* культурные формы общежития не рассматриваются как продукт крепостного права, красота и свежесть производят впечатление, любовь не смешит, а трогает».

Так может говорить или угодливость прислужника, жаждущего раскрытия перед ним великосветской гостиной, или чувство человека, развращенного блеском художественных красок, которые одинаково творят и Медицейскую Венеру, и петербургскую кокотку. Герои «Анны Карениной», не растворенные в «мутном потоке», сохраняют «лучшие предания старого культурного общества», живут «человеческими инте-

ресами, благородными чувствами», у них «изящество жизни не считается развратом», «любовь не смешит, а трогает»!? Поклонимся им до земли, поклонимся пред этим Облонским, которого «любят сослуживцы, подчиненные, начальники и все, кто имеет до него дело», который развратничает на стороне, не имеет за душой ни одной идеи, но отлично умеет поесть, выпить, угостить заезжую львицу, быть милым и остроумным в Chateau de fleurs'e*, среди кокоток и золоченой молодежи, умеет хорошо сыграть роль огорченного и огорчившего жену мужа и умеет с нею помириться для того единственно, чтобы безопаснее и продолжительнее отдаваться «общественному делу» – куплетам, канкану, шампанскому и проч. Поклонимся перед этим блестящим генералом, красивым, с выпуклою грудью, с карьерой впереди, перед этим Вронским, который пока не выговорил ни одного умного слова – замечательно «молчаливый» герой, – но который действует быстро, натиском, «заманивает» девиц, смеется над обидчивостью честной жены чиновника, не знакомого с «изяществом жизни», втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену, преследует целый год, уговаривает свою приятельницу, княгиню Бетси, помогать ему и наконец достигает своей цели. Какие «благородные человеческие интересы и чувства», какие «предания старого культурного общества, не растворенного в мутном потоке»! Поклонимся и перед Анной Карениной, которую автор с таким блеском выводит на сцену: как она умеет одеться, как страстно увлекается изяществом и молодостью Вронского, как нагло-мило обманывает мужа и как падает... падает, как весьма ординарная, пошлая женщина, почти без борьбы, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны – и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным», «культурным» телом! Неужели в этих лицах искать нам поучения и примера, неужели в них искать нам идеалов нравственности, общественного и семейного счастья?..

Нет! Обольстительно рисуя весь этот пошловатый мир, граф Л. Н., однако, говорит от самого себя, что такое этот куль-

* Замок цветов (*фр.*).

турный, верхний слой: «Собственно свет – свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукою за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же». Но если это так, зачем же вводить этих бедных критиков в смешное заблуждение, зачем расточать на изображение этого света богатые, чудесные художественные силы – «скажите мне, зачем»?..

* * *

Самый симпатичный мужчина в романе – Константин Левин, самая симпатичная женщина – Кити. Константин Левин – это олицетворение идеалов автора. Крепкая природа, любовь к сельской жизни, «отрицание смысла во всех учреждениях», устранение себя от всего того, что волнует общество. Это благоразумный эгоист-отшельник, удаляющийся в свой деревенский дом, к семье, жене, коровам и вообще к мирной скотинке. «Он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Выйти с женой и гостями встречать стадо. Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? – скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня». Для этого идеала нужна была Кити с ее «холодной мраморностью плеч», с ее благородным изяществом и преданною любовью. Левин любил отборное и держал «скотную для дорогих коров», где телится великолепная Пава. Прямо от Кити, которая ему отказала, он к Паве, которая порадовала его прекрасным телком. На Кити он смотрит точно так же, как на Паву, она – только увенчание здания его человеческого благополучия. Дальше ни на шаг, дальше – мир антипатий художника и, очевидно, любимого его героя... Каким ослом рисует он нам, напр., приятеля Николая Левина, говорящего о производительной артели, какими черствыми и сухими эгоистами являются у него люди, интересующиеся философией!.. А в самом деле, не здесь ли счастье, не в этой ли растительной жизни,

среди «дорогих коров», прелестной жены и шумной толпы детей? Лишь бы мне было хорошо, а там пропадайте себе вволю жертвою страстей, глупости, развития ума и сердца, неумеренных желаний, сумасбродных идеалов!.. Это возвращение к сентиментальной литературе Алексисов и Дор, с деланными барашками и пастушками, но возвращение очищенное ото всего сентиментального, деланного, фальшивого. Там были овечки вымытые, с розовыми губками, с колокольчиками на шее для увеселения слуха влюбленных, здесь – хорошая корова, настоящая, реальная корова, облизывающая новорожденного телка, которого воспитают Кити и Костя, как своего ребенка. Этот мир здоровее и физиологически нравственнее «тюлево-ленто-кружевного», но он столь же эгоистичен и столь же узок для такого даровитого писателя, как граф Толстой. Частному человеку, особенно в наше переходное время, когда идеалы падают, исчезает честность, развивается общее равнодушие ко всему тому, что не деньги, можно строить себе подобный идеал растительной, спокойной, эгоистической жизни, но романист должен стоять выше этого. К сожалению, граф Толстой прилагает свою оригинальную философию к своим произведениям и заставляет лучших своих героев вращаться в ее заколдованном круге.

Мне остается сказать еще несколько слов о графе Толстом. В 1872 году он издал «Азбуку», которая в журналистике была принята различно и которую одобряющий и не позволяющий комитет Министерства народного просвещения не одобрил для употребления в школах. Какие мотивы были приняты для этого неодобрения – неизвестно.

«Азбука», впрочем, не произвела особенного шума.

В 1873 году граф Л. Н. напечатал в «Москов. вед.» письмо о самарском голоде. Слух об этом голоде ходил и прежде, являлись корреспонденции, но письмо нашего писателя было такого рода, что произвело огромное впечатление. Без фраз, без риторства, оно говорило ужасающими фактами. Граф Л. Н. обошел крестьянские дворы и коротко записал, что видел, но этот перечень говорил о безвыходном положении крестьян.

В 1874 г. граф Л. Н., придерживающийся буквослагательной системы обучения азбуке, вступил в состязание с поклонниками звуковой методы. Дело это происходило в Москве и до сих пор не кончено, то есть эксперты, наблюдавшие за преподаванием по той и по другой системе, еще не пришли к соглашению. Между тем этот спор послужил графу Толстому поводом написать статью о народном образовании, которая появилась в «Отечественных записках». Критическая часть статьи, рассматривающая приемы наших учителей, усвоивших себе немецкую педагогическую гимнастику, вышла поистине блестящею и подала повод к жаркой полемике в журналах и газетах и в педагогическом обществе. Несмотря на яростные и бестактные нападки на графа Толстого, статья его отрезвляющим образом должна подействовать на господ педагогов, по крайней мере на тех из них, которые еще не совсем заплесневели.

Г. Муравлин и русская форма романа*

<…>

Г. Муравлин еще очень молодой человек. Несмотря на молодость эту, во всех его произведениях сквозит это пренебрежительное отношение к жизни, этот взгляд на жизнь как на случайные столкновения, где ни совесть, ни стыд, ни развитие, ни семейные предания не играют почти никакой роли. Не может быть, чтоб опыт жизни дал ему этот взгляд; не может быть и того, что таково свойство его таланта. Напротив, есть сцены, есть маленькие, правда, лирические отступления, которые дают нам право сказать, что он как будто ломает себя, он как будто кому-то подчиняется, следует чьему-то примеру. Ни Толстой, ни Тургенев, ни Гончаров, ни Достоевский не приходят вам в голову как образцы, которым следует автор. Но часто приходит в голову Золя с его сухою, протокольною манерой, от которой, впрочем, он постепенно отступает, и в последних произведениях даже очень сильно. Но это бы еще ничего, если

* Отрывок из статьи.

б Золя приходил вам в голову, а то приходят в голову русские подражатели его с их поверхностной, скользящей манерой, проходящей по жизни не плугом, не сохой, а как бы тростью, следы которой даже ветер заметет!

Г. Муравлин выше этих подражателей французского романиста и по наблюдательности, и по способности рисовать людей действительно живых, а не выдуманных, и по той смелости, с которою он берется за трудные и довольно новые задачи, преодолевая иногда их с успехом, и по идеям своих романов. И «Мраком» он хотел сказать нечто очень хорошее, очень симпатичное. Посмотрите, мол, что это за шушера копошится кругом! Для них нужны только карьеры, деньги, наслаждения женщинами и больше ничего. Для этих трех кумиров они попирают все, совершают всякие мерзости и подлости и если не совершают преступлений, то не потому, что не думают о преступлениях, не потому, что не горят желанием их совершить, а потому, что боятся суда и следствия. Как скоро они додумаются до средств убить, отравить, ограбить безнаказанно, они это сделают спокойно, ибо это люди, не способные даже раскаиваться. Сделано и баста. Жизнь коротка, ею надо пользоваться, а то и помянуть будет нечем. Даже не пресловутая борьба за существование водит этими людьми – они и до этого не доросли, а просто борьба за свою карьеру, за свои удовольствия, борьба, полная нравственной распущенности и бесстыдства.

К сожалению, к этим выводам из романа можно прийти только при некоторых усилиях и принимая во внимание заглавие романа – «Мрак». Краски романиста вовсе не так ярки и живы, люди не так полно начертаны, чтобы смысл этой дрянной и бесстыдной жизни бросался вам в глаза. Этому больше всего мешает манера, поверхностная, способная растягиваться и повторяться, манера какого-то мелькания лиц, небрежного бросанья сцены за сценой, без тех узлов, где эти сцены сходились бы и давали бы картине более широкий смысл и развитие. Автор не обладает в достаточной степени чувством меры. Содержания его романа в том виде, в каком он написан,

едва хватило бы на повесть, но при большой вдумчивости и сосредоточенности действия повесть могла бы выйти яркая. Лучшая часть романа – последняя четверть, посвященная развитию страсти героя и героини, но и она страдает, с одной стороны, недоговоренностью, с другой – длиннотами. Автор останавливается очень долго и прилежно на глупом Зяблове, вечно повторяющем одно и то же, отрывки из русских опер и ухаживающим то за кузиной, то за Акулиной. Длинноты и недоговоренность видны и на рисовке лица Клавдии, сумасшедшей старой девы, взятой смело и поставленной в положения очень драматичные. Но бесстрастность письма, протокольность его и тут помешали автору сделать это лицо тем, чем оно должно быть по замыслу. Среди этой дряни и бесстыдников эта сумасшедшая, влюбленная в кучера, воображающая себя иногда собакой, ходящая на четвереньках и лающая, внушает больше симпатии, чем иные из здравомысленных, ее окружающих и над нею смеющихся. Она как бы зеркало, в которое не мешало бы взглянуть этим Раховским и компании. Для такой постановки этого лица автор обязан был анализировать это лицо, проследить ее душу, отнестись к ней так, как относились к подобным лицам Диккенс и Достоевский, с той душою, которой заслуживает несчастье. Но автор хочет быть бесстрастным, он, очевидно, верит в необходимость протокола и полной объективности. Это очень жаль…

У нас в последние годы очень ходяче мнение о художественности, которая будто бы заключается в полной объективности, в бесстрастной рисовке действительности. Нет ничего более фальшивого, как это понятие, ибо оно доходит до какой-то безответственности автора. Причиною этого явления надо считать нападки на так называемую «тенденцию» в беллетристике. Плохо дело, конечно, если автор выражает какую-нибудь узкую тенденцию, которая является показной, золоченой рамой, прикрывающей ничтожную картину. Но и протокольность лишает произведение его индивидуальности и силы, если талантливый автор, по суеверию, старается не показываться из-за своих героев и относиться к ним с высо-

ты своего величия, как хладнокровный наблюдатель. Мысль в произведении необходима, и пусть она смело является и в характерах лиц, и в целом романе. Во имя этой мысли необходимы и сжатость, и анализ, и задушевный юмор, и одушевление, и жизнь природы, среди которой происходит действие.

Из современных писателей можно и должно подражать только одному – графу Толстому. Если б молодые и даровитые писатели внимательно читали его, они вынесли бы много и для формы, и для содержания своих произведений. Прочитав корректуру своих произведений для последнего издания, граф Толстой говорил нам, что «в них много лишнего, что следовало бы исключить».

Это не скромность художника, а твердое убеждение, образовавшееся после долгой художественной работы. Тем трезвее должны относиться молодые писатели к своим произведениям и тем меньше любоваться длиннотами, эпизодами, повторениями. У Толстого нет совсем биографий героев, тогда как у Тургенева и в особенности у Достоевского этих биографий целые словари. И толстовский прием самый натуральный, самый художественный. Когда мы знакомимся с новым человеком, разве мы расспрашиваем его биографию, наводим справки о том, где он учился, как и сколько, кто были его родители, какие обстоятельства сопровождали его жизнь? Разве мы требуем от него этой исповеди, которой добиваются с таким усердием и цинизмом прокуроры и следователи, ставящие себе задачею признать в человеке непременно преступника и осрамить его перед целым миром? Нет, мы не требуем. Иногда десятки лет мы знаем человека, составили о нем совершенно определенное мнение, любим его или не любим, а подробной биографией его вовсе не интересуемся. Случайно, мельком узнаем мы то или другое, да и это не изменяет нашего мнения, если мы видели человека в его делах и поступках. Нам нужна его душа в том виде, в каком она проявляется в настоящем, в сношении с нами и с другими, а вовсе не его прошлое. И это может быть особенностью русского характера, русской души – не справляться о прошлом, не ставить че-

ловеку в упрек то, чем он когда-то был, откуда он произошел и что он когда-то делал. Анну Каренину мы знаем только с того дня, как начался роман, и знаем удивительно подробно и ярко, а ее прошлое совсем нам неизвестно. Да и зачем оно? У тысячи женщин оно совершенно такое же, но из тысячи она одна могла погибнуть так, как погибла. До этого времени у ней не было никакой драмы, и она смешивалась с толпою и ничем из нее не выделялась, кроме своей красоты, обладание которою не от нее зависело. Настоящий художник дает без всякой биографии полный образ, ставя его среди яркой действительности, которая объясняет нам все. Биографический прием, очень легкий, сплошь и рядом является балластом, ничего нам не объясняющим, и биографии обыкновенно исчезают из нашей памяти. Ни в «Войне и мире», ни в «Анне Карениной» нет ни одной биографии, а люди являются прямо цельными и выпуклыми с первого мгновения, и вам и в голову не приходит спрашивать у романиста подробностей о прошлом его героев. Двумя-тремя словами, при случае, в живом разговоре, как это бывает и в жизни, сообщается об этом прошлом что необходимо для выяснения лиц романа. И эти лица живут перед вами среди людей и природы, которая тоже является постоянно действующим лицом – не в длинных описаниях и картинах, а в кратких намеках, в удивительных сравнениях душевных движений и действий человеческих с действиями природы и ее явлениями. Все говорит и движется со стройностью и противоречиями самой природы, с ее смыслом и разумом. И сам автор говорит и движется, волнуется и страдает. Он не вылезает из картины и из-за своих героев, но присутствие его вы слышите, вы ощущаете его настолько, насколько ощущаете присутствие Творца в его творении. Это то высокое и нравственное ощущение Творца в его творении, которое заставляет людей верить в добро и зло, в вечную борьбу их между собою, в победу добра над злом.

Не правда, что Толстой не тенденциозен, что он служитель какого-то бессознательного объективного искусства. Служителем такого искусства может быть только бессозна-

тельный и глупый человек, а Толстой умен. И он постоянно мыслит, им постоянно руководит известная идея или его собственная природа в том виде, в каком она развилась и установилась. Он необыкновенно искренний художник, и всякий должен быть искренним, ибо только искренность, полная искренность может дать оригинальность автору, раскрыть его природу, заставить отличать его от других. Читая его объяснения того или другого поступка, того или другого внутреннего движения, вы постоянно говорите: я чувствовал, и во мне гнездилось это самохвальство, это самодовольство, эта лживость, это тщеславие под видом скромности и великодушия. Сколько писателей знали, что они лгут на своих героев, и не смели этого сказать, чтоб не уронить их в глазах читателей. Толстой постоянно это смел, начиная с первых его произведений. Изобличить человека во лжи, доказать ему, что он лжет постоянно, лжет перед собою и другими, – значит объяснить все поступки, все то, что нагромоздилось в человеке веками и традицией. Граф Толстой как-то нам говорил: «Если б люди сговорились между собою только в одном – не лгать перед собою, и мир бы изменился».

Не внешнюю правду он отыскивает в своих произведениях, а правду внутреннюю, правду сердца и разума. Оттого у него нет совсем того, что в таком изобилии нагромождено у Золя и нагромождается у его поклонников, – это внешней правды, описывания скабрезных и бесстыдных действий якобы во имя правды, во имя реализма, а на самом деле во имя соблазна и дорогих человеку похотей. Толстой все умеет сказать, но так, что и ребенок прочтет. Никто не нарисовал так ярко физиологического влечения, как он в сценах Наташи и Курагина, и оттого всем понятная правда не выступила из берегов целомудренной правды. А сцена Вронского и Анны Карениной, когда она фактически изменяет мужу, – разве это не шедевр художественной деликатности? И в этом у него можно и должно учиться, не соблазняясь никакими иностранными образцами, которые правду искусства изображают распутной девкой, все себе позволяющей…

Можно было бы еще многое сказать, но мы спешим окончить и остановимся только на одной подробности. Толстой не только любит людей вообще, но он любит в особенности русского человека. В «Войне и мире» он даже патриот, русский патриот в лучшем значении этого слова, и разве только слепые этого не увидят. <…>

По поводу драмы Л. Н. Толстого

Сегодня только мы имели случай прочесть драму Льва Толстого, которая, кажется, должна называться: «Коготок увяз, и всей птичке пропасть»*. Эта драма – одно из тех высоких произведений, которые остаются вечными, ибо глубоко захватывают быт народный и народные характеры. Первый акт драмы – верх совершенства, и все акты превосходны по технике, даже по рисовке характеров, по удивительному народному языку, по тем оттенкам этого языка, которые замечаются у всякой личности, сообразно ее характеру, привычкам, занятиям. Ни в одной драме из народного быта, не исключая «Горькой судьбины» Писемского, нет такого удивительного языка, вместе и простого, и живописного. Чтоб уловить эти оттенки народного языка, надо не только гениальный талант, но то знакомство с народным бытом, какое есть только у Толстого. Ни одного сочиненного, ни одного лишнего слова. Драма ясно и стройно начинается с первых же слов, и лица выходят прямо во всей своей определенности и выпуклости, начиная с главных и кончая второстепенными. Мы слушали драму в чтении плохого чтеца и тем не менее не видали, как прошло около трех часов времени, вполне захваченные ее внутренним содержанием, ее характерами, ее изобразительным языком, последовательным и быстрым движением ее действия. Содержание ее страшно и впечатление чрезвычайно тягостное. Пружина драмы – старуха, радеющая о благо-

* Напечатанные у нас несколько строк об этой драме обобщены были по слухам, ходившим в публике. – *А. С.*

состоянии своего сына и не останавливающаяся ни перед чем, что-то вроде леди Макбет, ужасающая своим спокойствием и бессердечием, выработанным среди тягостной крестьянской жизни, и не чувствующая даже потребности раскаяния, так кажется ей все это просто и обыкновенно. Ее муж, напротив, олицетворение доброты, мягкости, жизни «по-божьему» и какой-то непосредственной простоты, выражающейся даже в его странном, простоватом языке, способном вызвать иногда добродушную улыбку. Как его жена готовит сыну гибель, красавцу Никите, девочнику и бабнику, но довольно доброму, хотя и бесхарактерному, так отец своей личностью и своим взглядом на жизнь «по-божьему» освобождает его от тяготы совести – убедить, покаяться всенародно среди брачного пира*. Сын, впрочем, уже готов ко всему, он готов даже накинуть на себя веревку и повеситься от той тоски, которая мучит его после совершенного им по наущению своей жены и матери преступления – убийства ребенка, прижитого с падчерицей. Эта сцена покаяния заканчивает драму необыкновенно патетической в самой простоте своей нотой. Среди веселья и песен, предшествующих отправлению молодых в церковь (падчерицы Никиты и ее жениха), Никита является босой, в сопровождении своего отца, Акима, и начинает каяться в своих преступлениях, принимая на себя даже те, о которых он только знал, но не совершал их. Потом он просит прощения у женщины, которую он обманул, у падчерицы, с которою жил, и у отца. Он говорит ему: «Батюшка родимый, прости ты меня, окаянного. Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: “коготок увяз и всей птичке пропасть”, не послушался я, пес, твоего слова и вышло по твоему. Прости меня, Христа ради». Аким приходит в восторг от этого сыновнего покаяния и говорит: «Бог простит, дитятко родимое. (Обнимает его.) Себя не пожалел, Он тебя пожалеет, Он тебя пожалеет, Бог-то, Бог-то». Когда это

* Я должен заметить, что в драме этого нет на сцене, но об этом можно догадываться, принимая во внимание окончание 1-й картины 5-го акта и начало 2-й картины того же акта. – *А. С.*

«божье дело», по выражению Никиты, совершилось, урядник и староста составляют акт и вяжут преступника.

Четвертый акт, где происходит убийство новорожденного и закапывание его в погреб, едва ли возможен на сцене уже потому, что вряд ли чьи нервы способны выдержать этот ужасный акт, написанный, однако, мастерски и полный драматического движения. Во всех других актах нет ничего такого, помимо некоторых выражений, пожертвование которыми ровно ничего не отнимет от пьесы, – нет ничего такого, что бы препятствовало появлению ее на сцене. Но надо прекрасных актеров на все роли, надо много репетиций, чтобы поставить драму так, чтобы она шла так же стройно и плавно, как она написана, во всей ее необычайной гармонии и изобразительности. По этой драме можно судить, что граф Толстой обладает строем драматического изложения жизни в таком же совершенстве, как и строем этой жизни в эпическом. Он такой же великий романист, как и драматург, и форма драмы, не столь свободная, как форма романа, явилась в его руках послушным орудием.

Г-жа Савина[1] случайно узнала о существовании этой драмы, съездила к графу Толстому и получила от него позволение поставить драму в свой бенефис. Для г-жи Савиной в драме нет выдающейся роли, но она прекрасно сделала, что хотела поставить эту драму в свой бенефис. Говорю «хотела», ибо этому желанию явились препятствия. Граф Толстой вверил свою драму г. Потехину[2], как писателю, знакомому с народным бытом и сценой, и предоставил ему пометить те исключения и сокращения, которых она может потребовать со стороны сценических условий. Г. Потехин нашел, что вещь эта прекрасная и что он не находит в ней ничего изменить. Так, по крайней мере, я слышал. Как взглянуло на драму начальство г. Потехина, мне неизвестно, но цензура потребовала изменений, и граф Толстой взял свою драму для переделки. Если он решился ее переделать для сцены, то было бы желательно видеть ее в отдельном издании в том самом виде, в каком она написана и в каком составит одно из лучших его произведений.

У нас, на Александринской сцене, есть какое-то странное предубеждение против пьес из народной жизни. Они грубы, в них лапти и грязь, они скрипят для образованного уха. Это удивительно. Какая масса лжи, безнравственности и всякой дряни выставляется в пьесах из образованного быта! Неужели вся эта нравственная мерзость лучше лаптей и мужицкой грязи единственно потому, что она прикрыта бархатом, сукном и кружевами, потому что она совершается среди роскоши и блеска? Давайте нам грязь и мерзость жизни, давайте нам всякие преступления, но пусть эти отвратительные лохмотья испорченности будут прикрыты изящной одеждой. Мы не выносим наружных лохмотьев, но лохмотья внутренние – давайте их нам, мы их поставим и обставим, мы даже постараемся сделать их привлекательными в глазах толпы при помощи блеска и мишуры. Пусть леди Макбет совершает преступления, ужасные преступления, но она старается доставить корону своему мужу, она сама делается королевой и покрывает преступление всей королевской роскошью. Но русская баба, совершающая преступления в крестьянской одежде, – это невозможно. Нельзя показывать крестьянскую жизнь во всей ее правде, с ее добром и злом – это ужасно, это портит наш изящный вкус, это выводит нас из обычной колеи всяческой лжи и лицемерия. Духи, шелк, бархат, кружева – вот наша сфера. Тут мы смеемся над браком, над родительскими правами, их любовью, над чистотою чувства, над невинностью, над властью, над нравственной дисциплиной, тут мы встречаем с удовольствием разнузданный цинизм слов и движений, тут мы наслаждаемся скабрезными намеками и двусмысленностями. Оперетку самую подлую по своему смыслу, по своим подробностям мы предпочтем нравственному впечатлению, которое получается от драмы из крестьянской жизни. Вот среди каких противоречий мы живем, вот как лживо устроены наши нервы и наши понятия. В надушенной и раззолоченной атмосфере мы лжем на каждом шагу, и эта ложь мила нам в такой степени, что мы спешим отвернуться от резкой правды. Не потому ли это, что даже то самое ужас-

ное, что есть в этой драме, отравление мужа, убийство ребенка – практикуется и в образованных сословиях, но не так голо? Мне даже кажется, что граф Толстой, в сущности, дает нам картину не крестьянской только жизни, но вообще нашей жизни, бегущей за успехами и наслаждениями, но только в той резкой форме, какую ей дает не прикрашенная лоском и фразою крестьянская жизнь. Разница та, что у нас отец не выдаст своего сына, не станет убеждать его покаяться, когда за этим покаянием следует каторга…

«Послесловие» к «Крейцеровой сонате»

«Послесловие» Л. Н. Толстого к «Крейцеровой сонате» я прочел только на днях: оно почти целиком воспроизведено в книжке проф. Гусева[1] «О браке и безбрачии»*.

Для кого нужно было это «Послесловие»? Для многих, – говорит автор: «В письмах ко мне многие просили объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа». И он объяснил, действительно, в простых и ясных словах, что он думает. Он думает о необходимости целомудрия и воздержания, о том, что оно «менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание»; он думает о том, что для целомудрия надо «не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда, не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда». Он думает так потому, что всего этого нет в современном обществе, а видит он нечто другое, что совсем не хорошо. Он видит, что супружеская неверность сделалась во всех слоях общества «обычным, приятным поступком, украшающим жизнь»; что «происходит это не столько от вложенного в человека животного свойства стремления к продолжению рода, сколько от возведения этого животного свойства (поэзией, повестями, романами, операми, романсами, картинами) на степень поэтического блага и младенчества», между тем как

* Проф. А. Гусев. О браке и безбрачии. Против «Крейцеровой сонаты» в «Послесловии» к пр. графа Л. Толстого. Казань, 1891. Стр. 104. Ц. 65 к. – *А. С.*

на самом деле «влюбление и плотская любовь» есть «унизительное для человека скотское состояние». Он видит, что деторождение, «вместо того, чтобы быть целью и оправданьем супружеских отношений», сделалось «помехой для приятного продолжения любовных отношений», а потому, по внушению медицины, «стало распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения, или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в крестьянских патриархальных семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении». Он видит, что «дети воспитываются не в виду тех задач жизни, которые предстоят им, а только в виду тех удовольствий, которые предстоят им. И вследствие этого «дети людей воспитываются, как дети животных»; вся забота родителей, по внушению медицины, состоит в том, чтобы «как можно лучше напитать их, увеличить в них количество мяса, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми. Их всячески холят, моют, много кормят и не заставляют работать; если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, взгляд же один и тот же, и в перекормленных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая мучительная чувственность. Наряды, чтение, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картины на коробочках до романов, повестей и поэм, еще более разжигающих эту чувственность». «В нашем обществе, вследствие приданного ложного значения плотской любви и сопутствующему ей влюблению, главные силы людей поглощены в лучшее время их жизни, мужчин – выглядыванием, приискиванием и овладением наилучших предметов любви, для достижения чего считаются простительным ложь и обман; женщин и девушек – заманиванием и вовлечением мужчин в связь или брак, для чего женщины не брезгают употреблением самых низких средств». Чтобы всего этого не делать, «люди должны понять, что цель, достойная человека, – служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли, не говоря уже о служении Богу, – непременно на-

ходится вне личного наслаждения и что поэтому вступление не только в связь, но и в брак, с христианской точки зрения, есть не возвышение, а падение, потому что влюбление и сопутствующая ему плотская любовь, как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе, никогда не облегчает достойной человека цели, но всегда затрудняет его». Утверждая, что «христианского брака быть не может», что Христос не устанавливал брака и ученики его не женились, Толстой признает, что есть «христианское отношение к браку», которое заключается в следующем: «христианин не может смотреть на плотское общение иначе, как на отступление от учения, как на грех; если христианина застанет познание истины уже в браке, то он не может делать ничего, как, не покидая жены, или жена мужа, если говорить о женщине, стремиться с участницей или участником греха к освобождению себя от него, к наибольшему целомудрию в браке и к конечному идеалу, к замене плотской любви чистым отношением брата и сестры».

Ранее г. Гусева «Крейцеровой сонате» посвятил одну из своих «Бесед»* покойный архиепископ Никанор[2], доказывая, что брак есть христианское учреждение; г. Гусев говорит об этом еще пространнее, доказывая ссылками на Евангелие, что брак утвержден Христом, что указывая фарисеям на Библию (Быт. 2, 24), Христос разъяснил: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», что в Кане Галилейской Христос благословил самый брак своим присутствием и совершенным там чудом, а потом благословил детей, как плод брака (Мф. 19, 13–15); г. Гусев указывает на то, что Христос исцелил тещу апостола Петра (Мф. 8, 14–15), что жена апостола Петра сопровождала его даже на пути к мученичеству, стало быть, Л. Н. Толстой не прав, говоря, что апостолы не женились. Кроме того, сами апостолы при жизни своей разрешали быть женатыми даже и епископам. Одним словом, можно сказать, что Л. Н. Толстому доказано неопровержимо самим

* Беседа высокопреосв. Никанора, архиеп. херсонского и одесского, о христианском супружестве, против графа Толстого. Изд. 2-е, дополненное. Одесса, 1800. – *А. С.*

евангельским текстом и самою раннею историей христианства, что Христос установил и благословил брак.

Мне даже думается, что все это и доказывать было бесполезно. Если в основе христианства лежит любовь к ближнему, любовь к людям, то не может лежать в нем основой отчаяние за род человеческий. А допуская, что половая любовь есть падение, грех, отступление от христианского учения, надо допустить, что Христос совершенно отчаивался за человечество и не видел для него другого пути, кроме самоуничтожения. Я не могу себе представить ни чувством, ни рассудком, что Христос явился на землю для того, чтобы сказать людям, чтоб они как можно скорее помогли друг другу уничтожиться и предоставили бы землю с ее солнцем, с ее благами в распоряжение зверей, птиц и гадов, которым одним только и можно плодиться, и множиться, и наполнять собою землю…

Отсылая читателей к книжке г. Гусева, где он приводит, между прочим, соборные постановления Церкви в параллель с нравственными требованиями Толстого, я думаю поговорить совсем о другом, хотя и по поводу этого же «Послесловия».

Прежде всего – зачем оно нужно было? Все те нравственные выводы из повести, которые делает гр. Толстой в «Послесловии», были ясны сами собою. Для ссылки на Евангелие? Но она оказалась несостоятельною. Чтобы сделать понятнее и влиятельнее самую «Крейцерову сонату»? Но мне думается, что граф Толстой достиг противоположного.

Читая летом прошлого года упомянутую «Беседу» архиепископа Никанора о «Крейцеровой сонате», я искренно огорчился не только тем, что архиепископ называл Толстого «юродом», «сумасшедшим», «велиаром» и пр., но даже тем, что он не однажды говорил: «Поучает герой Толстого, т.е. сам Толстой» или «проповедует герой Толстого, т.е. сам Толстой». Для меня было совершенно ясно, что Позднышев совсем не Толстой, что Позднышев – превосходно созданное художественное лицо. Человек, совершивший отвратительное преступление, в течение нескольких месяцев тюремного заключения имевший возможность оглянуться на свою

жизнь, осудить ее и понять всю ее пошлость и презренность, человек, оправданный судом, что только прибавило ему горечи, ибо отняло возможность «пострадать», лишенный своих детей, осужденный на одиночество, с неотступной мыслью о своей жизни, без всякого утешения в настоящем и без всякой надежды в будущем, такой человек естественным ходом своих мыслей и своего возбужденного состояния мог придти именно к необходимости «уничтожения рода человеческого» и искоренения плотской любви, которая ему, Позднышеву, отравила всю жизнь. Самая форма повести превосходна – форма исповеди и рассуждений о воспитании, о любви, о браке. Именно так, а не иначе мог каяться такой человек, как Позднышев. Он не достиг смиренного, безусловного покаяния, которое одно только и действительно: он каялся не как мытарь, а как проповедник, желающий, чтоб его слушали и удивлялись его искренности. Он действительно искренен, он откровенен до цинизма, до самоотвержения, но эта откровенность объясняет его поведение и как бы оправдывает его. Это вполне современный грешник; он не теряет своей самоуверенности ни тогда, когда женится, ни тогда, когда убивает, ни теперь, когда кается; теперь он только лучше понял себя и других и спешит проповедовать те истины, до которых он додумался, ибо ему мало того, что он анализирует сам с собою, этот анализ кажется ему таким красивым и убедительным, таким решительным и новым, что ему обидно, если б все это пропало даром; ему приятно поэтому выдать эти выводы из своего греха другим за философскую истину. Столько простых грешников и преступников, но он не простой, он исключение из общего правила, а потому и преступление его должно быть поучительным. Каясь и анализируя себя беспощадно, он остается таким же эгоистом, каким был и до преступления. Не видя для себя никакого просвета впереди, он желает, чтобы другие уверовали в то, что спасение только в безбрачии и целомудрии до конца дней.

Так, по крайней мере, я понимал Позднышева, и вся повесть казалась мне шедевром и по форме, и по содержанию.

Я чувствовал всю ту правду, которую Позднышев говорит о воспитании, о женщинах, о браке. Эту правду чувствовал и убежденный противник графа Толстого, покойный архиепископ Никанор, сказавший в своей «Беседе»: «В фактической стороне этой новой проповеди (т.е. «Крейцеровой сонаты») заключено *много поражающей, неслыханной правды*. В прежнее время о ней и не принято было говорить. Прежде многие знали ее про себя и помалкивали. Толстой первый назвал ее по имени вслух всего света»*. Но, чувствуя эту фактическую правду, даже пораженный ею, я отметал все крайние выводы Позднышева, как типа того порядка, о котором я говорил. И вот вдруг Л. Н. Толстой подтверждает своим «Послесловием» мнение арх. Никанора, что автор «Крейцеровой сонаты» «влагает ему (Позднышеву) в уста не иное что, как свои излюбленные, известные толстовские идеи…»

Для меня это было совершенно неожиданно. Л. Н. Толстой ни в каком отношении не похож на Позднышева, как Сервантес не был похож на Дон-Кихота. Автор «Крейцеровой сонаты» – счастливейший человек не потому только, что владеет огромным дарованием «сжигать сердца людей», не потому только, что высоко стоит среди мировых писателей, но и потому, что семейная жизнь его одна из счастливейших. Желать больше счастья, чем он всегда его имел, было бы бессовестно, по крайней мере с точки зрения среднего человека. И если Толстой говорит, что брак есть падение человека, что безбрачие и уничтожение рода человеческого является высшим идеалом

* Покойный архиепископ оговаривался, что Толстой «преувеличил правду до уродливости». Но преувеличение есть непременное условие не только художественного произведения, которое собирает детали в один фокус и одухотворяется известным настроением, но и прочувствованной церковной проповеди, чему примером могут служить и «беседы» самого архиепископа Никанора, далеко не лишенные всяких преувеличений и даже полемического задора. Но эти произведения, имея в виду овладеть душою читателей или слушателей, рисуют пороки не столько для того, чтобы подействовать на порочных, а главным образом для того, чтобы защитить чистых и честных и пробуждать в них еще большую энергию хорошего примера, найти в них, так сказать, своих помощников для сияния добра и правды на земле. Художник-проповедник и церковный проповедник в этом сходятся. – *А. С.*

человека, то ему решительно никто не поверит, тогда как в устах Позднышева эта проповедь является весьма естественною. Таким образом Л. Н., став на место Позднышева, разрушил ту таинственную, странную, но тем не менее существующую связь между художественным созданием и читателем, т.е. ослабил значение и силу самой «Крейцеровой сонаты».

Такие авторские разъяснения у Золя и Доде, у Тургенева и Гончарова не только всегда гораздо хуже произведения, которое они разъясняют, но и ослабляют впечатление от разъясняемого произведения, делая его слишком личным. Художественный образ принимается во всей его целости, он стоит перед вами, как нечто весьма знакомое, близкое нам, как живой пример, как историческое лицо, и сильно действует именно своей целостностью. Мы, публика, очень мало беспокоимся об авторе и, имея дело с произведением художественным, видим *живых людей* в его созданиях, а сам он для нас почти мертвый человек. Художественные произведения – дети художника: они живы теперь и будут живы тогда, когда и от праха их отца ничего не останется; это его бессмертное потомство, вокруг которого мысль многих поколений будет обращаться. Мы воспитываемся на сочинениях автора, на жизни его героев, а вовсе не на жизни создателя их.

Представьте себе Рафаэля, который, написав Сикстинскую Мадонну, пошел бы по площадям и кричал всем, что эту Мадонну он написал с такой-то своей знакомой женщины, а ребенок Христос – сын ее соседки. Как бы эта откровенность (в сущности фальшивая, ибо дело не в том, с кого он списывал, а в том, как он написал) подействовала на современников художника? Не лучше ли во сто раз, что я не знаю, с кого он списал свою Мадонну, что, глядя на нее, я вовсе не смущаюсь мыслью о каком-нибудь земном образце. Это самое можно сказать о всех художественно изображенных лицах, идеальных, положительных и отрицательных, ибо они никогда не представляют собой одно какое-либо лицо, а сумму лиц, целые ряды личностей, настроение целой эпохи или известного времени. Художнику незачем говорить: «Это я, это мои мысли, я этим вот то-то хотел

сказать», – плохому произведению эти изъяснения не помогут, хорошему только повредят, разрушая впечатление живого примера, разрушая, как я сказал, таинственную, но крепкую связь между художественным произведением и читателем. И я знаю многих, которые, прочитав «Послесловие», вдруг охладели к «Крейцеровой сонате»: на ее поучения, на ее мораль как будто надета была этим «Послесловием» какая-то рубашка из прописей, и от самой повести повеяло холодом, как от проповеди, лишенной обаяния храма и ораторского таланта проповедника…

Первый свободный русский писатель

– Что ты все судишь? Ну, уехал от них и наплюй. Чего судишь? Брось.

Так говорил казак Епишка (в повести «Казаки» – Ерошка) Л. Н. Толстому, когда, приходя к нему в Новомлинской станице, заставал его пишущим. Епишка думал, что писать – значит судить, судиться. Сколько в эти дни будет написано «судебных» статей о Толстом, о его великой прожитой им жизни! Может, следовало бы сказать нам всем, писателям, как Епишка говорил Толстому:

– Бросьте судить. Радуйтесь, что он русский, что он так много дал своей родине на многие века и что он, слава Богу, еще жив и так бодр в свои восемьдесят лет, что мог прошлой зимой ездить верхом 15 верст в день. Чего еще о нем не сказано? И что еще надо сказать? Да ведь то, что он написал в своих романах и повестях, несравненно, несомненно важнее того, что о нем напишут. Что о нем напишут даже талантливые люди, то останется только в каталогах, а вся газетная о нем «словесность» не войдет даже в каталоги, да и никому она не нужна. Миру нужно только великое и гениальное да то полезное, не хитроумное, которое чему-нибудь научает в жизни. Берите из Толстого, из этой сокровищницы русского гения, читайте и славьте Бога, что он дал русскому человеку такую чудесную душу и что в лице этого человека русское

имя пронеслось во все концы земли и там зацарствовали русские живые люди и русская душа. Он запечатлел в своих произведениях все то великое и прекрасное, что есть в русской жизни, все «русское, доброе и круглое», – употребляю его выражение о Платоне Каратаеве, который служил олицетворением этого «русского, доброго и круглого», и не пропустил ничего скорбного, глупого и злого, чтобы не осудить его. Епишка был прав, когда видел молодого Льва Николаевича пишущим, – Толстой писал и «судил».

Работая, он стал таким сильным богатырем, что никто не смел его тронуть в его творческой свободе. Это – первый и единственный русский писатель, который раньше всех испытал полную свободу на Русской земле и жаловался не на то, что его преследовали, посылали в ссылку, сажали в тюрьму, а на то, что его не преследовали и не сажали в тюрьму, жаловался на то, что его оставляли в покое за то самое, за что столь многие до него и при нем много пострадали. Он был исключением из общего правила, как гений; он явился монархом в русской современной литературе, если не самодержавным, то ограниченным только относительно издания своих богословских и некоторых публицистических сочинений. Как художник, как романист он был самым самодержавным и благодетельным монархом; он знал только свой собственный суд и пользовался неограниченной свободой. С самого детства он окружен был таким довольством и счастьем, каким редко пользовался гениальный человек, и подходит к концу жизни таким же счастливцем. Жизнь его – эпическая поэма без потрясающих трагических сцен, без того ужаса, который угнетал душу гениальных людей и держал ее в цепях и мучил. В сравнении с ним как был несчастлив и несвободен величайший русский писатель Пушкин, не только в своем творчестве, но и в своей жизни, даже в своих материальных средствах. Даже от них зависело его творчество. Отлучение от Церкви или вчерашний указ Св. Синода, осуждающий «учительную» литературу Толстого, но признающий его «одним из великих писателей не только русской, но и всемирной литературы», губернаторские

распоряжения не праздновать его юбилея, конечно из боязни нарушения «общественного порядка», – это даже едва ли булавочные уколы в сравнении с тем, что испытывал Пушкин. В своем «святая святых», в своем вдохновении, он был постоянно стеснен, он не мог даже для самого себя или для будущего набросать своих смелых мыслей и просившихся образов, потому что стоглавые аргусы следили за каждым его дыханием. И, может быть, остались без исполнения его лучшие, его благороднейшие вдохновения. Надо удивляться, что он набрасывал одно время свой «Дневник», куда заносил современные факты и смелые суждения. Толстой никогда не был в этом положении. Замечательно, что «Евгения Онегина» он прочел лет 26-ти и совершенно случайно. Он возвращался с Кавказа и, остановившись на какой-то почтовой станции, спросил у смотрителя себе какую-нибудь книгу на ночь. Он дал ему том Пушкина, где был «Евгений Онегин». Толстой взял, подумав, что хорошо, что стихи, – скорей заснешь. Но в эту ночь он не спал. Прочитав «Евгения Онегина» до конца, он развернул книгу в начале и прочитал его в другой раз до конца.

Упомянув об указе Св. Синода, я думаю, что выражения его, будто Толстой «разрушил своим учением все то, что составляет единственную основу истинно разумной, нравственной частной, общественной жизни и твердую живую веру в Христово учение», – требуют поправки. По моему мнению, Толстой ничего не разрушил уж потому, что он жил, живет и будет жить в сердцах людей своими художественными произведениями, а все остальное, что он написал, останется для любителей. Это «остальное» – только придаток к главному, от которого все зависит. Если б Толстой написал только это «остальное», он остался бы малозаметной величиной не только во всемирной, но даже в русской литературе. Если это «остальное» получило свое значение, то только потому, что уже были написаны им такие художественные произведения, которые признаны были всем миром гениальными. Он был уже монархом в русской литературе, а известно, что всякое слово монарха имеет значение, если даже оно само по себе и незначительно.

Его художественная деятельность поистине чиста и нравственна, как кристалл. В ней нет ни одного пятна. Самый придирчивый человек не найдет в ней ничего безнравственного. Нигде он не позволил себе ничего соблазнительного, кроме добра и красоты, которыми только и соблазнительны его произведения.

Говорят, в «Войне и мире» была одна сцена между Пьером Безуховым и Элен, сцена очень чувственная, но превосходно написанная. По просьбе графини Софьи Андреевны он сцену эту выпустил, и рукопись ее хранится в Румянцевском музее. В «Воскресении» есть сцена в церкви, которую он не хотел пускать в печать по просьбе сестры своей, монахини, Марьи Николаевны. Но Чертков в своем усердии напечатал ее в заграничном издании этого романа: сцена эта только для любителей запрещенного, художественной цены не имеет. Да, весь художественный Толстой в высокой степени нравственный, чистый и даже религиозный тою религиозностью, которая ищет Бога и верит в него, хотя и не по-церковному. Толстой писал так, чтоб не оскорбить ни одной невинной души и вместе с тем оставаться глубоко правдивым. О Христе Толстой повторял только то, что гораздо раньше его было написано учеными в Германии и Франции. Но учение христианское Толстой высоко ставит.

Я утверждаю, что Толстой – патриот. Читайте «Войну и мир». Это – наша «Илиада», полная высокой нравственности, русского национального чувства, патриотизма. По «Войне и миру» будут русские долго учиться любви к родине и почитанию тех народных свойств, которые не называются иначе, как патриотическими. Толстой написал потом брошюру против патриотизма, но ее доводы ничто в сравнении с чудесными по красоте своей и убедительному патриотизму картинами и размышлениями «Войны и мира». Везде в этом романе чувствуется именно русский человек, русская правдивая и искренняя душа, любящая Россию. К иностранцам, не только к тем, которые служили в русской службе, но и вообще к ним, Толстой относится с явною, иногда злою иронией. Он как будто мстит Наполеону за его набег на Россию, беспощадно тре-

тируя его личность. Устами Андрея Болконского он говорит о Барклае: «Пока Россия была здорова, ей мог служить и чужой, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». Известно, как защищает Толстой Кутузова и как художник, и как историк-мыслитель. «Для русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя быть: это было хуже всего... Та барыня, которая еще в июне месяце со своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтоб ее не остановили по приказанию Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию». Так мог говорить только глубокий русский человек.

Для меня несомненно, что «Война и мир» завоюет века в русской литературе и еще дождется своей оценки, которой лишен был до сего времени этот удивительный роман. Если правда то, что говорят о романе или повести «Хаджи-Мурат», то весь XIX век изображен Толстым в «Войне и мире», «Хаджи-Мурате», «Анне Карениной» и «Воскресении». Вся наша новейшая история, все наши доблести, пороки и заблуждения. И сколько не только таланта, но и ума, превосходных замечаний, бьющих своей правдою или остроумием мыслей, и каким роскошным русским языком все это написано!

Дай бог счастливому и великому старцу-писателю прожить до ста лет. Жизнь прекрасна и в глубокой старости за те счастливые и радостные мгновения, которые дает она и в это скупое время. Толстой заслужил свою долгую жизнь, и тем радостнее должна быть его старость, тем чаще она может украшаться счастьем, другим в эти годы уже чуждым. Когда отойдет в сторону и в даль вся эта жгучая современность с ее недоразумениями и враждою, с ее мелкими и крупными заботами о сегодняшнем дне, когда могучее время пройдет своим плугом по русской ниве, – великолепные произведения Толстого будут считаться и читаться, как чистые перлы великой русской души, как чудесные поэмы сильного русского народа, из которого вышел этот избранник Божий.

А. П. ЧЕХОВ

«Вишневый сад»

Я только сейчас удосужился посмотреть «Вишневый сад» Чехова и слушал эту пьесу с большим удовольствием. Может быть, это не «пьеса», потому что в ней мало того, что называется «движением». Но если принять во внимание среду, где происходит действие, т.е. характеры, интригу или случай, на котором основана драма, то, пожалуй, замечание о «движении» окажется произвольным. Можно на этом настаивать, можно и не настаивать. Это яркая картина русской жизни, распущенности, халатности, ничегонеделания, благородных разговоров, именно благородных монологов, а не чувств и не действий. «Восьмидесятник», один из ничтожнейших людей, но по-своему хороший человек, говорит одушевленный монолог, обращаясь к столетнему книжному шкафу. Это очень зло. Благородное пустословие дальше этого идти не может. Дерево остается деревом, да и люди не лучше, ибо они слушают апатично, и чем старее, тем апатичнее. Охают, ахают, видят, что все трещит и лопается, но все надеются на то, что авось что-нибудь случится, что бабушка даст денег, тетушка смилуется, выпадет выигрыш в 200 тысяч, а то так просто какое-нибудь чудо совершится, какая-нибудь неожиданность явится на выручку. А жизнь ни на йоту не меняется. Все изо дня в день, одно и то же, нынче, как вчера. Говорят, наслаждаются природой, изливаются в чувствах, повторяют свои излюбленные словечки, пьют, едят, танцуют, – танцуют, так сказать, на вулкане, накачивают себя коньяком, когда гроза разразилась, или вспоминают свои амуры, плачут, кричат в бессилии и, как стадо беззащитных овец, безмолвно уходят в такую же жизнь, бессмысленную, недеятельную, глупую, но с постоянной надеждой ленивого нищего, который вполне уверен, что с голоду

не умрет, и даже кто-нибудь так раскошелится, что и выпить можно, и с женщиной позабавиться, и сытно поесть хоть изредка. И все это «порядочные» люди, честные люди, с гордостью. Интеллигенция, вспрыснутая в это дворянство, говорит хорошие речи, приглашает на новую жизнь, а у самой нет хороших калош. Полуинтеллигенция, кулачество, работает и забирает дворянские имения и все то, что интеллигенция не в силах взять. Она раздражается, негодует, но потом сейчас же и пасует, ибо не находит в себе силы на борьбу даже с тем кулачеством, которое несколько почистилось и сознает свою отсталость перед образованностью.

Я считаю «Вишневый сад» лучшею пьесой Чехова. Она лучше, глубже, шире, чем «Чайка», которая мне всегда нравилась, чем «Дядя Ваня», не говоря уже о «Трех сестрах», которые мне совсем не нравились и которые, во всяком случае, обнимали очень узенькую атмосферу провинциальной жизни с ее стремлениями в Москву. В «Вишневом саду» полная беспомощность, полный «авось». Ни Москва, ни Петербург тут уж не помогут. Просто слепые надежды слепых, глухих, безногих и безруких. Разоренному дворянину обещают место в банке. Это бывает, но он наверно попадет под суд, потому что станет подписывать всякую гадость и удостоится сопричислиться с мошенниками, несмотря на то что он «восьмидесятник» и честный человек, полный хороших монологов о самостоятельности, самосознании, независимости и т.п. добродетелей, вычитанных и воспринятых из хороших книг.

«Вишневый сад» по литературным достоинствам, по чувству поэзии русской природы, русского быта, по-моему, выше исполнения, хотя оно очень тщательно и в высокой степени добросовестно. Декорации дома превосходны. Собачий лай, кукушка и т.д. нисколько не занимательны. Мне говорят: «Да это так в деревне всегда». Может быть, но в театре можно обойтись без собачьего лая, даже следует, ибо интересного в этом ничего нет, когда есть умное слово, живая человеческая мысль. Я считаю эту пьесу политическою, потому что она, хотя и в мягких тонах, скорее грустной иронии, чем сатиры, рисует широ-

кие слои нашей интеллигенции и как бы призывает к работе, к труду. Этих жалких овец совсем не жалко, но жаль русскую жизнь, жаль культурных гнезд, которые разоряются не потому, что хищники на них набрасываются, коршуны и вороны разоряют их, а потому, что не умеют сами владельцы гнезд снова их устроить и обновить. Кладут яйца и выводят детей все в старых гнездах, сделанных отцами и дедами при крепостном труде с его беззаботностью и беспечностью.

Жаль русского человека, который так опустился, что не находит в себе никакого протеста, кроме слез, причитаний и согнутой, понурой спины, которую показывают действующие лица при окончательном падении занавеса. Лица исчезли, остались спины...

Сам Чехов – русский человек до мозга костей. Не дворянин по рождению, он не плюет на дворянскую жизнь, на дворянский быт, как многие другие, а относится к ним с чувством глубокого русского человека, который сознает, что разрушается нечто важное, разрушается, может быть, по исторической необходимости, но все-таки это – трагедия русской жизни, а не комедия и не забава. Отрезаются прочь хорошие части общего русского тела в то время, когда жизнь нуждается в крепких, в образованных основах. Умирать мы умеем, но бороться еще не выучились, умирать с надеждой на воскресение, на лучшую жизнь. Поэтическое чувство многое подсказывает Чехову, чего, может быть, толпа и не разумеет вполне. Но та публика, которая так внимательно слушает пьесу, так симпатично относится к ней, она вместе с поэтом, вместе с его страдальческой душой чувствует всю горькую правду и расходится с благодарностью к нему.

Умер Чехов

1904 год оправдывает дурную славу високосных годов. Смерть кричит теперь повелительным голосом. Вчера Чехов успокоился вечным сном.

Уже десять лет тому его одолевал кашель и были сильные перебои сердца, о которых он не раз упоминал в своих письмах ко мне. Из Ялты в апреле 1894 г. он писал об одном своем сердечном припадке. «Чувство теплоты и тесноты, в ушах шум… Быстро иду по террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих». И чахотка давно таилась в его груди. У него случилось первое кровохарканье в Сибири, через которую он ездил на Сахалин (1890 г.). Но потом он чувствовал себя лучше. Первый сильный припадок чахотки, кровоизлияние, вследствие чего он лег в клинику, случился при мне в Москве в 1896 г., когда мы с ним сели обедать. Было это как раз в день разлива реки Москвы. Я увез его в гостиницу и послал за врачами. Один из них был его приятель. Когда, осмотрев его, они уехали, он сказал мне: «Вот какие мы. Говорят врачи мне, врачу, что это желудочное кровоизлияние. И я слушаю и им не возражаю. А я знаю, что у меня чахотка».

Но врачам до этого случая он не показывался и старательно скрывал от родных свою болезнь. Это была натура деликатная, гордая и независимая. В ней глубоко лежало что-то самоотверженное. Он начал писать еще студентом; родители его, на руках которых были еще сыновья и дочь, жили бедно, и его ужасно огорчало, что на именины матери не на что сделать пирог. Он написал рассказ и отнес его, кажется, в «Будильник»[1]. Рассказ напечатали, и на полученные несколько рублей справили именины матери. И с этого времени он стал кормильцем своей семьи. Все, что он делал, он делал необыкновенно просто. Строил ли он школу для крестьян, а он построил их несколько, помогал ли кому, принимал ли в ком участие, он исполнил все это как будто в силу какой-то врожденной обязанности, самой простой. Казалось, человек жил, ничем не задаваясь, ни к чему не стремясь, жил потому, что родился, но все то, что близко ему было, что находило отклик в его душе, все это получало от него какую-то здоровую теплоту. Его душа была так богата прекрасными дарами, что всякий, приближавшийся к нему, испытывал это. Это был как будто самый обыкновенный человек, со всеми слабостями, с самыми обычными требованиями от

людей и от жизни; в какой-нибудь компании его трудно было отличить от других: ни умных фраз, ни претензий на остроумие, ни ложной скромности, ни каких-нибудь особенностей в костюме, которыми теперь, по примеру иностранцев, начинают отличаться новые «знаменитости», быстро попадая в боги и думая, что надо носить если не перо и шпагу, то какой-нибудь кафтан или куртку. Все в нем было просто и натурально. Он был как будто выражением всей той обыденной жизни, которую он изображал так превосходно, как настоящий мастер, и в которой герои и героини – такие же обыкновенные люди, как он. Он любил свою среду и сторонился от всего того, что было ему так или иначе чуждо. Наедине с приятелем или в письмах он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о жизни, но опять же без всяких вычур, без той литературности и назидательности, в которых можно было бы увидеть какие-нибудь претензии человека, поставленного на значительную высоту в родной литературе. Никогда он не стремился ни учительствовать, ни проповедовать. Я не сделаю никакого преувеличения, если сравню некоторые его письма с письмами Пушкина. Та же искренность, та же простота, тот же ясный слог, та же независимость мысли от какого-нибудь «направления». Он был глубоко оскорблен, когда бывший Союз писателей выбрал его в свои члены[2] незначительным большинством за повесть «Мужики», которая, будучи правдива, грешила против тенденций Союза. В нем соединялся поэт и человек большого здравого смысла. Художественная объективность как будто руководила им и в жизни, и он смотрел ей смело в глаза и самостоятельно разбирался. Я позволю себе привести следующие его строки из его письма ко мне из Ялты (1894 г., кажется, – он иногда не ставил на своих письмах года): «Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах,

я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч., и проч. …… Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау[3], я читаю просто с отвращением. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: "чего-нибудь кисленького". И это не случайно, так как точно такое настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью…»

Он ошибался. Мамаем оказались не естественные науки, а что-то другое. Науки присмирели и даже попрятались.

Я познакомился с Чеховым давно, вскоре после появления его первого рассказа в «Новом времени» (в 1886 г.). Он работал до того в «Петерб. газете», подписываясь *А. Чехонте*. Я написал ему, чтобы он бросил этот псевдоним и подписывался своей фамилией. Так он и сделал и стал более или менее обрабатывать свои рассказы. Прежде он писал быстро, как бы мимоходом, как пишет журналист. Он мне говорил, что один из своих рассказов написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик. Такие рассказы его походили на анекдоты и вращались в публике. Раз на Волге, на пароходе, один офицер стал ему рассказывать

его же рассказы, уверяя, что это случилось с его знакомыми и с ним, офицером. В издании Маркса[4], который в 1899 г. купил его сочинения за 75 000 р., – и то, что было напечатано, и то, что будет напечатано, с уплатою этих денег в течение трех лет, явилось много таких «анекдотов». Г. Маркс требовал от Чехова как можно больше рассказцев и составил из них несколько томов. Естественно, что г. Маркс выручил всю уплаченную Чехову сумму первым же изданием. Эта продажа составляла одно из мучений его за последние годы. Получи он 75 000 р. разом с г. Маркса, он мог бы еще что-нибудь сделать с этим капиталом. Но, получая их по частям в три года, он затеял строить дачу, и в несколько лет эти тысячи растаяли, и растаяла мечта о своей независимости и свободе. Он снова остался без денег, и единственный ресурс, который ему оставался, – это труд. А болезнь усиливалась, то замирая, то проявляясь сильнее. На несчастье Чехова, он продал свои сочинения как раз накануне того времени, когда явился Горький, и вместе с ним началось необыкновенное требование на новых писателей и на Чехова. Два года тому, разъезжая с ним в Москве по кладбищам – и в Петербурге, и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил, – он мне говорил, что не может писать беллетристики. Мысль, что он все продал, прошедшее и будущее, что есть у него «хозяин», который по праву покупки всем этим владеет, как собственностью, отравляла его. Он пробовал убедить г. Маркса, нажившего на его сочинениях, как говорили, большие деньги, изменить условия. Г. Маркс предложил ему 5000 р. за поездку за границу для поправления здоровья и свои издания в хороших переплетах. Чехов издания в хороших переплетах взял, а от 5000 руб. отказался…

Чехов оставил за собой только право на театральный гонорар за пьесы, и это право переходит и к его наследникам. Но право на издание самих пьес принадлежит также г. Марксу.

Как много он работал, видно из той массы рассказов, которые написал он под псевдонимом Чехонте. Раз я говорил с Л. Н. Толстым о Чехове, который в то время еще не был с ним знаком.

– Я прочел один из его рассказов в каком-то календарике, – сказал Л. Н. – Он живо написан. Но таких рассказов можно написать тысячу и тогда даже трудно судить о степени таланта автора. А ведь он написал только десятки, вероятно.

Я передал в общих чертах этот разговор Чехову.

– Да, я действительно написал тысячу рассказов, – сказал Чехов.

Известность ему давалась медленно, но то, что он завоевывал, оставалось прочным его приобретением. Он видел, как изменилось быстро отношение к молодым писателям, как расхваливали их «рассказы», называл себя «стариком» и отсталым. Но молодые писатели почтительно около него группировались или отдавали ему дань уважения. А сам патриарх, Л. Н. Толстой, после «Палаты № 6» говорил о Чехове как о большом таланте, интересовался не только им, но даже его мнением о своих произведениях и давал ему первые наброски «Воскресения».

И Чехов обладал очень тонким художественным чутьем. Работал он над своими произведениями так, чтобы «не было в них лишнего слова». Фантазия его была прямо поразительная, если собрать все те мотивы и подробности быта, которые разбросаны в его произведениях. Одним он мучился – ему не давался роман, а он мечтал о нем и много раз за него принимался. Широкая рама как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы. Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал предо мною широкую тему романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия. Он начинал драму, где главным лицом является царь Соломон «Паралипоменона» и «Песни песней». Я думаю, что вечная забота о насущном хлебе и затем приступы болезни не давали ему свободы для большого произведения.

К успеху своих произведений он был очень чувствителен и при своей искренности и прямоте не мог этого скрывать.

Когда после первых двух актов «Чайки» на Александринском театре он увидел, что пьеса не имеет успеха, он бежал из театра и бродил по Петербургу – неизвестно где. Сестра его и все знакомые не знали, что подумать, и посылали всюду, где предполагали его найти. Он вернулся в третьем часу ночи. Когда я вошел к нему в комнату, он сказал мне строгим голосом: «Назовите меня последним словом (он произнес это слово), если когда-нибудь я еще напишу пьесу». На другой день он уехал в Москву ранним утром с каким-то пассажирским или товарным поездом. Потом он оправдывался, говоря, что он подумал, что это был неуспех его личности, а не пьесы, и называл некоторых известных петербургских литераторов, которые якобы высокомерно с ним заговорили в антракте, видя, что его пьеса падает. На представления следующих своих пьес он почти не ходил. Когда он написал «Три сестры», то жалел потом, что не написал на эту тему повесть, что тема скорей для повести, чем для драмы.

Когда болезнь его еще не обнаруживалась, он отличался необыкновенной жизнерадостностью, жаждой жить и радоваться. Хотя первая книжка его, «Сумерки», и вторая, «Хмурые», уже показывали, какой строй получают его произведения, но он не обнаруживал никакой меланхолии, ни малейшей склонности к пессимизму. Все живое, волнующее и волнующееся, все яркое, веселое, поэтическое он любил и в природе, и в жизни. О путешествиях он постоянно мечтал, и, будь у него спутник, он побывал бы в Америке и в Африке. С ним вместе мы дважды ездили за границу. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своей оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом дожей и проч. В Помпее он скучно ходил по открытому городу – оно и действительно скучно, но сейчас же с удовольствием поехал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и все хотел поближе подойти к кратеру. Кладбища за границей его везде интересовали – кладбища и цирк с его клоунами, в кото-

рых он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта – грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех – и над окружающим, и над самим собою…

В голову толкаются все мелочи, столько хочется сказать, и не улавливаешь целого. Да и как это можно, когда он еще стоит передо мной живой и не можешь примириться, что жизнь его окончена. Одно сознаешь, как мало мы вообще ценим людей при их жизни и как они разом вырастают перед очами нашей души, когда закроет их гробовая крышка. Поднимается в душе какой-то укор, вспоминается разом целая куча разговоров, свиданий, вместе прожитых дней, легкомыслия, ненужных пустяков, недоразумений, умолчаний и самолюбивой замкнутости, которая иногда вдруг закрывает искренние движения души. Я обязан Чехову многим, обязан его прекрасной душе, которая молодила меня, которая давала и всем, кто с ним сходился, это чувство чего-то живого, прямого, благородного и вместе с тем здравомысленного. Меньше всего думалось, что это писатель, что это талант. Все это даже забывалось, и являлся человек во всем обаянии его ума, искренности и независимости. В Чехове было что-то новое, как будто совсем из другой жизни, из другой атмосферы. Таково, по крайней мере, мое впечатление. Ни сентиментализма, ни притворного участия, ни фраз. Иногда даже как будто жесткость, но жесткость правоты и твердости. В последние годы под влиянием страданий он стал благодушнее и мягче. Что-то меланхолическое и покорное судьбе явилось в его исстрадавшейся душе. С ним умер страдалец-писатель не в том представлении, которое легко впадает в общее место и обращается в банальную фразу, для не-писателей непонятную, а в представлении истинного страдания, физического и морального, близкого всякому человеку, близкого той среде, поэтом которой он сделался, которая принимала к сердцу его драмы, и понимала закрытый для других ужас земного существования, и мечтала хоть о капельке солнца, хоть об обмане, который вывел бы ее из душной и бездельной тоски. Я раз спросил его в письме (1894 г.): «Что должен желать теперь

русский человек?» – «Вот мой ответ, – писал он, – желать. Ему нужно прежде всего желания. Темперамент. Надоело кисляйство». Это кратко и неопределенно, пожалуй, но это выразительно и верно. Сам он всегда желал, желал прогресса русской жизни, желал сильных характеров, дарований, желал и искал весь свой краткий век солнца, и так умер, не увидав его настоящего блеска.

В прошлом марте он говорил, что хотел бы поехать на войну. «Там интересно». Он сложил свою голову в той постоянной войне, которая называется жизнью и в которой он одержал несколько прекрасных побед, и эти победы увенчают его истленным венком на «жизнь вечную». Лечивший его врач, доктор Шверер, телеграфировавший нам о последних днях его жизни, говорит, что он переносил свою болезнь, как герой, и с изумительным хладнокровием ожидал смерти. Он страстно хотел жить, но не боялся и смерти: он жил тем русским, простым, не кричащим героизмом, который хорошо понимает всякая благородная русская душа, и умереть он мог только как герой, смело смотря в глаза надвигающейся Неизбежности и шепча умирающими устами: «Здравствуй, смерть!»…

РУССКИЙ ТЕАТР

Русская драматическая сцена

I

«Драматическая сцена падает; люди, любящие искусство и смотрящие на него серьезно, совсем перестали посещать русский театр, не рассчитывая в нем найти ничего, кроме усердной разработки таких отраслей “развлечения”, которые не должны бы быть достоянием уважающего себя театра. Это словно конкуренция с “заведениями” гг. Излера и Берга, это публичная

выставка не талантов, не драматической игры, а сладострастных поз и самых низменных сторон того, что есть в балете; не только для здорового эстетического наслаждения театр ничего не дает, но он почти ничего не дает и для здорового развлечения; благоразумная мать не поведет в него дочь свою, чтобы не наткнуться на сцену, которая на порядочной сцене несообразна с самыми обыкновенными правилами приличия. Театр сделался поприщем для праздной молодежи, желающей купить дешевою ценою опереток и полубалетов успех какой-нибудь актрисе, вовсе не заслуживающей успеха; молодые дарования соблазняются этим легким средством создать себе репутацию и покидают драму и комедию, для успеха в которых необходим талант и изучение» и проч., и проч.

Все это не только говорилось в последние годы, но и печаталось, и, к величайшему сожалению, во всем этом было много правды, хотя была доля и преувеличения. Как бы то ни было, все согласны в одном, что драматическая сцена падает – об этом даже нет и вопроса, который может быть только относительно степени и причин упадка. Конечно, ни один здравомыслящий человек не станет мерить успехи Александринского театра его доходами; только совершенно наивные люди могут возражать, что театр не упал, если сборы его в настоящее время лучше, чем четыре года тому назад. Эти наивные люди забывают три вещи: во-первых, вкус к театральным представлениям постепенно возрастает, потому что число образованных и грамотных людей становится больше; во-вторых, население Петербурга возрастает еще в большей прогрессии, чем образование, и с 1865 года едва ли не увеличилось на целых двести тысяч, что можно доказать статистическими данными и такими осязательными аргументами, как большой недостаток квартир в Петербурге, заставляющий многих жить и зимою на дачах; в-третьих, надо принять во внимание число временных, постоянно сменяющихся жителей Петербурга, которые, приезжая сюда из провинции на несколько дней, большею частью считают обязанностью своею посетить все достопримечательности, в том числе и Александринский театр, хотя тут чаще

поражает их разочарование. Таким образом, население растет, а число театров остается то же; запрос на товар увеличивается, а количество товара не увеличивается.

После этого понятно, что сборы могут быть очень хороши, а театр может быть плох, но не наоборот, ибо в хорошем театре не может быть плохих сборов. Если б Александринский театр еще спустился на десять ступеней, то и тогда сборы в нем не были бы плохи, потому что он один. Русскому человеку, желающему провести вечер на русском представлении, нет другого выбора, как между русской оперой и Александринским театром, а так как русская опера процветает, то чем труднее попасть в нее, тем более прилив в драматический театр. Иностранцу выбор шире; в столице Русского царства только два русских театра и пять театров иностранных: михайловский, немецкий, буфф, Берга и итальянской оперы. Быть может, это сделано с целью дать средства русским наглядно изучить иностранные языки?.. Я не знаю; верно только то, что частным лицам не дозволяют открывать русских театров, но дозволяют открывать театры иностранные; верно и то, что Александринский театр ревниво блюдет свою русскую монополию, давая, однако, возможность размножаться таким «театрикам», которые рассчитывают исключительно на самые низменные инстинкты толпы.

Об этой монополии в последние годы исписано много бумаги, едва ли даже не больше, чем когда-то о монополии откупов; высказано было все, что можно было высказать о казенном управлении театрами; было доказано, что «дирекция театров есть присутственное место, устроенное по бюрократическому образцу», что «люди, поставленные во главе его, иногда (часто?) были лишены всякого художественного образования», что люди эти, «власть которых в театральных делах почти неограниченна, сами не заинтересованы в его успехе», потому что «они не хозяева, а только управляющие театрального предприятия, и притом управляющие, над которыми поставлен отвлеченный, фиктивный хозяин – казна. Их отношение к успехам театра, в сущности, бескорыстное;

за хорошее ведение дела они могут ожидать крестов и чинов, но те же награды могут получить и по связям, по протекции, самая же естественная награда за хорошую администрацию – барыши от самого дела – им недоступна, ибо может достаться лишь тому же отвлеченному хозяину. Вследствие такого отношения администрации к театру в ней не может быть той живости, энергии, изобретательности, бережливости, которые свойственны управлению частному». Этот губительный для наших театров характер незаинтересованности в успехе их переходит из управления в среду артистов. В то время как на частном театре артист вполне зависит от сценического своего успеха, на казенном он зависит еще от успеха перед начальством; оттого многие истинные артисты покидают сцену, а посредственности пользуются хорошим содержанием; «при бюрократическом управлении театра в отношении между артистами и их начальниками необходимо должны поселиться произвол, пристрастие, интрига и всякого рода злоупотребления, и затем равнодушие к своему делу и слишком легкое отношение к публике. В этом quasi-художественном, но, в сущности, канцелярском мирке принижаются и мельчают возвышенные, чисто артистические натуры; глохнут и слабеют дарования, гибнет и утрачивается искусство. Бездарные или недобросовестные артисты, обеспечив себя хорошими отношениями к всесильному своему начальству, могут спокойно оскорблять эстетическое чувство зрителей, могут хладнокровно и безопасно морочить им глаза; им не грозит отставка, пока милость начальства не сменится на гнев, а на предупреждение этой-то беды и уходит все их внимание. Напротив, артисты с талантом, с горячею любовью к своему делу, с основательным знанием год за год остаются при самых ничтожных, незаметных ролях, затираются и стушевываются, если их отношения к начальству сложились невыгодно... Обычай предоставлять учреждения, которые долженствовали лелеять “свободное” художество, на распоряжение чиновников и притом облекать этих чиновников громадной властью, монополией и канцелярской тайной может быть только оправдан тем убеждением, что

всегда сами собой найдутся для такого исключительного служения люди обширных сведений, замечательных дарований и безукоризненной честности. Основываясь на простой теории вероятностей, следует удивляться, что пылкие ожидания не были чаще и разительнее обмануты и что наши театры могли сделаться хотя бы тем, что они есть». Все это и многое другое было высказано, между прочим, и московским музыкальным критиком, г. Ларошем[1]. Вопрос о несостоятельности здешнего управления театрами разработан вполне, и литература в этом случае явилась только верным отголоском общества, среди которого существует большее предубеждение против казенного управления, чем в самой журналистике, ибо первое, т.е. общество, питается, кроме действительных фактов, но говорящих в пользу театральной администрации, еще многочисленными сплетнями и догадками, более или менее вероятными. Это удел всех учреждений, зиждущихся на канцелярской тайне. Хотя во всей образованной Европе существует уже свобода театров вместе с другими свободами, но мы, вероятно, еще долго останемся при нынешнем положении вещей, и потому небесполезно, имея в голове общую причину падения драматической сцены нашей, разбить ее на частные и отдельно каждую рассмотреть применительно к петербургской сцене, а затем сказать несколько слов о прошлом театральном сезоне. Вот скромная задача последующих заметок.

II

У петербургской труппы есть история, довольно блестящая; она завещала потомству достаточное количество имен даровитых артистов и артисток, начиная с последних годов XVIII-го века и кончая пятидесятыми годами настоящего столетия; театр, как одно из прекраснейших развлечений, быстро нашел у нас довольно обширный круг посетителей и писателей; кроме авторов отечественных на петербургской сцене перебывали все знаменитые и известные европейские драматурги: Шекспир, Шиллер, Лессинг, Коцебу, Расин, Вольтер, Мольер,

Корнель, Бомарше и проч. и проч. Над переводами многих из них трудились сами актеры, образование которых в то время относительно было шире, чем образование актеров нам современных. Можно сказать, что труппа наша непрерывно совершенствовалась, постоянно заключая в себе несколько весьма даровитых людей, вполне удовлетворявших самому развитому вкусу современников; по мере того как одни старели, их сменяли молодые и, в свою очередь, делались любимцами публики; тридцатые годы были особенно богаты сценическими талантами: Каратыгин, Сосницкий, Брянский, Борецкий, Каратыгина, Сосницкая, Брянская, Рязанцев, Валберхова, Асенкова[2] и другие менее известные составляли настоящий букет артистических дарований; не оценивая «школы» игры, мы можем судить об этой труппе по 80-летнему г. Сосницкому, который, несмотря на свои преклонные года, и до сих пор единственный актер, которого можно с истинным наслаждением смотреть в «Горе от ума»; нельзя уже разобрать слов, которые он произносит, но перед вами тем не менее живое типическое лицо, настоящий Репетилов; несколько лет тому назад его можно было еще с удовольствием видеть в Городничем в «Ревизоре», которого он играл гораздо лучше г. Зуброва[3], одного из «крупных» представителей теперешней труппы. Потом, когда многие представители этой блестящей труппы еще вызывали громы рукоплесканий и пользовались полным успехом, выдвинулись Мартынов, Максимов, Григорьев, г-жи Самойловы[4] и др. Сороковые годы, несмотря на довольно печальное состояние драматургии, видели еще очень хорошую труппу, которая могла сладить любую пьесу; но умерли Брянский, Каратыгин, Григорьев, Максимов, г-жи Самойловы сошли со сцены, и александрийская труппа осталась при Мартынове, Сосницком и Самойлове[5]. Появление пьес Островского, вводивших новый мир на сцену, окончательно спутало остатки когда-то блестящей труппы, которая оказалась неспособною воспроизвести новые типы. Новый мир требовал нового изучения, к которому оказался готовым и способным только один Мартынов, превосходно игравший Маломальского и Кабанова; г. Самойлов явил-

ся было в Любиме Торцове и, по обыкновению, имел успех, но изображенный им Любим Торцов был курьезным созданием довольно однообразной фантазии этого даровитого артиста; когда в конце пятидесятых годов приехал сюда г. Садовский[6] и сыграл Любима Торцова – г. Самойлов должен был отказаться от своей несостоятельной фантазии и вместе с тем от роли.

Мартынов умер; ему устроили такие торжественные похороны, каких никто и никогда не удостаивался из русских артистов; но, предавая земле прах гениального комика, едва ли кто-нибудь думал, что с ним вместе хоронили и славу александрийской труппы. На деле, однако же, это оказалось так. Мартынова не только никто не заменил до сих пор, но никто к нему не приблизился; труппа осиротела и опустилась как-то. Между тем время было горячее, требовавшее умных и даровитых исполнителей, ибо вместе с пьесами Островского являлся целый ряд произведений далеко не столько талантливых, но от которых веяло новым духом, новым направлением, новым содержанием; но если еще между артистами были такие дарования, как г. Самойлов, начавший образование в старой труппе и одной стороной своей игры всецело ей принадлежавший, и как г. Васильев 2-й, приглашенный на место Мартынова, то относительно артисток существовал почти полнейший пробел; они являлись как-то на минуту, как мимолетные видения, и быстро исчезали. Пришлось поневоле обратиться к актрисам второстепенным, на которых до того времени не обращали ни малейшего внимания; оказалось, что одна из них, именно г-жа Струйская, обладает несомненным дарованием. Немедленно на нее навалили весь репертуар, и она явилась в главных ролях во многих пьесах; но по штату она продолжала состоять чуть ли не в последнем разряде; в то время как публика, обрадовавшись и такой, хотя не особенно драгоценной, находке, осыпала артистку рукоплесканиями, начальство признавало в ней только право получать свое прежнее маленькое содержание и лишь после долгих колебаний и сомнений назначило ей 5 р. разовых, тогда как г-жа Левкеева[7], менее даровитая и несравненно менее пользовавшаяся расположением публики, получала 26 рублей.

Я упоминаю об этом далеко не единичном факте потому, что он характеризует очень хорошо отношение дирекции к артистам. Для нее, как учреждения бюрократического и мало заинтересованного в успехе театра, дело не столько в том, успевает ли артист или артистка на сцене, сколько в «производстве»; бюрократические нравы прилагаются в изрядной степени к артистам, и производство в высший чин совершается либо с тягостною постепенностью, либо с необычайной быстротою: сегодня был мал, завтра стал велик, хотя особого подвига никакого не совершил; оно, конечно, могло быть не худо это производство, основанное, с одной стороны, на постепенности, а с другой – на быстроте, если б то и другое мотивировалось основательными причинами; но по большей части тут действует фатум, слепой случай, так что никто не может предречь и угадать, кто будет столоначальником и кто останется в писцах до гробовой доски. Можно бы привести сотни примеров из истории нашего театра в подтверждение господства этой слепой случайности. Ограничиваюсь тем, что напоминаю примеры, известные всем: Мартынов фигурировал в балете, прежде чем случайно не открылось его дарование; затем «производство его, несмотря на гениальный талант, шло чрезвычайно туго, так что долгое время он получал менее, чем его товарищи с посредственным дарованием; дирекция, очевидно, руководилась соображениями, к искусству не имевшими никакого отношения; гг. Шумский и Васильев 2-й, воспитанники театральной школы, отпущены в провинцию, как бездарности, которым не могло быть места на столичных сценах. Но наиболее рельефный материал для характеристики случайности, всесильно царствующей на наших сценах, заключается в цифрах актерского гонорара; высший оклад жалованья – 1,43 руб., сумма, как видите, незначительная; но в гонораре она играет чуть ли не последнюю роль; главное – разовые и бенефисы.

Г. Самойлов получает 1143 руб. пенсии (пенсия выдается после двадцатилетнего служения, стало быть, ранее, чем в Министерстве народного просвещения); 5000 ассюрированных разовых, то есть сколько бы он раз ни сыграл в году,

6000 р. во всяком случае он получает; ассюрированный бенефис в 3000 рублей и еще довольно значительную сумму на гардероб из особых сумм.

Г. Васильев 2-й получает	35 р. разов.	и ассюр. бенеф. в 2000 р.;
В. Бурдин	25	и бенефис;
Г. Горбунов	5	бенефиса не имеет;
Г. Нильский	35	и бенефис;
Г. Зубров	20	
Г. Зубов	10	500 р. вместо бенефиса;
Г. Каратыгин	25	и бенефис;
Г. Григорьев	35	
Г. Малышев	10	
Г. Леонидов	35	
Г. Сазонов	10	
Г. Алексеев	15	
Г. Виноградов	25	
Г. Самойлов 2-й	2600	рублей жалованья;
Г. Пронский	12 р. разовых; бенефиса не имеет;	
Г. Душкин	5	
Г. Шемаев	10	
Г. Марковецкий	25	и бенефис;
Г. Яблочкин	3000 руб. жал. и бенефис;	
Г-жа Жулева получает	35 рублей разовых и бенефис;	
Г-жа Линская	35	
Г-жа Левкеева	25	
Г-жа Струйская	5	

Читателю, сколько-нибудь знакомому с нашей сценой, предоставляется самому решить, почему, напр., г. Пронский на 2 рубля даровитее г. Шемаева или почему г. Горбунов на 30 рублей и бенефис менее даровит, чем г. Нильский, и только на 5 рублей и бенефис менее даровит, чем г. Сазонова и г. Малышев; с другой стороны, почему г. Нильский одинаково даро-

вит с гг. Григорьевым, Леонидовым и г-жою Линскою и почему г-жа Линская ни на один рубль не даровитее г-жи Жулевой? Читатель может отвечать: потому, что измерять дарования очень трудно; я могу ответить так: потому, что измерять дарования очень легко; если мы призовем третьего, то он может ответить: потому, что дарования измеряются случайно, часто под влиянием обстоятельств, совершенно посторонних искусству; четвертый, наконец, скажет: потому, что система бенефисов и разовых – сама несостоятельность. И все мы будем правы, и всех более будет прав тот, кто скажет, что эта оценка – естественное следствие бюрократического управления театром.

Но куда бы еще ни шло, если б оценка эта не ложилась налогом на удовольствие зрителей; на самом деле она ложится, и очень чувствительно. Дирекция, считая известных актеров в одинаковом ранге, устраивает между ними очередь на известные роли, или, выражаясь театральным языком, «чередовку»; иногда эта чередовка производится вследствие какихнибудь случайностей и между актерами, не состоящими даже по спискам дирекции в одинаковом ранге; перед публикою вдруг является вследствие такой чередовки, напр., «Гроза» Островского, в которой вместо г-жи Линской Кабанову играет г-жа Сабурова; вместо г. Васильева 2-го Кабанова играет г. Малышев*, вместо г. Горбунова Кудряша играет г. Иванов и вместо г-жи Левкеевой Варвару – г-жа Прокофьева. Можете себе представить, что выходит из этой прекрасной драмы, и сколько зрителей рискнут своим вечером, чтоб увидеть «Грозу» в такой обстановке! И что всего замечательнее, что подобная чередовка прилагается не к одной «Грозе», но также к «Бедность не порок», «Доходному месту», к «Женитьбе» Гоголя, т.е. к пьесам, которые всем давным-давно известны и которые настолько почтенны, что могли бы рассчитывать, что их не дадут на растерзание посредственностям. И что ж дирекция выигрывает? Она, несомненно, теряет, ибо, сохраняя несколько рублей на разовых, она гораздо более проигрывает на сборе, потому что на подобные представления никто не

* Эту роль играл Мартынов и до слез потрясал ею зрителей. – *А. С.*

ходит. Этого мало: публика, не могущая уловить всех канцелярских соображений, клевещет на лица, от которых зависит распределение ролей, говоря, что это делается нарочно, с целью донести по начальству, что «пьесы Островского не дают сбора». – Да помилуйте, – говоришь, – какое же побуждение может заставить прикосновенных к театру лиц умышленно ронять пьесы Островского? – Э, вы ничего не знаете: необходимо оттереть хорошие пьесы, потому что для них необходим такой ансамбль, которого не может доставить александрийская труппа, лишенная всякого руководительства...

Но это, очевидно, парадокс или придирка; по моему мнению, делается это просто случайно или из чувства гуманности, из желания поощрить даже обойденных талантом: пускай, мол, подумает, что и он – талант; во всяком случае, несомненно, именно это чувство заставляет дирекцию держать в труппе совсем престарелых актеров, платить им пенсию, значительные разовые, давать бенефисы и даже сохранять за ними те роли, которые они играли 20 лет тому назад, если сами они не заблагорассудят от этого отказаться. Несмотря, однако, на то, что чувство, руководящее в этом случае дирекцией, очень почтенно, оно все-таки гораздо уместнее в человеколюбивом обществе, чем на сцене: великодушие дирекции должно бы разбиваться тут о великодушие публики, которая, являясь в театр не с благотворительною целью, терпеливо принуждена обращать приятное развлечение в суровую обязанность благотворителя.

III

Многие не разделяют господствующего мнения о падении нашей драматической труппы, хотя разделяют его о падении драматургии. Они, конечно, соглашаются, что настоящая труппа хуже, чем все предшествующие, но что относительно она все-таки недурна и при хорошем руководстве могла бы быть гораздо лучше. В этом есть своя доля правды, которая лучше всего доказывается тем, что когда в нынешнем году

приезжал сюда из Москвы г. Шумский[8], то наша труппа на время его пребывания как бы преобразилась и все пьесы, в которых участвовал этот артист, исполнялись с невиданным доселе согласием; актеры не метались по сцене, не скучивались около суфлерской будки – любимое местопребывание наших актеров, – знали свои роли, говорили их толково, входили и выходили вовремя. Такое временное преображение труппы приписывается тому обстоятельству, что пьесы, в которых участвовал г. Шумский, ставились им самим, а не г. режиссером александрийской труппы. Это естественно ведет нас к тому, чтоб сказать несколько слов о режиссерской части на александрийской сцене.

Режиссер, конечно, не бог и из ничего не может создать нечто; но режиссер хорошо образованный, знакомый с техникою сцены, с развитием драматической игры и преданный своему делу может значительно влиять на усовершенствование труппы. Мы знаем из истории нашего театра, что труппа обыкновенно тогда лишь становилась на надлежащую высоту, когда над нею работали. Московская труппа, напр., многим обязана Верстовскому, который часто присутствовал на репетициях и направлял артистов. В настоящее время эта труппа нимало не зависит там от режиссера, а руководится сама собою; режиссер там лицо более или менее номинальное, ансамбль пьесы старается обыкновенно составить тот артист, который занимает в пьесе господствующую роль. Много значит в этом случае традиция, крепко живущая на московской сцене. На петербургской сцене традиция порвана, а первенствующие артисты либо лишены влияния на остальную труппу, в которой более или менее всякий считает себя генералом, либо стараются только о том, чтоб выгодно поставить самих себя в пьесе. Роль режиссера, таким образом, является на переднее место; но дельного и хорошего режиссера на петербургской сцене не имеется, и многие годы она предоставлена, так сказать, самой себе. Г. Воронов[9], умерший несколько лет тому назад, был добросовестным и довольно образованным человеком, но в последние годы он потерял энергию и, по правде сказать, особенных

режиссерских талантов никогда не обнаруживал. Говорили, что в режиссеры приглашен дирекцией г. Боборыкин[10], известный своим знанием сцены и изучивший основательно драматическое искусство; но слух этот, некоторое время сильно поддерживаемый одною газетою, оказался неосновательным: режиссером сделали г. Яблочкина[11], очень посредственного актера, воспитанника театрального училища. От него никто многого не ожидал, и он сделал, действительно, мало. Единственное улучшение, бросившееся всем в глаза, это – лучшая меблировка комнат на сцене; аристократические гостиные, если таковые требовались пьесою, украсились деревьями, цветами и золотою мебелью[-], но декоративная часть других пьес, где не требовалось золотой мебели, осталась в прежнем виде, и в «Грозе», напр., как прежде небо было рваное, наскоро зашитое театральною швеей, так и доселе оно рваное; но небо не важная вещь и от режиссера зависит мало: г. Яблочкин не создал именно того, что лежало на прямой его обязанности, не создал ансамбля и не подвинул вперед ни одного актера; кто плох был прежде, тот и теперь так же плох, а иногда еще плоше стал; кто прежде был хорош – тот хорош и теперь. Г. Яблочкин не обучил своих актеров и внешнему обращению, и когда смотришь на александрийской сцене пьесу из образованного и развитого быта, то невольно чувствуешь себя в лакейской. Изящные франты запускают обе руки в карман и походят на официантов; гвардейские офицеры напоминают святочных ряженых, графини и великосветские дамы – горничных. Никто не умеет ни ступить, ни сесть, ни откланяться. Исключение остается за двумя-тремя актерами из всей труппы, которые ничем г. режиссеру обязаны быть не могут. То же отсутствие дельного и полезного совета замечается в гримировке артистов; кто сам мастер – тот и остается мастером; кто неопытен и склонен понимать, напр., комизм в коротких панталонах и во фраке, сшитом из разноцветных материй, тот так своим вкусом и руководится. Одним словом, артисты второстепенные и третьестепенные остаются без всякого руководства и заботятся не о том, чтоб соответствовать своему положению в пьесе, а

о том, чтоб отличиться. Это старание отличиться можно даже заметить в тех несчастных, которые докладывают о том, что карета подана. Всякий, видимо, хочет показать, что он вовсе не то, что он изображает, что он не лакей, не конюх, не мужик, а артист императорских театров, что лакея, конюха или мужика он только представляет по приказанию начальства.

Все это мелочи, конечно; но на сцене мелочи имеют огромное значение, ибо из них-то образуется то, что называется ансамблем. Верно указать каждому его место в пьесе, сообразить целое, уничтожить и сгладить неровности – все это лежит на режиссере труппы; труппа – это оркестр, режиссер – ее капельмейстер; у хорошего капельмейстера и плохая скрипка не будет фальшивить, и контрабасу он не даст занять место первой скрипки; то же должно разуметь и о хорошем режиссере, каковому понятию г. Яблочкин мало удовлетворяет. Он, очевидно, сам еще нуждается в науке, и не по его силам создать гармонию в расстроенном хоре.

Я, однако, должен отдать справедливость г. Яблочкину относительно постановки опереток; тут он выказал себя гораздо сильнее и, так сказать, налег на это дело с усердием. Он хорошо понял, что на оперетки есть спрос, что есть для них такая талантливая исполнительница, как г-жа Лядова (умершая в прошедшем году), и запрудил сцену оперетками. В свое непродолжительное режиссерство он поставил: «Прекрасную Елену», «Фауста наизнанку», глупейшую пародию на «Фауста» Гете «Птички певчие», «Все мы жаждем любви», «Пансион», «Тайный цветок». Эти оперетки одно время совсем заполонили сцену, и все, даже совсем безголосые актеры Александринского театра, запели и пустились в пляс. Оперетки шли весьма изрядно, может быть, впрочем, не столько благодаря умению г. Яблочкина ставить их, сколько оркестру, который направлял артистов и группировал их. В постановке же танцев, конечно, участвовал балетмейстер. Разделив, таким образом, труд свой, г. Яблочкин выказал некоторые режиссерские способности.

Приняв в соображение все условия, при которых существует наша сцена, приняв во внимание малую развитость ак-

теров, которым театральное училище большею частью ничего не дает, мы увидим еще яснее необходимость хорошего руководителя для труппы. Театр не подлежит критике в том смысле, что замечания критики редко принимаются к соображению; актеры – те же чиновники, для которых вовсе не важно, что об них говорить в печати; им гораздо важнее мнение начальства. Только тот, кто знает закулисные тайны, кто решается возиться в грязи интриг и обнаруживать их в листках, специально посвятивших себя этому делу, – может рассчитывать на некоторый успех в театральной среде; его читают там «тихонько», стыдясь признаться, что боятся такой мелюзги; ему и уступку сделают, потому что требования его не важны в сущности: поласкайте только его самолюбие, и он станет потише...

IV

Из приведенного списка гонорара, который полу чают актеры, видно, как велик этот гонорар: если распределение его отличается случайностью и ничем не объяснимою неровностью, зато никто не скажет, что театральное начальство держит этих жрецов и пономарей искусства на сухоядении; напротив, они хорошо обеспечены, иногда выше всякой меры; удачный бенефис может принести актеру несколько тысяч; выход на сцену, иногда на полчаса, дает ему 15, 20, 35 рублей; а если он в один и тот же вечер играет на двух театрах, то гонорар его удваивается; напр., г. Нильский[12] играет в «Железной маске» на Мариинской сцене и поспевает приехать в Александринский театр, где играет в «Петербургских когтях»; таким образом, вечер дает ему 70 рублей. При таком хорошем обеспечении артистов казалось бы, что прилив на александрийскую сцену свежих сил должен быть постоянный; оно и было бы так, если б дирекция не была связана своей театральной школой, в которой воспитываются артисты и, волей-неволей, запружают собою сцену. Целая масса совершенных бездарностей питается театром; некоторые из них совсем никогда не появляются на сцене, но жалованье получают. Комплект труппы всегда полон, и вакан-

сии очищаются редко; если б любитель-актер пожелал дебютировать, то желание его так и может остаться при нем; вообще достать себе дебют чрезвычайно трудно и, достав его и удачно сыграв несколько ролей, трудно попасть в императорские артисты. Тут такое множество почти неуловимых влияний и условий, что невозможно говорить о них определительно. Одним словом, правильной конкуренции не существует; дирекция не вызывает актеров, не подлежащих к ее труппе, к соисканию открывшейся вакансии, хотя это было бы и недурно; случай и протекция и тут побеждают требования искусства. Иногда посредственный актер получает дебют и принимается, иногда хороший актер не получает дебюта; иногда дирекция принимает актера, но держит его без жалованья целые годы. Такая уж, видно, задача: одному повезет, другому – нет.

В последние годы в труппе открылось несколько вакансий, и вообще дирекция старалась подновить свою труппу; не знаю почему, но старания эти не увенчались успехом. Вышла из труппы г-жа Владимирова – дали дебют г-же Лядовой. С первого взгляда ясно было, что актриса эта лишена всякого дарованья, но она вышла в эффектной роли Василисы Мелентьевой, у нее нашлось столько хлопальщиков – это всегда при дебютах бывает, – и ее быстро приняли. Сил труппы она нимало не увеличила, но кассу уменьшила, что не одно и то же. Явилось еще несколько актрис, между прочим две г-жи Яблочкины, но и это не увеличило сил труппы, так что одна хорошая актриса дала бы дирекции несравненно больше, чем три посредственные. Более удачи было для дирекции на мужчин. Она нашла хорошего исполнителя для оперетток и водевилей в г. Монахове; он является иногда и в комедиях и даже заменяет собою г. Самойлова, но заменяет он его плохо; в последнее время он сыграл Хлестакова, местами очень недурно, но типа не создал, и я того мнения, что у него нет сил для типического воспроизведения живых людей. Удачно дебютировал г. Самойлов-сын, но после дебюта почти не появляется, вероятно потому, что на роли молодых людей у труппы много исполнителей, имеющих перед г. Самойловым-сыном преимущество старшинства, но

ни в каком случае – таланта. Третий дебютант, принятый дирекцией, – старый харьковский актер г. Виноградов. Во время дебютов он держал себя довольно сдержанно, не развертывался, как говорится, хотя и тогда можно было заметить в его игре немалую долю кривлянья и буффонства, особенно в роли Расплюева. Принятый дирекцией на весьма выгодных для него условиях, он «развернулся» и делается любимцем райка. Но вообще он человек не без таланта.

Я причисляю эти дебюты к удачным; но если принять во внимание, что амплуа г. Виноградова то же, что и Васильева 2-го[13], причем последний превосходит его и талантом, и школою; если принять во внимание, что г. Самойловым 2-м дирекция вовсе не пользуется, изредка выпуская его в ничтожных ролях, то невольно спросишь: зачем же их приняли, зачем увеличили ими труппу, когда она имеет уже актеров и на роли комика, и на роли молодых людей? Выходит, что из трех принятых актеров, стоящих дирекции немалых сумм, только один г. Монахов[14] надлежащим образом зарабатывает свое жалованье. Дирекция словно торопилась набрать побольше актеров, а потом, когда приняла их, то увидела изобилие в количестве, но не в качестве. Я пропустил еще одного из недавно принятых, г. Зубова[15]. Это тоже человек не без таланта, но и без него, пожалуй, можно было бы обойтись. Известно изречение: «много званых, но мало избранных»; к александрийской труппе можно обратить его так: «много избранных, но мало званых», т.е. людей с призванием. Гг. Самойлов и Васильев 2-й все-таки стоят во главе труппы, и без них она останется без головы. В женском персонале на роли молодых женщин все еще первенствует г-жа Струйская[16], хотя дирекция и продолжает не признавать ее.

V

С этой труппой связана судьба нашей драматургии, которая зависит от дирекции, от исполнителей и от цензуры. Драматургия наша тоже падает, как и труппа; мы не станем

разбирать тех причин ее падения, которые замечаются и в английской, и в немецкой литературах; мы остановимся на наших специальных причинах. Вы написали пьесу, переписали ее в нескольких экземплярах и начинаете паломничество: несете в цензуру – цензура пропускает, хотя может и не пропустить; несете в литературно-театральный комитет – он тоже принимает, хотя может забраковать вашу пьесу; в обеих инстанциях апелляция не допускается. Но пропущенная пьеса еще не значит пьеса сыгранная: надо найти актера, который согласился бы взять ее себе в бенефис; иногда актер не возьмет ее у вас потому, что в пьесе нет для него роли; вы обращаетесь к другому, но у другого уже есть пьеса. Обратиться к дирекции? Но она новых пьес почти не ставит, благоразумно сложив с себя обузу на плечи актеров. Дирекция ограничивается высшим надзором и хозяйственною частью; такие мелочи, как литературное достоинство произведения, его нравственная и социальная сторона, – для нее дело постороннее. Она знает продолжительность сезона, знает, что у нее чуть не еженедельно бывают бенефисы, значит, сезон обеспечен, а чем – чем актер послал, что цензура разрешила, что литературно-театральный комитет пропустил. У дирекции есть три инстанции, и слава Богу!

Я не о лицах говорю, а о принципе управления; нынешняя театральная дирекция значительно превосходит свою предшественницу, принимает участие в сцене и даже прислушивается к критике. Она умеючи отнеслась к исторической обстановке некоторых пьес, роскошно и с небывалым у нас уважением к истории поставив «Смерть Иоанна Грозного», «Бориса Годунова», восстановив в приличном виде «Горе от ума» и «Ревизора»; она разрешала театральные представления без всяких стеснений в клубах и таким образом способствует образованию частных трупп любителей. За нынешней дирекцией есть несомненные заслуги, и если она не сделала большего, то я уверен, что виною тут самый принцип, а не добрая воля директора, человека с литературным и художественным образованием. Делаю эту оговорку с величайшею

охотою: пером моим руководит не желание наговорить колкостей и наплести резких обвинений, а желание добра самому делу, желание восстановить в настоящем свете некоторые подробности театрального существования; я очень хорошо знаю, что в таком сложном и многообразном механизме, как театральное управление, добрая воля, энергия и прекрасное художественное образование иногда оказываются бессильными против естественного течения рутины, преданий и влияний, посторонних искусству.

Рутина удерживает бенефисы, и рутина же освобождает дирекцию от забот о том, что такое ставит актер. Вследствие этого масса совершенно бездарных драматических вещей, вредно влияющих на развитие актера, отучающих зрителей от театра и изгоняющих со сцены порядочные произведения; по рутине всякая новая пьеса, хотя бы и была она ошикана, непременно ставится раз и два после бенефиса, словно хотят показать большому количеству зрителей, что пьеса никуда не годна; только что сносная пьеса ставится несколько раз и сплошь и рядом вытесняет более сносную, более толковую или такую, где какому-нибудь актеру удалось создать нечто вроде типа. Целые сезоны проходят часто, не оставляя ближайшему будущему ровно ничего. Цензура смотрит на пьесу с цензурной стороны иногда довольно произвольно, литературно-театральный комитет еще произвольнее смотрит на нее со стороны литературной. Бывали примеры, что он забраковывал пьесы, имевшие потом успех, и бесчисленные примеры есть на то, что он пропускает пьесы, лишенные всякого человеческого смысла; по-видимому, и строгость его, и снисходительность ровно ни на чем не основаны, кроме какой-то случайности, которая так хронически царит на нашей сцене. И иначе это и быть не может, потому что, решись литературно-театральный комитет поступать строго, он, во-первых, рисковал бы ошибаться, как ошибался, напр., комитет французской комедии, отвергавший пьесы, имевшие на других театрах огромный успех; во-вторых, лишил бы актеров возможности давать бенефисы за неимением плохих пьес, отвергнутых ко-

митетом, и за неимением хороших, либо вовсе не представленных в комитет, либо запрещенных цензурою. Таким образом, литературно-театральный комитет является только излишней инстанцией, через которую должна проходить пьеса.

Цензура играет в судьбах нашей драматургии очень видное место. Вспомним, с какою постепенностью проходило «Горе от ума». Сначала эту комедию выучила вся грамотная Россия наизусть; потом позволили сыграть на сцене один первый акт; через год – позволили второй; еще через год надо было ожидать третьего, но неожиданно третий и четвертый пропустили вместе; разумеется, комедию и в этой постепенности пропустили со значительными пропусками; прошли десятки лет, прежде чем комедия явилась в печати без пропусков, и еще десяток лет, прежде чем в этом виде поставили ее на сцене; та же постепенность, вероятно, была бы приложена к «Ревизору», если б сам Император не вмешался в дело и не разрешил ее всю. Однако цензура удержала свой запрет на некоторых фразах, и лишь в настоящем сезоне «Ревизор» шел без пропусков. Впрочем, в этом случае следует винить не столько цензуру, сколько традиционную рутину театрального управления. Оно не делает шагу, если не видит в нем сильной необходимости; в библиотеке пьеса лежит с цензурными помарками, актеры выучили роли по этой библиотечной пьесе – стоит ли заводить «дело», писать отношения, утруждать писцов и проч. и проч.? Если г. Зубров нашел для своего бенефиса новую пьесу и не был бы поставлен в необходимость взять старую, «Ревизор» шел бы в прежнем своем виде и доселе, а может быть, еще и целый десяток лет. Опять-таки хроническая случайность. «Свои люди – сочтемся» Островского лежали под запретом лет десять; «Доходное место» его же – несколько лет; после представления «Грозы», на котором присутствовала Государыня Императрица, выразившая свое удовольствие некоторым актерам через тогдашнего директора, г. Сабурова[17], один из них сказал г. Сабурову, что у сочинителя «Грозы» есть две пьесы, которые могли бы иметь большой успех, но, к сожалению, они не дозволены к представлению. Узнав о существо-

вании недозволенных пьес такого известного сочинителя, как г. Островский, г. Сабуров отослал их на вторичный просмотр начальнику III-го отделения собственной Его Величества канцелярии (тогда театральная цензура зависела еще от этого учреждения), и пьесы немедленно были пропущены. Без этой счастливой случайности они пролежали бы еще несколько лет, хотя в одной из них предается позору злостное банкротство, а в другой – взяточничество, пороки, преследование которых вполне в интересах правительства, и хотя в той и другой пьесе в последнем действии закон торжествует, т.е. правительство выставляется попечительным.

Известно, впрочем, что уловить в таком учреждении, как цензура, особенно наша, известные правила, которыми бы писатель мог руководствоваться, решительно невозможно. Что ныне позволяется, то завтра нет, и наоборот. Множество пьес переводных, которые некогда свободно давались на театре, потом подвергались запрещению, потом опять разрешались, и можно бы доказать, что всякий раз запрещение и позволение не имело за себя достаточных мотивов. Иногда пьесы, пользовавшиеся значительным успехом, вдруг исчезали с репертуара неизвестно по каким причинам. Так было с пьесой г. Потехина «Отрезанный ломоть» и с его же пьесой «Шуба овечья, а душа человечья». Г. Потехину особенно счастливится у цензуры: в последнее время не прошли две его комедии – «Современные рыцари» и «Вакантное место»; к постановке «Царя Феодора Алексеевича» графа Толстого тоже, говорят, встретились цензурные препятствия; вращаясь в театральном мире, то и дело слышишь, что та или другая пьеса не пропущены; года два тому назад один актер представил в цензуру три пьесы одна за другою, и все были запрещены. Мне случалось прочитывать некоторые пьесы, поступавшие потом в цензуру, и быть в крайнем удивлении, когда я узнавал, что они не пропущены: они мне казались не только безопасными, но совершенно пустыми и ничтожными, и ожидать, что им оказана будет честь запрещения, было решительно невозможно. С другой стороны, иногда приходилось встречать на сцене

такие произведения, в пропуск которых совсем не верилось: разумею оперетки скоромного содержания, якобы с подкладкой сатиры. По-видимому, кроме случайных влияний и, вероятно, политических комбинаций цензура руководится еще тем принципом, чтоб пропускать на сцену как можно осторожнее пьесы, затрагивающие социальные вопросы, и не поставлять особенных препятствий пьесам содержания фривольного.

Пьесами последнего рода наш театр всегда был богат, и то, что рассказывают театралы о неприличии куплетов в былое время, – превосходит описание, т.е. напечатать этих куплетов в настоящее время нельзя по их крайней непристойности; таким образом, «вольности» теперешних оперeток – шаг вперед на поле скромности; если б в этом отношении цензура еще усилила разумную строгость, то беды никакой бы не было: беда в том, что относительная снисходительность к «вольностям» оперeток с избытком выкупается строгостью к серьезной комедии; по-видимому, принимается за правило, что в легкомысленной, остроумной форме оперeток можно допустить довольно свободный трактат о разных общественных вопросах, но в форме серьезной этого надо избегать; на шутку, рассуждают, вероятно, блюстители благонамеренности в нашей драматургии, все взглянут как на шутку, тогда как серьезная постановка общественных вопросов может возбудить опасные толки. В оперетке, напр., можно в привлекательном виде представлять свободное и ничем не стесняемое отношение полов между собою, но трактовать в комедии вопрос, напр., о разводе, вызываемом ненормальными отношениями между супругами, нельзя. Понятно, какой односторонностью страдает взгляд этот; по нашему мнению, на неразвитую массу глумление над предметами почтенными, заключенное в форму оперетки, действует разлагающим образом; тут ни борьбы страстей, ни доводов ума, ни страдания, ничего нет; тут все представляется в шутовском виде, все рассчитано на воображение и дурные инстинкты, которые легко побеждают доводы слабого и неразвитого разума. Между тем как разработка социальных вопросов в комедии, даже широкая разработка, как,

напр., допускается она у нас в романе, может только поднять уровень здравых и нравственных идей, ибо даже самая тенденциозная комедия дает мнения об известном вопросе за и против, не говоря уже о произведениях, беспристрастно трактующих явления жизни. По нашему, что-нибудь одно – либо так же снисходительно допускать комедии, как допускаются оперетки, – тогда возможно восстановление между влияниями тех и других равновесия, либо – ни опереток, ни комедий. Но помилуйте, тогда никто не станет в театр ходить. Этот аргумент мы слышали от лиц, близко стоящих к театру, но он был сделан в упрек театральной цензуре: «Как же не давать нам скабрезных опереток и не привлекать ими публику, когда цензура так мало пропускает комедий»... Кроме цензуры есть еще одно условие, способствующее бедности и безжизненности репертуара, – это авторский гонорар.

VI

Если б кто-нибудь сказал, что наши роскошные театры содержатся на счет литературного пролетариата, на счет этой массы бедных тружеников, из которых многие чуть не умирают с голоду, тот выразил бы мнение не совсем неосновательное. Недавний случай с оперой покойного Даргомыжского «Каменный гость» лучше всего показывает, в каком отношении дирекция театров находится к авторам: не иметь средств, или, лучше сказать, не иметь законных оснований, для того, чтобы заплатить за произведение одного из лучших русских композиторов 3000 р., – это курьез, приведший общество в недоумение, особенно когда оно узнало, что та же дирекция театров заплатила Верди за «Силу судьбы» 15 000 р. сер. Но дело в том, что плата иностранному композитору, надо полагать, не входила в «Положение о вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут приняты для представления на императорских театрах».

Положение это издано в 1827-м году. В свое время оно было шагом вперед для ограждения прав авторской собствен-

ности, но в настоящее время, когда цена на всякий труд значительно возросла, сообразно возрастанию цены жизненных припасов, когда плата за литературный труд в частных и казенных изданиях возросла по крайней мере впятеро против существовавшей в 1827-м году, оно потеряло свой raison d'étre*. Прежде всего в этом законе бросается в глаза то противоречие, которое существует между правом литературной собственности и театральной. В то время как литературное произведение обеспечено за автором не только по смерть его самого, но и за наследниками его в течение 50-ти лет, театру предоставлено право считать литературную собственность за автором только по смерть его. Представьте себе такой случай: человек напишет превосходную вещь и поставит ее на сцене, затем, волею судьбы, умрет – вещь остается за актером, который будет пользоваться ею во избежание расходов, не ставить драматического произведения известного автора при жизни его и ставить после смерти, не спрашивая позволения у наследников его. Вознаграждение за пьесу, как я уже сказал, выдаваемое театром автору при жизни, чрезвычайно скромно. В законе 1827-го года пьесы разделены на пять разрядов: к первому разряду принадлежат оригинальные пьесы в стихах в 4-х и 5-ти действиях, ко второму – во-первых, оригинальные пьесы в стихах в трех действиях и оригинальные пьесы в прозе в 4-х и 5-ти действиях; к третьему разряду – оригинальные пьесы в стихах в 2-х и одном действиях, оригинальные пьесы в прозе в 3-х действиях и стихотворные переводы трехактных пьес и прозаические пяти- и четырехактных; к четвертому разряду – оригинальные пьесы в прозе в двух или одном действии, стихотворные переводы двухактных и одноактных пьес и водевилей. В основание этого деления на разряды, как видите, легли чисто механические качества пьесы: кто пишет стихами – получает больше, кто пишет прозою – меньше. Г. Кукольник за пятиактные «Рука Всевышнего отечество спасла» и «Сиденье в Азове» в стихах, т.е. в рубленой прозе, получал больше, чем Гоголь за прозаического «Ревизо-

* Смысл существования (*фр.*).

ра». Напрасно бессмертный творец «Мертвых душ» просил, чтоб его комедию перевели в один разряд с «Рукою Всевышнего», – такого снисхождения ему не сделали, и он получил за свою комедию всего 2600 р. ассигнациями «единовременно». Надо заметить, что театр платит за пьесы по разрядам двояко: или единовременно известную сумму (за перворазрядную 4000 р. ассиг., второразрядную – 2600 р. ассиг., третьеразрядную – 2000 р. ассиг. и, наконец, 1000 и 500 р. ассиг.), или так называемые поспектакльные в таком размере:

Двух третей сбора:

за пьесы	1-го разряда	–	десятая часть
	2-го		пятнадцатая часть
	3-го		двадцатая часть
	4-го		тридцатая часть

Пьесы 5-го разряда на поспектакльную плату не принимаются. Две трети полного сбора с Александринского театра составляют 690 р. с коп., Мариинского – 800 р.; отделяя указанные части этого сбора за пьесы разных разрядов в пользу авторов, получим:

На Александринском театре:		На Мариинском театре:	
1-го разряда	69	1-го разряда	80
2-го разряда	46	2-го разряда	53
3-го разряда	84	3-го разряда	40
4-го разряда	23	4-го разряда	26

Такие деньги автор получает, разумеется, только тогда, когда в театре все места заняты; чем театр пустее, тем получает он меньше. Относительно опер поступлено еще проще: они разделены на большие, средние и малые, причем не определено, какие оперы считать должно большими, какие средними и какие малыми; большие причислены к 1-му разряду, средние – ко 2-му, а малые к 3-му. Это несправедливо даже с

механической точки зрения, ибо опера требует для своего написания гораздо больше времени, чем драма и комедия. Есть еще третий способ приобретения дирекцией театральных пьес, и способ самый остроумный – безвозмездно. Говорят, что в настоящее время он не практикуется, но несколько лет тому назад он весьма незамысловато избавлял театр и от того небольшого гонорара, который указан выше. Делалось это таким образом: актер приобретал пьесу для своего бенефиса от автора, платя ему ничтожные деньги, а иногда получая ее от него в подарок. Пьеса давалась в бенефис и затем поступала в собственность дирекции: актер – человек казенный, и пьеса, им приобретенная, делалась казенною же. Таким образом приобретена дирекцией театров масса пьес, иногда пользовавшихся значительным успехом и, стало быть, дававших значительные суммы театру в течение целых десятков лет. Между пьесами, безвозмездно приобретенными дирекцией, между прочим находятся «Не в свои сани не садись» Островского, данная до настоящего времени около 200 раз, и «Свадьба Кречинского» г. Сухово-Кобылина, данная едва ли не большее число раз. «Горе от ума» приобретено актером Брянским за 1000 р. ассиг., а к дирекции перешло тоже безвозмездно. Вспомните, что Гоголю заплачено за «Ревизора» всего 2500 р. ассиг., и вот вам четыре любимые публикою пьесы, из которых две составили бы красу и гордость всякой литературы, приобретены дирекцией всего за 2600 р. ассиг., или за 714 р. 28 к. сер. Не изумительный ли это факт в истории бескорыстной службы отечеству наших литературных деятелей! Однако, чтоб глубже проникнуть в существо этого факта, я попрошу читателя сделать следующую выкладку: г. Сосницкий играл роль Репетилова с того самого дня, как поставлено «Горе от ума». Предположите, что г. Сосницкий сыграл эту роль только 150 раз и что он, средним числом, получал по 20 р. разовых, – получите, что этот актер за исполнение своей маленькой роли получил 3000 р. сер., или 10 500 р. ассиг., т.е. в десять раз больше, чем Грибоедов; г. Самойлов сыграл роль Кречинского, наверное, больше 50 раз и получил за нее боль-

ше 2000 р., тогда как автор – ничего. Если мы это сравнение между платой, уделяемой дирекцией хорошему актеру, и авторским гонораром распространим на пьесы, пользующиеся поспектакльной платой, то увидим ту же несоразмерность. В нашей, положим, пятиактной комедии, написанной прозою (кто теперь в стихах пишет?), играет г. Самойлов; если театр полон – вы получаете 46 р., а г. Самойлов больше 50 р., если театр не полон – вы получаете меньше 46 р., но г. Самойлов сохраняет свой гонорар.

Положа руку на сердце, скажите, не вправе ли весь сонм литературных пролетариев, поставлявших и поставляющих пьесы на театр, сказать, что театры содержатся на их счет?.. В самом деле, назовите мне хоть одного писателя, посвятившего свои силы сцене, который бы составил себе обеспеченное состояние? Не назовете ни одного, но я могу вам указать на Полевого[18], которым жили театры в течение нескольких лет и который умер нищим; я укажу вам на г. Островского, у которого на сцене около 30 пьес и который получает с них ничтожный сравнительно доход. Я мог бы указать на актеров, которые составили себе состояния, но писателей таких нет, зато лики некоторых из них красуются на плафоне театра и газ теплится перед ними: невещественные знаки внимания за вещественные услуги…

* * *

Мне остается сказать о текущем сезоне. Тут я буду краток поневоле. О постановке «Бориса Годунова» и новой постановке «Ревизора» я уже упоминал. Декоративная часть в первом была и превосходна, но нравственная, т.е. исполнение, за исключением г. Самойлова 1-го (Самозванец), ниже критики; бедность труппы в хороших актрисах сказалась тем, что не могли найти порядочной исполнительницы на роль Марины. «Ревизор» обставлен тоже незавидно в этом отношении, хотя, при более внимательном распределении ролей, он пошел бы лучше. Курьезным показалось мне применение к «Ре-

визору» археологии, точно эта пьеса XVIII столетия, когда ходили в кафтанах и париках, и точно содержание «Ревизора» имеет только историческое значение, а не современное: ведь в одном прошедшем году поймано три ревизора, из которых один был отсидевший свое время арестант из крестьян; а лет шесть тому назад писарь Ильяшенко не только привел весь город Мариуполь в трепет, но и обрил одному из членов суда голову в знак своей немилости.

Из новых пьес можно говорить только об одной, о пятиактной комедии г. Штеллеса[19] «Ошибки молодости». Пьеса эта обнаруживает в театре талант и не лишена литературного достоинства, но с идеей пьесы он не совсем справился. Лица в комедии резко отличаются на два разряда: одни – обыкновенные, сплошь и рядом встречавшиеся в жизни фигуры, другие – только что обозначившиеся в ней и принадлежащие к так называемому молодому поколению. Первые очерчены живо и легко, особенно героиня пьесы, княгиня Резцова; вторые – слабо и ходульно: это не живые люди, а идеи, да притом еще несозревшие идеи. Автор, впрочем, заслуживает полной симпатии за свою попытку добросовестно и умно отнестись к тому брожению, которое до сих пор еще не улеглось в нашем обществе. Бедность труппы в хороших актрисах и тут сказалась: одну из лучших ролей (Наденьки Моргуновой) исполняет г-жа Яблочкина 2-ая, актриса, не обладающая ни фигурой, ни голосом, ни талантом для драматических ролей; зато на роль княгини нашлась актриса – немножко старой школы, но тут высказавшая свой талант с блестящей стороны, именно г-жа Читау[20].

Если б нужно было резюмировать все мною сказанное о недостатках нашего театра, то самое рациональное средство устранить их заключалось бы в свободе театров; если на это рассчитывать нельзя, то необходимо по крайней мере увеличить авторский гонорар, регулировать цензуру, отменить бенефисы и разовые, устранить протекцию и произвол в распределении ролей и в приеме дебютантов, освободить труппу от массы бесполезных актеров и актрис, из которых

некоторые, получая жалованье, совсем никогда не являются на сцене, и упростить сложный бюрократический порядок в администрации, не совсем свободной от бесполезных и ненужных чиновников.

РУССКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

На передвижной выставке

Поднявшись по лестнице на передвижную выставку, оглянитесь назад или, не оглядываясь, взгляните в зеркало, которое перед вами. Вы увидите картину г. Савицкого «На войну». Г. Савицкий работает лет пятнадцать. В это время он написал несколько картин талантливых, но не ярких. В них было что-то не то недоделанное, не то переделанное; но вместе с тем у художника замечалась своя манера, свой стиль, указывающий на несомненный талант. Новая его картина – решительно лучшая из всего того, что он написал. Картина изображает отъезд на войну солдат и новобранцев. На заднем плане паровоз и вагоны; на платформе солдаты, и солдаты же толпой идут к вагонам со всем своим багажом. Масса провожающих мужиков и баб. Налево очень интересная группа, полная выражения и жизни. Мужик в солдатской шапке, большого роста; он что-то говорит; к его груди прижалась старуха мать и как бы замерла на ней; молодая жена с лицом замечательно миловидным стоит грустная, и этой грусти художник умел придать какое-то особенное, глубокое выражение; отец стоит боком к зрителю и, очевидно, слушает сына; девочка-подросток из этой же семьи совсем не интересуется тем, что происходит в этой родной семье. Тут прощание слишком тихое, по ее мнению. Совсем другое рядом с нею – тут ей все понятно, и все свое внимание она обратила туда. Здесь молодого парня в солдатском сюртуке под руку ведут два солдата в ва-

гон. Он обернулся на жену с выражением, полным какой-то отчаянной грусти; жена его в страстном порыве горя рвется к нему, словно желая ухватить его рукою, но две женщины ее удерживают. Если бы на картине были только два эти лица, этого молодого мужика и его жены, то и тогда ее следовало бы признать весьма хорошею вещью. Эти лица говорят, вся драма, происходящая между ними, так понятна, так выразительно изображена, что вы полны самого горячего сочувствия к этим лицам. Картина трогает вас этими двумя группами, тихой скорбью в левой группе и ревущим отчаянием в правой. Защита отечества – святое дело, но война все-таки ужасная вещь, и художник говорит вам это просто, без подчеркиваний, выражением лиц, полным житейской правды, и движением. В картине есть и удалые солдаты, беззаботно идущие на войну, привыкшие к службе и равнодушно, даже, быть может, с насмешкой, смотрящие на эти расставанья новобранцев. Но эти люди оставляют за собой жен и детей, отцов и матерей, свое хозяйство, свой дом. Что будет дальше? Вернутся ли они? Если вы во время войны 1877–78 гг. бывали на вокзалах, вы видели эти сцены. Мы не понимаем значение мужика возле телеги, как-то торжествующе обращенного к зрителю и будто далекого от всего того, что происходит около. Нагромождение фигур и предметов на картине делает ее чересчур пестрою и как бы слишком «переделанною», но картина так задушевна, так много говорит и трогает почти до слез, что о недостатках ее пусть говорит кто хочет. Картина приобретена Государем Императором.

День был такой радостный, такой солнечный, так пахло весной, когда мы пошли смотреть выставку. И на картинах передвижников мы увидели это радостное чувство, много любви к природе, и к русской природе в особенности. Как нашей науке нечего заботиться о том, чтобы удаляться от своих родных задач, – их так много и в разработке их именно и значение *русской* науки, так и нашему искусству следует оставаться преимущественно в родной области, воспроизводя русскую природу, русский быт, родную историю. И русское

искусство становится действительно национальным, совершенствуется и зреет. Нам, может быть, далеко еще до Европы, но ведь Европа не наша и не можем ее мы перенесть к себе по щучьему велению. Мы молоды, и силы у нас есть. У нас не только есть талантливые художники и прекрасные картины, у нас явился уже хороший уровень, получился уже общий тон. На выставке решительно нет вещей, о которых можно было бы сказать что-нибудь вроде: «Как это плохо написано», «как это ученически глупо». Напротив, чаще и чаще останавливаешься перед картинами, чаще и чаще они вам говорят и о мастерстве, и об удачном выборе сюжета, и о чувстве, и об изучении. Вырабатывается свобода отношения к предмету, полное обладание им, а это чрезвычайно важно.

Говорят, что нет особенно выдающихся картин. Но возьмите литературу за год. Всегда ли есть в ней особенно выдающиеся вещи, о которых можно было бы говорить и не наговориться? Далеко не всегда. Почему же необходимо требовать этого от художников? Разве они при особых условиях? Наша живопись идет за литературою, а не впереди ее, и устанавливающиеся течения литературы можно видеть и в живописи. Если из сотни с лишком номеров есть несколько десятков таких, перед которыми вы остановитесь с удовольствием, которые живо и правдиво рисуют вам родную природу и родные явления жизни, то этим следует удовольствоваться. Сгруппируйте картины и отдайте себе отчет в том, что они вам дают. «Сборы на войну» (Савицкий), «Консистория» (Маковский), «Монастырь» (Репин, «Портрет монахини», Маковский «Отдых богомольцев» и Бронников «Монах»), «Переселенцы» (Иванов), «Мировой посредник» (Кузнецов), «Женщина-врач» (бар. Клодт), «Посев» (Мясоедов), «Пахарь» (Репин), «Крестьянский праздник» (Прянишников), «Свадебный поезд» (Маковский), «Свадьба» (Бодаревский), «Смерть в крестьянской избе» (Лемох), «Под хмельком» (Маковский), «У волокового окна» (бар. Клодт), «На баштане» (Маковский), «Арестанты» («Всюду жизнь») (Ярошенко), «Справки новоселья в новой избе» (Максимов), «Уборка сена миром»

(Брюллов), «Волостной суд» (Зощенко), «Просители» (Богданов), «Мальчики-рыболовы» (Маковский), «Сцены домашней жизни в образованной семье» (Кузнецов и Розмарицын), много почти сплошь хороших пейзажей северной, средней и южной России (Шишкин, Волков, Боголюбов, Светославский, Беггров, Ендогуров, Остроухов, Васнецов, Шильдер, Брюллов, Дубовский, Киселев, Сайтгоф и проч.), портреты (Репин, Маковский), историческая картина (Неврев), «Клипер “Разбойник”» (Боголюбов), «Графская пристань в Севастополе» (Беггров), «Симонов монастырь» (Маковская), и пр. и пр. Вообразите, что это заглавия повестей и рассказов, собранных в одну книжку, и что среди этих вещей есть несколько поистине талантливых, написанных с чувством, с юмором, с наблюдательностью, а почти во всех остальных вы видите, что они написаны умелыми руками и вполне литературно. Неужели вы скажете, что эта книжка не интересна, что ее не стоит читать? Возьмите наш драматический и оперный репертуар за целый год. Много ли порядочных вещей вы в нем найдете? Гораздо меньше, чем на выставках, а бывают такие годы, когда он блещет непроходимым вздором. Будем справедливы к художникам. Все, что они написали за этот год, решительно прибавляет к нашему живописному царству, и прибавляет не только с тою правдою, которая давно уже господствует на выставках передвижников, но и с любовью к природе и людям – черта все более и более выдающаяся у наших художников. У вас остается в памяти несколько истинно драматических моментов русской жизни, как «Сборы на войну» г. Савицкого, как «Божья воля» г. Лемоха, производящая впечатление, как «Консистория», г. В. Маковского, где лиц вполне определенных и ярких и положений хватит на большую повесть, и даже как «Всюду жизнь» г. Ярошенко, который, к сожалению, зеленой стене вагона дал слишком много места. Вглядитесь в мальчика, несущего кипяток (Богданов), и перед вами целая драма этой бедной детской жизни; многое скажет вам женщина у волокового окошка (б. Клодта), прекрасно и оригинально схваченная фигура малороссиянки. А полные жизни

и настоящего, милого и задушевного юмора другие картинки г. В. Маковского, который решительно господствует на выставке и является мастером замечательным; много юмора и жизни в картинке г. Кузнецова «После обеда», которая наиболее подходит к Маковскому. Мы никогда еще не видали такую прелестную картину уборки сена, как картина г. Брюллова, полная движения, правды и живописности: г. Брюллов не писал еще подобной картины, и не остановиться перед ней – значит равнодушно пропустить воспроизведение одной из ярких картин деревенской жизни. Портрет Л. Н. Толстого и портрет монахини (сестра художника) г. Репина – вещи превосходные, как его же «Пахарь» (Л. Н. Толстой). Толстой сидит совершенно живой, серьезный и задумчивый. Для живописной характеристики Толстого недостает еще, припоминая и портреты его, написанные Крамским и Ге, того радостного оживления его лица, которое бывает у него очень нередко и которое сообщает этому человеку выразительность совершенно особую, притягивающую к нему все симпатии тех, которые его видели. Этот серьезный человек, мыслитель и гениальный талант является часто полным добродушия, простоты и очаровательной веселости, которая совершенно преображает его лицо. Это изумительно-полный представитель русского даровитого, проницательного и простого человека. Можете ли вы вообразить его в весеннюю пору, вечером, в слякоть, в его блузе, без шапки, бегущим по аллее сада, шлепая туфлями, отыскивать экипаж, в котором вы к нему приехали? А это бывает. Как он добродушно, чисто по-детски хохотал, слушая рассказы г. Бурлака после серьезных разговоров на высокие темы! Он сохранил всю цельность своей натуры, все очарование увлекательного и разнообразного собеседника и спорщика. Эта сторона характера не затронута портретом, написанным г. Репиным, и мы предпочитаем то выражение лица, которое схватил Крамской на портрете этого писателя.

Мы вовсе не задаемся разбором каждой картины: хотим только дать общий очерк выставки и побудить читателя взглянуть на нее. Он не будет раскаиваться, смеем его уверить.

Смерть Ивана Грозного
(картина К. Е. Маковского)

К. Е. Маковский написал картину «Последние минуты Царя Ивана Васильевича Грозного». Мастерство письма удивительное. Среди роскоши и блеска видишь на кресле в малиновом бархатном кафтане Ивана Грозного с омертвелым, но довольно добродушным лицом; обнаженная рука, как плеть, опустилась с кресла; над нею врач, весь в черном, ланцетом прокалывает жилу. У ног царя шут, с боязнью и горестью смотрящий в мертвое лицо; шут списан с И. Ф. Горбунова; по одну сторону стола с шахматами сидит Бельский; прекрасный портрет князя П. П. Вяземского, с которого Бельский списан. Налево Годунов, сосредоточенно смотрящий на царя; возле Бельского царевич Федор с женой своей Ириной, сестрой Годунова; через кресло царя молодое женское лицо, очевидно, жены Грозного, урожденной Нагой, матери царевича Дмитрия; за нею какой-то боярин, благочестиво смотрящий на небо и кладущий на себя крест; направо, на самом краю, слепая старуха, мамка Грозного, ощупью идет к умирающему; из двери выглядывает монах, а освещенное огнем окно в соседнюю комнату вместе с этой фигурой монаха показывает, что там готовят схиму. Все это сгруппировано эффектно.

Так вот как Иван Грозный умер. Но что же из этого следует? Как что? Да так, для чего-нибудь написано это полотно? Ведь надо же что-нибудь сказать им. Все цари умирали. Почему же художник выбрал смерть Грозного? Была ли эта смерть каким-нибудь особенным событием, составляла ли она какой-нибудь особенно драматический эпизод в русской истории или художнику просто понадобилась блестящая обстановка, парчи, шелк, бархат, смесь одежд боярина, шута, иностранца, присутствие в одной комнате и молодых, и старых мужчин и женщин? Что из двух?

Г. Маковский написал «Свадебный пир», потом «Выбор невесты», две блестящие бытовые картины, где те же парча,

шелк, бархат и разнообразные лица, вся обстановка старой русской жизни. Сначала свадебный пир, теперь, в нынешней картине, пир смерти и соответствующие лица. Там радостные, полупьяные, веселые лица, здесь – грустные и недоумевающие; там молодой и молодая, приготовляющиеся целоваться и обратившие на себя общее внимание; здесь умирающий и доктор с ланцетом, которые поглощают все внимание присутствующих. А кто это женился и кто умер – что вам за дело? Так мог происходить свадебный пир, как он написан, так мог умереть, при такой точно обстановке, какой-нибудь богатый боярин, какой-нибудь царь. Потом можно написать отпевание и похороны. И все это будет полезно, как воскрешение древнего быта, как иллюстрация к русской истории, основанная на тщательном изучении костюмов, утвари, мебели. «Прекрасная картина», – говорит зритель. «Да, прекрасно написанная картина», – говорим и мы, но в ней чего-то недостает, и как будто чего-то весьма существенного недостает.

Да разве нужно еще что-нибудь? Ведь художник вам дал картину с полною своею добросовестностью и всем своим блестящим талантом. Вы можете поставить ее где хотите – в столовой, в своей спальне – она никогда вас не смутит. Ведь это и есть настоящее художество. Чего вам еще? Нам нужно еще кое-что, чего нет в картине, и совсем не нужно кое-чего, что в ней есть…

Во-первых, почему же это Грозный? Отец его, Василий III, тоже умирал, и летописи оставили нам подробное описание его болезни и смерти, описание и весьма живописное, и трогательное. У одра умирающего были такие интересные лица, как Шуйский, князь Михаил Глинский или племянница его, царица Елена; умирающему подносили малютку сына, впоследствии Ивана Грозного, которого он благословлял иконою; у одра его происходил довольно грубый спор между духовенством и боярством – постригать ли умирающего? Для художника и тут много красок, много интересных лиц, движения и проч. Но г. Маковский выбрал смерть Грозного. И он был прав: смерть эта была действительно важным историческим

событием и отзывалась на Руси тяжелым кошмаром в течение целой четверти столетия. Что царь пожил и умер – это естественно. Но что это за царь был, почему его смерть была таким важным событием? Можно ли это спрашивать от художника? По нашему мнению, несомненно можно, если художник считает свою картину исторической…

Но как же можно, скажут нам, показать на картине, что смерть Грозного была действительно выходящим из ряда событием! Вы, может быть, намекаете на то, скажет читатель, что это был действительно грозный и жестокий царь, царь, казнивший страшно, царь, продолжавший объединительную политику своего отца и деда всеми средствами – и огнем, и мечом, и насилием, и пытками, и казнями, царь, заставивший всех дрожать перед своей властью и оставивший после себя глубочайшую память в народе, что доказывается песнями о нем. Жизнь, полная деятельности страшной, усилий чрезмерных и жестоких, жизнь, полная насилия, борьбы и разврата, и кончилась ударом, неожиданно, за шахматной доской. Вы намекаете на то, продолжает читатель, что Грозный убил даровитого сына, оставив наследником глупого и ничтожного Федора, которого он называл звонарем, да еще маленького царевича Дмитрия, который потом погиб так трагически и именем которого громили Русь самозванцы. Вы намекаете на то, что смерть Грозного была началом страшной русской драмы, которая кончилась только с воцарением Романовых, что после такой ужасающей встряски, какую задал Грозный царь своей Руси, началась реакция, в течение которой сказались все придушенные Грозным инстинкты, и надобно было, чтобы Россия испытала новые, горчайшие беды, чтобы, снова встряхнутая страшно, она уже добровольно почувствовала необходимость объединения и выбрала себе общим голосом нового единодержавца, родственного угасшей фамилии Грозного. Но неужели вы воображаете, что все это художник может выразить в одной картине смерти царя?

Мы ничего не воображаем этого, а будем продолжать свой рассказ. Может быть, сам читатель догадается, в чем тут дело, в чем художник показал свою силу и в чем – свое бессилие.

В начале 1584 г. царь Иван Грозный сильно заболел. Внутренности его стали гнить, тело пухнуть; в язвах его копошились насекомые. Карамзин рассказывает: «Уже силы недужного исчезали; мысли омрачались: лежа на одре в беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении, говорил с ним ласково… 17-го марта ему стало лучше от действия теплой ванны… На другой день для больного снова изготовили ванну. Он пробыл в ней около трех часов, лег на кровать, встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки; хотел играть с Бельским, вдруг упал и закрыл глаза навеки, между тем как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит – исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову – читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою…»

Темою картины послужило, очевидно, это описание. В этом описании смерти есть несколько моментов. Первый момент – смущение, испуг, беготня, крики, посылка за доктором, за сыном, за духовенством и проч. Потом эти лица собираются, разумеется не все вместе, и разумеется бегут впопыхах, не заботясь о том, чтобы принарядить себя. Вот они пришли, стали по местам и напряженно смотрят на умершего, которому авось поможет доктор. Но жизнь уже отлетела, царь – труп, и в картине он только труп и ничего более. Это не «последние минуты» жизни, а первые минуты смерти. Взяв момент, когда смерть уже совершенно овладела телом царя, художник сразу лишил свою картину ее главного актера, превратив его в застывший труп и воспользовавшись от него только эффектом мертвого лица среди роскошных материй. Интерес картины естественно перешел на этот контраст мрачных и радостных красок и остался в нем. Мы не видим в картине последней борьбы царя со смертью ни в его лице, ни в его фигуре и не видим *первых* впечатлений этой смерти на окружающих. Они расставлены правильно, сообразно с эффектом освещения и даже с родственными отношениями. В головах – жена Грозного, сбоку Федор рядом с женою и т.д. Бельский, как сидел за шахматами, так и остался, что совсем неестественно. Он, несомненно, должен был пере-

менить место и броситься на помощь к царю, с которым играл в шахматы. Настоящую его позу можно объяснить только тем, что это *первый* момент и что смерть произошла, вопреки историческим свидетельствам, но согласно с намерениями художника, при всех этих лицах, даже при докторе. Но допустить это невозможно, ибо этому противоречат старуха-мамка, очевидно поднявшаяся вследствие известия, что царь умирает, и монах, стоящий за нею, намекающий на присутствие духовенства. Надо было время для того, чтоб пришло духовенство, стало быть, это не первый момент, а какой-то промежуточный. В таком случае присутствующие успели опомниться от первого впечатления, и оно должно было замениться другим, более рассудочным, сообразным с положением и характером этих лиц и потому более интересным для зрителя… Художник должен был показать не только костюмы, но и характер лиц, как они сказались в истории, и, сообразно с этим, дать их лицам то или другое выражение. Только тогда картина может *говорить* зрителю о той внутренней драме, которая происходила. На самом деле что же мы видим? Царь – труп. На лицах присутствующих какое-то неопределенное, поверхностное, скорее отвечающее *первому* моменту впечатление, нимало не говорящее о характерах и взаимном отношении этих лиц между собою. Все взоры обращены на умершего, и смысл картины как будто только в том, что вот умирает царь и все смотрят на него и на доктора в каком-то грустном ожидании. «Последние минуты царя Ивана Васильевича Грозного», стало быть, в том заключались, что он умирал, а все на него смотрели. Неужели только и надо в картине? Известная обстановка, известные клички лицам – и дело с концом? Тогда в чем же интерес этого «исторического» события? Сколько бы художник ни подкупал нас своим превосходным письмом, сколько бы знакомых дам и кавалеров он ни написал нам, мы не согласны помириться с таким поистине ничтожным *содержанием* картины. Как ни чудесны его краски, как ни разительно выписано у него все – подушки, парча, потертый бархат царского халата и проч., мы все-таки скажем, что этого весьма мало…

Г. Маковский взял именно те главные лица, которые нужны для внутреннего смысла этого события, но взял их со своею обычною легкостью, заботясь только о внешней картинности и о подходящих летах. Историческая драма была во внезапности смерти, в общей растерянности, во взаимных отношениях этих лиц и в наследстве после столь крупного человека. Вот что художник должен был показать, но он поступил как раз навыворот. Пусть читатель припомнит то, что говорили мы о Федоре и дальнейшей истории Руси. У смертного одра Грозного стоят Борис Годунов, Федор, Ирина, царица Марфа. Наследство достается Федору. Что это была за личность? Соловьев говорит: «Федор был небольшого роста, приземист, опухл; нос у него ястребиный; он тяжел и не деятелен, но всегда улыбается. Он прост, слабоумен, но очень ласков, тих, милостив и чрезвычайно набожен». Польский посол Лев Сапега писал о нем: «Великий князь мал ростом; говорит он тихо и очень медленно; рассудка у него мало или, как другие говорят и как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, смотря на скипетр и державу, все смеялся».

Если б г. Маковский уразумел драматический смысл смерти Грозного, он изобразил бы Федора именно так, совершенно верным истории. После сильного политика, хотя и «кровоядца», на престол стадится если не полный идиот, то человек, неспособный править царством. При таком царе, как и при младенце, – естественное явление – борьба честолюбцев, порывание связей между верховной властью и народом, явление причин к распадению, к обессилению государства, к смутам. Все это случилось как по писаному и не могло не случиться при таком обороте в судьбах Грозного и его семьи. Покажи г. Маковский на своей картине этого царя, это жалкое, растерявшееся ничтожество, которому достается народ, сжатый железными когтями умирающего владыки, покажи честолюбца Годунова так, чтоб он ясен был, ясны были бы его отношения к остальным лицам, – картина получила бы говорящий смысл. У г. Маковского, напротив, Годунов ничего собою не

изображает, кроме красивого мужчины, какого-то грансеньора в самом парадном костюме, Федор ничего собою не изображает, кроме тоже красивого и интересного для дам мужчины: закрыв сложенными ладонями свою бороду à la Henry IV, он выглядывает интеллигентным, сильным мужчиной, в котором ищет поддержки Ирина. Красиво, конечно, но смысл далеко не всегда в красоте, в роскоши предметов и красок.

Смысл события должен быть прочувствован душою художника. Лица должны быть избраны тщательно и представлены не только в надлежащих костюмах, но и в надлежащих характерах. Должны быть люди, а не человеческие фигуры. Свет исторической идеи делает картину исторической, а не случайный подбор людей из своих знакомых, не портреты их, живописно расположенные среди красивого магазина редкой мебели и блещущих вещей. Картина могла быть исторической без всей этой мишуры, без всей этой роскоши костюмов, и она не историческая при всей своей внешней красоте и показности. И скажите, пожалуйста, как это собрались сюда все эти люди в таком виде, так красиво и празднично одетые, не исключая согнутой годами чуть не до земли мамки царя? Ведь смерть царя была внезапная, и все прибежали по первому зову, в тех домашних, простых костюмах, в которых они были. А ведь все эти лица, выведенные художником, – просто петербуржцы, тщательно нарядившиеся в лучшие древние костюмы и собравшиеся, напр., в исторический маскарад, устроенный года два тому великим князем Владимиром Александровичем. Нигде и ни у кого нет ни малейшего беспорядка в костюме, в прическе, в уборе. Все и у всех с иголочки, женщины в кокошниках, с поднизями, в покрывалах, в парадных костюмах, где и мех не забыт. Разве это возможно было на самом деле, разве это правдиво, разве это серьезное отношение к историческому событию, к своей художественной задаче? К тому же женские лица – все те же, что видели мы и в «Свадебном пиру», и в «Выборе невесты», где господствует один и тот же женский тип, что-то красивое, но без печати ума и мысли на лице. Приглядитесь к Ирине и к царице – вы увидите, что это почти то же лицо, из одного семейства. Мужские лица, хотя и

без сколько-нибудь значительного, глубокого выражения, – все же разнообразны, а женские и этого достоинства не имеют…

К серьезной вещи мы не можем относиться иначе как серьезно. Г. Маковский – большой талант, но у всякого таланта есть свои сильные и свои слабые стороны. Г. Маковский, принявшись за серьезную задачу, написал прекрасно всю внешнюю обстановку, живописно расположил группы, весьма мало заботясь о правде исторической и житейской, прекрасно и сочно написал портреты своих знакомых, но для исторической картины этого мало. Если б задача ее была так легка, то, при уменье писать, можно нарисовать таких картин столько, сколько теперь расплодилось исторических романов. Взял любое событие, собрал своих знакомых, расположил их в живописную группу и написал с них портреты. И, однако, хороших исторических картин так же мало, как мало хороших исторических романов. Воспроизвести исторический момент верно и глубоко, произвести им впечатление на публику не мимолетное – задача большая, и г. Маковский не разрешил ее. Если бы г. Маковский не поставил под картиной подписи с именем Грозного, если бы он назвал ее просто «Боярин (или царь) умирает» – никто бы дальше этого ничего не искал, не подумал бы искать и никому бы не пришло в голову, что это – смерть Ивана Грозного. Сказали бы, что это – pendant* к «Свадебному пиру» и ничего больше. Тогда и таких требований мы бы не предъявили к художнику, какие обязаны были предъявлять теперь.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ

Специальный день русской журналистики

Это воскресенье – специальный день русской журналистики. Редакция «С.-Петерб. ведомостей» празднует стопя-

* Дополнение (*фр.*).

тидесятилетний юбилей своей газеты и вместе с тем юбилей русской интеллигенции.

Вечером залы редакции представят блестящее собрание: там будут академики, профессора, литераторы, журналисты, артисты и проч., и проч. Все, что имеет близкое отношение к литературе, все это соберется у гостеприимных хозяев, поставленных судьбою на конце 150-го года со времени основания «С.-Петерб. вед.». Говорю «блестящее» собрание, ибо что же может быть блестящее ума, таланта, учености? Это собрание, конечно, будет в то же время одним из самых любопытных, и я уверен, что, возьми редакция «С.-Петерб. ведом.» залу Большого театра для празднования своего юбилея (в том виде, как приготовляют ее для маскарадов) и предоставь ложи для публики по бенефисным ценам (например, в пользу Литературного фонда), они были бы разобраны несомненно. Но редакция справляет свое торжество в своем помещении, и любопытные не будут допускаться в этот литературный парламент, где станут произносить речи, есть и пить и где все пожелания будут сосредоточены на процветании русской журналистики и литературы.

Пространное и многотрудное поле прошла сия отрасль отечественной цивилизации. Первым журналистом был царь, тот царь, который положил начало столь многому в новой России, который первый обратил свои взоры на юг и едва не погиб в борьбе с тем врагом, который теперь бежит от наших войск к стенам Царьграда. Чудесный был этот царь: до мозга костей русский человек, он употребил средства маскарада, переодевание, во всероссийскую реформу и начал без отдыха обращать свою державу в европейскую. Что он сделал в четверть века – на это только гиганты способны. И благо ему, что он был царь и журналист, и плотник, и токарь, и воин, и администратор – чем только он не был? Благо ему, что он был царь и журналист, а не журналист только: ничего бы он тогда не поделал при всем уме своем и всей энергии. Тогда и в Европе-то журнализм находился в зачаточном состоянии.

Если б я захотел фантазировать, я позволил бы себе параллель, в некотором роде единственную, не ограничась только сближением. Ведь Петербург в некотором роде Венеция, конечно только в некотором роде, в том именно, как говорят «в некотором царстве, не в нашем государстве». Ну, так в Венеции именно получила свое начало «газета». Это было в XVI столетии, во время войны венецианцев с турками. Правительство распространяло время от времени небольшие листки, на которых были написаны важнейшие известия с театра войны; эти известия можно было получать за небольшую монету, которая называлась «газета» (gazzetta), и это название привилось к первым периодическим изданиям Италии, Испании, Франции и Англии. Слово «газета», получившее свое крещение в Венеции, сохранилось в своем почти совсем не испорченном виде только у нас, в России, головою которой состоит наша северная Венеция, Петербург. Вот вам и сближение. Журнал (journal) – французское слово – заменило во Франции слово «газета» и привилось и к другим странам. Англичане выдумали слово «newspaper», немцы – «Zeitung» и проч. Выдуманное у нас слово «ведомости» совсем не привилось и осталось как название двух газет, как и слово «gazette» остается как имя некоторых французских и английских газет. У нас «газета» стала наименованием периодических изданий ежедневных и более или менее подходящих к ним, а журналом называется то, что подходит к книжке. «Журналист» же у нас слово довольно популярное: так называются чиновники многочисленных канцелярий и департаментов, которые ведут журнал входящих и исходящих бумаг, и таких журналистов у нас, конечно, гораздо больше, чем журналистов, пишущих в журналах и газетах. Быть может, вследствие этого совпадения многие писатели доселе еще не любят называться журналистами, а слово «газетчик» даже сочтут для себя оскорблением… И это понятно: русский журналист только нарождается, да и европейский – есть создание только XIX века…

То, что начал Петр Великий, развивалось медленно. Начало журналистики у нас предшествовало началу литературы, если начало это считать со времен Кантемира и Ломоносова, а не со времен летописей и разных рукописных сборников. Между тем как в Европе было наоборот: в Италии почти за сто лет до рукописных газет уже существовала «Божественная комедия» Данте, в Англии задолго до первой газеты («Weekly news») были уже драмы Шекспира, во Франции – Рабле, Монтень и другие. Англия праздновала трехсотлетний юбилей рождения Шекспира в 1864 г., тогда как наши потомки только будут праздновать двухсотлетний юбилей рождения первого русского писателя в истинном смысле этого слова, Ломоносова. Вот как мы сзади шли, как поздно мы начали жить, как поздно мы начали производить значительные интеллектуальные силы. Мы и теперь позади других, и это исторически объясняется весьма ясно, и мы в этом нисколько не виноваты.

Празднуя юбилей стопятидесятилетний «СПб. ведом.», мы празднуем, в сущности, только хронологическое число, а вовсе не 150-летний юбилей русской журналистики: ее начали у нас немцы-академики, немец-академик Миллер основал «Ежемесячные сочинения» в 1755 г., первый русский журнал, где уже много работали русские люди. С 1759 г. Сумароков начал свою «Трудолюбивую пчелу». Но настоящим отцом и двигателем русской журналистики можно почитать только Новикова. Двадцати четырех лет от роду он бросился на это поприще и, угадав потребности публики, явился в то же время твердым защитником русской народности от односторонних чужеземных влияний; с требованиями образования, с сатирическим отношением к действительности он постоянно связывал уважение к национальному чувству. В многочисленных своих периодических изданиях он дал образец журнала, дал то, что называется «направлением». Он поднял крестьянский вопрос, постоянно разрабатывал вопросы нравственные и педагогические и для женщины требовал такого же образования, как и для мужчины. Политических статей, по тог-

дашнему состоянию печати, нельзя было много печатать, но в «Прибавл. к Москов. вед.» есть несколько дельных и зрелых политических статей. Любопытно, что одною из причин печального состояния Турции «Москов. вед.», им издававшиеся, считали религиозный фанатизм, деспотизм властей и рабство народа: «народ, беспрестанно притесняемый государем, пашами и их подчиненными, оставляет в запустении прекрасную страну. Нация, знающая свое невольничество, становится ленивее и ослабевает». Это говорилось почти сто лет тому назад (в 1784 г.) в самом распространенном русском издании: по свидетельству Карамзина, Новиков довел в десять лет число подписчиков на «Москов. вед.» с 600 до 4000, что по-тогдашнему очень много. Но двигатель родной литературы кончил плохо: попав в расправу к знаменитому Шешковскому, он, обвиненный в масонстве, был заключен в крепость. Но руководящие идеи его, брошенные в общество, принесли плоды, и самый даровитый из его учеников, Карамзин, явился даровитым журналистом, основав «Вестник Европы», имевший значительное влияние.

Но все это было очень скромно в сравнении с тем, что делалось в Европе: ко времени французской революции у нас журнальная деятельность начала смолкать и не насчитывалось и десятка журналов, тогда как в Европе, особенно во Франции и Англии, она разрасталась. В Англии в 1787 г. было уже 58 журналов и газет; во время революции возникли во Франции сотни журналов и газет, которые, впрочем, совсем не отличались долговечностью и так же быстро исчезали, как быстро возникали. Директория подорвала журнализм, а Бонапарт убил его. Но он процветал в Англии, где нарождались газеты, сделавшиеся типическими представителями журнализма и выразителями общественного мнения. В эпоху реставрации французская журналистика главным образом была представлена шестью газетами, стоявшими за правительство и считавшими 14 344 подписчика все вместе, и шестью же газетами оппозиции, у которых было 41 330 подписчиков. С двадцатых годов журнализм растет и растет.

В 1826 г. Бальби насчитывал следующее количество периодических изданий:

	Число изданий	Население
Европа	2142	227 700 000
Америка	978	39 300 000
Азия	27	390 000 000
Африка	12	60 000 000
Океания	9	20 000 000
Итого	3168	

По государствам европейским периодические издания распределились так:

Франция	490
Великобритания	483
Германский союз	305
Пруссия	288
Голландия	150
Россия и Польша	84
Швеция и Норвегия	81
Австрия	80
Дания	80
Швейцария	30
Португалия	17
Испания	16
Италия и др. европ. страны	38

Распределяя эти издания по числу жителей в государствах, получим, что в 1826 г. одно периодическое издание приходилось

в	Пруссии на	41 550 жит.
«	Германском Союзе на	45 300
«	Англии на	46 000
«	Франции на	64 000

« Швейцарии на..66 000
« Австрии на..400 000
« России на..500 000
« Испании на..695 000

В 1866 г., по исчислению французского писателя Гатена, было периодических изданий

в Европе..7000
в Америке..5000
в Азии, Африке и Океании..500
Итого...12 500

Таким образом, в сорок лет, прошедших с 26-го года, число периодических изданий возросло с 3168 до 12 500, т.е. увеличилось в четыре раза. Наилучшее отношение получилось для Швейцарии, где одно периодическое издание приходилось на 7000 жит., затем в Бельгии – на 17 000 жит., во Франции и Англии на 20 000, в Пруссии на 30 000, в Италии на 54 000, в Испании на 75 000, в Австрии на 100 000 и в России на 300 000.

Мы позади всех. Уж очень у нас жителей много, вероятно, и мало читателей. По моему счету, в 1873 г. было у нас всевозможных периодических изданий 427, одно издание на 196 000 жителей; по счету г. Межова[1], в 1876 г. выходило у нас 375 периодических изданий и отношение к числу жителей получится менее благоприятное, но г. Межов считал только издания на русском языке, тогда как в мой счет включены и издания на иностранных языках, выходящие в России. Если мы возвратимся в 1826 г., то заметим, что увеличение числа периодических изданий у нас идет не хуже, чем в некоторых странах Европы, даже наиболее просвещенных. Без Польши в России издавалось в 1826 г. русских периодических изданий всего 45, в настоящее время 375, т.е. увеличилось число их больше чем в 8 раз; во Франции было в 1826 г. 490 периодических изданий, в настоящее время около 2300, т.е. увеличение почти в 6 раз; в Англии в 1826 г. было 483, в настоящее время

1500, т.е. увеличение в 3 раза; в Швейцарии увеличение больше чем в 10 раз, в Италии в 50 раз – благодаря освобождению и объединению: в 1826 г. было там всего 26 периодических изданий. Было бы, разумеется, поучительно проследить историю русского журнализма, но она еще ждет своего историка: до сих пор у нас разработана хорошо только деятельность Новикова и вообще журналистика XVIII века; новейший ее период остается почти незатронутым.

Действительно сильное развитие журналистика наша получила только в настоящее царствование. Еще у всех в памяти то влияние, которое имел «Русский вестник», талантливо и горячо проповедовавший либеральные начала; с этим влиянием стал бороться «Современник» и перетягивать на свою сторону симпатии. Явление естественное: общество было одушевлено, горизонты раскрывались широкие, желание всевозможных усовершенствований проникло более или менее всех, и читатели тянулись туда, где задачи разрабатывались, казалось, шире, критика была смелее и решительнее. Несколько лет влияние решительно принадлежало журналам, а из газет пользовалась им только одна «Искра», благодаря талантливости своих редакторов и обличительному направлению, и «День» г. Аксакова, благодаря страстным статьям самого редактора, где славянофильство являлось в новом, более определенном и более понятном виде. Ежедневные газеты, можно сказать, прозябали и никаким влиянием не пользовались.

Настал 1863 год, который можно считать поворотным в деле влияния журналистики: влияние это решительно стало переходить от журналов к газетам, из которых разом выдались три, две в обновленном виде, «С.-Петерб. вед.» и «Московские», и одна новая, «Голос». «С.-Петербург. вед.» явились под редакцией г. Корша, «Москов.» – гг. Каткова и Леонтьева, «Голос» – г. Краевского. Все эти журналисты были уже не новички. Г. Краевский кроме «Отеч. записок» издавал несколько лет «С.-Пет. вед.»; г. Катков тоже редактировал «Моск. вед.», когда они издавались Московским университетом, и г. Корш был сначала у него помощником, а потом занял его место. «С.-

Петерб. вед.» явились решительно в новом виде, и по форме, и по содержанию: явились передовые статьи, фельетоны, корреспонденции из провинций и европейских городов; эта форма и, содержание привились быстро и к «Голосу», который никакой инициативы в деле обновления журналистики не имел, но заимствовать умел всегда ловко.

Одной из существенных доходных статей газет, объявлений, почти совсем не было, да и право печатать всевозможные объявления принадлежало «СПб. вед.» и «Москов.». Если не ошибаюсь, другие газеты, кроме этих двух казенных, имели право печатать только библиографические объявления: г. Корш при заключении контракта с Академией отказался от этого права, как привилегии, стеснительной для развития газетного дела.

1863 год был годом польского восстания: естественно, что ежедневный интерес сделался гораздо жгучее, и уж поэтому журналы должны были отойти на второй план. Помимо подробностей восстания самый польский вопрос получил важность и сделался предметом полемики, в которой первенствовали, как известно, «Московские ведомости». Почему первенствовали – разбирать нечего, но г. Катков, несомненно, высказал большой талант публициста. «Голос» сначала плелся в хвосте «Моск. вед.», повторяя их передовые статьи, потом заручился некоторою самостоятельностью, благодаря одному молодому публицисту (г. Альбертини)[2], талантливые статьи которого тотчас были замечены. «СПб. вед.» держались в середине, на почве примирения, насколько это было возможно в то время. Рядом с польским вопросом шел вопрос о нигилистах и сепаратистах, считавшихся порождением петербургской журналистики, которая, со своей стороны, не могла отвечать так, как бы хотела. «Москов. вед.» пользовались решительным первенством в деле влияния и смелости своих статей и первые освободились от цензуры, которая для них существовала только формально.

Закон 6-го апреля 1865 г., устранивший цензуру, освободил газеты от целой массы формальностей, которые решитель-

но препятствовали даже с технической стороны *ежедневному* изданию. Область обсуждения сделалась шире: вопросы крестьянский и земский получили особенное развитие, обсуждение политики иностранных держав, взаимного отношения политических партий и проч. не встречало почти никаких препятствий. 20 сентября 1865 г. «СПб. вед.» получили первое предостережение, мотивированное тем, что в статье от 18 сентября «по поводу предположений в частном кредитном учреждении и некоторых частей государственных имуществ заключаются несогласные с интересами государственного кредита суждения о таких правительственных учреждениях, о которых не было доселе объявлено никаких положительных сведений; что в означенной статье не только подвергается сомнению, но и отрицается право, которое, несомненно, принадлежит правительству и которым оно постоянно пользовалось при каждом, каким бы то ни было способом совершаемом отчуждении казенных статей или земель, и что в ней неправильно приписывается государственным имуществам свойство специального обеспечения 5% банковых билетов, указывается на мнимое уменьшение того обеспечения в случае залога или отчуждения каких-либо частей государственных имуществ и таким образом возбуждаются сомнения или опасения, могущие иметь влияние на доверие, которым пользуются означенные билеты». Затем следовали предостережения «Современнику» (10 ноября), «Голосу» (1 декабря 1865 г.), «Современнику» (4 декабря), «Русскому слову» (20 декабря); «Голосу» разом за восемь статей, помещенных в 8 номерах, – явление потом ни разу не повторившееся ни с одним изданием в течение десяти лет.

Так как я только намечаю кратко ступени, по которым шла в последнее время журналистика, то и не распространяюсь далее. Отмечу еще два-три факта. Розничной продажи* не существовало до половины 1866 года, если не считать каких-нибудь десятков номеров, которые покупались в книжных ма-

* Она была в конце пятидесятых годов, когда разом появилась масса листков, живших исключительно уличной продажей, но потом это было регламентировано. – *А. С.*

газинах. Вследствие возбуждения общества по случаю покушения 4-го апреля, один господин испросил себе дозволения у г. обер-полицеймейстера иметь несколько разносчиков для продажи номеров газет на улицах, и с этого времени эта продажа привилась, хотя до франко-прусской войны существовала в очень ограниченном числе. Эта война вообще подняла подписку на газеты значительным образом и розничную продажу.

Взяв за начало 1863 год, я могу сказать следующее: газетное дело развилось по крайней мере втрое. Число подписчиков достигло небывалого числа, но оно все-таки ничтожно сравнительно с населением и развитием журналистики во Франции, Англии и Германии. Полагаю, что все газеты, выходившие в Петербурге в 1863 г., не имели и 30 000 подписчиков, и в этом числе чуть не половина приходилась на дешевого «Сына отечества»; в настоящее время все газеты петербургские имеют наверное больше 100 000 подписчиков. Не существовавшая в 1863 г. розничная продажа достигла в 1876 г. до 20 000 экз. в день (всех газет, выходящих в Петербурге). Объявления принесли «СПб. вед.» в 1863 г. всего до 20 000 р., в 1873 г. цифра эта поднялась до 80 000 р. Вместе, разумеется, выросли и расходы на издание газет: в 1863 г. приблизительный расход большой и распространенной газеты не превышал 120 000 руб., в настоящее время он превышает 300 000 руб. Ограничиваюсь этими цифрами, так как цифры понятны всем.

РАЗДЕЛ X

ПРИЛОЖЕНИЕ. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. СУВОРИНЕ

Грибовский В. М.
Несколько встреч с А. С. Сувориным
(По личным воспоминаниям)

По прекращении гайдебуровской «Недели» сотрудники ее разбрелись в разные стороны. Некоторые, например М. О. Меньшиков, М. Н. Мазаев и др., перебрались в «Новое время», в том числе и я.

С Алексеем Сергеевичем Сувориным меня познакомил влиятельный член редакции Б. В. Гей[1], который предложил мне явиться к издателю «Нового времени» в весьма странный приемный час – около полуночи. Меня ввели в громадную комнату, ярко освещенную электричеством. Мельком я заметил ряды заставленных книгами полок или книжных шкафов по стенам, различные предметы искусства, между прочим удивительно тонко выполненное мраморное изваяние женщины. Внимание мое было устремлено на то место, где у стола, заваленного книгами, газетами, глубоко опустившись в кресло, сидел и делал какие-то заметки на лоскутке бумаги создатель и руководитель влиятельнейшей русской газеты.

Протягивая руку, А. С. Суворин подал вид, будто бы хочет привстать со своего места, и взялся даже за свою отделанную

серебром палку, на которую слегка опирался, когда ходил. Ни тени какой-либо важности или делового настроения не выражалось на его лице. Его старческие черты светились приветливостью: он слегка улыбался, приподнимая брови и углы рта.

– Очень приятно, садитесь, вы курите? – начал он. – Вы читаете в университете, вас что-то поругивают?

– Да, – отвечал я, – к сожалению, моя магистерская диссертация вызвала тридцать шесть бранных рецензий...

Суворин засмеялся, брови его поднялись еще выше, а лицо стало еще приветливее.

– Это хорошо, когда ругают, – заметил он, – немцы говорят: много врагов, много чести... А сколько меня ругали? Кто меня не ругал? Обидно, когда свои ругают... Не ругают только того, кто или очень сладок, или очень пресен, в ком толку нет. А как ваша диссертация называется?

Я сказал.

– Не читал, – продолжал Суворин, – но знаю, вы писали о Византии, – это очень интересно... Вот рассказы ваши в «Неделе» читал... Свежо, свежо... там, где о французских студентах, Мопассана напоминает... Вы пробуйте... Художественная жилка и журналисту не мешает... Наоборот, она полезна... Хорошо, когда журналист думает образами... У французов и ученые думают образами, вот хотя бы Ренан, – это немцы засушили историю...

Суворин говорил отрывистыми фразами, то взглядывая на собеседника, то бегая взглядом по сторонам. Он хотел продолжать, но в это время вошли покойный Скальковский и ныне благополучно здравствующий А. П. Никольский[2]. Скальковский сразу внес жизнь в эту громадную комнату. Он только вернулся из театра и шумно, остроумно и образно передавал свои впечатления. Суворин слушал его с интересом и с удовольствием. Я заметил, что, смеясь, он всегда наклонялся немного вперед, причем брови концами вверх поднимались почти под прямым углом, а губы сбирались в сборку, как будто бы хозяин не хотел давать им воли. В эти минуты лицо Суворина становилось необычайно мило и привлекательно: ум, доброду-

шие, некоторое лукавство сквозили в его прищуренных смеющихся глазах. В этот вечер мне не удалось больше беседовать с великим русским журналистом, но зато я присматривался к нему. После веселых разговоров о театре Суворин заговорил с А. П. Никольским, который писал тогда в «Новом времени» свои горячие и глубоко продуманные статьи против общины, предупреждая позднейший закон 17-го июня 1910 года.

Здесь мне пришлось увидеть Алексея Сергеевича в другом настроении. Очевидно, он живо переживал и чувствовал то, что думал. Суворин был тоже против общины.

– Община, община, – сердился он, – нам, изволите ли, нужен был немец Гакстгаузен[3], чтобы изъяснить, что община – наше спасение, наше национальное изобретение... Кому же нам и верить, как не немцу... Уверовали в остаток крепостного права... Вы там несовершенства, недостатки общины указываете, – говорил он Никольскому, – все это хорошо, верно, правильно, да не в том дело... Наше народничество остатки крепостничества защищает и не понимает этого, и вы не понимаете...

– Нет, понимаю, – слегка улыбаясь, возразил Никольский.

Только что сердившийся, морщившийся и стучавший о пол своей палкой Алексей Сергеевич вдруг поднял голову, улыбнулся прекрасной, добродушной, приветливой улыбкой и произнес:

– Ну, вы-то понимаете, да дело не в этом... Тогда напишите об этом в газете.

* * *

Несколько времени спустя после первого знакомства с Алексеем Сергеевичем я встретился с ним на одном из «беллетристических обедов», устраиваемых покойным Даниилом Лукичом Мордовцевым в ресторане Донона на Мойке у Певческого моста. Эти обеды, представлявшие собою в некотором роде свободную беллетристическую академию, собирали тесный круг участников, пополнявшийся товарищеским

выбором. Они описаны П. П. Гнедичем в одном из последних номеров «Исторического вестника» за 1911 г.[4]. На этих обедах Суворин бывал редко, но его приезд был всегда шумно приветствуем и вызывал большое оживление. Мы сидели уже за столом, когда Алексей Сергеевич вошел; с шумными восклицаньями все встали ему навстречу. Его усадили между Случевским и Каразиным[5]. Разговор до появления Суворина шел о допущении на «беллетристические обеды» дам-писательниц. На этот счет участниками были установлены отрицательные строгие правила, которые несколько раз порывался отменить поклонник дамских дарований В. И. Немирович-Данченко. По этому поводу заведовавший распорядительской частью Мордовцев поручил одному молодому даровитому художнику изобразить в особом альбоме обедов башню, окруженную со всех сторон водой; к башне на лодке едет Немирович-Данченко с большим грузом дам-писательниц, а из бойниц башни со всех сторон грозно высовываются в виде копий писательские перья, с которых капают ядовитые чернила. Суворину показали это изображение, и он начал громко смеяться.

– И вы против женщин? – спросил у него через стол Немирович.

– Я не против женщин, – смеясь отвечал Алексей Сергеевич.

– Нашего полку прибыло, – с торжеством воскликнул Данченко, но Случевский его остановил.

– Мы говорили о допущении в нашу башню дам-писательниц, – заметил он, – я сам не против женщин, но мы говорим, желательны ли они на наших обедах?

– Конечно, нет, – отвечал, по-прежнему смеясь, Суворин.

– Да почему же? – горячо воскликнул Немирович-Данченко.

– Да так.

– Нет, да почему же?

– Да ни к чему...

Никакие дальнейшие расспросы и настояния не привели ни к чему. Алексей Сергеевич смеялся, щурился и о чем-то

тихо переговаривался с Каразиным, с которым, по-видимому, у него была близость. По крайней мере, Суворин несколько раз ласково покрывал своей ладонью верхнюю часть кисти руки Каразина. Алексей Сергеевич ничего не ел за обедом, и бокал с шампанским тоже все время простоял опорожненным лишь до половины.

К концу обеда произошло маленькое происшествие, насмешившее всех. На Случевском был форменный камергерский виц-мундир с плоскими пуговицами и добавочными маленькими пуговками на ложных продольных карманах фалд. Константин Константинович приехал прямо с какого-то официального собрания.

– А где же ваши ордена? – спросил Суворин Случевского.

– В кармане, – спокойно отвечал тот, вынимая из боковых карманов виц-мундира два владимирских креста и две звезды, – это по форме: там они при виц-мундире, а здесь – в виц-мундире.

– А правду говорят, будто бы у чиновников под каждым крестом в груди покоится одно доброе чувство? – шутя продолжал Суворин.

– У тех из чиновников, – с деланной серьезностью отозвался Случевский, – которые берут кресты, не с добрым чувством, а таких много, потому что за эти кресты и звезды приходится платить довольно дорого.

Со Случевским тоже, по-видимому, Алексей Сергеевич был ближе, чем с другими, и они вместе уехали после обеда, кажется, в театр.

* * *

Когда вышло в свет изданное Сувориным сочинение покойного Шильдера «Император Александр Первый», Алексей Сергеевич поручил мне написать в «Новом времени» статью об этой книге. Предварительно мы имели с ним по данному поводу продолжительное собеседование, причем Алексей Сергеевич высказывал свои взгляды на эпоху царствования

Александра Благословенного и вообще на русскую историю императорского периода.

– Какая загадочная личность Благословенный, – говорил он, – ведь он знал о декабристском заговоре... Зачем же он не принимал никаких мер? Пускай, думал, попробует тоже один из братьев, что значит царствовать. Или он хотел, чтобы конституционные мечтания его молодости сбылись после него или в конце его жизни насильственным путем, без его участия? Может быть, он боялся недовольства среди крепостников из высших классов! Вот тема для романа. Ведь дал же он конституции Польше и Финляндии; почему же не дал коренной России? Он боялся? Он боялся придворной интриги, погубившей его отца? Он думал, пусть само собой... будет соблюдена видимость... Вынудили... Я, мол, не сам... обстоятельства заставили... Ведь тоже трудно им... царям-то... Николай Павлович боялся освободить крестьян, хотел, но боялся... Кого? Сановников и родовитых крепостников... А разве Александр II не боялся? Недаром он уговаривал дворянство, что если не начать сверху, начнется снизу... Ведь это наше дворянство презирало народ... Ну, конечно, я говорю только о крепостническом дворянстве и чиновничестве... Ведь для них Россия – это имение, откуда получаются доходы, а настоящая родина там, за границей, где эти доходы проживаются... Говорят, евреям трудно, их преследуют... Хорошо... А каково нашему мужику?.. Ведь евреев не порют, а наших порют, этого самого камаринского мужика... (Это говорилось до того времени, когда Высочайшим указом было уничтожено телесное наказание в волостных судах)... нашего сеятеля и хранителя...

Алексей Сергеевич был большой поклонник Алексея Петровича Ермолова, вследствие чего поручил мне в статье о книге Шильдера остановиться на личности Ермолова и из царствования Александра Благословенного по этому поводу сделать заход в царствование Николая Павловича. Когда статья была написана, тогдашний редактор «Нового времени» Ф. И. Булгаков из-за Ермолова забраковал всю рукопись.

– Вы пишете о Ермолове, а надо об Александре, – заявил он.

– Но я только попутно...

– Тогда вычеркните Ермолова...

Я пошел к Алексею Сергеевичу. Тоже уже царила глухая ночь, но Суворин разбирался в каких-то бумагах, а свежеразрезанная книга лежала около стола на стуле. Я объяснил ему упрямство Булгакова. Суворин долго не отвечал, по-прежнему роясь в бумагах. Наконец он нашел, что было надо, прочел и отложил в сторону. Потом встал, запахнул халат и, постукивая палкой, пошел вниз в редакцию. Я следовал за ним.

Он прошел прямо в комнату Булгакова. Наступил любопытный момент, что скажет и как поступит Суворин. Я думал, что он потребует разъяснения, почему не печатается написанная карандашом по его распоряжению статья, но Алексей Сергеевич поступил иначе.

Булгаков, болезненный, издерганный, раздражительный человек, сидел спиной к топившемуся камину с каким-то рваным оренбургским платком на плечах и безжалостно марал чью-то статью. Суворин сел около него в кресло, загородившись каминным экраном.

– Тут есть один фельетон, голубчик, – начал он спокойным тоном, – об Александре... Он когда у вас пойдет?

Булгаков злобно сверкнул на меня своими очками.

– Он не пойдет, – резко отвечал он.

– Так вы лучше всего поставьте его в субботу.

– В нем более пятисот строк, – опять огрызнулся Булгаков.

– Он обстоятельно написан, – так же спокойно продолжал Алексей Сергеевич, – а что вас на четверговых обедах не видно?

– Еще меня там недоставало!

Суворин сохранял невозмутимое спокойствие. Я много слышал о его вспыльчивости и несдержанности и был прямо поражен необычайной выдержкой.

– Ну, прощайте, голубчик, – произнес он на прощанье и направился к выходу.

Еще Суворин находился в коридоре, когда Булгаков у себя поднял целый скандал.

– А-а, – кричал он, – вы жаловаться... Тут в редакторское дело вмешиваются, тут редактировать не дают... Черт побери всех... Я ухожу, я сейчас ухожу... Не будет ваш фельетон напечатан, ни одной строки не напечатаю...

Булгаков продолжал бесноваться. Я вышел в коридор. В редакции было почти пусто. Алексей Сергеевич стоял в переходе и, опершись на палку, слушал выкрики Булгакова.

– Как расходился, ишь ты, – произнес он, добродушно улыбаясь и качая головой, когда я, проходя мимо, ему поклонился.

Он умел ценить старых служащих и мирился с их строптивостью, пока она не переходила границы.

Статья была напечатана с небольшими сокращениями в ближайшую субботу.

* * *

Когда в 1904 году Н. Н. Перцовым было основано «Слово», я примкнул к кружку его сотрудников, стал редко бывать в редакции «Нового времени» и долго не видал Алексея Сергеевича, пока не встретил его при особых обстоятельствах.

Как известно, накануне 17-го октября 1905 года в среде представителей повременной печати возникла мысль о необходимости общими силами бороться за осуществление явочного порядка издания газет и журналов. Я слышал, что Суворин сам высказывался за желательность такой борьбы. Союз изданий самого различного направления, объединившихся с указанной целью, наконец сорганизовался, и заседания газетных и журнальных представителей происходили в помещении редакции «Слова» и «Нового времени» во втором этаже суворинского дома. Организация собраний заключалась в том, что от каждого издания присутствовали редакторы и по двое представите-

лей, избранных сотрудниками. От сотрудников «Слова» представительствовали я и С. Ф. Савченко-Бельский.

Когда в первый раз мне пришлось очутиться на собрании в редакции «Нового времени», наборщиками была объявлена забастовка. Насколько помнится, это было 19-го октября. Я вошел в зал, где было очень накурено и шумело множество голосов. Масса народа толпилась в помещении. Мелькали знакомые и незнакомые лица. Знакомились и разговаривали друг с другом без того грубо сектантского предубеждения, которым обыкновенно отличаются взаимные отношения русских людей неодинаковых политических воззрений. Точно забыта была вековая русская рознь и восторжествовала наконец мысль, что настоящее дело можно делать только сообща.

Открылось заседание. Между прочим собранию были представлены два представителя от наборщиков, которых вызвали, чтобы с ними поговорить о забастовке. Кажется, это были члены совета рабочих депутатов. Многие из числа собрания полагали, что после 17-го октября, в такую горячую ответственную минуту, печать не могла молчать; она должна была говорить и знакомить читающую массу с положением вещей. Наборщики же еще действовали по инерции; чего они требовали, я не помню, чуть ли не учреждения «демократической республики» и введения «всеобщей, равной, прямой и тайной» подачи голосов. Тогда уже это было в моде.

Наборщикам-депутатам пытались изъяснить суть дела, но они оставались непреклонны. Любопытно было наблюдать, как эти два испитые, неуклюжие, медлительные человека в синих косоворотках и мешковатых пиджаках импонировали собравшемуся цвету тогдашней журналистики.

К ним обращались с необычайным почтением и смирением. Несмотря, однако, на все обращенные к ним просьбы и разъяснения, наборщики оставалась непреклонны. Тогда последовало еще одно предложение. Представитель «Журнала для всех», какой-то господин прекрасной интеллигентной наружности с волнистыми каштановыми кудрями и серой барашковой шапкой в руке, заявил наборщикам:

– Господа, я понимаю, что вы не позволяете выходить консервативным изданиям, но неужели вы не позволите нам – либеральным, отстаивающим дело народа?

«Консервативные» журналисты переглянулись. В зале сразу сильно запахло старым духом главного управления по делам печати, только наизнанку. Видимо, сами «либеральные» смутились. По крайней мере, сидевший рядом со мною весьма симпатичный и умный журналист, сотрудник, кажется, «Сына отечества» или «Нашей жизни» Ганфман с неудовольствием покрутил головой и отвернулся от автора предложения. Прочие тоже молчали.

Господину с прекрасной интеллигентной наружностью дал урок один из рабочих:

– Ежели, – начал он тихо и с запинками, но вместе с тем и с уверенностью, – ежели мы вам позволим, либеральным, а тем не позволим, так оно будет несправедливо, нехорошо. Одним позволить, так и другим тоже, а без того оно нельзя, невозможно. Вот, скажут, одним позволяют, другим не позволяют... А уж если... там всем равно – по справедливости...

Эта справедливость, живущая в груди простого наборщика и отсутствующая в интеллигентном журналисте, умилила тогда многих.

Затем собранию для обсуждения был поставлен следующий вопрос: как обеспечить единство борьбы за новые права печати? Было предложено установление круговой поруки, применение которой должно было заключаться в том, что статью, за которую страдало одно издание, обязывались перепечатать у себя все остальные участники союза и таким путем, так сказать, распылить ответственность.

По этому вопросу много говорил сотрудник «Русской рабочей газеты» Воробьев. Этот еще очень молодой, но и очень самоуверенный человек лепетал скороговоркой о значении пролетариата, о том, что пролетариат не допустит, что пролетариат не нуждается ни в ком... Слово «пролетариат» выпаливалось через каждые три-четыре мгновения.

Пролетариат, как известно, был тогда в моде. Поэт Минский издавал пролетарскую «социал-демократическую газету»,

где сотрудничала «пролетарка» Тэффи, талантливый Сологуб писал социал-демократические стихотворения, ломая в пролетарских виршах свое недюжинное дарование… Не удивительно, что петушиный задор Воробьева не встретил достойного отпора старших, а видевший на своем веку виды Homo Novus* г. Кугель все-таки умилился и со вздохом произнес:

– Какая убежденность, какая свежесть чувства!

Я пытался возражать юному социал-демократу, но он не слушал и только повторял: «пролетариат», «пролетариат».

– Заладила сорока Якова и честит им всякого, – заметил кто-то из «консервативных».

Я встал и отошел к двери, ведущей в соседнюю полутемную комнату. Кто-то оперся сзади на мой стул. Я оглянулся. Это был Суворин. Я встал, предлагая свой стул Алексею Сергеевичу.

– Сидите, сидите, голубчик, – прежним приветливым тоном произнес он.

Я еще раз указал ему на стул. Суворин сел и с дружеской лаской, как это он делал с Каразиным на «беллетристическом обеде», взял своей ладонью верх кисти моей руки. В это время в зале происходили шумные прения. Представителями «Нового времени» являлись А. А. Столыпин и А. А. Пиленко. Оба они горячо доказывали, что слепая перепечатка всего, что бы ни было напечатано в пострадавшем издании, не может быть вменена в обязанность всем членам союза. Со свойственной ему талантливостью Пиленко развивал ту основательную мысль, что такие газеты, как «Новое время», которые представляют собою миллионные предприятия, не могут идти на риск закрытия с таким же легким сердцем, как только вчера возникшие летучие сатирические листки вроде многочисленных тогда «Пуль», «Стрел», «Пулеметов» и т.п.

В самом деле, эти листки представляли собою своеобразный журнальный пролетариат, решительно ничем не рисковавший в материальном смысле и потому способный на всякую выходку.

* Человек новый (*лат.*).

Несмотря на всю ясность положения вопроса, многие из «либеральных» спорили до слез и доказывали, что представители «Нового времени» нарушают товарищеское единение и равноправность. Среди общего шума и гвалта Суворин вдруг поднялся со своего места и твердым, хотя тяжелым шагом подошел к столу и положил на него свою палку. При появлении его вдруг все смолкло.

– Вот что, – послышался его уверенный голос среди общей тишины. – Пиленко говорил правильно: «Новое время» – миллионное дело, с ним связаны судьбы сотен людей, и оно не может рисковать так, как разные грошовые листки. Но мало того. Вы для чего сюда собрались? Делать общее большое дело... Так надо его делать как следует, не по-мальчишески, не так, как вон этот (Алексей Сергеевич кивнул на «пролетария» Воробьева). Нужно выбрать такие пути и средства, чтобы совместно идти к цели, нужно делать дело разумно. Мало ли что напечатает какой-нибудь листок в горячечном бреду или просто по глупости... Неужели все это должно «Новое время» да и все другие перепечатывать? Ведь это же смешно... Не надо срамиться...

Суворин говорил, не прося ни у кого слова, не справляясь о том, имеет ли он право говорить, и его слушали, не перебивая и даже не проронив ни одного слова. Речь его звучала уверенно и властно. Видно было, что говорил человек, привыкший к тому, чтобы его слушали.

Суворин кончил и снова отошел к двери, где сидел ранее. Его окружила группа лиц. Кто-то высказал предположение, что иной листок нарочно напечатает глупость, чтобы подвести многим ненавистное «Новое время» под обух.

– Я этого не думал и не думаю, – отвечал Алексей Сергеевич, – идет большое святое дело, надо сделать его, мы переживаем исторический момент, и теперь не время мальчишеским выходкам... Нужен здравый смысл...

Возобновившиеся прения не привели ни к чему, и Суворин, недовольный и раздраженный, тяжелым шагом ушел во внутренние комнаты.

Ежов Н. М.
Алексей Сергеевич Суворин

X
Суворин и Чехов

Алексей Сергеевич Суворин любил Ант. П. Чехова, это всем известно. Когда Чехов умер, Суворин, печатая о нем сочувственную заметку, сказал между прочим так:

– Он молодил меня.

Суворин, как человек очень увлекающийся, всегда что-нибудь ищущий, открывающий и радующийся всякой своей удаче на этом пути, услыхал впервые об Ант. П. Чехове от В. П. Буренина. Последний с великой прозорливостью увидал в авторе рассказов «Скорая помощь», «Егерь» и т.п., напечатанных в «Петербургской газете» (по восьми копеек за строчку!), нечто побольше веселого Антоши Чехонте и сказал об этом Д. В. Григоровичу и А. С. Суворину. Григорович прочитал указанные г. Бурениным рассказы, также пришел в восторг и приехал к Суворину, крича:

– Талант! Талант! Вы его должны пригласить!

А. С. Суворин сразу поверил этим двум авторитетным мнениям и пригласил Чехова. Читая присланный им рассказ «Панихида» (за подписью «А. Чехонте»), он так восхитился этим произведением, что телеграммой просил автора подписаться настоящей фамилией. Таким образом и народилось в литературе новое имя – «Ан. Чехов».

Второй рассказ – «Агафья» и затем третий – «Ведьма» окончательно покорили Суворина. И он полюбил Чехова заглазно, за его талант, свежесть, самостоятельность. Он сразу дал ему отличный гонорар, обласкал, наговорил при этом много полезного, укреплял в той манере письма, которую избрал Чехов, отмечал все наиболее удачное в его рассказах. Одним словом, Суворин выбрал в беллетристической оранжерее лучший тогда цветок-сеянец и стал его холить, нежить, лелеять, ухаживать за

ним, и Чехов распустился роскошным, благоуханным цветом. Буренину, Григоровичу Чехов был обязан многим, Суворину – всем. По свойству своей натуры делать людям добро Суворин отдавал Чехову столько отцовской ласки и любви, что Антон Павлович обязан был до гробовой доски это ценить и помнить. Но впоследствии Чехова забрали в свои руки так называемые либералы. Как это ни прискорбно и ни смешно, а те же Лавров и Гольцев[1], о ком молодой Чехов столь презрительно отзывался в беседе с А. С. Сувориным, закабалили Чехова, платя ему жалованье по двести рублей (только!) в месяц и по скольку-то с листа, лишь бы Чехов не писал в других изданиях. Период сотрудничества в «Русской мысли» – самый печальный для Чехова. Насколько он был свеж и талантлив в «Новом времени», настолько же тускл и посредственен в «Русской мысли». Все эти повести – «Жена», «Убийство», рассказ о каком-то интеллигенте, во имя политики угодившем в лакеи, – все это было настолько слабо, что прежнего Чехова напоминало в очень незначительной степени. Этого мало, появился рассказ «Ариадна», цель которого была ниже достоинства автора... В этот период Чехов, несомненно, получал от А. С. Суворина немало писем. Думаю, что Суворин, любя Чехова, а еще более его талант, скорбел о странном направлении его дарования и, по своей откровенности, не оставлял этого без письменных и, может быть, резких упреков. Однажды Чехов при мне получил письмо от Суворина. Большое, мелко исписанное обычными суворинскими иероглифами. Чехов читал его долго, насупившись, и вдруг сказал:

– Суворин думает, что мой свет в окне только «Русская мысль»! Странно, право... И за что нападать на «Русскую мысль»? Если я пишу неудовлетворительно, то разве журнал здесь причиной?

Больше Антон Павлович ничего не сказал, и что было еще в письме Суворина, я не знаю. Думаю, что Суворин упрекал Чехова за исключительное сотрудничество у Лаврова и, может быть, высказывал мысль, что серая обстановка журнала плохо влияла на талант автора книги «В сумерках». Но это только мои предположения.

Возможно ли, действительно, такое влияние? То есть влияние журнала на писателя-сотрудника? Это смотря что за человек автор. Чехов был очень впечатлителен и в то же время рыхл, и на него обстановка могла влиять в ту или иную сторону. Я допускаю, что люди вроде Гольцева, Соболевского, Лаврова могли до известной степени понизить вдохновение Чехова. А по правде сказать, Чехов к тому времени почти использовал себя как беллетрист, и краски его пера естественно поблекли. Они ожили в драмах Чехова, потому что драмы потребовали огромного напряжения сил, и Чехов это сделал в ущерб своему здоровью. Писание для театра оживило, воскресило его талант, но не настолько, чтобы он создал что-нибудь замечательное. Л. Н. Толстой совсем не понимал его драмы «Дядя Ваня» и называл ее «трагедией на пустом месте» – убийственная, но верная характеристика.

А. С. Суворин, насколько мне известно, чеховских пьес последнего периода его творчества не любил, но он высоко поставил драму «Иванов» (в смысле пьесы, пожалуй, самую удачную) и за «Чайку», провалившуюся в Александринском театре, вступился горой. Он отметил все, где горит и переливается искрами чеховское дарование. Продолжая любить писателя-Чехова, он возмутился грубым отношением петербургской публики, громко называвшей пьесу «чепухой» и «вздором»; вообще эта статья Суворина есть горячая отповедь всем, кто осудил произведение талантливого автора. Но еще более она – отеческое любовное заступничество за милого человека.

А. П. Чехов во времена давно прошедшие высказывал симпатии к Суворину, а в письмах к нему говорил о своей любви. В последнее время, когда он писал драмы для Художественного театра, о такой любви к Суворину даже было говорить странно, Чехов выражал, и не раз, полную неприязнь к А. С-чу, и я не знаю, чем это объяснить. Думаю, что не разность взглядов в политическом отношении тому причиной. Вернее, что откровенные и проникнутые горьким чувством упреки Суворина и при встрече, и в письмах раздражали Ант. П. Чехова. Он и фи-

зически был нездоров, и самолюбие его достигло болезненно ненормальных размеров. Все это привело к печальному разрыву Чехова с Сувориным, и это более повредило Чехову, чем Суворину. Если бы Антон Павлович остался до конца другом Алексея Сергеевича, он бы, может быть, удержался от многого такого, что он сделал...

Ошибки, конечно, свойственны каждому. Но дружба с Сувориным избавила бы Чехова от многих ошибок; а вот дружба с гг. Гольцевым, Лавровым, а затем с редакцией «Русских ведомостей» и руководителями и артистами театра не избавила Чехова от некоторых неверных шагов. Очень жаль, что все это так вышло...

Любовь Суворина к Чехову, разумеется, также потускнела, хотя Суворин всегда стремился сделать Чехову только одно добро. Суворин, отыскав Чехова в мелкой прессе, первый способствовал росту его таланта. Он его любил, как коллекционер, отыскавший на грязном рынке довольно ценную редкость. Суворин в литературном смысле коллекционерствовал долгие годы. Его состав сотрудников доказывает, какая у него бывала коллекция талантов. Чехов был в ней яркий самоцветный камень. И Суворин – первый и главный его гранильщик. Блеск Чехова – в нем рука мастера-Суворина отражена бесспорно. И таланту, и душе человека, пользующегося дружбой А. С. Суворина, это было всегда выгодно. Потому что Суворин, повторяю, как глубоко нравственная личность, мог влиять лишь в добром смысле, а его ум и талант создали из него первоклассного руководителя многих литературных деятелей.

И Антон Чехов был средней по величине золотой чашей русской литературы; на этой изящной чаше-кубке есть, несомненно, узоры искусной чеканки А. С. Суворина...

* * *

Влияние А. С. Суворина на Чехова было прежде огромное. Помню, когда происходили словесные бои в обществе драматических писателей и оперных композиторов, когда

крупные драматурги стремились лишить голоса драматургов маленьких и скоро добились этого, – к А. С. Суворину ходили на поклон и казначей общества Майков, и писатель Шпажинский[2]; общество поднесло А. С. Суворину какую-то почетную медаль. При этом Суворину постарались изобразить суть дела так, что и он склонился к идее, что хозяином может быть лишь тот, кто зарабатывает известную определенную сумму денег. Но что от этого страдал принцип права собственного голоса каждого драматурга, хотя бы и маленького, на это Суворин особого вниманья не обратил, тем более что он верил составу правления. Антон Павлович Чехов сначала был на стороне маленьких драматургов и горячо об этом говорил с А. Д. Курепиным[3], в те годы писавшим в «Новое время» фельетоны из Москвы и громившим гг. членов правления названного общества. Да и мне лично Чехов говорил (когда уж права голоса для большинства членов были отменены):

– Это несправедливо, очень несправедливо!

Сам Суворин, вероятно побывав на общем собрании драматургов, которые проходили очень бурно и подчас даже бестолково, рассердился на шумящих неизвестностей, поэтому и стал на сторону нового правила. И вот, когда борьба была в полном разгаре, а Чехов гостил в квартире издателя «Нового времени», А. С. Суворин, как я предполагаю, перестроил мысли Антона Павловича в обратную сторону, и Чехов написал и напечатал в «Новом времени» шуточную статейку «Вынужденное объяснение» за подписью «Акакий Тарантулов», а Суворин снабдил ее примечанием от редакции. Вещичка эта невелика, смешна и характерна, и я ее привожу здесь целиком, тем более что она в те давние годы произвела страшное волнение и досаду среди маленьких драматургов.

«ВЫНУЖДЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.

В 1876 году, 7-го июня, в $8^1/_2$ часов вечера мною была написана пьеса. Если моим противникам угодно знать ее содержание, то вот оно. Отдаю его на суд общества и печати.

СКОРОПОСТИЖНАЯ КОНСКАЯ СМЕРТЬ
или
ВЕЛИКОДУШИЕ РУССКОГО НАРОДА

Драматический этюд в 1 действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Любвин, молодой человек.
Графиня Финикова, его любовница.
Граф Фиников, ее муж.
Нил Егоров, извозчик № 13326.

Действие происходит среди бела дня, на Невском проспекте.

ЯВЛЕНИЕ I.
Графиня и Любвин едут на извозчике Ниле Егорове.

Любвин *(обнимая ее).* О, как я люблю тебя! Но все-таки я не буду в спокое, покуда мы не доедем до вокзала и не сядем в вагон. Чувствует мое сердце, что твой подлец-муж бросится сейчас за нами в погоню. У меня поджилки трясутся. *(Нилу).* Поезжай скорей, черт!

Графиня. Скорее, извозчик! Хлобысни-ка ее кнутом! Ездить не умеешь, курицын сын!

Нил *(хлещет по лошади).* Но! Но! Холера! Господа на чай прибавят.

Графиня *(кричит).* Так ее! Так ее! Нажаривай дрянь этакую, а то к поезду опоздаем.

Любвин *(восторгаясь ее неземной красотой).* О, моя дорогая! Скоро ты будешь принадлежать всецело мне, но отнюдь не мужу! *(Оглядываясь с ужасом).* Твой муж догоняет нас! Я его вижу! Извозчик, погоняй! Скорей, мерзавец, сто чертей тебе за воротник! *(Лупит Нила в спину).*

Графиня. По затылку его! Постой, я сама его зонтиком... *(Лупит).*

Нил *(хлещет изо всех сил).* Но! Шевелись, анафема! *(Изморенная лошадь падает и издыхает).*

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и граф.

Граф. Вы бежать от меня? Стой! Изменщица! Я ли тебя не любил? Я ли тебя не кормил!?

Любвин *(малодушно).* Задам-ка я стрекача! *(Убегает под шумок собравшейся толпы).*

Граф *(Нилу).* Извозчик! Смерть твоей лошади спасла мой семейный очаг от поругания. Если бы она не издохла внезапно, то я не догнал бы беглецов! Вот тебе сто рублей!

Нил *(великодушно).* Благородный граф! Не нужно мне ваших денег! Для меня послужит достаточной наградой сознание, что смерть моей любимой лошади послужила к ограждению семейных основ! *(Восхищенная толпа качает его).*

Занавес.»

Эту шутку Чехов кончает следующим ядовитым послесловием:

«В 1886 году, 30-го февраля (!), эта моя пьеса была сыграна на берегу озера Байкала любителями сценического искусства. Тогда же я записался в члены общества драматических писателей и получил от казначея А. А. Майкова[4] надлежащий гонорар. Больше никаких пьес я не писал и никакого гонорара не получал.

Итак, состоя членом названного общества и имея права, сим званием обусловленные, я от имени нашей партии настоятельно требую, чтобы, во-первых, председатель, казначей и секретарь и комитет публично попросили у меня извинения,

во-вторых, чтобы все перечисленные лица были забаллотированы и заменены членами нашей партии, в-третьих, чтобы 25 000 рублей из годового бюджета общества были ежегодно ассигнуемы на покупку билетов гамбургской лотереи и чтобы каждый выигрыш делился между членами общества поровну...» и т.д., еще несколько смешных требований.

«От редакции (то есть, может быть, от самого А. С. Суворина в компании с Чеховым). – Помещая это заявление почтенного члена общества русских драматических писателей и оперных композиторов Акакия Тарантулова, мы льстим себя надеждою, что оно вызовет полное сочувствие по крайней мере в половине достопочтенных членов этого общества, заслуги которых столь же велики, как и заслуги г. Акакия Тарантулова. Русская драматургия есть именно тот важный род поэзии, в котором Акакии Тарантуловы могут приобретать неувядаемую славу от финских хладных скал до пламенных кулис, от потрясенного Кремля до трескотни общих собраний общества драматических писателей и оперных композиторов...»

Надо кстати сказать, что драматурги «Тарантуловы» ратовали против действительно чудовищных гонораров, которые получал путем процентных отчислений простой чиновник А. М. Кондратьев (который не написал даже драматического этюда г. Акакия Тарантулова, но брал с общества по 20 000 рублей в год, да и теперь берет!), против слишком щедрого жалованья казначею Майкову и т.д. Раздоры в обществе послужили впоследствии образованию союза драматических писателей в Петербурге.

Но тогда Суворин и Чехов поглядели на это дело глазами московского правления общества.

XI
Суворин-драматург

Когда в московском Малом театре поставили «Татьяну Репину» с М. Н. Ермоловой в заглавной роли, спектакль прошел с громадным успехом, с выдающейся игрой артистов. По-

мимо г-жи Ермоловой, превзошедшей себя в роли несчастной Репиной, отлично играл Сабинина А. И. Южин, а еврейку – Н. Д. Никулина[5].

«Татьяна Репина» – произведение зрелого и сильного Суворина. Пьеса эффектна, сценична и написана превосходным русским литературным языком. И в Петербурге, и в Москве, и в провинции эта драма прошла с громом аплодисментов, всем понравилась, а артистам давала отличный материал для игры.

И все-таки А. С. Суворин даже в «Татьяне Репиной» – не драматург. Это произведение большого писателя, но публицист проскальзывает всюду в этой пьесе, чуть-чуть искусственной, с явным расчетом на эффект смерти артистки на сцене.

Я здесь расскажу о другом драматическом произведении А. С. Суворина, написанном уже в старости, о драме «Вопрос», также шедшей впервые на Малом театре в Москве, а потом – в Петрограде, в театре самого Суворина.

Алексей Сергеевич явился в Москву задолго до постановки и вызвал меня. Мы с ним завтракали в «Славянском базаре», в ресторане. Суворин ждал князя А. И. Сумбатова для беседы о пьесе. Он волновался и спрашивал:

– Есть в труппе Малого театра хорошая молодая артистка?

Я боялся называть ему имена.

– Сумбатов рекомендует Селиванову. Помнится, вы ее не хвалили.

– Вам нужна молодая артистка?

– Да, для роли бойкой барышни, дочери важного петербургского чиновника.

– Берите кого хотите, только не Селиванову, – сказал я. – Ничего особенного не представляет собою г-жа Садовская 2-я[6], но, во всяком случае, она хоть по-русски говорить будет.

– А Селиванова что такое?

– По-моему, артистка без всякой дикции, но, как говорят, с протекцией.

Как раз в это время приехал князь Сумбатов.

– Ах, это для роли дочери Юрьева? – спросил князь Сумбатов. – Я бы рекомендовал г-жу Селиванову.

Я сейчас же возразил и князю Сумбатову.

– Я знаю, вам она не нравится! – заметил тот.

– О, ведь эти господа театральные критики народ престрогий! – сказал быстро Алексей Сергеевич. – Впрочем, он на Садовскую указывает...

– Нет, я стою за Селиванову, – продолжал князь Сумбатов, которому также предстояло играть в суворинской драме бойкую роль Муратова. – Она роли, во всяком случае, не испортит.

– Ну, так ей и отдадим! – сказал Суворин.

Я, конечно, более не спорил. Однако ж скоро я узнал, что роль дочери сановника отдана Садовской 2-й. По-видимому, Суворин убедился, что «артистка с протекцией, но без дикции» – дело не подходящее. Так оно и было. Он первый, увидя меня на генеральной репетиции «Вопроса», сказал:

– Ну, знаете, Селиванова мне совсем не понравилась! Нарочно ее смотрел...

– Я же говорил, что Садовская более подходит.

– Да, с грехом пополам, подходит... Скажите, почему у вас молодые актеры какие-то вареные?

– Как вареные?

– Да, вот... спрашиваю одного... отчего он руку к виску поднял да так и закостенел в этой странной позе? А он отвечает: «Это, – говорит, – я пробую изобразить усиленную думу!» Я ему говорю: «Оставьте!» А он опять по-своему делает... Ну, да уж и...

Тут Суворин стал разбирать игру исполнителей со свойственной ему прямотой. Он был сам не свой, видимо горя волнением автора накануне первого спектакля.

– Пришлось конец пьесы переделать! – продолжал он. – Показалось неестественным многое... Вообще надо бы посидеть над драмой...

Его позвали за кулисы – он побежал, как, быть может, торопился только в молодости, почти рысью. Думаю, что он не уснул во всю ночь перед спектаклем!

Драма «Вопрос» лично мне не понравилась. Блестящая по слогу, она носит на себе чисто петербургский колорит. Острота о сановнике, не знающем, какой бывает в поле овес, когда это

«даже лошади знают», очень смешна и в Петербурге произвела фурор, но в Москве была принята хотя со смехом, но без особого энтузиазма. Появление синьоры Венони (играла г-жа Федотова[7]), как deus ex machina, делало пьесу похожей на мелодраму. Самая дуэль героев казалась не совсем естественным выходом. Словом, эта пьеса – относительно слабое произведение Суворина, и с «Татьяной Репиной» ее сравнить никак нельзя.

Публике, однако, очень понравился спектакль, да и Суворина в Москве всегда любили. Автора «Вопроса» стали вызывать после второго акта, а после третьего (Суворин вышел только тогда, когда крики: «Автора, автора!» – стали дружными и общими) и четвертого актов эти вызовы знаменовали настоящий, неподдельный успех. Я живой свидетель этого.

На другой день я посетил А. С. Суворина в «Славянском базаре».

– Вы написали что-нибудь о спектакле? – было первым вопросом Суворина.

Он сидел, разложив московские газеты, и с увлечением молодого автора-дебютанта читал отзывы наших рецензентов.

Я сказал, что передал кратко по телефону о первом представлении пьесы и о том, что был успех, автора дружно вызывали несколько раз.

– Скажите, голубчик, ведь вы, конечно, были на представлении? – спросил Суворин. – Где вы сидели?

– В четвертом ряду кресел. А что?

– Ну, скажите по совести, охотно ли вызывала меня публика?

– И даже очень охотно и громко, – отвечал я.

– Многие вызывали?

– Очень многие. После второго акта не так много, а после третьего – усиленно вызывали. Также и после четвертого. Помоему, московской публике ваша пьеса понравилась.

– Ну вот видите! А вот в «Русских ведомостях» пишут, что автора не вызывали, а он сам выходил вместе с вызываемыми артистами. Знаете, мне это было очень больно прочитать, и именно в «Русских ведомостях». Я их всегда считал опрятным

изданием. И вдруг такое злостное искажение истины... Я, знаете, долго не шел. Актеры мне говорят: «Вас вызывают, идите!» Но я пропустил второй антракт, вовсе не желая выходить на редкие вызовы. После третьего акта я вышел, вполне убедившись в желании публики меня видеть... Ведь я же это слышал, слышал!

Он был в сильной ажитации, этот молодой старик, страшно впечатлительный и ненавидящий ложь. Указав на газеты, он продолжал:

– Уж и рецензии я читал! Кое-где все-таки прилично и констатирован успех... Но «Русские ведомости»! Кто бы от них это ожидал... Я не ожидал, честное слово!

В тот же день он пригласил меня вместе пообедать. За обедом была супруга Суворина, Анна Ивановна Суворина, Б. А. Суворин и г. Коломнин, племянник Алексея Сергеевича.

Суворин отдохнул, и раздражение его улеглось. Разговор шел только о пьесе «Вопрос» и об ее исполнении. Суворин очень хвалил О. О. Садовскую, Правдина и Южина[8]; остальными исполнителями он остался менее доволен.

Не помню, кажется, Суворин в тот же вечер уехал в Петроград, а его драма «Вопрос» продолжала не без успеха идти в нашем Малом театре.

XII
Суворин – и война с Японией, революция в Москве и всероссийские реформы

Неожиданное нападение японского флота на русский в гавани Порт-Артура и объявленная вслед за сим война Японии произвели на А. С. Суворина потрясающее впечатление. Он стал ежедневно печатать свои «Маленькие письма». В них с юношеской энергией, горячо, сильно, патриотично выступил он за честь России, за достоинство родины. Все читали статьи Суворина с захватывающим интересом. Он красноречиво описывал свои первые впечатления от военных действий. Затем в газете своей он сделал ряд распоряжений. От «Нового времени» поехало девять корреспондентов, снаб-

женных огромными денежными суммами и оплачиваемые за статьи баснословным вознаграждением. Суворин следил за всеми перипетиями войны, волновался, беспокоился, не спал по ночам, читал все статьи, сам писал, стараясь ободрить русское общество. Это был его год страды, он много унес у него сил и здоровья. Кроме того, неудачи русских войск страшно и губительно отозвались на Суворине. Он стал нервен сверх меры, вспыльчивее, чем когда-нибудь. Опишу один случай его крайней экспансивности, чему я был невольным свидетелем. Мне пришлось приехать в Петербург, и я, конечно, посетил А. С. Суворина. К этому времени он как редактор испытывал массу неприятностей. Один из корреспондентов «Нового времени» заболел и уехал из Порт-Артура. Другие, по-видимому, ничего путного не присылали. Суворин прямо из себя выходил и кричал, что следовало взять корреспондентом Вас. Немировича-Данченко, который «хоть даже чего и не увидит, а все-таки умело опишет!»

Я попал к Суворину в разгар таких недоразумений с корреспондентами. Алексей Сергеевич показался мне сильно постаревшим, щеки у него впали, но со мной он обошелся приветливо и сейчас же заговорил о Москве, принялся расспрашивать, какие там происходят беспорядки, сходки, волнения (действительно, в Москве уж подготовлялись политические движения, впоследствии разразившиеся в форме настоящего бунта, с «баррикадами» даже!). Я начал рассказывать, и вести из Москвы заинтересовали Алексея Сергеевича. Он слушал нервно, качал головой, ахал, смеялся, негодовал.

Вдруг неожиданно вошел ныне покойный В. А. Шуф[9]. Я был очень удивлен его появлением. В начале войны я видел его в Москве, в громадной папахе. Он ехал на войну корреспондентом от «Нового времени», снабженный полномочиями и средствами. Я спросил, зачем он в папахе. Шуф отвечал:

– Походная штука, батенька! Кто его знает, придется в полях ночевать, вот вам и подушка.

И вот он оказался уже в Петербурге, в квартире А. С. Суворина, хотя и без папахи.

Увидав вошедшего Шуфа, Алексей Сергеевич весь так и всполошился. Так и вскинулся.

– Да это что же такое?! Вы что же это, в самом деле? Вам надо на войне быть, а вы изволили бежать с поля сражения!?

Вскоре после этого вошедший на крик Суворина Б. В. Гей потихоньку объяснил мне, что Шуф самовольно вернулся в Петербург, кратко известив редакцию, что он «едет обратно».

– Вы что это!? – продолжал, вскочив и не сажая корреспондента, Суворин, весь даже сотрясаясь от негодования. – Какая нужда у вас появилась возвращаться? Что вы, заболели, переутомились? Ранили вас?

– Нет, не ранили, – отвечал Шуф, – но японцы наступали...

– Японцы наступали! – воскликнул Суворин. – Так что же из этого!? На войне всегда так, или неприятель наступает, или мы на неприятеля наступаем... Дело корреспондента описывать все это, а вы что сделали?!

– Я опасался, что меня возьмут в плен...

Суворин даже подпрыгнул на месте.

– Да это, голубчик, черт знает, что вы говорите такое! Ведь это стыдно и позорно! В плен его японцы возьмут... Что ж из того, что вас хотя бы и в плен взяли? Вам это полезно было бы... Может быть, вы вернулись бы из японского плена поумнее... Я теперь весьма жалею, что вас не взяли в плен!

– Но Алексей Сергеевич, ведь я... не мог же я...

– Молчите! Не оправдывайтесь! Вы только глупости способны наговорить. Вы струсили и убежали с поля битвы... Ваше письмо мы читали, где вы объясняете причины бегства. Вы изволили умозаключить, что все потеряно, и вот, в компании двоих сотрудников из «Петербургской газеты» и «Петербургского листка» (какая компания для вас, подумаешь, отличная!) вы втроем решили удрать... и прямо укатили в Петербург! Очень благородно! И как это подходяще для сотрудника «Нового времени». Все были в редакции против того, чтобы посылать вас на войну. Я один стоял за вас. Я думал, что вы, как человек еще молодой и энергич-

ный, оправдаете мой выбор. И что же? Вы даже телеграмм не умели путем составить. Мы получали какую-то дребедень. И только последняя ваша телеграмма была интересна... первая и последняя, так сказать! А затем вы с двумя газетными евреями, испугавшись японского плена, решили, что самое лучшее, самое умное – это бежать в Петербург! Браво, г. Шуф! Спасибо! Исполать вам...

– Алексей Сергеевич, какой же смысл попасть в плен? – все не сдавался Шуф. – Опасность была огромная!

– Фу, Боже мой! Ваши возражения бессмысленны. Корреспондент должен описывать события, а не делать выводы о собственной опасности или безопасности. Ну теперь, извините, я вам никаких поручений не дам! Можете безопасно сидеть дома.

– Но Алексей Сергеевич...

– Оставьте, говорю вам, не возражайте! Можете идти, вы меня только раздражаете! И я вам, в конце концов, так скажу: ваши товарищи по бегству поступили, как дураки, а вы, извините меня, поступили, как дурак в квадрате!

Суворин запыхался и сел.

После этого комплимента несчастный Шуф исчез. А Суворин разводил руками и все не мог успокоиться:

– Корреспондент «Нового времени» бежит с поля сражения! Ведь это что же такое!? Это что же!?

По-видимому, военные неудачи России так потрясли А. С. Суворина, что он захворал и уехал, кажется, в Германию. По крайней мере, во дни «великой московской революции» он находился за границей и, слыша урывками о наших событиях, не верил, что в России серьезный бунт.

– Это не революция, а пародия! – твердил он. – Я не верю в восстание русского народа...

Вернувшись, он написал несколько статей о наших политических событиях. Московская пародия, как выразился Суворин, пародия на французскую революцию, кончилась. Начались отечественные реформы. Прошли первая и вторая Государственные думы. После созыва третьей Государствен-

ной думы и избрания А. И. Гучкова председателем парламента я напрасно ждал статей А. С. Суворина.

Увы, «Маленькие письма» почему-то вдруг прекратились. Новые события, веяния, происшествия, реформы, новый уклад жизни, по-видимому, поразили А. С. Суворина и заставили его временно замолчать. Впрочем, не только Суворин, даже Л. Н. Толстой был подавлен событиями «нового курса» на Руси. Мне говорили сотрудники «Нового времени», что Суворин, продолжая вести газету, иногда печатал статьи, но совершенно без подписи. Он не решался возобновить свои «Маленькие письма». Однажды, например, написав такое письмо об А. И. Гучкове, председателе Государственной думы, он вдруг велел разобрать статью, хотя сотрудники, читавшие статью в корректурах, находили ее великолепной.

В конце концов я делаю вывод, что А. С. Суворин, пожалуй, и совсем не растерялся перед новой действительностью, а приглядывался к ней, разбирался в ней, оттого он и медлил со статьями. Ведь мужества у него было не занимать стать. Когда Алексей Сергеевич вернулся из-за границы, он сразу обрушился на врагов России, оставляя в стороне всякие соображения об опасности для газеты. Вспомним хотя бы его прекрасные статьи о Носаре, о графе Витте. Суворин смело отказался печатать у себя манифест революционных партий. Словом, он явился героическим слугой и другом родины в самые критические минуты всероссийской разрухи и общественного беспорядка. Все честные русские люди с восторгом тогда произносили имя А. С. Суворина...

И вот, когда была созвана третья Государственная дума, перед Сувориным и всеми интеллигентами открылся новый путь для нового дела. Однако Суворин уже не мог принять в нем первенствующей, как всегда, роли. Физическая усталость и надорванные нервы давали себя знать. Японская война в особенности потрясла этого богатыря-патриота. Раны России были ранами и Суворину. Болея телом и душой, Алексей Сергеевич стал мнительнее и не верил даже самому себе, не был доволен даже своими блестящими статьями.

Вот почему, мне думается, и появился этот досадный пробел в «Новом времени».

Но он не потерял живого интереса к обновленной русской жизни, ко всем ее событиям. И газету Суворин составлял попрежнему сам, и все статьи читал и исправлял их, просиживая целые ночи за работой.

Мощный старый писатель еще потрясал своими литературными перунами!

XIII
А. С. Суворин как редактор

Эта глава моих размышлений о Суворине – дань сотрудника, до самой смерти желающего сохранить светлую память о своем руководителе. Я пробую сказать только то, что сказать следует, именно одну правду, ничем не прикрашенную, прямую и безбоязненную.

У А. С. Суворина, говорят, был дурной характер. Антон Павлович Чехов говорил мне, что, живя в Париже, он часто «не выносил брюзжанья и придирательств Суворина и уходил от него.

– Вы куда, Антон Павлович?

– Гулять!

– Врете, вы на меня сердитесь.

– Нисколько. Просто я хочу пройтись...

– Ну, идите, идите, черт с вами!»

Такие сцены возможны со всякими людьми, и с большими, и с ничтожными. Суворин в Париже, скучая и сидя без дела, мог опуститься до бранчливости и старческого брюзжанья. Что ж, разве Суворин не человек?

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...

Я однажды ходил с Сувориным по Москве. На нем была дорогая шуба, и он, должно быть, устал от ходьбы, стал кашлять и выказывать неудовольствие. Он бранил московские дома и улицы, грязь, извозчиков, вывески, «которые разобрать нельзя», толпу, «которая прет и толкается», наконец, даже снег...

– Черт знает, что у вас за погода! Я думал, здесь мороз, этакий настоящий русский мороз-морозец, аленькие щечки, а ведь это что же такое? Крупа какая-то сыплется... под ногами тает...

Алексей Сергеевич шел, ворчал. Я не знал, что ему отвечать. И потом, чтобы как-нибудь развлечь его, заговорил об одном московском купце-миллионере, который четыре раза венчался, причем его прежние три жены были живы.

– Не может быть! Кто же это?

Я назвал фамилию, в Москве очень известную.

– Удивительная история! Как это случилось, расскажите, это замечательно...

Я сообщил вкратце, чтó этот купец-четыреженец, любя законный брак, говорил своему поверенному, советовавшему купцу жить с четвертой женой гражданским браком, что будет и дешево, и без хлопот.

Купец погладил бороду и спросил:

– А как же, барин, «Исаия, ликуй!» не будет!?

– Какой «Исаия»?

– Во-на! Какой! Я, брат, люблю, чтобы все честь-честью. Я с невестой на коврик идем, а певчие «Исаия, ликуй!» поют. Ты, барин, из испанцев, кажись, будешь? Ну, а мы, православные христиане, насчет того, чтобы все по закону и чтобы обряд блюсти, стоим незыблемо! Так ты и запиши.

– Да ведь дорого будет стоить вам, достоуважаемый! – твердил еврей-адвокат.

– А тебе какая забота? Деньги всегда при нас. Ты только действуй, а мы платить будем.

И купец дождался своего: венчался в четвертый раз и слышал «Исаия, ликуй!».

А. С. Суворин очень смеялся, говорил, что только Москва и может таить в себе подобные типы, называл купца

какой-то «безобразной, но отдаленной копией Ивана Грозного», затем сказал:

– Отчего же вы этого не опишете?

– Уж очень дело-то интимное… Удобно ли?

– А вы в форме рассказа, очерка; это характерно, это типично... Вообще все чисто московское, нам, петербуржцам, неведомое или малознакомое, вы должны заносить в свои субботние фельетоны. Вы иногда прекрасно расскажете что-нибудь незаурядное или представляющее интерес, а то вдруг заведете свою излюбленную полемику с литераторами московских изданий. Я знаю, вас увлекает такая полемика. Но разбирайте, что есть полемика общая и полемика частная. Вопросы государственные вызывают яростную полемику, и публика с интересом это читает. А кому интересно знать, например, что в газете «Курьер» какой-то выгнанный профессор написал вздорную статью? Или кому надо знать, что московский издатель N безграмотен, туп и глуп? А вы на это тратите силы, выдумываете кудрявые фразы! Перед вами открыта вся Москва. Это громадный музей. Он неисчерпаем. Ваши раскольничьи кладбища, быт Таганки, Хитровка, Грачевка, рынки, ночлежные дома, рост торговли, фабрики, фабричные короли, купцы старые и купцы новые, жизнь московских окраин, где еще, вероятно, голубей гоняют*, все это крайне интересные сюжеты, а так как вы умеете описать то, что видите, то положительно вы грешите и против себя, и против газеты, делая фельетонные экскурсии в сторону от правильной своей дороги. Вы как-то описывали пасхальную заутреню в Кремле. У вас хорошо звонил Иван Великий. Позванивайте же, голубчик, почаще в те колокола, которые дают вам стройную музыку, а не какофонию!

Произошло знаменитое убийство секретаря полтавской духовной консистории А. Я. Комарова. Газеты подняли шум. Первый процесс вызвал статьи корреспондентов, где доказывалось, что виновница убийства женщина и что в подозрении остается жена убитого. Профессор Патенко издает свою бес-

* Нынешним летом, проезжая по краю Москвы, я видел стаю белых голубей в воздухе и вспомнил слова Суворина. – *Авт.*

примерную по легкомыслию брошюру «Кто убил Комарова?» и доказывает, что только дамская кокетливая рука могла завязать в бант веревку, найденную на шее задохнувшегося Комарова. В «Новом времени» появились «Маленькие письма» А. С. Суворина, где и он склонялся к выводу, что обвинявшиеся в убийстве братья Скитские напрасно посажены на скамью подсудимых и что тут чувствуется рука ревнивой женщины.

Вскоре после этих статей ко мне явилась вдова покойного Комарова и рассказала все, что касалось обстоятельств таинственного убийства ее мужа. Потрясенный этим рассказом, а также самой Комаровой, вполне интеллигентной женщиной, полной ума, энергии, здравого смысла и говорящей языком образованного оратора, – я сейчас же написал фельетон «К делу братьев Скитских» и отправил в «Новое время». Фельетон был напечатан, и началось опять газетное столпотворение. Писали всякий вздор, но серьезных возражений словам г-жи Комаровой я не встретил нигде.

А. С. Суворин известил меня, что он с большим интересом читал мою беседу с Комаровой: «Я точно вижу перед собой эту описанную вами женщину с бледным лицом и темными волосами. Недавно я увидал портрет Комарова: совсем иным я его воображал! Я думал, это какой-нибудь консисторский чиновник, злобный, мелочный; но, оказывается, это человек с открытым, вполне интеллигентным лицом, очень молодой при этом. У меня сразу родилось чувство жалости к нему. Вы, Николай Михайлович, идете вразрез с общим мнением, я читаю у вас между строк, что вы готовы оправдать Комарову, что очень хорошо, если это удастся доказать, и обвинить братьев Скитских, что очень нехорошо, так как, если судить по словам Патенка и корреспонденциям, оба Скитские тут совершенно ни при чем. Берегитесь! Такие ошибки для журналиста опасны. Знайте также, что, пока не состоялось третьего разбирательства дела, твердых выводов делать нельзя. Я же стою за то, что братья Скитские неповинны в этом преступлении».

Это письмо Суворина меня очень взволновало. Действительно, поддавшись чувству жалости и выслушав искусную

речь г-жи Комаровой (впоследствии она и на суде доказала свою способность великолепно объясняться: около двух часов шел ее допрос, причем присяжный поверенный Карабчевский, защитник Скитских «оптом», так как были защитники и «в розницу», совершенно спасовал перед этой замечательной женщиной, бросил тактику грубого «сбивания» и отступил, ничего не найдя в словах вдовы убитого, что могло бы оказаться ему полезным), – я мог, не зная дела, совершить ошибку, стать несправедливым. Я немедленно достал все материалы дела бр. Скитских, оправданных в Полтаве, но обвиненных в Харькове, и стал изучать процесс. Чем ближе я знакомился с событием, тем более росла во мне уверенность, что г-жа Комарова никак не могла ни убивать мужа, ни руководить его убийством, а относительно братьев Скитских, напротив, ряд косвенных улик создавал для меня решительный вывод, что убить могли только Скитские, заинтересованные смертью Комарова, спасавшей их от изгнания со службы и от голода. По старому юридическому правилу, преступление совершил тот, кому оно было полезно. Комарова, лишась мужа, лишилась всего: средства к жизни (она впоследствии служила на железной дороге, получая тридцать руб. в месяц), почетного общественного положения. Братья Скитские, наоборот, только выигрывали: смерть Комарова предотвращала их изгнание со службы. Старший Скитский с приездом Комарова в Полтаву потерял всякое значение в консистории и был изобличен новым секретарем в разных неблаговидных проделках. Их участь была решена – отсюда и вывод: убийство полезно одним Скитским.

Обо всем этом я написал А. С. Суворину, добавив, что заинтересовавшая его курьезная брошюра профессора Патенка обсуждалась у нас юристами и московский профессор Минаков назвал ее «болтовней старой бабы» – мнение вполне правильное.

Суворин на это письмо мне не ответил. Третье разбирательство дела Скитских произошло в Полтаве в два приема: зима помешала судебной палате осмотреть местность убий-

ства и пути Скитских, будто бы шедших через гору «купаться по системе пастора Кнейпа», и дело отложили до лета.

Редакция «Нового времени» командировала на процесс Скитских меня, и я с рвением исполнил эту обязанность корреспондента. Дело кончилось оправданием братьев Скитских. Мотивы оправдания – появление новых свидетелей в пользу Скитских, рассказывавших о деле через три года после убийства. Юристы прямо называли их показания сфабрикованными. Я нахожу, что это приговор несправедливый (два судейских голоса также были против оправдания). Свои статьи я писал так, как разумел суть дела. А я был уверен в виновности братьев Скитских. Процесс этот следовало бы подробно описать и издать, но не так, как описали его харьковские и полтавские корреспонденты.

Разумеется, мои статьи в «Новом времени» стали предметом нападок противников моего взгляда. Но я сознавал, что стою за правду. После процесса лучшее полтавское общество прислало мне нечто вроде адреса, где благодарило меня за истинное освещение дела, затуманенного громкими речами адвокатов и лживыми показаниями разных свидетелей.

Но лучшей моей наградой были слова А. С. Суворина. При личном свидании он сказал мне буквально следующее:

– Я читал ваши корреспонденции из Полтавы и должен сказать, что вы переубедили меня. Я более не подозреваю г-жу Комарову и думаю, как и вы, что Комарова убили братья Скитские...

Этот эпизод касается истории конченой и забытой. Младший Скитский, выйдя из тюрьмы, пил «мертвую» и скоро умер. Жив ли Степан Скитский, не знаю, но мне известно, что он, очутившись на свободе, не мог найти места в Полтаве и куда-то уехал... чуть ли не в Америку. А сам на суде давал клятву, что задачей его жизни будет разыскание истинных убийц Комарова! Что же, нашел ли он их в стране янки?

Кровь честного русского общественного деятеля А. Я. Комарова, желавшего истребить дурные консисторские нравы и искоренить взяточничество, до сих пор вопиет к небу. Убийцы

его официально не обнаружены. Пусть же Господь покарает виновных, если люди были лишены возможности отыскать их...

Однажды А. С. Суворин разбранил меня за небрежный фельетон о Солдатенкове[10]. Действительно, после смерти этого интересного москвича я, торопясь и боясь опоздать, послал только небольшую заметку о деятельности этого «московского особняка», как принято у нас называть крупных деятелей. Перейдя к другим темам, А. С-ч спрашивал:

– Отчего вы совершенно не касаетесь биржи? У вас в Москве биржевиков и биржевых зайцев легионы. Биржа – пульс большого города. Я сам когда-то писал о бирже. По-видимому, вы далеки от этого учреждения. Пожалуй, оно вам и непонятно, как было непонятно сначала и мне. А вы побеседуйте с Крестовниковым, с биржевыми дельцами. Присмотритесь к внешней стороне биржевой деятельности. Она вас и поразит, и захватит. Это прямо-таки какой-то кипящий котел. Не надобно залезать в трясины специальностей биржевого дела, это чересчур сухо, а вы типы-то, типы рисуйте! Биржа даст вам удивительные фигуры. Вы умеете описывать людей. Попробуйте же московскую биржу, прошу вас...

Нужно ли приводить другие примеры суворинского отношения к сотрудникам? Я тщательно припоминаю всякие указания А. С-ча и не могу найти ничего такого, что говорило бы о ненужности, о неправильности подобного внушения, устного или письменного. Все было кстати, все вразумляло и помогало.

Суворин, весь погруженный в тысячи дел, за всеми следил из Петербурга и каждому из нас, постоянных сотрудников, давал «приказы по полку». Прочтите «Письма Суворина к В. В. Розанову». Там есть яркое подтверждение моих слов.

Интересуясь всяким замечательным явлением жизни, Суворин особенно интересовался московскими театрами, сам знал их до тонкости. Если я – очень редко, как помнится, – но все-таки опаздывал с отчетом о какой-нибудь новинке, А. С-ч уже торопил меня, иногда письмом, иногда телеграммой: что же не сообщаете о такой-то пьесе? Он требовал быстроты в присылке рецензий.

– Хорошо бы вам, – говорил он, – давать отчеты о пьесе по телефону! Зато какой эффект: на другой день в Петербурге читают отчет о пьесе, шедшей накануне в Москве!

Это было бы, конечно, недурно. Я и передавал иногда в «Новое время» краткую корреспонденцию по телефону о какой-нибудь сенсационной пьесе, но отчет более подробный приходилось посылать по почте.

Будучи знатоком и любителем театра, издатель «Нового времени» мало уделял внимания искусствам изобразительным.

Понимал ли А. С. Суворин в художестве, в живописи? Помню, он высказывался в том смысле, что ему нравится «Христианская цирцея в римском цирке» Генриха Семирадского. А по-моему, это очень безвкусная, вымученная и нереальная картина. Тело обеспамятевшей, замученной девушки, привязанной к спине дикого быка, написано и не ахти как хорошо, и, главное, неверно. Разве таким оно должно быть после гоньбы быка по арене? Вообще эту картину Суворин хвалил напрасно. Она не стоила этой похвалы. Но живопись Суворин чрезвычайно любил.

Однажды я сопровождал А. С-ча в Третьяковскую галерею. Кажется, тут был и Чехов, и еще кто-то. Суворин ходил и восхищался шедеврами русской школы. При этом его замечания были верны, а взгляд очень зорок.

– Как потемнели тона «Березовой рощи» Куинджи! – говорил он. – Но что за талант! Сколько у него неожиданных красок, разнообразия, поэзии!

Картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына Иоанна» все хвалили, но, помнится, трактовку сюжета Суворин не одобрял. Это я потому запомнил, что сам не люблю это полотно, залитое излишним обилием крови и вообще возбуждающее гадливость. У Репина талант титана, и мы счастливы, что живем одновременно с таким великим русским художником, но иногда у этого прекрасного артиста-художника проскальзывает незваная гостья – тенденция... а она-то совсем и не нужна Репину! Что же сказать еще о Суворине как

о редакторе? Я только что написал, что счастливы все, кто является современником гигантов-Репиных. По отношению к А. С. Суворину скажу также: счастлив тот журналист, кто поработал у такого гиганта-редактора, как Суворин! Я это счастье испытал, и имя «А. С. Суворин» для меня священно.

Этот старый руководитель «Нового времени», как Борей, с белыми власами и седою бородой, потрясал умы читателей и учил всех нас добру, чести, стойкости, борьбе за право и правду. Он давал сотрудникам свободу за их искренность. Он был образован, многознающ, полезен, добр, доступен, справедлив, милостив. Перестройте теории, скажите, что это был крикун, вспыльчивый брюзга, бесхарактерный человек... Все это, может быть, в нем было, но в дозах меньших. Главное Суворина – его положительные качества. Он был редактор мудрый, опытный и обладал проницательностью, перед которой не спасала никакая маска. Он от своего сотруднического хора требовал верного пения и фальшивых нот не выносил.

Это редактор – образец, пример, достойный подражания, редактор друг и брат, редактор, отечески относящийся к вам в минуту ваших падений и заблуждений.

Пробыть несколько лет в распоряжении такого редактора – это все равно, что прослушать курс лекций талантливого профессора. Суворин-редактор – колоссальная статуя, повитая лавровым венцом, и никто не может сказать, что его венец надет не по праву. Многих редакторов можно упрекнуть в чем-нибудь – А. С. Суворина никто не дерзнет оскорбить даже малейшим упреком. Ибо как редактор – А. С. Суворин безупречен.

XIV
Чехов перед смертью

Бегут быстротечные годы! – говорит великий Гораций. Давно ли, кажется, я знал Ан. П. Чехова как милого и веселого Антошу Чехонте, как начинающего и талантливого сотрудника «Нового времени» и автора его первых прелестных

лирических рассказов в стиле Тургенева? А годы шли да шли. Менялись и люди, и обстоятельства.

– Вот уж у меня издана целая стопка книг! – говорит Чехов, указывая на этажерку. – Не успеешь оглянуться – вторым Николаем Александровичем Лейкиным очутишься... Он мне сегодня письмо прислал и, по обыкновению, страшно хвастается, что его купец Иванов восемнадцатым изданием вышел... А знаете, как он издает свои книги? По 200, по 250 экземпляров! Разделите 2000 книг на десять частей, вот у него и сразу десять изданий. Преподнес он и мне это «восемнадцатое издание»... Надпись – вроде как на могильной плите: «Антону Чехову – Николай Лейкин». Не люблю я, знаете, этого господина... Как увидал, так и невзлюбил. Когда я в первый раз в Петербург приехал и познакомился с Билибиным*, представьте, на чем мы сошлись? – оба сразу, как бы сговорившись, начали ругательски ругать Лейкина! (Чехов засмеялся.)

– Ну, разумеется, Лейкин человек не без недостатков, – сказал я, так же, как и все сотрудники «Осколков», знавший цену их редактора, – но вас-то, Антон Павлович, он очень любит... Ведь вы начинали в «Осколках»!

– Полноте! Кого он в жизни любил, кроме денег? Вспомните, как он по-жидовски платил мне, вам, Грузинскому!..[11] Вот Пальмин[12] умер – дал ли он хоть рубль на похороны? Фефела Ивановна (сожительница поэта Пальмина) ко мне подходила и жаловалась: ничего, говорит, не дал! Я ей шепнул: подайте, говорю, на Лейкина жалобу генерал-губернатору...

– А мне Лейкин на похоронах Пальмина говорил, что после него осталось 13 000 рублей и что их Фефела-то и подтибрила!

– Видите, видите, какой враль! Ну, откуда у Пальмина могло быть столько денег? Это от стихов-то! Нет, Фефела многим не поживилась... Кстати, как ее по-настоящему-то звали?

* Покойный В. В. Билибин, автор нескольких комедий и водевилей, сотрудник многих изданий, представлял собою замечательную личность, вполне заслуживающую названия «светлой». О Билибине я со временем напишу особую статью. – *Н. Е.*

– Пелагея Евдокимовна, – отвечал я.

– А Пальмин называл ее Фефелой... Помните, Н. М., как мы его перевязывать ездили!? И вам эта самая Фефела 30 копеек на чай дала!*

Чехов расхохотался, но, как это с ним часто случалось, внезапно опять насупился и проговорил:

– Ну, а печение книг à la Лейкин все-таки я приостанавливаю!

– Почему же, Антон Павлович? Ведь книги книгам рознь.

– А потому, дорогой мой, что вообще надо экономить запасами, отпущенными нам природой! Кроме того, уж если писать, то писать что-нибудь значительное... роман, например, в нескольких частях.

– У меня есть один знакомый, некто Стрижевский, – сказал я. – Тот спит и видит, чтобы вы написали роман в юмористическом тоне, вроде «Записок Пиквикского клуба».

Чехов подумал и усмехнулся.

– Знаете, что я вам ответил бы, будучи... Григорием Мачтетом?

– Что же?

– Я бы спросил с важной миной: скажите, это не тот Стрижевский, который со мною сидел в Петропавловской крепости? Нет? Виноват, извиняюсь...

Автор этих воспоминаний, встретившись с тогда еще здравствовавшим Г. А. Мачтетом, вспомнил шутливые слова Чехова и сделал опыт (даже фамилию ту самую употребил!). И вот что буквально спросил Мачтет:

– Скажите, это не тот Стрижевский, что был заключен в Петропавловской крепости?

Больших усилий стоило мне сохранить серьезную физиономию.

---

* Это произошло в первые годы моего знакомства с Чеховым. Пальмин, будучи под хмельком, упал и разбил себе лоб. Вызвали Чехова, «как врача и друга». Я тогда был у Чехова в гостях – и поехал помогать, «в качестве фельдшера». Фефела хотела дать 30 копеек Чехову на извозчика, но Чехов отвечал: «фельдшеру дайте»! Насилу я от нее отбился. – *Н. Е.*

«Ах, Чехов, Чехов! – думал я. – Мастер ты подметить курьезную струнку ближнего...»

Скажу кстати, что рядиться в тогу «когда-то потерпевшего от политики» – эта манера до сих пор у многих осталась.

Относительно сочинения романа вроде диккенсовских «Записок Пиквикского клуба» Чехов сказал:

– Пусть-ка ваш Стрижевский сам попробует...

И, еще немного помолчав, произнес вразумительно:

– Короленко почти совсем сошел со сцены... Я еще держусь, но... Знаете, это хорошо, пока никого нет! А народись новый писатель, сильный, оригинальный, тогда нам, уже достаточно набившим оскомину читателю, – мат! Вот почему не надо печь книги, как кулебяки, а рассказы, как блины...

Как видите, это был Чехов, но не тот, что в начале своей радужной карьеры. Задумчивость и хмурость уже начали омрачать этот недавно беззаботный, а ныне переставший нежно улыбаться симпатичный лик. Время брало свое. Та усмешка счастья, когда писатель творил и был доволен собою, пропала бесследно. Чехова томило желание создать что-нибудь очень крупное, но это крупное, увы, не создавалось. Тысячи читателей-поклонников Чехова, сотни Стрижевских от всей души желали ему блестящих писательских перспектив, но...

– Подите-ка попробуйте сами! – раздавалась в ответ фраза писателя, может быть, погружающегося в свои тайные и невеселые соображения.

То был период начала писаний Чехова в «Русской мысли», период, на мой взгляд, самый печальный и неудачный.

Известие об ухудшении здоровья Антона Павловича, и ухудшении настолько резком, что больного отвезли в клинику профессора Остроумова, поразило меня чрезвычайно. Никто не думал, что Чехов так серьезно, так опасно нездоров. Я с нетерпением ждал, чтобы Чехов вышел от Остроумова, чтобы сейчас же навестить старого товарища. Это, однако, случилось не скоро. Кажется, после клиники Антон Павлович уехал в свое имение Мелихово, потом за границу, и только поздно осенью или даже зимой мы встретились. Чехов сильно

изменился, был сморщен, очень исхудал. Особенной худобой поражали его ноги.

– В клинике меня прескверно кормили! – сказал он мне. – Вот бы вам тиснуть в «Новом времени» про что: про московские клиники! Уж если меня, писателя и при этом врача, питали неудобоваримой дрянью, что же дают простым смертным?

– А вы бы, Антон Павлович, протестовали! – сказал я.

– Говорил, протестовал! Смеются: вы, говорят, очень избалованы... Я, знаете, даже про вас поминал, говорю: надо будет московскому корреспонденту «Нового времени» сообщить о ваших порядках... А они все в шутку сводили: «Попробуйте, – говорят, – мы вас лечить хорошо не станем...» А я, знаете, с большим удовольствием читал ваш фельетон о московских больницах. Прекрасно, ярко, доказательно... Так их и надо щелкать!

– Городской голова на меня Суворину донос за это послал: просит опровергнуть, не называя, откуда идет опровержение, – заметил я.

– А Суворин что?

– А Суворин мне препроводил этот ответа и пишет, что если я стою на твердой почве, то есть прав и ратую за действительно обиженных больных, то без стеснения должен продолжать свое дело, невзирая на доносы городских голов*.

– Молодчина Суворин! – сказал Чехов. – Вот этим он хорош, своих зря не выдает... У вас говорится в фельетоне о поэте Епифанове[13]. Кто это? Где писал?

– Кажется, в «Московском листке».

– Это он-то и вытерпел больничную пытку?

– Он, он.

– И чахоткой болен? Г-м.

Чехов промолчал и проговорил:

– Вот что, Н. М., вы передайте ему от меня 15 рублей... А летом я буду в Ялте и поговорю там с врачами. Может быть, удастся перетащить его туда... Там ему будет отлично!

---

* Эта «бумага» городского головы, просившего редакцию, чтобы его «не обнаруживали», хранится у меня среди прочих любопытных документов. – *Н. Е.*

Я от души поблагодарил Чехова и с былым восторгом поглядел на него.

– Вы слышали, у меня в клинике Лев Толстой был? – спросил Чехов.

– Да, слышал.

– Ну, батенька мой, как там все забегали, когда увидали Толстого, как заметались!

Чехов хотел мне рассказать про Льва Николаевича, но тут появились новые посетители, мужчины и дамы. Я стал прощаться.

Года за полтора до смерти А. П. Чехова я собирался к нему по одному делу. У меня было к Чехову поручение от третьих лиц, весьма щекотливое. Я долго отказывался и, вероятно, не скоро пошел бы к Антону Павловичу, тем более что тот хворал и мало кого принимал.

Но Чехов сам позвал меня, прислав «открытку» с кратким текстом:

«Где вы? А. Чехов».

Я все-таки медлил. Чужое дело жерновом висело у меня на шее. Я знал, что и Антону Павловичу оно настолько же будет неприятно, как и мне. Наконец я собрался.

Чехов в то время жил на Спиридоновке, в доме Бойцова, во флигеле, на дворе. Я не знал, примут ли меня, потому что ходили слухи о том, что визитеры страшно надоедают и утомляют Чехова. Однако меня сейчас же попросили в кабинет к хозяину, но предварительно посоветовали обогреться в гостиной.

Я, помедлив, вошел... В небольшой комнате как будто никого не было, и я остановился, думая, куда же девался хозяин? Все было тихо.

– А, Николай Михайлович, – вдруг раздался слабый и знакомый голос. – Что это вы запропали?

Я оглянулся и только тут рассмотрел, что глубокое кресло, стоящее близ письменного стола, не пустое: на нем сидел А. П. Чехов.

Боже! Это была тень Чехова! Как он исхудал, умалился, изболелся! Как обострилось это милое, симпатичное лицо, как вы-

сохла вся фигура когда-то стройного и даже плечистого юноши-Чехова! Где его волны волос, как у Антона Рубинштейна? Где живой взгляд светло-карих глаз? Нечто бессильное и глубоко скорбное отпечаталось на всем Чехове. Подобной страшной перемены я совершенно не ожидал, не приготовился к ней.

Ах, как глупа и неуместна показалась мне моя деловая миссия к Чехову! Было бы преступлением утруждать хотя лишним словом эту угасающую жизнь. И все, что созидало досаду, неудовольствие, рознь, – все исчезло, как дым. Осталась одна безграничная любовь к старому товарищу-писателю. Но к этому чувству присоединилось другое: острое и пронизывающее сожаление.

– Как поживаете? – послышался опять тихий голос Чехова.

Я хотел ответить, но вдруг почувствовал, что губы мои дрожат и я не в силах вымолвить хотя бы одно слово.

В давно прошедшие годы, в ранней юности, я однажды был в гостях, куда приехал покойный музыкант Порубиновский. И он начал играть на скрипке. В первый раз я слушал талантливого артиста. И хотя скрипка не была его постоянным инструментом, он умел из него извлекать особенные звуки. Меня эта мелодия нежданно и властно охватила и сковала: я сидел, жадно слушая, а дивные и мощные звуки впивались мне в душу, в сердце; они медленно неслись ввысь, делаясь все тоньше, нежнее; и с этими звуками шли к горлу слезы; они проступали сквозь ресницы, капали на дрожащие руки...

И вот, увидав Чехова, больного, умирающего, гаснущего, исчезающего от нас, я почувствовал эти звуки, зовущие рыдания, я готов был упасть в истерике, мне хотелось ломать себе руки и кричать: нет, нет, нет! – протестуя против близости смерти человека.

А он, болящий и слабый, не замечал моего волнения, не видел моего расстроенного лица. Минуты две продолжалось это нестерпимое положение, пока я справился и мог что-то вымолвить, вроде того, что я пришел повидаться, но могу сейчас же уйти, если Антон Павлович занят.

– А вот именно я сейчас ничем не занят, – отвечал Чехов. – Дома никого нет... Сижу и думаю, не поехать ли прогуляться, в Петровский парк? Что, холодно на дворе?

– Не особенно. Погода отличная.

– Г-м... Сейчас, пожалуй, поздно... Знаете что? Погуляем в парке завтра. Приезжайте туда часам к 12. Я вам, как женщине, рандеву назначаю (он улыбнулся бледной улыбкой, и все лицо его изрезалось морщинками).

Я поспешил изъявить согласие.

– Как ваши дела с Сувориным? – спросил Антон Павлович.

Я боялся обременять его разговорами и еще раз осведомился, не мешаю ли я.

– Нисколько. Я очень рад, что вы зашли. Расскажите мне, почему это в «Новом времени»...

Тут Чехов начал толковать о новых сотрудниках названной газеты, о ее нововведениях и т.п. Затем, после некоторой паузы, как бы нечаянно спросил:

– Скажите, Николай Михайлович, вы верите в будущую жизнь?

Я удивился и медлил ответом.

– Впрочем, вы, наверное, человек божественный, отвергаете революцию, думаете, что Суворин – пророк своего отечества, а Буренин – первый русский критик. Вы в рай попадете, а вот мы в аду гореть будем…

Он помолчал и мечтательно проговорил:

– Однако Гамлет сказал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»... Я не раз думал, что это? – невежество Шекспира, более 300 лет назад сказавшего такую фразу, или что-то вещее? Лев Толстой все отвергает, а сам пишет, что смерть есть воскресение! Даже такой гигант сомневается... Н-да! Вот и поворачивайся на обе стороны...

Я с содроганием слушал Чехова. Все эти слова звенели мне предсмертными стонами организма, разрушаемого беспощадной болезнью. Сердце мое стало биться с такою болью, что

я крепко прижал к груди левую руку. От болезненного этого ощущения дух захватывало.

А Чехов тихо продолжить:

– Ум человеческий трезв, пока здорово и цело естество. Если, например, сердце изжито и пусто, ему ничто не поможет: ни религия, ни медицина! Я всегда был реалистом, но... Кстати, вы, Николай Михайлович, видели когда-нибудь привидение?

Я вспомнил «Черного монаха», этот рассказ Чехова, полный бреда, и отвечал:

– Нет, не видал, Антон Павлович!

– Жаль! Я бы хотел потолковать с человеком, испытавшим что-нибудь сверхъестественное... Только мне надо правдивого человека! Если бы тут *** был, он бы нам десяток случаев привел, и все это было бы сочинением. Он всегда лжет. Это его главная специальность.

Чехов опустил голову. Как грустна, как тяжка для меня была эта поза! Она врезалась в мою память, и я всегда ее помню. Так, не поднимаясь, он все сидел, и мне казалось, что это маленький, беспомощный ребенок и нет той любящей матери, которая могла бы теперь развеселить, утешить и облегчить его от тяготы болезни!

Я сидел, глядя на него, потрясенный, и говорил про себя одно и то же слово:

– Прощай! Прощай! Прощай!

Пора была уходить. Я было встал.

Чехов уловил мое движение.

– Вы что, Николай Михайлович?

– Мне пора домой, Антон Павлович.

– Погодите... Можете позже написать фельетон в «Новое время»...

– Завтра, значит, мы встретимся в Петровском парке?

– В парке? А, да! Разумеется... Погодите, что я хотел вам сказать?

И вдруг, опять улыбнувшись бледной улыбкой, Чехов спросил меня:

– Скажите, как фамилия К-скаго?

– Да именно так, как вы сказали, – ответил я с недоумением, – К-ский.

– А вот и нет: его настоящая, по паспорту, фамилия – К-хес!

Чехов поглядел на меня. На миг заблестело на этом страдальческом лице нечто былое, связанное с воспоминанием о веселом юморе, о брызгах живого чеховского остроумия, о нашей прошедшей молодости, о невозвратных днях наших первых литературных выступлений...

И быстро все это погасло, как свеча, задутая незримыми устами.

Я стал прощаться. Я пожал руку Антона Павловича, она была холодна, как гипсовая. Это прикосновение, это погасшее лицо бесценного человека, этот последний, померкший взгляд разбили мои нервы...

Я надевал в передней свое пальто, стараясь заглушать рыдания, просившиеся наружу, я не видал, куда мне идти, я вышел – и долго стоял на крыльце, не зная, что со мной и куда мне нужно было ехать...

Это было последнее мое свидание с Антоном Павловичем.

В 1904 году тяжко больного Чехова увезли в Германию, и там, среди тевтонских безразличных и холодных физиономий, вдали от родины и милых мест, погас этот светоч честной русской литературы.

Чехов не первоклассный талант. Но он, что называется, работал на совесть, никого не обманывая, не создавая умышленно дутых героев, не прибегая к ухищрениям, какие вошли в моду в русской беллетристике после его смерти. Он дал все, что мог. Его труды не дают ему титула великого писателя, но что Чехов – большой писатель, конечно, все согласятся. Он, однако, не шел одной дорогой, а разбрасывался. Юмор и маленькие рассказы он оставил, хотя в них-то он и был мастер своего дела. Серьезность дальнейших его произведений не выиграла в глубине. Театр увеличил его популярность, но его пьесы есть только добросовестные потуги создать что-нибудь значительное. Чехов, если хотите, не оправдал надежд наших

литературных стариков: Лев Толстой прямо говорил, что лучшее у Чехова – это его небольшие, полные юмора и меткости рассказы; драм Чехова великий писатель совсем не признавал; А. С. Суворин, если не ошибаюсь, кому-то высказывал, что Чехов был прекрасным цветком литературного русского сада, но среди цветения его постигла какая-то незаметная хворь, остановившая его рост.

Весьма нехорошо отозвалось на здоровье Чехова торопливое сочинение пьес, которых добивался от него Художественный театр.

Нужен сильный талант и большой срок времени, чтобы написать если не выдающуюся, то хотя умную, занимательную и сценическую пьесу. Необходимо быть прирожденным драматургом – если не Островским, то хотя бы только Виктором Крыловым. Сцена имеет свои требования, свои особенности, свои условия. Но даже выдающиеся русские драматурги своих драм и комедий, по выражению Чехова, «не пекли, как кулебяк». Толстой, Писемский, Островский... сколько трудов положили они на обработку своих шедевров!

Так ли поступал Ан. П. Чехов, не обладая при этом выдающимися способностями драматурга? Увы, мы здесь видим обратное. Чехов спешил с пьесами. Он надламывал себя, стараясь сказать «новое слово», но не сказал его. Упорно, как в юные годы, он работать не мог. Злой недуг не позволял ему этой усиленной траты энергии.

Пьесы Чехова сопровождались как будто успехом. К сожалению, это было до известной степени маревом. Успех создавало популярное имя больного автора, полное отсутствие таланта в пьесах других авторов того времени и, наконец, те великие ухищрения постановок гг. Станиславского и Немировича, какие были приняты новой публикой театров за какие-то «сценические откровения». Все это было пуфом, воздушным замком. И чеховские пьесы, и постановки Художественного театра – не откровения.

На пьесах для названного театра Чехов надорвал свои последние силы – и скорбно почил вне пределов своей родины...

. . . .

А. С. Суворин, узнав о смерти Чехова, того цветка, пересаженного с его гряды неумелыми руками, – написал горячую статью, посвященную памяти Антона Чехова. Статья эта известна всем.

Мне Суворин телеграфировал, прося заказать дорогой серебряный венок и возложить его на гроб писателя. Чехова хоронили торжественно, всей Москвой, какая только была в это время налицо.

Впоследствии, увидавшись с Сувориным и рассказывая ему о встрече и похоронах, я услышал от него фразу:

– Москва умеет ценить людей, и Чехов стоил общих слез и сожалений. Беда в том, что он не так, как бы следовало, распорядился при жизни и своим дарованием, и здоровьем.

XV
Юбилей «Нового времени»

В среду 28-го февраля 1901 года было отпраздновано двадцатипятилетие «Нового времени».

Вышел замечательный № 8982 «Нового времени» с портретами всех деятелей и сотрудников этой газеты: А. С. Суворина, А. А. Суворина, М. А. Суворина, В. П. Буренина, К. А. Скальковского, Б. В. Гея, А. Н. Маслова (Бежецкого), В. К. Петерсена (А-та), А. Н. Молчанова, М. М. Иванова, В. С. Россоловского, Н. С. Кутейникова, С. Н. Шубинского, Д. Н. Кайгородова, С. С. Татищева, В. С. Кривенка, Ф. И. Булгакова, Е. Л. Кочетова (Русского Странника), Ф. В. Вишневского (Черниговца), Л. К. Попова (Эльпе), В. Г. Авсеенка, Я. А. Плющика-Плющевского, В. В. Розанова, В. С. Лялина (Петербуржца), Ф. Е. Ромера, С. И. Смирновой, И. Л. Леонтьева (Щеглова), К. М. Фофанова, С. Н. Сыромятникова (Сигмы) и мн. др.

К этому времени Ан. П. Чехов окончательно перебрался, в смысле литераторства, в Москву, и его портрета нет среди наиболее выдающихся сотрудников «Нового времени». Отсутствует и А. В. Амфитеатров (Old Gentleman), по разным

«обстоятельствам» принужденный покинуть «Новое время», отказавшее этому журналисту сводить личные счеты с артистами на своих страницах.

Были помещены портреты сотрудников, не доживших до юбилея: М. П. Федорова, А. П. Коломнина, М. А. Загуляева, А. А. Дьякова (Жителя), С. Н. Терпигорева (Атавы) и К. И. Кавоса.

Юбилей с датой «25» – многое значит для газеты. Это целая четверть века, а так как жизнь политического газетного органа считается жизнью, выражаясь по-старинному, как под Севастополем, то и выходит, что «Новое время» прожило как бы целый век. Сколько историй, сколько интересных статей, полемики от администрации, скорпионов от различных цензур! И не перечтешь!.. Юбилей этот мог бы пройти во всех отношениях хорошо. Сотрудники съехались отовсюду: из далеких провинций и даже из-за границы: из Берлина явился Н. К. Мельников-Сибиряк (в нынешнюю войну томящийся у немцев в плену), из Парижа – П. Н. Дубенский (Вожин), ныне уже умерший, и др.

Юбилей с внешней стороны прошел весьма блестяще. Обычные аксессуары юбилея: массы гостей, депутаций, речей, поздравлений, телеграмм, всего этого было в изобилии; в театре был спектакль с концертом – апофеозом в честь «Нового времени».

Все это, действительно, удалось на славу. Но не было главного: объединения сотрудников. Это сразу обнаружилось. Я с грустью увидал печальное лицо А. С. Суворина. Он был явно не в духе. А как мог бы порадоваться создатель всего благополучия, которое сверкало вокруг на юбилее газеты! И как хорошо бы почтить этого высокоталантливого руководителя именно общим миром, дружеским и теплым друг к другу отношением... Но в этот юбилейный год произошло что-то, расстроившее и души, и сердца.

Между тем публика так и стремилась на юбилей. Театр не мог вместить всех, желавших полюбоваться апофеозом «Нового времени». У А. С. Суворина в Петрограде было столько

искренних поклонников, что дай Бог любой знаменитости сцены иметь этакое количество обожателей. Видеть знаменитого автора превосходных «Маленьких писем» желали многие читатели «Нового времени».

С П. Н. Дубенским, парижским корреспондентом «Нового времени», приехал из Франции некто г. Варгунин. Он прямо заявил, что едет на родину не столько из-за родины, сколько из-за А. С. Суворина.

П. Н. Дубенский недолго сотрудничал в нашей газете. По виду богатырь, он, однако, страдал неизлечимой болезнью. Года через три после юбилея «Нового времени» он, уже больной и едва двигающейся, покончил жизнь самоубийством. Для «Нового времени», по-моему, это была большая потеря: Дубенский имел талант журналиста, знал военное дело (раньше служил полковником генерального штаба, если не ошибаюсь) и, кроме того, был русским в хорошем значении этого слова. Он интересно и беспристрастно корреспондировал с процесса Дрейфуса.

И все-таки на этом юбилее было не то, что должно бы быть. Главные сотрудники глядело невесело...

То ли дело, припоминаю, как душевно и сердечно прошел один из Касьянов, отпразднованных в доме Алексея Сергеевича и Анны Ивановны Сувориных!

Я попал случайно, приехав в Петербург по редакционному делу, и тут же мне вручили приглашение на обед к Суворину.

Я не забуду этого хорошего дня. Во-первых, обедали чисто по-русски: с шести часов вечера до четырех часов утра. Сотрудники в квартире Суворина напоминали пчел в улье, ходили группами; остроумные фразы так и скрещивались; ведь кто собрался-то: сотрудники самой талантливой газеты! Весело шутили, острили, насмешничали; обед начался в двух залах: в большой председательствовал сам А. С. Суворин, в малой – на первом месте восседала А. И. Суворина с молоденькой дочкой А. А. Сувориной (ныне известная артистка) и сыном В. А. Сувориным. Мы, молодые сотрудники, ютились за этим столом. Было очень непринужденно, просто. Снессарев с Дубровским

устроили пари: первому завязали глаза, и он, пробуя вино, угадывал, красное это или белое. Снессарев, очевидно, мог бы служить римским дегустатором у самого Нерона: он безошибочно угадывал вино, и Дубровский проиграл ему 25 рублей (по пять рублей за пробу).

– Он видит! – кричали в шутку. – Сквозь платок видит!

– Полноте, господа! – объяснял Л. К. Попов[14]. – Здесь просто психология помогает...

Многие стали пробовать угадывать «по психологии» и напутали ужасно.

Я на этом обеде познакомился впервые с К. С. Тычинкиным[15], который подговаривал соседей просить меня сказать речь.

– Из Москвы приехал, пусть покажет московское искусство красноречия! – говорил он.

– Куда уж нам, московским вахлакам, – отбояривался я, действительно не понимая, что я могу сказать на этом дружеском обеде, кроме разве одного: «Милые, хорошие, как вы все любезны, как вы мне все нравитесь!»

Кормили нас на убой, восхитительными блюдами, шампанским – заливали. Когда обед кончился, начался сущий греческий «симпозион». Около Анны Ивановны находилась Евгения Константиновна Суворина (жена А. А. Суворина). Их окружали Сыромятников, Розанов, Коялович, Черниговец и другие, а В. П. Буренин сидел в отдалении, на диване, и что-то смешное рассказывал супруге М. А. Суворина Е. И. Сувориной.

– Виктор Петрович, вы что же это? – вдруг возвысила голос Анна Ивановна.

– А что такое?

– Вы меня покинули! Извольте сесть со мной рядом.

– Простите, я с дамой.

– Вот это мило! Ваша дама – моя невестка, я старше и имею в этом случае преимущество.

Все смеялись.

– Нет, возраст – не признак этого права! – спорил В. П. Буренин.

– Господа-сотрудники, что же это такое? – комически спросила Анна Ивановна. – Неужели вы дадите в обиду вашу издательницу?!

– Василий Васильевич, предоставьте сюда Виктора Петровича силой! – сказала Евгения Константиновна. – Михаил Михайлович, помогите ему...

– Ну-ка, попробуйте! Попробуйте! – подзадоривал их В. П. Буренин.

Сотрудники разводили руками.

– Трудно!

– Тогда я москвича попрошу! – воскликнула Анна Ивановна. – Ну-ка, матушка-белокаменная, выручай!

– Вам угодно по доброй воле идти? – спросил я, улыбаясь.

– Это что такое? Московский детинушка... не подходи!

– Не сдавайтесь, Виктор Петрович! – ободряла нововременского критика Е. И. Суворина.

Я схватил Виктора Петровича за плечи, быстро поднял с дивана и бурей домчал, заставляя бежать, взятого в плен Виктора Петровича к Анне Ивановне и даже усадил его на диван. Дамы рукоплескали.

– Вот она, Москва-то!

Я думаю, никто не посетует на меня за приведенный эпизод празднуемого Сувориными Касьянова дня. Тем более, что это прошлое, минувшее. Этот товарищеский обед и вечер, знаменующий зенит славы А. С. Суворина, отошел в вечность. Умер Суворин – и отлетела душа объединенной семьи литераторов и сотрудников.

В тот Касьянов день я был молод, здоров, полон надежд на будущее, и мне казалось, что Касьяновы дни никогда не прекратятся...

Не то было на юбилее «Нового времени». Я уж говорил, что Суворин глядел каким-то больным, нахмуренным. Прежде, бывало, он встречал меня приветливо и всегда осведомлялся об Антоне Павловиче Чехове. Теперь он даже и не спросил про недавнего любимца. Он сказал:

– У вас в Москве начался съезд актеров, и отсюда разные говоруны с М. Г. Савиной[16] поехали. Вы им не верьте, этим краснобаям. М-в, я убежден, будет говорить одни глупости...

– Что услышу, то и напишу, Алексей Сергеевич. Не прибавлю, да и не убавлю.

– Ох уж эти мне актерские съезды! Дела от них ни на грош, а пустозвонства на сто тысяч целковых... Как толкуют актеры насчет Великого поста, вы не знаете?

– Они почти все за прекращение спектаклей. Говорят, что рассуждения о шестинедельном голодании – одни фразы, что нужно же в году иметь один перерыв в полтора месяца, чтобы съехаться на свою вольную биржу и устроить дела. Кроме того, съезды в московском бюро им полезны хотя бы потому, чтобы «пообразоваться», так сказать, узнать столичные веяния, поглядеть новые пьесы, словом, они за отдых в посту...

– Что же, это резонно. Знаете, вы, голубчик, поговорите на эту тему с разными актерами повиднее, да и пишите нам. Это любопытно, и даже для актеров чересчур умно... Вы зачем в Петербург приехали?

– Как зачем? А юбилей-то...

– Ах да, юбилей! Черт их знает, зачем они юбилей какой-то затеяли. Это все Снессарев поджигает... А впрочем, я рад...

Суворин помялся. Ему что-то хотелось спросить, но, кажется, он задал другой вопрос:

– Что там в московском книжном магазине, вы не знаете, что делается? Говорят, беспорядки, упущения...

– Не знаю, – отвечал я, – впрочем, управляющий Бладасов приехал на юбилей, он, вероятно, к вам явится...

– Как, и Бладасов приехал? Это с которой же стороны он подходит к газетному юбилею? Это, голубчик, однако, черт знает что! Вы ему передайте, чтобы он явился говорить по делу. Ему надо уметь торговать, а не юбилеи справлять. Литератор какой, скажите на милость!

Я уж и не рад был, что упомянул о Бладасове.

Юбилей настал и протек, как я уже говорил, шумно. Суворин не оживлялся. Он был все время насуплен. Съехались

мы, сотрудники, сниматься к лучшему фотографу – и опять недовольное лицо А. С. Суворина появилось посреди нас, творя ненастье в настроениях. Долго не могли усесться. Никто не желал сесть на пустые места в первом ряду.

– Господа, садитесь же! Вперед пожалуйте!

– Садись, Сережа!

– Лучше ты, Николай!

– У тебя борода, тебе впереди приличнее...

А. С. Суворин в нетерпении даже палкой стукнул:

– До каких же мы пор будем располагаться в группу? – с досадой спросил он.

На другой день я уехал в Москву, на актерский съезд, как всегда многочисленный, немного шумный, немного бестолковый. Слушал я там М-вых, К-вых и всех других «краснобаев», но, говоря по совести, никаких особенных глупостей в их речах не замечалось. Говорили только чересчур витиевато, как, впрочем, на актерских съездах и полагается,

Без меня сотрудники «Нового времени» снимались еще раз, и вторая группа удалась гораздо лучше.

Недавно, припоминая из прошлого «толикая многая», я с разнородными чувствами глядел на своих сотоварищей. О, скольких здесь теперь недостает! Даже сердце сжимается...

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал!

После юбилея «Нового времени» налетела гроза – и развеяла сотрудническую рать на две части... Мимо, мимо этих волнующих воспоминаний!

XVI
Юбилей А. С. Суворина

Великолепный старик Суворин, много перестрадавший за свою долгую жизнь, достиг зенита своей славы и отпраздновал юбилей, редкий юбилей, обозначаемый римской цифрой:

– L.

Пятьдесят лет! Пятьдесят лет литературного, блестящего, славного и честного труда!

Государь Император Николай II, жалуя А. С. Суворину свой портрет в золотой раме, соизволил начертать следующие прекрасные слова: «Алексею Сергеевичу Суворину, *честно проработавшему* на литературном поприще в течение 50 лет *на пользу родной страны».*

Эти слова русского Царя исчерпывают всю деятельность Суворина: пятьдесят лет честно работал на пользу родной России! Редкая, завидная участь!

Юбилей этот был торжественно и счастливо отпразднован 27-го февраля 1909 года, и на этот раз ничто не омрачало литературные именины старого писателя.

По крайней мере за полгода до юбилея ко мне обратился с письмом К. С. Тычинкин, прося подумать и известить редакцию, как и чем могла бы Москва выразить свое участие в праздновании пятидесятилетия общественно-литературной деятельности Алексея Сергеевича.

«Мы все в редакции, – писал г. Тычинкин, – озабочены тем, чтобы этот праздник удался как можно лучше. Нужно принять меры, чтобы юбилей порадовал нашего всеми любимого Суворина. О своих планах напишите Михаилу Алексеевичу, а также и мне. Сам я затрудняюсь что-нибудь подсказать вам. Решительно не могу представить, как можно привлечь вашу Белокаменную к юбилейным торжествами. Но привлечь положительно необходимо. Постарайтесь, пожалуйста!»

Задача была, как видите, нелегкая.

Но я разрешил ее быстро. Я рассуждал так:

– А. С. Суворин – человек известный, уважаемый и любимый. Одно дело – газеты враждебного лагеря и другое – интеллигентное общество Москвы. Когда шла суворинская пьеса «Вопрос», наши рецензенты уж не знали, как и чем уязвить маститого автора, тогда как публика на первом представлении отнеслась к Суворину очень сочувственно. Таким образом, можно и относительно участия в юбилее обратиться непосредственно к самому обществу Москвы.

Являлся вопрос: как обратиться, в какой форме?

И это у меня скомпоновалось сразу.

– Адрес! – подумал я, – единственный верный путь – это адрес!

Я обратился к моему хорошему знакомому, академику живописи К. В. Лебедеву, прекрасному художнику, постоянному участнику «передвижных выставок», известному жанристу, картины которого, по преимуществу из старого русского быта, всегда отличались огромными достоинствами. Его превосходный поэтический жанр «Юродивый» был приобретен Государем Императором.

К. В. Лебедев оказался почитателем А. С. Суворина и с удовольствием нарисовал чудесную виньетку для адреса. Была изображена Москва, ее Кремль. Особенно интересны и оригинальны оказались буквы в русском стиле, значащие имя, отчество и фамилию юбиляра.

Я заказал колоссальную кожаную папку и с этой махиной начал свой каждодневный объезд более или менее видных москвичей. Я шел к знакомым и незнакомым, первых просил рекомендовать мне еще таких лиц, которые своей подписью украсили бы адрес, вторым рекомендовался, читал текст-приветствие и предлагал адрес для обозрения и подписи.

Текст адреса я составил после многих переделок и наконец написал его собственноручно на особом листе ватманской бумаги.

Вот этот адрес. Печатаю его полностью, тем более что в «Историческом вестнике» он не был перепечатан в свое время:

«ОТ СТАРОЙ МОСКВЫ.

Глубокочтимый Алексей Сергеевич!

Вся Россия празднует сегодня пятидесятилетие вашей литературной деятельности, и старая Москва, сердечно вас любящая, шлет вам свой привет и поклон. Древняя российская столица прославлена красным звоном своих колоколов. Ваш голос, подобно колоколу, всегда будил общественное

сознание. Москва – собирательница земли Русской. Она чтит в вас те высокие патриотические чувства, которые дороги каждому гражданину, не утратившему любви к своей стране, она ценит ваш труд, изумительный по размерам и результатам. Вся жизнь ваша – сплошная борьба за Россию, за ее исторические государственные основы, за благо русского народа.

Привет же вам, славный писатель, пятьдесят лет отдававший свои силы, страсть и талант родному обществу! Привет вам, покровитель литературных дарований, тонкий знаток искусства, друг театра, издатель прекрасных книг и талантливой газеты, король журналистики, король от головы до ног!

Пусть еще на долгие годы Бог даст здоровья Суворину. Звучи, талант-колокол, буди хорошие чувства! – Тебя внимательно слушает благодарная родина!..»

Я ожидал, что адрес «От старой Москвы» будет хорошо принят в Москве, я надеялся на приветливые встречи. А вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Профессора университета, учащаяся женская и мужская молодежь, артисты, художники, писатели, журналисты, выдающиеся общественные деятели, представители дворянского и купеческого сословия, все встречали меня радушно, восхищались адресом, охотно его подписывали и желали доброго здоровья и продолжения славной деятельности маститому юбиляру.

Адрес у меня даже брали, возили в разные учреждения, и там десятки подписей заполняли этот громадный адрес.

Скоро уж негде было писать. Заполнены были все промежутки, все уголки. Я написал К. С. Тычинкину, что Москва на юбилее А. С. Суворина постоит за себя, в грязь лицом не ударит.

Приехав в Петербург дня за два до юбилея, я повидался с редактором «Нового времени» Михаилом Алексеевичем Сувориным и, уединившись в кабинете В. П. Буренина, прочитал ему адрес.

М. А. Суворин остался доволен и текстом, и виньеткой, и подписями.

– Прекрасный адрес, и текст вы хорошо составили, – сказал он, – мне очень нравится. А кто читать будет?

– Я сам прочту, – сказал я, – а папку с подписями будет подносить со мной В. Ф. Саранчин[17].

– Отлично, помогай Бог прочитать хорошо. Торжество будет в Дворянском собрании, в большом зале, – сказал Михаил Алексеевич и пока простился со мной.

Я быль чрезвычайно рад, что М. А. Суворин одобрил сочиненный мною адрес. Это придало мне бодрости. Предстояло читать при шести тысячах зрителей отборного петербургского общества. Это не шутка!

Остановился я на квартире члена Государственной думы Н. П. Шубинского[18], моего давнего хорошего знакомого. И он также одобрил мой адрес, а прослушав, как я читаю, сказал, что все сойдет отлично. Я не трусил, но, когда мы вместе ехали на торжество в Дворянское собрание, сердце у меня сильно билось. Петроградское Дворянское собрание больше, грандиознее нашего Благородного собрания. Я увидал колоссальную залу, которая была вся наполнена публикой. В первых рядах виднелись отличные туалеты дам, блестящие мундиры военных и фраки штатских.

А. С. Суворин сидел на эстраде, возле него – ближайшие сотрудники и деятели «Нового времени». Семья юбиляра помещалась в особой ложе бенуара. Я ничего не понял, что читал В. А. Прокофьев (адрес от сотрудников), настолько слаб был его голос. Это дало мне мысль читать как можно громче. Стоял я среди бесконечной цепи депутаций десятым по очереди. Передо мной находился товарищ петроградского городского головы.

Бурные аплодисменты сопровождали чтение главы октябристов А. И. Гучкова, и действительно, этот адрес был прекрасен.

Союз 17-го октября и его парламентская фракция считали своею главною задачею осветить в должной мере заслуги

А. С. Суворина перед молодою, политически обновлявшеюся Россией и называли главу «Нового времени» Нестором русской публицистики.

Между прочим в этом адресе были такие отличные слова: «Когда падали полководцы и терялись люди государственного ума, вы, Алексей Сергеевич, в области вашего творчества сохранили твердую ясность сознания и непоколебимую веру в Россию и ее будущее величие. Вы не принадлежите ни к одной из народившихся ныне партий – это не соответствовало вашим привычкам и литературной независимости писателя. Но провозглашенные вами добрые слова соответствуют коренным верованиям Союза 17-го октября!»

Чтение А. И. Гучкова – спокойное, внятное и выразительное – не раз прерывалось рукоплесканиями всей залы.

Я не мог так спокойно читать! Я уже весь дрожал той нервной дрожью дебютанта, выступающего перед большой и лучшей публикой. В Москве мне не раз приходилось выступать с публичными докладами, а также оппонировать на собраниях, но тут волнение оказалось гораздо большим. Не успел я, что называется, прийти в себя, как В. Ф. Саранчин толкнул меня и сказал:

– Нам!

Мы подошли, поклонились А. С. Суворину, затем я обернулся к публике и объяснил, какого рода подписи фигурируют на адресе от старой Москвы.

Затем прочитал и самый адрес. Он был принят отлично.

После слов «король журналистики, король от головы до ног» – зал дрогнул от общих и оглушительных рукоплесканий.

– Браво! Верно! – кричали кругом. – Великолепно!

Я закончил чтение – новые аплодисменты, шумные, дружные...

– Слава Богу, значит, адрес от старой Москвы имел успех! – подумал я.

Мне потом говорили (М. А. Суворин, В. П. Буренин и др.), что очень хорошо прочитал адрес. Даже артисты Александринского театра одобрили!

Это меня страшно радовало. Просто по-детски.

Я и сейчас-то об этом упоминаю только потому, что стремление вложить свою долю чествования любимого издателя всего более наделило меня энергией. Не будь суворинского юбилея, я бы никогда не отважился на подобное выступление.

Торжества юбилейного праздника подробно описаны в «Историческом вестнике», и поэтому я повторять их не стану. Скажу только о своей беседе с А. С. Сувориным перед отъездом в Москву.

Алексей Сергеевич, когда я вечером зашел к нему, беседовал с М. О. Меньшиковым.

Юбиляр был в отличнейшем расположении духа. Он о чем-то шутливо спорил с Михаилом Осиповичем и, дружески ударив его по плечу, сказал:

– Хорошо, я подумаю! Я подумаю!

М. О. Меньшиков сейчас же ушел, Суворин обратился ко мне:

– А, Москва... Старая Москва... Здравствуйте, голубчик!

Я пожал его большую, полную руку. Суворин показался мне сущим богатырем. Крупная фигура, могучие плечи, открытое лицо в ореоле серебряных волос – кто мог подумать в эту минуту, что недолго осталось жить на свете издателю «Нового времени»?!

– Вы превосходно читаете... и я вас даже не узнал во фраке... И по голосу не сразу признал... Всем понравилось!..

Однако скоро Суворин перешел на расспросы о Москве. Я ему сообщил весь небольшой запас разных московских новостей. Описал кое-какие предвыборные собрания с их курьезами, затем коснулся театров.

– Как здоровье Гликерии Николаевны? – спросил Суворин. Я подивился: невзирая на столько хлопот и такую массу юбилейных впечатлений Алексей Сергеевич не забывал ничего.

Артистка Г. Н. Федотова, о которой он спрашивал, была тяжело больна. Я даже сам не рискнул поехать к ней с моим суворинским адресом; его носил О. А. Правдин. Больная Фе-

дотова сейчас же и с удовольствием украсила адрес Суворина своей фамилией.

Алексей Сергеевич очень тронут был этим рассказом.

– Экая бедная! – сказал он. – Что с ней?

– Главным образом ноги... она ступить на них не может!

– Какая жалость, – сказал Суворин и подошел к пылавшему камину. – Я очень люблю эту артистку!

Опять скажу: этот могучий человек на сильных ногах, стоявший передо мной, вытеснял всякую возможность мысли о хвори или смерти.

И что же? Г. Н. Федотова, благодарение Богу, жива до сих пор, а Суворин – спит вечным сном воистину *безвременной* кончины!

Он спрашивал меня о М. Н. Ермоловой, о новинках сцены – театрал глубоко внедрился в эту многостороннюю душу талантливого деятеля. Затем он радушно простился со мной.

XVII
Суворин в последний раз в Москве

Удар грома среди зимы и при безоблачном небе было бы встретить не так неожиданно, как газетное известие, что у А. С. Суворина – рак горла.

Рак! Ужасная, таинственная, неизлечимая болезнь! Если бы это был случай наружного заболевания, а то в гортани...

– Это смерть! – сказал мне один московский врач. – Болезнь уже запущена... Петербургский профессор, леча Суворина полгода, не распознал, что это рак! Простой доктор наводит на истину... Удивительно!

Скоро дошли слухи, что Суворина повезли в Германию, сначала в Берлин, потом – во Франкфурт-на-Майне, где, как утверждали, находился некий маг и волшебник немецкий профессор Шпис, будто бы великий мастер по вырезыванию раковых опухолей.

Уж не знаю, как там протекало лечение А. С. Суворина, но в Москве нашлось множество людей, сильно огорченных

болезнью известного писателя. Ко мне звонили по телефону и знакомые, и незнакомые. Все хотели знать правду, но я сам ее не ведал. Я сам алкал известий...

Вскоре после того, как А. С. Суворину сделали вторую операцию, – в Москве начались опыты лечения раковых опухолей знаменитым пиралоксином. Директор клиники имени Базановой, С. Ф. фон Штейн, положительно взволновал весь медицинский мир, объявив в одном медицинском журнале, что это средство, т.е. пиралоксин, рекомендованное ему врачом Адельгеймом для лечения глаз, он стал с успехом применять при лечении рака, особенно тяжелых случаев внутреннего характера, и... небезуспешно!

Поднялся страшный шум.

– Новое средство против рака! – возгласила пресса. – Новое спасительное средство!

Едва узнали об этом средстве в Петербурге, встрепенулись все родные, друзья, знакомые и сотрудники Суворина.

Сейчас же приехал в Москву М. О. Меньшиков, посетил фон Штейна и его ушную клинику, затем – институт раковых опухолей, где директором, проф. В. М. Зыковым, также применялся способ лечения больных пиралоксином.

М. О. Меньшиков сильно был увлечен новой методой лечения. Отправив во Франкфурт-на-Майне письмо к Алексею Сергеевичу, он напечатал в «Новом времени» свой фельетон о пиралоксине и взбудоражил буквально всю Россию.

Печатал в «Новом времени» и я свои беседы о новом средстве с проф. В. Ф. Снегиревым, с фон Штейном и с профессором Зыковым. Надежды почти у всех были радужные. Я и К. О. Тычинкин, также прибывший в Москву, обходили всех раковых больных клиники Базановой, и С. Ф. фон Штейн показывал нам несчастных, изуродованных ужасающими язвами. Все они лечились новым средством.

– Пиралоксин быстро заживляет язвы, – объяснял фон Штейн. – Получалось облегчение при формах поражения желудка. Будет ли рецидив – покажет время...

Клиника вскоре была переполнена больными раковыми опухолями. На квартире фон Штейна толпилась масса пациентов, приезжавших отовсюду. И все толковали одно и то же:

– Пиралоксин! Пиралоксин!

Это слово стало каким-то фетишем больных паломников. Ехали из далеких окраин, с Кавказа, из Сибири, и каждый больной твердил:

– Пиралоксин! Пиралоксин!

Ехал в Москву и наш бесценный больной, Алексей Сергеевич Суворин.

Ехал он и не он. То, что я встретил в «Национальной» гостинице, наполнило мою душу безысходной тоской и отчаянием. Суворина в Германии так оперировали, что впоследствии ужасались русские профессора. Но об этом я скажу несколько позже.

Суворин также прибыл для лечения пресловутым пиралоксином. Его осмотрели С. Ф. фон Штейн, профессора В. М. Зыков и Н. Ф. Голубов.

Несчастный страдалец явился в Россию с вырезанной частью гортани, исхудалый и ослабевший. *Он не мог говорить.* Только хрипение вылетало из его уст, и, если он хотел что-либо сообщить своему собеседнику, он брал карандаш и писал на бумаге...

А ему отвечали... словами.

Когда я посетил А. С. Суворина, у него находилась его сестра А. С. Суворина и г-жа Дестомб, ходившая за Сувориным во время болезни. Ужас, холодный ужас охватил меня. Я не мог отвести глаз от Алексея Сергеевича и не знал, он ли это передо мной... Я видел дряхлого изможденного старца, а былой старик-богатырь исчез бесследно. Эти ввалившиеся щеки, потухшие глаза... Господи! Он умирает! – вот что огнем пробегало в моем уме.

А. С. Суворин сейчас же стал просить меня (запиской и с помощью г-жи Дестомб) побывать у фон Штейна и передать ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ Алексей Сергеевич.

Записка эта была не запечатана, да я ее сам и читал фон Штейну.

«Скажите, доктор, – спрашивал Алексей Сергеевич, – отчего я до операции у Шписа, имея на гортани язву, все-таки не чувствовал, что я болен, меня существующая во мне болезнь решительно ничем *не беспокоила?* Теперь же, после операции, после удаления у меня части гортани, *я безусловно чувствую себя очень больным».*

Были и еще вопросы: о пище, о приеме пиралоксина, о болях в груди и т.д.

С. Ф. фон Штейн, выслушав записку Суворина, сказал мне:

– Естественно, что после операции Алексей Сергеевич чувствует себя плохо. Сама операция, далекий путь, волнения... все это сказалось, конечно! Завтра я у него буду и все ему растолкую.

Исполнив поручение А. С. Суворина (последнее его поручение мне!), я уехал домой. Для меня скорая кончина Алексея Сергеевича казалась неизбежной. Я помнил отчасти оговорки профессоров В. Ф. Снегирева, Н. Ф. Голубова и друг. Этот пиралоксин им не внушал большого доверия: они боялись рецидива болезни.

– Время нужно, чтобы проверить его действие! – говорили они. – Средство это не новое, идет из Германии. Там препараты из пиррогаловой кислоты также испытывали, но что-то о хороших результатах не слышно...

На другой день ко мне приехал Б. А. Суворин, прося указать какого-нибудь профессора по внутренним болезням, который мог бы поглядеть его отца. Я указал на Н. Ф. Голубова, и он был приглашен.

Таким образом, Алексея Сергеевича в Москве осматривали, кроме лечившего пиралоксином С. Ф. фон Штейна, В. М. Зыков, профессор хирургии, и Н. Ф. Голубов, профессор нашей университетской терапевтической клиники.

Н. Ф. Голубов поделился со мною впечатлениями, вынесенными после осмотра Суворина.

– Я давно знаю и пользовал Алексея Сергеевича не раз, – сказал он. – Лечил я его с покойным Г. А. Захарьиным, лет семнадцать тому назад. Тогда Суворин был превосходно сложенный, крепкий, мощный старик. Он не страдал ни переутомлением от работы, ни нервами. Ни в каком специальном лечении не нуждался. Мы, помнится, присоветовали ему поездку, и только. Путешествия, по-моему, всегда прекрасно действуют на здоровых и даже больных людей. Теперь, при осмотре Алексея Сергеевича в «Национальной» гостинице, я, разумеется, касался общего его состояния, а сфера рака – не моя специальность. Я нашел, что *все органы Суворина были в полном порядке.* Жаль было глядеть, что такой крепыш, могущий прожить еще ряд лет, поражен тяжелой болезнью. Сердце для восьмидесятилетнего старика изумительно крепко. Так я и ему, больному, сказал: говорю, у вас все прекрасно сохранилось! Желудок, почки, сердце в отличном состоянии.

Когда профессор Голубов, беседуя и утешая Суворина своим добрым голосом, кончил осмотр, Алексей Сергеевич схватил клочок бумаги и, быстро написав, подал профессору.

Там стояло: *«Хотелось бы еще пожить и поработать!»*

Поймите глубину этой фразы, читатель! Обессиленный тяжкими, мучительными операциями, больной, безголосый старик выражает одно желание: пожить, чтоб *поработать!* Труженик, работавший всю свою честную, нравственную, разумную и воздержную жизнь, не утратил своей энергии и работоспособности на краю могилы!

Н. Ф. Голубов добавил мне, что знаменитый профессор Г. А. Захарьин, впервые встретившись с Сувориным, остался в восторге от его ума, оригинальности и доброты.

Профессор В. М. Зыков поведал мне нечто такое, чего пока у нас не знает никто.

– Когда меня позвали к Алексею Сергеевичу, – говорит он, – я пробовал прежде всего осмотреть его гортань. Меня интересовало, какую операцию произвел франкфуртский немец-профессор. Ведь он, как мне говорили, вырывал эти «жемчужины» рака по нескольку раз. И вот, когда я заглянул в горло

к больному, я был поражен и прямо взволнован. Операция хваленой немецкой знаменитости была произведена *с такой невероятной грубостью и жестокостью,* что все оперированное место представляло собою *сплошную рану.* Поэтому мой медицинский осмотр являлся бесполезным. Пораженное, тяжко израненное горло А. С. Суворина было недоступно для исследования. Такая операция, повторяю, есть варварство, которого мы, русские хирурги, не знаем. Когда я увидал это, чувство негодования охватило меня при виде таких безобразных следов немецкой оперативной расправы над бедным Сувориным...

. . . .

Я оканчиваю свои записки об А. С. Суворине. Читатель поймет, что я их вел нервно, занося то, что диктовало взволнованное сердце. Конечно, многого я не договорил, и многое о Суворине осталось для меня неизвестным. Но как мир, вся вселенная есть лишь наше представление, то Суворин – это мир, который я представляю, беря материалом все, что знаю об этом замечательном человеке. А. С. Суворин рисуется мне как страстотерпец постоянного труда, усиленной работы, осмысленного созидания. Большой, умный, добрый и прекрасный стоит он передо мной. Это для меня воин русской государственности, благородный националист, явный и неоспоримый прогрессист в деле просвещения и славы родины, честный и мужественный патриот своего отечества, король русской журналистики, король от головы до ног!

Посвящаю эту статью моим товарищам по газете и всем, кто, вспоминая А. С. Суворина, отдает ему должное и, видя в его смерти огромную потерю для России, ощутит искреннюю и глубокую грусть...

Громобой.
Мусор над могилою

Отлучка не позволила мне посвятить своевременно статью памяти А. С. Суворина; о его кончине я узнал в вагоне из

газет. Теперь все сказано, усопшему большому человеку воздано должное, и личное горькое чувство утраты, личные воспоминания не прибавят ничего. Но наряду с оплакивающим свою потерю русским обществом нашлись, разумеется, и осквернившие его печаль, и их-то нечистое прикосновение, которое не повредит славе мертвого, должно быть освещено живыми.

Откуда эта непристойная злоба перед гробом? Конечно, разве только в кошмаре русскому деятелю может привидеться сочувственный некролог в «Речи»[1], и это бросанье клеветнической грязи в открытую могилу объясняется нерусскою злобою, всем нерусским характером нашей выдыхающейся «оппозиции». Не могут любить русского деятеля те, кто, подобно г. Измайлову[2], пишут таким жаргоном: «Он любил размахивать большие дела с благотворительным оттенком». Но, помимо воли своей, самою враждою они освещают то, чем дорог почивший русскому обществу.

Вот за что проклинает Суворина беспочвенная «оппозиция» и за что благословляем мы его светлую память.

Он, по заявлению г. Измайлова, «помог держаться и укрепляться началам, на которых от века почило осуждение лучшей части русского общества, его праведников и мучеников».

Мы давно умеем переводить такие хвастливые слова с языка «оппозиции» на настоящий, мы знаем с 1905 г. и со времен первой Думы, кого они называют праведниками и мучениками и с кем очутиться в одной компании для настоящего русского деятеля было бы хуже пощечины. Впрочем, такое смешение производилось тогда. При редакции «Нашей жизни»[3] продавались портреты, по объявлению, «русских общественных деятелей», и там были смешаны воедино в алфавитном порядке Балмашев и Белинский, Гершуни и Герцен, Каляев и Лев Толстой[4]. Мы помним апологию террора и титул героев, поднесенный преступникам в первой Думе. Но зачем идти так далеко? Разве не на днях еще г. Никольский[5] объявил в Одессе «вненациональною» свою кадетскую партию? Разве не знаем мы от г. Милюкова, кто те господа, которых «любит вся Россия»? Разве не знаем мы давно, какой смрад идет по стране

от тех, кто кичливо называет себя «лучшей частью русского общества» и взял себе монополию на народную свободу, честность и гражданственность?

И действительно, старик Суворин помог держаться и укрепляться тем началам, которые ненавистны им.

Он был русским человеком, – да разве этого недостаточно для ненависти всяких Измайловых и Винаверов[6]? Великое начало, которому он служил, называется русскою государственной идеей. Ее он не продал бы ни за какие миллионы, не то что 250 тысяч. Он освещал финляндскую и польскую «лояльность», он отзывался на страдания Холмской Руси, он – верх дерзости! – не давал даже Винаверу «требовать» чего-нибудь от русского правительства, он с убийственным сарказмом смеялся над той нечистой волною, которую все эти господа пытались влить в нашу политику и нашу литературу. Они пытались превратить университеты в рассадники революции – и на всю Россию раздался, против течения, не смущаясь их «бойкотом» и травлею, мужественный, предостерегающий голос старика Суворина. Они радовались японским победам, а «Новое время» одно, против всех их газет, поднимало в обществе патриотический дух. Оно же одно умело в пресловутые «дни свободы» воздать должное пресловутым праведникам и мученикам, а также и потакавшему им гр. Витте.

Вопреки легендам о потворстве власти, графу Витте пришлось тогда солоно от «Нового времени» и «Маленьких писем» Суворина, вопрошавшего, кто кого арестует и которое правительство настоящее – правительство Витте или правительство Носаря. Наша дрожащая пред «Европой» дипломатия всегда имела в «Новом времени» колкого, крайне для нее неудобного блюстителя интересов России. Ну, так как же после всего этого «оппозиции» не ненавидеть «Новое время»?

Оно губило всю их игру. Они все захватили: все газеты, самую Думу, все общественное мнение. Они могли бы, не будь «Нового времени», и России и Европе показывать все события в каком им угодно виде. Всей их лжи не было бы отпора, а тут наперекор стихиям стояла мощная газета, об-

личающая всю их ложь. До русского общества и до Европы доходило все, что хотела скрыть «оппозиция», – от милюковских передержек до стона несчастных рабочих на набоковских заводах. «Праведники» являлись во весь свой рост, во всем то омерзительном, то шутовском свете. Так, если истина ярким светом вырывается в одно широкое окно, ведь мрака уже не водворишь, что пользы с громадными издержками и усилиями распространять всю ложь?

И зачем клеветать на русских писателей? Зачем зачислять их, как это вечно делает «оппозиция», в печальные кадры своих праведников»? Кого из лучших русских писателей не травили современные им радикалы? Даже Белинского за «Бородинскую годовщину», даже Гоголя… А потом: графа А. Толстого, Тютчева, Фета, Тургенева за «Новь», Гончарова за «Обрыв», Достоевского за «Бесов» и вдохновенный «Дневник писателя» и еще так недавно Льва Толстого. И теперь они с наглою укоризною вспоминают, что Суворин, говоря их жаргоном, «грелся в лучах расположения Достоевского». Да если бы Достоевский жил теперь, нельзя даже представить себе тех сарказмов, которыми он заклеймил бы их.

Когда «оппозиция» хоронит своих «праведников», русским людям свойственно чувство приличия: они не омрачают чужой печали. Ни одного диссонанса даже со стороны самых несдержанных правых не было внесено в погребальный хор после смерти Муромцева или Анненского[7]. И нужна вся нерусская, неприличная наглость для той разнузданности, что была проявлена пред могилою А. С. Суворина. Не понимают чужого горя, так молчали бы… Но неполна была бы картина этого горя, этой посмертной славы, если бы не было в ней этих каркающих воронов, если бы все, что с брезгливостью наконец стряхивает с себя русское общество, не явилось сюда с обычной злобою, обычным назойливым желанием показать, сколь мы радикальны. В лучах славы большого человека освещается, растет идейный спор. Мы видим, что эта жалкая «оппозиция» плоть от плоти своих радикальных предков, что она продолжает ту травлю, которую вела в свое время против ряда великих

писателей, великих сынов России, и сильнее нас, носителей заветов усопшего, сливает смерть его в одну русскую семью. Не наша вина, что в такую минуту они внесли обычную вражду. Пред такою утратою хотелось бы молиться и плакать, не заниматься господами из «оппозиции». Но, к несчастью, приходится стряхивать их всегда с каждого русского дела; на всем норовят они оставить свой нечистый след, и неизвестно, когда удастся от них окончательно избавиться.

Они – историческое наше несчастие, осквернявшее самые светлые начинания русской свободы, осквернявшее своею узкой кружковщиной, своею «вненациональностью» русский либерализм и тем питавшее реакцию. Пусть же сливаются их проклятия с нашими благословениями памяти того, кто жил и умер, как русский человек, как борец за настоящую русскую свободу.

КОММЕНТАРИИ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ

Русское самодержавие

Характер прожитых реформ

Впервые опубликовано: Новое время. 1881. № 1805. 8 марта. – С. 2. За подписью: «Незнакомец». В постоянном разделе газеты «Недельные очерки и картинки». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Наказ был выставкою ума и смелости…» – «Наказ» написан Екатериной II в руководство созданной ею большой законодательной комиссии. Первое издание вышло в1767 г. и содержало 20 глав и введение. Издания «Наказа» появились в России также на латинском, немецком и французском языках.

[2] «Француз Шапп, проехавший по России…» – Шапп д'От(е) Жан (1722–1769), астроном. Свое путешествие по России и Сибири описал в своем «Путешествии в Сибирь» (СПб., 1768), где высказал ряд критических замечаний о России.

[3] «…В своем "Антидоте"...» – Критические замечания француза Шаппа заставили Екатерину II издать в Амстердаме (1771) специальную брошюру – «Antidote ou examen…»

[4] «Александр Первый вместе с Новосильцевым и Чарторижским…» – Новосильцев Николай Николаевич (1768–1838), граф, русский государственный деятель, член Негласного комитета при

Александре I. Один из организаторов либеральных реформ того времени. Чарторижский Адам Ежи (1770–1861), представитель родовитой польской шляхты. Один из ближайшего окружения молодого Александра I. Член Негласного комитета.

В гостях у Москвы (Москва, 17-го мая)

Впервые опубликовано: Новое время. 1883. № 2594. 20 мая (1 июня). – С. 1. За подписью: «Незнакомец». Печатается по первой публикации фрагмент статьи.

[1] «В гостях у Москвы» – большая серия очерков-репортажей, опубликованная Незнакомцем (Сувориным) в газете «Новое время» по случаю коронации Александра III (см.: Новое время. 1883. 12 мая. С. 1–2; 13 мая. С. 1; 15 мая. С. 1–2; 18 мая. С. 1–2; 20 мая. С. 1; 21 мая. С. 1; 22 мая. С. 1; 23 мая. С. 1; 24 мая. С. 1; 25 мая. С. 1; 26 мая. С. 1; 27 мая. С. 1; 28 мая. С. 1; 29 мая. С. 1; 5 июня. С. 1–2).

Коронационные торжества проходили 11–29 мая 1883 года. Александр III прибыл в Москву во вторник 10 мая, в начале второго дня. 11 мая состоялось освящение Государственного знамени. В воскресенье 15 мая был День Священного коронования. 26 мая, в четверг, в праздник Вознесения, торжественно освятили храм Христа Спасителя.

[2] «Так начинает сегодня Аксаков свою статью…» – А. С. Суворин цитирует здесь передовую статью, опубликованную в газете «Русь» (1883. № 10. 15 мая. – С. 13–19). Статья не была подписана и носила название: «Москва, 15 мая, вечером».

В гостях у Москвы (Москва, 26-го мая)

Впервые опубликовано: Новое время. 1883. № 2602. 28 мая. С. 1. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

Царь-христианин

Впервые опубликовано: Новое время. 1894. № 6708. 31 октября. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. СС». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Власть и общество

Наша весна

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. 15 декабря. № 10343. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DXLIX». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Кн. Б. А. Васильчиков в предисловии к известной записке своего отца...» – Васильчиков Борис Александрович (1860–1931), князь, шталмейстер, член Государственного совета, в 1904 г. главноуправляющий Красным крестом в действующей армии на Дальнем Востоке, в 1906–1908 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием. Впоследствии – эмигрант. Речь идет о публикации: «Посмертная записка кн. Александра Илларионовича Васильчикова. По вопросу о призыве земских людей к разработке некоторых законопроектов. Вместо предисловия от сына автора» (см.: Новое время. 1904. 16 (29) ноября. № 10314. С. 3–4). В конце предисловия стояла дата: «Декабрь 1903 г.»

Отец Б. А. Васильчикова – Васильчиков Александр Илларионович (1818–1881), князь, известный общественный деятель, славянофил, крупный ученый экономист и юрист.

Управлять надо умом

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10714. 11 января. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXII». Подпись: «А. Суворин». Заглавие в сборнике дано составителем. Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Спустя несколько лет после 1 марта 1881 г. я говорил с одним из выдающихся русских революционеров...» – Наиболее вероятно, А. С. Суворин имел в виду Тихомирова Льва Александровича (1852–1923), русского мыслителя, публициста, вначале одного из руководителей «Народной воли», заговорщика-террориста, а затем ставшего деятельным защитником русского самодержавия.

[2] «…Как граф Воронцов-Дашков...» – Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916), граф, русский государственный

деятель, генерал-лейтенант. В 1905–1915 гг. наместник Кавказа. В 1906 г. подвергался критическим выпадам на страницах русской печати.

[3] «…Как у графа Лорис-Меликова и князя Святополк-Мирского» – Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), русский государственный деятель, граф, боевой генерал, министр внутренних дел и председатель Верховной распорядительной комиссии (1880–1881). В борьбе с революционным движением допустил ряд серьезных просчетов. Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914), князь, генерал-лейтенант. Назначенный после зверского убийства В. К. Плеве министром внутренних дел (август 1904 г.) П. Д. Святополк-Мирский начал так называемую политику «весны» – заигрывания с деятелями либерального лагеря, что на деле оказалось фактором, во многом укрепившим революционное движение.

Россия расслабленная

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10748. 15 февраля. С. 4. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXXI». Подпись: «А. Суворин». Заглавие в сборнике дано составителем. Печатается по тексту первой публикации.

Лучшие люди

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10890. 9 июля. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCLXV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Выборный принцип в русской общественной жизни

О самоуправлении

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1870. Т. I. № 1. С. 507–509. В разделе: «Новейшая литература». За подписью: «А. С-н». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Мы говорили о сочинениях г. Бланка и г. Кошелева…» – Бланк Г. Б. (1811–1889), тамбовский помещик, публицист консерва-

тивного направления. Кошелев Александр Иванович (1806–1883), выдающийся русский общественный деятель и мыслитель-славянофил.

[2] «…О законе 6 апреля…» – «Временные правила о печати», введенные в России в 1865 г. и значительно ослабившие цензурные ограничения.

Народное представительство необходимо!

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. № 10328. 30 ноября. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DXLVII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Когда я защищал земцев против кн. Мещерского…» – Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), выдающийся русский общественный деятель, писатель и журналист, редактор-издатель журнала-газеты «Гражданин». Князь В. П. Мещерский очень резко критиковал деятельность земских учреждений России.

[2]«Называют Шипова как организатора земства, и Мих. Стаховича…» – Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920), известный земский деятель, землевладелец, один из лидеров октябристов. Стахович Михаил Александрович (1861–1923), потомственный орловский дворянин, крупный землевладелец, один из создателей партии «Союз 17 октября» и Партии мирного обновления. Депутат I и II Государственных дум.

[3] «Как рабски списывал свою конституцию Сперанский» – Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, крупный русский государственный деятель, разработчик и организатор плана либеральных реформ эпохи Александра I. Руководил кодификацией Основных государственных законов Российской империи.

Нам надо то, чем пользовались наши предки

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10368. 16 января. С. 4–5. Под заглавием: «Маленькие письма. DLIII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «В Москве открылась еженедельная трибуна “Русское Дело”. На ней стоит известный публицист г. Шарапов». – Ша-

рапов Сергей Федорович (1855–1911), замечательный русский мыслитель, экономист и публицист. Газета «Русское дело» была основана С. Ф. Шараповым в Москве в 1886 г. Однако она была запрещена в 1890 году под давлением антирусских сил. В начале 1905 года С. Ф. Шарапову вновь удалось возобновить выход этой газеты.

[2] «Однако г. Шарапов совершенно забыл историю Москвы, ибо напечатал следующие строки…» – Здесь А. С. Суворин цитирует слова передовицы, опубликованной в первом же номере возобновленного «Русского дела». Она имела заголовок: «Москва, 12 января» (см.: Русское дело. 1905. № 1.12 января. С. 1–6). Фамилия автора не указывалась.

Земский собор соберет всю Русскую землю

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10377. 25 января. С. 2–3. Под заглавием: «Маленькие письма. DLV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Такой всезнающий человек, как Жорес...» – Жорес Жан (1859–1914), политический деятель Франции, руководитель Французской социалистической партии. Основатель газеты «Юманите» (1904). Убит французским шовинистом 31 июля 1914 г., в канун Первой мировой войны.

Необходима сильная, творческая власть

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10895. 14 июля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCLXVII». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Что г. Носарь не арестовал графа Витте...» – Носарь (псевдоним – Хрусталев) Георгий Степанович (1877–1918), активный участник революционного движения. Сначала – народник, а затем примыкал к социал-демократам. В самый разгар революции, в октябре 1905 г., стал председателем Петербургского совета рабочих депутатов. Учитывая полную растерянность, воцарившуюся в кругах петербургской бюрократии в сентябре-

октябре 1905 года, подобное утверждение А. С. Суворина трудно назвать преувеличением.

[2] «Г. Аладьин говорил в Лондоне журналисту…» – Аладьин Алексей Федорович (1873–1927), трудовик, депутат I Государственной думы. Организатор забастовок, член Боевой дружины. Позднее участник Белого движения (1918–1922). Умер в эмиграции, в Великобритании.

[3] «Г. Гредескул грозил даже...» – Гредескул Николай Андреевич (1864 – конец 1930-х годов). Из дворян. Профессор-правовед. В то время был товарищем председателя I Государственной думы.

Обличительная Государственная дума

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11197. 16 мая. С. 2. Публикация носила название: «Маленькие письма. DCCIV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «На председательском месте сидит г. Головин...» – Головин Федор Александрович (1867 или 1868–1937), русский, православного исповедания. Активный деятель либеральной оппозиции. Член Конституционно-демократической партии. Депутат II Государственной думы от Московской губернии и III Государственной думы от Москвы. После 1917 г. работал в советских учреждениях. Расстрелян 21.II.1937 г.

[2] «Если б еще можно было читать председателю “Рокамболя” или Поль де Кока…» – А. С. Суворин имеет в виду роман «Рокамболь» или «Похождения Рокамболя: Драмы Парижа» французского романиста Понсона дю Террайля Пьера Алексиса де (1829–1879). Многие из его романов были переведены тогда на русский язык. Поль де Кок (1794–1871), известный французский романист.

[3] «…К известной речи Родичева...» – Родичев Федор Измаилович (1854–1933), активный участник либерального движения. Несколько раз высылался административным порядком. Член партии конституционных демократов. Депутат I и II Государственных дум. Потомственный дворянин. Из крупных землевладельцев. Умер в эмиграции в Лозанне (Швейцария).

Русский вопрос

Надо, чтоб русских людей не толкали в шею

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10753. 20 февраля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXXII». Подпись: «А. Суворин». Печатается по первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Сегодня в “Стране” г. Максим Ковалевский говорит, что графа Витте “ненавидят” все партии» – Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), из дворян, профессор, известный историк и социолог, публицист либерального направления. Один из редакторов журнала «Вестник Европы». «Страна» – политическая, экономическая и общественная газета, орган Партии демократических реформ. Выходила в 1906–1907 гг. в Санкт-Петербурге. А. С. Суворин имеет в виду статью Максима Ковалевского «Макиавеллизм на русской почве» (Страна. 1906. № 1. 19 февраля. С. 2). Она начиналась словами: «Странная судьба графа Витте! Недоверие встречает этого государственного человека с самого начала его деятельности…»

[2] «Г. Меньшиков во вчерашнем фельетоне...» – Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), один из ведущих публицистов «Нового времени», весьма своеобразный русский мыслитель консервативного направления. 20 сентября 1918 г. был расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах у жены и шестерых детей. А. С. Суворин говорит о статье М. Меньшикова «Письма к ближним» (см.: Новое время. 1906. № 10752. 19 февраля. С. 4).

Что такое русская буржуазия

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10768. 7 марта. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXXV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Я бы спросил не газету “Русск. государство”...» – «Русское государство», ежедневная газета, выходившая в 1906 г. как приложение к «Правительственному вестнику». Редактор – С. И. Ширяев.

[2] «…Как Кокорев, Поляков, Губонин…» – Кокорев Василий Александрович (1817–1889), предприниматель, благотворитель, коллекционер, публицист. Поляков Самуил Соломонович (1837–1888), железнодорожный магнат, занимавшийся и благотворительной деятельностью. Родился в бедной еврейской семье. Губонин Петр Ионович (1828–1894), знаменитый русский строитель железных дорог, успешный предприниматель и щедрый благотворитель. Выходец из крестьян, добившийся всего своей смекалкой и трудом.

Почему вы стыдитесь русского имени?

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10885. 4 июля. С. 2–3. Публикация имела название: «Маленькие письма. DCLXIII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Будь эти Аладьин, Жилкин, Аникин и проч. такими же натурами, как Набоков, Кокошкин, Щепкин, Винавер…» – Жилкин Иван Васильевич (1874–1958), депутат I Государственной думы, член фракции трудовиков. Публицист. Уже гораздо позднее – советский детский писатель. Умер в Москве. Аникин Степан Васильевич (1869–1919), депутат I Государственной думы, трудовик. Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), депутат I Государственной думы, член партии кадетов, ученый-юрист, публицист и редактор-издатель «Вестника партии народной свободы». Являлся членом масонской ложи. В 1917 году – управляющий делами Временного правительства. В 1922 году убит в Берлине, заслонив своим телом П. Н. Милюкова. Кокошкин Федор Федорович (1871–1918), депутат I Государственной думы, лидер партии кадетов, ученый юрист и публицист. 7.01.1918 г. был зверски убит в больнице революционными матросами. Щепкин Николай Николаевич (1854–1919), земский деятель, а затем один из руководителей партии кадетов. После прихода к власти большевиков был расстрелян. Винавер Максим Моисеевич (1863–1926), по национальности – еврей, депутат I Государственной думы. Один из основателей партии кадетов. Ученый-правовед и публицист. Член Союза для достижения равноправия евреев. Умер во Франции.

[2] «Подобно г. Петрункевичу...» – Петрункевич Иван Ильич (1844–1928), крупный политический деятель либерального лагеря. Масон. Выходец из родовитой дворянской семьи. Член ЦК партии кадетов, а затем ее председатель. Публицист оппозиционных периодических изданий. Депутат I Государственной думы от Тверской губернии.

[3] «…Подобно г. Герценштейну...» – Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), профессор, автор ряда трудов по экономике, депутат I Государственной думы и член партии кадетов. По национальности еврей. Был убит 18.07.1906 г. в Териоки Выборгской губернии.

[4] «…Печальное изречение историка и депутата Кареева…» – Кареев Николай Иванович (1850–1931), известный историк, кадет, депутат I Государственной думы.

[5] «Один из них, г. Способный…» – Способный Иван Васильевич (1864–?), православного исповедания, депутат I Государственной думы, член думский фракции умеренных.

На Великоросса идут с оружием и дреколием

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11065. 1 января. С. 6. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXXVIII». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Публикуемая статья – одно из самых ярких выступлений А. С. Суворина в защиту прав коренного русского населения. Фрагменты этой статьи цитировались в патриотической печати тех лет.

Надо быть русскими

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11218. 6 июня. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCCIX». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Был грузин Церетели» – Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959), депутат II Государственной думы, один из лидеров меньшевизма . В 1917 г. министр Временного правительства, затем белоэмигрант.

Дворянский вопрос

Россия погибает от трусости

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10688. 16 декабря. С. 3. Публикация носила название: «Маленькие письма. DCXV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Не уступали Якову Долгорукому» – Долгоруков Яков Федорович (1639–1720), князь, сподвижник Петра I, его советник и доверенное лицо. Отличался честностью и прямодушием, не боялся говорить правду даже царю.

[2] «…Бывший генерал-губернатор московский Дурново…» – Дурново Петр Павлович (1835–1919), военный и государственный деятель, генерал-адъютант. Из старинного дворянского рода. На посту московского генерал-губернатора (1905) во время революционных событий проявил полную беспомощность.

О чем должно заботиться дворянство

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11231. 20 июня. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCCXIII». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Кажется только один Марков, курский дворянин, которого газета Гучкова называла “бардом дворянства”...» – Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866–1945), один из самых знаменитых лидеров Черной сотни, председатель Главного совета Союза Русского Народа, руководитель крайне правых в III и IV Государственных думах, публицист. Из старинного дворянского рода. Курский землевладелец. Умер в эмиграции, в Висбадене. «Газета Гучкова» – основанная лидером партии октябристов А. И. Гучковым (1862–1936) в декабре 1906 г. газета «Голос Москвы» (выходила до 1915 года).

[2] «…Хвалят же после смерти гр. Гейдена» – Здесь не совсем понятно, кого из славных представителей дворянского рода Гейденов упоминает А. С. Суворин. Возможно, графа Федора Логгиновича Гейдена (1821–1900), генерал-адъютанта, генерала

от инфантерии, члена Государственного совета, финляндского генерал-губернатора. Однако весьма возможен и другой вариант: граф Петр Александрович Гейден (1840–1907), земский деятель, один из лидеров октябристов, с 1895 г. – президент Вольного экономического общества. Скончался от крупозного воспаления легких 15 июня 1907 г.

[3] «…И даже не Шингарев.» – Шингарев Андрей Иванович (1869–1918), известный земский деятель, врач, публицист, член руководства партии кадетов. Депутат II–IV Государственных дум. В 1917 г. министр Временного правительства. 7.01.1918 г. был зверски убит революционными матросами.

[4] «…Вместе с г. Родичевым, кн. Долгоруковым и кн. Шаховским…» – Долгоруков Петр Дмитриевич (1866 – после 1931), князь, один из лидеров «Союза земцев-конституционалистов», товарищ председателя I Государственной думы. Был связан с масонами. Шаховской Дмитрий Иванович (1861–1939), князь, земский деятель, публицист. Один из руководителей партии кадетов. Депутат I Государственной думы, в 1917 г. стал министром Временного правительства. После 1917 года, работая в кооперативных учреждениях советской России, занимался литературной деятельностью.

РАЗДЕЛ II. БЮРОКРАТИЯ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Отрывки и впечатления

Впервые опубликовано: Новое время. 1881. № 1893. 7 июня. С. 2–3. За подписью: «Незнакомец». В конце текста стоит место и дата: «Висбаден, 12-го июня 1881 г.». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Граф Игнатьев до сих пор служит мишенью для всевозможных выстрелов» – Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф, видный русский государственный деятель и дипломат. Был близок к славянофилам. В 1881–1882 гг. выступал с идеей воссоздания земских соборов в России. Председатель Комитета министров (1872). Был назначен министром внутренних дел (май 1881) в самый сложный период начала царствования Александра III.

Граф М. П. Игнатьев подвергался нападкам как со стороны либеральных, так и со стороны консервативных кругов.

[2] «…Он будет заменен графом Шуваловым…» – Шувалов Петр Андреевич (1827–1889), граф, видный русский государственный деятель консервативного направления, дипломат. Генерал от кавалерии. В 1866–1874 гг. шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения. Пользовался особым доверием императора Александра II. Граф П. А. Шувалов также подвергся ожесточенной критике в различных общественных кругах. Сама публикация А. С. Суворина хорошо отражает ту атмосферу ожиданий и неуверенности, в которой жило в те месяцы русское общество.

[3] «…Неизвестного автора “Письма о современном состоянии России. 11-го апреля 1879 года – 6-го апреля 1880”» – Автором этой брошюры является военный и общественный деятель, публицист-славянофил Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883).

[4] «…Один из убийц Мезенцова…» – Мезенцов Николай Владимирович (1827–1878), русский государственный деятель, генерал-адъютант, участник Крымской войны, член Государственного совета. С 1876 г. – шеф жандармов и начальник III Отделения. 4 августа 1878 г. убит революционером-террористом и писателем С. М. Кравчинским (Степняком) (1851–1895). На самом деле убийце удалось тогда уйти от возмездия.

Письмо к другу

Впервые опубликовано: Новое время. 1884. № 3086. 30 сентября. С. 2. Публикация имела заглавие: «Письма к другу. LIII». За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Революция на казенный счет

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10409. 26 февраля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Само правительство шло под этим знаменем

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10701. 29 декабря. С. 3–4. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXIX». Под-

пись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Безнаказанность поощряет политические убийства

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10902. 21 июля. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCLXIX». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Как убийство адмирала Чухнина…» – Чухнин Григорий Павлович (1848–1906), вице-адмирал. В 1904 г. назначен Главнокомандующим Черноморским флотом. 28 июня 1906 г. зверски убит революционером-террористом. Преступник скрылся.

Мы погребаем Россию

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10907. 26 июля. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCLXX». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Судя по г. Муромцеву…» – Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), земский деятель, профессор, автор целого ряда научных трудов по истории римского и гражданского права, общей теории права. Публицист. Один из лидеров партии кадетов, председатель I Государственной думы.

[2] «Когда умер Петр Великий, у гроба его проповедник потрясенным голосом сказал…» – далее А. С. Суворин цитирует слова Феофана Прокоповича (1681–1736), русского церковного деятеля, писателя, верного сподвижника Петра I.

РАЗДЕЛ III. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Письмо в редакцию

Впервые опубликовано: Новое время. 1882. № 2204. 19 апреля. С. 3. Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Что русский еврей гораздо лучше “Русского еврея”, издающегося в Петербурге...» – «Русский еврей», еженедельный журнал, выходивший в 1879–1884 гг. в Санкт-Петербурге. Издатели: Лазарь Яковлевич Берман и Гирша Нееровинович Рабинович. С 1-го номера 1883 г. – один Г. Н. Рабинович. Редакторы: вначале Л. Я. Берман, с 48-го номера – Лев Осипович Кантор-Рехес. Журнал перестал выходить на 48-м номере 1884 года вместе с «Еврейским обозрением».

Инициатива сэра Натана Ротшильда

Впервые опубликовано: Новое время. 1894. № 6737. 29 ноября. С. 2–3. Под заглавием: «Маленькие письма. CCV». Подпись: «А. Суворин.» Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Величие Дрейфуса

Впервые опубликовано: Новое время. 1897. № 7836. 19 декабря. С. 2. Публикация носила заглавие: «Маленькие письма. CCCXVIII». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

В 1894 году против офицера французского Генерального штаба еврея Альфреда Дрейфуса (1859–1935) было начато судебное расследование по обвинению в шпионаже в пользу Германии. «Дело Дрейфуса», даже приведшее к политическому кризису во Франции, хорошо показало и острые существовавшие противоречия во французской общественной жизни, и удивительную сплоченность всего еврейского народа. А. С. Суворин с самого начала очень внимательно наблюдал за всеми перипетиями этого непростого дела.

[1] «Против “хрустальной репутации” Шерера Кестнера»… – Шерер-Кестнер Огюст (1833–1899), французский политический деятель, родом эльзасец. Один из основоположников «Республиканского союза» (партии Гамбетта). Сыграл видную роль в «деле Дрейфуса».

Дело Дрейфуса

Впервые опубликовано: Новое время. 1898. № 7849. 3 января. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. CCCXXII». Подпись:

«А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

О «Контрабандистах»

Впервые опубликовано: Новое время. 1901. 7 января. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. CDV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Почему я поставил эту пьесу гг. Крылова и Литвина?» – Постановка «Контрабандистов» состоялась на сцене Театра литературно-художественного общества 1 января 1901 года. Крылов (псевдоним – В. Александров) Виктор Александрович (1838–1906), известный в те годы драматург. Литвин (настоящая фамилия – Эфрон) Савелий Константинович (1849–1926), талантливый писатель, драматург, публицист. Выходец из консервативной еврейской семьи, глубоко проникся духом православия. Крестился. Регулярно публиковался на страницах русских патриотических изданий. В эмиграции принял монашество и умер в сербском монастыре.

Спектакль имел очень большой успех у зрителей, но вызвал сильное противодействие со стороны либеральных и революционных кругов, сделавших все возможное, чтобы его сорвать. Принципиальная позиция, занятая А. С. Сувориным в этом вопросе, вполне правомерна.

Что такое антисемитизм

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. № 10227. 21 августа. С. 2–3. Под заглавием: «Маленькие письма. DXXVI». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Говорит сегодня у нас автор “Заметок”», – А. Ст-н. Заметки // Новое время. 1904. № 10227. 21 августа. С. 4. Статья начиналась следующими словами: «В печати появились не лишенные ехидства замечания по адресу “Нового времени”, высчитывают, сколько дней газета держала «новый курс», через сколько времени термин “жид” заступил слово “еврей”, замечают, что не долго “Новое время” вытерпело “корсет приличия” и “кандалы лицеме-

рия”. Чувствуя себя виновником всей этой газетной травли, источником которой явился мой рассказ о поведении музыкантов-евреев в тюренченском бою, я должен заметить, что критикующие газеты допустили первоначальную ошибку, приписывая моим статьям такое значение, которого они иметь не могли».

А. Ст-н – Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925), публицист и поэт, один из постоянных авторов «Нового времени». Родной брат П. А. Столыпина.

[2] «Почему роман немецкого писателя Поленца “Крестьянин”…» – Поленц Вильгельм фон (1861–1903), немецкий писатель-натуралист. Показал гибель сельского патриархального уклада жизни.

«Мы требуем!»

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. 11 мая. № 10483. С. 2. Опубликовано под заглавием: «Маленькие письма». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Еврейское «землеустройство»

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10722. 19 января. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXIV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Составлял г. Гурлянд, еврей…» – Гурлянд Илья Яковлевич (1868–?), крещеный еврей, юрист и публицист.

[2] «Это – г . Кауфман» – Кауфман Александр Аркадьевич (1864–1919), экономист и статистик, член партии кадетов.

[3] «Его соотечественники из “Революционной России”, издававшейся за границей еврейским Бундом…» – «Революционная Россия» – нелегальная газета партии эсеров, выходившая в 1900–1905 гг. С № 3 выходила в Женеве. Бунд (на идиш bund – союз) – еврейская националистическая партия. Была создана в 1897 г. в Вильно (ныне – Вильнюс).

[4] «…Представленный в Совет министров г. Кутлером» – Кутлер Николай Николаевич (1859–1924), политический деятель, юрист. Один из лидеров партии кадетов. В 1905–1906 гг. – главноуправляющий землеустройством и земледелием, автор либе-

рального проекта по земельному вопросу. После 1917 г. на советской хозяйственной работе.

О Цицероне и русских людях

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10789. 28 марта. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCXXXIX». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Кажется, весь мир идет на Россию

Впервые опубликовано: Новое время. 1906. № 10873. 22 июня. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCLXI». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

РАЗДЕЛ IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ МАСОНСТВО И РУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Письма о масонстве

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11277. 5 августа. С. 2; № 11284. 12 августа. С. 2; № 11289. 17 августа. С. 2. Публиковалось под общим заглавием: «Маленькие письма. DCCXX, DCCXXI, DCCXXII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…По поручению П. Д. Лаврова…» – Лавров Петр Лаврович (1823–1900), русский философ, социолог, публицист и редактор. Один из идеологов и руководителей революционного народнического движения 60–80-х годов.

[2] «Покойный В. С. Соловьев…» – Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский религиозный философ, поэт и публицист.

[3] «…Когда Е. Сю изобразил их в “Вечном жиде”…» – Сю Эжен (1804–1857), французский писатель.

[4] «“Речь”, этот орган партии инородной свободы…» – «Речь» – ежедневная газета, центральный орган партии кадетов. Выходила в 1906–1917 гг.

РАЗДЕЛ V. РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР

Освобождение славян

На пути в Константинополь

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 117. 27 июня. С. 1. В постоянном воскресном разделе газеты «Недельные очерки и картинки». За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Благодарю очень г. Гамму и “Бирж. вед.” за их заступничество за г. Веселитского…» – Веселитский-Божидарович Гавриил Сергеевич (1841–1930), русский публицист, чиновник и деятель славянского освобождения. В 1875 г. прибыл в Рагузу в качестве делегата образовавшегося в Париже международного комитета для помощи семействам Боснии и Герцеговины. Был помощником русского консула по распределению пособий нуждающимся. Целым рядом газет обвинялся в амбициозных планах и в присвоении части пожертвований. А. С. Суворин имеет в виду публикации «Биржевых ведомостей» в разделе «Внешние известия» – см.: Биржевые ведомости. 1876. № 144. 27 мая. С. 2–3; 1876. № 148. 31 мая. С. 2–3 и др., а также фельетон Гаммы «Листок» – см.: Голос. 1876. № 162. 13 июня. С. 1–2. Гамма – псевдоним русского публициста и редактора Григория Константиновича Градовского (1842–1920). Его воскресные фельетоны в газете «Голос» пользовались в 1870-х годах особенною известностью.

На пути в Белград

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 142. 22 июля. С. 1. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

Накануне XX-го века все-таки царствует физическая сила

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 145. 25 июля. С. 2–3. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие дано составителем сборника.

Откажемся от Болгарии...

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 203. 21 сентября. С. 1. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

Недельные очерки и картинки

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 11215. 3 октября. С. 1–2. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Дело Струсберга начинается» – Струсберг Бетель-Генри (1823–1884), железнодорожный предприниматель и аферист. Родился в Восточной Пруссии и по происхождению еврей. В 1875 г. был объявлен несостоятельным должником, арестован в Москве по делу о крушении Московского коммерческого банка и приговорен к изгнанию из России. Умер в нищете. Об обстоятельствах «дела Струсберга» в то время много писала наша отечественная печать. См. например: Доктор Струсберг и Комп. (пролог к банковскому делу) // Голос. 1876. № 151. 2 июня. С. 1.

[2] «…За матушкой игуменьей Митрофанией выскочил Овсянников»... – Митрофания (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен, 1825–1898), игуменья, настоятельница Владычного монастыря в Серпухове. В 1873 г. арестована и попала под следствие и суд по обвинению в подделке векселей купца М. Г. Солодовникова в пользу монастыря. О «деле Митрофании» см.: Кони А. Ф. Игуменья Митрофания // Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 тт. Т. 1. М., 1966. С. 64–73. Овсянников Степан Тарасович, петербургский миллионер, хлеботорговец. В 1875 году обвинялся в преднамеренном поджоге паровой мельницы. Был сослан в Сибирь.

[3] «В прошлое воскресенье мы поместили письмо в редакцию – “Наша национальная задача” – письмо...» – Имеется в виду вышедшая без подписи публикация «Наша национальная задача (Письмо в редакцию)» (Новое время. 1876. № 208. 26 сентября. С. 1–2).

[4] «Представитель этого доктринерства – “Вестник Европы”…» – «Вестник Европы» – умеренно-либеральный литературно-политический журнал западнического направления. Издавался в Санкт-Петербурге в 1866–1918 гг. Редактор-издатель в то время

М. М. Стасюлевич (1826–1911), известный общественный деятель либерального направления и публицист, историк.

[5] «Мы не понимаем, – говорит теперь “Вестник Европы”…» – Здесь А. С. Суворин цитирует статью «Внутренние обозрение. 1-е октября. 1876». Вышла без подписи. См.: Вестник Европы. 1876. Т. 5. № 10. С. 800.

[6] «…В той же книжке “Вестника Европы” помещена статья г. А. П. “Несколько слов по поводу южно-славянского вопроса”…» – Статья эта была опубликована в: Вестник Европы. 1876. Т. 5. № 10. С. 876–898. А. П. – псевдоним Александра Николаевича Пыпина (1833–1904), известного ученого-славяноведа, филолога, публициста. А. Н. Пыпин был связан с масонскими кругами.

Мир, господа, мир!

Впервые опубликовано: Новое время. 1878. № 676. 15 января. С. 2. Под еженедельной воскресной рубрикой: «Недельные очерки и картинки». Подпись: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Политика и печать

Впервые опубликовано: Новое время. 1899. № 8559. 24 декабря. С. 3. Без подписи. Печатается по тексту первой публикации.

Факт принадлежности этой статьи А. С. Суворину установлен Е. А. Динерштейном. См.: Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 337.

Россия и Германия

В гостях и дома (заметки о Германии)

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1870. Т. 5. Кн. 9. С. 296–318; Кн. 10. С. 806–829. За подписью: «А. С-н.» Печатается по тексту первой публикации.

О торговом договоре с Германией

Впервые опубликовано: Новое время. 1893. № 6261. 4 августа. С. 1. Под заглавием: «Маленькие письма. CXXVIII». Подпись:

«А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Свидание двух Императоров

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11268. 27 июля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCCXVII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Россия, Англия и Франция

Нуждаемся ли мы друг в друге?

Впервые опубликовано: Новое время. 1894. № 6733. 25 ноября. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. CCIV». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Лорд Розберри просунул голову в клетку...» – Розберри Арчибальд-Филипп (1847–1929), английский государственный деятель, один из лидеров либеральной партии. Стойко противодействовал русскому влиянию в болгарских делах.

[2] «…С тревожным выражением в лице стоит Казимир Перье» – Перье Казимир (1777–1832), участник Итальянского похода 1796 г., крупный французский государственный деятель и финансист. В 1802 г. основал в Париже вместе с братом Сципионом банкирский дом, доставивший ему крупное состояние. Много сделал для укрепления парламентской монархии Луи-Филиппа.

[3] «На которые указал В. И. Ламанский в своей превосходной речи»… – Ламанскии Владимир Иванович (1833–1914), академик, геополитик и идеолог панславизма, создатель исторической школы славистов. Речь В. И. Ламанского была произнесена на заседании Славянского благотворительного общества 10 ноября 1894 г., посвященном памяти почившего императора Александра III. Речь опубликовали на страницах суворинской газеты: Новое время. 1894. 12 ноября. С. 2–3. За подписью – «Владимир Ламанский».

[4] «Генерал Черняев взятием Ташкента…» – Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), известный деятель движения за освобождение славянских народов, славянофил, боевой

генерал и издатель-редактор. С 1882 года был туркестанским генерал-губернатором.

[5] «…Русское чувство битвой при Кушке…» – Конфликт 1885 г., когда 18 марта отряд генерал-лейтенанта А. В. Комарова был вынужден атаковать при Кушке позиции афганцев, захвативших пункт Таш-Кепри, принадлежавший дружественным нам сарыкам. В результате был образован Пендинский округ. Граница его с Афганистаном была установлена нашими и английскими дипломатами в конце августа 1888 г. после сложных переговоров.

Англия и русский патриотизм

Впервые опубликовано: Новое время. 1898. № 8148. 2 ноября. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. CCCXXXI». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Лорд Солсбери говорит…» – Солсбери Роберт Артур Тальбот (1830–1903), английский государственный и политический деятель, активно противодействовал российским интересам на международной арене. Премьер-министр Великобритании в 1885–1892 гг. (с перерывом) и в 1895–1902 гг. Лидер консервативной партии.

Франко-русский союз

Впервые опубликовано: Новое время. 1907. № 11256. 15 июля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DCCXV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Я считаю, что наша статья о франко-русском союзе…» – См: Инсаров. Франко-русские счеты. Письмо в редакцию // Новое время. 1907. № 11233. 22 июня. С. 2. В этом письме, в частности, говорилось: «Возникает вопрос об отношениях наших к Франции и о современном положении франко-русского союза, этого фундамента нашей внешней политики. Нам также нужна союзница сильная, нисколько не входя в рассуждения, какими способами, при каких условиях внутренней жизни она достигает этого результата. Находятся ли у власти радикалы, умеренные или правые – этот вопрос для нас вполне безразличный. Так понимаем мы принцип невмешательства во внутренние дела союзной с нами державы и

сами того же вправе требовать и от нее по отношению к нам». Автор указывал на двойственную позицию, которую заняло по отношению к России руководство Франции, и на антирусскую деятельность крайних французских партий. Это письмо сразу же вызвало многочисленные отклики у нас и во Франции: Ответ «Temps» на письмо Инсарова // Новое время. 1907. № 11239. 28 июня. С. 3; Еще о франко-русском союзе // Новое время. 1907. № 11240. 29 июня. С. 2.; Инсаров. Октав Мирбо о франко-русском союзе // Новое время. 1907. № 11247. 6 июля. С. 2.; Табурио И. Франко-русское охлаждение // Новое время. 1907. № 11248. 7 июля. С. 3 и др.

[2] «Если Октав Мирбо…» – Мирбо Октав (1848–1917), французский писатель и общественный деятель.

[3] «Зять Карла Маркса, француз Лафарг…» – Лафарг Поль (1842–1911), один из основателей французской Рабочей партии, член 1-го Интернационала, автор трудов по политэкономии, философии, литературоведению и др.

[4] «Покойный наш посол барон Моренгейм…» – Моренгейм Артур Павлович, барон, русский посол в Париже в 1884–1897 гг.

[5] «В докладе министру иностранных дел Гирсу…» – Гирс Николай Карпович (1820–1895), статс-секретарь и министр иностранных дел, сторонник сближения России с Германией.

[6] «Граф Пав. А. Шувалов, тогдашний посол в Берлине…» – Шувалов Павел Андреевич (1830–1908), граф, русский государственный деятель. Был послом в Берлине в 1885–1894 гг. Сторонник сближения России с Германией.

[7] «Если гр. Муравьев был бездарен и самонадеян, то гр. Ламздорф…» – Муравьев Михаил Николаевич (1845–1900), граф, министр иностранных дел в 1897–1900 гг. Ламздорф Владимир Николаевич (1844 или 1845?–1907), граф, русский государственный деятель, министр иностранных дел в 1900–1904 гг. и в октябре 1905 – 1906 гг.

Восточный вопрос

Малая Азия и Персия

Впервые опубликовано: Новое время. 1899. № 8545. 10 декабря. С. 2–3. Без подписи. Печатается по тексту первой публикации.

Факт принадлежности этой статьи А. С. Суворину установлен Е. А. Динерштейном. См.: Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 337.

Международные обстоятельства и что делать?

Впервые опубликовано: Новое время. 1899. № 8552. 17 декабря. С. 2–3. Без подписи. Печатается по тексту первой публикации.

Факт принадлежности этой статьи А. С. Суворину установлен Е. А. Динерштейном. См.: Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 337.

[1] «…Посылкой генерала Столетова…» – Столетов Николай Григорьевич (1834–1912), генерал от инфантерии. Активный участник русско-турецкой войны (1877–1878). Руководил обороной Шипки. Руководитель Аму-дарьинской научной экспедиции. Им был основан г. Красноводск.

[2] «…Вскоре в Сербию приехал Милан…» – Милан Обренович (1854–1901), сербский князь в 1868–1882 гг., король Милан I в 1882–1889 гг. Проводил авантюристическую внешнюю политику.

[3] «…Воображает себя Пальмерстоном…» – Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784–1865), премьер-министр Великобритании в 1855–1858 гг. и с 1859 г. лидер партии вигов. Один из организаторов Крымской войны.

РАЗДЕЛ VI. ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Православие и раскол

История раскола

Впервые опубликовано: Новое время. 1893. № 6406. 29 декабря. С. 1. Под заглавием: «Маленькие письма. CLV». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Публикуемое «Маленькое письмо» А. С. Суворина, на мой взгляд, одно из самых проникновенных публицистических произведений в русской журналистике, посвященных такой сложной и болезненной проблеме нашей истории, как церковный раскол. Алексей Сергеевич очень хорошо показал причины этого печального явления. Высоко оценивал искренность и страстность этого произведения А. П. Чехов: «С восхищением читаю Ваше последнее письмо о расколе и воздаю Вам великую хвалу. Великолепное письмо, и успех его вполне понятен» (Чехов А. П. Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 12. Письма. М.: Художественная литература, 1964. С. 39).

[1] «Митрополит Макарий в своей “Истории раскола”...» – Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816–1882), митрополит Московский и Коломенский, известный духовный писатель и историк Церкви. Суворин упоминает труд Макария «История русского раскола, известного под именем старообрядства» (СПб., 1855).

[2] «Восклицает один из них, г. С. П-вский» – Здесь А. С. Суворин цитирует статью СПО-вского «“Маленькое письмо” и большое недомыслие г. Суворина», опубликованную в газете «Московские ведомости» (1893. № 334. 4 декабря. С. 1–2). Кто скрывался за псевдонимом «СПО-вский», выяснить не удалось. Вполне вероятно, известный расколовед священник Субботин Николай Иванович (1827–1905).

Памятная Пасха

Впервые опубликовано: Новое время. 1905. № 10462. 20 апреля. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DLXXXI». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Это «Маленькое письмо» появилось по случаю Именного Высочайшего Указа Правительствующему сенату «Об укреплении начал веротерпимости», опубликованного на Пасху 17 апреля 1905 г.

[1] «Митрополит московский Иоанникий говаривал…» – Иоанникий (в миру Руднев И. М., 1826–1900), митрополит Московский и Коломенский, позднее Киевский и Галицкий. Выдающийся духовный просветитель.

[2] «Известный католик Жозеф Деместр...» – Местр Жозеф Мари де (1753–1821), граф, французский политический деятель, публицист и религиозный философ. В 1802–1817 гг. посланник сардинского короля в России, где написал большинство своих трудов.

[3] «…И в Белой Кринице, в Австрии» – Крупный духовный старообрядческий центр в Буковине, где в 1846 г. была учреждена Австрийская, или Белокриницкая, иерархия.

РАЗДЕЛ VII. РОССИЙСКАЯ ПЛУТОКРАТИЯ. ЕЕ ИДЕАЛЫ И ТРАДИЦИИ

Народные просветители. Фабриканты

Впервые опубликовано: Русская речь и Московский вестник. 1861. № 96. 30 ноября. С. 694–696. В разделе: «Библиографические заметки». Подпись: «А. С.». Печатается по тексту первой публикации.

«Русская речь и Московский вестник» – газета, выходившая с 1 января по 31 декабря 1861 г. в Москве. Имела подзаголовок: «Литература, политика, история и общественная жизнь на Западе и в России. Редактор – Е. Тур, затем Е. Феоктистов.

[1] «Г. Голицынский, автор “Фабричных очерков”...» – Голицынский Александр Петрович (1817 или 1818–1874), прозаик, автор очерков из народного быта – «Очерки из фабричной жизни» (М., 1861. 2 изд. в 1874).

На бирже и у господ плутократов

Данная работа представляет собой серию фельетонов Незнакомца, первоначально публиковавшихся на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1869–1870 гг. и в 1874 г. См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1869. № 225. 17 августа. С. 1–2; 1869. № 316. 16 ноября. С. 1–2; 1874. № 184. 7 июля. С. 1–2; 1874. № 191. 14 июля. С. 1–2; 1874. № 254. 15 сентября. С. 1 и др.. В значительно дополненном и переработанном виде эти фельетоны были затем опубликованы в книге «Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина)». (Книга I. СПб.:

Типография В. С. Балашева, 1875. С. 1–25; Книга 2. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1875. С. 184–207). Это издание и стало основой для публикации текста в сборнике.

[1] «…Роль Джона Ло...» – Ло Джон (1671–1729), банкир, известный английский экономист и спекулянт. Организатор многочисленных сомнительных банковских операций.

[2] «…По словам Дюкло…» – Дюкло Шарль Пино (1704–1772), французский историк и писатель. На русский язык были переведены «Рассуждения о нравах сего времени» (СПб., 1813).

[3] «“Биржевые ведомости”, сделавшись органом…» – «Биржевые ведомости», умеренно-либеральная газета промышленно-финансовых кругов, выходившая в 1861–1917 гг. (название менялось). Помещала биржевую коммерческую информацию.

[4] «…Прислать редакции “Санкт-Петербургских ведомостей”…» – «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая русская газета (1727–1917). Во время редакторства В. Ф. Корша в 1863–1874 гг. пользовалась наибольшей популярностью и проявляла большую оппозиционность.

[5] «…Как фабрикант Семен Малютин…» – Малютины – московский купеческий род, происходивший из калужских купцов. Малютины владели фабриками, заводами и другими предприятиями. Малютинский конный Курской губернии славился на весь мир. Эти купцы были щедрыми благотворителями. Некоторые из представителей рода Малютиных, однако, в конце 60–70-х годов стали вести расточительный образ жизни. Здесь А. С. Суворин имеет в виду Семена Павловича Малютина (1842? – до 1869 г.?).

[6] «…И М. С. Мазурин...» – Мазурин Митрофан Сергеевич (1834–1880), текстильный фабрикант, коннозаводчик, купец 1-й гильдии, собиратель русской и зарубежной живописи.

[7] «Граф Уваров дает капитал на премии... Безбородко основывает лицей, Нарышкин учительскую семинарию…» – Уваров Сергей Семенович (1786–1855), граф, русский государственный деятель, идеолог монархической государственности. Министр народного просвещения (1833–1849). С 1818 г. президент Петербургской академии наук. До революции присуждались престижные Уваровские премии за лучшие научные и художественные труды. Безбородко Александр Андреевич (1747–1799), русский

государственный деятель и дипломат, канцлер и светлейший князь (1797), много сделал для развития отечественной культуры. Нарышкин Эммануил Дмитриевич (1813–?), тамбовский землевладелец, известный крупными пожертвованиями на дело народного просвещения. Основатель учебных заведений.

[8] «…Объявил в “Петерб. газете”...» – «Петербургская газета», ежедневная политическая и литературная газета, выходившая в 1867–1917 гг.

[9] «…Дать знать гласному В. И. Лихачеву…» – Лихачев Владимир Иванович (1837–1906), гласный Петербургской городской думы, позднее петербургский городской голова, затем сенатор.

[10] «…Бывший австрийский министр и экономист Шеффле...» – Шеффле Альберт Эберхарц (1831–1903), австрийский государственный деятель, экономист и социолог.

[11] «…Доказывает, между прочим, история “Вести”» – «Весть», крайне консервативная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1863–1870 гг. Обосновывала преимущественные права русской аристократии на управление государством. Прекратилась в силу целого ряда причин в 1870 году на 108-м номере.

[12] «…Не мог ожидать г. Скарятин?» – Скарятин Владимир Дмитриевич, представитель старинного дворянского рода, публицист и один из издателей-редакторов газеты «Весть».

К гг. директорам Московского общества коммерческого кредита

Впервые опубликовано: Новое время. 1876. № 69. 9 мая. С. 2. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

РАЗДЕЛ VIII. ЖЕНЩИНА В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Очерк истории русской женщины

Впервые опубликовано: Новое время. 1890. № 5106. 18 мая. С. 2–3. За подписью: «А. Суворин». В постоянном разделе газеты: «Критические очерки». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «К сожалению, даже г. Луи Леже...» – Леже Луи Поль (1844–1923), французский филолог, славяновед. Автор целого ряда работ по истории русской литературы. Большой друг России. В июне 1880 г. участвовал в торжествах по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в Москве.

[2] «Вейнберг в “Веке”...» – Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908), поэт, переводчик, историк литературы, редактор и педагог. Из купеческого рода. «Век» – еженедельный общественно-политический и литературный журнал (1861–1862). Редакторы-издатели Вейнберг П. И., затем Елисеев Г. З.; ежемесячный литературный, ученый и политический журнал (1882–1884 гг.). Редактор-издатель М. Филиппов.

[3] «(Шашков. История русской женщины. Стр. 284)» – Шашков Серафим Серафимович (1841–1882), русский писатель. Автор больших исследований об историческом положении женщины. В данном случае А. С. Суворин цитирует книгу С. С. Шашкова «Очерк истории русской женщины» (2-е изд. СПб., 1879).

РАЗДЕЛ IX. ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Общие вопросы литературного развития

Судьбы русских литераторов

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1870. Т. 1. № 1. С. 488–500. В разделе: «Новейшая литература». Подпись: «А. С-н». Печатается по тексту первой публикации.

Наша поэзия и беллетристика

Впервые опубликовано: Новое время. 1890. № 5099. 11 мая. С. 2. В постоянном разделе газеты: «Критические очерки». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Вчерашний фельетон посвящен женщинам». – Имеется в виду статья Ф. Булгакова «Женский век» (Новое время. 1890. № 5098. 10 мая. С. 2). Булгаков Федор Ильич (1852–1908),

русский журналист и историк искусства. С 1900 года редактор газеты «Новое время».

[2] «В. П. Буренин говорил...» – Буренин Виктор Петрович (1841–1926), известный русский критик консервативного направления, поэт, один из самых активных сотрудников «Нового времени».

А. С. Грибоедов

«Горе от ума» и его истолкователи

Впервые опубликовано: Новое время. 1886. № 3538. 3 января. С. 2–3; 1886. № 3550. 15 января. С. 2; 1886. № 3557. 22 января. С. 2–3. За подписью: «А. Суворин». В несколько дополненном виде эта работа была напечатана в виде предисловия к книге: Горе от ума. Комедия в четырех действиях А. С. Грибоедова. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1886. С. I–LXXII.

Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Традиции Мольера и Пирона…» – Пирон Алексис (1689–1773), французский поэт и драматург.

[2] «В “Московском телеграфе” полемизировал с Дмитриевым У. У., в “Сыне Отечества” Орест Сомов и ДРК». – УУ – Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804–1869), князь, русский писатель, критик, философ. ДРК – Греч Николай Иванович (1787–1867), русский журналист, издатель, писатель, филолог .

[3] «В прошлом году г. Н. Г. в “СПб. вед.”» – Установить личность носителя данного псевдонима не удалось.

[4] «Только со времени Скриба…» – Скриб Эжен (1791–1861), известный французский драматург.

А. С. Пушкин

Кое-что о Москве и провинции

Впервые опубликовано: Новое время. 1880. № 1556. 29 июня. С. 2. В постоянном воскресном разделе газеты: «Недельные очерки и картинки». За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

Этот очерк А. С. Суворина посвящен одному из самых ярких событий в истории русской культуры XIX века – торжествам по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в Москве 6–8 июня 1880 года, созданного великим русским скульптором-ярославцем А. М. Опекушиным.

[1] «…Мы с С. В. Максимовым…» – Максимов Сергей Васильевич (1831–1901), писатель-этнограф, очеркист. Один из авторов «Нового времени».

[2] «Председатель Общества любителей российской словесности г. Юрьев…» – Юрьев Сергей Андреевич (1821–1888), литературный и театральный деятель, редактор, публицист. Общество любителей российской словесности (ОЛРС), литературно-научное общество при Московском университете, 1811–1930. Вело научно-исследовательскую и литературно-общественную деятельность.

[3] «…К ректору, г. Тихонравову…» – Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), профессор, историк русской литературы.

[4] «Граф Бобринский…» – Бобринский Алексей Васильевич (1831–1888), действительный статский советник, егермейстер, позднее член Государственного совета. В 1880 г. был московским губернским предводителем дворянства.

[5] «…Из-за костюмов для Самарина...» – Самарин Иван Васильевич (1817–1885), знаменитый артист Московского драматического театра.

[6] «…Г. Поливанова…» – Поливанов Лев Иванович (1838–1899), русский педагог, литературовед, общественный деятель, составитель школьных хрестоматий и автор учебников.

[7] «…Недавно “Московские ведомости” поместили письмо г. Маркевича…» – Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884), писатель, публицист, критик. Неоднократно выступал в печати с обвинениями по адресу И. С. Тургенева. Особенно возмутили поклонников и поклонниц И. С. Тургенева следующие две публикации: «С берегов Невы» (Московские ведомости. 1879. № 313. 9 декабря. С. 4–5) и «Справка для г. Тургенева» (Московские ведомости. 1880. № 5. 6 января. С. 5). Обе опубликованы за подписью: «Иногородний обыватель». В них в самой грубой форме Тургенев обвинялся в «расшаркивании» перед нигилистами. «Это внутренняя потребность заискиванья и низкопоклонства пред тем, что

до сих пор считалось г. Тургеневым действительной силой в “его стране”, берет у него верх над разумом, над памятью, надо всяким доступным самому простому человеку соображением» (Московские ведомости. 1879. № 313. 9 декабря. С. 5). Одну из этих двух публикаций и имеет в виду А. С. Суворин.

[8] «…А г. Г. У. в “Отеч. зап.”…» – Г. У. – псевдоним русского писателя Глеба Ивановича Успенского. Речь идет о статье «Пушкинский праздник. Письмо из Москвы» (Отечественные записки. 1880. Т. CCL. № 6. С. 173–196).

[9] «…В середине речи г. Чаева…» – Чаев Николай Александрович (1824–1914), прозаик, драматург.

По поводу печального дня

Впервые опубликовано: Новое время. 1887. № 3906. 13 января. С. 1. Без подписи. Факт принадлежности этой статьи А. С. Суворину установлен Е. А. Динерштейном. См. Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 351.

Печатается по тексту первой публикации.

Еще по поводу скорбного дня

Впервые опубликовано: Новое время. 1887. № 3910. 17 января. С. 1. Без подписи. Факт принадлежности этой статьи А. С. Суворину установлен Е. А. Динерштейном. См. Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М.:Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 351.

Печатается по тексту первой публикации.

В приложении к статье было помещено письмо Я. К. Грота.

[1] «Вчера “Новости” напечатали сердитый ответ на нашу статью...» – Речь идет о статье Петра Вейнберга «О чествовании памяти Пушкина (Письма в редакцию)» (Новости и биржевая газета. 1887. № 16. 17 января. С. 2). Статья начиналась словами: «М. г. На этих днях в нескольких газетах появились обвинительные статьи по поводу предполагаемого чествования памяти Пушкина, и вся тяжесть обвинений обрушилась исключительно на меня. Участвовать в чтении г. Грот отказался письмом ко мне только после появления статьи “Нового времени” и на ее основании, хотя я в тот же день уведомил его, что все в этой статье

выдумка, основанная на каких-то дошедших в редакцию сплетнях». «Новости и биржевая газета» – либеральная газета, выходившая в Петербурге в 1880–1906 гг.

[2] «…А от гг. Нотовича и Вейнберга» – Нотович Осип Константинович (1849–1914), известный либерал и деятель печати, журналист и издатель газеты «Новости и биржевая газета».

Кавалерист-девица и Пушкин

Впервые опубликовано: Новое время. 1887. № 3910. 17 января. С. 2. В разделе: «Субботники». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Г. Байдаров говорит…» – Байдаров – один из псевдонимов Бурнашева Владимира Петровича (1809, по другим сведениям 1810 или 1812–1888), прозаика, детского писателя, автора воспоминаний. В 1887 г. в Петербурге вышла его книга «Кавалерист-девица Александров-Дуров».

Напутствие «Обеденному собранию»

Впервые опубликовано: Новое время. 1887. № 3916. 23 января. С. 1. За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «“Новости” в лице г. Григория Градовского и г. В. Михневича начинают прибегать к приемам самым недостойным...» – А. С. Суворин имеет в виду следующие публикации: Григорий Градовский. К пушкинским дням (Письмо в редакцию) // Новости и биржевая газета. 1887. № 17. 18 января. С. 2; 1887. № 19. 20 января. С. 2; 1887. № 21. 22 января. С. 1; В. Мч. Еще о скандале перед поминками по Пушкине // Новости и биржевая газета. 1887. № 21. 22 января. С. 2. Градовский Григорий Константинович (1842–1915), публицист, редактор. В. Мч. – Михневич Владимир Осипович (1841–1899), известный в те годы либеральный журналист.

[2] «…Графом Кутузовым...» – Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913), русский поэт и прозаик, глубоко почитавший поэзию А. С. Пушкина.

[3] «…Г. Скабичевский…» – Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик и публицист либерального направления.

Подделка «Русалки» Пушкина

Впервые опубликовано: Новое время. 1900. № 8580. 16 января. С. 3–4; № 8581. 17 января. С. 2; № 8582. 18 января. С. 3; № 8584. 20 января. С. 3. Под общим заглавием: «Маленькие письма. CCCLXVI, CCCLXVII, CCCLXVIII, CCCLXIX». За подписью: «А. Суворин.» Печатается по тексту первой публикации.

Всего разоблачению этой литературной мистификации А. С. Суворин посвятил девять «Маленьких писем». «Маленькие письма» А. С. Суворина и другие материалы, посвященные подделке «Русалки» впоследствии были включены в издание – «Подделка “Русалки” Пушкина. Сборник статей и заметок П. И. Бартенева, В. П. Буренина, С. Долгова, П. А. Ефремова, А. К-ва, Ф. Е. Корша, Л-на, К. Медведецкого, Е. Пономарева, А. С. Суворина, Н. У-ва, Б. Н. Чичерина, Н. Ч., С. Южакова, В. С. Якушина и других». Составил А. С. Суворин. СПб., 1900. 284 с.

[1] «…У поэта Губера…» – Губер Эдуард Иванович (1814–1847), поэт, переводчик «Фауста», публицист, фельетонист.

[2] «Г. Корш говорит...» – в данном случае упоминается Федор Евгеньевич Корш (1843–1915), русский филолог, академик.

[3] «…Обнародовал в “Рус. архиве” в 1897 г.» – См. «Русалка» А. С. Пушкина (Полное издание с добавлением 237 стихов, по современной записи Д. П. Зуева). С предисловием и послесловием П. Бартенева // Русский архив. 1897. № 3. С. 341–372.

[4] «…Как придирчив был к Пушкину Мартынов в “Маяке” 1843 г…» – Мартынов Авксентий Матвеевич (1787 или 1788–1858), критик и поэт консервативного направления. В данном случае А. С. Суворин имеет в виду статью А. М. Мартынова «Подробный обзор стихотворений А. С. Пушкина» («Письмо к издателю»), опубликованную в журнале «Маяк» (1843. Т. 7. Кн. 1–3, 5, 6; Т. 9. Кн. 11). «Маяк» – «журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе русской народности». Выходил в 1840–1845 гг. Издатель – С. А. Бурачок (1800–1876).

[5] «…Каких и у драматурга барона Розена не найдешь» – Розен Егор (Георгий) Федорович (1800–1860), барон, выходец из остзейской семьи, поэт, драматург, критик. Был близко знаком с А. С. Пушкиным. Переводил на немецкий язык его произведения. Посвятил ему ряд прочувствованных стихотворений.

М. Ю. Лермонтов

Подделка поэмы «Демон»

Впервые опубликовано: Новое время. 1891. № 5593. 24 сентября. С. 2–3. За подписью: «А. Суворин». В конце текста указание места и даты написания: «Феодосия. Август 1891».

Текст печатается по первой публикации.

[1] «Но г. Висковатов не только не сомневается в подлинности того, чему он дает заглавие “Демон”...» – Висковатов (Висковатый) Павел Александрович (1842–1905), историк литературы. Подготовил первое полное издание сочинений М. Ю. Лермонтова (тт. 1–6. М., 1889–1891), в котором опубликовал около ста неизданных текстов поэта. В журнале «Русский вестник» была опубликована его статья: «“Демон”. Поэма М. Ю. Лермонтова и ее окончательная, вновь найденная обработка» (1889. № 3). Вот что пишет современный исследователь Б. Т. Удодов о работе П. А. Висковатова над публикацией лермонтовских текстов: «Наиболее уязвимы в изд. Висковатова текстологические принципы и приемы, отражающие уровень текстологии той поры. Кроме основных редакций Висковатов выборочно печатал и их варианты, не всегда верно определяя важнейшие из них». (см.: Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь / Редкол.: П. А. Николаев (гл. ред.) и др. Т. 1. М., 1989. С. 445).

Еще о подделке «Демона»

Впервые опубликовано: Новое время. 1891. № 5615. 16 октября. С. 2. За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

И. С. Никитин

Иван Саввич Никитин

Впервые опубликовано: Русская речь и Московский вестник. 1861. № 89. 5 ноября. С. 586–588. Подпись: «А. С.». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Никитин передал в “Записках семинариста”...» – первоначальное название повести. «Дневник семинариста» был впервые напечатан в «Воронежской беседе на 1861 год» (СПб., 1861).

[2] «…Участие в Никитине принял Н. И. Второв» – Второв Николай Иванович (1818–1865), историк, этнограф и статистик, один редакторов «Воронежских губернских ведомостей», советник воронежского губернского правления. Н. И. Второв в то время возглавлял кружок воронежской интеллигенции.

[3] «…Между прочим с М. Ф. де-П...» – Де-Пуле Михаил Федорович (1822–1885), педагог, публицист, биограф поэтов Кольцова и Никитина. В те годы видный участник кружка Н. И. Второва. Позднее – активный автор катковских изданий.

[4] «…Приехал в Воронеж граф Д. Н. Толстой…» – Толстой Дмитрий Николаевич (1806–1884), видный сановник, вице-директор Департамента полиции, позднее воронежский губернатор. Будучи сам большим поклонником поэзии, граф Д. Н. Толстой в 1856 г. издал сборник стихотворений И. С. Никитина со своим предисловием.

Н. А. Некрасов

Грязь и идеалы

Впервые опубликовано: Русская речь и Московский вестник. 1861. № 103–104. 31 декабря. С. 805–809. Подпись: «А. С.». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Гг. Бенедиктов и Розенгейм…» – Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), русский поэт-романтик. Розенгейм Михаил Павлович (1820–1887), поэт, публицист, историк.

Заметка

Впервые опубликовано: Новое время. 1878. № 669. 8 января. С. 2. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Оскорбленный известной брошюрою гг. Антоновича и Жуковского...» – Речь идет о книге М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской ли-

тературы: литературное объяснение с Н. А. Некрасовым» (СПб.: Типография А. М. Катомина, 1869).

Ф. М. Достоевский

«Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского

Впервые опубликовано: Русский инвалид. 1867. № 63. 4 марта. С. 3. В разделе: «Журнальные и библиографические заметки». За подписью: «А. И-н».

Печатается по тексту первой публикации.

О покойном

Впервые опубликовано: Новое время. 1881. 1 февраля. С. 2–3. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова»… – Покушение на Лорис-Меликова было произведено народовольцем И. О. Млодевским 20 февраля 1880 года.

Тень Достоевского

Впервые опубликовано: Новое время. 1894. № 6766. 30 декабря. С. 2. За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

А. Ф. Писемский

Критик Писемского из новых

Впервые опубликовано: Новое время. 1884. № 2821. 5 января. С. 2. За подписью: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…“Критико-биографическим очерком” г. Венгерова…» – Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы, библиограф.

[2] «…Разбирал произведения Альбова, Белинского (беллетриста)…» – Альбов Михаил Нилович (1851–1911), беллетрист. Максим Белинский – псевдоним Ясинского Иеронима Иерони-

мовича (1850 –1931), писателя, поэта, публициста, вначале демократического направления, затем перешедшего в консервативный лагерь. После 1917г. И. И. Ясинский перешел на сторону советской власти.

[3] «…Те же черты есть у г. Протопопова» – Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915), талантливый критик и публицист.

[4] «Назову мастера – С. Бёва» – Сент-Бёв Шарль Огюст (1804–1869), выдающийся французский критик, литературовед и писатель.

И. С. Тургенев

По поводу «Отцов и детей» (из моих воспоминаний)

Впервые опубликовано: Санкт-Петербургские ведомости. 1870. № 11. 11 января. С. 1–2. В разделе: «Недельные очерки и картинки». За подписью: «Незнакомец». В несколько измененном виде этот очерк затем был опубликован в книге А. С. Суворина «Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок. Книга вторая» (СПб.: Типография В. С. Балашова, 1875. С. 208–221).

Текст печатается по второму изданию.

[1] «…Г. Лесков, впоследствии преобразовавшийся в г. Стебницкого…» – Один из псевдонимов Н. С. Лескова.

[2] «Следующий отзыв “Фоссовой Газеты”…» – А. С. Суворин имеет в виду газету на немецком языке «Vossische Zeitung: Berlinische Ztg. von Staats u gelehrten Sashen», выходившую в Берлине в 1810–1866 гг.

[3] «Тургенев у нас делал и делает то, что Шпильгаген...» – Шпильгаген Фридрих (1829–1911), немецкий писатель, автор социально-политических романов, в те годы популярных в России.

По поводу «Дыма» Тургенева и проч.

Впервые опубликовано: Новое время. 1896. № 7221. 7 апреля. С. 3. В разделе: «Театр и музыка». За подписью: «А. Суворин».

Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…В бенефисе г-жи Холмской...» – Холмская Зинаида Васильевна (1866–1936), известная до революции артистка Александринского театра, основательница журнала «Театр и искусство».

М. Е. Салтыков-Щедрин

Признаки времени и Письма о провинции М. Салтыкова (Щедрина). СПб., 1869 г.

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1869. Т. 2. Кн. 4. С. 979–989. В разделе: «Литературные известия». За подписью: «А. С-н». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Сравнение г. Щедрина с Кантемиром...» – Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), князь, русский поэт-сатирик, дипломат. Один из реформаторов стихосложения.

Историческая сатира. История одного города

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1871. Т. 2. Кн. 4. С. 718–741. В разделе: «Критика». За подписью: «А. Б-ов». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «…Гг. Шубинский, Мельников и др.…» – Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913), историк, издатель, журналист. Мельников-Печерский Павел Иванович (1819–1883), русский писатель, этнограф.

[2] «…См. “Живописец” Новикова...» – «Живописец», сатирический журнал, лучшее периодическое издание XVIII века. Выступало против злоупотреблений крепостничества, с сатирой на человеческие пороки. Издавалось Н. И. Новиковым в 1772–1773 гг.

[3] «…См. описание их бунтов у Манштейна...» – Манштейн Христофор Герман фон (1711–1757), участник свержения Бирона, автор «Записок о России, 1727–1744».

[4] «…Такие градоначальники, как Прозоровский...» – Прозоровский Александр Александрович (1732–1809), князь, фельдмаршал, с 1790 года главнокомандующий Москвы.

[5] «…Шешковский, “помаленьку кнутобойничавший”...» – Шешковский Степан Иванович (1727–1793), известный «сыскных дел» мастер. Производил следствия по делам Радищева, Новико-

ва, иркутского наместника Якобия. Создал целую систему допроса «с пристрастием», про которую рассказывали ужасы.

[6] «…Светлейшего князя Григория Александровича…» – Г. А. Потемкин.

Д. В. Григорович

Человек, который страстно любил жизнь

Впервые опубликовано: Новое время. 1899. № 8559. 24 декабря. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. CCCLXIV». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Посещали дом г. Виельгорского...» – Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856), граф, композитор, организатор симфонических и камерных вечеров.

Л. Н. Толстой

Граф Лев Николаевич Толстой (литературный портрет)

Печатается по изданию: Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина). Книга 1. СПб.: Типография В. С. Балашева. 1875. С. 12–27. Просмотр «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Биржевых ведомостей» за 1874–1875 гг. не выявил факта публикации этого очерка в упомянутых газетах. Таким образом, возможно, текст печатается по первой публикации.

[1] «…В “Галерее” Мюнстера и в “Иллюстрированной газете” 1865 г.…» – Портретная галерея русских деятелей. Издание А. Мюнстера. Т. 1–2. СПб., 1865–1869. «Иллюстрированная газета» выходила в С.-Петербурге в 1863–1873 гг. Издатели-редакторы А. О. Бауман и В. Р. Зотов.

[2] «…Я нашел в странной книге г. Погодина “Простая речь о мудреных вещах”...» – Книга М. П. Погодина «Простая речь о мудреных вещах» вышла в Москве в 1873 г. Составившие книгу материалы изначально публиковались на страницах газеты «Русский» (1868. № 68–73).

[3] «Г. Иловайский в московском “Обществе любителей” предпослал публичному чтению “Анны Карениной” слова любви и благодарности автору...» – Речь здесь идет о заседании Общества любителей российской словесности 16 февраля 1875 г., на котором председательствовал русский историк Д. И. Иловайский. Поэт Б. Н. Алмазов прочитал тогда присланный Л. Н. Толстым отрывок из романа «Анна Каренина».

[4] «…Речь критика “Русского мира”…» – «Русский мир» – газета политическая и литературная. Издавалась в Петербурге в 1871–1889 гг. Орган консервативного направления.

Г. Муравлин и русская форма романа

Впервые опубликовано: Новое время. 1886. № 3610. 18 марта. С. 2. За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

Муравлин – псевдоним писателя, прозаика и драматурга, князя Дмитрия Петровича Голицына (1860–1928).

По поводу драмы Л. Н. Толстого

Впервые опубликовано: Новое время. 1887. № 3898. 5 января. С. 2. За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации.

[1] «Г-жа Савина случайно узнала…» – Савина Мария Гавриловна (1854–1915), выдающаяся русская актриса.

[2] «Граф Толстой вверил свою драму г. Потехину...» – Потехин Алексей Антипович (1829–1908), драматург, беллетрист, заведующий репертуарной частью петербургских казенных театров.

«Послесловие» к «Крейцеровой сонате»

Впервые опубликовано: Новое время. 1891. № 5366. 5 февраля. С. 1–2. Под заглавием: «Маленькие письма. LVI». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…Воспроизведено в книжке проф. Гусева…» – Гусев Александр Федорович (1845–1904), профессор Казанской духовной академии, специалист по нравственному богословию и этике. Один из критиков учения Л. Н. Толстого.

[2] «…Покойный архиепископ Никанор…» – Никанор (в миру Бровкович А. И., 1826–1890), архиепископ, богослов и философ.

Первый свободный русский писатель

Впервые опубликовано: Новое время. 1908. № 11660. 28 августа. С. 3. Под заглавием: «Маленькие письма. DCCXXXIV». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Эта статья А. С. Суворина написана в связи с 80-летним юбилеем Л. Н. Толстого. Практически это был юбилейный номер «Нового времени». Помимо статьи самого А. С. Суворина здесь были помещены статьи: М. О. Меньшикова «Россия и Лев Толстой», В. В. Розанова «Л. Н. Толстой», А. А. Столыпина «Крыльев! (Л. Н. Толстому)» и др. Лев Николаевич Толстой был назван «последним великим искателем духовных крыльев».

А. П. Чехов

«Вишневый сад»

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. № 10113. 29 апреля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DIII». За подписью: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

Умер Чехов

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. № 10179. 4 июля. С. 2. Под заглавием: «Маленькие письма. DXV». Подпись: «А. Суворин». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «Он написал рассказ и отнес его, кажется, в “Будильник”…» – Первым напечатанным рассказом А. П. Чехова был – «Письмо к ученому соседу». Опубликован он был в журнале «Стрекоза» за 1880 г. (№ 10. 9 марта). «Будильник» – московский еженедельный сатирический журнал, выходивший в 1873–1917 годах. Антон Павлович сотрудничал в нем в 1881–1887 гг.

[2] «Он был глубоко оскорблен, когда бывший Союз писателей выбрал его в свои члены…» – А. П. Чехов был избран чле-

ном Союза взаимопомощи русских писателей и ученых 31 октября 1897 г.

[3] «…Таких свистунов, как Макс Нордау…» – Здесь А. С. Суворин цитирует письмо А. П. Чехова из Ялты от 27 марта 1894 г. (см.: А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 12. Письма. 1893–1904. М.: Художественная литература, 1964. С. 45–47). Нордау Макс (1849–1923), немецкий философ, публицист. Автор книг – «В поисках за истиной (Парадоксы)» (СПб., 1891), «Движение человеческой души» (М., 1893) и др.

[4] «В издании Маркса…» – Маркс Адольф Федорович (1836–1904), крупный русский издатель, выпускавший популярный в те годы журнал «Нива» (1870–1918), в приложениях к нему собрания сочинений русских и иностранных писателей и другие издания.

Русский театр

Русская драматическая сцена

Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1871. Т. 1. № 1. С. 382–403. За подписью: «А. С-н».

Печатается по изданию: Суворин А. С. Театральные очерки (1866–1876 гг.). СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина, 1914. С. 339–376.

[1] «…Московским музыкальным критиком, г. Ларошем» – Ларош Герман Августович (1845–1904), известный музыкальный критик и композитор.

[2] «…Каратыгин, Сосницкий, Брянский, Борецкий, Каратыгина, Сосницкая, Брянская, Рязанцев, Валберхова, Асенкова...» – Каратыгины – известная театральная фамилия. Из них, например: Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853), знаменитый русский трагик, и Каратыгин Петр Андреевич (1805–1879), последний представитель театра 1820-х годов. Сосницкий Иван Иванович (1794–1877), знаменитый актер. Брянский (Григорьев) (1790–1853), известный актер. Борецкий – установить личность не удалось. Каратыгина Александра Михайловна (1802–1880), лучшая драматическая актриса своего времени. Сосницкая Елена Яковлевна (?–1855), актриса. Брянская – установить личность не удалось. Рязанцев Василий Иванович (1800–1831), известный комик. Валберхова (Вальберхова) Мария Ивановна (1789–1867),

петербургская актриса. Дебютировала в 1807 г. Ее талант высоко ценил В. Г. Белинский. Асенковы – семейство известных актрис: Асенкова Александра Егоровна (1796–1860-е годы), Асенкова Варвара Николаевна (1817–1841).

[3] «…Лучше г. Зуброва…» – Зубров Петр Иванович (1822–1873), артист императорских драматических театров.

[4] «…Выдвинулись Мартынов, Максимов, Григорьев, г-жи Самойловы...» – Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860), актер, представитель нового уровня сценического реализма. Умер на руках А. Н. Островского. Максимов 1-й (Алексей Михайлович, 1813–1861), Максимов 2-й, Максимов 3-й (Гавриил Михайлович, ?–1882), Григорьев 1-й (Петр Иванович, 1806–1871), Григорьев 2-й (Петр Григорьевич, 1808–1854) – актеры. Самойловы – актерская династия. Самойлова Софья Васильевна (1787–1854), драматическая и оперная актриса. Самойлова Мария Васильевна (1807–1880-е годы), драматическая и оперная актриса. Самойлова Надежда Васильевна (1818–1899), актриса.

[5] «…При Мартынове, Сосницком и Самойлове» – Самойлов (Самойлов-2-й) Николай Васильевич (1838–1897), актер. В 1869 г. дебютировал на сцене Александринского театра.

[6] «…Приехал сюда г. Садовский...» – Садовские, актерская династия. Садовский Пров Михайлович (1818–1872), выдающийся театральный актер, родоначальник семьи Садовских. Садовский Михаил Провович (1847–1910), актер Малого театра, сыграл свыше 60 ролей в пьесах А. Н. Островского.

[7] «…Г-жа Левкеева…»... – Левкеева 1-я Елизавета Матвеевна (1827–1881), актриса. Левкеева 2-я Елизавета Ивановна (1851–1904), актриса.

[8] «…Приезжал сюда из Москвы г. Шумский...» – Шумский (Чесноков) Сергей Васильевич (1820–1878), актер.

[9] «Г. Воронов, умерший несколько лет тому назад...» – Воронов Евгений Иванович (?–1868), режиссер, актер, педагог.

[10] «…Приглашен дирекцией г. Боборыкин...» – Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель, театральный и литературный критик, драматург, редактор. Написал пособие по актерскому мастерству (1872).

[11] «…Режиссером сделали г. Яблочкина…» – Яблочкин Александр Александрович (1821–1895), режиссер, актер. С 1868 года – главный режиссер в Александринском театре.

[12] «…Напр. г. Нильский...» – Нильский (наст. фамилия Нилус) Александр Александрович (1840–1899), актер.

[13] «…Амплуа г. Виноградова то же, что и Васильева 2-го...» – Васильев 2-й Василий Михайлович (1837–1891), певец, тенор Императорских петербургских театров.

[14] «…Только один г. Монахов...» – Монахов Ипполит Иванович (1841–1877), известный актер. С 1865 г. артист Санкт-Петербургского Александринского театра. Хороший чтец куплетов.

[15] «…из недавно принятых, г. Зубова…» – настоящее имя Попов Николай Николаевич, драматический артист. Умер в 1890 г.

[16] «…Первенствует г-жа Струйская...» – Установить личность не удалось.

[17] «…Тогдашнего директора, г. Сабурова...» – Сабуров Александр Матвеевич (1800–1831), артист Императорских московских театров.

[18] «…Я могу вам указать на Полевого...» – Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), выдающийся русский журналист, прозаик, драматург, автор около 40 драм.

[19] «…Комедии г. Штеллеса…» – Установить личность не удалось.

[20] «…Г-жа Читау» – Читау Александра Михайловна (1832–1912), актриса, работавшая в Александринском театре. Наиболее полно ее талант раскрылся в ролях молодых героинь в пьесах А. Н. Островского.

Русское изобразительное искусство

На передвижной выставке

Впервые опубликовано: Новое время. 1888. № 4327. 16 марта. С. 2. За подписью: «А. С-н». Печатается по тексту первой публикации.

Выставка Товарищества передвижных художественных выставок открылась в последних числах февраля 1888 года. 27 февраля выставку посетил император Александр III с семьей. Александр III приобрел написанную по его заказу картину художника К. А. Савицкого (1844–1905) «На войну» и еще 5 картин других художников.

Смерть Ивана Грозного (картина К. Е. Маковского)

Впервые опубликовано: Новое время. 1888. № 4330. 19 марта. С. 1–2. За подписью: «А. С-н». Печатается по тексту первой публикации.

Русская печать

Специальный день русской журналистики

Впервые опубликовано: Новое время. 1878. № 676. 15 января. С. 2–3. Под еженедельной воскресной рубрикой: «Недельные очерки и картинки». Подпись: «Незнакомец». Печатается по тексту первой публикации. Заглавие в сборнике дано составителем.

[1] «…По счету г. Межова…» – Межов Владимир Измаилович (1830–1894), знаменитый русский библиограф.

[2] «…Благодаря одному молодому публицисту (г. Альбертини)…» – Альбертини Николай Викентьевич (1826–1890), публицист, сотрудник «Отечественных записок», «Голоса». В начале 1862 г. сблизился с А. И. Герценом.

РАЗДЕЛ X. ПРИЛОЖЕНИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. СУВОРИНЕ

***Грибовский В. М.* Несколько встреч с А. С. Сувориным (По личным воспоминаниям)**

Впервые опубликовано: Исторический вестник. 1912. Т. CXXX. № 10. С. 181–190. Подпись: «В. Грибовский». Печатается по тексту первой публикации.

Грибовский Вячеслав Михайлович (1866–1924), прозаик, публицист. Помимо других периодических изданий, печатался и в «Новом времени».

[1] «…Влиятельный член редакции Б. В. Гей...» – Псевдоним заведующего иностранным отделом газеты «Новое время» Геймана Б. В.

[2] «…Вошли покойный Скальковский и ныне благополучно здравствующий А. П. Никольский» – Скальковский Константин Аполлонович (1843–1906), по профессии горный инженер. Активно печатался в «Новом времени». Никольский Александр Петрович (1851–?), член Государственного совета, сенатор, главноуправляющий землеустройством и земледелием. Один из публицистов «Нового времени».

[3] «…Нужен был немец Гакстгаузен...» – Гакстгаузен Август (1792–1866), барон, прусский чиновник, экономист. Его работы об особенностях русского аграрного строя и крестьянской общины оказали влияние на русскую общественную мысль второй половины XIX века.

[4] «…Описаны П. П. Гнедичем в одном из последних номеров “Исторического вестника” за 1911 г.» – Вероятно, речь идет о произведении П. П. Гнедича «Растрата», опубликованном в «Историческом вестнике» за 1911 г. № 11. С. 478–510; № 12. С. 906–928.

[5] «…Между Случевским и Каразиным…» – Каразин Николай Николаевич (1842–1908), прозаик, художник, журналист.

***Ежов Н. М.* Алексей Сергеевич Суворин**

Впервые опубликовано: Исторический вестник. 1915. № 1. С. 110–138; № 2. С. 450–469; № 3. С. 856–879. Подписи: «Н. М. Ежов» и «Николай Ежов». Указаны дата и место написания воспоминаний: «Москва, 1915 г.».

Печатается по тексту первой публикации. В сборнике публикуется фрагмент из воспоминаний.

Ежов Николай Михайлович (1862–1941), писатель и публицист. С 1896 г. постоянный сотрудник «Нового времени». Хорошо знал А. П. Чехова. Будучи прекрасным чтецом, вслух читал его пьесы.

[1] «…А те же Лавров и Гольцев...» – Лавров Вукол Михайлович (1852–1912), редактор-издатель журнала «Русская мысль», переводчик произведений Генриха Сенкевича. А. П. Чехова связывали с ним многолетние отношения. Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), писатель, публицист, редактор журнала «Русская мысль».

[2] «…Казначей общества Майков, и писатель Шпажинский...» – Майков Леонид Петрович (1839–1900), историк, литера-

тор, этнограф, библиограф, общественный деятель. Шпажинский Ипполит Васильевич (1848–1917), драматург.

[3] «…Об этом говорил с А. Д. Курепиным...» – Курепин Александр Дмитриевич (1847–1891), московский журналист и редактор журнала «Будильник». Позднее – активный сотрудник «Нового времени».

[4] «…От казначея А. А. Майкова...» – Видимо, опечатка в первоисточнике. Следует читать: Л. П. Майкова.

[5] «…Отлично играл Сабинина А. И. Южин, а еврейку – Н. Д. Никулина» – Сумбатов-Южин Александр Иванович (1867–1927), князь, драматург, театральный деятель, актер. Никулина Надежда Алексеевна (1845–1923), артистка Московского Малого театра.

[6] «…Представляет собою г-жа Садовская 2-я…» – Садовская Ольга Осиповна (1850–1919), артистка Московского Малого театра, жена М. П. Садовского.

[7] «…Играла г-жа Федотова…» – Федотова Гликерия Николаевна (1846–1925), артистка Малого театра.

[8] «Суворин очень хвалил О. О. Садовскую, Правдина и Южина...» – Правдин Осип Андреевич (1846–1921), артист Малого театра.

[9] «…Ныне покойный В. А. Шуф» – Шуф (псевдоним Борей) Владимир Александрович (1864–1913), поэт.

[10] «…Фельетон о Солдатенкове...» – Солдатенков Кузьма Терентьевич (1818–1901), известный московский книгоиздатель-просветитель, меценат и коллекционер картин русских художников. Старообрядец.

[11] «…Вам, Грузинскому!..» – А. Грузинский – псевдоним Лазарева Александра Семеновича (1861–1927), русского писателя, также сотрудничавшего в еженедельном юмористическом журнале «Осколки», издававшемся в Петербурге (1881–1916).

[12] «…Вот Пальмин умер...» – Пальмин Лиодор Иванович (1841–1891), поэт, сотрудник «Осколков» и других периодических изданий.

[13] «…О поэте Епифанове» – Епифанов Сергей Алексеевич, русский поэт. Печатался в дореволюционных юмористических журналах.

[14] «…Объяснял Л. К. Попов» – Попов Лазарь Константинович (1851–1917), фельетонист.

[15] «…Познакомился впервые с К. С. Тычинкиным...» – Тычинкин Константин Семенович, заведующий выпуском «Нового времени», затем типографией А. С. Суворина.

[16] «С М. Г. Савиной поехали…» – Савина Мария Гавриловна (1854–1915), выдающаяся русская актриса. Играла на сцене Александринского театра.

[17] «…Будет подносить со мной В. Ф. Саранчин…» – Саранчин Василий Федорович, племянник А. С. Суворина.

[18] «…На квартире члена Государственной думы Н. П. Шубинского…» – Шубинский Николай Петрович (1853–1921), депутат III и IV Государственных дум, из потомственных дворян, юрист. Умер в эмиграции.

[19] «…Читал В. А. Прокофьев...» – Прокофьев Василий Алексеевич, репортер «Нового времени».

***Громобой*. Мусор над могилою**

Впервые опубликовано: Голос Москвы. 1912. № 192. 21 августа. С. 2. Печатается по тексту первой публикации.

Громобой – Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович (1875–?), публицист, общественный деятель. Печатался в газетах «Голос Москвы», «Голос правды» и др.

[1] «…Некролог в “Речи”…» – имеется в виду статья: А. С. Суворин // Речь. 1912. № 219. 12 августа. С. 2. Статья вышла без подписи. В ней, в частности, говорилось: «Две заповеди: угождение вкусам толпы и тесная дружба с властью были положены в основу созданного А. С. Сувориным предприятия».

[2] «…Кто, подобно г. Измайлову...» – Речь идет о статье А. Измайлова «Памяти А. С. Суворина», опубликованной в газете «Биржевые ведомости» (1912. № 3088. 12 августа. С. 6). Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921), публицист, литературный критик.

[3] «При редакции “Нашей жизни” продавались портреты...» – «Наша жизнь», ежедневная политическая газета кадетского направления. Выходила в Санкт-Петербурге в 1904–1906 гг.

[4] «…В алфавитном порядке Балмашев и Белинский, Гершуни и Герцен, Каляев и Лев Толстой» – Балмашев Степан Валерианович (1881–1902), эсер-террорист, студент. Убийца министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Гершуни Григорий Андреевич (1870–

1908), глава боевой организации социалистов-революционеров. В 1907 г. бежал за границу. Умер в Цюрихе. Каляев Иван Платонович (1877–1905), эсер-террорист. Убийца великого князя Сергея Александровича.

[5] «Разве не на днях еще г. Никольский...» – Никольский Александр Иванович (1860–1933), депутат III Государственной думы от Одессы, русский православного вероисповедания, личный дворянин, член партии кадетов.

[6] «…Ненависти всяких Измайловых и Винаверов?» – Винавер Максим Моисеевич (1863–1926), еврей, ученый-правовед, публицист. Член «Союза для достижения полноправия евреев». Умер в эмиграции.

[7] «…После смерти Муромцева или Анненского» – Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, публицист, земский деятель, профессор Московского университета. Председатель I Государственной думы. Один из руководителей партии кадетов. Анненский Николай Федорович (1843–1912), известный народнический публицист и общественный деятель. Экономист и руководитель земской статистики в ряде губерний.

Комментарии подготовил
Ю. В. Климаков

СОДЕРЖАНИЕ

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 70 томов).

Редактор Д. В. Орлов
Корректор З. Н. Скобелкина
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-495-605-25-35.

Подписано в печать 21.10.2011 г. Формат 84 х 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 42,5 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.

Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.